This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

BERKELEY
LIBRARY
UNIVERSITY OF
CALIFORNIA

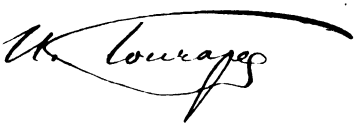
ИЗ БИБЛІОТЕКИ
А. МАСЛЕНИКОВА

THE LIBRARY
OF
THE UNIVERSITY
OF CALIFORNIA

Donated in loving memory of
Oleg Alexander Maslenikov
and
Emily Lociga Maslenikov

186

1883



Печат. въ артист. завед. А. Ф. Маркса. СПБ.

Начало писанія этого романа относится къ концу сороковыхъ годовъ. Помнится, *Сонъ Обломова* напечатанъ въ *Альманахъ* при *Современникѣ* въ 1848 или 1849 году. Этой главы (*Сонъ Обломова*) тутъ нѣтъ.

И. Гончаровъ.

Обломовъ.

ЧАСТЬ I.

Въ Гороховой улицѣ, въ одномъ изъ большихъ домовъ, народонаселенія котораго стало бы на цѣлый уѣздный городъ, лежалъ утромъ въ постели, на своей квартирѣ Илья Ильичъ Обломовъ. Это былъ человѣкъ лѣтъ тридцати пяти отъ роду, полный, гораздо полнѣе, нежели обыкновенно бываютъ люди въ эти лѣта. Независимо отъ этой благопріобрѣтенной полноты, кажется и сама природа не позаботилась создать его постройнѣе. Голова у него была довольно большая, плеча широкія, грудь крѣпкая и высокая: глядя на

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ
СОЧИНЕНІЙ
И. А. ГОНЧАРОВА

въ 12 томахъ.

ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

Съ портретомъ автора, гравированнымъ академикомъ И. П. Пожалостинымъ, и факсимиле.

Приложеніе къ журналу „Нива“ на 1899 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1899.

огромномъ большинствѣ случаевъ наталкиваемся на фактъ совершенно противоположный; въ домѣ имѣется отцовская или дѣдовская библіотека, наполненная, какъ у всѣхъ людей веселаго XVIII вѣка, разными веселыми романами; доступъ къ библіотекѣ совершенно свободенъ, — и юноша читаетъ рѣшительно все, что попадается подъ руку. Правда, и Гончаровъ, когда возвращался домой на праздники и каникулы, доставалъ сентиментальные романы г-жи Жанлисъ и полные привидѣній и всяческихъ ужасовъ романы г-жи Радклифъ и даже мистическія мудрствованія Экгартгаузена; но все-таки въ общемъ характеръ чтенія былъ дѣловой и серьезный. Въ 12 лѣтъ Гончаровъ уже прочиталъ, кромѣ произведеній нашихъ классиковъ—Державина, Хераскова, Озерова, и цѣлый рядъ ученыхъ сочиненій: исторію Ролена, Голикова, путешествія Мунго-Парка, Крашенинникова, Палласа и др. Путешествіями молодой Гончаровъ особенно увлекался. Къ нимъ, кромѣ поощренія пансіонскаго начальства, автора «Фрегата Паллады» привлекали разсказы крестнаго отца — стараго моряка, выведеннаго въ «Воспоминаніяхъ» подъ именемъ Якубова. Именно это раннее чтеніе путешествій было главнымъ источникомъ рѣшенія Гончарова ѣхать кругомъ свѣта, рѣшенія— столь противорѣчащаго обычному комфортабельному теченію его жизни, при которомъ «откажешься ѣхать на вечеръ въ конецъ города, подъ предлогомъ «далеко ѣхать», боишься пропустить урочный часъ лечь спать» («Фрегатъ Паллада»).

Внутренняя жизнь родительскаго дома въ значительной степени напоминала Обломовку. Семья жила въ большомъ каменномъ домѣ, который выходилъ на три улицы. «Домъ у насъ», говоритъ Гончаровъ въ своихъ воспоминаніяхъ:—«былъ, что называется, полная чаша. Большой дворъ, даже два двора, со многими постройками: людскими, конюшнями, хлѣвами, сараями, амбарами, прачечной и баней. Свои лошади, коровы, даже козы и бараны, куры и утки, все это населяло оба двора. Амбары, погреба, ледники переполнены были запасами муки, разнаго пшена и всяческой провизіи для продовольствія нашего, и обширной дворни. Словомъ, цѣлое имѣніе, деревня».

Нельзя сомнѣваться въ томъ, что, рисуя жизнь въ Обломовкѣ, Гончаровъ имѣлъ передъ глазами картины дѣтства. Онъ и прямо объ этомъ говоритъ въ воспоминаніяхъ:

«По пріѣздѣ домой, по окончаніи университетскаго курса, меня обдало той же «обломовщиной», какую я наблюдалъ въ дѣтствѣ. Самая наружность родного города не представляла ничего дру-

гого, кромѣ картины сна и застоя. Тѣ же бо́льшею частью деревянные, посѣрѣвшіе отъ времени дома и домики, съ мезонинами, съ садиками, иногда съ колонками, окруженные канавками, густо заросшими полынью и крапивой, безконечные заборы; тѣ же деревянные тротуары съ недостающими досками, та же пустота и безмолвіе на улицахъ, покрытыхъ густыми узорами пыли. Вся улица слышитъ, когда за версту ѣдетъ телѣга или стучитъ сапогами по мосткамъ прохожій. Такъ и хочется заснуть самому, глядя на это затишье, на сонныя окна съ опущенными шторами и жалюзи, на сонныя физіономіи сидящихъ по домамъ или попадающихся на улицѣ людей. «Намъ нечего дѣлать», зѣвая, думаетъ, кажется, всякое изъ этихъ лицъ, глядя лѣниво на васъ: «мы не торопимся, живемъ—хлѣбъ жуемъ, да небо коптимъ».

Непосредственно помѣщичью жизнь Гончаровъ и не зналъ даже. Въ «Слугахъ» онъ категорически заявляетъ: «Я не знаю сельской жизни», «я не владѣлъ крестьянами, не было у меня никакой деревни, земли; я не сѣялъ, не собиралъ, даже не жилъ никогда по деревнямъ»; только «ребенкомъ девяти и десяти лѣтъ я прожилъ въ деревнѣ два года»; «я вѣкъ свой провелъ въ городахъ».

Если, тѣмъ не менѣе, Гончарову въ «Обломовѣ» удалось создать такую поразительно-типичную картину помѣщичьяго быта, то это, конечно, только отчасти потому, что жизнь въ началѣ вѣка въ захолустныхъ городахъ, да еще въ такихъ домахъ-помѣстьяхъ, какъ домъ родителей Гончарова, мало чѣмъ отличалась отъ заправской усадебной жизни; главная же причина заключается въ удивительнѣйшемъ дарѣ обобщенія, присущемъ Гончарову въ большей степени, чѣмъ кому бы то ни было изъ его литературныхъ сверстниковъ.

Съ воспоминаніями о Симбирскѣ тѣсно связанъ и «Обрывъ». Только первая часть романа происходитъ въ Петербургѣ, затѣмъ дѣйствіе перенесено въ маленькій приволжскій городъ — это и есть Симбирскъ. Идея романа блеснула въ головѣ автора въ 1849 году, когда онъ «послѣ 14-лѣтняго отсутствія пріѣхалъ повидаться съ родственниками на Волгу». «Тутъ толпой хлынули ко мнѣ старыя, знакомыя лица, я увидѣлъ еще не отжившій патріархальный бытъ, и вмѣстѣ новые побѣги, смѣсь молодого со старымъ». Сады, Волга, обрывы Поволжья, родной воздухъ, воспоминанія дѣтства—все это залегло въ голову автору и послужило впослѣдствіи фономъ романа. По поводу праздновавшагося недавно 250-лѣтняго юбилея Симбирска въ газетахъ сооб-

щалось о лежащей подъ самымъ Симбирскомъ живописной мѣстности Киндяковкѣ. Киндяковская роща—любимое мѣсто прогулки симбирцевъ. «Рядомъ съ ней находится знаменитый *Гончаровскій Обрывъ* и барскій домъ, находящійся въ рощѣ—свидѣтель всего того, что описываетъ Гончаровъ въ своемъ романѣ» *).

Нѣсколько лѣтъ тому въ Симбирскѣ еще были живы старожилы, хорошо помнившіе людей, которые послужили прототипами для главныхъ персонажей «Обрыва».

Въ 1831 году Гончаровъ, пробывши предъ этимъ нѣсколько лѣтъ въ одномъ изъ частныхъ московскихъ пансіоновъ, поступилъ на словесный факультетъ московскаго университета. Въ знаменательное время попалъ онъ въ этотъ университетъ. Какъ мнѣ уже приходилось говорить въ своихъ статьяхъ объ эпохѣ Бѣлинскаго, «въ началѣ тридцатыхъ годовъ московскій университетъ находился на рубежѣ совершенно новой эпохи, на рубежѣ рѣзкой перемѣны въ профессорахъ и студенчествѣ. Цѣлый рядъ молодыхъ профессоровъ: шеллингистъ Павловъ, основатель новѣйшей русской критики Надеждинъ, Шевыревъ — тогда еще молодой энтузіастъ, только-что вернувшійся изъ-за границы и еще не превратившійся въ того сухого педанта, съ которымъ ожесточенно ратоборствовалъ впослѣдствіи кружокъ Бѣлинскаго,—Погодинъ, тоже еще молодой и свѣжій,—всѣ эти молодыя силы внесли новый духъ въ университетское преподаваніе, который не могъ не отразиться и на старыхъ профессорахъ. Вмѣсто прежняго монотоннаго считыванія съ старыхъ тетрадокъ, въ незапамятныя времена заготовленныхъ и изъ года въ годъ, безъ малѣйшихъ перемѣнъ, повторяемыхъ, съ профессорской каѳедры послышалось живое слово, отражавшее въ себѣ стремленія времени, удовлетворявшее нарождающимся потребностямъ жизни».

Большая перемѣна происходитъ и въ студенчествѣ. Студентъ изъ бурша превращается въ молодого человѣка, поглощеннаго высшими стремленіями. До тридцатыхъ годовъ московскіе студенты, главнымъ образомъ, занимались пьянствомъ, буйствомъ, задираніемъ на улицѣ прохожихъ, а въ стѣнахъ университета—устраиваніемъ разнаго рода скандаловъ профессорамъ, въ родѣ такого, наприм.: принесутъ подъ полою воробья въ аудиторію и затѣмъ, когда профессоръ войдетъ въ пафосъ и воробей примется летать, студенты, будто внѣ себя отъ негодованія, съ шумомъ и гамомъ повскакиваютъ со скамеекъ и начинаютъ ло-

*) «Нива» 1898 г., № 40. «Новь» 1898 г., № 19.

вить нарушителя порядка. Эти времена школьничества и незнанія, куда дѣть запасъ юношескихъ силъ, мало-по-малу исчезаютъ и замѣняются стремленіемъ къ «солнцу истины», какъ выражается Константинъ Аксаковъ въ своихъ университетскихъ воспоминаніяхъ. Именно въ первой половинѣ тридцатыхъ годовъ среди московскихъ студентовъ начинается образованіе тѣсно-сплоченныхъ кружковъ молодыхъ юношей, восторженныхъ и чистыхъ, сходящихся, чтобы выяснить себѣ вопросы нравственные, философскіе, политическіе. Какъ разъ во время пребыванія Гончарова въ московскомъ университетѣ, между студентами организовались два кружка, для характеристики которыхъ достаточно сказать, что въ составъ ихъ входили Станкевичъ, поэты Сатинъ, Красовъ и Клюшниковъ, Константинъ Аксаковъ, Кетчеръ, Евгеній Коршъ, Вадимъ Пасекъ, Бѣлинскій, Герценъ и Огаревъ,—словомъ, почти всѣ члены впослѣдствіи сплотившагося въ одно московскаго кружка, знаменитаго въ исторіи русской литературы подъ именемъ *кружка Станкевича.*

Гончаровъ ни съ кѣмъ изъ нихъ не свелъ знакомства. Умственное направленіе молодого Гончарова было совсѣмъ иное, чѣмъ у Станкевича, Бѣлинскаго и ихъ друзей. Достаточно указать на то, что во время пребыванія своего въ университетѣ Гончаровъ увлекался Карамзинымъ. Между тѣмъ, въ 1834 г., — значитъ, когда Гончаровъ кончалъ курсъ, — въ «Молвѣ» были напечатаны «Литературныя мечтанія» Бѣлинскаго, въ которыхъ онъ, выражая настроеніе и взгляды своего кружка, отрицательно отнесся къ старымъ корифеямъ и между прочимъ писалъ по поводу Карамзина: «И теперь, на могилѣ незабвеннаго мужа, развѣ уже рѣшена побѣда, развѣ восторжествовала та или другая сторона? Увы! Еще нѣтъ! Съ одной стороны насъ, «какъ вѣрныхъ сыновъ отчизны», призываютъ «молиться на могилѣ Карамзина», и «шептать его святое имя», а съ другой—слушаютъ это воззваніе съ недовѣрчивой и насмѣшливой улыбкой. Любопытное зрѣлище! *Борьба двухъ поколѣній, не понимающихъ одно другое*».

Вотъ къ этой-то борьбѣ двухъ поколѣній Гончаровъ и не былъ причастенъ. Сверстникъ Бѣлинскаго и его друзей, авторъ «Обыкновенной исторіи», какъ впослѣдствіи, такъ и въ началѣ своей жизни, держался въ сторонѣ отъ людей и тенденцій слишкомъ стремительныхъ, не принимающихъ во вниманіе требованій жизни. Гончаровъ—и въ этомъ центръ тяжести его духовной личности—никогда не былъ консерваторомъ, какъ и не былъ ни-

когда «либераломъ» въ вызывающемъ смыслѣ этого слова. И вотъ почему нельзя считать одною простою случайностью то, что во время своего пребыванія въ университетѣ Гончаровъ остался въ сторонѣ отъ бурнаго кружка мятущагося, «неистоваго Виссаріона».

Въ 1834 году Гончаровъ кончилъ курсъ со званіемъ дѣйствительнаго студента и отправился на родину. Сначала онъ весь отдался во власть «домашняго баловства», но затѣмъ рѣшено было взяться за «дѣло». А «дѣломъ» по тому времени считалась служба, и юный питомецъ московскаго университета поступилъ чиновникомъ особыхъ порученій къ симбирскому губернатору. Служба мало подходила къ характеру и темпераменту Гончарова и впослѣдствіи онъ весьма иронически изобразилъ ее въ своихъ воспоминаніяхъ. Прослужилъ онъ не больше года и затѣмъ переѣхалъ въ Петербургъ. Хорошее знаніе иностранныхъ языковъ доставило ему мѣсто переводчика въ министерствѣ финансовъ. Въ этомъ министерствѣ онъ и прослужилъ вплоть до отправленія своего въ кругосвѣтное плаваніе въ 1852 году.

Въ Петербургѣ у Гончарова скоро завязываются литературно-артистическія знакомства, при чемъ онъ попадаетъ въ такой кружокъ, гдѣ изъ двухъ типовъ творчества — Шиллеровскаго и Гётевскаго — предпочтеніе отдавалось олимпійскому спокойствію Гёте, гдѣ царило поклоненіе искусству для искусства и возведеніе объективнаго творчества въ единственный истинно-художественный идеалъ. Гончаровъ дѣлается своимъ человѣкомъ въ домѣ художника Николая Александровича Майкова, отца тогда еще четырнадцатилѣтняго юноши Аполлона Майкова и его братьевъ, безвременно погибшаго даровитаго критика Валеріана Майкова и нынѣшняго вице-президента Академіи Наукъ Леонида Майкова. Литературная дѣятельность Валеріана Майкова мало имѣетъ общаго съ теоріей искусства для искусства и художественнаго объективизма. Но эта дѣятельность относится къ болѣе позднему времени—къ 1847 г., когда связи Гончарова съ Майковыми уже носили совсѣмъ иной характеръ. Въ концѣ же тридцатыхъ и въ началѣ сороковыхъ годовъ — періодъ наиболѣе тѣсныхъ отношеній Гончарова къ дому Майковыхъ, — общее направленіе дома можетъ быть охарактеризовано тѣмъ, что именно тогда были написаны Аполлономъ Майковымъ его антологическія пьесы, имѣющія въ основѣ своей такое замѣчательное эпическое спокойствіе.

Гончаровъ былъ домашнимъ учителемъ въ семьѣ Майковыхъ. Онъ давалъ уроки латинскаго языка, риторики и піитики, сна-

чала Аполлону, а затѣмъ Валеріану. Въ высоко-интеллигентномъ домѣ Майковыхъ издавался рукописный журналъ «Лунныя Ночи», въ которомъ принимали участіе члены семьи и ихъ знакомые. Здѣсь Гончаровъ помѣстилъ повѣсть «Счастливая ошибка». Впрочемъ, по нѣкоторымъ указаніямъ онъ еще студентомъ помѣстилъ въ «Телескопѣ» 1832 г. переводъ романа Эженя Сю «Атаръ Гюль».

Съ кружкомъ Бѣлинскаго Гончаровъ познакомился только въ 1846 г., благодаря «Обыкновенной исторіи», которая была прочтена знаменитымъ критикомъ еще въ рукописи и привела его въ необычайный восторгъ. Но это знакомство не было основано на настоящей, органической связи. Если мы обратимся къ воспоминаніямъ Гончарова о Бѣлинскомъ, мы увидимъ, что между ними во многихъ существенныхъ вопросахъ была цѣлая пропасть, что они расходились во многихъ важнѣйшихъ воззрѣніяхъ общественныхъ, этическихъ и политическихъ. Въ 1846 г. Бѣлинскій былъ въ разгарѣ своихъ увлеченій идеями, шедшими къ намъ въ то время изъ Франціи, — изъ Франціи Луи-Блана и Ледрю-Роллена. Врагъ всякихъ крайностей, Гончаровъ, при всемъ своемъ искреннемъ уваженіи къ Бѣлинскому, всего менѣе увлекался этими идеями, не увлекался даже самымъ сравнительно слабымъ выраженіемъ ихъ—жоржъ-зандизмомъ.

«Обыкновенная исторія», появившаяся въ «Современникѣ» 1847 г., имѣла успѣхъ необычайный и вмѣстѣ съ тѣмъ всеобщій. Романъ нравился всѣмъ слоямъ читающей публики. Если Бѣлинскій и его друзья восхищались реализмомъ романа, то не менѣе восхищались имъ люди противоположнаго направленія: люди умѣренности и размѣренности съ удовольствіемъ видѣли, что настроеніе ихъ поддержано талантомъ сильнымъ, молодымъ и много обѣщающимъ. Романомъ восхищались даже такія сферы, куда русская книга и попадала-то рѣдко. Въ одномъ изъ писемъ къ Василію Боткину, Бѣлинскій пишетъ: «повѣсть Гончарова произвела въ Питерѣ фуроръ. Успѣхъ неслыханный! Всѣ мнѣнія слились въ ея пользу. Даже свѣтлѣйшій князь Волконскій изъявилъ Панаеву свое удовольствіе».

Но фактъ самый поразительный—«Сѣв. Пчела», ярая ненавистница такъ-называемой «натуральной школы», считавшая Гоголя русскимъ Поль-де-Кокомъ, отнеслась крайне благосклонно къ дебютанту, несмотря на то, что романъ былъ написанъ по всѣмъ правиламъ ненавистной Булгарину школы.

Такимъ образомъ, 35 лѣтъ, которыя Гончаровъ имѣлъ въ

запасѣ, когда писалъ «Обыкновенную исторію», оказали большое вліяніе на первые шаги литературной карьеры нашего писателя. Никого не задѣвая, избѣгая задора, который свойственъ юности и людямъ нервнаго темперамента, того задора, который больше всего злитъ и бѣситъ старое поколѣніе,—Гончаровъ не нажилъ себѣ враговъ и сталъ всеобщимъ любимцемъ публики.

Въ 1852 г. Гончаровъ попадаетъ въ экспедицію адмирала Путятина, отправляющагося въ Японію для того, чтобы завязать сношенія съ этою, тогда еще недоступною для иностранцевъ страною. Гончаровъ былъ прикомандированъ къ экспедиціи въ качествѣ секретаря. Съ пути онъ писалъ своимъ друзьямъ письма, которыя во второй половинѣ 50-хъ годовъ печатались въ разныхъ журналахъ и затѣмъ вышли отдѣльнымъ изданіемъ въ 2 томахъ подъ заглавіемъ «Фрегатъ Паллада».

Возвратившись изъ путешествія, на половину прерваннаго наступившею восточною войною, Гончаровъ усердно берется за «Обломова», который появился въ свѣтъ въ 1858 г. въ «Отеч. Запискахъ». Успѣхъ превзошелъ всякія ожиданія. «Нужно было жить въ то время», — говоритъ одинъ изъ свидѣтелей этого успѣха, А. М. Скабичевскій:—«чтобы понять, какую сенсацію возбудилъ романъ въ публикѣ и какое потрясающее впечатлѣніе произвелъ онъ на все общество. Онъ, какъ бомба, упалъ въ интеллигентную среду».

Еще въ 1856 г. Гончаровъ перешелъ на службу въ цензурное вѣдомство, гдѣ въ 1863 г. дослужился до чина дѣйствительнаго статскаго совѣтника. Въ 1862 г. онъ нѣсколько мѣсяцевъ редактировалъ офиціальную «Сѣверную Почту». Въ 1869 г. появился на страницахъ «Вѣстника Европы» третій большой романъ нашего писателя—«Обрывъ».

Въ концѣ 1867 г. Гончаровъ вышелъ въ отставку. Написалъ онъ съ тѣхъ поръ лишь нѣсколько небольшихъ этюдовъ («Милліонъ терзаній», «Литературный вечеръ», «Замѣтки о личности Бѣлинскаго», «Лучше поздно, чѣмъ никогда», «Воспоминанія», «Слуги», «Превратность судьбы», «Май мѣсяцъ въ Петербургѣ»). Тихо и замкнуто провелъ онъ остатокъ своей жизни въ небольшой квартирѣ, изъ 3-хъ комнатъ, на Моховой, гдѣ онъ и умеръ 15-го сентября 1891 г. Похоронили его въ Александро-Невской лаврѣ.

Гончаровъ не былъ женатъ и литературную собственность свою завѣщалъ семьѣ своего стараго слуги.

Таковы несложныя рамки долгой и не знавшей никакихъ

сильныхъ потрясеній жизни автора «Обыкновенной исторіи» и «Обломова». И именно эта-то безмятежная ровность, которая сквозила и въ наружности знаменитаго писателя, породила въ публикѣ убѣжденіе, что изъ всѣхъ созданныхъ имъ типовъ Гончаровъ ближе всего подходитъ къ Обломову. Поводъ къ такому предположенію далъ онъ самъ. Онъ былъ очень склоненъ выставлять себя Обломовымъ. Помните эпилогъ «Обломова»:

«Шли по деревяннымъ тротуарамъ, на Выборгской сторонѣ, два господина. Одинъ изъ нихъ былъ Штольцъ, другой, его пріятель, литераторъ, полный, съ апатическимъ лицомъ, задумчивыми, какъ будто сонными глазами».

Изъ дальнѣйшаго оказывается, что апатичный литераторъ, бесѣдующій со Штольцомъ «лѣниво зѣвая», — есть никто иной, какъ самъ авторъ романа.

Во «Фрегатѣ Палладѣ» Гончаровъ восклицаетъ: «Видно, мнѣ на роду написано быть самому лѣнивымъ и заражать лѣнью все, что приходитъ въ соприкосновеніе со мною».

Несомнѣнно, самого себя вывелъ иронически Гончаровъ въ лицѣ пожилого беллетриста Скудельникова изъ «Литературнаго Вечера». Скудельниковъ «какъ сѣлъ, такъ и не пошевелился въ креслѣ, какъ будто приросъ или заснулъ. Изрѣдка онъ поднималъ апатичные глаза, взглядывалъ на чтеца и опять опускалъ ихъ. Онъ, повидимому, былъ равнодушенъ и къ этому чтенію, и къ литературѣ, и вообще ко всему вокругъ себя».

Наконецъ, въ авторской исповѣди своей—«Лучше поздно, чѣмъ никогда», Гончаровъ прямо заявляетъ, что образъ Обломова не только результатъ наблюденія окружающей среды, но и результатъ самонаблюденія.

И на другихъ Гончаровъ съ перваго раза производилъ впечатлѣніе Обломова. Извѣстный итальянскій историкъ литературы Анджело-де-Губернатисъ, очевидно, лично его знавшій, такимъ образомъ описываетъ внѣшній видъ романиста въ своемъ «Dizionario dei scritori contemporanei»: «Средняго роста, плотный, медленный въ походкѣ и во всѣхъ своихъ движеніяхъ, съ безстрастнымъ лицомъ и какъ бы неподвижнымъ (spento) взглядомъ, онъ кажется совершенно безучастнымъ къ суетливой дѣятельности бѣднаго человѣчества, которое копошится вокругъ него».

Не будемъ, однакоже, увлекаться этимъ внѣшнимъ впечатлѣніемъ, какъ не увлекается имъ и де-Губернатисъ, тутъ же

немедленно прибавляющій: «и все-таки ни одна малѣйшая мелочь не ускользаетъ отъ его проницательнаго взора».

Нѣтъ, Гончаровъ не Обломовъ. Для этого имѣются вполнѣ убѣдительныя доказательства даже во внѣшнихъ фактахъ его жизни. Ну какой же это Обломовъ, который полвѣка тому назадъ рѣшился пуститься въ то дальнее плаваніе, результатомъ котораго явился «Фрегатъ Паллада». Въ настоящее время, при огромныхъ усовершенствованіяхъ морской техники, совершить кругосвѣтное плаваніе, въ концѣ концовъ, не Богъ вѣсть что такое. Но сорокъ пять лѣтъ тому назадъ, на парусномъ кораблѣ, съ возможностью заштилѣть на экваторѣ, съ возможностью при первой сильной бурѣ потерять мачты и стать, при отсутствіи паровой машины, безпомощною игрушкою океанскихъ волнъ— для всего этого нужна была рѣшительность, всего менѣе напоминающая Обломова. Въ 1852 г. кругосвѣтное плаваніе составляло эффектное мѣсто даже въ формулярѣ профессіональнаго моряка.

Всего менѣе Обломовымъ назовемъ мы Гончарова и тогда, когда ознакомимся съ тою тщательностью, съ которою онъ писалъ свои романы, хотя именно за эту тщательность, неизбѣжно ведущую къ медленности, въ публикѣ и критикѣ было принято упрекать Гончарова въ обломовщинѣ. Совершенно неправильно усматривали авторскую лѣнь тамъ, гдѣ на самомъ дѣлѣ была страшно напряженная умственная работа.

Если судить только по внѣшней сторонѣ, то дѣйствительно приходила охота пожурить автора за зарываніе таланта въ землю. Внѣшняя сторона такова: въ 1847 г. появился первый романъ Гончарова — «Обыкновенная исторія»; слѣдующій — «Обломовъ», только черезъ 12 лѣтъ, въ 1859 г. Правда, въ промежуткахъ были напечатаны Гончаровымъ въ разныхъ журналахъ отдѣльныя письма изъ кругосвѣтнаго плаванія, которыя, собранныя вмѣстѣ, составили 2 тома «Фрегата Паллады». Но эта работа, такъ-сказать, подневольная: отправился человѣкъ въ кругосвѣтное путешествіе, такъ нельзя же его не описать. Слѣдующій за «Обломовымъ» романъ—«Обрывъ» появился десять лѣтъ спустя, въ 1869 году. И на этомъ авторъ закончилъ свою дѣятельность, обмолвившись съ тѣхъ поръ только нѣсколькими небольшими очерками полубеллетристическаго и критическаго характера.

Конечно, перечень не обширный для такого первокласснаго таланта, какъ Гончаровъ, и для восьмидесяти лѣтъ жизни. Сверст-

ники Гончарова—Тургеневъ, Достоевскій, Писемскій меньше его жили, а написали больше.

И все же, если мы присмотримся ближе къ дѣлу, то не преминемъ убѣдиться, что авторская лѣнь тутъ рѣшительно ни при чемъ.

Гончаровъ написалъ три романа. *Количество*, дѣйствительно небольшое. Но что же собою представляютъ эти три романа по области *воспроизведенія?* Мы тутъ оставляемъ въ сторонѣ вопросъ о мастерствѣ исполненія, чего у тѣхъ писателей, которыхъ мы сейчасъ сопоставили съ Гончаровымъ, не меньше же. Нѣтъ, мы говоримъ только о широтѣ захвата, о количествѣ беллетристическаго матеріала, заключающагося въ трехъ романахъ Гончарова. Еще Бѣлинскій говорилъ о немъ: «Что другому стало бы на десять повѣстей, у Гончарова укладывается въ одну рамку». У Гончарова нѣтъ второстепенныхъ вещей, которыя занимаютъ добрую половину даже у Тургенева, не говоря уже о Достоевскомъ и Писемскомъ.

Между живописцами есть такіе, которые могутъ писать только огромные холсты. Гончаровъ—изъ ихъ числа. Каждый изъ его романовъ задуманъ въ колоссальныхъ размѣрахъ, каждый старается воспроизвести цѣлые періоды, цѣлыя полосы русской жизни. Много такихъ вещей, слѣдовательно, нельзя писать, если не впадать въ повторенія и не выходить за предѣлы реальнаго романа, т. е. воспроизводить только то, что авторъ самъ видѣлъ и наблюдалъ. Въ обоихъ Адуевыхъ, въ Обломовѣ, въ Штольцѣ, въ бабушкѣ, наконецъ, въ Вѣрѣ и Маркѣ Волоховѣ (въ послѣднихъ двухъ, правильно или неправильно, это все равно въ данномъ случаѣ)—Гончаровъ исчерпалъ все крупное въ психологіи цѣлаго полувѣка русской жизни. Путемъ необыкновенно напряженнаго художественнаго синтеза онъ въ этихъ немногихъ лицахъ воплотилъ всѣ тѣ характерныя черты пережитыхъ имъ періодовъ русскаго общественнаго развитія, которыя онъ считалъ дѣйствительно характерными, основными. А на миніатюры, на отдѣльное воспроизведеніе мелкихъ явленій и лицъ, если они не составляютъ необходимыхъ аксессуаровъ общей широкой картины, онъ не былъ способенъ по основному складу своего болѣе синтетическаго, чѣмъ аналитическаго таланта. И только оттого полное собраніе его сочиненій сравнительно менѣе объемисто. Но попробуйте выбросить изъ Писемскаго всѣ тѣ слабыя вещи, которыя онъ написалъ въ послѣднія 20 лѣтъ своей литературной дѣятельности, вещи, въ родѣ «Игрока», написаннаго исключи-

тельно потому, что кредиторы брата не давали покоя своими назойливыми приставаніями, — попробуйте выбросить всѣ эти, не скажу даже плохія, а случайныя и второстепенныя по замыслу, по своему авторскому намѣренію, произведенія — и вы получите не больше, но даже меньше того, что дано Гончаровымъ. Повторяю еще разъ, не вслѣдствіе обломовщины, а исключительно вслѣдствіе прямого неумѣнья писать второстепенныя вещи, отъ которыхъ всегда бухнутъ полныя собранія сочиненій другихъ писателей, Гончаровъ, прожившій 79 лѣтъ, написалъ не много для такого долгаго литературнаго вѣка. «Напрасно просили»,—разсказываетъ онъ въ авторской исповѣди:— «моего сотрудничества въ качествѣ рецензента или публициста: я пробовалъ и ничего не выходило, кромѣ блѣдныхъ статей, уступавшихъ всякому бойкому перу привычныхъ журнальныхъ сотрудниковъ».

Но когда этотъ же Гончаровъ въ «Милліонѣ терзаній» взялся хотя и за критическую, но все-таки обширную тему,— за разборъ «Горе отъ ума», то получилась рѣшительно крупная вещь. Въ небольшомъ этюдѣ, на пространствѣ немногихъ страницъ, разсѣяно столько ума, вкуса, глубокомыслія и проницательности, что его нельзя не причислить къ лучшимъ плодамъ творческой дѣятельности Гончарова. Въ немъ брошенъ совершенно новый взглядъ на характеръ Чацкаго, взглядъ, который до извѣстной степени вытѣснилъ прежніе взгляды на Чацкаго Пушкина и Бѣлинскаго.

Итакъ, мы еще разъ наглядно убѣждаемся, до какой степени талантъ Гончарова только тогда и можетъ развернуться во всемъ своемъ объемѣ, когда предъ нимъ какая-нибудь большая задача. Но часто браться за большія задачи нельзя, какъ бы ни былъ великъ запасъ творческихъ силъ.

Принято удивляться Флоберу за необыкновенную тщательность въ обдумываніи и разработываніи своихъ произведеній. Но едва ли цѣною меньшей интенсивности въ работѣ достались Гончарову его произведенія. Въ публикѣ было распространено мнѣніе, что Гончаровъ напишетъ романъ, а потомъ десять лѣтъ отдыхаетъ. Это совершеннѣйшее заблужденіе. Промежутки между появленіями романовъ были наполнены у Гончарова сильнѣйшею, хотя и не осязательною, но все-таки творческой работой. Если его герои такъ выпукло и законченно обрисованы, то только потому, что по десяти и по двадцати лѣтъ вынашивалъ онъ въ душѣ свои образы. «Обломовъ» появился въ 1859 г., но заду-

манъ онъ былъ и набросанъ въ программѣ тотчасъ же послѣ «Обыкновенной исторіи», въ 1847 году. «Обрывъ» напечатанъ въ 1869 г., но концепція его и даже наброски отдѣльныхъ сценъ и характеровъ относятся еще къ 1849 г. Какъ только какой-нибудь сюжетъ завладѣвалъ воображеніемъ нашего писателя, онъ тотчасъ начиналъ набрасывать отдѣльные эпизоды, сценки, характеры, читалъ ихъ своимъ знакомымъ и притомъ не только цѣнителямъ, но и вообще знакомымъ. Все это до такой степени его переполняло и волновало, что онъ «изливался всѣмъ, кому попало», выслушивалъ мнѣнія, спорилъ. Затѣмъ начиналась связная работа. Появляются цѣлыя законченныя главы, которыя даже отдаются въ печать. Такъ, напр., одно изъ центральныхъ мѣстъ «Обломова» — «Сонъ Обломова» появился въ печати десятью годами раньше появленія всего романа (въ «Иллюстрированномъ Альманахѣ» 1849 г., разосланномъ въ видѣ преміи подписчикамъ «Современника»). Отрывки изъ «Обрыва» появились въ свѣтъ за 8 лѣтъ до появленія всего романа. А главная работа тѣмъ временемъ продолжаетъ «идти въ головѣ», и фактъ глубоко любопытный: «лица не даютъ покоя, пристаютъ, позируютъ въ сценахъ». «Я слышу»,—разсказываетъ Гончаровъ: — «отрывки ихъ разговоровъ, и мнѣ часто казалось, прости Господи, что я это не выдумываю, а что это все носится въ воздухѣ около меня и мнѣ только надо смотрѣть и вдумываться». Чтобы оцѣнить все значеніе этого поразительнаго факта, нужно принять во вниманіе крайне ровный, отнюдь не нервный, темпераментъ Гончарова. У Достоевскаго подобныя галлюцинаціи были бы однимъ изъ многочисленныхъ проявленій его болѣзненной психики. Но у Гончарова эти галлюцинаціи — были исключительно результатомъ необыкновенно сильнаго сживанія автора съ создаваемыми имъ лицами. Они до того имъ были обдуманы во всѣхъ деталяхъ, что самый актъ писанія становился для него вещью второстепенною. Годами *обдумывалъ* онъ свои романы, но *писалъ* ихъ недѣлями. Вся вторая часть «Обломова», напр., написана имъ въ пять недѣль пребыванія въ Маріенбадѣ. Гончаровъ писалъ ее, не отходя отъ ола. И это не только съ «Обломовымъ». Какъ только онъ пумъ многолѣтняго обдумыванія окончательно осваивался съ своимъ сюжетомъ, осваивался, такъ сказать, до бреда на-яву, онъ отчасъ брался за работу, и она шла у него живо, бодро, рука ва успѣвала писать.

Неужели все это обломовщина, а не разительный при-

мѣръ необыкновенно законченнаго творчества, плоды котораго появляются на свѣтъ только тогда, когда они окончательно созрѣли?

Такимъ образомъ ходячее представленіе о Гончаровѣ какъ объ Обломовѣ даетъ совершенно ложное представленіе о немъ. Дѣйствительная основа его характера, обусловившая собою и весь ходъ его творчества — вовсе не апатія, а *уравновѣшенность*. Отнюдь не флегматичный, Гончаровъ не отъ душевной вялости былъ такъ размѣренъ въ своихъ чувствахъ, а исключительно потому, что созерцательно-спокойное отношеніе ко всему, что происходитъ, есть органическое свойство такихъ натуръ и исключаетъ всякую стремительность въ какую бы то ни было сторону, хорошую и дурную. Это и сдѣлало его корифеемъ «объективнаго» романа.

Но, безспорно, лучшимъ источникомъ для изученія темперамента нашего писателя можетъ намъ послужить «Фрегатъ Паллада»—книга, являющаяся дневникомъ душевной жизни Гончарова за цѣлыхъ два года, притомъ проведенныхъ при наименѣе будничной обстановкѣ. Путешествіе въ дальнія страны было для Гончарова осуществленіемъ одного изъ самыхъ сильныхъ душевныхъ желаній. Съ самаго ранняго дѣтства, начитавшись путешествій Мунго-Парка, Крашенинникова, Палласа, Кука и множества другихъ, наслушавшись кромѣ того разсказовъ своего крестнаго отца—стараго моряка, Гончаровъ всю жизнь лелѣялъ мечту увидѣть собственными глазами чудеса отдаленныхъ странъ и морей. «Избалованнѣйшій изъ всѣхъ своихъ знакомыхъ городскою жизнью», какъ онъ самъ себя рекомендуетъ въ первой главѣ «Фрегата Паллады», Гончаровъ никогда бы не сталъ хлопотать о томъ, чтобы попасть въ далекую экспедицію адмирала Путятина, если бы это не было осуществленіемъ пламенной грезы дѣтства, «таинственно манившей» его съ первыхъ лѣтъ сознательной жизни самому посмотрѣть «картины тропическихъ лѣсовъ, синяго моря, золотого, радужнаго неба».

И между тѣмъ вспомните общій характеръ «Фрегата Паллады»—этой книги, написанной такъ умно, занимательно, блестяще и вмѣстѣ съ тѣмъ такъ спокойно. Разбросанныя по книгѣ картины тропической природы мѣстами, напримѣръ въ знаменитомъ описаніи заката солнца подъ экваторомъ, возвышаются до истинно-поразительной роскоши красокъ, до истинно-ослѣпительной красоты. Но красоты какой? Спокойной и торжественной. Когда «Паллада» шла Индійскимъ океаномъ, надъ нею разразился

ураганъ «во всей формѣ». Спутники, естественно полагавшіе, что Гончаровъ захочетъ описать такое, хотя и грозное, но вмѣстѣ съ тѣмъ и величественное явленіе природы, звали его на палубу. Но, комфортабельно усѣвшись на одно изъ немногихъ покойныхъ мѣстъ въ каютѣ, онъ не хотѣлъ даже смотрѣть бурю и почти насильно былъ вытащенъ наверхъ.

— Какова картина?—спросилъ его капитанъ, ожидая восторговъ и похвалъ.

— Безобразіе, безпорядокъ,—отвѣчалъ онъ, главнымъ образомъ занятый тѣмъ, что долженъ былъ уйти «весь мокрый въ каюту, перемѣнить обувь и платье».

Любопытно вообще присмотрѣться, чему больше всего удѣлено мѣста въ «Фрегатѣ Палладѣ». Исключите тѣ страницы, которыя посвящены описаніямъ красотъ природы, и вы получите преимущественно жанровыя наблюденія. Куда бы авторъ ни пріѣхалъ, на мысъ Доброй Надежды, въ Сингапуръ, на Яву, въ Японію,—его почти исключительно занимаютъ жанровые типы. Попавъ въ Лондонъ въ день замѣчательно пышныхъ похоронъ герцога Велингтона, взбудоражившихъ всю Англію, онъ «нетерпѣливо ждалъ другого дня, когда Лондонъ выйдетъ изъ ненормальнаго положенія и заживетъ своею обычною жизнью». «Многіе обрадовались бы видѣть такой необыкновенный случай»,—вѣрно замѣчаетъ по этому поводу Гончаровъ:—«но мнѣ улыбался завтрашній будничный день». Точно также «довольно равнодушно» нашъ путешественникъ «пошелъ вслѣдъ за другими въ британскій музеумъ, по сознанію только необходимости видѣть это колоссальное собраніе рѣдкостей и предметовъ знанія». Но его неудержимо «тянуло все на улицу». «Съ неиспытаннымъ наслажденіемъ»,—разсказываетъ далѣе Гончаровъ:—«я вглядывался во все, заходилъ въ магазины, заглядывалъ въ дома, уходилъ въ предмѣстья, на рынки, смотрѣлъ на всю толпу и на каждаго встрѣчнаго отдѣльно. Чѣмъ смотрѣть на сфинксы и обелиски, мнѣ лучше нравится простоять цѣлый часъ на перекресткѣ и смотрѣть, какъ встрѣтятся два англичанина, сначала попробуютъ оторвать другъ у друга руку, потомъ освѣдомятся взаимно о здоровьѣ и пожелаютъ одинъ другому всякаго благополучія; съ любопытствомъ смотрю, какъ столкнутся двѣ кухарки, съ корзинами на плечахъ, какъ несется нескончаемая двойная, тройная цѣпь экипажей, подобно рѣкѣ, какъ изъ нея съ неподражаемою ловкостью вывернется одинъ экипажъ и сольется съ другою нитью, или какъ вся эта цѣпь мгновенно

онѣмѣетъ, лишь только полисменъ съ тротуара подниметъ руку. Въ тавернахъ, въ театрахъ—вездѣ пристально смотрю, какъ и что дѣлаютъ, какъ веселятся, ѣдятъ, пьютъ».

Этотъ необычайный интересъ къ мелочамъ ежедневной жизни и сдѣлалъ изъ Гончарова первокласснаго жанриста.

Вспомнимте, въ заключеніе, вѣчно юную эстетическую примѣту—le style c'est l'homme, и мы получимъ еще одну яркую черту для характеристики уравновѣшенности Гончарова. Слогъ Гончарова удивительно плавенъ и ровенъ, безъ сучка и задоринки. Нѣтъ въ немъ меланхолическихъ тоновъ Тургенева, колоритныхъ словечекъ Писемскаго, нервнаго нагроможденія первыхъ попавшихся выраженій Достоевскаго. Гончаровскіе періоды округлы, построены по всѣмъ правиламъ синтаксиса, и нѣтъ у него своего синтаксиса, своей грамматики, какъ у другихъ писателей нервнаго темперамента. Слогъ Гончарова сохраняетъ всегда одинъ и тотъ же темпъ, не ускоряясь и не замедляясь, не ударяясь ни въ пафосъ, ни въ негодованіе. Словомъ, это такой же «объективный» слогъ, какъ объективно творчество Гончарова, такой же ровный слогъ, какъ ровенъ весь художественный темпераментъ автора «Обыкновенной исторіи»: несомнѣнная красота его напоминаетъ красоту мраморной красавицы Бѣловодовой изъ «Обрыва».

Весь этотъ огромный запасъ художественной безмятежности, нелюбви къ «безпорядку» и предпочтенія обыденнаго экстравагантному не могъ не привести къ тому, что типы Гончарова стоятъ обособленно въ ряду типовъ, созданныхъ другими представителями его литературнаго поколѣнія. Бросимъ общій взглядъ на нихъ и начнемъ съ того общественнаго теченія, которое воспроизведено Гончаровымъ въ «Обыкновенной исторіи».

Эпоха конца тридцатыхъ и начала сороковыхъ годовъ, или—назовемъ ее для краткости—эпоха Бѣлинскаго, въ наше время является синонимомъ идеализма и витанія въ сферахъ абстракціи. Но если вы на нее взглянете съ исторической точки зрѣнія, сравнивъ ее съ предшествовавшимъ періодомъ двадцатыхъ и начала тридцатыхъ годовъ, вы должны будете совершенно иначе отнестись къ ней. *Исторически* главною чертою эпохи Бѣлинскаго является не туманный идеализмъ, а какъ разъ наоборотъ—стремленіе къ реализму, отрѣшеніе отъ прежняго игнорированія жизни, отъ того напыщеннаго риторства, которое составляетъ характерную особенность литературы двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ: Марлинскихъ, Кукольниковъ и имъ подобныхъ.

Исчезаетъ презрѣніе къ живой дѣйствительности, является стремленіе ближе ознакомиться съ жизнью, настоящею жизнью, а не фантомами, созданными разнузданнымъ воображеніемъ романтической школы. Намъ трудно иногда распознать это стремленіе къ реализму. Повѣсти Григоровича, напримѣръ, въ настоящее время считаются въ критикѣ сентиментальными, очень честными по замыслу, но мало реальными по исполненію; его крестьянъ даже не иначе называютъ какъ «пейзанами», желая этимъ сказать, что они мало напоминаютъ заправскихъ русскихъ мужичковъ. Но для своего времени, для литературы, все еще переполненной повѣстями, въ которыхъ фигурировали одни только графы да князья, выражавшіе длиннѣйшими, изысканно-отточенными тирадами изысканно-тонкія и деликатныя чувствованія и ощущенія, для литературы, въ которой Гоголь и его послѣдователи, такъ-называемая «натуральная школа» все еще составляла предметъ суевѣрнаго ужаса, для этой литературы пейзане Григоровича были новшествомъ, шагомъ впередъ по пути къ реализму, рѣшительнымъ стремленіемъ установить живую связь между искусствомъ и дѣйствительностью. Въ той, можно сказать, ярости, съ которою Бѣлинскій преслѣдовалъ Кукольника, и вообще во всѣхъ своихъ нападкахъ на напыщенность и чопорность враждебнаго лагеря, онъ для своего времени являлся знаменосцемъ, провозвѣстникомъ той новой полосы русской литературы, которая поразила Европу своимъ реализмомъ. Тургеневъ, Гончаровъ, Писемскій, Островскій, Некрасовъ, гр. Л. Толстой, Достоевскій — все это умственныя дѣти Бѣлинскаго, которыхъ онъ научилъ уважать и понимать великаго основателя русскаго реализма, Гоголя.

Глубоко былъ правъ, поэтому, Гончаровъ, когда, рѣшивъ отразить въ своемъ первомъ романѣ эпоху 30-хъ и начала 40-хъ годовъ, онъ понялъ ее какъ эпоху «ломки старыхъ понятій и правовъ — сентиментальности, карикатурнаго преувеличенія чувствъ дружбы и любви», какъ эпоху, протестующую противъ прежней «праздности», семейной и домашней лжи, напускныхъ, въ сущности небывалыхъ «чувствъ», противъ прежней «мечтательности и аффектаціи», какъ «зарю чего-то трезваго, дѣлового, нужнаго».

Да, несомнѣнно, эта новая заря занималась, но *занималась она только въ умахъ и сердцахъ*. Жизнь же, реальная дѣйствительность, стояла неподвижно въ старыхъ рамкахъ. Отсюда тотъ трагическій разладъ, который составляетъ основную черту

психологіи наиболѣе выдающихся представителей поколѣнія сороковыхъ годовъ. Лишніе люди, Рудины, Лаврецкіе, Бельтовы, герои Некрасовской «Саши», которые

... по свѣту рыщутъ,
Дѣла себѣ исполинскаго ищутъ,

все это жертвы рокового несоотвѣтствія дѣйствительности и идеала, роковой невозможности сыскать себѣ дѣятельность по душѣ.

Но все это, вмѣстѣ съ тѣмъ, люди, стоящіе на *вершинѣ* духовнаго сознанія своей эпохи, меньшинство, люди, такъ сказать, *необыкновенные*, рядомъ съ которыми должны же были существовать и люди *обыкновенные*. Послѣднихъ-то въ лицѣ Адуева-дяди Гончаровъ и изобразилъ въ своемъ романѣ, при чемъ, однако, нисколько не какъ *противоположность* меньшинству, а какъ людей, примыкающихъ къ новому теченію, но только *безъ стремительности*.

Относительно этого основного намѣренія автора «Обыкновенной исторіи» долго господствовало одно существенное недоразумѣніе. Несмотря на то, что Бѣлинскій при разборѣ «Обыкновенной исторіи» отнесся очень благосклонно къ личности Адуева-дяди и нашелъ въ немъ множество похвальныхъ качествъ, этотъ типъ, ни въ эпоху появленія романа, ни позже, не привлекъ къ себѣ симпатій. За исключеніемъ Бѣлинскаго, большинство критиковъ подозрительно отнеслось къ «положительности» старшаго Адуева. На этой подозрительности сходятся критики самыхъ противоположныхъ лагерей. Писаревъ и Аполлонъ Григорьевъ, А. М. Скабическій и Орестъ Миллеръ—всѣ въ житейской философіи «трезваго» дяди усматриваютъ карьеризмъ по преимуществу. Мало того, даже «Сѣверная Пчела», разбирая въ 1847 году только-что появившуюся «Обыкновенную исторію», сочла нужнымъ сказать нѣсколько словъ въ защиту идеализма отъ «трезваго» взгляда на него чиновнаго дядюшки. Вообще можно сказать, что какъ публика, такъ и критика не видѣла безусловной разницы между нравственною личностью Адуева и Фамусова. Самого автора, поэтому, большинство читателей предпочитало видѣть въ племянникѣ, конечно, до его превращенія въ дядю.

Но съ появленіемъ авторской исповѣди Гончарова («Лучше поздно, чѣмъ никогда») отношеніе къ старшему Адуеву должно

значительно измѣниться. Дѣло въ томъ, что въ этой исповѣди авторъ, комментируя свои творческія намѣренія, прямо заявляетъ, что въ лицѣ Адуева-дяди онъ отнюдь не хотѣлъ вывести типъ отрицательный. Такимъ образомъ, въ пониманіе типа Адуева вносится существенная поправка. Я этимъ не хочу сказать, что поправка должна быть внесена въ *наше* пониманіе типа Адуева. Мы-то, пятьдесятъ лѣтъ спустя, ушедши впередъ въ своихъ идеалахъ, вольны и не усматривать свой идеалъ въ трезвости Адуева и даже относиться къ ней отрицательно. Но если мы хотимъ понять Адуева исторически,—а всякій типъ только и можно вполнѣ понять, когда его разсматриваешь въ связи съ условіями времени,—то мы непремѣнно должны взглянуть на него и сквозь призму авторскихъ намѣреній. И тогда-то намъ станетъ, между прочимъ, понятнымъ благосклонное отношеніе къ Адуеву Бѣлинскаго. Неужели же Бѣлинскій, да еще Бѣлинскій 1846 года, весь переполненный стремленіемъ къ переустройству общества на началахъ высшей гуманности, сталъ бы благосклонно относиться къ родственнику по духу Фамусова?

Нѣтъ, по авторскому намѣренію, Адуевъ-дядя представляетъ собою явленіе прогрессивное. Въ его лицѣ Гончаровъ хотѣлъ отразить первое «мерцаніе сознанія необходимости труда, настоящаго, не рутиннаго, а живого дѣла, въ борьбѣ съ всероссійскимъ застоемъ».

«Въ борьбѣ дяди съ племянникомъ,— читаемъ мы дальше:— отразилась тогдашняя, только-что начинавшаяся ломка старыхъ понятій и нравовъ — сентиментальности, карикатурнаго преувеличенія чувствъ дружбы и любви, поэзіи праздности, семейной и домашней лжи, напускныхъ, въ сущности небывалыхъ чувствъ, пустой траты времени на визиты, на ненужное гостепріимство и т. д., словомъ всей праздной, мечтательной и аффектаціонной стороны старыхъ нравовъ. Все это отживало, уходило: являлись слабые проблески новой зари, чего-то трезваго, дѣлового, нужнаго. Первое, т.-е. старое, исчерпалось въ фигурѣ племянника. Второе, т.-е. трезвое сознаніе *необходимости дѣла, труда, знанія*—выразилось въ дядѣ». Адуевъ, напримѣръ, устраиваетъ заводъ. «Тогда это была смѣлая новизна, чуть-чуть не униженіе; я не говорю о заводчикахъ-барахъ, у которыхъ заводы и фабрики входили въ число родовыхъ имѣній, были оброчныя статьи, которыми они сами не занимались. Тайные совѣтники мало на это рѣшались. Чинъ не позволялъ, а званіе купца не было лестно».

Можно различно отнестись къ этому замѣчательно-характерному сближенію «дѣла» и «дѣловитости», но нельзя не признать, что замыселъ его очень глубокъ. Заслуга или особенность Гончарова въ томъ, что онъ подмѣтилъ эволюцію общественнаго настроенія въ тѣхъ сферахъ, гдѣ стремительные сверстники его усматривали одну пошлость. Они смотрѣли, говоря словами Адуева, только «на небо», а Гончаровъ внимательнѣйшимъ образомъ вглядывался въ землю. Благодаря послѣднему обстоятельству, между прочимъ, такъ превосходны жанровыя картины «Обыкновенной исторіи»: отъѣздъ молодого Адуева изъ деревни, дворня, благородный приживальщикъ Антонъ Ивановичъ, ключница Аграфена, способная выражать свою любовь только колотушками и неистовою бранью,—все это чудесные плоды реализма, которые никогда не перестанутъ входить во всѣ хрестоматіи и которыми Гончаровъ обязанъ исключительно тому, что умственный взоръ его съ особенною охотою останавливается на явленіяхъ жизни большинства.

Двѣнадцать лѣтъ отдѣляютъ первый романъ Гончарова отъ второго. Много за это время воды утекло, большія перемѣны произошли въ русской общественной жизни. Грозный урокъ крымской войны заставилъ всѣхъ встрепенуться, оглянуться на прошедшее и настоящее, чтобы подготовить себѣ лучшее будущее. 1855 годъ становится рубежомъ между старой и новой Россіей. По ту сторону остались стремленія къ обуздыванію всякаго самостоятельнаго проявленія мысли, понятія о государствѣ и обществѣ—какъ о враждебныхъ другъ другу элементахъ. Начинается новая пора русской исторіи, полоса пробужденія общественнаго сознанія и общественныхъ силъ. На арену русской исторіи впервые выступаетъ человѣкъ, *гражданинъ* своей родины, а не чиновникъ, офицеръ, помѣщикъ. Русское общественное мнѣніе вырастаетъ въ своемъ собственномъ уваженіи и въ уваженіи къ нему окружающей среды, а это ведетъ къ цѣлому ряду реформъ, быстро слѣдующихъ одна за другою и создающихъ совершенно иныя условія общественнаго и народнаго быта, болѣе согласныя съ истиннымъ представленіемъ о человѣческомъ достоинствѣ. Наступаетъ, однимъ словомъ, та радостная пора, полная самыхъ свѣтлыхъ надеждъ и упованій, которая не даромъ называется эпохою нашего возрожденія.

Литература, которая въ Россіи болѣе, чѣмъ гдѣ-нибудь, есть выразительница духовныхъ силъ родной земли, ярко отражаетъ собою новое теченіе. Ею овладѣваетъ лихорадочное, страстное

возбужденіе, которое, съ одной стороны, порождаетъ новые таланты, а съ другой — придаетъ новыя силы талантамъ, раньше начавшимъ свою творческую дѣятельность. Въ пятилѣтіе 1855—1860 гг. почти вся плеяда писателей сороковыхъ годовъ достигаетъ апогея развитія своихъ творческихъ способностей. Тургеневъ пишетъ «Рудина», «Дворянское гнѣздо», «Наканунѣ», Гончаровъ—«Обломова», Островскій—«Грозу», Писемскій—«Тысячу душъ», Тютчевъ, Майковъ, Мей, Щербина, Фетъ, Полонскій поютъ лучшія свои пѣсни.

Что составляетъ главное содержаніе художественной литературы этого знаменательнаго пятилѣтія, медоваго мѣсяца новой эры?

Главнымъ образомъ, подведеніе итоговъ прошлому.—Въ воздухѣ носилось нарожденіе совершенно иной поры, иныхъ людей, иныхъ нравовъ. Значитъ, была настоятельная потребность въ суммированіи результатовъ дѣятельности прошлаго поколѣнія, а нетерпѣливая мысль, кромѣ того, побуждала къ гаданіямъ о поколѣніи будущемъ.

Это подведеніе итоговъ и гаданіе о будущемъ шло двумя путями: просто воспроизведеніемъ типовъ отжившаго поколѣнія и затѣмъ путемъ такъ-называемаго «обличенія».

Первымъ путемъ пошелъ Тургеневъ. Рудинъ, Лаврецкій, Михалевичъ послужили надгробными памятниками временъ отходящихъ; Елена, Инсаровъ возвѣщали зарю будущаго.

Мало радости испыталъ при этомъ авторъ. Какое оно тамъ ни было, зарываемое въ землю старое поколѣніе, какъ ни ясны и очевидны были его недостатки, какъ ни отчетливо было сознаніе, что на смѣну ему нарождалось новое, лучшее поколѣніе, а все-таки хоронилось *свое* поколѣніе, погребалась собственная молодость. Глубокая меланхолія, разлитая по «Рудину», «Дворянскому гнѣзду»—этимъ двумъ отходнымъ поколѣнію сороковыхъ годовъ, безысходная грусть, которая слышится въ напутствіи Лаврецкаго грядущимъ молодымъ силамъ,—имѣютъ свой естественный источникъ въ сознаніи, что и авторская жизнь прожита, что и ему самому «время тлѣть».

Совсѣмъ иначе было настроеніе литературы «обличительной». Безпощадно относилась она къ прошедшему и бодро говорила о будущемъ, которое должно вырасти на почвѣ, удобренной гніеніемъ стараго.

Гончаровъ, годами старше Тургенева, какъ это ни странно съ

перваго взгляда, примкнулъ къ бодрому настроенію литературы «обличительной». Онъ хоронилъ «обломовщину» съ такимъ веселымъ чувствомъ, его увѣренность, что на смѣну отжившей обломовщины идетъ новая полоса жизни, была такъ непоколебима, что она была подъ-стать самымъ рьянымъ изъ современныхъ «обличителей», съ такой увѣренностью возвѣщавшихъ наступленіе новыхъ временъ. Въ этомъ, опять-таки, ярко сказался бытописатель жизни большинства, которое въ то время не знало никакого уныния.

Для читателя нашихъ дней лучшую часть «Обломова» составляетъ яркая жанровая колоритность этого лучшаго и наиболѣе знаменитаго изъ произведеній Гончарова. Намъ, отошедшимъ почти на полвѣка отъ треволненій того времени, болѣе всего нравятся мѣста, гдѣ у автора нѣтъ ни малѣйшей охоты что бы то ни было обличить въ Обломовкѣ, гдѣ ни на одинъ уголъ не наложены болѣе густыя или болѣе свѣтлыя краски. Одинаково освѣщенная картина обломовскаго житья-бытья возстаетъ передъ нами, какъ живая, во всей выпуклости своихъ изумительно-схваченныхъ деталей. Но не эпическія совершенства были причиною потрясающаго впечатлѣнія, которое въ свое время произвелъ «Обломовъ»: тайна его колоссальнаго успѣха, повторяемъ, въ условіяхъ той эпохи, въ томъ страстномъ и единодушномъ желаніи порвать всякія связи съ ненавистнымъ прошлымъ, которымъ характеризуются годы, непосредственно слѣдующіе за Крымской кампаніей. Нужно было яркое воплощеніе нашей алатіи, нужна была кличка для обозначенія нашей дореформенной инертности и косности — и она быстро вошла во всеобщій обиходъ, какъ только Добролюбовъ ее формулировалъ въ своей знаменитой статьѣ: «Что такое обломовщина». Современныя свидѣтельства сводятся къ тому, что рѣшительно всякій усматривалъ въ себѣ элементы «обломовщины», всѣмъ казалось, что найдено объясненіе несовершенствъ нашего общественнаго строя, всякій съ ужасомъ отворачивался отъ перспективы столь же безплодно и безславно пройти жизненное поприще, какъ герой Гончаровскаго романа, всякій давалъ клятву истребить въ себѣ всѣ слѣды этого сходства.

Всего десять лѣтъ отдѣляютъ «Обломова» отъ «Обрыва». Но страшная перемѣна произошла за этотъ короткій срокъ въ русскомъ обществѣ. Гордо и задорно выступило новое поколѣніе на арену общественной жизни и въ какіе-нибудь три-четыре года порвало всякія связи съ прошлымъ. Отъ недавняго единодушія

не осталось и малѣйшаго слѣда. Общественная мысль раздѣлилась на рѣзко-враждебныя теченія, не желавшія имѣть что-либо общее другъ съ другомъ, обмѣнивавшіяся угрозами, тяжкими обвиненіями и проклятіями. Поколѣніе, еще такъ недавно считавшее себя носителемъ прогресса, было совершенно оттерто: ему бросали въ лицо упреки въ устарѣлости, отсталости, даже ретроградствѣ. Понятно, что озлобленіе, вызванное этими, въ значительной степени незаслуженными, упреками, было очень велико. Гончаровъ, какъ уже было сказано, никогда не былъ ни либераломъ, ни консерваторомъ, писалъ «объективно» въ то время, когда сверстники его ратовали за поэзію «мести и печали». Но потому-то онъ меньше всего и былъ склоненъ къ снисходительности, когда «Обрывомъ» вмѣшался въ споръ между «отцами» и «дѣтьми».

Руководящая мысль, положенная въ основу романа, получила различное истолкованіе. Въ сферахъ, близкихъ къ «дѣтямъ», на «Обрывъ» взглянули какъ на памфлетъ противъ молодого поколѣнія; въ сферахъ, близкихъ къ «отцамъ», усмотрѣли, напротивъ того, въ Маркѣ Волоховѣ рѣзкое, но вполнѣ вѣрное изображеніе новаго теченія. Есть и среднее мнѣніе, которое утверждаетъ, что Гончаровъ, съ его глубокимъ умомъ, не могъ *все* поколѣніе шестидесятыхъ годовъ олицетворить въ образѣ циничнаго буяна, не гнушающагося для личныхъ своихъ нуждъ выманивать деньги подложнымъ письмомъ. Рѣчь, по этому пониманію «Обрыва», идетъ только о *нѣкоторыхъ* несимпатичныхъ автору элементахъ движенія шестидесятыхъ годовъ. Въ статьѣ: «Лучше поздно, чѣмъ никогда», въ этой своей авторской исповѣди Гончаровъ примкнулъ къ такому толкованію типа Волохова. «Меня крайне удивляло», говоритъ онъ, «какъ могло молодое поколѣніе принять Волохова на свой счетъ, Волоховъ — будто бы новое поколѣніе! То поколѣніе, которое бросилось навстрѣчу реформъ — и туда уложило всѣ силы! Даровитые дѣятели въ крестьянской реформѣ, въ земскихъ дѣлахъ, въ новыхъ судебныхъ учрежденіяхъ, гдѣ успѣли пріобрѣсти громкія имена: неужели это Волоховы! Поколѣніе, которое переполняетъ школы, жадно учится, познаетъ, изобрѣтаетъ, творитъ во всѣхъ отрасляхъ русскаго хозяйства, промышленности, науки, вездѣ пробивая новые пути, вызывая новыя силы! Поколѣніе молодыхъ умовъ и дарованій въ освобожденной прессѣ, сослужившее огромную службу Россіи, угадывая, объясняя и проводя въ массу идеи, виды и цѣли великаго преобразователя! И все это Волоховы! Кому могла придти такая мысль!»

Въ «Обрывѣ» великій жанровый талантъ Гончарова сказался въ лицахъ второстепенныхъ. Бабушка и весь ея антуражъ обрисованы со всею силою изобразительной способности Гончарова. Истиннымъ художественнымъ перломъ является образъ простушки Марѳиньки. Въ галлереѣ русскихъ женскихъ типовъ живой, схваченный во всей своей, если можно такъ выразиться, прозаической поэзіи, портретъ Марѳиньки занимаетъ одно изъ первыхъ мѣстъ.

С. Венгеровъ.

СОЧИНЕНІЯ

И. А. ГОНЧАРОВА.

ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

ЛУЧШЕ ПОЗДНО, ЧѢМЪ НИКОГДА. *)

(КРИТИЧЕСКІЯ ЗАМѢТКИ.)

Я давно положилъ перо и не печаталъ ничего новаго. Такъ думалъ я и закончить свою литературную дѣятельность, полагая, что мое время прошло, а вмѣстѣ съ нимъ «прошли» и мои сочиненія, т.-е. прошла ихъ пора.

Я рѣшился возобновить только изданіе очерковъ кругосвѣтнаго плаванія «Фрегатъ Паллада», по причинамъ, о которыхъ сказано въ предисловіи къ этому изданію. Путешествія въ дальніе концы міра имѣютъ вообще привилегію держаться долѣе другихъ книгъ. Всякое изъ нихъ оставляетъ надолго неизгладимый слѣдъ или колею, какъ колесо, пока дорога не проторится до того, что всѣ колеи сольются въ одинъ общій широкій путь. Кругосвѣтнымъ путешествіямъ еще далеко до того.

Другое дѣло—романы и вообще художественныя произведенія слова. Они живутъ для своего вѣка и умираютъ вмѣстѣ съ нимъ; только произведенія великихъ мастеровъ переживаютъ свое время и обращаются въ историческіе памятники.

---

*) *Мы предпосылаемъ эту критическую статью Гончарова всѣмъ другимъ его сочиненіямъ, потому что она полнѣе и лучше всего выясняетъ основную идею трехъ его капитальныхъ романовъ: «Обыкновенная исторія», «Обломовъ» и «Обрывъ».*

Прим. редакціи.

Прочія, отслуживъ свою службу въ данный моментъ, поступаютъ въ архивъ и забываются.

Я ожидалъ этой участи и для своихъ сочиненій, послѣ того, какъ они выдержали—одни два, другія три изданія, и не располагалъ, и теперь не имѣю въ виду, печатать ихъ вновь.

Но въ публикѣ, гдѣ еще много живыхъ современниковъ моей литературной дѣятельности, нерѣдко вспоминаютъ и о моихъ романахъ, иногда печатно, и очень часто въ личныхъ обращеніяхъ ко мнѣ.

Одни освѣдомляются, отчего нѣтъ моихъ сочиненій у книгопродавцевъ? Другіе лестно упрекаютъ меня, зачѣмъ я не пишу ничего новаго, иногда даже предлагаютъ написать о томъ или о другомъ предметѣ, на ту или другую тему, говоря, что отъ меня будто бы ожидаютъ въ публикѣ еще какого-нибудь произведенія. Третьи — и такихъ болѣе всего — обращаются къ собственному моему взгляду на то или другое, изъ моихъ сочиненій, требуютъ поясненій о томъ, что я разумѣлъ подъ тѣмъ, что хотѣлъ сказать этимъ; кого или что имѣлъ въ виду, изображая такого-то героя или героиню, вымышленны ли эти лица и событія, или дѣйствительно они были и т. д. Этимъ вопросамъ нѣтъ конца!

При этомъ, какъ это случалось почти со всѣми писателями, стараются меня самого подводить подъ того или другого героя, отыскивая меня то тамъ, то сямъ, или угадывая тѣ или другія личности въ герояхъ и героиняхъ. Чаще всего меня видятъ въ Обломовѣ, любезно упрекая за мою авторскую лѣнь и говоря, что я это лицо писалъ съ себя. Иногда же, напротивъ, затруднялись, куда меня дѣвать въ которомъ-нибудь романѣ, напримѣръ, въ дядю или племянника въ «Обыкновенной исторіи».

Иные откровенно выражаютъ мнѣ и порицаніе, за то, за другое, за третье, указываютъ слабыя мѣста, находятъ невѣрности, или преувеличенія, и за все зовутъ меня къ отвѣту. Еще недавно гдѣ-то я видѣлъ въ печати бѣглый критическій очеркъ моихъ сочиненій.

А я все думалъ, что если я уже замолчалъ въ печати самъ, то и другіе поговорятъ-поговорятъ, да и забудутъ меня съ моими сочиненіями, и потому на обращаемые ко мнѣ вопросы отвѣчалъ что̀ приходило въ голову подъ вліяніемъ минуты, личности вопрошателя и другихъ случайностей.

Но вопросы, освѣдомленія, требованія разъясненій и прочее, не только не прекратились, но, напротивъ, съ появленіемъ новаго изданія «Фрегатъ Паллады», усилились. Поспѣшаю прибавить, что я не утомляюсь и не скучаю этимъ, напротивъ, принимаю какъ выраженія лестнаго вниманія. Меня только иногда затрудняютъ отвѣты, которые я долженъ держать всегда, такъ сказать, наготовѣ, на обращаемые ко мнѣ вопросы, причемъ, конечно, неизбѣжно приходится впадать въ постоянныя повторенія.

Чтобы выйти изъ этого положенія отвѣтчика передъ тѣми или другими читателями за свои сочиненія и ходячаго критика послѣднихъ, и разъ навсегда разъяснить свой собственный взглядъ на мои авторскія задачи, я рѣшился напечатать давно праздно лежавшую въ моемъ портфелѣ нижеслѣдующую рукопись.

Этотъ критическій анализъ моихъ книгъ возникъ изъ предисловія, которое я готовилъ-было къ отдѣльному изданію «Обрыва» въ 1870 году, но тогда, по сказаннымъ въ этомъ очеркѣ причинамъ, не напечаталъ. Потомъ въ 1875 г. я опять возвратился къ нему, кое-что прибавилъ и опять отложилъ въ сторону.

Теперь, пробѣгая его вновь, я нахожу, что онъ можетъ служить достаточнымъ, съ моей стороны, разъясненіемъ и отвѣтомъ почти на всѣ обращаемые ко мнѣ съ разныхъ сторонъ и лично, и печатно, вопросы, иногда лестныя, преувеличенныя похвалы, чаще — порицанія, недоразумѣнія, упреки,—какъ относительно общаго значенія моихъ авторскихъ задачъ, такъ относительно и дѣйствующихъ лицъ, подробностей и т. д.

Я отнюдь не выдаю этотъ анализъ своихъ сочиненій за критическій непреложный критерій, не навязываю его никому, и даже предвижу, что во многомъ и многіе читатели, по разнымъ причинамъ, не раздѣлятъ его. Сообщая его, я только желаю, чтобъ они знали, какъ я смотрю на свои романы самъ, и приняли бы его, какъ мой личный отвѣтъ на дѣлаемые мнѣ вопросы, такъ чтобъ затѣмъ не оставалось уже о чемъ спрашивать меня самого.

Ежели читатели найдутъ этотъ мой ключъ къ моимъ сочиненіямъ—невѣрнымъ, то они вольны подбирать свой собственный. Если же бы, противъ моего ожиданія, мнѣ понадобилось издать вновь всѣ мои сочиненія, *то этотъ же анализъ можетъ служить авторскимъ предисловіемъ къ нимъ.*

Я опоздалъ съ этимъ предисловіемъ, скажутъ мнѣ: но если оно не покажется лишнимъ и теперь — то «лучше поздно, чѣмъ никогда»—могу отвѣтить на это.

Со времени появленія романа «Обрывъ» въ 1869 году, мнѣ пришлось прочитать не мало суровыхъ, даже раздражительныхъ приговоровъ въ печати; напротивъ того, въ обществѣ, лично, я встрѣчалъ много сочувствія, выражавшагося въ горячихъ, иногда восторженныхъ, конечно преувеличенныхъ, похвалахъ.

Я получалъ и письма отъ нѣкоторыхъ любителей литературы, наполненныя тѣми же похвалами, которыя всего болѣе относились къ моей «живописи»: и въ «Обрывѣ», и въ другихъ моихъ романахъ находили цѣлыя «галлереи» картинъ, лицъ, портретовъ, за которые хотѣли поставить меня на высокій пьедесталъ въ литературѣ.

Но я, въ отвѣтахъ своихъ и письменно, и устно, уклонялся отъ всякихъ, слишкомъ лестныхъ похвалъ. Эти похвалы имѣли бы для меня гораздо болѣе цѣны, если бы въ моей *живописи*, за которую меня особенно хвалили, найдены были тѣ идеи и вообще все то, что, сначала

инстинктивно, потомъ, по мѣрѣ того, какъ подвигались мои авторскія работы впередъ, замѣтно для меня самого, укладывалось въ написанные мною образы, картины и простыя, несложныя событія.

Иные не находили, или не хотѣли находить въ моихъ образахъ и картинахъ ничего, кромѣ болѣе или менѣе живо нарисованныхъ портретовъ, пейзажей, можетъ-быть, живыхъ копій съ нравовъ—и только.

За что же тутъ хвалить? Развѣ такъ трудно вообще для таланта, если онъ есть, нагромоздить въ кучу лица провинціальныхъ старухъ, учителей, женщинъ, дѣвицъ, дворовыхъ людей и т. п.? Что̀ за заслуга? Все бы это не заслуживало ni excès d'honneur, ni excès d'indignités, которыми, т.-е. послѣдними, меня осыпали не скупо, особенно въ печати.

Только когда я закончилъ свои работы, отошелъ отъ нихъ на нѣкоторое разстояніе и время, — тогда сталъ понятенъ мнѣ вполнѣ и скрытый въ нихъ смыслъ, ихъ значеніе— идея. Напрасно я ждалъ, что кто-нибудь и кромѣ меня прочтетъ между строками и, полюбивъ образы, свяжетъ ихъ въ одно цѣлое и увидитъ, что̀ именно говоритъ это цѣлое? Но этого не было.

Могъ бы это сдѣлать и сдѣлалъ бы Бѣлинскій, но его не было. Потомъ, съ наступленіемъ реформъ, на очередь стали другіе вопросы, важнѣе вопросовъ искусства, и оттѣснили послѣднее на второй планъ. Все молодое и свѣжее поколѣніе жадно отозвалось на зовъ времени и приложило свои дарованія и силы къ злобѣ и работѣ дня. Было не до эстетическихъ критикъ. А тутъ еще вторгнулось въ общество новое явленіе, такъ-называемый *нигилизмъ*, явленіе сложное — и заглушило, на время конечно, чистый вкусъ, здравыя понятія въ искусствѣ, примѣшавъ къ нему Богъ знаетъ что̀. И критика, какъ и само искусство, отъ крупнаго, мыслящаго и осмысливающаго синтеза, перешла къ мелкому анализу.

И въ огромной толпѣ моихъ лицъ, она также погрузилась въ мелкій анализъ ихъ, не добираясь до синтеза. Читатели терялись въ обширной рамкѣ, останавливаясь, то съ одобреніемъ, то съ порицаніемъ, кто передъ *бабушкою,* кто передъ *Марѳинькой,* другіе передъ *Вѣрой,* и почти всѣ—пятились отъ Волохова, находя его «рѣзкимъ, растрепаннымъ», негоднымъ и ненужнымъ въ романѣ. Многіе видѣли въ немъ—будто бы рѣзкую карикатуру на молодое поколѣніе, другіе пожимали плечами, *удивляясь,* какъ я могъ поставить такого урода рядомъ съ чистою, изящною *Вѣрой!* Объ этомъ скажу подробно ниже. И-тѣмъ покончили, сдавъ дѣло въ архивъ.

Больше ничего не видѣли — и замолчали. Молчалъ и я. Мнѣ нечего было дѣлать: нельзя было ходатайствовать за свое *дѣтище,* выводить его въ публику, объявлять, что оно такое-сякое, словомъ, рекомендовать. Я молчалъ потому, что, если не замѣтили и не нашли того другіе, что̀ замѣчаю и нахожу я самъ, значитъ, я—слабый художникъ, и образы, и картины мои не говорятъ ничего, кромѣ того, что говорятъ висящіе по стѣнамъ портреты, красивые или некрасивые, похожіе или непохожіе, съ добрыми, злыми, или гордыми лицами—и больше ничего!

Хорошо еще что хвалили за колоритъ, за вѣрность лицъ, за живость пейзажей—и то слава Богу!

Хотѣлъ-было, однако, я, въ 1870 году, сдѣлать нѣсколько возраженій нѣкоторымъ критикамъ, собственно по поводу *Волохова* и *Вѣры,* защитить ихъ и себя, но раздумалъ, чтобы не напрашиваться на новые, еще болѣе раздражительные отзывы, нежели какіе обращены были ко мнѣ тогда, именно за то, что будто бы я въ Волоховѣ изображалъ представителя новаго поколѣнія! Эти возраженія были предметомъ довольно обширнаго предисловія, которое я намѣревался напечатать при отдѣльномъ изданіи «Обрыва», но отложилъ, говорю я, и возьму оттуда теперь сюда то, что̀ покажется мнѣ умѣстнымъ.

Если молчалъ столько времени — зачѣмъ же теперь принимаюсь самъ объяснять свою книгу или, лучше сказать, свои книги, потому что придется затронуть мимоходомъ и первые два мои романа, говоря о послѣднемъ, ибо, скажу прежде всего, что они, особенно «Обломовъ» и «Обрывъ», *тѣсно и послѣдовательно связаны между собою,* какъ связаны отразившіеся въ нихъ, какъ въ каплѣ воды, періоды русской жизни.

Пишу прежде всего для тѣхъ, не составляющихъ уже теперь большинства въ обществѣ любителей художественной литературы, которые еще нерѣдко продолжаютъ въ разговорахъ со мною обращаться къ «Обрыву» и среди которыхъ найдется болѣе сочувствія и, слѣдовательно, болѣе чуткости, опредѣлительности и безпристрастія въ оцѣнкѣ — и самыхъ образовъ, и того, что они выражаютъ, если они выражаютъ какой-нибудь другой смыслъ, кромѣ портретнаго сходства и яркости кисти. Если и они не найдутъ ничего, тогда я уже и самъ, послѣ опыта, перестану находить ключъ къ моимъ сочиненіямъ.

Стало-быть, прежде всего мнѣ это нужно для повѣрки себя, правъ я или нѣтъ — и если со мной согласятся и другіе и найдутъ, что я — въ значительной степени правъ, тогда, съ объясненіемъ внутренняго значенія моихъ картинъ, объяснится само собою и то, въ чемъ собственно состоитъ заслуга *романиста*, если онъ художникъ.

«*Художникъ мыслитъ образами*», сказалъ Бѣлинскій — и мы видимъ это на каждомъ шагу, во всѣхъ даровитыхъ романистахъ.

Но какъ онъ мыслитъ — вотъ давнишній, мудреный, спорный вопросъ! Одни говорятъ — сознательно, другіе — безсознательно.

Я думаю и такъ, и этакъ: смотря по тому, что преобладаетъ въ художникѣ, умъ или фантазія и такъ-называемое сердце?

Онъ работаетъ сознательно, если умъ его тонокъ, наблюдателенъ и превозмогаетъ фантазію и сердце. Тогда идея нерѣдко высказывается помимо образа. И если талантъ не силенъ, она заслоняетъ образъ и является тенденціею.

У такихъ сознательныхъ писателей умъ досказываетъ, чего не договариваетъ образъ — и ихъ созданія бываютъ нерѣдко сухи, блѣдны, неполны; они говорятъ уму читателя, мало говоря воображенію и чувству. Они убѣждаютъ, учатъ, увѣряютъ, такъ-сказать, мало трогая.

И наоборотъ—при избыткѣ фантазіи и при—относительно меньшемъ противъ таланта—умѣ, образъ поглощаетъ въ себѣ значеніе, идею; картина говоритъ за себя и художникъ часто самъ увидитъ смыслъ—съ помощью тонкаго критическаго истолкователя, какими, напримѣръ, были Бѣлинскій и Добролюбовъ.

Рѣдко, въ лицѣ самого автора, соединяются и сильный объективный художникъ, и вполнѣ сознательный критикъ.

Да не подумаютъ, что я беру такую роль на себя. Единицы такой величины встрѣчаются весьма рѣдко, хотя большая часть извѣстныхъ литераторовъ конечно обладаютъ и значительною степенью критическаго такта.

Почти всѣ они болѣе или менѣе въ состояніи судить и другихъ, и самихъ себя, какъ ни труденъ вообще судъ надъ собою.

Можетъ-быть и у меня найдется нѣкоторая доля критическаго такта — по крайней мѣрѣ мнѣ случается почти всегда вѣрно опредѣлять значеніе литературныхъ произведеній другихъ: почему же я не могу опредѣлить вѣрно кое-что и въ самомъ себѣ? Безъ сомнѣнія, я рискую быть пристрастнымъ—и, пожалуй, впасть въ самообольщеніе и самовосхваленіе. Но тѣ, которымъ я сообщу мои критическія замѣтки о себѣ, конечно укажутъ мнѣ эту смѣшную черту и просвѣтятъ меня на мой счетъ.

Обращаясь къ любопытному процессу сознательнаго и

безсознательнаго творчества, я о себѣ прежде всего скажу, что я принадлежу къ послѣдней категоріи, т.-е. увлекаюсь больше всего (какъ это замѣтилъ обо мнѣ Бѣлинскій) «своею способностью рисовать».

Рисуя, я рѣдко знаю въ ту минуту, что̀ значитъ мой образъ, портретъ, характеръ: я только вижу его живымъ, передъ собою — и смотрю, вѣрно ли я рисую, вижу его въ дѣйствіи съ другими — слѣдовательно, вижу сцены и рисую тутъ этихъ другихъ, иногда далеко впереди, по плану романа, не предвидя еще вполнѣ, какъ вмѣстѣ свяжутся всѣ, пока разбросанныя въ головѣ, части цѣлаго. Я спѣшу, чтобъ не забыть, набрасывать сцены, характеры, на листкахъ, клочкахъ — и иду впередъ какъ будто ощупью, пишу сначала вяло, неловко, скучно (какъ начало въ *Обломовѣ* и *Райскомъ*), и мнѣ самому бываетъ скучно писать, пока вдругъ не хлынетъ свѣтъ и не освѣтитъ дороги, куда мнѣ идти. У меня всегда есть одинъ образъ и вмѣстѣ главный мотивъ: онъ-то и ведетъ меня впередъ—и по дорогѣ я нечаянно захватываю, что̀ попадется подъ руку, т.-е., что близко относится къ нему. Тогда я работаю живо, бодро, рука едва успѣваетъ писать, пока опять не упрусь въ стѣну. Работа, между тѣмъ, идетъ въ головѣ, лица не даютъ покоя, пристаютъ, позируютъ въ сценахъ, я слышу отрывки ихъ разговоровъ — и мнѣ часто казалось, прости Господи, что я это не выдумываю, а что это все носится въ воздухѣ около меня и мнѣ только надо смотрѣть и вдумываться.

Мнѣ, напримѣръ, прежде всего бросался въ глаза лѣнивый образъ *Обломова*—въ себѣ и въ другихъ—и все ярче и ярче выступалъ передо мною. Конечно, я инстинктивно чувствовалъ, что въ эту фигуру вбираются мало-по-малу элементарныя свойства русскаго человѣка — и пока этого инстинкта довольно было, чтобы образъ былъ вѣренъ характеру.

Если бъ мнѣ тогда сказали все, что Добролюбовъ и дру-

гіе и, наконецъ, я самъ потомъ нашли въ немъ — я бы повѣрилъ, а повѣривъ, сталъ бы умышленно усиливать ту или другую черту—и, конечно, испортилъ бы.

Вышла бы тенденціозная фигура! Хорошо, что я не вѣдалъ, что творю!

Въ «Обрывѣ» больше и прежде всего меня занимали три лица: *Райскій, бабушка* и *Вѣра*, но особенно Райскій. Труднѣе всего было мнѣ вдумываться въ этотъ неопредѣленный, туманный еще тогда для меня образъ, сложный, измѣнчивый, капризный, почти неуловимый, слагавшійся постепенно, съ ходомъ времени, которое отражало на немъ всѣ переливы свѣта и красокъ, т.-е. видоизмѣненія общественнаго развитія. Я долженъ былъ его больше, нежели кого-нибудь, писать инстинктомъ, глядя то въ себя, то вокругъ, безпрестанно говоря о немъ въ кругу тогдашнихъ литераторовъ, повѣряя себя, допрашиваясь ихъ мнѣнія, читая имъ на выдержку отдѣльныя главы, объясняя, что будетъ дальше, чтобъ видѣть, какое впечатлѣніе производитъ онъ, и бодрѣе идти впередъ. И это началось съ 1855 года (романъ задуманъ былъ въ 1849 г., когда я, послѣ 14-лѣтняго отсутствія, пріѣхалъ повидаться съ родственниками на Волгу). Тутъ толпой хлынули ко мнѣ старыя, знакомыя лица, я увидѣлъ еще не отжившій патріархальный бытъ, и вмѣстѣ новые побѣги, смѣсь молодого со старымъ. Сады, Волга, обрывы Поволжья, родной воздухъ, воспоминанія дѣтства — все это залегло мнѣ въ голову и почти мѣшало кончать «Обломова», котораго написана была первая часть, а остальныя гнѣздились въ головѣ. Я унесъ новый романъ, возилъ его вокругъ свѣта въ головѣ и въ программѣ, небрежно написанной на клочкахъ—и говорилъ, разсказывалъ, читалъ вслухъ всѣмъ кому попало, радуясь своему запасу.

Кончилъ «Фрегатъ Палладу», кончилъ, въ 1857 году, за границею на водахъ «Обломова» и тогда же, прямо изъ Маріенбада, поѣхалъ въ Парижъ, гдѣ засталъ двухъ-трехъ

пріятелей изъ русскихъ литераторовъ, и прочелъ имъ только-что написанныя въ уединеніи, на водахъ, три послѣднія части «Обломова», за исключеніемъ послѣднихъ главъ, которыя дописалъ въ Петербургѣ, и опять прочелъ ихъ уже тамъ тѣмъ же лицамъ. Послѣ того весь отдался «Обрыву», который извѣстенъ былъ тогда въ кружкѣ нашемъ просто подъ именемъ «Художника».

Приступаю теперь прямо къ тому, что мнѣ видится въ моихъ трехъ романахъ, къ общему ихъ смыслу.

Я упомянулъ выше, что вижу *не три романа, а одинъ*. Всѣ они связаны одною общею нитью, одною послѣдовательною идеею — перехода отъ одной эпохи русской жизни, которую я переживалъ, къ другой—и отраженіемъ ихъ явленій въ моихъ изображеніяхъ, портретахъ, сценахъ, мелкихъ явленіяхъ и т. д.

Прежде всего надо вспомнить и уяснить себѣ слѣдующее положеніе искусства: если образы типичны—они непремѣнно отражаютъ на себѣ — крупнѣе или мельче—и эпоху, въ которой живутъ, оттого они и типичны. То-есть, на нихъ отразятся, какъ въ зеркалѣ, и явленія общественной жизни, и нравы, и бытъ. А если художникъ самъ глубокъ, то въ нихъ проявляется и психологическая сторона. На глубину я не претендую, поспѣшаю замѣтить: и современная критика уже замѣчала печатно, что я не глубокъ.

Я самъ и среда, въ которой я родился, воспитывался, жилъ—все это, помимо моего сознанія, само собою отразилось силою рефлексіи у меня въ воображеніи, какъ отражается въ зеркалѣ пейзажъ изъ окна, какъ отражается иногда въ небольшомъ прудѣ громадная обстановка: и опрокинутое надъ прудомъ небо, съ узоромъ облаковъ, и деревья, и гора съ какими-нибудь зданіями, и люди, и животныя, и суета, и неподвижность — все въ миніатюрныхъ подобіяхъ.

Такъ и надо мною, и надъ моими романами совершался

этотъ простой физическій законъ — почти незамѣтнымъ для меня самого путемъ.

Когда я писалъ «Обыкновенную исторію», я, конечно, имѣлъ въ виду — и себя, и многихъ подобныхъ мнѣ учившихся дома, или въ университетѣ, жившихъ по затишьямъ, подъ крыломъ добрыхъ матерей, и потомъ — отрывавшихся отъ нѣги, отъ домашняго очага, со слезами, съ проводами (какъ въ первыхъ главахъ «Обыкновенной исторіи») и являвшихся на главную арену дѣятельности, въ Петербургъ.

И здѣсь — въ встрѣчѣ мягкаго, избалованнаго лѣнью и барствомъ, мечтателя-племянника съ практическимъ дядей — выразился намекъ на мотивъ, который едва только началъ разыгрываться въ самомъ бойкомъ центрѣ—въ Петербургѣ. Мотивъ этотъ — слабое мерцаніе сознанія необходимости *труда*, настоящаго нерутиннаго, *а живого дѣла*, въ борьбѣ съ всероссійскимъ застоемъ.

Это отразилось въ моемъ маленькомъ зеркалѣ въ среднемъ чиновничьемъ кругу. Безъ сомнѣнія то же—въ такомъ же духѣ, тонѣ и характерѣ, только въ другихъ размѣрахъ, разыгрывалось и въ другихъ, и высшихъ, и низшихъ сферахъ русской жизни.

Представитель этого мотива въ обществѣ былъ дядя: онъ достигъ значительнаго положенія въ службѣ, онъ директоръ, тайный совѣтникъ, и кромѣ того онъ сдѣлался и заводчикомъ. Тогда, отъ 20-хъ до 40-хъ годовъ—это была смѣлая новизна, чуть не *униженіе* (я не говорю о заводчикахъ-барахъ, у которыхъ заводы и фабрики входили въ число родовыхъ имѣній, были оброчныя статьи и которыми они сами не занимались). Тайные совѣтники мало рѣшались на это. Чинъ не позволялъ, а званіе купца—не было лестно.

Въ борьбѣ дяди съ племянникомъ отразилась и тогдашняя, только-что начинавшаяся ломка старыхъ понятій и нравовъ — сентиментальности, карикатурнаго преувеличенія чувствъ дружбы и любви, поэзія праздности, семейная и

домашняя ложь напускныхъ, въ сущности небывалыхъ чувствъ (напримѣръ, любви съ *желтыми цвѣтами* старой дѣвы тётки и т. п.), пустая трата времени на визиты, на ненужное гостепріимство и т. д.

Словомъ, вся праздная, мечтательная и аффектаціонная сторона старыхъ нравовъ, съ обычными порывами юности— къ высокому, великому, изящному, къ эффектамъ, съ жаждою высказать это въ трескучей прозѣ, всего болѣе въ стихахъ.

Все это — отживало, уходило; являлись слабые проблески новой зари, чего-то трезваго, дѣлового, нужнаго.

Первое, т.-е. старое исчерпалось въ фигурѣ племянника— и оттого онъ вышелъ рельефнѣе, яснѣе.

Второе—т.-е. трезвое сознаніе необходимости дѣла, труда, знанія, выразилось въ дядѣ — но это сознаніе только нарождалось, показались первые симптомы, далеко было до полнаго развитія — и понятно, что начало могло выразиться слабо, неполно, только кое-гдѣ, въ отдѣльныхъ лицахъ и маленькихъ группахъ, и фигура дяди вышла блѣднѣе фигуры племянника.

Наденька, дѣвушка, предметъ любви Адуева — вышла также отраженіемъ своего времени. Она уже не безусловно покорная дочь передъ волей какихъ бы ни было родителей. Мать ея слаба передъ ней и едва въ состояніи сохранять только decorum авторитета матери, хотя и увѣряетъ, что *она строга, даромъ, что молчитъ*, и что будто Наденька ни шагу *безъ нея не ступитъ*. Неправда, она сама чувствуетъ, что слаба и слѣпа до того, что допускаетъ отношенія дочери и къ Адуеву, и къ графу, не понимая въ чемъ дѣло.

Дочь нѣсколькими шагами — впереди матери. Она *безъ спросу* полюбила Адуева — и почти не скрываетъ этого отъ матери или молчитъ только для приличія, считая за собою право распоряжаться по-своему *своимъ внутреннимъ міромъ*

и самимъ Адуевымъ, которымъ, изучивъ его хорошо, овладѣла и командуетъ. Это ея послушный рабъ, нѣжный, безхарактерно-добрый, что-то обѣщающій, но мелко-самолюбивый, простой, обыкновенный юноша, какихъ вездѣ—легіонъ. И она приняла бы его, вышла бы замужъ — и все пошло бы обычнымъ ходомъ.

Но явилась фигура графа, сознательно-умная, ловкая, съ блескомъ. Наденька увидала, что Адуевъ не выдерживаетъ сравненія съ нимъ, ни въ умѣ, ни въ характерѣ, ни въ воспитаніи. Наденька въ своемъ быту не пріобрѣла сознанія ни о какихъ идеалахъ мужского достоинства, силы, и какой силы?

Тогда ихъ и не было, этихъ идеаловъ, какъ не было никакой русской, самостоятельной жизни. Онѣгины, и подобные ему, вотъ кто были идеалы, т.-е. франты, львы, презиравшіе мелкій трудъ и не знавшіе, что̀ съ собой дѣлать!

Ея достало разглядѣть только, что молодой Адуевъ — не сила, что въ немъ повторяется все, что она видѣла тысячу разъ во всѣхъ другихъ юношахъ, съ которыми танцовала, немного кокетничала. Она на минуту прислушалась къ его стихамъ. Писаніе стиховъ тогда было дипломомъ на интеллигенцію. Она ждала, что сила, талантъ кроются тамъ. Но оказалось, что онъ пишетъ только сносные стихи, но о нихъ никто не знаетъ, да еще дуется про себя на графа за то, что этотъ простъ, уменъ и держитъ себя съ достоинствомъ. Она перешла на сторону послѣдняго. Въ этомъ пока и состоялъ *сознательный шагъ русской дѣвушки* — безмолвная эмансипація, протестъ противъ безпомощнаго для нея авторитета матери.

Но тутъ и кончилась эта эмансипація. Она *сознала*, но въ *дѣйствіе своего сознанія не обратила*, а остановилась въ *невѣдѣніи*, такъ какъ и самый моментъ эпохи былъ моментомъ невѣдѣнія. Никто еще не зналъ, что̀ съ собой дѣлать, куда идти, что начать? Онѣгинъ и подобные ему

«идеалы» только тосковали въ бездѣйствіи, не имѣя опредѣленныхъ цѣлей и дѣла, а Татьяны не вѣдали.

— «Что же изъ этого будетъ?»—въ страхѣ спрашиваетъ Наденьку Адуевъ:—«графъ не женится?»

— «Не знаю!»—отвѣчаетъ она въ тоскѣ. И дѣйствительно не знала русская дѣвушка, какъ поступить сознательно и раціонально въ томъ или другомъ случаѣ. Она чувствовала только смутно, что ей можно и пора протестовать противъ отдачи *ея замужъ родителями* — и только могла, безсознательно, конечно, какъ Наденька, заявить этотъ протестъ, забраковавъ одного и перейдя чувствомъ къ другому.

Тутъ я и оставилъ Наденьку. Мнѣ она была больше не нужна, какъ типъ, а до нея, какъ до личности, мнѣ не было дѣла.

И Бѣлинскій однажды замѣтилъ это. «Пока ему нужна она, до тѣхъ поръ онъ съ ней и возится!» — сказалъ онъ кому-то при мнѣ:—«а тамъ и броситъ!»

А меня спрашивали многіе, что́ же было съ нею дальше? Почемъ я знаю? Я *рисовалъ не Наденьку, а русскую дѣвушку извѣстнаго круга той эпохи*, въ извѣстный моментъ. Самъ я никакой одной Наденьки лично не зналъ, или зналъ многихъ.

Мнѣ скажутъ, что какъ ея, такъ и другія фигуры блѣдны — и типовъ собой не образуютъ! очень можетъ быть—объ этомъ я спорить не могу. Я только говорю, что́ самъ подъ ними разумѣлъ.

Въ началѣ 40-хъ годовъ, когда задумывался и писался этотъ романъ, я еще не могъ вполнѣ ясно глядѣть въ слѣдующій періодъ, который не наступалъ, но предчувствія котораго жили уже во мнѣ, потому что вскорѣ послѣ напечатанія, въ 1847 году въ «Современникѣ», «Обыкновенной исторіи» — у меня уже въ умѣ былъ готовъ планъ *Обломова*, а въ 1848 г. (или 1849 г.—не помню) я помѣстилъ въ «Иллюстрированномъ Сборникѣ» при «Современникѣ» и

«Сонъ Обломова»—эту увертюру всего романа, слѣдовательно, я переживалъ про себя въ воображеніи и этотъ періодъ — и, благодаря своей чуткости, предчувствовалъ, что̀ слѣдуетъ далѣе. Теперь могу отвѣчать, «что̀ сталось съ Наденькой?»

Смотрите въ «Обломовѣ»—*Ольга* есть превращенная *Наденька* слѣдующей эпохи. Но до этого дойдемъ ниже.

Адуевъ кончилъ, какъ бо̀льшая часть тогда: послушался практической мудрости дяди, принялся работать въ службѣ, писалъ и въ журналахъ (но уже не стихами) и, переживъ эпоху юношескихъ волненій, достигъ положительныхъ благъ, какъ большинство, занялъ въ службѣ прочное положеніе и выгодно женился, словомъ, обдѣлалъ свои дѣла. Въ этомъ и заключается «Обыкновенная исторія».

Она — въ моихъ книгахъ — *первая галлерея*, служащая преддверіемъ къ слѣдующимъ двумъ *галлереямъ* или *періодамъ* русской жизни, уже тѣсно связаннымъ между собою, т.-е. къ «Обломову» и «Обрыву», или къ «Сну» и къ «Пробужденію».

Мнѣ могутъ замѣтить, что задолго передъ этимъ намеки на подобныя же отношенія между лицами, какъ у меня въ «Обломовѣ» и «Обрывѣ», частью въ «Обыкновенной исторіи», есть у нашего великаго поэта Пушкина, напримѣръ, въ Татьянѣ и Онѣгинѣ, Ольгѣ и Ленскомъ и т. д.

На это я отвѣчу прежде всего, что отъ Пушкина и Гоголя въ русской литературѣ теперь еще пока никуда не уйдешь. Школа Пушкино-Гоголевская продолжается доселѣ, и всѣ мы, беллетристы, только разработываемъ завѣщанный ими матеріалъ. Даже Лермонтовъ, фигура колоссальная, весь, какъ старшій сынъ въ отца, вылился въ Пушкина. Онъ ступалъ, такъ-сказать, въ его слѣды. Его *Пророкъ* и *Демонъ*, поэзія *Кавказа* и *Востока* и его романы—все это развитіе тѣхъ образцовъ поэзіи и идеаловъ, какіе далъ Пушкинъ. Я сказалъ въ критическомъ этюдѣ о Грибоѣдовѣ,

«Милліонъ терзаній», что Пушкинъ—отецъ, родоначальникъ русскаго искусства, какъ Ломоносовъ—отецъ науки въ Россіи. Въ Пушкинѣ кроются всѣ сѣмена и зачатки, изъ которыхъ развились потомъ всѣ роды и виды искусства во всѣхъ нашихъ художникахъ, какъ въ Аристотелѣ крылись сѣмена, зародыши и намеки почти на всѣ послѣдовавшія вѣтви знанія и науки. И у Пушкина, и у Лермонтова, вѣетъ одинъ родственный духъ, слышится одинъ общій строй лиры, иногда являются будто одни образы,—у Лермонтова можетъ-быть болѣе мощные и глубокіе; но зато менѣе совершенные и блестящіе по формѣ, чѣмъ у Пушкина. Вся разница въ моментѣ времени. Лермонтовъ ушелъ дальше временемъ, вступилъ въ новый періодъ развитія мысли, новаго движенія европейской и русской жизни и опередилъ Пушкина глубиною мысли, смѣлостью и новизною идей и полета.

Пушкинъ, говорю, былъ нашъ учитель—и я воспитался, такъ-сказать, его поэзіею. Гоголь на меня вліялъ гораздо позже и меньше: я уже писалъ самъ, когда Гоголь еще не закончилъ своего поприща.

Самъ Гоголь, объективностью своихъ образовъ, конечно, обязанъ Пушкину же. Безъ этого образца и предтечи искусства — Гоголь не былъ бы тѣмъ Гоголемъ, какимъ онъ есть. Прелесть, строгость и чистота формы — тѣ же. Вся разница въ бытѣ, въ обстановкѣ, и въ сферѣ дѣйствія— а творческій духъ одинъ, у Гоголя весь перешедшій въ отрицаніе.

Поэтому неудивительно, что черты Пушкинской, Лермонтовской и Гоголевской творческой силы—доселѣ входятъ въ нашу плоть и кровь, какъ плоть и кровь предковъ переходитъ къ потомкамъ.

Надо сказать, что у насъ, въ литературѣ (да, я думаю, и вездѣ), особенно два главные образа женщинъ постоянно являются въ произведеніяхъ слова параллельно, какъ двѣ

противоположности: характеръ положительный—Пушкинская *Ольга*, и идеальный—его же *Татьяна*. Одинъ—безусловное пассивное выраженіе эпохи, типъ, отливающійся, какъ воскъ, въ готовую, господствующую форму. Другой — съ инстинктами самосознанія, самобытности, самодѣятельности. Оттого первый ясенъ, открытъ, понятенъ сразу (Ольга въ Онѣгинѣ, *Варвара въ Грозѣ*). Другой, напротивъ, своеобразенъ, ищетъ самъ своего выраженія и формы, и оттого кажется капризнымъ, таинственнымъ, мало-уловимымъ. Есть они у нашихъ учителей и образцовъ, есть и у Островскаго въ *Грозѣ*—въ другой сферѣ; они же, смѣю прибавить, явились и въ моемъ *Обрывѣ*. Это два господствующіе характера, на которые въ основныхъ чертахъ, съ разными оттѣнками, болѣе или менѣе дѣлятся всѣ женщины.

Дѣло не въ изобрѣтеніи новыхъ типовъ — да коренныхъ общечеловѣческихъ типовъ и немного — а въ томъ, какъ у кого они выразились, какъ связались съ окружающею ихъ жизнью, и какъ послѣдняя на нихъ отразилась.

Пушкинскія *Татьяна* и *Ольга* какъ нельзя болѣе отвѣчали своему моменту. Татьяна, подавленная своей грубой и жалкой средой, также бросилась къ Онѣгину, но не нашла отвѣта и покорилась своей участи, выйдя за генерала. Ольга вмигъ забыла своего поэта и вышла за улана. Авторитетъ родителей рѣшилъ ихъ судьбу. Пушкинъ, какъ великій мастеръ, этими двумя ударами своей кисти, да еще нѣсколькими штрихами—далъ намъ вѣчные образцы, по которымъ мы и учимся безсознательно писать, какъ живописцы по античнымъ статуямъ.

У меня (въ дальнѣйшей противу Онѣгина эпохѣ) и Наденька, и Ольга, или, лучше сказать, *Наденька — Ольга*, (потому что я утверждаю, что это одно лицо въ разныхъ моментахъ) поступила иначе, согласно съ временемъ. Отъ невѣдѣнія Наденьки—естественный переходъ къ *сознательному* замужеству Ольги со Штольцемъ, представителемъ труда, знанія, энергіи—словомъ, силы.

Я не остановлюсь долго надъ «Обломовымъ». Въ свое время его разобрали и значеніе его было оцѣнено, и критикой, особенно въ лицѣ Добролюбова, и публикою, весьма сочувственно.

Воплощеніе сна, застоя, неподвижной мертвой жизни—*переползаніе изо дня въ день*—въ одномъ видѣ и въ его обстановкѣ—было всѣми найдено вѣрнымъ—и я счастливъ.

Я закончилъ свою *вторую* картину русской жизни, *Сна*, нигдѣ не пробудивъ самого героя *Обломова*.

Только Штольцъ время отъ времени представлялъ ему зеркало обломовской бездонной лѣни, апатіи, сна. Онъ истощилъ, вмѣстѣ съ Ольгой, всѣ силы къ пробужденію его—и все напрасно.

Въ послѣднемъ свиданіи со Штольцемъ только вырывается у Обломова нѣсколько сознательныхъ словъ—и напрасно я вставилъ ихъ. Я помѣстилъ ихъ въ концѣ, когда одинъ пріятель, гонявшійся всегда въ произведеніяхъ искусства за сознательною мыслію, но мало вообще доступный непосредственному дѣйствію образа, замѣтилъ мнѣ: «что же онъ, ужели не отзовется на призывъ Штольца?»

Я и вставилъ нѣсколько словъ, изъ которыхъ выглядываетъ сознаніе и самого Обломова.

И образъ его немного, такъ сказать, тронулся отъ этого, немного потерялъ цѣлости характера: въ портретѣ оказалось пятно. Но это, къ счастью, въ самомъ концѣ. Не надо было трогать вовсе. Не даромъ Бѣлинскій, въ своей рецензіи объ «Обыкновенной исторіи», упрекнулъ меня за то, что я тамъ сталъ на «почву сознательной мысли!» Образы такъ образы: ими и надо говорить.

Штольцъ, уходя въ послѣдній разъ, въ слезахъ говоритъ: „*прощай, старая Обломовка: ты отжила свой вѣкъ!*“

И того бы не нужно было говорить. Обломовъ самъ достаточно объясняетъ себя, прося Штольца *уйти, не трогать его*, говоря, что *онъ приросъ одною больною половиною къ старому, отдери—будетъ смерть!*

Этимъ бы и слѣдовало закончить вторую картину *Сонъ*, т. е. непробудимымъ сномъ, потому что далѣе, за *обломовскимъ хребтомъ* (выраженіе Герцена гдѣ-то въ «Колоколѣ»), мнѣ открывалась дальнѣйшая, третья перспектива:—это картина *Пробужденія*.

Я, повторяю, ужъ съ 1849 года носилъ эту толпу лицъ, сценъ, пейзажей, въ памяти и въ программѣ (т. е. «Обрывъ»), набросанной безпорядочно, какъ все это носилось у меня въ головѣ. На первомъ планѣ являлась во весь ростъ *Бабушка*, потомъ *Вѣра*, *Райскій*, послѣ *Марѳинька*, *Козловъ* съ женой (университетскія воспоминанія товарищества), дворня, садъ съ обрывомъ. Все это тѣснилось въ воображеніи и требовало только сосредоточенности уединенія и покоя, чтобы отлиться въ форму романа.

А этого всего было у меня мало, да я все сомнѣвался въ своихъ силахъ, все не довѣрялъ себѣ, все справлялся съ мнѣніемъ и впечатлѣніемъ другихъ, разсказывалъ все до подробности Боткину, Дудышкину, Дружинину, и болѣе всего одному, еще живому литератору, требуя мнѣнія, совѣта, но совѣтовъ ни отъ кого не получалъ, и кончалъ тѣмъ, что приводилъ все медленно, послѣ тщательной отдѣлки, къ концу. Я рѣдко могъ урываться за границу — между службою, свѣтскимъ и всякимъ другимъ бездѣльемъ—и работать. Всего болѣе затрудняла меня архитектоника, сведеніе всей массы лицъ и сценъ въ стройное цѣлое, и вотъ, между прочимъ, причины медленности!

«Что другому стало бы на десять повѣстей», замѣтилъ однажды Бѣлинскій про меня, еще по поводу «Обыкновенной исторіи»,—«у него укладывается въ одну рамку».

Да и періоды, уложившіеся въ эти три рамки, растянулись лѣтъ на тридцать, слѣдовательно, и романы—или отраженія жизни—должны были тянуться параллельно долго.

У меня раскидывался и четвертый періодъ, захватывавшій и современную жизнь, но я оставилъ этотъ планъ, по-

тому что творчество требуетъ спокойнаго наблюденія уже установившихся и успокоившихся формъ жизни, а новая жизнь слишкомъ нова, она трепещетъ въ процессѣ броженія, слагается сегодня, разлагается завтра и видоизмѣняется не по днямъ, а по часамъ. Нынѣшніе герои не похожи на завтрашнихъ и могутъ отражаться только въ зеркалѣ сатиры, легкаго очерка, а не въ большихъ эпическихъ произведеніяхъ.

Прежде чѣмъ перейти къ «Обрыву», скажу нѣсколько словъ о *Штольцѣ* въ «Обломовѣ».

Меня упрекали за это лицо — и съ одной стороны справедливо. Онъ слабъ, блѣденъ—изъ него слишкомъ голо выглядываетъ идея. Это я самъ сознаю. Но меня упрекали, зачѣмъ я ввелъ его въ романъ? Отчего нѣмца, а не русскаго поставилъ я въ противоположность Обломову?

Я могъ бы отвѣтить на это, что изображая лѣнь и апатію во всей ея широтѣ и закоренѣлости, какъ стихійную русскую черту, и только одно это, я, выставивъ рядомъ русскаго же, какъ образецъ энергіи, знанія, труда, вообще всякой силы, впалъ бы въ нѣкоторое противорѣчіе съ самимъ собою, т.-е. съ своею задачей — изображать застой, сонъ, неподвижность. Я разбавилъ бы цѣлость одной, избранной мною для романа стороны русскаго характера.

Но я молча слушалъ тогда порицанія, соглашаясь вполнѣ съ тѣмъ, что образъ Штольца блѣденъ, не реаленъ, не живой, а просто идея.

Особенно, кажется, славянофилы, и за нелестный образъ Обломова, и всего болѣе за нѣмца — не хотѣли меня, такъ сказать, знать. Покойный Ѳ. И. Тютчевъ однажды ласково, съ свойственною ему мягкостью, упрекая меня, спросилъ, «зачѣмъ я взялъ Штольца!» Я повинился въ ошибкѣ, сказавъ, что сдѣлалъ это случайно: подъ руку, молъ, подвернулся!

Между тѣмъ, кажется, помимо моей воли — тутъ ошибки

собственно не было, если принять во вниманіе ту роль, какую играли и играютъ до сихъ поръ въ русской жизни и нѣмецкій элементъ, и нѣмцы. Еще доселѣ они у насъ учители, профессоры, механики, инженеры, техники по всѣмъ частямъ. Лучшія и богатыя отрасли промышленности, торговыхъ и другихъ предпріятій въ ихъ рукахъ.

Это, конечно, досадно, но справедливо—и причины этого порядка дѣлъ истекаютъ все изъ той же *обломовщины* (между прочимъ, изъ крѣпостного права), главный мотивъ которой набросанъ мною въ *Снѣ Обломова*.

Я вижу, однако, что не спроста подвернулся мнѣ нѣмецъ подъ руку—и, должно-быть, тогда (я теперь забылъ) мнѣ противно было брать чисто-нѣмецкаго нѣмца. Я взялъ родившагося здѣсь и обрусѣвшаго нѣмца и нѣмецкую систему неизнѣженнаго, бодраго и практическаго воспитанія.

Обрусѣвшіе нѣмцы (напримѣръ, остзейцы) сливаются, хотя туго и медленно, съ русскою жизнію и — нѣтъ сомнѣнія, сольются когда-нибудь совсѣмъ. Отрицать полезность этого притока посторонняго элемента къ русской жизни — и несправедливо, и нельзя. Они вносятъ во всѣ роды и виды дѣятельности — прежде всего свое терпѣніе, persévérance своей расы, а затѣмъ и много другихъ качествъ, и гдѣ бы ни было—въ арміи, во флотѣ, въ администраціи, въ наукѣ, словомъ, всюду—они служатъ съ Россіей и Россіи, и большею частію становятся ея дѣтьми.

Отвергать ихъ при этихъ условіяхъ, какъ притокъ, сливающійся съ общею рѣкою—было бы такъ же возмутительно-несправедливо съ нашей русской стороны, какъ возмутительно-несправедливо со стороны нѣкоторой партіи остзейскихъ нѣмцевъ, живя въ Россіи, съ русскими, находя въ ней надежную опору своего политическаго существованія и всѣ условія благосостоянія, считать ее чуждою себѣ, своему нѣмецкому духу, пятиться отъ сліянія съ нею и стараться удержать statu quo.

Все это, конечно, минуетъ въ будущемъ, хотя, можетъ-быть, и не очень близкомъ. Закоснѣлость и упрямство нашихъ доморощенныхъ нѣмцевъ уступятъ духу времени, когда они, съ своею мнимою остзейскою цивилизаціею, очутятся позади шагающей впередъ Россіи. И самое славянофильство, оставаясь тѣмъ, что оно есть, т.-е. выраженіемъ и охраненіемъ коренного славяно-русскаго духа, нравственной народной силы и историческаго характера Россіи, будетъ искреннѣе протягивать руку къ всеобщей, т.-е. европейской культурѣ: ибо если чувства и убѣжденія національны, то знаніе—одно для всѣхъ и у всѣхъ.

Обращаюсь къ «Обрыву». Тамъ на первомъ планѣ—*Райскій* и *Бабушка*, потомъ Вѣра, Волоховъ, Марѳинька и Викентьевъ, далѣе учитель Козловъ съ женою, большая дворня и, наконецъ, Тушинъ.

Что же представляетъ эта группа? Ужели ничего больше, кромѣ портретовъ, индивидуальныхъ характеровъ, мало связанныхъ съ общею жизнью извѣстнаго момента?

Такъ иные и смотрѣли. Нѣкоторые упрекали меня, зачѣмъ я такъ пложу и растягиваю тѣ или другія сцены? зачѣмъ обременяю ихъ подробностями? довольно бы-де однимъ намекомъ, нѣсколькими словами, штрихомъ, маленькой сценой—выразить мысль...

Но я выражалъ прежде всего не мысль, а то лицо, тотъ образъ, то дѣйствіе, которое видѣлъ въ фантазіи. Поступи я по совѣту этой критики, у меня не вышло бы ни одной живой и полной фигуры, законченнаго портрета, а вышли бы сухіе рисунки, силуэты, эскизы карандаша. Зачѣмъ же мнѣ карандашъ, если, какъ говорятъ, у меня есть кисть?

Теперь скажу, что̀ я самъ вижу въ этихъ фигурахъ.

Что такое *Райскій?* Да все *Обломовъ*, т.-е. прямой, ближайшій его сынъ, герой эпохи *Пробужденія*.

Обломовъ былъ цѣльнымъ, ничѣмъ неразбавленнымъ выраженіемъ массы, покоившейся въ долгомъ и непробудномъ

снѣ и застоѣ. И критика, и публика находили это: почти всѣ мои знакомые на каждомъ шагу, смѣясь, говорили мнѣ, по выходѣ книги въ свѣтъ, что они узнаютъ въ этомъ героѣ себя и своихъ знакомыхъ.

Райскій—герой слѣдующей, т.-е. *переходной* эпохи. Это проснувшійся *Обломовъ:* сильный, новый свѣтъ блеснулъ ему въ глаза. Но онъ еще потягивается, озираясь вокругъ и оглядываясь на свою обломовскую колыбель.

Что-то пронеслось новое и живое въ воздухѣ, какія-то смутныя предчувствія, потомъ прошли слухи о новыхъ началахъ, преобразованіяхъ; обнаружилось движеніе въ наукѣ, въ искусствѣ; съ профессорскихъ каѳедръ послышались живыя рѣчи. Въ небольшихъ кружкахъ тогдашней интеллигенціи смѣло выражалась передовыми людьми жажда перемѣнъ. Ихъ называли «людьми сороковыхъ годовъ». Райскій—есть, конечно, одинъ изъ нихъ—и, можетъ-быть—что-нибудь и еще.

Райскій — натура артистическая: онъ воспріимчивъ, впечатлителенъ, съ сильными задатками дарованій, но онъ все-таки сынъ Обломова.

Онъ, умомъ и совѣстью, принялъ новыя животворныя сѣмена — но остатки еще не вымершей обломовщины мѣшаютъ ему обратить усвоенныя понятія въ дѣло. Онъ совался туда, сюда — но онъ не былъ серьезно приготовленъ наукой и практикой къ какой-нибудь государственной, общественной, или частной дѣятельности, потому что на всѣхъ этихъ сферахъ еще лежала обломовщина, тихое, монотонное теченіе сонныхъ привычекъ, рутина. Живое дѣло только-что просыпалось. Россія доживала вѣкъ петровскихъ реформъ— и ждала новыхъ.

Райскій мечется, и, наконецъ, благодаря природному таланту или талантамъ, бросается къ искусству: къ живописи, къ поэзіи, къ скульптурѣ. Но и тутъ, какъ гири на ногахъ, его тянетъ назадъ та же «обломовщина».

Нива искусства была такъ же пуста, не воздѣлана, и отдѣльныя, хотя великія явленія въ ней — были случайности. Въ литературѣ почти то же.

Не было цѣлой рати пишущихъ, разсадника, литературной школы, почти не было журналистики; все работало робко, тихо, по уголкамъ. Только огромные таланты Пушкина и Лермонтова являлись отдѣльными яркими звѣздами а кругомъ ихъ почти никого. То же и въ живописи, и въ ваяніи: была и академія, и школа классическая и классная. Не было почвы, кружковъ, общества, которые жили бы однимъ искусствомъ и для искусства, безъ видовъ на карьеру и отличія. Не было частной иниціативы; самобытная русская художническая сила, сквозь обломовщину, не могла прорваться наружу.

Такъ было до нашего времени, до нынѣшняго царствованія. Гоголь, правда, явился прежде, но созданная имъ школа разрослась и утвердилась съ свободой печати, такъ же какъ развилась и журналистика, образовались кружки, партіи и большой кругъ замѣчательныхъ писателей.

Но это все послѣ, а *Райскій* и *Бабушка* явились, повторяю, у меня въ головѣ въ 1849 году. Какъ только я пріѣхалъ на Волгу, на меня, какъ будто сонъ, слетѣлъ весь планъ романа. Я уже разработалъ въ головѣ *Обломова* до конца и въ то же время развязалась у меня въ воображеніи слѣдующая эпоха, и все — и дѣйствіе, и лица, шли — параллельно съ развитіемъ самой жизни. Это, повторяю, мнѣ становилось замѣтно, когда я приходилъ къ концу романа.

Въ Райскаго входили, сначала безсознательно для меня самого, и многія типическія черты моихъ знакомыхъ и товарищей. Въ обществѣ, въ образованной средѣ, побѣги новыхъ, свѣжихъ стремленій, мѣшались и путались еще съ терніями и волчцами обломовщины разнаго рода — и вольной, и невольной, съ разными приманками празднаго житья-

бытья, и съ трудностями упорной борьбы съ старымъ. Застой, отсутствіе спеціальныхъ сферъ дѣятельности, служба, захватывавшая и годныхъ и негодныхъ, и нужныхъ и ненужныхъ, и распложавшая бюрократію, все еще густыми тучами лежали на горизонтѣ общественной жизни: группа новыхъ людей устремилась къ ихъ разсѣянію.

Искусство было все еще роскошью, забавой для богатыхъ, горькою нуждою для бѣдныхъ; литература, за исключеніемъ крупныхъ талантовъ, была дѣломъ подозрительнымъ. За писателями признавалось ихъ значеніе, когда они достигали виднаго положенія въ обществѣ путемъ службы.

И мы всѣ работали какъ-то въ одиночку, тихомолкомъ, съ оглядкой и опаской, и больше изъ нужды.

А кому не было нужды — тѣ дилетантствовали. Напримѣръ, одинъ зналъ отлично технику музыки, былъ меценатъ и другъ всѣхъ иностранныхъ и своихъ знаменитостей, носилъ въ себѣ планы музыкальныхъ серьезныхъ сочиненій, оперъ, можетъ-быть ораторій, симфоній, говорилъ о нихъ съ жаромъ и знаніемъ дѣла. Всѣ ждали отъ него чего-нибудь серьезнаго, а онъ разрѣшился сочиненіемъ одного хорошенькаго романса (гр. Віельгорскій), другой, обладая необыкновенною силою лирическаго паѳоса, написалъ всего десятка два прекрасныхъ стихотвореній (Тютчевъ). И это лучшіе люди извѣстнаго круга. Третій, съ многостороннимъ образованіемъ, большою начитанностью—написалъ нѣсколько легкихъ разсказовъ, гдѣ кроются сѣмена серьезнаго таланта (кн. Одоевскій). Можно много привести примѣровъ въ pendant къ этимъ.

Во всѣхъ родахъ искусства — таланты такихъ Райскихъ не были содержаніемъ и цѣлью жизни, а только средствомъ пріятно проводить время.

Райскій талантливъ — но приготовительная школа для таланта трудная, требующая всего человѣка и для него, выросшаго еще въ періодъ обломовскаго сна, неодолима,—

да и некогда ему было: новая эпоха застала его уже взрослымъ. Онъ бросается къ живописи, отъ живописи къ скульптурѣ, пишетъ романъ, неприготовленный техникой ни къ тому, ни къ другому изъ этихъ искусствъ.

Новыя идеи кипятъ въ немъ: онъ предчувствуетъ грядущія реформы, сознаетъ правду новаго, и порывается ратовать за всѣ тѣ большія и малыя свободы, приближеніе которыхъ чуялось въ воздухѣ. Но только порывается.

Онъ бьется съ Софьей Бѣловодовой, стараясь сломать стѣну великосвѣтской замкнутости, замуровавшейся въ фамильныхъ преданіяхъ рода, въ завѣщанныхъ предками границахъ недоступной гордости, въ приличіяхъ тона, словомъ въ аристократически-обломовской, переходившей по наслѣдству изъ рода въ родъ, неподвижности.

И не успѣваетъ конечно, потому что его вызвала на борьбу корысть, поклоненіе живой красотѣ; ему хочется побѣдить не эти застывшія преданія, феодальную гордость, и вызвать на живое, новое дѣло умъ и духъ Софьи; ему хочется побѣдить только кузину-женщину—для себя. А дѣла, собственной силы, примѣра—онъ не вноситъ въ эту борьбу, и оттого не успѣваетъ.

Онъ, если не спитъ по-обломовски, то едва лишь *проснулся*—и пока знаетъ что̀ дѣлать, *но не дѣлаетъ*.

Онъ раздражался только въ порывахъ къ дѣлу, а болѣе всего поклонялся красотѣ — и съ этой стороны, пожалуй, нѣсколько и тронулъ Софью, но не въ свою пользу. Она морщится при его настояніяхъ о необходимости дѣла, труда, откупается отъ этого деньгами въ пользу бѣдныхъ, но задумывается надъ его горячечными рѣчами о любви и о свободѣ располагать чувствомъ и собой. Потребность этой свободы зашевелилась и въ ней безсознательно, потому что онъ дѣйствовалъ не на сознаніе и убѣжденіе ея, а только на нервы. Она вышла изъ своей роли величавой безупречности, выглянула, насколько могла, за высокія стѣны ве-

ликосвѣтскаго монастыря и сдѣлала *un faux pas*... наединѣ поговорила съ итальянскимъ графомъ, разъ встрѣтилась съ нимъ на прогулкѣ и написала ему простую записку о присылкѣ нотъ... Faux pas! закричала вся клика, привыкшая видѣть ее холодно-безупречною—и только.

Въ ней, при появленіи графа, началъ-было таять ледъ строгаго воспитанія и приличія, но при первой тревогѣ тетокъ, при шопотѣ свѣта, она сейчасъ же одолѣла игру нервовъ.

Здѣсь я долженъ сознаться въ полной своей несостоятельности въ изображеніи фигуры Софьи Бѣловодовой. Я не зналъ тогда вовсе, и теперь мало знаю, кругъ, гдѣ она жила, и тутъ критика вполнѣ права. Это скучное начало, изъ котораго вовсе нехудожественно выглядываетъ замыселъ—показать, какъ отразилось развитіе новыхъ идей на замкнутомъ кругѣ большого свѣта. И ничего, кромѣ претензіи, не вышло изъ этой затѣи.

Кромѣ того меня соблазняла мысль выставить рядъ женскихъ портретовъ. № 1-й вышелъ неудаченъ; 2-й,—умирающей Наташи, писанный какъ и Бѣловодова, въ 50-хъ годахъ — также блѣденъ. Это между прочимъ оттого, что я торопился и смотрѣлъ дальше въ глубину романа, не останавливаясь подолгу на этихъ аксессуарныхъ явленіяхъ. Меня влекли уже близкія мнѣ лица и мѣста, гдѣ я родился и выросъ: и тѣ лица, *бабушки и внучекъ, всего провинціальнаго люда* и дворни—и вся обстановка, по отзывамъ всѣхъ, вышли у меня живѣе.

Тамъ, въ Софьѣ и Наташѣ, было сочиненіе—тутъ я писалъ съ живыхъ лицъ. Къ тому же, въ этотъ промежутокъ времени, отъ 1840—1862 г. (когда я вторично посѣтилъ Волгу), и перо мое конечно значительно должно было созрѣть и укрѣпиться въ работѣ. Кажется въ 1859 или въ 1861 году я помѣстилъ два или три «эпизода изъ жизни Райскаго» въ «Отеч. Запискахъ» и одинъ эпизодъ «Бабушка» въ «Современникѣ».

Если бы русская жизнь не раздвинула, отъ мановенія мощной руки, своихъ рамокъ, — мы всѣ остановились бы на той ступени, на которой остановился Райскій. Подъ него подходили тогда многіе наши интеллигентные люди, считавшіеся передовыми. Ихъ называли романтиками, крайними идеалистами. Они пока еще порывались къ новому, много говорили, ставили себѣ идеалы, бросались отъ одного дѣла къ другому, искали дѣятельности: и туда, въ этотъ періодъ, ушло много растерявшихся втуне талантовъ, не имѣвшихъ опредѣленнаго пути, сознательныхъ цѣлей, и снѣдаемыхъ, и своею собственною, частною, и казенною обломовщиной. Мы всѣ уперлись бы въ стѣну — и продолжали бы писать безсодержательные звучные стихи, или изображать одни и тѣ же явленія текущей, болѣе естественной животной жизни.

Въ Райскомъ, вмѣстѣ съ вліяніемъ на него хода времени и новыхъ событій, я слѣдилъ еще съ большимъ интересомъ—любопытный, психологическій, или физіологическій процессъ проявленія этой подвижной и впечатлительной натуры въ его личной жизни. Именно то́, какъ сила фантазіи въ артистическихъ натурахъ, не направленная на насущное дѣло, на художественныя созданія, бросалась въ самую жизнь, и мелочныя явленія послѣдней наряжала въ свои цвѣта и краски, производя тѣ чудачества, странности, часто безобразія, которыми нерѣдко обильна бываетъ жизнь артистовъ вездѣ.

Праздная фантазія въ такихъ натурахъ чаще всего бросается въ сферу чувствъ, во всѣ виды и роды *любвей*, производя экзальтацію, творя идолы, порождая изъ всего этого какую-то горячку или шутиху, что-то жалкое и смѣшное.

Эти упражненія въ чувствахъ и особенно въ любви, занимали между прочимъ также и значительный излюбленный уголокъ старой обломовщины!

Къ счастію, русское общество охранилъ отъ гибели застоя спасительный переломъ. Изъ высшихъ сферъ правительства блеснули лучи новой, лучшей жизни, проронились въ массу публики, сначала тихія, потомъ явственныя слова о «свободѣ», предвѣстники конца крѣпостному праву. Даль раздвигалась понемногу и открыла свѣтлую перспективу будущаго.

Въ литературѣ смѣлѣе стали раздаваться голоса представителей новыхъ идей.

Конечно и моя мысль, и фантазія прониклись новымъ вѣяніемъ. Я кончилъ «Обломова», и у меня стали шире раздвигаться рамы слѣдующей картины, т. е. «Пробужденія».

Двадцать лѣтъ тянулось писаніе этого романа, — иначе и быть не могло. Онъ писался, какъ тянулся періодъ самой жизни.

Въ «Обрывѣ», на моихъ пигмеяхъ, въ крошечномъ озерѣ, отразилось состояніе броженія, борьба стараго съ новымъ

Я слѣдилъ за отраженіемъ этой борьбы на знакомомъ мнѣ уголкѣ, на знакомыхъ лицахъ.

Слѣдилъ, — говорю я, — надо бы сказать: смотрѣлъ и писалъ, даже не думая, что вбираю въ себя впечатлительнымъ воображеніемъ лица и явленія, окрасившіяся въ краски момента, и такими выдаю ихъ назадъ, т. е. кладу на бумагу. Въ этомъ весь процессъ.

Я самъ не могу смотрѣть на свои романы иначе, какъ въ ихъ послѣдовательной связи. Я жилъ въ трехъ эпохахъ, и онѣ оттиснулись во мнѣ и въ моихъ сочиненіяхъ, въ доступномъ мнѣ быту, насколько у меня хватило силъ и таланта.

Райскій, на родинѣ, объявилъ ту же войну старому, отжившему. Онъ воюетъ съ *Бабушкою*, споритъ, горячится, но любитъ ее, какъ мать; схватывается и съ Марѳинькою, и съ Вѣрою. Но воюетъ также изъ корыстныхъ видовъ съ двумя послѣдними, какъ и съ Бѣловодовой. Воображеніе,

раздраженное ихъ красотою, влечетъ его къ побѣдѣ надъ ними. Но одна обезоруживаетъ его своей дѣтской чистотой, другая—сознательною силою.

Бабушкѣ онъ уступаетъ, потому что и самъ, хотя и воюетъ противъ изнѣженности, барства и стараго быта, но охотно спитъ на мягкой постели, хорошо ѣстъ, и даже, какъ прямой сынъ Обломова, даетъ, ворча, снимать съ себя Егору сапоги (*Обломовъ* требовалъ, чтобы *Захаръ* натягивалъ на него чулки).

Самъ онъ живетъ подъ игомъ еще неотмѣненнаго крѣпостного права, и сложившихся при немъ нравовъ, и оттого воюетъ только на словахъ, а не на дѣлѣ: совѣтуетъ бабушкѣ отпустить мужиковъ на всѣ четыре стороны и предоставить имъ дѣлать, что они хотятъ; а самъ въ дѣло не вмѣшивается, хотя имѣніе—его.

Это колебаніе и нерѣшительность весьма естественны: колебалось все общество русское и всякій его уголокъ. Крупные и крутые повороты не могутъ совершаться какъ перемѣна платья, они совершаются постепенно, пока всѣ атомы броженія не осилятъ—сильные слабыхъ и не сольются въ одно. Таковы всѣ переходныя эпохи.

Мелкая пресса смѣялась когда-то надъ этою постепенностью и насмѣшливо прозвала *постепеновцами* всѣхъ партизановъ этого мудраго закона, дающаго старому отживать свою пору, а новому упрочиваться, безъ насилія, боя и крови.

Я безъ смѣха не могу вспомнить теперь комическаго недоумѣнія нѣкоторыхъ стариковъ при появленіи довольно рѣзкихъ симптомовъ, такъ-называемаго, *нигилизма*. У этихъ стариковъ своего ничего не было, т.-е. того, что называется мыслью и убѣжденіемъ, а между тѣмъ было самолюбіе казаться современными, не отставать отъ прогресса: а какъ распознать, что прогрессъ, что нѣтъ—они не знали, не имѣя подготовки. Проникли въ печать, несмотря на цензуру, нѣ-

которые смѣлые намеки соціальнаго характера, между молодежью произошло какое-то движеніе—и старики оторопѣли, не знали, что говорить объ этихъ книгахъ, о молодежи: порицать или стоять за нее? туда-сюда!

Райскій успѣлъ только сломать одно ветхое, старое дупло, торчавшее втуне, всѣхъ царапавшее и недававшее мѣста новымъ побѣгамъ, именно стараго чиновника, генерала Тычкова.

Здѣсь и *Бабушка* соединилась съ нимъ заодно, и оба однимъ ударомъ уничтожили это сгнившее полѣно. Она—за то, что онъ чинъ безъ заслуги хотѣлъ поставить выше значенія древности рода. Райскій казнилъ его, какъ стараго взяточника, самодура и деспота, всѣмъ навязывавшаго грубо свой отжившій авторитетъ.

И весь уголокъ, оглядѣвшись трезво, созналъ правду въ этомъ фактѣ, прозрѣлъ отъ слѣпого уваженія къ прошлому, ненужному, вредному, и аплодировалъ Райскому.

Бабушка была благосклонно принята всѣми въ публикѣ. Никто ничего не говорилъ противъ ея изображенія, и до меня доходили только похвалы ей.

Но что же такое, въ самомъ дѣлѣ, эта Бабушка?

Сжатый смыслъ всего моральнаго склада этой старухи высказанъ въ самомъ романѣ, на 342 и 343 стр. (изд. 1870 г.). Вотъ этотъ очеркъ.

«Бабушка говоритъ *языкомъ преданій, сыплетъ пословицы, готовыя сентенціи старой мудрости,* но въ новыхъ какихъ-нибудь, неожиданныхъ для нея случаяхъ, *у ней выступали собственныя силы и она дѣйствовала своеобразно.* Сквозь обветшавшую, *негодную мудрость, у ней пробивалась струя здраваго смысла*».

Только она «*пугалась немного* (новаго) и *безпокойно искала подкрѣпить его* бывшими примѣрами» и т. д.

Весь смыслъ ея характера таковъ, что она старуха твердая, властная, упорная, *уступать не любитъ*, хотя

про себя и сознаетъ, что внукъ, Райскій, часто правъ. Но она велитъ ему и тогда молчать, *«молодъ, чтобы перечить бабушкѣ»*,—говоритъ она. Она любитъ, чтобы ей *всѣ повиновались*—и Марѳинька ей милѣе всѣхъ, *потому что она изъ послушанія бабушки не выйдетъ*. Этотъ мотивъ о послушаніи проходитъ черезъ весь романъ въ ея характерѣ. На Вѣру она косится, что та удаляется, едва слушаетъ ея совѣты, и она, поневолѣ, скрѣпя сердце, даетъ ей нѣкоторую свободу.

И всѣхъ, и все въ домѣ она блюдетъ зоркимъ окомъ, и видитъ изъ одного окна—свою деревню, поля, изъ другого—садъ, огородъ и людскія. Ничто не шевельнется въ деревнѣ и домѣ безъ ея спроса, воли и вѣдома. Она хозяйничаетъ и въ полѣ, и въ кладовыхъ; съ мужиками и съ цѣлымъ городомъ держитъ себя гордо и повелительно.

За эти черты и другія, все въ томъ же тонѣ и духѣ, находили портретъ старухи *типичнымъ*.

Но почему же онъ типиченъ и кого напоминаетъ? Я вижу въ немъ что-то близкое и знакомое не мнѣ одному, а всѣмъ намъ.

Я писалъ съ русской старой хорошей *женщины*, или съ русскихъ старыхъ женщинъ стараго добраго времени—коллективно, не думая ни о какой параллели, должно-быть, но она инстинктивно гнѣздилась въ моей головѣ, и когда я уже закончилъ фигуру, оглядѣлъ ее,—у меня, въ концѣ книги, вырвались послѣднія слова, которыми я и кончилъ романъ. Вотъ они:

«За нимъ (Райскимъ, когда онъ былъ въ Италіи) все стояли и горячо звали къ себѣ его три фигуры: его Вѣра, его Марѳинька и Бабушка, а за ними стояла и сильнѣе ихъ влекла къ себѣ еще другая исполинская фигура, *другая великая бабушка—Россія!*»

Вотъ что отразилось, или, если я слабый художникъ и не одолѣлъ образа, то, по крайней мѣрѣ, вотъ что просилось

отразиться въ моей старухѣ, какъ отражается солнце въ каплѣ воды: старая, консервативная русская жизнь!

Не жили ли старыя наши поколѣнія и старшіе, господствовавшіе и управлявшіе нашими судьбами представители этихъ поколѣній, или, лучше сказать, не спали ли они подъ навѣсомъ *старой мудрости*, пробавляясь *преданіями*, хотя и соглашались (какъ *Бабушка* въ спорахъ съ внукомъ) *про себя*, что надо жить иначе, но *боялись, безпокоились*, какъ она, и *пятились* въ страхѣ отъ всего *новаго*, зажимая глаза и, когда нельзя было уйти назадъ, уступали неохотно, и тогда, сквозь обветшавшую, *негодную мудрость, пробивались свѣжія русскія силы здраваго смысла?*

Развѣ мы не пережили этихъ колебаній, страховъ, безпокойствъ пробуждающагося организма, пока всемогущее «*быть посему*» не указало, куда идти всѣмъ дружно, на свѣтъ, къ новымъ и разумнымъ благамъ?

А расплата за этотъ безусловный страхъ всего новаго, за высокомѣріе невѣдѣнія и за слѣпую вѣру въ свою силу— за всѣ старые *грѣхи*—развѣ не отразилось *это* въ самоувѣренности Бабушки, требовавшей повиновенія только своей волѣ, и зажимавшей глаза отъ новаго, вмѣсто того, чтобы подвести Вѣру къ этому новому исподволь и сознательно, чтобы она не обольстилась фальшивымъ блескомъ невѣдомой, будто «новой правды» и «новаго дѣла и счастья» и знала, какъ встрѣтить Волохова?

Развѣ не плакало старое поколѣніе о своихъ «грѣхахъ», какъ *Бабушка* плачетъ надъ своимъ маленькимъ Севастополемъ, разрушенной бесѣдкой на днѣ *Обрыва*?

Оставимъ пока эту параллель, т.-е. Бабушки и стараго русскаго общества: я возвращусь къ ней ниже.

Обращусь отъ синтеза къ анализу.

Что далѣе говорили о другихъ моихъ лицахъ, между прочимъ о Вѣрѣ и Волоховѣ, особенно о послѣднемъ?

Голоса раздѣлились на два хора. Хоръ старшихъ поко-

лѣній пѣлъ: «какъ можно выводить въ романѣ, претендующемъ на художественность, такую грубую, неряшливую фигуру, и сводить ее съ изящной, тонкой фигурой Вѣры?»

Другой хоръ—молодые голоса раздражительно твердили: «это рѣзкія крайности, карикатурный, преувеличенный образъ, униженіе, направленное на молодое поколѣніе» и т. д. Таковъ былъ смыслъ упрековъ съ двухъ сторонъ.

Безпристрастные люди говорили мнѣ съ участіемъ, во-первыхъ, о типичной правдѣ этой фигуры, а позднѣе, во-вторыхъ, о нѣкоторомъ вліяніи будто бы этого типа кое-гдѣ въ обществѣ. Этого слишкомъ много, и я тотчасъ уклонился отъ такой заслуги, взявъ себѣ только правдивость изображенія.

Теперь мы нѣсколько отодвинулись отъ этого явленія и можно всѣмъ быть хладнокровнѣе и безпристрастнѣе. Теперь и я могу объяснить, что̀ я самъ видѣлъ и вижу въ этой фигурѣ.

Тогда, повторяю, я хотѣлъ-было объяснить этотъ типъ въ предисловіи къ отдѣльному изданію *Обрыва*, но въ виду общаго со всѣхъ сторонъ къ нему неблаговоленія, я отложилъ эту мысль — и все предисловіе, до болѣе удобнаго времени.

Еще я долженъ сказать, что въ первоначальномъ планѣ *Обрыва*, набросанномъ въ 1848 и 1850 годахъ, на мѣсто этого рѣзкаго типа, тогда еще не существовавшаго, у меня былъ предположенъ сосланный, по *неблагонадежности*, подъ присмотръ полиціи, выключенный изъ службы, или изъ школы, либералъ, за грубость, за неповиновеніе начальству, за то наконецъ, что споетъ какую-нибудь русскую марсельезу или проврется дерзко про власть. Такихъ бывало не мало, лѣтъ тридцать тому назадъ.

Но какъ романъ развивался вмѣстѣ съ временемъ и новыми явленіями, то и лица, конечно, принимали въ себя

черты и духъ времени событій. Отъ этого и предположенный зародышъ *неблагонадежнаго* превратился къ концу романа уже въ рѣзкую фигуру Волохова, которая появлялась кое-гдѣ въ обществѣ. Въ 1862 году, когда я ѣздилъ вновь по Волгѣ, прожилъ лѣто на родинѣ, былъ въ Москвѣ, мнѣ уже ясно опредѣлилось это лицо.

Меня крайне удивляло, какъ молодое поколѣніе могло принять Волохова на свой счетъ, кромѣ развѣ самихъ Волоховыхъ! Оно, можетъ-быть, вспоминая свои раннія утопіи и увлеченія, думало, вѣроятно, видѣть ихъ нѣкоторое отраженіе въ развитіи мыслей Волохова. Напрасно!

Развѣ только потому оно могло видѣть это, что и Волоховъ говоритъ именемъ правды, разума и свободы: но въ этомъ всѣ сходны съ нимъ: и старые, и новые люди, и консерваторы, и либералы! И только въ этомъ. Кто же отказывался отъ этого въ своихъ убѣжденіяхъ? Но дѣло въ томъ, что Волоховъ заблуждается въ значеніи этихъ понятій и съ гордымъ самоослѣпленіемъ вводитъ въ заблужденіе другихъ, не имѣя подъ собою никакой почвы.

У всѣхъ, самыхъ противоположныхъ лагерей—всегда есть общія точки соприкосновенія, всѣ ратуютъ во имя разума, свободы и правды, всѣ приводятъ это на словахъ, но всѣ разумѣютъ слова по-своему, и оттого употребляютъ различные, часто невѣрные пути.

Волоховъ—будто бы новое поколѣніе! То поколѣніе, которое бросилось навстрѣчу реформъ—и туда уложило всѣ силы!

Даровитые дѣятели въ крестьянской реформѣ, въ земскихъ дѣлахъ, въ новыхъ судебныхъ учрежденіяхъ, гдѣ успѣли пріобрѣсти громкія имена: неужели это Волоховы!

Поколѣніе, которое—прежнюю, автоматическую военную массу—энергически помогло вождю ея, съ чудесною быстротою, преобразить въ современную, осмысленную и грозную силу! Поколѣніе, которое переполняетъ школы, жадно учится,

познаетъ, изобрѣтаетъ, творитъ во всѣхъ отрасляхъ русскаго хозяйства, промышленности, науки, вездѣ пробивая новые пути, вызывая новыя силы! Поколѣніе молодыхъ умовъ и дарованій въ освобожденной прессѣ, сослужившее огромную службу Россіи, угадывая, объясняя и проводя въ массу идеи, виды и цѣли великаго преобразователя!

И все это Волоховы! Кому могла придти такая мысль!

А самая масса общества сверху до низу, вся уходящая въ муравьиную работу, въ бездонные рудники труда, вызваннаго новою жизнію? Ужели и это Волоховы?

Нѣтъ, это не Волоховы, а представители новой «правды», воцарившейся съ освобожденіемъ крестьянъ и съ другими великими реформами, внесшими новую жизнь въ русское общество!

Но въ жизни, рядомъ съ правдой, къ несчастью, гнѣздится и ложь; и представителемъ этой новой лжи являются Волоховы! Вѣдь у меня въ книгѣ есть фигура блѣдная, неясная — намекъ, такъ сказать, но намекъ на настоящее новое поколѣніе, на лучшее его большинство: это Тушинъ или Тушины, начиная съ вершинъ русской лѣстницы и до низу!

Общество уже выкинуло Волоховыхъ изъ своей среды, какъ болѣзненное явленіе.

Пока явленіе не опредѣлилось и не закончилось — колебалось и общество слѣдило, изучало, наконецъ, распознало его, и оно уже исчезаетъ съ лица русской жизни.

Перехожу къ другому хору — старшихъ поколѣній. «Какъ можно, говорили мнѣ, выводить такую грубую, неприглядную фигуру — и ставить съ нимъ рядомъ изящную, чистую Вѣру?»

Почему именно вышла рѣзкая, грубая фигура?

Ужели я, нарисовавъ, какъ говорятъ, цѣлую *галлерею портретовъ*, не умѣлъ бы нарисовать портретъ почище, поприличнѣе?

Но вышелъ ли бы онъ тогда вѣренъ и типиченъ?—спрошу я. Вобралъ ли бы онъ въ себя и выразилъ ли бы что-нибудь общее всему этому явленію, которое разыгралось у насъ? Волоховъ не соціалистъ, не доктринеръ, не демократъ. Онъ радикалъ и кандидатъ въ демагоги: онъ съ почвы праздной теоріи безусловнаго отрицанія готовъ перейти къ дѣйствію—и перешелъ бы, если бъ у насъ могла демагогія выразиться ярче и перейти къ дѣйствію, т.-е. если бы у насъ была возможна широкая пропаганда коммунизма, интернаціональная подземная работа и т. п. *). Онъ и пошелъ бы на это поле работать—искренно, потому что я взялъ не авантюриста, бросающагося въ омутъ для выгоды ловить рыбу въ мутной водѣ, а—съ его точки зрѣнія—честнаго т.-е. искренняго человѣка, не глупаго, съ нѣкоторой силой характера. И въ этомъ условіе успѣха. Не умышленная ложь, а его собственное искреннее заблужденіе только и могли вводить въ заблужденіе и Вѣру, и другихъ. Плута всѣ узнали бы разомъ и отвернулись бы отъ него.

Прибавь я къ этому авторское негодованіе, тогда былъ бы типъ не Волохова, а изображеніе моего личнаго чувства, и все пропало бы. Sine ira — законъ объективнаго творчества.

Точно такъ же, смягчи я этотъ портретъ въ угоду молодымъ голосамъ, не вышло бы героя того явленія, которое разыгралось у всѣхъ на глазахъ!

Онъ или вѣренъ или нѣтъ—дѣйствительности.

Если вѣренъ — то я правъ, и въ этомъ вся заслуга писателя, а тамъ уже дѣло читателей выводить изъ образа свои заключенія.

Теперь слѣдуетъ главный corpus *delicti*: какъ могла влю-

*) Къ несчастью, это оказалось возможнымъ въ извѣстной степени и у насъ, какъ это подтвердилось съ тѣхъ поръ, т.-е. съ 1875 г., когда были писаны эти строки.

биться въ него Вѣра, гордая, тонкая, изящная? Какъ изъ порядочнаго общества могла она уйти въ обрывъ, сблизиться съ такою личностью?

Странный упрекъ!

А вѣдь стоило только оглянуться вокругъ и слегка пробѣжать въ памяти, что̀ всѣ видѣли и пережили въ десятилѣтіе съ 1860 по 1870 годъ, чтобы рѣшить, вѣрно или не вѣрно мое изображеніе.

Мнѣ дѣлали этотъ упрекъ именно *въ то самое время*, когда это явленіе, какъ холера, какъ тифозная горячка, выхватывало изъ нашихъ родныхъ или знакомыхъ семей—жертву за жертвой, и наводило почти панику на общество.

Упрекаютъ за то, что я *записалъ явленіе*, явно совершавшееся, какъ будто небывальщину!

Развѣ женщины пренебрегали сближеніемъ съ этими, оторвавшимися отъ порядка, отъ общества, отъ семействъ, грубоватыми героями «новой силы», «новаго дѣла», идеала какого-то «громаднаго будущаго»?

Развѣ многія изящныя красавицы не пошли съ ними на ихъ чердаки, въ ихъ подвалы, бросивъ, однѣ родителей, другія мужей и—еще хуже—дѣтей?

Сколько было слуховъ о какихъ-то фаланстеріяхъ, куда уходили гнѣздиться разныя Вѣры!

Какія это женщины? скажутъ мнѣ.—Всякія! отвѣчу я.

Не однѣ падшія или готовыя къ паденію бросились въ омутъ—нѣтъ.

Кто изъ насъ не назоветъ примѣра такихъ эмиграцій — изъ почтенныхъ семействъ, отъ образованнаго круга, — на поиски новаго труда, новаго счастья, съ принесеніемъ въ жертву лучшихъ женскихъ качествъ, полученныхъ отъ природы и воспитанія, побѣговъ отъ прямого, скромнаго дѣла и трудныхъ семейныхъ обязанностей?

Сюда не подходятъ, конечно, тѣ серьезныя женщины новаго поколѣнія, которыя, въ самомъ дѣлѣ, хотятъ работать

и которыя, путемъ строгаго, систематическаго образованія, ищутъ усвоить себѣ ту или другую отрасль знанія, профессію, и создаютъ для себя самостоятельную дѣятельность и жизнь. Но тутъ путь дологъ и труденъ, и не всѣ выдерживаютъ его до конца. Тѣ женщины не бѣгаютъ тайкомъ отъ своихъ семей: онѣ открыто идутъ въ открытыя имъ двери учебныхъ заведеній, обществъ, курсовъ, при общемъ участіи и уваженіи. Въ рукахъ этихъ женщинъ — прямое рѣшеніе, такъ-называемаго, женскаго вопроса!

Всѣ, конечно, знаютъ и помнятъ примѣры этихъ эмиграцій — и я зналъ нѣкоторыхъ женщинъ, съ которыхъ до этого «*паденія*» не задумался бы писать свою Вѣру!

Такъ гдѣ же, спрошу и я въ свою очередь, выдумка на молодыя поколѣнія обоего пола?

Я взялъ лучшую изъ женщинъ, которая самостоятельно и гордо, не прибѣгнувъ къ «старой мудрости» Бабушки и не подготовленная этою же Бабушкою, по невѣдѣнію и также по гордости, къ познанію настоящей «новой правды и новой жизни»—пошла сама на свѣтъ и едва не сгорѣла.

«Зачѣмъ вводить это въ романъ?» говорили между прочимъ. «Зачѣмъ писать романъ?» отвѣчу я, «если онъ не долженъ отражать жизни!»

Я писалъ не одного какого-нибудь *Волохова* и не одну *Вѣру*.

«Вѣра пала! какъ можно, какая жалость!» говорили мнѣ въ глаза.

И жаль всѣмъ было моей писанной Вѣры—портрета, но ужели менѣе жаль всѣхъ падшихъ живыхъ *Вѣръ?!*

Въ IV главѣ *пятой* части (2-го тома, со стр. 482—483—до VII-ой главы) находится ключъ къ значенію Вѣры и къ тому, что подготовило ее паденія.

Пала не Вѣра, не личность, пала русская дѣвушка, русская женщина, — жертвой въ борьбѣ старой жизни съ новою: она не хотѣла жить слѣпо, по указкѣ старшихъ. Она

сама знала, что отжило въ старой, и давно тосковала, искала свѣжей, осмысленной жизни, хотѣла сознательно найти и принять новую *правду*, удержавъ и все прочное, коренное, лучшее въ старой жизни. Она хотѣла не разрушенія, а обновленія. Но она «*не знала*», гдѣ и какъ искать. Бабушка берегла ее только отъ болѣзней, отъ явныхъ и извѣстныхъ ей золъ и бѣдъ, и не приготовила ни къ какимъ невѣдомымъ ей самой бѣдамъ.

Въ новомъ другѣ Вѣра думала найти опору, свѣтъ, правду, потому что почуяла въ немъ какую-то силу, смѣлость, огонь,—и нашла ложь, которой, по невѣдѣнію и замкнутости, не распознала сначала, а распознавъ, гордо возмечтала силою любви измѣнить эту новую ложь на свою старую правду и обратить отщепенца въ свою вѣру, любовь и въ свои надежды.

И горько заплатила она за самовольное вкушеніе отъ этого древа познанія зла!

Она воротилась, клоня голову отъ боли и стыда, и пошла къ новой жизни уже другимъ, сознательнымъ путемъ.

До этого я не дописался, оставляя это на долю другимъ, молодымъ и свѣжимъ силамъ.

Повторяю, я не выдумывалъ ничего: сама жизнь писалась у меня, какъ я переживалъ ее и видѣлъ, какъ переживаютъ другіе, такъ она и ложилась подъ перо. Не я, а происшедшія у всѣхъ на глазахъ явленія обобщаютъ мои образы.

Обѣ бабушки — и Татьяна Марковна, и старое русское общество — оплакали свой «старый грѣхъ», разрушившій счастье покоя, тишины и дремоты,—грѣхъ недостатка прозорливости, живой заботливости о новыхъ живыхъ нуждахъ для свѣжихъ и молодыхъ силъ, грѣхъ своего упрямаго и добровольнаго невѣдѣнія, беззаботности, неосновательныхъ страховъ! Онѣ поняли, наконецъ, что жизнь не стоитъ, а вѣчно движется!

Марѳинька и *Викентьевъ*, эта чета не даетъ Бабушкѣ ни горя, ни тревогъ. Послѣдняя знаетъ, что ни та, ни другой, изъ *послушанія ея не выйдутъ* и будутъ жить, какъ она укажетъ. Бабушка цѣнитъ это выше всего.

«*Оставь Марѳиньку!*»—строго говоритъ она (въ X главѣ 3-й части, стр. 118) Райскому, когда онъ вздумалъ, новыми идеалами жизни, смущать ясный міръ ея ума и чувства.—«*Она не будетъ счастлива навязываемымъ тобою счастьемъ, и, стало-быть, будешь деспотомъ ты, а не я*».

И русскія Марѳиньки и Викентьевы никогда не ослушаются бабушки!

Они всегда бодро, рѣзво и послушно, подъ ея глазами, пойдутъ по пути, покоряясь перемѣнамъ, одобреннымъ бабушкою, не нуждаясь ни въ какихъ идеалахъ «новаго счастья», не думая о будущемъ, не скучая жизнью въ своей средѣ!

Эта часть поколѣній, *толпа*, ***большинство***, будетъ жить, плодиться и множиться, и населять Русь, посмѣнно работая, веселясь, подчасъ горюнясь и никогда не терзаясь невѣдомыми ей мучительными вопросами!

И бабушка награждаетъ послушныхъ и добрыхъ дѣтей материнскою заботою о нихъ, наблюдая, чтобъ имъ было вдоволь кушать, мирно спать, весело проводить время, слегка отбывать свой дневной привычный трудъ, получать мѣста, дѣлать карьеру и незамѣтно исчезать, смѣняясь новыми Марѳиньками и Викентьевыми!

Бабушка безъ опасенія даетъ имъ свободу, отпуститъ за Волгу (или за границу), зная, что они придутъ опять подъ ея крыло такими же, и не уйдутъ никогда.

Она, давая свободу, похвасталась, что она будто только, *какъ полицеймейстеръ*, смотритъ, чтобы ***снаружи все шло своимъ порядкомъ, а въ дома не входитъ***, пока не позовутъ! (стр. 119, ч. 3-я, гл. X).

Даже Райскій рукоплещетъ ей за эту свободу!

Неправда! преувеличила, похвасталась она: какъ она ни противилась, но время уже повѣяло и на нее, и она наружно отступилась отъ правъ на *слѣпое послушаніе* и дала свободу, но вмѣстѣ съ этимъ усилила невидимый надзоръ, замѣчая каждый взглядъ, слово, шагъ, прибирая свои *ключи* ко всему. Какъ она тоскуетъ и мечется, какъ допрашиваетъ Райскаго о «новой бѣдѣ», потому что не знала о ней! Если бъ въ Вѣрѣ повторился просто только старый женскій «грѣхъ» Бабушки, и особенно если бы героемъ былъ кто-нибудь ей знакомый—старуха догадалась бы. Она вѣрила Вѣрѣ, потому что знала ее, и не боялась за нее; но она не знала, что̀ такое Волоховъ. Она готовила ее противъ извѣстныхъ соблазновъ, но не могла уберечь противъ невѣдомаго, и научить остеречься!—«Мой грѣхъ, мой грѣхъ!»—стонетъ она.

Вотъ гдѣ смыслъ ошибки обѣихъ женщинъ: въ гордости и невѣдѣніи! Бабушка знала только старую правду и старую ложь, но новой правды боялась и; боясь, не узнала и новой лжи, и не приготовила къ тому и другому и Вѣру. Она хотѣла отдѣлаться невѣдѣніемъ, умышленною слѣпотою, желала бы, чтобы около нея были все Марѳиньки и Викентьевы: но такъ на свѣтѣ не бываетъ. Рядомъ съ Марѳиньками родятся Вѣры; объ руку съ Райскими, Викентьевыми, являются и Волоховы. А она, не только Волохова, она не хотѣла слушать и любившаго ее внука—Райскаго, когда онъ заговаривалъ о новомъ.

Будущій художникъ когда-нибудь скажетъ, какъ встали послѣ горькихъ опытовъ, и до чего возросли русскія Вѣры на пути разумной, сознательной жизни!

Райскій, въ посвященіи къ своему роману (въ концѣ второго тома, пятой части, стр. 650 и 651), дѣлаетъ легкій очеркъ отдаленной будущности русскихъ женщинъ. Это его идеалъ женщины.

«Восхищаясь вашей красотою, вашею исполинскою си-

лою — *женскою любовью*, — пишетъ онъ: — я слабою рукою писалъ женщину; я надѣялся, что вы увидите въ ней отраженіе не одной красоты формъ, но и всей прелести вашихъ лучшихъ силъ.»

«Мы не равны: вы выше насъ, вы — сила; мы — ваше орудіе, мы сдѣлаемъ всю черновую работу; а вы, рождая насъ, берегите насъ, какъ провидѣніе, воспитывайте, учите труду, человѣчности, добру и той любви, которую Творецъ вложилъ въ наши сердца,—и мы пойдемъ за вами туда, гдѣ все совершенно, гдѣ вѣчная красота!»

«То-есть: *создайте насъ вновь для жизни духа, какъ вы создали насъ по плоти*, вотъ гдѣ ваша задача!»

«Мы—творцы въ черной работѣ: въ наукѣ, въ искусствѣ, въ воздѣланіи внѣшней природы: мы — внѣшніе дѣятели. Вы—создательницы и воспитательницы людей, вы—прямое, лучшее орудіе Бога» и т. д.

Райскій вѣритъ этому великому будущему русской женщины, видя какая сила, въ роковой моментъ, встала изъ души сокрушенной старухи.

Если она была сильна своею гордою властью, то, подъ грозою, она нашла еще болѣе силы «нести удары» и страдать съ величіемъ, «не падая во прахъ?»

За эти страницы (502, 503, II тома), гдѣ Бабушка, со стономъ, ходитъ по крутому поволжью, по обрыву, по полямъ, въ какомъ-то забытьи, въ терзаніяхъ за свой «грѣхъ», погубившій, по ея мнѣнію, Вѣру, меня упрекали, какъ за какія-то, будто бы чуждыя русской женщинѣ черты.

Черты величія души, чуждыя русской женщинѣ?!

У меня проведенъ цѣлый рядъ «женскихъ тѣней» въ параллель этой старухѣ, великихъ страдалицъ, жившихъ въ мирной, счастливой средѣ, прежде ничѣмъ особеннымъ не замѣтныхъ, какъ и бабушка, и вдругъ проявлявшихъ великія силы—въ рѣшительныя и грозныя минуты жизни. Новгородская Марѳа, ссыльныя русскія царицы, жены дека-

бристовъ, и другія жертвы рока, которыми не бѣдна и старая, и новая лѣтопись русской жизни.

«Не похоже на деревенскую старуху!»—говорили мнѣ, т.-е. не реально, натянуто, ходульно!

Можетъ-быть, отчасти я это и самъ чувствовалъ, когда писалъ, и оттого вложилъ этотъ очеркъ въ пеструю фантазію Райскаго. Впрочемъ, я не такой поклонникъ реализма, чтобы не допускать отступленій отъ него. Въ угоду реализма пришлось бы слишкомъ ограничивать, и даже совсѣмъ устранять фантазію, впадать, значитъ, въ сухость, иногда въ безцвѣтность, вмѣсто живыхъ образовъ писать силуэты, иногда вовсе отказываться отъ поэзіи, и все во имя мнимой правды! Но вѣдь фантазія, а съ нею и поэзія, даны природой человѣку и входятъ въ его натуру, слѣдовательно, и въ жизнь: будетъ ли правдиво и реально миновать ихъ?

Бабушка перемогла себя, видя страданія слабой Вѣры, спасла ее самоотверженнымъ сознаніемъ стараго «грѣха», но, къ горю своему, увидѣла, что и это не совсѣмъ извлекло ее изъ обрыва.

Она позвала на помощь Тушина, или, лучше сказать, онъ явился самъ, безъ зова, окончательно спасти Вѣру.

Фигура Тушина обрисована у меня въ двухъ-трехъ мѣстахъ (II тома, V глава, стр. 466, 479, далѣе въ гл. XVI и XVIII того же тома).

Это безсознательный новый человѣкъ, какъ его выкроила сама жизнь. Онъ простъ, потому что созданъ такимъ, онъ работаетъ, потому что иначе жизни не понимаетъ, какъ не понимаетъ и того, какъ можно, узнавъ Вѣру, не любить ее. Онъ мудро, т.-е. просто, здравымъ смысломъ, рѣшаетъ вопросы и своей, и чужой жизни, между прочимъ, Бабушки и Вѣры, когда онѣ обратились къ нему, и идетъ по своему пути твердымъ, сознательнымъ шагомъ.

Онъ весь сложился изъ природныхъ своихъ здоровыхъ элементовъ, и изъ обстоятельствъ своей жизни и своего дѣла,

т.-е. долга и труда. Онъ простой, честный, нормальный человѣкъ, понимаетъ и любитъ свое дѣло, къ которому поставила его жизнь. Природа дала ему талантъ быть человѣкомъ — и ему оставалось не портить этого, оставаться на своемъ мѣстѣ. «Почувствовать и удержать въ себѣ красоту природной простоты» — по словамъ Райскаго, въ этомъ и вся его заслуга. Вѣрить въ эту простоту, быть искреннимъ, понимать прелесть правды и жить ею, т.-е. имѣть сердце и дорожить имъ «если не выше, то наравнѣ съ умомъ». Тутъ весь очеркъ его.

Тушинъ давно уже хозяйничаетъ у себя въ имѣніи на раціональныхъ началахъ хозяйства и строгой справедливости, и онъ любитъ свое дѣло, и всѣ новыя идеи и преобразованія застали его готовымъ.

На этомъ сильномъ, простомъ человѣкѣ основались надежды Бабушки окончательно извлечь Вѣру изъ бездны ея горя—и подать ей руку на остальной путь!

И онъ сталъ, «какъ каменная стѣна», и оградилъ ее отъ всякихъ обрывовъ.

«Дайте мнѣ Вѣру, — говоритъ онъ въ слезахъ отчаянія (II томъ, стр. 626 и 627):—я перенесу ее черезъ обрывъ. Она укроется подъ моей защитой отъ всякихъ грозъ и забудетъ обрывы. Вѣдь если лѣсъ мѣшаетъ идти впередъ, его вырубаютъ, моря переплываютъ и прорываютъ горы, и все идутъ смѣлые люди впередъ!»

Да, впередъ, на настоящее *новое* дѣло: это не обломовскій сонъ и не волоховское безпочвенное блужданіе!

И Райскій, вглядѣвшись въ него, рѣшилъ, что *Тушины* наша настоящая *партія дѣйствія*, наше прочное *будущее*: когда настанетъ настоящее *дѣло*, явятся, вмѣсто утопистовъ, *работники—Тушины* «на всей лѣстницѣ русскаго общества» (II т., гл. XVIII).

Нарисовавъ фигуру Тушина, насколько я могъ наблюсти новыхъ серьезныхъ людей, я сознаюсь, что я не докончилъ,

какъ художникъ, этотъ образъ — и остальное (именно въ XVIII главѣ II тома) договорилъ о немъ въ намекахъ, какъ о представителѣ настоящей *новой силы* и *новаго* дѣла—уже обновленной тогда (въ 1867 и 1868 г., когда дописывались послѣднія главы) Россіи.

Рисовать, сказалъ я выше, трудно и, по-моему, просто нельзя, съ жизни, еще не сложившейся, гдѣ формы ея не устоялись, лица не наслоились въ типы. Никто не знаетъ, въ какія формы дѣятельности и жизни отольются молодыя силы юныхъ поколѣній, такъ какъ сама новая жизнь окончательно не выработала новыхъ окрѣпшихъ направленій и формъ. Можно въ общихъ чертахъ намекать на идею, на будущій характеръ новыхъ людей, что я и сдѣлалъ въ Тушинѣ. Но писать самый процессъ броженія нельзя: въ немъ личности видоизмѣняются почти каждый день — и будутъ неуловимы для пера.

Меня упрекали, зачѣмъ я написалъ отрицательный образъ Волохова—и не далъ противоположнаго образца въ новомъ поколѣніи. На это можно сказать многое. Скажу, прежде всего, что послѣ Гоголя мы въ искусствѣ не сошли съ пути отрицанія, между прочимъ и потому, что художнику легче даются отрицательные образы. Самъ Гоголь пробовалъ, во 2-й части «Мертвыхъ душъ», написать положительный образъ и потерпѣлъ неудачу. А другіе и подавно: въ послѣднее время ни у кого не вышло въ этомъ родѣ ничего художественнаго. Притомъ, это старый упрекъ, который дѣлали тому же Гоголю: «зачѣмъ въ «Ревизорѣ» или «Мертвыхъ душахъ» не вывелъ онъ ни одного хорошаго человѣка?» На такіе вопросы нечего сказать!

Если я отрицательно отнесся къ Райскому, къ Бабушкѣ, даже къ Марѳинькѣ и Вѣрѣ—то почему же я терялъ право на отрицательный пріемъ въ отношеніи Волохова! Но я и въ немъ нашелъ положительную черту—искренность, за что мнѣ и досталось отъ старыхъ поколѣній!

Этого Тушина, говорю я, позвала Бабушка на помощь— и онъ сослужитъ ей службу, какъ и всѣ честные, здоровые члены новыхъ поколѣній, всѣ Тушины, сослужатъ службу Россіи, разработавъ, довершивъ и упрочивъ ея преобразованіе и обновленіе.

Нужно ли въ заключеніе объяснять значеніе второстепенныхъ лицъ романа: Козлова съ женой, мимоходомъ выглянувшаго чиновника изъ семинаристовъ Опенкина, типъ стараго русскаго маркиза, остатокъ прошлаго вѣка, Тита Никоныча, друга Бабушки, наконецъ, пеструю толпу русской крѣпостной дворни?

Въ учителѣ Козловѣ мелькнуло мнѣ лицо русскаго ученаго—труженика, съ намекомъ на участь русской науки въ обломовскомъ обществѣ. Не имѣя подъ ногами и вокругъ никакой почвы, около — никакой сферы, никакого кружка для плодотворнаго развитія науки—онъ, забытый, загнанный въ глушь, безъ книгъ, безъ денегъ, бьется и влачитъ жалкое, скудное существованіе—среди равнодушныхъ къ наукѣ людей. Въ немъ теплится искра любви къ знанію, но—какъ въ степи—нѣтъ ей пищи, ни посѣва, ни полива, некуда бросить сѣмянъ—и они глохнуть въ немъ самомъ; а любящее сердце избрало кумиромъ ничтожество, идола, созданнаго безхарактерностью среды, безъ образа. Это его жена. Весь умъ его просился въ науку, все любящее сердце отдалось этой жалкой подругѣ. Ни тамъ, ни сямъ—онъ не нашелъ отвѣта, сгорѣлъ и угасъ одиноко, въ чистомъ пламени своей любви!

Въ лицѣ стараго чиновника изъ семинаристовъ, Опенкина, подвернулся мнѣ подъ руку одинъ изъ безчисленныхъ образчиковъ пьянства, типъ русскаго человѣка, утопившаго въ винѣ все свое, и прошлое, и будущее, всю жизнь, большею частію тирана своей семьи и бремя для цѣлаго круга, гдѣ онъ живетъ. А гдѣ онъ не живетъ! Этотъ штрихъ русской жизни почти неизбѣженъ во всякой картинѣ нравовъ! Легкою тѣнью прошелъ онъ и у меня въ романѣ.

Въ дворнѣ меня самого особенно занимала крѣпостная Мессалина Марина и угрюмый, сосредоточенный ея мужъ. Это, какъ я припоминаю самъ и другіе, бывшіе въ 1849 г. на Волгѣ и близко знакомые съ домомъ моихъ родныхъ — живые, дѣйствительные портреты тогдашней дворни, какъ и лакей Егоръ. Еще болѣе въ самой Бабушкѣ, и во внучкахъ ея, какъ я увидѣлъ послѣ, вкрались нѣкоторыя свѣтлыя, лучшія черты близкихъ мнѣ лицъ, конечно, не цѣликомъ, а типично, при совершенномъ различіи въ событіяхъ и смыслѣ романа.

При обзорѣ отношеній мужскихъ характеровъ къ женскимъ—во всемъ романѣ, я не могу не видѣть, въ каждомъ изъ нихъ, особеннаго вида или рода, словомъ характеристики привязанностей. Напримѣръ, преобладаніе фантазіи, артистическаго и нервнаго влеченія въ склонностяхъ Райскаго ко всѣмъ его идоламъ. Въ противоположность ему — въ Тушинѣ—отношеніе къ Вѣрѣ носитъ чистый и глубокій, осмысленный и сознательный характеръ человѣческой привязанности, не подавляемой ни чувственностью, ни мелкимъ самолюбіемъ; эта привязанность возникаетъ въ немъ изъ самыхъ капитальныхъ свойствъ его личности и личности Вѣры. Она сильна, несокрушима: онъ мужественно выноситъ «ошибку», «несчастіе» Вѣры, какъ онъ называетъ ея паденіе, передъ которымъ не устояла бы другая, менѣе глубокая и сознательная страсть.

Затѣмъ глубокая же, сосредоточенная, но чисто животная до жестокости, также неразрушимая страсть, въ грубой, невоздѣланной натурѣ серьезнаго и тупого Савелья, къ его желтоглазой, невѣрной женѣ.

Далѣе, взаимная, веселая и ясная, какъ весна, любовь Викентьева и Марѳиньки, внушенная и лелѣемая самою природою, какъ любовь птицъ, осмысленная ихъ свѣтлымъ, естественнымъ взглядомъ на жизнь и другъ на друга.

Наконецъ, кроткая, безусловная нѣжность болѣзненной,

хрупкой Наташи, которую надломила и свела въ могилу не одна обманутая любовь, но вообще суровое дыханіе жизни. Это райская птица, которая и могла только жить въ своемъ раю, подъ тропическимъ небомъ, подъ солнцемъ, безъ зимъ, безъ вѣтровъ, безъ хищныхъ когтей.

Все то, что пишу теперь — повторяю я — не представлялось мнѣ такъ ясно и отчетливо, какъ я увидѣлъ послѣ, закончивъ послѣдній свой романъ. Бѣлинскій справедливо придавалъ огромное значеніе художественному инстинкту. Образы, а вмѣстѣ съ ними и намеки на ихъ значеніе, въ зародышѣ, присутствовали во мнѣ и инстинктивно руководили моимъ перомъ.

Такимъ образомъ, какъ ни скромна степень художественности моего дарованія, но и во мнѣ сказался необъяснимый процессъ творчества, т.-е. невидимое для самого художника, инстинктивное воплощеніе перомъ-кистью тѣхъ или другихъ эпохъ жизни, которыхъ судьба поставила его участникомъ или свидѣтелемъ. Всего страннѣе, необъяснимѣе кажется въ этомъ процессѣ то, что иногда мелкія, аксессуарныя явленія и детали, представляющіяся въ дальней перспективѣ общаго плана отрывочно и отдѣльно, въ лицахъ, сценахъ, повидимому не вяжущихся другъ съ другомъ, потомъ какъ будто сами собою группируются около главнаго событія и сливаются въ общемъ строѣ жизни! Точно какъ будто дѣйствуютъ тутъ, еще неуловленныя наблюденіемъ, тонкія, невидимыя нити или, пожалуй, магнетическіе токи, образующіе морально-химическое соединеніе невещественныхъ силъ (какое происходитъ съ вещественными силами).

Къ этому загадочному, пока еще не разъясненному, но любопытному явленію въ области творчества, можно отнести и духовное, наслѣдственное сродство, какое замѣчается между творческими типами художниковъ, начиная съ Гомеровскихъ, Эзоповскихъ, потомъ Сервантесовскаго героя,

Шекспировскихъ, Мольеровскихъ, Гётевскихъ и проч., и проч. до типовъ нашего Пушкина, Грибоѣдова и Гоголя включительно.

Этотъ міръ творческихъ типовъ имѣетъ какъ будто свою особую жизнь, свою исторію, свою географію и этнографію, и когда-нибудь, вѣроятно, сдѣлается предметомъ любопытныхъ историко-философскихъ критическихъ изслѣдованій. Донъ-Кихотъ, Лиръ, Гамлетъ, леди Макбетъ, Фальстафъ, Донъ-Жуанъ, Тартюфъ и другіе, уже породили, въ созданіяхъ позднѣйшихъ талантовъ, цѣлыя родственныя поколѣнія подобій, раздробившихся на множество брызгъ или капель. И въ новое время обнаружится, напримѣръ, что множество современныхъ типовъ въ родѣ Чичикова, Хлестакова, Собакевича, Ноздрева, и т. д. окажутся разнородностями развѣтвившагося генеалогическаго дерева Митрофановъ, Скотининыхъ, и, въ свою очередь, расплодятся на множество другихъ и т. д. И мало ли что̀ открылось бы въ этихъ богатыхъ и не тронутыхъ рудникахъ!

Но оставимъ это духовное сродство типовъ: я, съ своими героями, не прошусь на Олимпъ. Я просто объясняю свой взглядъ на собственныя мои сочиненія и жалѣю, если мнѣ не удалось выразить того въ нихъ и другихъ, что̀ вижу самъ.

Можетъ-быть и оттого, между прочимъ, мои лица не кажутся другимъ такими, какими я разумѣлъ ихъ, что всѣ эти портреты, типы—слишкомъ мѣстные, вышедшіе изъ небольшого приволжскаго угла, и потому не всѣмъ, живущимъ на разбросанныхъ пространствахъ Россіи, близко извѣстны, и, наконецъ, развѣ и потому еще, что въ нихъ сквозитъ много близкаго и родного автору, и замѣтно пробивается кровная его любовь къ нимъ.

Да, можетъ-быть, и такъ: дѣйствительно много личнаго, интимнаго, т.-е. своего, и себя самого, вложено авторомъ туда!

Недаромъ въ одной, писанной за границею, на французскомъ языкѣ, исторіи новой русской литературы, сказано (сколько я помню, не имѣя книги подъ рукою), между прочимъ, обо мнѣ, что я писалъ сердцемъ, а сознательный умъ, идею авторъ приписываетъ другимъ, и ставитъ это въ искусствѣ выше образа, живописи и прочее. Словомъ, авторъ клонитъ свою критику въ сторону реализма.

Конечно, реализмъ есть одна изъ капитальныхъ основъ искусства, но только не тотъ реализмъ, который проповѣдуетъ новѣйшая школа за границею, и отчасти у насъ!

Кто же отвергаетъ рекомендуемое ею стремленіе къ правдѣ — и въ искусствѣ, и въ жизни? Сами же эти реалисты сознаютъ, что Гомеръ, Сервантесъ, Шекспиръ, Гёте и другіе, а у насъ, прибавимъ отъ себя, Фонвизинъ, Пушкинъ, Лермонтовъ, Гоголь, стремились къ правдѣ, находили ее въ природѣ, въ жизни, и вносили въ свои произведенія. Стало-быть это далеко не новое.

Надо слѣдовать одной природѣ, не нужно вымысловъ, небывалаго, преувеличеній, ходуль, натяжекъ, словомъ, никакой лжи! провозглашаютъ нео-реалисты. И, конечно, они правы, если подъ вымысломъ разумѣютъ выдумки небывалаго или невозможнаго въ природѣ и въ жизни. Но то же самое говорили и дѣлали и до нихъ, хотя бы въ русской натуральной школѣ, опередившей появленіемъ французскую.

Чего же еще хотятъ новые реалисты, присвоивая себѣ господство въ искусствѣ, и въ этомъ, и чуть ли не во всѣ послѣдующіе вѣка?

Они, сколько можно понять, кажется, претендуютъ на тѣ же пріемы и пути, какими изслѣдуетъ природу и идетъ къ истинѣ наука, и отрицаютъ въ художественныхъ поискахъ правды такія пособія, какъ типичность, юморъ, отрицаютъ всякіе идеалы, не признаютъ нужною фантазію и т. д.

Вотъ до чего договорились!

Пишу одну природу и жизнь, какъ онѣ есть! говорятъ

они! Но вѣдь стремленіе къ идеаламъ, фантазія—это тоже органическія свойства человѣческой природы. Вѣдь правда въ природѣ дается художнику только путемъ фантазіи!

Ученый ничего не создаетъ, а открываетъ готовую и скрытую въ природѣ правду, а художникъ создаетъ подобія правды, т.-е. наблюдаемая имъ правда отражается въ его фантазіи, и онъ переноситъ эти отраженія въ свое произведеніе. Это и будетъ художественная правда.

Слѣдовательно, художественная правда и правда дѣйствительности — не одно и то же. Явленіе, перенесенное цѣликомъ изъ жизни въ произведеніе искусства, потеряетъ истинность дѣйствительности и не станетъ художественною правдою. Поставьте рядомъ два-три факта изъ жизни, какъ они случились, выйдетъ невѣрно, даже неправдоподобно.

Отчего же это? Именно оттого, что художникъ пишетъ не прямо съ природы и съ жизни, а создаетъ правдоподобія ихъ. Въ этомъ и заключается процессъ творчества!

Вѣдь это все азбука эстетики, но передѣлать этой азбуки, какъ и самаго искусства, нельзя.

Пособіемъ художника всегда будетъ фантазія, а цѣлью его, хотя и несознательною, пассивною, или замаскированною, стремленіе къ тѣмъ или другимъ идеаламъ, хоть бы, напримѣръ, къ усовершенствованію наблюдаемыхъ имъ явленій, къ замѣнѣ худшаго лучшимъ.

И это лучшее и будетъ идеаломъ, отъ котораго не отдѣлаться художнику, особенно когда у него, кромѣ ума, есть и сердце.

Нео-реалисты пробуютъ приложить свою теорію къ искусству и даютъ намъ, иногда, и въ живописи, и въ искусствѣ слова, свои снимки будто бы съ природы и съ жизни, сдѣланные «умомъ»: но эти попытки пока ограничились сухими, блѣдными и... скучными произведеніями, пожалуй, ума, но никакъ не искусства, если не разумѣть подъ искусствомъ одну технику.

Эти снимки никогда не замѣнятъ картинъ, освѣщенныхъ лучами фантазіи, полныхъ огня, трепета и горячаго дыханія жизни. Писать художественныя произведенія только умомъ—все равно, что требовать отъ солнца, чтобы оно давало лишь свѣтъ, но не играло лучами—въ воздухѣ, на деревьяхъ, на водахъ, не давало бы тѣхъ красокъ, тоновъ и переливовъ свѣта, которые сообщаютъ красоту и блескъ природѣ! Развѣ это реально?

И что такое умъ въ искусствѣ? Это умѣнье создать образъ. Слѣдовательно, въ художественномъ произведеніи одинъ образъ уменъ—и чѣмъ онъ строже, тѣмъ умнѣе. Однимъ умомъ въ десяти томахъ не скажешь того, что сказано десяткомъ лицъ въ какомъ-нибудь «Ревизорѣ»!

Это правда, что романъ захватываетъ все: въ него прячется памфлетъ, иногда цѣлый нравственный или научный трактатъ, простое наблюденіе надъ жизнью или философское воззрѣніе, но такіе романы (или просто книги) ничего не имѣютъ общаго съ искусствомъ. Романъ—какъ картина жизни—возможенъ только при вышеизложенныхъ условіяхъ, не во гнѣвъ будь сказано новѣйшимъ реалистамъ!

Гоголь, безспорно, — реалистъ: у кого найдешь больше правды въ образахъ? Но онъ, смѣша и «смѣясь, невидимо плакалъ»: оттого въ его сатиры и улеглась вся безконечная Русь своею отрицательною стороною, со своею плотью, кровью и дыханіемъ.

Какой отрадной теплотой дышатъ его созданія отъ этого юмора, подъ которымъ прячутся его «невидимыя слезы» и котораго нѣтъ у псевдо-реалистовъ, а есть холодная иронія, продуктъ, пожалуй, ума: они, кажется, ее только одну и допускаютъ въ искусствѣ! Но она никогда не замѣнитъ юмора.

Природа слишкомъ сильна и своеобразна, чтобы взять ее, такъ сказать, цѣликомъ, помѣряться съ нею ея же силами и непосредственно стать рядомъ; она не дастся. У

нея свои слишкомъ могучія средства. Изъ непосредственнаго снимка съ нея выйдетъ жалкая, безсильная копія. Она позволяетъ приблизиться къ ней только путемъ творческой фантазіи.

Иначе было бы слишкомъ просто быть художникомъ. Стоило бы только, по совѣту одного лица, въ «Разъѣздѣ» Гоголя, сѣсть у окна, да записывать, что̀ дѣлается на улицѣ, и вышла бы комедія или повѣсть.

Замѣчательно, что нѣкоторые изъ героевъ дня, ставшихъ во главѣ новѣйшаго реализма въ искусствѣ, обязаны были лучшими своими произведеніями именно тѣмъ могучимъ орудіямъ искусства: фантазіи, юмору, типичности, словомъ—поэзіи, отъ которыхъ отрекаются теперь.

Кстати о типичности. Новая реальная школа, сколько можно понять, кажется, отвергаетъ и ее. Это уже значитъ—замахиваться не на одну, такъ-называемую «романтическую школу», а на Шекспира, Сервантеса, Мольера! Кому какое дѣло было бы, напримѣръ, до полоумныхъ Лира и Донъ-Кихота, если бъ это были портреты какихъ-то чудаковъ, а не типы, т.-е. зеркала, отражающія въ себѣ безчисленныя подобія—въ старомъ, новомъ и будущемъ человѣческомъ обществѣ?

Нѣтъ, напрасно будетъ пророчить себѣ этотъ новый родъ реализма долгій вѣкъ, если онъ откажется отъ пособія фантазіи, юмора, типичности, живописи, вообще поэзіи, и будетъ пробавляться однимъ умомъ, безъ участія сердца!

Написалъ ли бы, безъ всего этого, и между прочимъ безъ сердца, Грибоѣдовъ свою, горячо любимую имъ Москву, въ «Горѣ отъ ума», Пушкинъ—своего «Онѣгина»? Гоголь, не говоря уже о его картинахъ малороссійской природы и жизни, даже въ своихъ реальныхъ «Мертвыхъ Душахъ», не создалъ бы этихъ дышащихъ жизнью Коробочекъ, Маниловыхъ, Собакевичей? Не могъ бы равнодушный человѣкъ писать такими живыми красками, говорить этими образами, такъ близко намъ, какъ будто мы живемъ среди ихъ!

Другой огромный талантъ — Островскій, безъ любви къ каждому камню Москвы, къ каждому горбатому переулку, къ каждому москвичу, шевелящемуся въ своей кучѣ сора и хлама, создалъ ли бы весь этотъ чудный міръ, съ его духомъ, обычаемъ, дѣлами, страстями, — безъ этой любви, которая сквозитъ въ его изображеніяхъ царей, Мининыхъ, Брусковыхъ, ихъ женъ, дѣтей, свахъ и проч.? Отъ этого, въ его безконечныхъ галлереяхъ, и является вся Великая Россія «во-очью», что она писалась фантазіею, юморомъ и любовью, разсыпалась на безчисленныя разновидности типовъ, характерныхъ, всѣмъ знакомыхъ сценъ, именно потому всѣмъ знакомыхъ, что они воздавались художническою поэтическою кистью, а не просто копировались съ жизни.

И Тургеневъ, создавшій, въ «Запискахъ Охотника», рядъ живыхъ миніатюръ крѣпостного быта, конечно, не далъ бы литературѣ тонкихъ, мягкихъ, полныхъ классической простоты и истинно-реальной правды, очерковъ мелкаго барства, крестьянскаго люда и неподражаемыхъ пейзажей русской природы, если бъ съ дѣтства не пропитался любовью къ родной почвѣ своихъ полей, лѣсовъ, и не сохранилъ въ душѣ образа страданій населяющаго ихъ люда!

Графъ Левъ Толстой — безспорно великій реалистъ, въ лучшемъ смыслѣ слова, пишетъ конечно съ натуры, особенно въ послѣднемъ своемъ произведеніи. Онъ по-своему понялъ, о чемъ хлопочутъ новые реалисты, и, обладая тѣмъ, чего имъ недостаетъ, преподалъ манеру, какъ можно, творчески, силою фантазіи, стать очень близко къ природѣ и правдѣ. Какою нѣжною теплотой окружаетъ онъ нѣкоторыя свои лица, напримѣръ, своего героя Левина съ женой, или эту мягкую, развалившуюся отъ заботъ житейскихъ, добрую Облонскую, бѣдную грѣшницу Каренину, дѣтей, потомъ деревню, поля, охоты и все, что онъ любитъ, съ чѣмъ сжился и чѣмъ пропитался! Все это не мѣшаетъ строгой объективности въ немъ, какъ, напримѣръ, теплый

воздухъ и игра солнечныхъ лучей не мѣшаютъ вѣрности рисунка въ пейзажѣ.

Даже такіе, особые, не входящіе въ этотъ кругъ, своеобразные таланты, какъ Достоевскій и Щедринъ — не могли бы, силою одного холоднаго анализа, находить правды жизни—одинъ въ глубокой, никому, кромѣ его, не достигаемой пучинѣ людскихъ золъ, другой въ мутномъ потокѣ мелькающихъ передъ нимъ безобразій. Одинъ содрогается и стонетъ самъ — содрогается отъ ужаса и боли его читатель, точно такъ же, какъ этотъ читатель злобно хохочетъ съ авторомъ надъ какой-нибудь «современной идилліей», или внезапно поблѣднѣетъ передъ образомъ «Іудушки».

Подъ этой мрачной скорбью одного и горячей злобой другого—кипятъ свои «невидимыя слезы», прячется своя любовь, которая, вмѣстѣ съ другими силами творчества, лежитъ въ основѣ талантовъ всѣхъ этихъ звѣздъ первой величины.

Не было бы ничего этого у нихъ, если бъ они были только покойные, объективные наблюдатели правды! Всѣ эти, вмѣстѣ взятыя силы, только и ведутъ къ истинной «правдѣ» въ искусствѣ!

Да, много хочетъ и далеко зашелъ новѣйшій реализмъ! Тамъ, куда онъ мѣтитъ, одного ума мало: въ искусствѣ умъ долженъ быть въ союзѣ съ фантазіей.

А безъ этого пусть разгораются негодованіемъ на зло, пусть стремятся служить «злобамъ дня» — ничего, кромѣ претензій, т. е. тенденцій, не будетъ.

Поэтому пора бы оставить въ покоѣ ничего не выражающую фразу «искусство для искусства». Этимъ грѣхомъ, между прочимъ, еще не такъ давно упрекали почти всѣхъ нашихъ писателей, даже, кажется, и Пушкина!

Что-нибудь одно: или у писателя нѣтъ таланта — и онъ пишетъ только для искусства писать: но тогда не было бы никакой живописи, никакихъ живыхъ лицъ и ничего бы не выходило.

А если признаютъ талантъ, а съ нимъ и живопись, тогда послѣдняя что-нибудь да выражаетъ. Живой, т. е. правдивый образъ всегда говоритъ о жизни, все равно о какой.

«Намъ до той или другой жизни дѣла нѣтъ: — все въ искусствѣ должно служить дѣлу, моменту, «злобѣ дня»,— проповѣдуютъ ультро-реалисты.

Но вѣдь этакъ пришлось бы ограничить жизнь суетливымъ перебѣганьемъ отъ одной дневной заботы къ другой. Куда же дѣвать всѣ другія, безчисленныя, и мрачныя, и свѣтлыя стороны жизни, картины не однихъ политическихъ, соціальныхъ, но и общечеловѣческихъ, разнороднѣйшихъ страстей, интересовъ, суетъ, волненій и горячекъ, скорбей и радостей? Вѣдь жизнь — это безпредѣльное и глубокое море: его не исчерпаешь и не направишь въ одно какое-нибудь узкое русло, а съ нимъ и искусство, ея вѣрное отраженіе!

Лучше бы ужъ называть — «искусство безъ искусства», какъ остроумно, и совершенно основательно, выразился однажды, кажется, «Вѣстникъ Европы», говоря по какому-то поводу о тенденціозныхъ произведеніяхъ.

На скользкой почвѣ крайняго реализма пробовали свои силы и серьезные таланты, но эти попытки оказались безплодны и не прибавили (если только не убавили) ни одного листка къ ихъ лавровому вѣнку.

Нѣтъ—будемъ держаться школы старыхъ учителей и идти проложеннымъ ими путемъ, не отказываясь, конечно, отъ истинныхъ, законныхъ развитій, новыхъ шаговъ въ искусствѣ, хоть бы отъ того же самаго реализма, когда эти шаги не будутъ pas de géants, и когда онъ откажется отъ претензіи колебать основные законы искусства!

Въ нашемъ вѣкѣ намъ далъ образецъ художественнаго романа общій учитель романистовъ — это Диккенсъ. Не одинъ наблюдательный умъ, а фантазія, юморъ, поэзія, любовь, которой онъ, по его выраженію, «носилъ цѣлый

океанъ» въ себѣ — помогли ему написать всю Англію, съ живыхъ, безсмертныхъ типахъ и сценахъ.

Отъ всѣхъ громкихъ этихъ именъ перехожу опять къ себѣ и доскажу послѣднія слова о своихъ сочиненіяхъ.

Нѣкоторые старались доказывать, и въ печати, и даже мнѣ самому лично, что романъ «Обрывъ» вообще будто бы слабѣе другихъ моихъ сочиненій, а послѣднія его, 4 и 5-я части слабѣе первыхъ трехъ.

Если бъ мнѣ сказали просто — «романъ слабъ», я тотчасъ согласился бы съ этимъ: я самъ болѣе, нежели кто-нибудь, питаю недовѣріе къ своимъ силамъ. Притомъ и нельзя же самому доказать о себѣ, что то или другое сдѣлано хорошо. Но всякому автору позволительно, не нарушая приличій скромности, выражать свое мнѣніе о томъ, что онъ сдѣлалъ *лучше* и что *хуже*. И я, на основаніи этого права, нахожу, что послѣднія двѣ части безспорно лучше первыхъ трехъ. Онѣ писаны болѣе созрѣвшею и опытною въ работѣ рукою, онѣ сжатѣе, опредѣлительнѣе и яснѣе первыхъ.

Притомъ онѣ такъ органически связаны съ цѣлымъ романомъ, что безъ нихъ первыя три части не имѣли бы никакого значенія — и я, долго отвлекаемый разными посторонними литературѣ дѣлами отъ доведенія «Обрыва» до конца, хотѣлъ уже бросить всю первую половину романа. Весь смыслъ его, вся его «причина» и «суть» только и объясняются и доказываются двумя послѣдними частями, въ которыхъ, между прочимъ, окончательно разыгрывается и драма Вѣры. Тамъ закончилась и ея фигура—и портреты Бабушки, Райскаго, Козлова съ женой, Марѳиньки и всѣхъ остальныхъ.

Безъ этихъ двухъ частей была бы треть романа, разрубленное тѣло, безъ смысла, безъ значенія, словомъ—уродъ.

Можетъ-быть завершеніе этого огромнаго полотна, повторяю, сдѣлано слабо и неудовлетворительно (не мнѣ объ

этомъ судить), но отнюдь не слабѣе и хуже, а напротивъ положительно лучше всего, написаннаго мною прежде.

За это «*лучше*» я только и въ правѣ стоять и стою на своемъ.

Въ заключеніе мнѣ остается еще отвѣтить на послѣдніе, обращаемые ко мнѣ съ разныхъ сторонъ и до сихъ поръ, вопросы. Именно: зачѣмъ я такъ долго, лѣтъ по десяти, писалъ свои романы? Потомъ — зачѣмъ я не пишу ничего другого?

Отвѣтъ на первый вопросъ или упрекъ заключается отчасти въ сказанномъ выше.

Прибавлю только, что если потрудятся вникнуть въ смыслъ моихъ романовъ и найдутъ хотя малую долю того значенія, которое я самъ въ нихъ вижу, то и полагаю, не понадобится быть самому авторомъ, чтобы разсудить и рѣшить о томъ невидимомъ, но громадномъ трудѣ, какого требуетъ построеніе цѣлаго зданія романа! Одной архитектоники, т.-е. постройки зданія, довольно, чтобы поглотить всю умственную дѣятельность автора: соображать, обдумывать участіе лицъ въ главной задачѣ, отношеніе ихъ другъ къ другу, постановку и ходъ событій, роль лицъ, съ неусыпнымъ контролемъ и критикою относительно вѣрности или невѣрности, недостатковъ, излишества и т. д. Словомъ— c'est une mer à boire!

Я не говорю о самыхъ лицахъ, типахъ: они даются художнику даромъ, почти независимо отъ него, растутъ на почвѣ его фантазіи. Трудъ его — только обработка, отдѣлка ихъ, группировка, участіе въ дѣйствіи. Нельзя одолѣть всего этого однимъ умомъ: приходитъ на помощь независящая отъ автора сила — художественный инстинктъ. Умъ разбиваетъ, какъ паркъ или садъ, главныя линіи, положенія, придумываетъ необходимости, а приводитъ это въ исполненіе и помогаетъ сказанный инстинктъ.

Разумѣется, онъ является при любви, при жаждѣ автора

къ своей работѣ, т.-е. при извѣстной степени нервнаго раздраженія, называемаго, на языкѣ идеалистовъ, «вдохновеніемъ».

Тогда, среди намѣченнаго умомъ главнаго хода или дѣйствія, при созданныхъ фантазіею лица — подъ рукою, какъ будто сами собою, родятся и сцены и детали, перо, кисть едва успѣваетъ писать.

Сколько же времени уходитъ на всю эту, невидимую читателю, работу!

И всегда ли оно въ распоряженіи автора? Всегда ли онъ можетъ сосредоточиться, особенно здѣсь, въ Петербургѣ, гдѣ, по обстоятельствамъ, живетъ весь вѣкъ, служа и участвуя, волей и неволей, въ свѣтской жизни и платя дань ея требованіямъ?

Объ этомъ никто не подумаетъ, читая легкія страницы романа, и не зная, какъ не легко достаются онѣ автору!

Бѣлинскій сказалъ мнѣ однажды, какъ упомянуто выше: «что̀ другому стало бы на десять повѣстей, у него укладывается въ одномъ романѣ»!

Это сказалъ онъ про̀ самую краткую изъ моихъ книгъ— «Обыкновенную исторію»!

Что сказалъ бы онъ объ *Обломовѣ*, объ *Обрывѣ*, куда уложилась и вся моя, такъ сказать, собственная—и много другихъ жизней?

Худо ли, хорошо ли — это другой вопросъ (не мнѣ рѣшать его!): но если въ рамки моихъ романовъ укладывались продолжительные періоды, съ 40-хъ до 70-хъ годовъ, то спрашивается, возможно ли писаніе такихъ картинъ, развивавшихся и писавшихся параллельно теченію самой жизни, хотя бы въ годъ—два? Конечно нѣтъ!

Послѣдній вопросъ: зачѣмъ я не писалъ и не пишу ничего другого?

Не могу, не умѣю! То-есть, не могу и не умѣю ничего писать иначе, какъ о̀бразами, картинами, и притомъ большими, слѣдовательно писать долго, медленно и трудно.

Для образовъ и картинъ требуется извѣстная свѣжесть силъ и охоты: всему есть своя пора. Къ концу поприща человѣкъ устаетъ отъ борьбы со всѣми и со всѣмъ, что̀ ему мѣшало, что̀ не понимало его, что̀ враждовало съ нимъ.

Я не публицистъ, не присяжный критикъ, я жилъ и писалъ больше всего подъ вліяніемъ фантазіи—и внѣ послѣдней перо мое мало имѣетъ силы, не производитъ дѣйствія!

Напрасно просили моего сотрудничества въ журналахъ, въ качествѣ рецензента или публициста; пробовалъ — и ничего не выходило, кромѣ блѣдныхъ статей, уступавшихъ всякому бойкому перу привычныхъ журнальныхъ сотрудниковъ.

Напрасно тоже нѣкоторые предлагали мнѣ задачи для романа. «Опишите такое-то событіе, такую-то жизнь, возьмите тотъ или другой вопросъ, такого-то героя или героиню!»

Не могу, не умѣю! *То, что не выросло и не созрѣло во мнѣ самомъ*, чего я не видѣлъ, не наблюдалъ, чѣмъ не жилъ,—то недоступно моему перу! У меня есть (или была) своя нива, свой грунтъ, какъ есть своя родина, свой родной воздухъ, друзья и недруги, свой міръ наблюденій, впечатлѣній и воспоминаній, — и я писалъ только то, *что переживалъ, что мыслилъ, чувствовалъ, что любилъ, что близко видѣлъ и зналъ* — словомъ писалъ и *свою жизнь, и то, что къ ней прирастало.*

ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРІЯ.

РОМАНЪ

въ двухъ частяхъ.

Часть первая.

I.

Однажды, лѣтомъ, въ деревнѣ Грачахъ, у небогатой помѣщицы Анны Павловны Адуевой, всѣ въ домѣ поднялись съ разсвѣтомъ, начиная съ хозяйки до цѣпной собаки Барбоса.

Только единственный сынъ Анны Павловны, Александръ Ѳедорычъ, спалъ, какъ слѣдуетъ спать двадцатилѣтнему юношѣ, богатырскимъ сномъ; а въ домѣ всѣ суетились и хлопотали. Люди ходили однакожъ на цыпочкахъ и говорили шопотомъ, чтобъ не разбудить молодого барина. Чуть кто-нибудь стукнетъ, громко заговоритъ, сейчасъ, какъ раздраженная львица, являлась Анна Павловна и наказывала неосторожнаго строгимъ выговоромъ, обиднымъ прозвищемъ, а иногда, по мѣрѣ гнѣва и силъ своихъ, и толчкомъ.

На кухнѣ стряпали въ трое рукъ, какъ будто на десятерыхъ, хотя все господское семейство только и состояло, что изъ Анны Павловны да Александра Ѳедорыча. Въ сараѣ вытирали и подмазывали повозку. Всѣ были заняты и работали до-поту лица. Барбосъ только ничего не дѣлалъ, но и тотъ по-своему принималъ участіе въ общемъ движеніи. Когда мимо его проходилъ лакей, кучеръ, или шмыгала дѣвка, онъ махалъ хвостомъ и тщательно обнюхивалъ проходящаго, а самъ глазами, кажется, спрашивалъ: скажутъ ли мнѣ наконецъ, что̀ у насъ сегодня за суматоха?

А суматоха была оттого, что Анна Павловна отпускала

сына въ Петербургъ на службу, или, какъ она говорила, людей посмотрѣть и себя показать. Убійственный для нея день! Отъ этого она такая грустная и разстроенная. Часто, въ хлопотахъ, она откроетъ ротъ, чтобъ приказать что-нибудь, и вдругъ остановится на полусловѣ, голосъ ей измѣнитъ, она отвернется въ сторону и оботретъ, если успѣетъ, слезу, а не успѣетъ, такъ уронитъ ее въ чемоданъ, въ который сама укладывала Сашенькино бѣлье. Слезы давно кипятъ у ней въ сердцѣ; онѣ подступили къ горлу, давятъ грудь и готовы брызнуть въ три ручья; но она какъ будто берегла ихъ на прощанье и изрѣдка тратила по капелькѣ.

Не одна она оплакивала разлуку: сильно горевалъ тоже камердинеръ Сашеньки, Евсей. Онъ отправлялся съ бариномъ въ Петербургъ, покидалъ самый теплый уголъ въ домѣ, за лежанкой, въ комнатѣ Аграфены, перваго министра въ хозяйствѣ Анны Павловны и—что всего важнѣе для Евсея, первой ея ключницы.

За лежанкой только и было мѣста, чтобъ поставить два стула и столъ, на которомъ готовился чай, кофе, закуска. Евсей прочно занималъ мѣсто и за печкой, и въ сердцѣ Аграфены. На другомъ стулѣ засѣдала она сама.

Исторія объ Аграфенѣ и Евсеѣ была ужъ старая исторія въ домѣ. О ней, какъ обо всемъ на свѣтѣ, поговорили, позлословили ихъ обоихъ, а потомъ, такъ же, какъ и обо всемъ, замолчали. Сама барыня привыкла видѣть ихъ вмѣстѣ, и они блаженствовали цѣлыя десять лѣтъ. Многіе ли въ итогѣ годовъ своей жизни начтутъ десять счастливыхъ? Зато вотъ насталъ и мигъ утраты! Прощай теплый уголъ, прощай Аграфена Ивановна, прощай игра въ дураки, и кофе, и водка, и наливка—все прощай!

Евсей сидѣлъ молча и сильно вздыхалъ. Аграфена, насупясь, суетилась по хозяйству. У ней горе выражалось по-своему. Она въ тотъ день съ ожесточеніемъ разлила чай, и вмѣсто того, чтобъ первую чашку крѣпкаго чая подать, по

обыкновенію, барынѣ, выплеснула его вонъ: «никому» дескать «не доставайся», и твердо перенесла выговоръ. Кофе у ней перекипѣлъ, сливки подгорѣли, чашки валились изъ рукъ. Она не поставитъ подноса на столъ, а брякнетъ; не отворитъ шкапа и двери, а хлопнетъ. Но она не плакала, а сердилась на все и на всѣхъ. Впрочемъ, это вообще было главною чертою въ ея характерѣ. Она никогда не была довольна; все не по ней; всегда ворчала, жаловалась. Но въ эту роковую для нея минуту характеръ ея обнаруживался во всемъ своемъ паѳосѣ. Пуще всего, кажется, она сердилась на Евсея.

— Аграфена Ивановна!..—сказалъ онъ жалобно и нѣжно, что́ не совсѣмъ шло къ его длинной и плотной фигурѣ.

— Ну, что ты, разиня, тутъ разсѣлся? — отвѣчала она, какъ будто онъ въ первый разъ тутъ сидѣлъ.—Пусти прочь: надо полотенце достать.

— Эхъ, Аграфена Ивановна!.. — повторилъ онъ лѣниво, вздыхая и поднимаясь со стула и тотчасъ опять опускаясь, когда она взяла полотенце.

— Только хнычетъ! Вотъ пострѣлъ навязался! Что это за наказаніе, Господи! и не отвяжется!

И она со звономъ уронила ложку въ полоскательную чашку.

— Аграфена!—раздалось вдругъ изъ другой комнаты:— ты никакъ съ ума сошла! развѣ не знаешь, что Сашенька почиваетъ? Подралась, что-ли, со своимъ возлюбленнымъ на прощаньи?

— Не пошевелись для тебя, сиди, какъ мертвая! — прошипѣла по-змѣиному Аграфена, вытирая чашку обѣими руками, какъ будто хотѣла изломать ее въ куски.

— Прощайте, прощайте! — съ громаднѣйшимъ вздохомъ сказалъ Евсей:—послѣдній денекъ, Аграфена Ивановна!

— И слава Богу! пусть унесутъ васъ черти отсюда: просторнѣе будетъ. Да пусти прочь, негдѣ ступить: протянулъ ноги-то!

Онъ тронулъ-было ее за плечо — какъ она ему отвѣтила! Онъ опять вздохнулъ, но съ мѣста не двигался; да напрасно и двинулся бы: Аграфенѣ этого не хотѣлось. Евсей зналъ это и не смущался.

— Кто-то сядетъ на мое мѣсто? — промолвилъ онъ, все со вздохомъ.

— Лѣшій!—отрывисто отвѣчала она.

— Дай-то Богъ! лишь бы не Прошка. А кто-то въ дураки съ вами станетъ играть?

— Ну, хоть бы и Прошка, такъ что̀ жъ за бѣда? — со злостью замѣтила она.

Евсей всталъ.

— Вы не играйте съ Прошкой, ей-Богу, не играйте! — сказалъ онъ съ безпокойствомъ и почти съ угрозой.

— А кто мнѣ запретитъ? ты, что ли, образина этакая?

— Матушка, Аграфена Ивановна!—началъ онъ умоляющимъ голосомъ, обнявъ ее—за талію, сказалъ бы я, если бъ у ней былъ хоть малѣйшій намекъ на талію.

Она отвѣчала на объятіе локтемъ въ грудь.

— Матушка, Аграфена Ивановна!—повторилъ онъ:—будетъ ли Прошка любить васъ такъ, какъ я? Поглядите? какой онъ озорникъ: ни одной женщинѣ проходу не дастъ. А я-то! э-эхъ! Вы у меня, что̀ синь-порохъ въ глазу! Если бъ не барская воля, такъ... эхъ!..

Онъ при этомъ крякнулъ и махнулъ рукой. Аграфена не выдержала: и у ней, наконецъ, горе обнаружилось въ слезахъ.

— Да отстанешь ли ты отъ меня, окаянный?—говорила она плача:—что мелешь, дуралей! Свяжусь я съ Прошкой! развѣ не видишь самъ, что отъ него путнаго слова не добьешься? только и знаетъ, что лѣзетъ съ ручищами...

— И къ вамъ лѣзъ? Ахъ мерзавецъ! А вы, небось, не скажете! Я бы его...

— Полѣзь-ка, такъ узнаетъ! Развѣ нѣтъ въ дворнѣ жен-

скаго пола, кромѣ меня? Съ Прошкой свяжусь! вишь что выдумалъ! Подлѣ него и сидѣть-то тошно—свинья-свиньей! Онъ, того и гляди, норовитъ ударить человѣка, или сожрать что-нибудь барское изъ-подъ рукъ—и не увидишь.

— Ужъ если, Аграфена Ивановна, случай такой придетъ—лукавый вѣдь силенъ—такъ лучше Гришку посадите тутъ: по-крайности, малый смирный, работящій, не зубоскалъ...

— Вотъ еще выдумалъ!—накинулась на него Аграфена:—что ты меня всякому навязываешь, развѣ я какая-нибудь... Пошелъ вонъ отсюда! Много вашего брата, всякому стану вѣшаться на шею: не таковская! Съ тобой только, этакимъ лѣшимъ, попуталъ видно лукавый за грѣхи мои связаться, да и то каюсь... а то выдумалъ!

— Богъ васъ награди за вашу добродѣтель! какъ камень съ плечъ!—воскликнулъ Евсей.

— Обрадовался! — звѣрски закричала она опять: — есть чему радоваться—радуйся!

И губы у ней побѣлѣли отъ злости. Оба замолчали.

— Аграфена Ивановна! — робко сказалъ Евсей, немного погодя.

— Ну, что еще?

— Я вѣдь и забылъ: у меня нынче съ утра во рту маковой росинки не было.

— Только и дѣла!

— Съ горя, матушка.

Она достала съ нижней полки шкапа, изъ-за головы сахару, стаканъ водки и два огромные ломтя хлѣба съ ветчиной. Все это давно было приготовлено для него ея заботливой рукой. Она сунула ему ихъ, какъ не суютъ и собакамъ. Одинъ ломоть упалъ на полъ.

— На вотъ, подавись! О, чтобъ тебя... да тише, не чавкай на весь домъ.

Она отвернулась отъ него съ выраженіемъ будто нена-

висти, а онъ медленно началъ ѣсть, глядя исподлобья на Аграфену и прикрывая одною рукою ротъ.

Между тѣмъ въ воротахъ показался ямщикъ, съ тройкой лошадей. Черезъ шею коренной переброшена была дуга. Колокольчикъ, привязанный къ сѣделкѣ, глухо и несвободно ворочалъ языкомъ, какъ пьяный, связанный и брошенный въ караульню. Ямщикъ привязалъ лошадей подъ навѣсомъ сарая, снялъ шапку, досталъ оттуда грязное полотенце и отеръ потъ съ лица. Анна Павловна, увидѣвъ его изъ окна, поблѣднѣла. У ней подкосились ноги и опустились руки, хотя она ожидала этого. Оправившись, она позвала Аграфену.

— Поди-ка на цыпочкахъ, тихохонько, посмотри, спитъ ли Сашенька?—сказала она.—Онъ, мой голубчикъ, проспитъ, пожалуй, и послѣдній денекъ: такъ и не нагляжусь на него. Да нѣтъ, куда тебѣ! ты, того гляди, влѣзешь какъ корова! я лучше сама...

И пошла.

— Поди-ка ты, не-корова!—ворчала Аграфена, воротясь къ себѣ. — Вишь, корову нашла! много ли у тебя этакихъ коровъ-то?

Навстрѣчу Аннѣ Павловнѣ шелъ и самъ Александръ Ѳедорычъ, бѣлокурый молодой человѣкъ, въ цвѣтѣ лѣтъ, здоровья и силъ. Онъ весело поздоровался съ матерью, но, увидѣвъ вдругъ чемоданъ и узлы, смутился, молча отошелъ къ окну и сталъ чертить пальцемъ по стеклу. Черезъ минуту онъ уже опять говорилъ съ матерью и безпечно, даже съ радостью смотрѣлъ на дорожные сборы.

— Что это ты, мой дружокъ, какъ заспался, — сказала Анна Павловна: — даже личико отекло? Дай-ка вытру тебѣ глаза и щеки розовой водой.

— Нѣтъ, маменька, не надо.

— Чего ты хочешь позавтракать: чайку прежде, или кофейку? Я велѣла сдѣлать и битое мясо со сметаной на сковородѣ—чего хочешь?

— Все равно, маменька.

Анна Павловна продолжала укладывать бѣлье, потомъ остановилась и посмотрѣла на сына съ тоской.

— Саша!..—сказала она черезъ нѣсколько времени.

— Чего изволите, маменька?

Она медлила говорить, какъ будто чего-то боялась.

— Куда ты ѣдешь, мой другъ, зачѣмъ? — спросила она, наконецъ, тихимъ голосомъ.

— Какъ куда, маменька? въ Петербургъ, затѣмъ... затѣмъ... чтобъ...

— Послушай, Саша,—сказала она въ волненіи, положивъ ему руку на плечо, повидимому съ намѣреніемъ сдѣлать послѣднюю попытку:—еще время не ушло: подумай, останься!

— Остаться! какъ можно! да вѣдь и... бѣлье уложено,— сказалъ онъ, не зная, что̀ выдумать.

— Уложено бѣлье! да вотъ... вотъ... вотъ... гляди—и не уложено.

Она въ три пріема вынула все изъ чемодана.

— Какъ же это такъ, маменька? собрался — и вдругъ опять!—Что̀ скажутъ...

Онъ опечалился.

— Я не столько для себя самой, сколько для тебя же отговариваю. Зачѣмъ ты ѣдешь? Искать счастья? Да развѣ тебѣ здѣсь не хорошо? развѣ мать день-деньской не думаетъ о томъ, какъ бы угодить всѣмъ твоимъ прихотямъ? Конечно, ты въ такихъ лѣтахъ, что одни материнскія угожденія не составляютъ счастья; да я и не требую этого. Ну, погляди вокругъ себя: всѣ смотрятъ тебѣ въ глаза. А дочка Марьи Васильевны, Сонюшка? Что... покраснѣлъ? Какъ она, моя голубушка — дай Богъ ей здоровья — любитъ тебя: слышь, третью ночь не спитъ!

— Вотъ, маменька, что вы! она такъ...

— Да, да, будто я не вижу... Ахъ! чтобъ не забыть: она взяла обрубить твои платки—«я, говоритъ, сама, сама, ни-

кому не дамъ, и мѣтку сдѣлаю»—видишь, чего же еще тебѣ? Останься!

Онъ слушалъ молча, поникнувъ головой, и игралъ кистью своего шлафрока.

— Что ты найдешь въ Петербургѣ?—продолжала она.—Ты думаешь, тамъ тебѣ такое же житье будетъ, какъ здѣсь? Э, мой другъ! Богъ знаетъ, чего насмотришься и натерпишься: и холодъ, и голодъ, и нужду—все перенесешь. Злыхъ людей вездѣ много, а добрыхъ не скоро найдешь. А почетъ—что въ деревнѣ, что въ столицѣ—все тотъ же почетъ. Какъ не увидишь петербургскаго житья, такъ и покажется тебѣ, живучи здѣсь, что ты первый въ мірѣ; и во всемъ такъ, мой милый! Ты же воспитанъ, и ловокъ, и хорошъ. Мнѣ бы, старухѣ, только оставалось радоваться, глядя на тебя. Женился бы, послалъ бы Богъ тебѣ дѣточекъ, а я бы няньчила ихъ—и жилъ бы безъ горя, безъ заботъ, и прожилъ бы вѣкъ свой мирно, тихо, никому бы не позавидовалъ; а тамъ, можетъ, и не будетъ хорошо, можетъ, и помянешь слова мои... Останься, Сашенька—а?

Онъ кашлянулъ и вздохнулъ, но не сказалъ ни слова.

— А посмотри-ка сюда,—продолжала она, отворяя дверь на балконъ:—и тебѣ не жаль покинуть такой уголокъ?

Съ балкона въ комнату пахнуло свѣжестью. Отъ дома на далекое пространство раскидывался садъ изъ старыхъ липъ, густого шиповника, черемухи и кустовъ сирени. Между деревьями пестрѣли цвѣты, бѣжали въ разныя стороны дорожки, далѣе, тихо плескалось въ берега озеро, облитое съ одной стороны золотыми лучами утренняго солнца и гладкое, какъ зеркало; съ другой—темно-синее, какъ небо, которое отражалось въ немъ, и едва подернутое зыбью. А тамъ нивы съ волнующимися, разноцвѣтными хлѣбами шли амфитеатромъ и примыкали къ темному лѣсу.

Анна Павловна, прикрывъ одной рукой глаза отъ солнца, другой указывала сыну поперемѣнно на каждый предметъ.

— Погляди-ка, — говорила она: — какой красотой Богъ одѣлъ поля наши! Вонъ съ тѣхъ полей одной ржи до 500 четвертей сберемъ; а вонъ и пшеничка есть, и гречиха; только гречиха нынче не то, что̀ прошлый годъ: кажется, плоха будетъ. А лѣсъ-то, лѣсъ-то какъ разросся! Подумаешь, какъ велика премудрость Божія! Дровецъ съ своего участка мало-мало на тысячу продадимъ. А дичи, дичи что̀! и вѣдь все это твое, милый сынокъ: я только твоя приказчица. Погляди-ка, озеро: что̀ за великолѣпіе! истинно небесное! рыба такъ и ходитъ; одну осетрину покупаемъ, а то ерши, окуни, караси кишмя-кишатъ: и на себя, и на людей идетъ. Вонъ твои коровки и лошадки пасутся. Здѣсь ты одинъ всему господинъ, а тамъ, можетъ-быть, всякій станетъ помыкать тобой. И ты хочешь бѣжать отъ такой благодати, еще не знаешь куда, въ омутъ, можетъ-быть, прости Господи... Останься!

Онъ молчалъ.

— Да ты не слушаешь,—сказала она.—Куда это ты такъ пристально заглядѣлся?

Онъ молча и задумчиво указалъ рукой въ даль. Анна Павловна взглянула и измѣнилась въ лицѣ. Тамъ, между полей, змѣей вилась дорога и убѣгала за лѣсъ, дорога въ обѣтованную землю, въ Петербургъ. Анна Павловна молчала нѣсколько минутъ, чтобъ собраться съ силами.

— Такъ вотъ что!—проговорила она, наконецъ, уныло.— Ну, мой другъ, Богъ съ тобой! поѣзжай, ужъ если тебя такъ тянетъ отсюда: я не удерживаю! По крайней мѣрѣ, не скажешь, что мать заѣдаетъ твою молодость и жизнь.

Бѣдная мать! вотъ тебѣ и награда за твою любовь! Того ли ожидала ты? Въ томъ-то и дѣло, что матери не ожидаютъ наградъ. Мать любитъ безъ толку и безъ разбору. Велики вы, славны, красивы, горды, переходитъ имя ваше изъ устъ въ уста, гремятъ ваши дѣла по свѣту — голова старушки трясется отъ радости, она плачетъ, смѣется и

молится долго и жарко. А сынокъ, большею частью, и не думаетъ подѣлиться славой съ родительницею. Нищи ли вы духомъ и умомъ, отмѣтила ли васъ природа клеймомъ безобразія, точитъ ли жало недуга ваше сердце или тѣло, наконецъ, отталкиваютъ васъ отъ себя люди и нѣтъ вамъ мѣста между ними—тѣмъ болѣе мѣста въ сердцѣ матери. Она сильнѣе прижимаетъ къ груди уродливое, неудавшееся чадо и молится еще долѣе и жарче.

Какъ назвать Александра безчувственнымъ за то, что онъ рѣшился на разлуку? Ему было двадцать лѣтъ. Жизнь отъ пеленъ ему улыбалась; мать лелѣяла и баловала его, какъ балуютъ единственное чадо; нянька все пѣла ему надъ колыбелью, что онъ будетъ ходить въ золотѣ и не знать горя; профессоры твердили, что онъ пойдетъ далеко, а по возвращеніи его домой, ему улыбнулась дочь сосѣдки. И старый котъ, Васька, былъ къ нему, кажется, ласковѣе, нежели къ кому-нибудь въ домѣ.

О горѣ, слезахъ, бѣдствіяхъ онъ зналъ только по слуху, какъ знаютъ о какой-нибудь заразѣ, которая не обнаружилась, но глухо гдѣ-то таится въ народѣ. Отъ этого будущее представлялось ему въ радужномъ свѣтѣ. Его что-то манило въ даль, но что̀ именно—онъ не зналъ. Тамъ мелькали обольстительные призраки, но онъ не могъ разглядѣть ихъ; слышались смѣшанные звуки — то голосъ славы, то любви: все это приводило его въ сладкій трепетъ.

Ему скоро тѣсенъ сталъ домашній міръ. Природу, ласки матери, благоговѣніе няньки и всей дворни, мягкую постель, вкусныя яства и мурлыканье Васьки—всѣ эти блага, которыя такъ дорого цѣнятся на склонѣ жизни, онъ весело мѣнялъ на неизвѣстное, полное увлекательной и таинственной прелести. Даже любовь Софьи, первая, нѣжная и розовая любовь, не удерживала его. Что̀ ему эта любовь? Онъ мечталъ о колоссальной страсти, которая не знаетъ никакихъ преградъ и свершаетъ громкіе подвиги. Онъ любилъ Софью

пока маленькою любовью, въ ожиданіи большой. Мечталъ онъ и о пользѣ, которую принесетъ отечеству. Онъ прилежно и многому учился. Въ аттестатѣ его сказано было, что онъ знаетъ съ дюжину наукъ, да съ полдюжины древнихъ и новыхъ языковъ. Всего же болѣе мечталъ онъ о славѣ писателя. Стихи его удивляли товарищей. Передъ нимъ разстилалось множество путей, и одинъ казался лучше другого. Онъ не зналъ, на который броситься. Скрывался отъ глазъ только прямой путь; замѣть онъ его, такъ тогда, можетъ-быть, и не поѣхалъ бы.

Какъ же ему было остаться? Мать желала — это опять другое и очень естественное дѣло. Въ сердцѣ ея отжили всѣ чувства, кромѣ одного — любви къ сыну, и оно жарко ухватилось за этотъ послѣдній предметъ. Не будь его, что же ей дѣлать? Хоть умирать. Ужъ давно доказано, что женское сердце не живетъ безъ любви.

Александръ былъ избалованъ, но не испорченъ домашнею жизнью. Природа такъ хорошо создала его, что любовь матери и поклоненіе окружающихъ подѣйствовали только на добрыя его стороны, развили, напримѣръ, въ немъ преждевременно сердечныя склонности, поселили ко всему довѣрчивость до излишества. Это же самое, можетъ-быть, расшевелило въ немъ и самолюбіе; но вѣдь самолюбіе само по себѣ только форма; все будетъ зависѣть отъ матеріала, который вольешь въ нее.

Гораздо болѣе бѣды для него было въ томъ, что мать его, при всей своей нѣжности, не могла дать ему настоящаго взгляда на жизнь и не приготовила его на борьбу съ тѣмъ, что ожидало его и ожидаетъ всякаго впереди. Но для этого нужно было искусную руку, тонкій умъ и запасъ большой опытности, неограниченной тѣснымъ деревенскимъ горизонтомъ. Нужно было даже поменьше любить его, не думать за него ежеминутно, не отводить отъ него каждую заботу и непріятность, не плакать и не страдать вмѣсто

его и въ дѣтствѣ, чтобъ дать ему самому почувствовать приближеніе грозы, справиться съ своими силами и подумать о своей судьбѣ—словомъ, узнать, что онъ мужчина. Гдѣ же было Аннѣ Павловнѣ понять все это и, особенно, выполнить? Читатель видѣлъ, какова она. Не угодно ли посмотрѣть еще?

Она уже забыла сыновній эгоизмъ. Александръ Ѳедорычъ засталъ ее за вторичнымъ укладываньемъ бѣлья и платья. Въ хлопотахъ и дорожныхъ сборахъ, она какъ будто совсѣмъ не помнила горя.

— Вотъ, Сашенька, замѣть хорошенько, куда я что кладу,— говорила она.— Въ самый низъ, на дно чемодана, простыни: дюжина. Посмотри-ка, такъ ли записано?

— Такъ, маменька.

— Всѣ съ твоими мѣтками, видишь — А. А. А все голубушка Сонюшка! Безъ нея наши дурищи не скоро бы поворотились. Теперь что? да, наволочки. Разъ, двѣ, три, четыре—такъ, вся дюжина тутъ. Вотъ рубашки—три дюжины. Что за полотно—заглядѣнье! это голландское; сама ѣздила на фабрику къ Василью Васильевичу; онъ выбралъ что ни есть наилучшіе три куска. Повѣряй же, милый, по реестру всякій разъ, какъ будешь принимать отъ прачки; всѣ новёшенькія. Тамъ немного такихъ рубашекъ увидишь; пожалуй и подмѣнятъ; есть вѣдь этакія мерзавки, что Бога не боятся. Носковъ двадцать-двѣ пары... Знаешь, что я придумала? положить въ одинъ носокъ твой бумажникъ съ деньгами. Ихъ тебѣ до Петербурга не понадобится, такъ, сохрани Боже! случай какой, чтобъ и рыли, да не нашли. И письма къ дядѣ туда же положу: то-то, чай, обрадуется! вѣдь семнадцать лѣтъ и словомъ не перекинулись, шутка ли! Вотъ косыночки, вотъ платки; еще полдюжины у Сонюшки осталось. Не теряй, душенька, платковъ: славный полубатистъ! У Михеева брала по два съ четвертью. Ну, бѣлье все. Теперь платье... Да гдѣ Евсей? что онъ не смотритъ? Евсей!

Евсей лѣниво вошелъ въ комнату.

— Чего изволите?—спросилъ онъ еще лѣнивѣе.

— Чего изволите?—заговорила Адуева гнѣвно.—Что не смотришь, какъ я укладываю? А тамъ, какъ надо что достать въ дорогѣ, и пойдешь все перерывать вверхъ дномъ! Не можетъ отвязаться отъ своей возлюбленной — экое сокровище! День-то великъ: успѣешь! Ты этакъ тамъ и за бариномъ станешь ходить? Смотри у меня! Вотъ гляди: это хорошій фракъ — видишь, куда кладу? А ты, Сашенька, береги его, не всякій день таскай; сукно-то по 16 рублей брали. Куда въ хорошіе люди пойдешь, и надѣнь, да не садись зря, какъ ни попало, вонъ какъ твоя тетка, словно нарочно, не сядетъ на пустой стулъ или диванъ, а такъ и норовитъ плюхнуть туда, гдѣ стоитъ шляпа или что-нибудь такое; намедни на тарелку съ вареньемъ сѣла — такого сраму надѣлала! Куда попроще въ люди, вотъ этотъ фракъ-масака надѣвай. Теперь жилеты — разъ, два, три, четыре. Двое брюкъ. Э! да платья-то года на три станетъ. Ухъ! устала! шутка ли: цѣлое утро возилась! Поди, Евсей. Поговоримъ, Сашенька, о чемъ-нибудь другомъ. Ужо гости пріѣдутъ, не до того будетъ.

Она сѣла на диванъ и посадила его подлѣ себя.

— Ну, Саша, — сказала она, помолчавъ немного: — ты теперь ѣдешь на чужую сторону...

— Какая «чужая» сторона, Петербургъ: что вы, маменька!

— Погоди, погоди—выслушай, что я хочу сказать! Богъ одинъ знаетъ, что тамъ тебя встрѣтитъ, чего ты наглядишься, и хорошаго, и худого. Надѣюсь, Онъ, Отецъ мой небесный, подкрѣпитъ тебя; а ты, мой другъ, пуще всего не забывай Его, помни, что безъ вѣры нѣтъ спасенія нигдѣ и ни въ чемъ. Достигнешь тамъ большихъ чиновъ, въ знать войдешь—вѣдь мы не хуже другихъ: отецъ былъ дворянинъ, майоръ — все-таки смиряйся передъ Господомъ Богомъ: молись и въ счастіи и въ несчастіи, а не по по-

словицѣ: «громъ не грянетъ, мужикъ не перекрестится». Иной, пока везетъ ему, и въ церковь не заглянетъ, а какъ придетъ не въ мочь — и пойдетъ рублевыя свѣчи ставить, да нищихъ одѣлять: это большой грѣхъ. Къ слову пришлось о нищихъ. Не трать на нихъ денегъ попустому, по многу не давай. На что́ балова́ть? ихъ не удивишь. Они пропьютъ, да надъ тобой же насмѣются. У тебя, я знаю, мягкая душа: ты, пожалуй, и по гривеннику станешь отваливать. Нѣтъ, это не нужно; Богъ подастъ! Будешь ли ты посѣщать храмъ Божій? будешь ли ходить по воскресеньямъ къ обѣднѣ?

Она вздохнула.

Александръ молчалъ. Онъ вспомнилъ, что, учась въ университетѣ и живучи въ губернскомъ городѣ, онъ не очень усердно посѣщалъ церковь; а въ деревнѣ, только изъ угожденія матери, сопровождалъ ее къ обѣднѣ. Ему совѣстно было солгать. Онъ молчалъ. Мать поняла его молчаніе и опять вздохнула.

— Ну, я тебя не неволю, — продолжала она: — ты человѣкъ молодой: гдѣ тебѣ быть такъ усердну къ церкви Божіей, какъ намъ, старикамъ? Еще, пожалуй, служба помѣшаетъ, или засидишься поздно въ хорошихъ людяхъ и проспишь. Богъ пожалѣетъ твоей молодости. Не тужи: у тебя есть мать. Она не проспитъ. Пока во мнѣ останется хоть капелька крови, пока не высохли слезы въ глазахъ и Богъ терпитъ грѣхамъ моимъ, я ползкомъ дотащусь, если не хватитъ силъ дойти, до церковнаго порога; послѣдній вздохъ отдамъ, послѣднюю слезу выплачу за тебя, моего друга. Вымолю тебѣ и здоровье, и чиновъ, и крестовъ, и небесныхъ и земныхъ благъ. Неужели-то Онъ, милосердый Отецъ, презритъ молитвой бѣдной старухи? Мнѣ самой ничего не надо. Отними Онъ у меня все: здоровье, жизнь, пошли слѣпоту — тебѣ лишь подай всякую радость, всякое счастье и добро...

Она не договорила, слезы закапали у неё изъ глазъ.

Александръ вскочилъ съ мѣста.

— Маменька...—сказалъ онъ.

— Ну, сядь, сядь! — отвѣчала она, наскоро утирая слезы: — мнѣ еще много осталось поговорить... Что, бишь, я хотѣла сказать? изъ ума вонъ... Вишь нынче какая память у меня... да! блюди посты, мой другъ: это великое дѣло! Въ среду и пятницу — Богъ проститъ; а въ Великій постъ—Боже оборони! Вотъ Михайло Михайлычъ и умнымъ человѣкомъ считается, а что въ немъ? Что мясоѣдъ, что Страстная недѣля — все одно жретъ. Даже волосъ дыбомъ становится! Онъ вонъ и бѣднымъ помогаетъ, да будто его милостыня принята Господомъ? Слышь, подалъ разъ старику красненькую, тотъ взялъ ее, а самъ отвернулся да плюнулъ. Всѣ кланяются ему и въ глаза-то Богъ знаетъ что наговорятъ, а за глаза крестятся, какъ поминаютъ его, словно шайтана какого.

Александръ слушалъ съ нѣкоторымъ нетерпѣніемъ и взглядывалъ по временамъ въ окно, на дальнюю дорогу.

Она замолчала на минуту.

— Береги пуще всего здоровье,—продолжала она.—Какъ заболѣешь — чего Боже оборони! — опасно, напиши... я соберу всѣ силы и пріѣду. Кому тамъ ходить за тобой? Норовятъ еще обобрать больного. Не ходи ночью по улицамъ; отъ людей звѣрскаго вида удаляйся. Береги деньги... охъ, береги на черный день! Трать съ толкомъ. Отъ нихъ, проклятыхъ, всякое добро и всякое зло. Не мотай, не заводи лишнихъ прихотей. Ты будешь аккуратно получать отъ меня двѣ тысячи пятьсотъ рублей въ годъ. Двѣ тысячи пятьсотъ рублей не шутка! Не заводи роскоши никакой, ничего такого, но и не отказывай себѣ въ чемъ можно; захочется полакомиться — не скупись. — Не предавайся вину — охъ, оно первый врагъ человѣка! — Да еще (тутъ она понизила голосъ) берегись женщинъ! Знаю я ихъ! Есть такія без-

стыдницы, что сами на шею будутъ вѣшаться, какъ увидятъ этакого-то...

Она съ любовью посмотрѣла на сына.

— Довольно, маменька; я бы позавтракалъ?—сказалъ онъ почти съ досадой.

— Сейчасъ, сейчасъ... еще одно слово.... На мужнихъ женъ не зарься, — спѣшила она досказать: — это великій грѣхъ! «Не пожелай жены ближняго твоего», сказано въ Писаніи. Если же тамъ какая-нибудь станетъ до свадьбы добираться—Боже сохрани! не моги и подумать! Онѣ готовы подцѣпить, какъ увидятъ, что съ денежками да хорошенькій. Развѣ что у начальника твоего или у какого-нибудь знатнаго да богатаго вельможи разгорятся на тебя зубы и онъ захочетъ выдать за тебя дочь—ну, тогда можно, только отпиши: я кое-какъ дотащусь, посмотрю, чтобъ не подсунули, такъ какую-нибудь, лишь бы съ рукъ сбыть: старую дѣвку или дрянь. Этакого женишка всякому лестно залучить. Ну, а коли ты самъ полюбишь, да выдастся хорошая дѣвушка—такъ того...—тутъ она еще тише заговорила...—Сонюшку-то можно и въ сторону. (Старушка, изъ любви къ сыну, готова была покривить душой.) Что въ самомъ дѣлѣ Марья Карповна замечтала: ты дочкѣ ея не пара. Деревенская дѣвушка! на тебя и не такія польстятся.

— Софью! нѣтъ, маменька, я ее никогда не забуду!— сказалъ Александръ.

— Ну, ну, другъ мой, успокойся! вѣдь я такъ только. Послужи, воротись сюда и тогда что Богъ дастъ; невѣсты не уйдутъ! Коли не забудешь, такъ и того... Ну, а...

Она что-то хотѣла сказать, но не рѣшалась, потомъ наклонилась къ уху его и тихо спросила:

— А будешь ли помнить... мать?

— Вотъ до чего договорились, — прервалъ онъ: — велите скорѣй подавать что тамъ у васъ есть: яичница, что ли? Забыть васъ! Какъ могли вы подумать? Богъ накажетъ меня...

— Перестань, перестань, Саша, — заговорила она торопливо: — что ты это накликаешь на свою голову! Нѣтъ, нѣтъ! что бы ни было, если случится этакой грѣхъ, пусть я одна страдаю. Ты молодъ, только-что начинаешь жить, будутъ у тебя и друзья, женишься—молодая жена замѣнитъ тебѣ и мать, и все... Нѣтъ! пусть благословитъ тебя Богъ, какъ я тебя благословляю.

Она поцѣловала его въ лобъ и тѣмъ заключила свои наставленія.

— Да что это не ѣдетъ никто?—сказала она:—ни Марья Карповна, ни Антонъ Иванычъ, ни священникъ нейдетъ? ужъ, чай, обѣдня кончилась! Ахъ, вонъ кто-то и ѣдетъ! кажется, Антонъ Иванычъ... такъ и есть: легокъ на поминѣ.

Кто не знаетъ Антона Иваныча? Это вѣчный жидъ. Онъ существовалъ всегда и всюду, съ самыхъ древнѣйшихъ временъ, и не переводился никогда. Онъ присутствовалъ и на греческихъ, и на римскихъ пирахъ, ѣлъ, конечно, и упитаннаго тельца, закланнаго счастливымъ отцомъ по случаю возвращенія блуднаго сына.

У насъ, на Руси, онъ бываетъ разнообразенъ. Тотъ, про котораго говорится, былъ таковъ: у него душъ двадцать заложенныхъ и перезаложенныхъ; живетъ онъ почти въ избѣ, или въ какомъ-то странномъ зданіи, похожемъ съ виду на амбаръ, — ходъ гдѣ-то сзади, черезъ бревна, подлѣ самаго плетня; но онъ лѣтъ двадцать постоянно твердитъ, что съ будущей весной приступитъ къ стройкѣ новаго дома. Хозяйства онъ дома не держитъ. Нѣтъ человѣка изъ его знакомыхъ, который бы у него отобѣдалъ, отужиналъ или выпилъ чашку чаю, но нѣтъ также человѣка, у котораго бы онъ самъ не дѣлалъ этого по пятидесяти разъ въ годъ.

Прежде Антонъ Иванычъ ходилъ въ широкихъ шароварахъ и казакинѣ, теперь ходитъ, въ будни, въ сюртукѣ и въ панталонахъ, въ праздники—во фракѣ, Богъ знаетъ какого покроя. Съ виду онъ полный, потому что у него нѣтъ

ни горя, ни заботъ, ни волненій, хотя онъ прикидывается, что весь вѣкъ живетъ чужими горестями и заботами; но вѣдь извѣстно, что чужія горести и заботы не сушатъ насъ: это такъ заведено у людей.

Въ сущности, Антона Иваныча никому не нужно, но безъ него не совершается ни одинъ обрядъ: ни свадьба, ни похороны. Онъ на всѣхъ званыхъ обѣдахъ и вечерахъ, на всѣхъ домашнихъ совѣтахъ; безъ него никто ни шагу. Подумаютъ, можетъ-быть, что онъ очень полезенъ, что тамъ исполнитъ какое-нибудь важное порученіе, тутъ дастъ хорошій совѣтъ, сбработаетъ дѣльце, — вовсе нѣтъ! Ему никто ничего подобнаго не поручаетъ; онъ ничего не умѣетъ, ничего не знаетъ: ни въ судахъ хлопотать, ни быть посредникомъ, ни примирителемъ,—ровно ничего.

Но зато ему поручаютъ, напримѣръ, завезти мимоѣздомъ поклонъ отъ такой-то къ такому-то, и онъ непремѣнно завезетъ и тутъ же кстати позавтракаетъ,—увѣдомить такого-то, что извѣстная-де бумага получена, а какая именно, этого ему не говорятъ,—передать туда-то кадочку съ медомъ или горсточку сѣмянъ съ наказомъ не разлить и не разсыпать,—напомнить, когда кто именинникъ. Еще Антона Иваныча употребляютъ въ такихъ дѣлахъ, которыя считаютъ неудобнымъ поручить человѣку. «Нельзя Петрушку послать»,—говорятъ:—«того и гляди, перевретъ. Нѣтъ, ужъ пусть лучше Антонъ Иванычъ съѣздитъ!» Или: «Неловко послать человѣка: такой-то или такая-то обидится, а вотъ лучше Антона Иваныча отпразить».

Какъ бы удивило всѣхъ, если бъ его вдругъ не было гдѣ-нибудь на обѣдѣ или вечерѣ!

— А гдѣ же Антонъ Иванычъ? — спросилъ бы всякій непремѣнно съ изумленіемъ. — Что́ съ нимъ? да почему его нѣтъ?

И обѣдъ не въ обѣдъ. Тогда ужъ къ нему даже кого-нибудь и отправятъ депутатомъ провѣдать, что́ съ нимъ, не

заболѣлъ ли, не уѣхалъ ли? И если онъ боленъ, то и родного не порадуютъ такимъ участіемъ.

Антонъ Иванычъ подошелъ къ рукѣ Анны Павловны.

— Здравствуйте, матушка, Анна Павловна! съ обновкой честь имѣю поздравить.

— Съ какой это, Антонъ Иванычъ?—спросила Анна Павловна, осматривая себя съ ногъ до головы.

— А мостикъ-то у воротъ! видно, только-что сколотили? что, слышу, не пляшутъ доски подъ колесами? смотрю, анъ новый!

Онъ, при встрѣчахъ съ знакомыми, всегда обыкновенно поздравляетъ ихъ съ чѣмъ-нибудь, или съ постомъ, или съ весной, или съ осенью; если послѣ оттепели морозъ наступитъ, такъ съ морозомъ, наступитъ послѣ морозу оттепель—съ оттепелью.

На этотъ разъ ничего подобнаго не было, но онъ что-нибудь да выдумаетъ.

— Вамъ кланяются Александра Васильевна, Матрена Михайловна, Петръ Сергѣичъ,—сказалъ онъ.

— Покорно благодарю, Антонъ Иванычъ! Дѣтки здоровы ли у нихъ?

— Славу Богу.

— Я къ вамъ веду благословеніе Божіе: за мной слѣдомъ идетъ батюшка. А слышали ли, сударыня: нашъ-то Семенъ Архипычъ?

— Что такое?—съ испугомъ спросила Анна Павловна.

— Вѣдь приказалъ долго жить!

— Что вы! когда?

— Вчера утромъ. Мнѣ къ вечеру же дали знать: прискакалъ парнишка; я и отправился, да всю ночь не спалъ. Всѣ въ слезахъ: и утѣшать-то надо, и распорядиться: тамъ у всѣхъ руки опустились: слезы да слезы,—я одинъ.

— Господи, Господи Боже мой! — говорила Анна Павловна, качая головой: — жизнь-то наша! Да какъ же это

могло случиться? онъ еще на той недѣлѣ съ вами же поклонъ прислалъ!

— Да, матушка! ну, да онъ давненько прихварывалъ, старикъ старый: диво, какъ до сихъ поръ еще не свалился!

— Что̀ за старый! онъ годомъ только постарше моего покойника. Ну, царство ему небесное! — сказала, крестясь, Анна Павловна.—Жаль бѣдной Ѳедосьи Петровны: осталась съ дѣточками на рукахъ. Шутка ли: пятеро, и все почти дѣвочки! А когда похороны?

— Завтра.

— Видно у всякаго свое горе, Антонъ Иванычъ; вотъ, я такъ сына проложаю.

— Что̀ дѣлать, Анна Павловна, всѣ мы человѣки! «терпи», сказано въ св. писаніи.

— Ужъ не прогнѣвайтесь, что потревожила васъ—вмѣстѣ размыкать горе; вы насъ такъ любите, какъ родной.

— Эхъ, матушка, Анна Павловна! да кого же мнѣ и любить-то, какъ не васъ? Много ли у насъ такихъ, какъ вы? Вы цѣны себѣ не знаете. Хлопотъ полонъ ротъ: тутъ и своя стройка вертится на умѣ. Вчера еще бился цѣлое утро съ подрядчикомъ, да все какъ-то не сходимся... а какъ, думаю, не поѣхать?.. что̀ она тамъ, думаю, одна-то, безъ меня станетъ дѣлать? человѣкъ не молодой: чай, голову растеряетъ.

— Дай Богъ вамъ здоровья, Антонъ Иванычъ, что не забываете насъ! И подлинно, сама не своя: такая пустота въ головѣ, ничего не вижу! въ горлѣ совсѣмъ отъ слезъ перегорѣло. Прошу закусить: вы и устали и, чай, проголодались.

— Покорно благодарю-съ. Признаться, мимоѣздомъ пропустилъ маленькую у Петра Сергѣича, да перехватилъ кусочекъ. Ну, да это не помѣшаетъ. Батюшка подойдетъ, пусть благословитъ! Да вотъ онъ и на крыльцѣ!

Пришелъ священникъ. Пріѣхала и Марья Карповна съ

дочерью, полной и румяной дѣвушкой, съ улыбкой и заплаканными глазами. Глаза и все выраженіе лица Софьи явно говорили: буду любить просто, безъ затѣй, буду ходить за мужемъ, какъ нянька, слушаться его во всемъ и никогда не казаться умнѣе его; да и какъ можно быть умнѣе мужа? это грѣхъ! Стану прилежно заниматься хозяйствомъ, шить; рожу ему полдюжины дѣтей, буду ихъ сама кормить, нянчить, одѣвать и обшивать. — Полнота и свѣжесть щекъ ея и пышность груди подтверждали обѣщаніе насчетъ дѣтей. Но слезы на глазахъ и грустная улыбка придавали ей въ эту минуту не такой прозаическій интересъ.

Прежде всего отслужили молебенъ, при чемъ Антонъ Иванычъ созвалъ дворню, зажегъ свѣчу и принялъ отъ священника книгу, когда тотъ пересталъ читать, и передалъ ее дьячку, а потомъ отлилъ въ скляночку святой воды, спряталъ въ карманъ и сказалъ: «это Агаѳьѣ Никитичнѣ». Сѣли за столъ. Кромѣ Антона Иваныча и священника, никто, по обыкновенію, не дотронулся ни до чего, но зато Антонъ Иванычъ сдѣлалъ полную честь этому гомерическому завтраку. Анна Павловна все плакала и украдкой утирала слезы.

— Полно вамъ, матушка, Анна Павловна, слезы-то тратить! — сказалъ Антонъ Иванычъ съ притворной досадой, наполнивъ рюмку наливкой.—Что вы его, на убой, что ли, отправляете?—Потомъ, вышивъ до половины рюмку, почавкалъ губами.

— Что за наливка! какой ароматъ пошелъ! Этакой, матушка, у насъ и по губерніи-то не найдешь!—сказалъ онъ съ выраженіемъ большого удовольствія.

— Это тре... те... годнич... ная!—проговорила, всхлипывая, Анна Павловна:—нынче для васъ... только... откупорила.

— Эхъ, Анна Павловна, и смотрѣть-то на васъ тошно,— началъ опять Антонъ Иванычъ:—вотъ некому бить-то васъ; билъ бы да билъ!

— Сами посудите, Антонъ Иванычъ, одинъ сынъ, и тотъ съ глазъ долой: умру—нѣкому и похоронить.

— А мы-то на что? что̀ я вамъ чужой, что ли? Да куда еще торопитесь умирать? того гляди, замужъ бы не вышли! вотъ бы поплясалъ на свадьбѣ! Да полно-те плакать-то!

— Не могу, Антонъ Иванычъ, право, не могу; не знаю сама, откуда слезы берутся.

— Этакого молодца взаперти держать! Дайте-ка ему волю, онъ расправитъ крылышки, да вотъ какихъ чудесъ надѣлаетъ: нахватаетъ тамъ чиновъ!

— Вашими бы устами да медъ пить! Да что вы мало взяли пирожка? возьмите еще!

— Возьму-съ: вотъ только этотъ кусокъ съѣмъ.

— За ваше здоровье, Александръ Ѳедорычъ! счастливаго пути! да возвращайтесь скорѣе; да женитесь-ка! Что вы, Софья Васильевна, вспыхнули?

— Я ничего... я такъ...

— Охъ, молодежь, молодежь! хе-хе-хе!

— Съ вами горя не чувствуешь, Антонъ Иванычъ,—сказала Анна Павловна:—такъ умѣете утѣшить; дай Богъ вамъ здоровья! Да выкушайте еще наливочки.

— Выпью, матушка, выпью, какъ не выпить на прощаньи!

Кончился завтракъ. Ямщикъ уже давно заложилъ повозку. Ее подвезли къ крыльцу. Люди выбѣгали одинъ за другимъ. Тотъ несъ чемоданъ, другой—узелъ, третій — мѣшокъ, и опять уходилъ за чѣмъ-нибудь. Какъ мухи сладкую каплю, люди облѣпили повозку, и всякій совался туда съ руками.

— Вотъ такъ лучше положить чемоданъ, — говорилъ одинъ: — а тутъ бы коробокъ съ провизіей.

— А куда же они ноги дѣнутъ? — отвѣчалъ другой: — лучше чемоданъ вдоль, а коробокъ можно сбоку поставить.

— Такъ тогда перина будетъ скатываться, коли чемоданъ вдоль: лучше поперекъ. Что̀ еще? уклали ли сапоги-то?

— Я не знаю. Кто укладывалъ?

— Я не укладывалъ. Поди-ка погляди — нѣтъ ли тамъ, наверху?

— Да поди ты.

— А ты что? мнѣ, видишь, некогда!

— Вотъ еще, вотъ это не забудьте!—кричала дѣвка, просовывая мимо головъ руку съ узелкомъ.

— Давай сюда!

— Суньте и это какъ-нибудь въ чемоданъ; давеча забыли, — говорила другая, привставая на подножку и подавая щеточку и гребенку.

— Куда теперь совать? — сердито закричалъ на нее дородный лакей: — пошла ты прочь! видишь, чемоданъ подъ самымъ низомъ!

— Барыня велѣла; мнѣ что за дѣло, хоть брось! вишь, черти какіе!

— Ну, давай, что ли, сюда скорѣе; это можно вотъ тутъ сбоку въ карманъ положить.

Коренная безпрестанно поднимала и трясла голову. Колокольчикъ издавалъ всякій разъ при этомъ рѣзкій звукъ, напоминавшій о разлукѣ, а пристяжныя стояли задумчиво, опустивъ головы, какъ будто понимая всю прелесть предстоящаго имъ путешествія, и изрѣдка обмахивались хвостами, или протягивали нижнюю губу къ коренной лошади. Наконецъ, настала роковая минута. Помолились еще.

— Сядьте, сядьте всѣ!—повелѣвалъ Антонъ Иванычъ:— извольте сѣсть, Александръ Ѳедорычъ! и ты, Евсей, сядь. Сядь же, сядь!—И самъ бокомъ, на секунду, едва присѣлъ на стулъ.—Ну, теперь съ Богомъ!

Вотъ тутъ-то Анна Павловна заревѣла и повисла на шею Александру.

— Прощай, прощай, мой другъ! — слышалось среди рыданій:—увижу ли я тебя?..

Дальше ничего нельзя было разобрать. Въ эту минуту

послышался звукъ другого колокольчика: на дворъ влетѣла телѣга, запряженная тройкой. Съ телѣги соскочилъ, весь въ пыли, какой-то молодой человѣкъ, вбѣжалъ въ комнату и бросился на шею Александру.

— Поспѣловъ!.. Адуевъ!.. — воскликнули они въ-разъ, тиская другъ друга въ объятіяхъ.

— Откуда ты, какъ?

— Изъ дому, нарочно скакалъ цѣлыя сутки, чтобъ проститься съ тобой.

— Другъ! другъ! истинный другъ! — говорилъ Адуевъ со слезами на глазахъ. — За 160 верстъ прискакать, чтобъ сказать «прости!» О, есть дружба въ мірѣ! Навѣкъ, не правда ли? — говорилъ пылко Александръ, стискивая руку друга и наскакивая на него.

— До гробовой доски!—отвѣчалъ тотъ, тиская руку еще сильнѣе и наскакивая на Александра.

— Пиши ко мнѣ!

— Да, да, и ты пиши!

Анна Павловна не знала, какъ и обласкать Поспѣлова. Отъѣздъ замедлился на полчаса. Наконецъ собрались.

Всѣ пошли до рощи пѣшкомъ. Софья и Александръ, въ то время, когда переходили темныя сѣни, бросились другъ къ другу.

— Саша! Милый Саша!.. Соничка!.. — шептали они, и слова замерли въ поцѣлуѣ.

— Вы забудете меня тамъ?—сказала она слезливо.

— О, какъ вы меня мало знаете! я ворочусь, повѣрьте, и никогда другая...

— Вотъ возьмите скорѣй: это мои волосы и колечко.

Онъ проворно спряталъ и то и другое въ карманъ.

Впереди пошли Анна Павловна съ сыномъ и съ Поспѣловымъ, потомъ Марья Карповна съ дочерью, наконецъ, священникъ съ Антономъ Иванычемъ. Въ нѣкоторомъ отдаленіи ѣхала повозка. Ямщикъ едва сдерживалъ лошадей. Дворня окружила въ воротахъ Евсея.

— Прощай, Евсей Иванычъ, прощай, голубчикъ, не забывай насъ!—слышалось со всѣхъ сторонъ.

— Прощайте, братцы, прощайте, не поминайте лихомъ!

— Прощай, Евсеюшка, прощай, мой ненаглядный! — говорила мать, обнимая его: — вотъ тебѣ образокъ; это мое благословеніе. Помни вѣру, Евсей, не уйди тамъ у меня въ басурманы! а не то прокляну! Не пьянствуй, не воруй; служи барину вѣрой и правдой. Прощай, прощай!..

Она закрыла лицо фартукомъ и отошла.

— Прощай, матушка!—лѣниво проворчалъ Евсей.

Къ нему бросилась дѣвчонка лѣтъ двѣнадцати.

— Простись съ сестренкой-то!—сказала одна баба.

— И ты туда же!—говорилъ Евсей, цѣлуя ее:—ну, прощай, прощай! пошла теперь, босоногая, въ избу!

Отдѣльно отъ всѣхъ, послѣдняя стояла Аграфена. Лицо у нея позеленѣло.

— Прощайте, Аграфена Ивановна! — сказалъ протяжно, возвысивъ голосъ, Евсей, и протянулъ къ ней руки.

Она дала себя обнять, но не отвѣчала на объятіе; только лицо ея искривилось.

— На, вотъ тебѣ!—сказала она, вынувъ изъ-подъ передника и сунувъ ему мѣшокъ съ чѣмъ-то.—То-то, чай, тамъ съ петербургскими-то загуляешь!—прибавила она, поглядѣвъ на него искоса. И въ этомъ взглядѣ выразилась вся тоска ея и вся ревность.

— Я загуляю, я?—началъ Евсей.—Да разрази меня на этомъ мѣстѣ Господь, лопни мои глаза! чтобъ мнѣ сквозь землю провалиться, коли я тамъ что-нибудь этакое...

— Ладно! ладно! — недовѣрчиво бормотала Аграфена:— а самъ-то—у!

— Ахъ, чуть не забылъ!—сказалъ Евсей и досталъ изъ кармана засаленную колоду картъ.—На-те, Аграфена Ивановна, вамъ на память; вѣдь вамъ здѣсь негдѣ взять.

Она протянула руку.

— Подари мнѣ, Евсей Иванычъ!—закричалъ изъ толпы Прошка.

— Тебѣ! да лучше сожгу, чѣмъ тебѣ подарю! — и онъ спряталъ карты въ карманъ.

— Да мнѣ-то отдай, дурачина!—сказала Аграфена.

— Нѣтъ, Аграфена Ивановна, что́ хотите дѣлайте, а не отдамъ: вы съ нимъ станете играть. Прощайте!

Онъ, не оглянувшись, махнулъ рукой и лѣниво пошелъ вслѣдъ за повозкой, которую бы, кажется, вмѣстѣ съ Александромъ, ямщикомъ и лошадьми, могъ унести на своихъ плечахъ.

— Проклятый! — говорила Аграфена, глядя ему вслѣдъ и утирая концомъ платка капавшія слезы.

У рощи остановились. Пока Анна Павловна рыдала и прощалась съ сыномъ, Антонъ Иванычъ потрепалъ одну лошадь по шеѣ, потомъ взялъ ее за ноздри и потрясъ въ обѣ стороны, чѣмъ та, казалось, вовсе была недовольна, потому что оскалила зубы и тотчасъ же фыркнула.

— Подтяни подпругу у коренной-то, — сказалъ онъ ямщику:—вишь, сѣделка-то на боку!

Ямщикъ посмотрѣлъ на сѣделку, и увидѣвъ, что она на своемъ мѣстѣ, не тронулся съ козелъ, а только кнутомъ поправилъ немного шлею.

— Ну, пора, Богъ съ вами!—говорилъ Антонъ Иванычъ:— полно, Анна Павловна, вамъ мучить-то себя! А вы садитесь, Александръ Ѳедорычъ; вамъ надо засвѣтло добраться до Шишкова. Прощайте, прощайте, дай Богъ вамъ счастья, чиновъ, крестовъ, всего добраго и хорошаго, всякаго добра и имущества!!! Ну, съ Богомъ, трогай лошадей, да смотри тамъ косогоромъ-то легче поѣзжай! — прибавилъ онъ, обращаясь къ ямщику.

Александръ сѣлъ, весь расплаканный, въ повозку, а Евсей подошелъ къ барынѣ, поклонился ей въ ноги и поцѣловалъ у ней руку. Она дала ему пятирублевую ассигнацію.

— Смотри же, Евсей, помни: будешь хорошо служить, женю на Аграфенѣ, а не то...

Она не могла говорить дальше. Евсей взобрался на козлы. Ямщикъ, наскучившій долгимъ ожиданіемъ, какъ будто ожилъ; онъ прижалъ шапку, поправился на мѣстѣ и поднялъ вожжи; лошади тронулись сначала легкой рысью. Онъ хлеснулъ пристяжныхъ разомъ одну за другой, онѣ скакнули, вытянулись, и тройка ринулась по дорогѣ въ лѣсъ. Толпа провожавшихъ осталась въ облакѣ пыли безмолвна и неподвижна, пока повозка не скрылась совсѣмъ изъ глазъ. Антонъ Иванычъ опомнился первый.

— Ну, теперь по домамъ!—сказалъ онъ.

Александръ смотрѣлъ, пока можно было, изъ повозки назадъ, потомъ упалъ на подушки лицомъ внизъ.

— Не оставьте вы меня, горемычную, Антонъ Иванычъ!— сказала Анна Павловна:—отобѣдайте здѣсь!

— Хорошо, матушка, я готовъ, пожалуй, и отужинаю.

— Да вы бы ужъ и ночевали.

— Какъ же: завтра похороны!

— Ахъ, да! Ну, я васъ не неволю. Кланяйтесь Ѳедосьѣ Петровнѣ отъ меня, скажите, что я душевно огорчена ея печалью и сама бы навѣстила, да, вотъ Богъ, дескать, и мнѣ послалъ горе—сына проводила.

— Скажу-съ, скажу, не забуду.

— Голубчикъ ты мой, Сашенька!—шептала она, оглядываясь:—и нѣтъ ужъ его, скрылся изъ глазъ!

Адуева просидѣла цѣлый день молча, не обѣдала и не ужинала. Зато говорилъ, обѣдалъ и ужиналъ Антонъ Иванычъ.

— Гдѣ-то онъ теперь, мой голубчикъ? — скажетъ только она иногда.

— Ужъ теперь долженъ быть въ Неплюевѣ. Нѣтъ, что я вру? еще не въ Неплюевѣ, а подъѣзжаетъ; тамъ чай будетъ пить,—отвѣчаетъ Антонъ Иванычъ.

— Нѣтъ, онъ въ это время никогда не пьетъ.

И такъ Анна Павловна мысленно ѣхала съ нимъ. Потомъ, когда онъ, по расчетамъ ея, долженъ былъ уже пріѣхать въ Петербургъ, она, то молилась, то гадала въ карты, то разговаривала о немъ съ Марьей Карповной.

А онъ?

Съ нимъ мы встрѣтимся въ Петербургѣ.

II.

Петръ Ивановичъ Адуевъ, дядя нашего героя, такъ же, какъ и этотъ, двадцати лѣтъ былъ отправленъ въ Петербургъ старшимъ своимъ братомъ, отцомъ Александра, и жилъ тамъ безвыѣздно семнадцать лѣтъ. Онъ не переписывался съ родными послѣ смерти брата, и Анна Павловна ничего не знала о немъ съ тѣхъ поръ, какъ онъ продалъ свое небольшое имѣніе, бывшее недалеко отъ ея деревни.

Въ Петербургѣ онъ слылъ за человѣка съ деньгами, и, можетъ-быть, не безъ причины; служилъ при какомъ-то важномъ лицѣ чиновникомъ особыхъ порученій и носилъ нѣсколько ленточекъ въ петлицѣ фрака; жилъ на бо́льшой улицѣ, занималъ хорошую квартиру, держалъ троихъ людей и столько же лошадей. Онъ былъ не старъ, а что называется «мужчина въ самой порѣ»—между тридцатью пятью и сорока годами. Впрочемъ, онъ не любилъ распространяться о своихъ лѣтахъ, не по мелкому самолюбію, а вслѣдствіе какого-то обдуманнаго расчета, какъ будто онъ намѣревался застраховать свою жизнь подороже. По крайней мѣрѣ, въ его манерѣ скрывать настоящія лѣта не видно было суетной претензіи нравиться прекрасному полу.

Онъ былъ высокій, пропорціонально сложенный мужчина, съ крупными, правильными чертами смугло-матоваго лица, съ ровной, красивой походкой, съ сдержанными, но пріятными манерами. Такихъ мужчинъ обыкновенно называютъ bel homme.

Въ лицѣ замѣчалась — также сдержанность, т. е. умѣнье

владѣть собою, не давать лицу быть зеркаломъ души. Онъ былъ того мнѣнія, что это неудобно — и для себя, и для другихъ. Таковъ онъ былъ въ свѣтѣ. Нельзя однакожъ было назвать лица его деревяннымъ: нѣтъ, оно было только покойно. Иногда лишь видны были на немъ слѣды усталости — должно-быть отъ усиленныхъ занятій. Онъ слылъ за дѣятельнаго и дѣлового человѣка. Одѣвался онъ всегда тщательно, даже щеголевато, но не черезчуръ, а только со вкусомъ; бѣлье носилъ отличное; руки у него были полны и бѣлы, ногти длинные и прозрачные.

Однажды утромъ, когда онъ проснулся и позвонилъ, человѣкъ, вмѣстѣ съ чаемъ, принесъ ему три письма и доложилъ, что приходилъ какой-то молодой баринъ, который называлъ себя Александромъ Ѳедорычемъ Адуевымъ, а его — Петра Иваныча — дядей, и обѣщался зайти часу въ двѣнадцатомъ.

Петръ Иванычъ, по обыкновенію, выслушалъ это извѣстіе покойно, только немного навострилъ уши и поднялъ брови.

— Хорошо, поди,—сказалъ онъ слугѣ.

Потомъ взялъ одно письмо, хотѣлъ распечатать, но остановился и задумался.

— Племянникъ изъ провинціи—вотъ сюрпризъ!—ворчалъ онъ:—а я надѣялся, что меня забыли въ томъ краю! Впрочемъ, что съ ними церемониться! отдѣлаюсь...

Онъ опять позвонилъ.

— Скажи этому господину, какъ придетъ, что я, вставши, тотчасъ уѣхалъ на заводъ к ворочусь черезъ три мѣсяца.

— Слушаю-съ, — отвѣчалъ слуга: — а съ гостинцами что прикажете дѣлать?

— Съ какими гостинцами?

— Привезъ ихъ человѣкъ: — барыня, говоритъ, деревенскихъ гостинцевъ прислала.

— Гостинцевъ?

— Да-съ: кадочка меду, мѣшокъ сушеной малины...

Петръ Иванычъ пожалъ плечами.

— Еще два куска полотна, да варенье...

— Воображаю, хорошо должно-быть полотно...

— Полотно хорошее и варенье сахарное.

— Ну, поди, я посмотрю сейчасъ.

Онъ взялъ одно письмо, распечаталъ и окинулъ взглядомъ страницу. Точно крупная славянская грамота: букву *в* замѣняли двѣ перечеркнутыя сверху и снизу палочки, а букву *к* просто двѣ палочки; писано безъ знаковъ препинанія.

Адуевъ сталъ читать вполголоса:

«М. Г. Петръ Иванычъ!

«Будучи съ покойнымъ вашимъ родителемъ коротко знакомы и пріятели, да и васъ самихъ въ дѣтствѣ тѣшилъ не мало и въ домѣ вашемъ частенько хлѣба и соли отвѣдывалъ, потому и питаю усердіе и благорасположеніе, что не забыли старика, Василья Тихоныча, а мы васъ здѣсь и родителей вашихъ всячески добромъ поминаемъ и Бога молимъ...»

— Что за дичь? Отъ кого это?—сказалъ Петръ Иванычъ, поглядѣвъ на подпись.—Василій Заѣзжаловъ! Заѣзжаловъ—хоть убей—не помню. Чего онъ хочетъ отъ меня?

И сталъ читать дальше:

«А моя покорнѣйшая просьба и докука къ вамъ — не откажите батюшка... вамъ въ Петербургѣ не то, что намъ здѣшнимъ, чай все извѣстно и все свое да родное. Навязалось на меня проклятое тяжебное дѣло, да вотъ седьмой годъ и съ шеи не могу спихнуть: изволите помнить лѣсишко, что въ двухъ верстахъ отъ моей деревушки? Палата сдѣлала ошибку въ купчей, а противникъ мой, Медвѣдевъ, и уперся на нее: пунктъ, говоритъ, фальшивый, да и только. Медвѣдевъ тотъ самый, что въ вашихъ дачахъ все безъ спросу рыбу ловилъ; покойникъ батюшка вашъ гонялъ его и срамилъ, хотѣлъ на своеволіе и губернатору жаловаться, да по добротѣ, дай Богъ ему царствіе небесное, спускалъ, а не надо бы щадить этакого злодѣя. Помогите, батюшка, Петръ Иванычъ; дѣло теперь въ Правительствующемъ Сенатѣ; не знаю тамъ, въ какомъ департаментѣ и у кого, да вамъ, чай, сейчасъ покажутъ. Съѣздите къ секретарямъ и сенаторамъ, склоните ихъ въ мою пользу, скажите, что отъ ошибки, истинно отъ ошибки въ купчей

страдаю: для васъ все сдѣлаютъ. Тамъ же ужъ кстати выхлопочите мнѣ патенты на три чина, да пришлите ко мнѣ. Еще, батюшка, Петръ Иванычъ, есть дѣльцо до васъ крайней потребности: взойдите въ сердечное участіе къ безвинно-угнетенному страдальцу и помогите совѣтомъ и дѣломъ. Есть у васъ въ губернскомъ правленіи совѣтникъ Дрожжовъ, золото, а не человѣкъ; умретъ, а своего не выдастъ; въ городѣ другой квартиры не знаю какъ у него, — какъ пріѣду, прямо къ нему, живу по недѣлямъ—и Боже сохрани—и подумать у другого остановиться, закормитъ, запоитъ; а бостончикъ отъ обѣда до глубокой ночи. И этакого-то человѣка обнесли и нынѣ нудятъ подать просьбу объ отставкѣ. Побывайте, отецъ родной, у всѣхъ вельможъ тамъ, внушите имъ, какой человѣкъ Аѳанасій Иванычъ: дѣло ли дѣлать — такъ и кипитъ въ рукахъ; скажите, что доносъ, дескать, на него сдѣланъ фальшиво, по проискамъ губернаторскаго секретаря, — васъ послушаютъ, и отпишите съ первой почтой ко мнѣ. Да повидайтесь со старинымъ моимъ сослуживцемъ, Костяковымъ. Я слышалъ отъ одного пріѣзжаго, Студеницына, вашего же петербургскаго — чай, изволите знать, — что онъ живетъ на Пескахъ; тамъ ребятишки укажутъ домъ; отпишите съ той же почтой, не полѣнитесь, живъ ли онъ, здоровъ ли, что́ дѣлаетъ, помнитъ ли меня? Познакомьтесь и подружитесь съ нимъ: прекрасный человѣкъ—душа на распашку, и балагуръ такой. Кончаю письмецо еще просьбицей...»

Адуевъ пересталъ читать, медленно разорвалъ письмо на четыре части и бросилъ подъ столъ въ корзинку, потомъ потянулся и зѣвнулъ.

Онъ взялъ другое письмо и началъ читать также вполголоса.

«Любезный братецъ, милостивый государь, Петръ Иванычъ!»

— Это что за сестрица!—сказалъ Адуевъ, глядя на подпись: —Марья Горбатова... Онъ обратилъ лицо къ потолку, припоминая что-то...

— Что бишь это такое? что-то знакомое... ба, вотъ прекрасно — вѣдь братъ женатъ былъ на Горбатовой; это ея сестра, это та... А! помню...

Онъ нахмурился и сталъ читать:

«Хотя рокъ разлучилъ насъ, можетъ-быть, навѣки и бездна лежитъ между нами; прошли года...»

Онъ пропустилъ нѣсколько строчекъ и читалъ далѣе:

«По гробъ жизни буду помнить, какъ мы вмѣстѣ, гуляючи около нашего озера, вы, съ опасностію жизни и здоровья, влѣзли по колѣно въ воду и достали для меня въ тростникѣ большой жёлтый цвѣтокъ; какъ изъ стебелька онаго текъ какой-то сокъ и перемаралъ намъ руки, а вы почерпнули картузомъ воды, дабы мы могли ихъ вымыть; мы очень много тогда этому смѣялись. Какъ я была тогда счастлива! Сей цвѣтокъ и нынѣ хранится въ книжкѣ...»

Адуевъ остановился. Видно было, что это обстоятельство ему очень не нравилось; онъ даже недовѣрчиво покачалъ головой.

«А цѣла ли у васъ та ленточка (продолжалъ онъ читать), что вы вытащили изъ моего комода, несмотря на всѣ мои крики и моленія...»

— Я вытащилъ ленточку! — сказалъ онъ вслухъ, сильно нахмуривши. Помолчавъ, пропустилъ еще нѣсколько строкъ и читалъ:

«А я обрекла себя на незамужнюю жизнь и чувствую себя весьма счастливою; никто не запретитъ воспоминать сіи блаженныя времена...»

«А, старая дѣвка!» подумалъ Петръ Иванычъ. «Не мудрено, что у ней еще желтые цвѣты на умѣ? Что тамъ еще?»

«Женаты ли вы, любезнѣйшій братецъ, и на комъ? Кто та милая подруга, украсившая собой путь вашего бытія, назовите мнѣ ее; я буду ее любить, какъ родную сестру, и въ мечтахъ соединять образъ ея съ вашимъ, буду молиться. А если не женаты, то по какой причинѣ—напишите откровенно: вашихъ тайнъ никто у меня не прочтетъ, я буду хранить ихъ на своей груди, ихъ вырвутъ у меня вмѣстѣ съ сердцемъ. Не медлите; сгораю нетерпѣніемъ читать ваши неизъяснимыя строки...»

«Нѣтъ, вотъ твои такъ неизъяснимыя строки!» подумалъ Петръ Иванычъ.

«Я не знала (читалъ онъ), что милый нашъ Сашенька вдругъ вздумаетъ посѣтить великолѣпную столицу, — счастливецъ! увидитъ прекрасные домы и магазины, будетъ наслаждаться роскошью и прижметъ къ своей груди обожаемаго дядю, — а я, я въ то время буду лить слезы, вспоминая счастливое время. Если бы я знала объ его отъѣздѣ, дни и ночи сидѣла бы и вышила бы для васъ подушку: арапъ съ двумя собаками; вы не повѣрите, какъ я много разъ плакала, глядя

на сей узоръ: что можетъ-быть святѣе дружбы и вѣрности?... Теперь меня занимаетъ сія одна мысль; ей посвящу дни свои, но не имѣю здѣсь хорошей шерсти, и потому покорнѣйше прошу, любезнѣйшій братецъ, выслать, вотъ по этимъ образчикамъ, что я тутъ вложила, что ни есть наилучшей англійской шерсти, въ самомъ скоромъ времени, изъ перваго магазина. Но что я говорю? какая ужасная мысль останавливаетъ перо мое! можетъ-быть, уже вы забыли насъ, и гдѣ вамъ помнить бѣдную страдалицу, которая удалилась отъ свѣта и льетъ слезы? Но нѣтъ! я не могу подумать, чтобъ вы могли быть извергомъ, какъ всѣ мужчины: нѣтъ! мнѣ сердце говоритъ, что вы сохранили къ намъ ко всѣмъ прежнія чувствованія среди роскоши и удовольствій великолѣпной столицы. Сія мысль служитъ бальзамомъ для моего страждущаго сердца. Простите: не могу болѣе продолжать, рука моя дрожитъ...»

Остаюсь по гробъ ваша
Марья Горбатова.

P. S. Нѣтъ ли, братецъ, у васъ хорошенькихъ книжекъ? пришлите, если вамъ не нужно: я бы на каждой страницѣ вспоминала васъ, плакала бы, или возьмите въ лавкѣ новыхъ, коли недорого. Говорятъ, очень хороши сочиненія господина Загоскина и господина Марлинскаго,—хоть ихъ; а то я еще видѣла въ газетахъ заглавіе — О Предразсудкахъ, соч. г-на Пузины — пришлите,— я терпѣть не могу предразсудковъ».

Прочитавъ, Адуевъ хотѣлъ отправить туда же и это письмо, но остановился.

«Нѣтъ», подумалъ онъ: «сберегу: есть охотники до такихъ писемъ; иные собираютъ цѣлыя коллекціи, — можетъ-быть, случится одолжить кого-нибудь».

Онъ бросилъ письмо въ бисерную корзинку, висѣвшую на стѣнѣ, потомъ взялъ третье письмо и началъ читать:

Любезнѣйшій мой деверекъ, Петръ Иванычъ!

«Помните ли, какъ семнадцать годковъ тому назадъ, мы справляли вашъ отъѣздъ? Вотъ привелъ Богъ благословить на дальній путь и собственное чадо. Полюбуйтесь, батюшка, на него, да вспомните поййника, нашего голубчика, Ѳедора Иваныча: вѣдь Сашенька весь въ его. Богъ одинъ знаетъ, что̀ вытерпѣло мое материнское сердце, отпускаючи его на чужую сторону. Отправляю его, моего друга, прямо къ вамъ: не велѣла нигдѣ приставать, окромѣ васъ...»

Адуевъ опять покачалъ головой.

— Глупая старуха!—проворчалъ онъ, и читалъ:

«Онъ, пожалуй, по неопытности, остановился бы на постояломъ дворѣ, но я знаю, какъ это можетъ огорчить родного дядю, и внушила взъѣхать прямо къ вамъ. То-то будетъ у васъ радости при свиданіи! Не оставьте его, любезный деверекъ, вашими совѣтами и возьмите на свое попеченіе; передаю его вамъ съ рукъ на руки».

Петръ Иванычъ опять остановился.

«Вѣдь вы тамъ одинъ у него (читалъ онъ потомъ). — Присмотритэ за нимъ, не балуйте ужъ слишкомъ-то, да и не взыскивайте очень строго, взыскать-то будетъ кому, взыщутъ и чужіе, а приласкать некому, кромѣ своего; онъ же самъ такой ласковый: вы только увидите его, такъ и не отойдете. И начальнику-то, у котораго онъ будетъ служить, скажите, чтобъ берегъ моего Сашеньку и обращался бы съ нимъ понѣжнѣе пуще всего: онъ у меня былъ нѣженькій. Остерегайте его отъ вина и отъ картъ. Ночью,—вѣдь вы, я чай, въ одной комнатѣ будете спать,—Сашенька привыкъ лежать на спинѣ: отъ этого, сердечный, больно стонетъ и мечется;—вы тихонько разбудите его да перекрестите: сейчасъ и пройдетъ, а лѣтомъ покрывайте ему ротъ платочкомъ: онъ его развѣстъ во снѣ, а проклятыя мухи такъ туда и лѣзутъ подъ утро. Не оставьте его также въ случаѣ нужды и деньгами...»

Адуевъ нахмурился, но вскорѣ лицо его опять прояснилось, когда онъ прочелъ далѣе.

«А я вышлю, что́ понадобится, да и ему въ руки дала теперь тысячу рублей, только чтобъ онъ не тратилъ ихъ на пустяки, да чтобъ у него подлипалы не выманили, вѣдь тамъ у васъ, въ столицѣ, слышь, много мошенниковъ и всякихъ безсовѣстныхъ людей. А затѣмъ, простите, дорогой деверь—совсѣмъ отвыкла писать. Остаюсь душевно почитающая васъ невѣстка

А. Адуева.

P. S. Посылаю при этомъ нашихъ деревенскихъ гостинцевъ — малинки изъ своего сада, бѣлаго медку — чистый, какъ слеза, — полотна голландскаго на двѣ дюжины рубашекъ, да домашняго вареньица. Кушайте и носите на здоровье, а выйдутъ — еще пришлю. Присмотрите и за Евсеемъ: онъ смирный и непьющій, да пожалуй тамъ, въ столицѣ, избалуется,—тогда можно и посѣчь».

Петръ Иванычъ медленно положилъ письмо на столъ, еще медленнѣе досталъ сигару и, покатавъ ее въ рукахъ, началъ курить. Долго обдумывалъ онъ эту штуку, какъ онъ

называлъ ее мысленно, которую сыграла съ нимъ его невѣстка. Онъ строго разобралъ въ умѣ и то, что сдѣлали съ нимъ, и то, что надо было дѣлать ему самому.

Вотъ на какія посылки разложилъ онъ весь этой случай. Племянника своего онъ не знаетъ, слѣдовательно, и не любитъ, а поэтому сердце его не возлагаетъ на него никакихъ обязанностей: надо рѣшать дѣло по законамъ разсудка и справедливости. Братъ его женился, наслаждался супружеской жизнію, — за что же онъ, Петръ Иванычъ, обременитъ себя заботливостію о братнемъ сынѣ, онъ, не наслаждавшійся выгодами супружества? Конечно не за что.

Но съ другой стороны представлялось вотъ что: мать отправила сына прямо къ нему, на его руки, не зная, захочетъ ли онъ взять на себя эту обузу, даже не зная, живъ ли онъ и въ состояніи ли сдѣлать что-нибудь для племянника. Конечно это глупо; но если дѣло уже сдѣлано и племянникъ въ Петербургѣ, безъ помощи, безъ знакомыхъ, даже безъ рекомендательныхъ писемъ, молодой, безъ всякой опытности... въ правѣ ли онъ оставить его на произволъ судьбы, бросить въ толпѣ, безъ наставленій, безъ совѣта, и если съ нимъ случится что-нибудь недоброе — не будетъ ли онъ отвѣчать передъ совѣстью?..

Тутъ кстати Адуевъ вспомнилъ, какъ, семнадцать лѣтъ назадъ, покойный братъ и та же Анна Павловна отправляли его самого. Они, конечно, не могли ничего сдѣлать для него въ Петербургѣ, онъ самъ нашелъ себѣ дорогу... но онъ вспомнилъ ея слезы при прощаньи, ея благословенія, какъ матери, ея ласки, ея пироги, и наконецъ, ея послѣднія слова: «вотъ, когда вырастетъ Сашенька—тогда еще трехлѣтній ребенокъ,—можетъ-быть, и вы, братецъ, приласкаете его»... Тутъ Петръ Иванычъ всталъ и скорыми шагами пошелъ въ переднюю...

— Василій!—сказалъ онъ:—когда придетъ мой племянникъ, то не отказывай. Да поди узнай, занята ли здѣсь

вверху комната, что отдавалась недавно, и если не занята, такъ скажи, что я оставляю ее за собой. А! это гостинцы! Ну, что мы станемъ съ ними дѣлать?

— Давеча нашъ лавочникъ видѣлъ, какъ несли ихъ вверхъ, онъ спрашивалъ, не уступимъ ли ему медъ:—«я, говоритъ, хорошую цѣну дамъ», и малину беретъ..?

— Прекрасно! отдай ему. Ну, а полотно куда дѣвать? развѣ не годится ли на чехлы?.. Такъ спрячь полотно и варенье спрячь,—его можно ѣсть: кажется порядочное.

Только-что Петръ Иванычъ расположился бриться, какъ явился Александръ Ѳедорычъ. Онъ-было броѣился на шею къ дядѣ, но тотъ, пожимая мощной рукой его нѣжную, юношескую руку, держалъ его въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ себя, какъ будто для того, чтобы наглядѣться на него, а болѣе, кажется, за тѣмъ, чтобы остановить этотъ порывъ и ограничиться пожатіемъ.

— Мать твоя правду пишетъ,—сказалъ онъ:—ты живой портретъ покойнаго брата: я бы узналъ тебя на улицѣ. Но ты лучше его. Ну, я безъ церемоніи буду продолжать бриться, а ты садись вотъ сюда—напротивъ, чтобы я могъ видѣть тебя, и давай бесѣдовать.

За этимъ Петръ Иванычъ началъ дѣлать свое дѣло, какъ будто тутъ никого не было, и намыливалъ щеки, натягивая языкомъ то ту, то другую. Александръ былъ сконфуженъ этимъ пріемомъ и не зналъ, какъ начать разговоръ. Онъ приписалъ холодность дяди тому, что не остановился прямо у него.

— Ну, что твоя матушка? здорова ли? Я думаю постарѣла?—спросилъ дядя, дѣлая разныя гримасы передъ зеркаломъ.

— Маменька, слава Богу, здорова, кланяется вамъ, и тетушка, Марья Павловна, тоже,—сказалъ робко Александръ Ѳедорычъ.—Тетушка поручила мнѣ обнять васъ...

Онъ всталъ и подошелъ къ дядѣ, чтобъ поцѣловать его

въ щеку, или въ голову, или въ плечо, или, наконецъ, во что удастся.

— Тетушкѣ твоей пора бы съ лѣтами быть умнѣе, а она, я вижу, все такая же дура, какъ была двадцать лѣтъ тому назадъ...

Озадаченный Александръ задомъ воротился на свое мѣсто.

— Вы получили, дядюшка, письмо?..—сказалъ онъ.

— Да, получилъ.

— Василій Тихонычъ Заѣзжаловъ, — началъ Александръ Ѳедорычъ:—убѣдительно проситъ васъ справиться и похлопотать о его дѣлѣ...

— Да, онъ пишетъ ко мнѣ... У васъ еще не перевелись такіе ослы?

Александръ не зналъ, что̀ и подумать—такъ его сразили эти отзывы.

— Извините, дядюшка... — началъ онъ почти съ трепетомъ.

— Что?

— Извините, что я не пріѣхалъ прямо къ вамъ, а остановился въ конторѣ дилижансовъ... Я не зналъ вашей квартиры...

— Въ чемъ тутъ извиняться? Ты очень хорошо сдѣлалъ. Матушка твоя, Богъ знаетъ, что̀ выдумала. Какъ бы ты ко мнѣ пріѣхалъ, не знавши, можно ли у меня остановиться, или нѣтъ? Квартира у меня, какъ видишь, холостая, для одного: зала, гостиная, столовая, кабинетъ, еще рабочій кабинетъ, гардеробная да туалетная—лишней комнаты нѣтъ. Я бы стѣснилъ тебя, а ты меня... А я нашелъ для тебя здѣсь же въ домѣ квартиру...

— Ахъ, дядюшка!—сказалъ Александръ:—какъ мнѣ благодарить васъ за эту заботливость?

И онъ опять вскочилъ съ мѣста, съ намѣреніемъ словомъ и дѣломъ доказать свою признательность.

— Тише, тише, не трогай! — заговорилъ дядя: — бритвы

преострыя, того и гляди обрѣжешься самъ и меня обрѣжешь.

Александръ увидѣлъ, что ему, несмотря на всѣ усилія, не удастся въ тотъ день ни разу обнять и прижать къ груди обожаемаго дядю, и отложилъ это намѣреніе до другого раза.

— Комната превеселенькая,—началъ Петръ Иванычъ:— окнами немного въ стѣну приходится, да вѣдь ты не станешь все у окна сидѣть; если дома, такъ займешься чѣмъ-нибудь, а въ окна зѣвать некогда. И не дорога—сорокъ рублей въ мѣсяцъ. Для человѣка есть передняя. Надо пріучаться тебѣ съ самаго начала жить одному, безъ няньки; завести свое маленькое хозяйство, т.-е. имѣть дома свой столъ, чай, словомъ, свой уголъ—un chez soi, какъ говорятъ французы. Тамъ ты можешь свободно принимать кого хочешь... Впрочемъ, когда я дома обѣдаю, то милости прошу и тебя, а въ другіе дни—здѣсь молодые люди обыкновенно обѣдаютъ въ трактирѣ, — но я совѣтую тебѣ посылать за своимъ обѣдомъ: дома и покойнѣе, и не рискуешь столкнуться Богъ знаетъ съ кѣмъ. Такъ ли?

— Я, дядюшка, очень благодаренъ...

— Что за благодарность? вѣдь ты мнѣ родня? Я исполняю свой долгъ. Ну, я теперь одѣнусь и поѣду; у меня и служба, и заводъ...

— Я не зналъ, дядюшка, что у васъ есть заводъ.

— Стеклянный и фарфоровый; впрочемъ, я не одинъ: насъ трое компаніоновъ.

— Хорошо идетъ?

— Да, порядочно; сбываемъ больше во внутреннія губерніи на ярмарки. Послѣдніе два года—хоть куда? Если бъ еще этакъ лѣтъ пять, такъ и того... Одинъ компаніонъ, правда, не очень надеженъ—все мотаетъ, да я умѣю держать его въ рукахъ. Ну, до свиданія. Ты теперь посмотри городъ, пофлянируй, пообѣдай гдѣ-нибудь, а вечеромъ при-

ходи ко мнѣ пить чай, я дома буду,—тогда поговоримъ. Эй, Василій! ты покажешь имъ комнату и поможешь тамъ устроиться.

«Такъ вотъ какъ здѣсь, въ Петербургѣ...» думалъ Александръ, сидя въ новомъ своемъ жилищѣ: «если родной дядя такъ, что жъ прочіе?..»

Молодой Адуевъ ходилъ взадъ и впередъ по комнатѣ въ сильной задумчивости, а Евсей говорилъ самъ съ собою, убирая комнату:

«Что это за житье здѣсь,—ворчалъ онъ:—у Петра Иваныча кухня-то, слышь, разъ въ мѣсяцъ топится, люди-то у чужихъ обѣдаютъ... Эко, Господи! ну, народецъ! нечего сказать, а еще петербургскіе называются! У насъ и собака каждая изъ своей плошки лакаетъ».

Александръ, кажется, раздѣлялъ мнѣніе Евсея, хотя и молчалъ. Онъ подошелъ къ окну и увидѣлъ однѣ трубы, да крыши, да черные, грязные, кирпичные бока домовъ... и сравнилъ съ тѣмъ, что видѣлъ, назадъ тому двѣ недѣли, изъ окна своего деревенскаго дома. Ему стало грустно.

Онъ вышелъ на улицу — суматоха, всѣ бѣгутъ куда-то, занятые только собой, едва взглядывая на проходящихъ, и то развѣ для того, чтобъ не наткнуться другъ на друга. Онъ вспомнилъ про свой губернскій городъ, гдѣ каждая встрѣча, съ кѣмъ бы то ни было, почему-нибудь интересна. То вотъ Иванъ Иванычъ идетъ къ Петру Петровичу—и всѣ въ городѣ знаютъ, зачѣмъ. То Марья Мартыновна ѣдетъ отъ вечерни, то Аѳанасій Савичъ на рыбную ловлю. Тамъ проскакалъ, сломя голову, жандармъ отъ губернатора къ доктору, и всякій знаетъ, что ея превосходительство изволитъ родить, хотя по мнѣнію разныхъ кумушекъ и бабушекъ, объ этомъ заранѣе знать не слѣдовало бы. Всѣ спрашиваютъ что: дочку или сына? Барыни готовятъ парадные чепцы. Вонъ Матвѣй Матвѣичъ вышелъ изъ дому, съ толстой палкой, въ шестомъ часу вечера, и всякому извѣстно,

что онъ идетъ дѣлать вечерній моціонъ, что у него безъ того желудокъ не варитъ, и что онъ остановится непремѣнно у окна стараго совѣтника, который, также извѣстно, пьетъ въ это время чай. Съ кѣмъ ни встрѣтишься—поклонъ да пару словъ, а съ кѣмъ и не кланяешься, такъ знаешь, кто онъ, куда и зачѣмъ идетъ, и у того въ глазахъ написано: и я знаю, кто вы, куда и зачѣмъ идете. Если, наконецъ, встрѣтятся незнакомые, еще не видавшіе другъ друга, то вдругъ лица обоихъ превращаются въ знаки вопроса; они остановятся и оборотятся назадъ раза два, а пришедши домой, опишутъ и костюмъ, и походку новаго лица, и пойдутъ толки и догадки, и кто, и откуда, и зачѣмъ? А здѣсь такъ взглядомъ и сталкиваютъ прочь съ дороги, какъ будто всѣ враги между собою.

Александръ сначала съ провинціальнымъ любопытствомъ вглядывался въ каждаго встрѣчнаго и каждаго порядочно одѣтаго человѣка, принимая ихъ, то за какого-нибудь министра или посланника, то за писателя: «не онъ ли?» думалъ онъ: «не этотъ ли?» Но вскорѣ это надоѣло ему—министры, писатели, посланники встрѣчались на каждомъ шагу.

Онъ посмотрѣлъ на домы—и ему стало еще скучнѣе: на него наводили тоску эти однообразныя каменныя громады, которыя, какъ колоссальныя гробницы, сплошною массою тянутся одна за другою. «Вотъ кончается улица, сейчасъ будетъ приволье глазамъ», думалъ онъ: «или горка, или зелень, или развалившійся заборъ»,—нѣтъ, опять начинается та же каменная ограда одинакихъ домовъ, съ четырьмя рядами оконъ. И эта улица кончилась, ее преграждаетъ опять то же, а тамъ новый порядокъ такихъ же домовъ. Заглянешь направо, налѣво — всюду обступили васъ, какъ рать исполиновъ, дома, дома и дома, камень и камень, все одно да одно... нѣтъ простора и выхода взгляду: заперты со всѣхъ сторонъ,—кажется, и мысли, и чувства людскія также заперты.

Тяжелы первыя впечатлѣнія провинціала въ Петербургѣ. Ему дико, грустно; его никто не замѣчаетъ; онъ потерялся здѣсь; ни новости, ни разнообразіе, ни толпа не развлекаютъ его. Провинціальный эгоизмъ его объявляетъ войну всему, что онъ видитъ здѣсь и чего не видѣлъ у себя. Онъ задумывается и мысленно переносится въ свой городъ. Какой отрадный видъ! Одинъ домъ съ остроконечной крышей и съ палисадничкомъ изъ акацій. На крышѣ надстройка, пріютъ голубей, — купецъ Изюминъ охотникъ гонять ихъ: для этого онъ взялъ да и выстроилъ голубятню на крышѣ; и по утрамъ и по вечерамъ, въ колпакѣ, въ халатѣ, съ палкой, къ концу которой привязана тряпица, стоитъ на крышѣ и посвистываетъ, размахивая палкой. Другой домъ— точно фонарь: со всѣхъ четырехъ сторонъ весь въ окнахъ и съ плоской крышей, домъ давней постройки; кажется, того и гляди, развалится или сгоритъ отъ самовозгорѣнія; тесъ принялъ какой-то свѣтло-сѣрый цвѣтъ. Страшно жить въ такомъ домѣ, но тамъ живутъ. Хозяинъ иногда, правда, посмотритъ на скосившійся потолокъ и покачаетъ головой, примолвивъ: простоитъ ли до весны? Авось! скажетъ потомъ и продолжаетъ жить, опасаясь не за себя, а за карманъ. Подлѣ него кокетливо красуется диконькій домъ лѣкаря, раскинувшійся полукружіемъ, съ двумя похожими на будки флигелями, а этотъ весь спрятался въ зелени; тотъ обернулся на улицу задомъ, а тутъ на двѣ версты тянется заборъ, изъ-за котораго выглядываютъ съ деревьевъ румяныя яблоки, искушеніе мальчишекъ. Отъ церквей домы отступили на почтительное разстояніе. Кругомъ ихъ растетъ густая трава, лежатъ надгробныя плиты. Присутственныя мѣста—такъ и видно, что присутственныя мѣста: близко безъ надобности никто не подходитъ. А тутъ, въ столицѣ, ихъ и не отличишь отъ простыхъ домовъ, да еще, срамъ сказать, и лавочка тутъ же въ домѣ. А пройдешь тамъ, въ городѣ, двѣ, три улицы, ужъ и чуешь вольный воздухъ, начинаются

плетни, за ними огороды, а тамъ и чистое поле съ яровымъ. А тишина, а неподвижность, а скука — и на улицѣ, и въ людяхъ тотъ же благодатный застой! И всѣ живутъ вольно, нараспашку, никому не тѣсно; даже куры и пѣтухи свободно расхаживаютъ по улицамъ, козы и коровы щиплютъ траву, ребятишки пускаютъ змѣй.

А здѣсь... какая тоска! И провинціалъ вздыхаетъ, и по заборѣ, который напротивъ его оконъ, и по пыльной и грязной улицѣ, и по трескому мосту, и по вывѣскѣ на питейной конторѣ. Ему противно сознаться, что Исаакіевскій соборъ лучше и выше собора въ его городѣ, что зала Дворянскаго Собранія больше залы тамошней. Онъ сердито молчитъ при подобныхъ сравненіяхъ, а иногда рискнетъ сказать, что такую-то матерію или такое-то вино можно у нихъ достать и лучше, и дешевле, а что на заморскія рѣдкости, этихъ большихъ раковъ и раковинъ, да красныхъ рыбокъ, тамъ и смотрѣть не станутъ, и что вольно, дескать, вамъ покупать у иностранцевъ разныя матеріи да бездѣлушки; они обдираютъ васъ, а вы и рады быть олухами! Зато, какъ онъ вдругъ обрадуется, какъ посравнитъ да увидитъ, что у него въ городѣ лучше икра, груши или калачи. — «Такъ это-то называется груша у васъ?—скажетъ онъ:—да у насъ это *и люди* не станутъ ѣсть!..»

Еще болѣе взгрустнется провинціалу, какъ онъ войдетъ въ одинъ изъ этихъ домовъ, съ письмомъ издалека. Онъ думаетъ, вотъ отворятся ему широкія объятія, не будутъ знать какъ принять его, гдѣ посадить, какъ угостить; станутъ искусно вывѣдывать, какое его любимое блюдо, какъ ему станетъ совѣстно отъ этихъ ласкъ, какъ онъ, подъ конецъ, броситъ всѣ церемоніи, расцѣлуетъ хозяина и хозяйку, станетъ говорить имъ *ты*, какъ будто двадцать лѣтъ знакомы: всѣ подопьютъ наливочки, можетъ-быть, запоютъ хоромъ пѣсню...

Куда! на него едва глядятъ, морщатся, извиняются за-

нятіями; если есть дѣло, такъ назначаютъ такой часъ, когда не обѣдаютъ и не ужинаютъ, а адмиральскаго часу вовсе не знаютъ — ни водки, ни закуски. Хозяинъ пятится отъ объятій, смотритъ на гостя какъ-то странно. Въ сосѣдней комнатѣ звенятъ ложками, стаканами: тутъ-то бы и пригласить, а его искусными намеками стараются выпроводить... Все на заперти, вездѣ колокольчики: не мизерно ли это? да какія-то холодныя нелюдимыя лица. А тамъ, у насъ, входи смѣло; если отобѣдали, такъ опять для гостя станутъ обѣдать; самоваръ утромъ и вечеромъ не сходитъ со стола, а колокольчиковъ и въ магазинахъ нѣтъ. Обнимаются, цѣлуются всѣ, и встрѣчный, и поперечный. Сосѣдъ тамъ — такъ настоящій сосѣдъ, живутъ рука въ руку, душа въ душу; родственникъ—такъ родственникъ: умретъ за своего.. эхъ, грустно!

Александръ добрался до Адмиралтейской площади и остолбенѣлъ. Онъ съ часъ простоялъ передъ *Мѣднымъ Всадникомъ*, но не съ горькимъ упрекомъ въ душѣ, какъ бѣдный *Евгеній*, а съ восторженной думой. Взглянулъ на Неву, окружающія ее зданія—и глаза его засверкали. Онъ вдругъ застыдился своего пристрастія къ тряскимъ мостамъ, палисадникамъ, разрушеннымъ заборамъ. Ему стало весело и легко. И суматоха, и толпа — все въ глазахъ его получило другое значеніе. Замелькали опять надежды, подавленныя на время грустнымъ впечатлѣніемъ; новая жизнь отверзала ему объятія и манила къ чему-то неизвѣстному. Сердце его сильно билось. Онъ мечталъ о благородномъ трудѣ, о высокихъ стремленіяхъ, и преважно выступалъ по Невскому проспекту, считая себя гражданиномъ новаго міра... Въ этихъ мечтахъ воротился онъ домой.

Вечеромъ, въ 11 часовъ, дядя прислалъ звать его пить чай.

— Я только-что изъ театра,—сказалъ дядя, лежа на диванѣ.

— Какъ жаль, что вы не сказали мнѣ давеча, дядюшка: я бы пошелъ вмѣстѣ съ вами.

— Я былъ въ креслахъ, куда жъ ты, на колѣни бы ко мнѣ сѣлъ? — сказалъ Петръ Иванычъ: — вотъ завтра поди себѣ одинъ.

— Одному грустно въ толпѣ, дядюшка; не съ кѣмъ подѣлиться впечатлѣніемъ...

— И не зачѣмъ! надо умѣть и чувствовать, и думать, словомъ, жить одному; со временемъ понадобится. Да еще тебѣ до театра надо одѣться прилично.

Александръ посмотрѣлъ на свое платье и удивился словамъ дяди. «Чѣмъ же я неприлично одѣтъ?—думалъ онъ:— синій сюртукъ, синіе панталоны»...

— У меня, дядюшка, много платья, — сказалъ онъ: — шилъ Кенигштейнъ; онъ у насъ на губернатора работаетъ.

— Нужды нѣтъ, все-таки оно не годится; на-дняхъ я завезу тебя къ своему портному; но это пустяки. Есть о чемъ важнѣе поговорить. Скажи-ка, зачѣмъ ты сюда пріѣхалъ?

— Я пріѣхалъ... жить...

— Жить? т.-е. если ты разумѣешь подъ этимъ ѣсть, пить и спать, такъ не стоило труда ѣздить такъ далеко: тебѣ такъ не удастся ни поѣсть, ни поспать здѣсь, какъ тамъ, у себя; а если ты думалъ что-нибудь другое, такъ объяснись...

— Пользоваться жизнію, хотѣлъ я сказать, — прибавилъ Александръ, весь покраснѣвъ: — мнѣ въ деревнѣ надоѣло— все одно и то же...

— А! вотъ что! Что жъ, ты наймешь бельэтажъ на Невскомъ проспектѣ, заведешь карету, составишь большой кругъ знакомства, откроешь у себя дни?

— Вѣдь это очень дорого,—замѣтилъ наивно Александръ.

— Мать пишетъ, что она дала тебѣ тысячу рублей: этого мало,— сказалъ Петръ Иванычъ. — Вотъ одинъ мой знакомый недавно пріѣхалъ сюда, ему тоже надоѣло въ деревнѣ; онъ хочетъ пользоваться жизнію, такъ тотъ привезъ пять-

десять тысячъ и ежегодно будетъ получать по стольку же. Онъ точно будетъ пользоваться жизнію въ Петербургѣ, а ты—нѣтъ! ты не за тѣмъ пріѣхалъ.

— По словамъ вашимъ, дядюшка, выходитъ, что я какъ будто самъ не знаю, зачѣмъ я пріѣхалъ.

— Почти такъ; это лучше сказано: тутъ есть правда; только все еще нехорошо. Неужели ты, какъ сбирался сюда, не задалъ себѣ этого вопроса: зачѣмъ я ѣду? Это было бы не лишнее.

— Прежде, нежели я задалъ себѣ этотъ вопросъ, у меня уже былъ готовъ отвѣтъ!—съ гордостью отвѣчалъ Александръ.

— Такъ что же ты не говоришь? ну, зачѣмъ?

— Меня влекло какое-то неодолимое стремленіе, жажда благородной дѣятельности; во мнѣ кипѣло желаніе уяснить и осуществить...

Петръ Иванычъ приподнялся немного съ дивана, вынулъ изо рта сигару и навострилъ уши.

— Осуществить тѣ надежды, которыя толпились...

— Не пишешь ли ты стиховъ?—вдругъ спросилъ Петръ Иванычъ.

— И прозой, дядюшка; прикажете принести?

— Нѣтъ, нѣтъ!.. послѣ когда-нибудь; я такъ только спросилъ.

— А что?

— Да ты такъ говоришь...

— Развѣ нехорошо?

— Нѣтъ,—можетъ-быть, очень хорошо, да дико.

— У насъ профессоръ эстетики такъ говорилъ и считался самымъ краснорѣчивымъ профессоромъ,—сказалъ смутившійся Александръ.

— О чемъ же онъ такъ говорилъ?

— О своемъ предметѣ.

— А!

— Какъ же, дядюшка, мнѣ говорить?

— Попроще, какъ всѣ, а не какъ профессоръ эстетики. Впрочемъ, этого вдругъ растолковать нельзя; ты послѣ самъ увидишь. Ты, кажется, хочешь сказать, сколько я могу припомнить университетскія лекціи и перевести твои слова, что ты пріѣхалъ сюда дѣлать карьеру и фортуну—такъ ли?

— Да, дядюшка, карьеру...

— И фортуну, — прибавилъ Петръ Иванычъ: — что за карьера безъ фортуны? Мысль хороша—только... напрасно ты пріѣзжалъ.

— Отчего же? Надѣюсь, вы не по собственному опыту говорите это?—сказалъ Александръ, глядя вокругъ себя.

— Дѣльно замѣчено. Точно, я хорошо обставленъ и дѣла мои недурны. Но, сколько я посмотрю, ты и я — большая разница.

— Я никакъ не смѣю сравнивать себя съ вами...

— Не въ томъ дѣло; ты, можетъ-быть, вдесятеро умнѣе и лучше меня... да у тебя, кажется, натура не такая, чтобъ поддалась новому порядку; а тамошній порядокъ — ой, ой! Ты, вонъ, изнѣженъ и избалованъ матерью; гдѣ тебѣ выдержать все, что я выдержалъ? Ты, должно-быть, мечтатель, а мечтать здѣсь некогда; подобные намъ ѣздятъ сюда дѣло дѣлать.

— Можетъ-быть, я въ состояніи что-нибудь сдѣлать, если вы не оставите меня вашими совѣтами и опытностью...

— Совѣтовать — боюсь. Я не ручаюсь за твою деревенскую натуру: выйдетъ вздоръ—станешь пенять на меня; а мнѣніе свое сказать, изволь — не отказываюсь, ты слушай или не слушай, какъ хочешь. Да нѣтъ! я не надѣюсь на удачу. У васъ тамъ свой взглядъ на жизнь: какъ переработаешь его? Вы помѣшались на любви, на дружбѣ, да на прелестяхъ жизни, на счастьи; думаютъ, что жизнь только въ этомъ и состоитъ: ахъ да охъ! плачутъ, хнычутъ да любезничаютъ, а дѣла не дѣлаютъ... какъ я отучу тебя отъ всего этого?—мудрено!

— Я постараюсь, дядюшка, приноровиться къ современнымъ понятіямъ. Уже сегодня, глядя на эти огромныя зданія, на корабли, принесшіе намъ дары дальнихъ странъ, я подумалъ объ успѣхахъ современнаго человѣчества, я понялъ волненіе этой разумно-дѣятельной толпы, готовъ слиться съ нею...

Петръ Иванычъ, при этомъ монологѣ, значительно поднялъ брови и пристально посмотрѣлъ на племянника. Тотъ остановился.

— Дѣло, кажется, простое,—сказалъ дядя:—а они, Богъ знаетъ, что̀ заберутъ въ голову... «разумно-дѣятельная толпа!!» Право, лучше бы тебѣ остаться тамъ. Прожилъ бы ты вѣкъ свой славно: былъ бы тамъ умнѣе всѣхъ, прослылъ бы сочинителемъ и краснорѣчивымъ человѣкомъ, вѣрилъ бы въ вѣчную и неизмѣнную дружбу и любовь, въ родство, счастье, женился бы и незамѣтно дожилъ бы до старости и въ самомъ дѣлѣ былъ бы по-своему счастливъ; а по здѣшнему ты счастливъ не будешь: здѣсь всѣ эти понятія надо перевернуть вверхъ дномъ.

— Какъ, дядюшка, развѣ дружба и любовь—эти священныя и высокія чувства, упавшія, какъ-будто ненарочно съ неба въ земную грязь...

— Что?

Александръ замолчалъ.

— «Любовь и дружба въ грязь упали!» Ну, какъ ты этакъ здѣсь брякнешь?

— Развѣ онѣ не тѣ же и здѣсь, какъ тамъ? хочу я сказать.

— Есть и здѣсь любовь и дружба, — гдѣ нѣтъ этого добра? только не такая, какъ тамъ, у васъ; со временемъ увидишь самъ... Ты прежде всего забудь эти *священныя* да *небесныя* чувства, а приглядывайся къ дѣлу такъ, проще, какъ оно есть, право лучше, будешь и говорить проще. Впрочемъ, это не мое дѣло. Ты пріѣхалъ сюда, не воро-

чаться же назадъ: если не найдешь чего искалъ, пеняй на себя. Я предупрежу тебя, что̀ хорошо, по моему мнѣнію, что̀ дурно, а тамъ какъ хочешь... Попробуемъ, можетъ-быть, удастся что-нибудь изъ тебя сдѣлать. Да! матушка просила снабжать тебя деньгами... Знаешь, что я тебѣ скажу: не проси у меня ихъ: это всегда нарушаетъ доброе согласіе между порядочными людьми. Впрочемъ, не думай, чтобъ я тебѣ отказывалъ: нѣтъ, если придется такъ, что другого средства не будетъ, такъ ты, нечего дѣлать, обратись ко мнѣ... Все у дяди лучше взять, чѣмъ у чужого, по крайней мѣрѣ, безъ процентовъ. Да чтобъ не прибѣгать къ этой крайности, я тебѣ поскорѣй найду мѣсто, чтобъ ты могъ доставать деньги, Ну, до свиданія. Заходи поутру, мы переговоримъ, что̀ и какъ начать.

Александръ Ѳедорычъ пошелъ домой.

— Послушай, не хочешь ли ты поужинать? — сказалъ Петръ Иванычъ ему вслѣдъ.

— Да, дядюшка... я бы, пожалуй...

— У меня ничего нѣтъ.

Александръ молчалъ. «Зачѣмъ же это обязательное предложеніе?» думалъ онъ.

— Стола я дома не держу, а трактиры теперь заперты,— продолжалъ дядя.—Вотъ тебѣ и урокъ на первый случай— привыкай. У васъ встаютъ и ложатся по солнцу, ѣдятъ, пьютъ, когда велитъ природа; холодно, такъ надѣнутъ себѣ шапку съ наушниками, да и знать ничего не хотятъ; свѣтло—такъ день, темно—такъ ночь. У тебя, вонъ, слипаются глаза, а я еще за работу сяду: къ концу мѣсяца надо счеты свести. Дышите вы тамъ круглый годъ свѣжимъ воздухомъ, а здѣсь и это удовольствіе стоитъ денегъ—и все такъ! совершенные антиподы! Здѣсь вотъ и не ужинаютъ, особенно на свой счетъ, и на мой тоже. Это тебѣ даже полезно: не станешь стонать и метаться по ночамъ, а крестить мнѣ тебя некогда.

— Къ этому, дядюшка, легко привыкнуть...

— Хорошо, если такъ. А у васъ все еще по старому: можно придти въ гости ночью и сейчасъ ужинъ состряпаютъ?

— Что жъ, дядюшка, надѣюсь, этой черты порицать нельзя. Добродѣтель русскихъ...

— Полно! какая тутъ добродѣтель. Отъ скуки тамъ всякому мерзавцу рады: — «милости просимъ, кушай, сколько хочешь, только займи какъ-нибудь нашу праздность, помоги убить время, да дай взглянуть на тебя: все-таки что-нибудь новое; а кушанья не пожалѣемъ: это намъ здѣсь ровно ничего не стоитъ...» Препротивная добродѣтель!

Такъ Александръ легъ спать и старался разгадать, что за человѣкъ его дядя. Онъ припомнилъ весь разговоръ; многаго не понялъ, другому не совсѣмъ вѣрилъ.

«Не хорошо говорю!»идумалъ онъ: «любовь и дружба не вѣчны?» не смѣется ли надо мною дядюшка? Неужели здѣсь такой порядокъ? Что же Софьѣ и нравилось во мнѣ особенно, какъ не даръ слова? А любовь ея неужели не вѣчна?.. И неужели здѣсь, въ самомъ дѣлѣ, не ужинаютъ?»

Онъ еще долго ворочался въ постели: голова, полная тревожныхъ мыслей, и пустой желудокъ не давали ему спать.

Прошло недѣли двѣ.

Петръ Иванычъ день ото дня становился довольнѣе своимъ племянникомъ.

— У него есть тактъ,—говорилъ онъ одному своему компаніону по заводу:—чего бы я никакъ не ожидалъ отъ деревенскаго мальчика. Онъ не навязывается, не ходитъ ко мнѣ безъ зову; и когда замѣтитъ, что онъ лишній, тотчасъ уйдетъ; и денегъ не проситъ: онъ малый покойный. Есть странности... лѣзетъ цѣловаться, говоритъ, какъ семинаристъ... ну, да отъ этого отвыкнетъ; и то хорошо, что онъ не сѣлъ мнѣ на шею.

— Есть состояніе?—спросилъ тотъ.

— Нѣтъ; какихъ-нибудь сто душонокъ.

— Что къ! если есть способности, такъ онъ пойдетъ здѣсь... вѣдь и вы не съ большого начали, а вотъ, слава Богу...

— Нѣтъ! куда! ничего не сдѣлаетъ. Эта глупая восторженность никуда не годится, ахъ да охъ! не привыкнетъ онъ къ здѣшнему порядку; гдѣ ему сдѣлать карьеру! напрасно пріѣзжалъ... ну, это ужъ его дѣло.

Александръ долгомъ считалъ любить дядю, но никакъ не могъ привыкнуть къ его характеру и образу мыслей.

«Дядюшка у меня, кажется, добрый человѣкъ»,— писалъ онъ въ одно утро къ Поспѣлову:—«очень уменъ, только человѣкъ весьма прозаическій, вѣчно въ дѣлахъ, въ расчетахъ... Духъ его будто прикованъ къ землѣ и никогда не возносится до чистаго, изолированнаго отъ земныхъ дрязговъ созерцанія явленій духовной природы человѣка. Небо у него неразрывно связано съ землей, и мы съ нимъ, кажется, никогда совершенно не сольемся душами. Ѣдучи сюда, я думалъ, что онъ, какъ дядя, дастъ мнѣ мѣсто въ сердцѣ, согрѣетъ меня въ здѣшней холодной толпѣ горячими объятіями дружбы; а дружба, ты знаешь, *второе провидѣніе*! Но и онъ есть ничто иное, какъ выраженіе этой толпы. Я думалъ дѣлить съ нимъ вмѣстѣ время, не разставаться ни на минуту, но что встрѣтилъ? — холодные совѣты, которые онъ называетъ дѣльными; но пусть они лучше будутъ недѣльны, но полны теплаго, сердечнаго участія. Онъ гордъ не гордъ, но врагъ всякихъ искреннихъ изліяній; мы не обѣдаемъ, не ужинаемъ вмѣстѣ, никуда не ѣздимъ. Пріѣхавъ, онъ никогда не разскажетъ, гдѣ былъ, что дѣлалъ и никогда также не говоритъ, куда ѣдетъ и зачѣмъ, кто у него знакомые, нравится ему что, нѣтъ ли, какъ онъ проводитъ время. Никогда не сердитъ особенно, ни ласковъ, ни печаленъ, ни веселъ. Сердцу его чужды всѣ порывы любви, дружбы, всѣ стремленія къ прекрасному. Часто го-

воришь, и говоришь, какъ вдохновенный пророкъ, почти какъ нашъ великій, незабвенный Иванъ Семенычъ, когда онъ, помнишь, гремѣлъ съ каѳедры, а мы трепетали въ восторгѣ отъ его огненнаго взора и слова; а дядюшка? слушаетъ, поднявъ брови, и смотритъ престранно, или засмѣется какъ-то по-своему, такимъ смѣхомъ, который леденитъ у меня кровь—и прощай вдохновеніе! Я иногда вижу въ немъ, какъ-будто пушкинскаго демона... Не вѣритъ онъ *любви*, и проч., говоритъ, что счастья нѣтъ, что его никто не обѣщалъ, а что есть просто жизнь, раздѣляющаяся поровну на добро и зло, на удовольствіе, удачу, здоровье, покой, потомъ на неудовольствіе, неудачу, безпокойство, болѣзни и проч., что на все на это надо смотрѣть просто, не забирать себѣ въ голову безполезныхъ—каково? безполезныхъ!—вопросовъ о томъ, зачѣмъ мы созданы, да къ чему стремимся,—что это не наша забота, и что отъ этого мы не видимъ, что у насъ подъ носомъ, и не дѣлаемъ своего дѣла... только и слышишь о дѣлѣ! Въ немъ не отличишь, находится ли онъ подъ вліяніемъ какого-нибудь наслажденія, или прозаическаго дѣла: и за счетами, и въ театрѣ, все одинаковъ; сильныхъ впечатлѣній не знаетъ и, кажется, не любитъ изящнаго: оно чуждо душѣ его; я думаю, онъ не читалъ даже Пушкина...»

Петръ Иванычъ неожиданно явился въ комнату племянника и засталъ его за письмомъ.

— Я пришелъ посмотрѣть, какъ ты тутъ устроился,— сказалъ дядя:—и поговорить о дѣлѣ.

Александръ вскочилъ и проворно что-то прикрылъ рукой.

— Спрячь, спрячь свой секретъ, — сказалъ Петръ Иванычъ:—я отвернусь. Ну, спряталъ? А это что выпало? что это такое?

— Это, дядюшка, ничего...—началъ-было Александръ, но смѣшался и замолчалъ.

— Кажется, волосы! Подлинно, ничего! ужъ я видѣлъ одно, такъ покажи и то, что спряталъ въ рукѣ.

Александръ, точно уличенный школьникъ, невольно разжалъ руку и показалъ кольцо.

— Что это? откуда?—спросилъ Петръ Иванычъ.

— Это, дядюшка, вещественные знаки... невещественныхъ отношеній...

— Что? что? дай-ка сюда эти знаки.

— Это залоги...

— Вѣрно изъ деревни привезъ?

— Отъ Софьи, дядюшка, на память... при прощаньи...

— Такъ и есть. И это ты везъ за тысячу пятьсотъ верстъ?

Дядя покачалъ головой.

— Лучше бы ты привезъ еще мѣшокъ сушеной малины: ту, по крайней мѣрѣ, въ лавочку сбыли, а эти залоги...

Онъ разсматривалъ то волосы, то колечко: волосы понюхалъ, а колечко взвѣсилъ на рукѣ. Потомъ взялъ бумажку со стола, завернулъ въ нее оба знака, сжалъ все это въ компактный комокъ и—бацъ въ окно.

— Дядюшка!—неистово закричалъ Александръ, схвативъ его за руку, но поздно: комокъ перелетѣлъ черезъ уголъ сосѣдней крыши, упалъ въ каналъ, на край барки съ кирпичами, отскочилъ, и прыгнулъ въ воду.

Александръ молча, съ выраженіемъ горькаго упрека, смотрѣлъ на дядю.

— Дядюшка!—повторилъ онъ.

— Что?

— Какъ назвать вашъ поступокъ?

— Бросаніемъ изъ окна въ каналъ невещественныхъ знаковъ и всякой дряни и пустяковъ, чего не нужно держать въ комнатѣ...

— Пустяковъ, это пустяки!

— А ты думалъ что?—половина твоего сердца... Я пришелъ къ нему за дѣломъ, а онъ вонъ чѣмъ занимается — сидитъ да думаетъ надъ дрянью!

— Развѣ это мѣшаетъ дѣлу, дядюшка?

— Очень. Время проходитъ, а ты до сихъ поръ мнѣ еще и не упомянулъ о своихъ намѣреніяхъ: хочешь ли ты служить, избралъ ли другое занятіе—ни слова! а все оттого, что у тебя Софья да знаки на умѣ. Вонъ, ты, кажется, къ ней письмо пишешь? Такъ?

— Да... я началъ-было...

— А къ матери писалъ?

— Нѣтъ еще, я хотѣлъ завтра.

— Отчего же завтра? Къ матери завтра, къ Софьѣ, которую черезъ мѣсяцъ надо забыть, сегодня...

— Софью? можно ли ее забыть?

— Должно. Не брось я твоихъ залоговъ, такъ, пожалуй, чего добраго, ты помнилъ бы ее лишній мѣсяцъ. Я оказалъ тебѣ вдвойнѣ услугу. Черезъ нѣсколько лѣтъ эти знаки напомнили бы тебѣ глупость, отъ которой бы ты краснѣлъ.

— Краснѣть отъ такого чистаго, святого воспоминанія? это значитъ не признавать поэзіи...

— Какая поэзія въ томъ, что̀ глупо? поэзія, напримѣръ, въ письмѣ твоей тетки! жёлтый цвѣтокъ, озеро, какая-то тайна... какъ я сталъ читать — мнѣ такъ стало нехорошо, что и сказать нельзя! чуть не покраснѣлъ, а ужъ я ли не отвыкъ краснѣть!

— Это ужасно, ужасно, дядюшка! стало-быть вы никогда не любили?

— Знаковъ терпѣть не могъ.

— Это какая-то деревянная жизнь! — сказалъ въ сильномъ волненіи Александръ: — прозябаніе, а не жизнь! прозябать *безъ вдохновенья, безъ слезъ, безъ жизни, безъ любви...*

— И безъ волосъ!—прибавилъ дядя.

— Какъ вы, дядюшка, можете такъ холодно издѣваться надъ тѣмъ, что̀ есть лучшаго на землѣ? вѣдь это преступленіе... Любовь... святыя волненія!

— Знаю я эту святую любовь: въ твои лѣта только уви-

дять локонъ, башмакъ, подвязку, дотронутся до руки—такъ по всему тѣлу и побѣжитъ святая, возвышенная любовь, а дай-ка волю, такъ и того... Твоя любовь, къ сожалѣнію, впереди; отъ этого никакъ не уйдешь, а дѣло уйдетъ отъ тебя, если не станешь имъ заниматься.

— Да развѣ любовь не дѣло?

— Нѣтъ: пріятное развлеченіе, только не нужно слишкомъ предаваться ему, а то выйдетъ вздоръ. Отъ этого я и боюсь за тебя.

Дядя покачалъ головой.

— Я почти нашелъ тебѣ мѣсто; ты вѣдь хочешь служить?—сказалъ онъ.

— Ахъ, дядюшка, какъ я радъ!

Александръ бросился и поцѣловалъ дядю въ щеку.

— Нашелъ-таки случай!—сказалъ дядя, вытирая щеку:—какъ это я не остерегся! Ну, такъ слушай же. Скажи, что ты знаешь, къ чему чувствуешь себя способнымъ?

— Я знаю богословіе, гражданское, уголовное, естественное и народное права, дипломацію, политическую экономію, философію, эстетику, археологію...

— Постой, постой! а умѣешь ли ты порядочно писать по-русски? Теперь пока это нужнѣе всего.

— Какой вопросъ, дядюшка: умѣю ли писать по-русски!—сказалъ Александръ и побѣжалъ къ комоду, изъ котораго началъ вынимать разныя бумаги, а дядя, между тѣмъ, взялъ со стола какое-то письмо и сталъ читать.

Александръ подошелъ съ бумагами къ столу и увидѣлъ, что дядя читаетъ письмо. Бумаги у него выпали изъ рукъ.

— Что это вы читаете, дядюшка? — сказалъ онъ въ испугѣ.

— А вотъ тутъ лежало письмо, къ другу, должно-быть. Извини, мнѣ хотѣлось взглянуть, какъ ты пишешь.

— И вы прочитали его?

— Да, почти—вотъ только двѣ строки осталось,—сейчасъ

дочитаю; а что? вѣдь тутъ секретовъ нѣтъ, иначе бы оно не валялось такъ...

— Что же вы теперь думаете обо мнѣ?..

— Думаю, что ты порядочно пишешь, правильно, гладко...

— Стало-быть вы не прочли, что тутъ написано? — съ живостью спросилъ Александръ.

— Нѣтъ, кажется, все,—сказалъ Петръ Иванычъ, поглядѣвъ на обѣ страницы: — сначала описываешь Петербургъ, свои впечатлѣнія, а потомъ меня.

— Боже мой? — воскликнулъ Александръ и закрылъ руками лицо.

— Да что ты? что съ тобой?

— И вы говорите это покойно? вы не сердитесь, не ненавидите меня?

— Нѣтъ! изъ чего мнѣ бѣсноваться?

— Повторите, успокойте меня.

— Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ.

— Мнѣ все не вѣрится; докажите, дядюшка...

— Чѣмъ прикажешь?

— Обнимите меня.

— Извини, не могу.

— Почему же?

— Потому что въ этомъ поступкѣ разума, то-есть смысла нѣтъ, или, говоря словами твоего профессора, сознаніе не побуждаетъ меня къ этому; вотъ, если бъ ты былъ женщина—такъ другое дѣло: тамъ это дѣлается безъ смысла, по другому побужденію.

— Чувство, дядюшка, просится наружу, требуетъ порыва, изліянія...

— У меня не просится и не требуетъ, да если бъ и пролось, такъ я бы воздержался—и тебѣ тоже совѣтую.

— Зачѣмъ же?

— А затѣмъ, чтобъ послѣ, когда разсмотришь поближе человѣка, котораго обнялъ, не краснѣть за свои объятія.

— Развѣ не случается, дядюшка, что оттолкнешь человѣка и послѣ раскаешься.

— Случается; оттого я никогда никого и не отталкиваю.

— Вы и меня не оттолкнете за мой поступокъ, не назовете чудовищемъ?

— У тебя кто напишетъ вздоръ, тотъ и чудовище. Этакъ бы ихъ развелось несмѣтное множество.

— Но читать про себя такія горькія истины — и отъ кого же? отъ родного племянника!

— Ты воображаешь, что написалъ истину?..

— О, дядюшка!.. конечно, я ошибся... я переправлю... простите...

— Хочешь, я тебѣ продиктую истину?

— Сдѣлайте милость.

— Садись и пиши.

Александръ вынулъ листъ бумаги и взялъ перо, а Петръ Иванычъ, глядя на прочтенное имъ письмо, диктовалъ:

«Любезный другъ.

— Написалъ?

— Написалъ.

«Петербурга и впечатлѣній своихъ описывать тебѣ не стану:

— «Не стану»,—сказалъ Александръ, написавъ.

«Петербургъ уже давно описанъ, а что не описано, то надо видѣть самому; впечатлѣнія мои тебѣ ни на что не годятся. Нѣчего попустому тратить время и бумагу. Лучше опишу моего дядю, потому что это относится лично до меня.

— «Дядю»,—сказалъ Александръ.

— Ну, вотъ ты пишешь, что я очень добръ и уменъ— можетъ быть это и правда, можетъ быть и нѣтъ; возьмемъ лучше середину, пиши:

«Дядя мой не глупъ и не золъ, мнѣ желаетъ добра...

— Дядюшка! я умѣю цѣнить и чувствовать... — сказалъ Александръ и потянулся поцѣловать его.

«Хотя и не вѣшается мнѣ на шею»,—продолжалъ диктовать Петръ Иванычъ. Александръ, не дотянувшись до него, поскорѣй сѣлъ на свое мѣсто.

«А желаетъ добра потому, что не имѣетъ причины и побужденія желать зла, и потому, что его просила обо мнѣ моя матушка, которая дѣлала нѣкогда для него добро. Онъ говоритъ, что меня не любитъ — и весьма основательно: въ двѣ недѣли нельзя полюбить, и я еще не люблю его, хотя и увѣряю въ противномъ.

— Какъ это можно?—сказалъ Александръ.

— Пиши, пиши:

«Но мы начинаемъ привыкать другъ къ другу. Онъ даже говоритъ, что можно и совсѣмъ обойтись безъ любви. Онъ не сидитъ со мной, обнявшись, съ утра до вечера, потому, что это вовсе не нужно, да ему и некогда.

— «Врагъ искреннихъ изліяній» — это можно оставить: это хорошо.—Написалъ?

— Написалъ.

— Ну, что у тебя тутъ еще? «Прозаическій духъ, демонъ...» Пиши.

Пока Александръ писалъ, Петръ Иванычъ взялъ со стола какую-то бумагу, свернулъ ее, досталъ огня и закурилъ сигару, а бумагу бросилъ и затопталъ.

«Дядя мой ни демонъ, ни ангелъ, а такой же человѣкъ, какъ и всѣ,—диктовалъ онъ,—только не совсѣмъ похожъ на насъ съ тобой. Онъ думаетъ и чувствуетъ по-земному, полагаетъ, что если мы живемъ на землѣ, такъ и не надо улетать съ нея на небо, гдѣ насъ теперь пока не спрашиваютъ, а заниматься человѣческими дѣлами, къ которымъ мы призваны. Оттого онъ вникаетъ во всѣ земныя дѣла и, между прочимъ, въ жизнь, какъ она есть, а не какъ бы намъ ея хотѣлось. Вѣритъ въ добро и вмѣстѣ въ зло, въ прекрасное и прескверное. Любви и дружбѣ тоже вѣритъ, только не думаетъ, что онѣ упали съ неба въ грязь, а полагаетъ,

что онѣ созданы вмѣстѣ съ людьми и для людей, что ихъ такъ и надобно понимать и вообще разсматривать вещи пристально, съ ихъ настоящей стороны, а не заноситься, Богъ знаетъ, куда. Между честными людьми онъ допускаетъ возможность пріязни, которая, отъ частыхъ сношеній и привычки, обращается въ дружбу. Но онъ полагаетъ также, что въ разлукѣ привычка теряетъ силу и люди забываютъ другъ друга и что это вовсе не преступленіе. Поэтому онъ увѣряетъ, что я тебя забуду, а ты меня. Это мнѣ, да и тебѣ вѣроятно, кажется дико, но онъ совѣтуетъ привыкнуть къ этой мысли, отчего мы оба не будемъ въ дуракахъ. О любви онъ того же мнѣнія, съ небольшими оттѣнками: не вѣритъ въ неизмѣнную и вѣчную любовь, какъ не вѣритъ въ домовыхъ—и намъ не совѣтуетъ вѣрить. Впрочемъ, объ этомъ онъ совѣтуетъ мнѣ думать, какъ можно меньше, а я тебѣ совѣтую. Это, говоритъ онъ, придетъ само собою—безъ зову; говоритъ, что жизнь не въ одномъ только этомъ состоитъ, что для этого, какъ для всего прочаго, бываетъ свое время, а цѣлый вѣкъ мечтать объ одной любви—глупо. Тѣ, которые ищутъ ее и не могутъ ни минуты обойтись безъ нея — живутъ сердцемъ, и еще чѣмъ-то хуже, на счетъ головы. Дядя любитъ заниматься дѣломъ, что совѣтуетъ и мнѣ, а я тебѣ:—мы принадлежимъ къ обществу, говоритъ онъ, которое нуждается въ насъ; занимаясь, онъ не забываетъ и себя: дѣло доставляетъ деньги, а деньги комфортъ, который онъ очень любитъ. Притомъ у него, можетъ-быть, есть намѣренія, вслѣдствіе которыхъ, вѣроятно, не я буду его наслѣдникомъ. Дядя не всегда думаетъ о службѣ да о заводѣ, онъ знаетъ наизусть не одного Пушкина...»

— Вы, дядюшка?—сказалъ изумленный Александръ.

— Да, когда-нибудь увидишь. Пиши.

«Онъ читаетъ на двухъ языкахъ все, что выходитъ замѣчательнаго по всѣмъ отраслямъ человѣческихъ знаній, любитъ искусства, имѣетъ прекрасную коллекцію картинъ

фламандской школы — это его вкусъ, — часто бываетъ въ театрѣ, но не суетится, не мечется, не ахаетъ, не охаетъ, думая, что это ребячество, что надо воздерживать себя, не навязывать никому своихъ впечатлѣній, потому, что до нихъ никому нѣтъ надобности. Онъ также не говоритъ дикимъ языкомъ, что̀ совѣтуетъ и мнѣ, а я тебѣ. Прощай, пиши ко мнѣ порѣже и не теряй попустому времени. Другъ твой такой-то. Ну, мѣсяцъ и число».

— Какъ можно послать такое письмо? — сказалъ Александръ: — «пиши порѣже» — написать это человѣку, который нарочно за сто шестьдесятъ верстъ пріѣхалъ, чтобы сказать послѣднее прости! «Совѣтую то, другое, третье»... онъ не глупѣе меня: онъ вышелъ вторымъ кандидатомъ.

— Нужды нѣтъ, ты все-таки пошли: можетъ-быть, онъ поумнѣе станетъ: это наведетъ его на разныя новыя мысли; хоть вы кончили курсъ, а школа ваша только-что начинается.

— Я не могу рѣшиться, дядюшка...

— Я никогда не вмѣшиваюсь въ чужія дѣла, но ты самъ просилъ что-нибудь для тебя сдѣлать; я стараюсь навести тебя на настоящую дорогу и облегчить первый шагъ, а ты упрямишься; ну, какъ хочешь; я говорю только свое мнѣніе, а принуждать не стану; я тебѣ не нянька.

— Извините, дядюшка: я готовъ повиноваться, — сказалъ Александръ и тотчасъ запечаталъ письмо.

Запечатавъ одно, онъ сталъ искать другое, къ Софьѣ. Онъ поглядѣлъ на столъ — нѣтъ, подъ столомъ — тоже нѣтъ, въ ящикѣ — не бывало.

— Ты чего-то ищешь? — сказалъ дядя.

— Я ищу другого письма... къ Софьѣ.

И дядя сталъ искать.

— Гдѣ же оно? — говорилъ Петръ Иванычъ: — я, право, не бросалъ его за окно...

— Дядюшка! что вы надѣлали? вѣдь вы имъ закурили

сигару! — горестно сказалъ Александръ и поднялъ обгорѣлые остатки письма.

— Не-уже-ли?—воскликнулъ дядя:—да какъ это я? и не замѣтилъ; смотри, пожалуй, сжегъ такую драгоцѣнность... А, впрочемъ, знаешь что? оно даже съ одной стороны хорошо...

— Ахъ, дядюшка, ей-Богу, ни съ какой стороны не хорошо...—замѣтилъ Александръ въ отчаяніи.

— Право, хорошо: съ нынѣшней почтой ты не успѣешь написать къ ней, а къ будущей ужъ вѣрно одумаешься, займешься службой: тебѣ будетъ не до того и, такимъ образомъ, сдѣлаешь одной глупостью меньше.

— Что жъ она подумаетъ обо мнѣ?

— А что хочетъ. Да я думаю, это полезно и ей. Вѣдь ты не женишься на ней? Она подумаетъ, что ты ее забылъ, забудетъ тебя сама и меньше будетъ краснѣть передъ будущимъ своимъ женихомъ, когда станетъ увѣрять его, что никого, кромѣ его, не любила.

— Вы, дядюшка, удивительный человѣкъ! для васъ не существуетъ постоянства, нѣтъ святости обѣщаній... Жизнь такъ хороша, такъ полна прелести, нѣги: она, какъ гладкое, прекрасное озеро...

— На которомъ растутъ жёлтые цвѣты, что ли? — перебилъ дядя.

— Какъ озеро, — продолжалъ Александръ: — она полна чего-то таинственнаго, заманчиваго, скрывающаго въ себѣ такъ много...

— Тины, любезный.

— Зачѣмъ же вы, дядюшка, черпаете тину, зачѣмъ такъ разрушаете и уничтожаете всѣ радости, надежды, блага... смотрите съ черной стороны?

— Я смотрю съ настоящей — и тебѣ то же совѣтую: въ дуракахъ не будешь. Съ твоими понятіями жизнь хороша тамъ, въ провинціи, гдѣ ея не вѣдаютъ,—тамъ и не люди

живутъ, а ангелы: вотъ Заѣзжаловъ — святой человѣкъ, тетушка твоя—возвышенная, чувствительная душа, Софья, я думаю, такая же дура, какъ и тетушка, да еще...

— Оканчивайте, дядюшка! — сказалъ взбѣшенный Александръ.

— Да еще такіе мечтатели, какъ ты:—водятъ носомъ по вѣтру, не пахнетъ ли откуда-нибудь неизмѣнной дружбой да любовью... Въ сотый разъ скажу: напрасно пріѣзжалъ!

— Станетъ она увѣрять жениха, что никого не любила!— говорилъ почти самъ съ собою Александръ.

— А ты все свое!

— Нѣтъ, я увѣренъ, что она прямо, съ благородной откровенностью отдастъ ему мои письма и...

— И знаки,—сказалъ Петръ Иванычъ.

— Да, и залоги нашихъ отношеній... и скажетъ: «вотъ, вотъ кто первый пробудилъ струны моего сердца; вотъ при чьемъ имени заиграли онѣ впервые»...

У дяди начали подниматься брови и расширяться глаза. Александръ замолчалъ.

— Что жъ ты пересталъ играть на своихъ струнахъ? Ну, милый, и подлинно глупа твоя Софья, если сдѣлаетъ такую штуку; надѣюсь, у нея есть мать, или кто-нибудь, кто бы могъ остановить ее?

— Вы, дядюшка, рѣшаетесь назвать глупостью этотъ святѣйшій порывъ души, это благородное изліяніе сердца; какъ прикажете думать о васъ?

— Какъ тебѣ заблагоразсудится. Жениха своего она заставитъ подозрѣвать Богъ знаетъ что; пожалуй, еще и свадьба разойдется, а отчего? оттого, что вы тамъ рвали вмѣстѣ жёлтые цвѣты... Нѣтъ, такъ дѣла не дѣлаются. Ну, такъ ты по-русски писать можешь,—завтра поѣдемъ въ департаментъ: я ужъ говорилъ о тебѣ прежнему своему сослуживцу, начальнику отдѣленія; онъ сказалъ, что есть вакансія; терять времени нечего... Это что за кипу ты вытащилъ?

— А это мои университетскія записки. Вотъ, позвольте прочесть нѣсколько страницъ изъ лекцій Ивана Семеныча, объ искусствѣ въ Греціи...

Онъ ужъ началъ-было проворно переворачивать страницы.

— Охъ, сдѣлай милость, уволь! — сказалъ, сморщившись, Петръ Иванычъ.—А это что?

— А это мои диссертаціи. Я желалъ бы показать ихъ своему начальнику; особенно тутъ есть одинъ проектъ, который я обработалъ...

— А! одинъ изъ тѣхъ проектовъ, которые тысячу лѣтъ ужъ какъ исполнены, или которыхъ нельзя и не нужно исполнять.

— Что вы, дядюшка! да этотъ проектъ былъ представленъ одному значительному лицу, любителю просвѣщенія; за это однажды онъ пригласилъ меня съ ректоромъ обѣдать. Вотъ начало другого проекта.

— Отобѣдай у меня дважды, да только не дописывай другого проекта.

— Почему же?

— Да такъ, ты теперь хорошаго ничего не напишешь, а время уйдетъ.

— Какъ! слушавши лекціи?..

— Онѣ пригодятся тебѣ со временемъ, а теперь смотри, читай, учись, да дѣлай, что̀ заставятъ?

— Какъ же узнаетъ начальникъ о моихъ способностяхъ?

— Мигомъ узнаетъ: онъ мастеръ узнавать. Да ты какое же мѣсто хотѣлъ бы занять?

— Я не знаю, дядюшка, какое бы...

— Есть мѣста министровъ,—говорилъ Петръ Иванычъ:— товарищей ихъ, директоровъ, вице-директоровъ, начальниковъ отдѣленій, столоначальниковъ, ихъ помощниковъ, чиновниковъ особыхъ порученій, мало ли?

Александръ задумался. Онъ растерялся и не зналъ, какое выбрать.

— Вотъ бы на первый разъ мѣсто столоначальника хорошо,—сказалъ онъ.

— Да, хорошо!—повторилъ Петръ Иванычъ.

— Я бы присмотрѣлся къ дѣлу, дядюшка, а тамъ мѣсяца черезъ два можно бы и въ начальники отдѣленія...

Дядя навострилъ уши.

— Конечно, конечно!—сказалъ онъ:—потомъ черезъ три мѣсяца въ директоры: ну, а тамъ черезъ годъ и въ министры: такъ, что ли?

Александръ покраснѣлъ и молчалъ.

— Начальникъ отдѣленія, вѣроятно, сказалъ вамъ, какая есть вакансія?—спросилъ онъ потомъ.

— Нѣтъ,—отвѣчалъ дядя:—онъ не говорилъ, да мы лучше положимся на него; сами-то, видишь, затрудняемся въ выборѣ, а онъ ужъ знаетъ, куда опредѣлить. Ты ему не говори о своемъ затрудненіи насчетъ выбора, да и о проектахъ тоже ни слова: пожалуй, еще обидится, что не довѣряемъ ему, да пугнетъ порядкомъ; онъ крутенекъ. Я бы тебѣ не совѣтовалъ говорить и о *вещественныхъ знакахъ* здѣшнимъ красавицамъ: онѣ не поймутъ этого, гдѣ имъ понять! это для нихъ слишкомъ высоко: и я насилу вникнулъ, а онѣ будутъ гримасничать.

Пока дядя говорилъ, Александръ ворочалъ въ рукѣ какой-то свертокъ.

— Что это еще у тебя?

Александръ съ нетерпѣніемъ ждалъ этого вопроса.

— Это... я давно хотѣлъ вамъ показать... стихи: вы однажды интересовались...

— Что-то не помню; кажется, я не интересовался...

— Вотъ, видите, дядюшка, я думаю, что служба—занятіе сухое, въ которомъ не участвуетъ душа, а душа жаждетъ выразиться, подѣлиться съ ближними избыткомъ чувствъ и мыслей, переполняющихъ ее...

— Ну, такъ что же?—съ нетерпѣніемъ спросилъ дядя.

— Я чувствую призваніе къ творчеству...

— То-есть, ты хочешь заняться, кромѣ службы, еще чѣмъ-нибудь — такъ, что ли, въ переводѣ? Что жъ, очень похвально: чѣмъ же? литературой?

— Да, дядюшка, я хотѣлъ просить васъ, нѣтъ ли у васъ случая помѣстить кое-что...

— Увѣренъ ли ты, что у тебя есть талантъ? безъ этого вѣдь ты будешь чернорабочій въ искусствѣ — что жъ хорошаго? Талантъ — другое дѣло: можно работать; много хорошаго сдѣлаешь и притомъ это капиталъ — стоитъ твоихъ ста душъ.

— Вы и это измѣряете деньгами?

— А чѣмъ же прикажешь? чѣмъ больше тебя читаютъ, тѣмъ больше платятъ денегъ.

— А слава, слава? вотъ истинная награда пѣвца...

— Она устала няньчиться съ пѣвцами: слишкомъ много претендентовъ. Это прежде, бывало, слава, какъ женщина, ухаживала за всякимъ, а теперь, замѣчаешь ли? ея какъ-будто нѣтъ совсѣмъ, или она спряталась—да! Есть извѣстность, а славы что-то не слыхать, или она придумала другой способъ проявляться: кто лучше пишетъ, тому больше денегъ, кто хуже — не прогнѣвайся. Зато нынче порядочный писатель и живетъ порядочно, не мерзнетъ и не умираетъ съ голода на чердакѣ, хоть за нимъ и не бѣгаютъ по улицамъ и не указываютъ на него пальцами, какъ на шута; поняли, что поэтъ не небожитель, а человѣкъ: такъ же глядитъ, ходитъ, думаетъ и дѣлаетъ глупости, какъ другіе: чего жъ тутъ смотрѣть?..

— Какъ другіе — что вы, дядюшка! какъ это можно говорить! Поэтъ заклейменъ особенною печатью: въ немъ таится присутствіе высшей силы...

— Какъ иногда въ другихъ—и въ математикѣ, и въ часовщикѣ, и въ нашемъ братѣ, заводчикѣ. Ньютонъ, Гутенбергъ, Ваттъ такъ же были одарены высшей силой, какъ

и Шекспиръ, Дантъ и проч. Доведи-ка я какимъ-нибудь процессомъ нашу парголовскую глину до того, чтобы изъ нея выходилъ фарфоръ лучше саксонскаго или севрскаго, такъ ты думаешь, что тутъ не было бы присутствія высшей силы?

— Вы смѣшиваете искусство съ ремесломъ, дядюшка.

— Боже сохрани! Искусство само-по-себѣ, ремесло само-по-себѣ, а творчество можетъ быть и въ томъ, и въ другомъ, такъ же точно, какъ и не быть. Если нѣтъ его, такъ ремесленникъ такъ и называется ремесленникъ, а не творецъ, и поэтъ безъ творчества ужъ не поэтъ, а сочинитель... Да развѣ вамъ объ этомъ не читали въ университетѣ? Чему же вы тамъ учились?..

Дядѣ ужъ самому стало досадно, что онъ пустился въ такія объясненія о томъ, что̀ считалъ общеизвѣстной истиной.

«Это похоже на искреннія изліянія», подумалъ онъ.

— Покажи-ка, что̀ тамъ у тебя?—спросилъ онъ:—стихотворенія!

Дядя взялъ свертокъ и началъ читать первую страницу.

«Отколь порой тоска и горе
Внезапной тучей налетитъ
И сердце съ жизнію поссоря...

— Дай-ка, Александръ, огня.

Онъ закурилъ сигару и продолжалъ:

«Въ немъ рой желаній замѣнятъ?
Зачѣмъ вдругъ сумрачнымъ ненастьемъ
Падетъ на душу тяжкій сонъ,
Какимъ невѣдомымъ несчастьемъ
Ее смутитъ внезапно онъ...

— Одно и то же въ первыхъ четырехъ стихахъ сказано, и вышла вода,—замѣтилъ Петръ Иванычъ, и читалъ:

«Кто отгадаетъ отчего
Проступитъ хладными слезами
Вдругъ поблѣднѣвшее чело...

— Какъ же это такъ? Чело потомъ проступаетъ, а слезами—не видывалъ.

«И что тогда творится съ нами?
Небесъ далекихъ тишина
Въ тотъ мигъ ужасна и страшна...

— Ужасна и страшна—одно и то же.

«Гляжу на небо: тамъ луна...

— Луна непремѣнно: безъ нея никакъ нельзя! Если у тебя тутъ есть *мечта* и *дѣва* — ты погибъ: я отступаюсь отъ тебя.

«Гляжу на небо: тамъ луна
Безмолвно плаваетъ, сіяя,
И мнится, въ ней погребена
Отъ вѣка тайна роковая.

— Недурно! Дай-ка еще огня... сигара погасла. Гдѣ—бишь,—да!

«Въ эѳирѣ звѣзды притаясь,
Дрожатъ въ измѣнчивомъ сіяньѣ,
И будто дружно согласясь,
Хранятъ коварное молчанье.
Такъ въ мірѣ все грозитъ бѣдой,
Все зло намъ дико предвѣщаетъ,
Безпечно будто бы качаетъ
Насъ въ немъ обманчивый покой;
И грусти той назва...нья нѣтъ...

Дядя сильно зѣвнулъ и продолжалъ:

«Она пройдетъ, умчитъ и слѣдъ,
Какъ перелетный вѣтръ степей
Съ песковъ сдуваетъ слѣдъ звѣрей.

— Ну, ужъ звѣрей-то тутъ куда не хорошо! Зачѣмъ же тутъ черта? А! это было о грусти, а теперь о радости...

И онъ началъ скороговоркой читать, почти про себя:

«Зато случается порой
Иной въ насъ демонъ поселится,
Тогда восторгъ живой струей
Насильно въ душу протѣснится...
И затрепещетъ сладко грудь...» и т. д.

— Ни худо, ни хорошо!—сказалъ онъ, окончивъ.—Впрочемъ, другіе начинали и хуже; попробуй, пиши, занимайся, если есть охота; можетъ-быть, и обнаружится талантъ; тогда другое дѣло.

Александръ опечалился. Онъ ожидалъ совсѣмъ не такого отзыва. Его немного утѣшало то, что онъ считалъ дядю человѣкомъ холоднымъ, почти безъ души.

— Вотъ переводъ изъ Шиллера,—сказалъ онъ.

— Довольно; я вижу; а ты знаешь и языки?

— Я знаю по-французски, по-нѣмецки и немного по-англійски.

— Поздравляю тебя, давно бы ты сказалъ: изъ тебя можно многое сдѣлать. Давеча насказалъ мнѣ про политическую экономію, философію, археологію, Богъ знаетъ про что еще, а о главномъ ни слова — скромность некстати. Я тебѣ тотчасъ найду и литературное занятіе.

— Неужели, дядюшка? вотъ обяжете! — позвольте васъ обнять.

— Погоди, вотъ какъ найду.

— Не покажете ли вы чего-нибудь изъ моихъ сочиненій будущему моему начальнику, чтобъ дать понятіе?

— Нѣтъ, не нужно; если понадобится, ты и самъ покажешь, а можетъ-быть, и не понадобится. Подари-ка ты мнѣ свои проекты и сочиненія?..

— Подарить?—извольте, дядюшка,—сказалъ Александръ, которому польстило это требованіе дяди.—Не угодно ли, я вамъ сдѣлаю оглавленіе всѣхъ статей въ хронологическомъ порядкѣ?

— Нѣтъ, не нужно... Спасибо за подарокъ. Евсей! отнеси эти бумаги къ Василью.

— Зачѣмъ же къ Василью? въ вашъ кабинетъ.

— Онъ просилъ у меня бумаги обклеить что-то...

— Какъ, дядюшка?..—въ ужасѣ спросилъ Александръ и схватилъ кипу назадъ.

— Вѣдь ты подарилъ, а тебѣ что за дѣло, какое употребленіе я сдѣлаю изъ твоего подарка?..

— Вы не щадите ничего... ничего!..—съ отчаяніемъ сталъ онъ, прижимая бумаги обѣими руками къ груди.

— Александръ, послушайся меня,—сказалъ дядя, вырывая у него бумаги:—не будешь краснѣть послѣ и скажешь мнѣ спасибо.

Александръ выпустилъ бумаги изъ рукъ.

— На, отнеси, Евсей, — сказалъ Петръ Иванычъ. — Ну вотъ теперь у тебя въ комнатѣ чисто и хорошо: пустяковъ нѣтъ; отъ тебя будетъ зависѣть наполнить ее соромъ, или чѣмъ-нибудь дѣльнымъ. Поѣдемъ на заводъ прогуляться, разсѣяться, подышать свѣжимъ воздухомъ и посмотрѣть, какъ работаютъ.

Утромъ Петръ Иванычъ привезъ племянника въ департаментъ, и пока самъ онъ говорилъ съ своимъ пріятелемъ—начальникомъ отдѣленія, Александръ знакомился съ этимъ новымъ для него міромъ. Онъ еще мечталъ все о проектахъ и ломалъ себѣ голову надъ тѣмъ, какой государственный вопросъ предложатъ ему рѣшить, между тѣмъ все стоялъ и смотрѣлъ.

«Точно заводъ моего дяди!» рѣшилъ онъ наконецъ. «Какъ тамъ одинъ мастеръ возьметъ кусокъ массы, броситъ ее въ машину, повернетъ разъ, два, три, — смотришь, выйдетъ конусъ, овалъ или полукругъ; потомъ передаетъ другому, тотъ сушитъ на огнѣ, третій золотитъ, четвертый расписываетъ, и выйдетъ чашка, или ваза, или блюдечко. И тутъ: придетъ посторонній проситель, подастъ, полусогнувшись, съ жалкой улыбкой, бумагу—мастеръ возьметъ, едва дотронется до нея перомъ и передастъ другому, тотъ броситъ ее въ массу тысячи другихъ бумагъ,—но она не затеряется: заклейменная номеромъ и числомъ, она пройдетъ невредимо чрезъ двадцать рукъ, плодясь и производя себѣ подобныхъ. Третій возьметъ ее и полѣзетъ зачѣмъ-то въ шкапъ,

заглянетъ, или въ книгу, или въ другую бумагу, скажетъ нѣсколько магическихъ словъ четвертому — и тотъ пошелъ скрипѣть перомъ. Поскрипѣвъ, передаетъ родительницу съ новымъ чадомъ пятому, — тотъ скрипитъ въ свою очередь перомъ и рождается еще плодъ, пятый охорашиваетъ его и сдаетъ дальше, и такъ бумага идетъ, идетъ—никогда не пропадаетъ: умрутъ ея производители, а она все существуетъ цѣлые вѣка. Когда, наконецъ, ее покроетъ вѣковая пыль, и тогда еще тревожатъ ее и совѣтуются съ нею. И каждый день, каждый часъ, и сегодня, и завтра, и цѣлый вѣкъ, бюрократическая машина работаетъ стройно, непрерывно, безъ отдыха, какъ будто нѣтъ людей,—одни колеса да пружины...»

«Гдѣ же разумъ, оживляющій и двигающій эту фабрику бумагъ?» думалъ Александръ: «въ книгахъ ли, въ самыхъ ли бумагахъ, или въ головахъ этихъ людей?»

И какія лица увидѣлъ онъ тутъ! На улицѣ какъ будто этакія и не встрѣчаются, и не выходятъ на Божій свѣтъ: тутъ, кажется, они родились, выросли, срослись съ своими мѣстами, тутъ и умрутъ. Поглядѣлъ Адуевъ пристально на начальника отдѣленія: точно Юпитеръ-громовержецъ; откроетъ роть — и бѣжитъ Меркурій съ мѣдной бляхой на груди; протянетъ руку съ бумагой—и десять рукъ тянутся принять ее.

— Иванъ Иванычъ!—сказалъ онъ.

Иванъ Иванычъ выскочилъ изъ-за стола, побѣжалъ къ Юпитеру и сталъ передъ нимъ, какъ листъ передъ травой. И Александръ оробѣлъ, самъ не зная отчего.

— Дайте табачку!

Тотъ съ подобострастіемъ поднесъ обѣими руками открытую табакерку.

— Да испытайте вотъ ихъ!—сказалъ начальникъ, указывая на Адуева.

«Такъ вотъ кто будетъ меня испытывать!» думалъ Адуевъ,

глядя на желтую фигуру Ивана Иваныча съ обтертыми локтями.—«Неужели и этотъ человѣкъ рѣшаетъ государственные вопросы!»

— Хороша ли у васъ рука?—спросилъ Иванъ Иванычъ.

— Рука?

— Да-съ; почеркъ. Вотъ потрудитесь переписать эту бумажку.

Александръ удивился этому требованію, но исполнилъ его. Иванъ Иванычъ сморщился, поглядѣлъ на его трудъ.

— Плохо пишутъ-съ,—сказалъ онъ начальнику отдѣленія.

Тотъ поглядѣлъ.

— Да, не хорошо: на-бѣло не можетъ писать. Ну, пусть пока переписываетъ отпуски, а тамъ, какъ привыкнетъ немного, займите его исполненіемъ бумагъ; можетъ-быть, онъ годится: онъ учился въ университетѣ.

Вскорѣ и Адуевъ сталъ одною изъ пружинъ машины. Онъ писалъ, писалъ, писалъ безъ конца, и удивлялся уже, что по утрамъ можно дѣлать что-нибудь другое; а когда вспоминалъ о своихъ проектахъ, краска бросалась ему въ лицо.

«Дядюшка!» думалъ онъ: «въ одномъ ужъ ты правъ, немилосердно правъ; неужели и во всемъ такъ? ужели я ошибался и въ завѣтныхъ, вдохновенныхъ думахъ, и въ теплыхъ вѣрованіяхъ въ любовь, въ дружбу... и въ людей... и въ самого себя?.. Что же жизнь?»

Онъ наклонился надъ бумагой и сильнѣе скрипѣлъ перомъ, а у самого подъ рѣсницами сверкали слезы.

— Тебѣ рѣшительно улыбается фортуна,—говорилъ Петръ Иванычъ племяннику.—Я сначала цѣлый годъ безъ жалованья служилъ, а ты вдругъ поступилъ на старшій окладъ; вѣдь это 750 рублей, а съ наградой 1000 будетъ. Прекрасно на первый случай! Начальникъ отдѣленія хвалитъ тебя; только говоритъ, что ты разсѣянъ; то запятыхъ не поставишь, то забудешь написать содержаніе бумаги. Пожалуйста,

отвыкни: главное дѣло—обращай вниманіе на то, что у тебя передъ глазами, а не заносись вонъ куда.

Дядя указалъ рукой кверху. Съ тѣхъ поръ онъ сдѣлался еще ласковѣе къ племяннику.

— Какой прекрасный человѣкъ мой столоначальникъ, дядюшка!—сказалъ однажды Александръ.

— А ты почемъ знаешь?

— Мы сблизились съ нимъ. Такая возвышенная душа, такое честное, благородное направленіе мыслей! и съ помощникомъ также: это, кажется, человѣкъ съ твердой волей, съ желѣзнымъ характеромъ...

— Ужъ ты успѣлъ сблизиться съ ними?

— Да, какъ же!...

— Не звалъ ли тебя столоначальникъ къ себѣ по четвергамъ?

— Ахъ, очень: каждый четвергъ. Онъ, кажется, чувствуетъ ко мнѣ особое влеченье...

— А помощникъ просилъ денегъ взаймы?

— Да, дядюшка, бездѣлицу... я ему далъ 25 рублей, что со мной было; онъ просилъ еще 50.

— Ужъ далъ! А!—сказалъ съ досадой дядя:—тутъ отчасти я виноватъ, что не предупредилъ тебя; да я думалъ что ты не до такой степени простъ, чтобъ черезъ двѣ недѣли знакомства давать деньги взаймы. Нечего дѣлать, грѣхъ пополамъ: двѣнадцать съ полтиной считай за мной.

— Какъ, дядюшка, вѣдь онъ отдастъ?

— Держи карманъ! Я его знаю: за нимъ пропадетъ моихъ 100 рублей съ тѣхъ поръ, какъ я тамъ служилъ. Онъ у всѣхъ беретъ. Теперь, если попроситъ, ты скажи ему, что я прошу его вспомнить мой должокъ—отстанетъ! а къ столоначальнику не ходи.

— Отчего же, дядюшка?

— Онъ картежникъ. Посадитъ тебя съ двумя такими же молодцами, какъ самъ, а тѣ стакнутся и оставятъ тебя безъ гроша.

— Картежникъ! — говорилъ въ изумленіи Александръ: — возможно ли? Кажется, такъ склоненъ къ искреннимъ излія-ніямъ...

— А ты скажи ему, такъ, между прочимъ, въ разговорѣ, что я у тебя взялъ всѣ деньги на сохраненіе, такъ и увидишь, склоненъ ли онъ къ искреннимъ изліяніямъ и позоветъ ли когда-нибудь къ себѣ въ четвергъ.

Александръ задумался. Дядя покачалъ головой.

— А ты думалъ, что тамъ около тебя ангелы сидятъ! *Искреннія изліянія, особенное влеченіе!* Какъ, кажется, не подумать о томъ прежде: не мерзавцы ли какіе-нибудь около? Напрасно ты пріѣзжалъ!—сказалъ онъ:—право, напрасно!

Однажды Александръ только-что проснулся, Евсей подалъ ему большой пакетъ, съ запиской отъ дяди.

«Наконецъ вотъ тебѣ и литературное занятіе», написано было въ запискѣ: «я вчера видѣлся съ знакомымъ мнѣ журналистомъ; онъ прислалъ тебѣ для опыта работу».

Отъ радости у Александра дрожали руки, когда онъ распечатывалъ пакетъ. Тамъ была нѣмецкая рукопись.

— Что это—проза?—сказалъ онъ:—о чемъ же?

И прочиталъ написанное наверху карандашомъ:

«*О наземѣ*, статья для отдѣла о сельскомъ хозяйствѣ. Просятъ перевести поскорѣе».

Долго, задумчивый, сидѣлъ онъ надъ статьею, потомъ медленно, со вздохомъ, принялся за перо и началъ переводить. Черезъ два дня статья была готова и отослана.

— Прекрасно, прекрасно!—сказалъ ему черезъ нѣсколько дней Петръ Иванычъ.—Редакторъ предоволенъ, только находитъ, что стиль не довольно строгъ; ну, да съ перваго раза нельзя же всего требовать. Онъ хочетъ познакомиться съ тобой. Ступай къ нему завтра, часовъ въ 7 вечера: тамъ онъ ужъ приготовилъ еще статью.

— Опять о томъ же, дядюшка?

— Нѣтъ, о чемъ-то другомъ; онъ мнѣ сказывалъ, да я забылъ... ахъ, да: *о картофельной патокѣ*. Ты, Александръ, должно быть, въ сорочкѣ родился. Я, наконецъ, начинаю надѣяться, что изъ тебя что-нибудь и выйдетъ: скоро, можетъ-быть, не стану говорить тебѣ, зачѣмъ ты пріѣзжалъ. Не прошло мѣсяца, а ужъ со всѣхъ сторонъ такъ на тебя и льется. Тамъ 1000 рублей, да редакторъ обѣщалъ 100 рублей въ мѣсяцъ за четыре печатныхъ листа: это вѣдь 2200 рублей! Нѣтъ! я не такъ началъ!—сказалъ онъ, сдвинувъ немного брови.—Напиши же къ матери, что ты пристроенъ и какимъ образомъ. Я тоже стану отвѣчать ей, напишу, что я, за ея добро ко мнѣ, сдѣлалъ для тебя все, что могъ.

— Маменька будетъ вамъ... очень благодарна, дядюшка, и я также...—сказалъ Александръ со вздохомъ, но ужъ не бросился обнимать дядю.

III.

Прошло болѣе двухъ лѣтъ. Кто бы узналъ нашего провинціала въ этомъ молодомъ человѣкѣ съ изящными манерами, въ щегольскомъ костюмѣ? Онъ очень измѣнился, возмужалъ. Мягкость линій юношескаго лица, прозрачность и нѣжность кожи, пушокъ на подбородкѣ—все исчезло. Не стало и робкой застѣнчивости, и граціозной неловкости движеній. Черты лица созрѣли и образовали физіономію, а физіономія обозначила характеръ. Лиліи и розы исчезли, какъ будто подъ легкимъ загаромъ. Пушокъ замѣнился небольшими бакенбардами. Легкая и шаткая поступь стала ровною и твердою походкою. Въ голосѣ прибавилось нѣсколько басовыхъ нотъ. Изъ подмалеванной картины вышелъ оконченный портретъ. Юноша превратился въ мужчину. Въ глазахъ блистали самоувѣренность и отвага—не та отвага, что слышно за версту, что глядитъ на все нагло, и ухватками и взглядами говоритъ встрѣчному и поперечъ-

ному: «смотри, берегись, не задѣнь, не наступи на ногу, а не то—понимаешь? съ нами расправа коротка!» Нѣтъ, выраженіе той отваги, о которой говорю, не отталкиваетъ, а влечетъ къ себѣ. Она узнается по стремленію къ добру, къ успѣху, по желанію уничтожить заграждающія ихъ препятствія... Прежняя восторженность на лицѣ Александра умѣрялась легкимъ оттѣнкомъ задумчивости, первымъ признакомъ закравшейся въ душу недовѣрчивости и, можетъ-быть, единственнымъ слѣдствіемъ уроковъ дяди и безпощаднаго анализа, которому тотъ подвергалъ все, что проносилось въ глазахъ и въ сердцѣ Александра. Александръ усвоилъ, наконецъ, и тактъ, то-есть умѣнье обращаться съ людьми. Онъ не бросался всѣмъ на шею, особенно съ тѣхъ поръ, какъ человѣкъ, склонный къ *искреннимъ изліяніямъ*, несмотря на предостереженіе дяди, обыгралъ его два раза, а человѣкъ, съ твердымъ характеромъ и желѣзной волей, перебралъ у него не мало денегъ взаймы. И другіе люди и случаи много помогли этому. Въ одномъ мѣстѣ онъ замѣчалъ, какъ исподтишка смѣялись надъ его юношескою восторженностью и прозвали романтикомъ. Въ другомъ—едва обращали на него вниманіе, потому что отъ него никому не было ni chaud ni froid. Онъ не давалъ обѣдовъ, не держалъ экипажа, не игралъ въ большую игру. Прежде у Александра болѣло и ныло сердце отъ этихъ стычекъ розовыхъ его мечтаній съ дѣйствительностью. Ему не приходило въ голову спросить себя: да что же я сдѣлалъ отличнаго, чѣмъ отличился отъ толпы? Гдѣ мои заслуги и за что должны замѣчать меня? А между тѣмъ самолюбіе его страдало.

Потомъ онъ сталъ понемногу допускать мысль, что въ жизни видно не все однѣ розы, а есть и шипы, которые иногда покалываютъ, но слегка только, а не такъ, какъ разсказываетъ дядюшка. И вотъ онъ началъ учиться владѣть собою, не такъ часто обнаруживалъ порывы и волненія

и рѣже говорилъ дикимъ языкомъ, по крайней мѣрѣ, при посторонних.

Но все еще, къ немалому горю Петра Иваныча, онъ далеко былъ отъ холоднаго разложенія на простыя начала всего, что волнуетъ и потрясаетъ душу человѣка. О приведеніи же въ ясность всѣхъ тайнъ и загадокъ сердца онъ не хотѣлъ и слушать.

Петръ Иванычъ дастъ ему утромъ порядочный урокъ. Александръ выслушаетъ, смутится или глубоко задумается, а тамъ поѣдетъ куда-нибудь на вечеръ и воротится самъ не свой; дня три ходитъ, какъ шальной—и дядина теорія пойдетъ вся къ чорту. Обаяніе и чадъ бальной сферы, громъ музыки, обнаженныя плечи, огонь взоровъ, улыбка розовыхъ устъ, не дадутъ ему уснуть цѣлую ночь. Ему мерещится то талія, которой онъ касался руками, то томный, продолжительный взоръ, который бросили ему, уѣзжая, то горячее дыханіе, отъ котораго онъ таялъ въ вальсѣ, или разговоръ вполголоса у окна, подъ ревъ мазурки, когда взоры такъ искрились, языкъ говорилъ Богъ знаетъ что. И сердце его билось; онъ съ судорожнымъ трепетомъ обнималъ подушку и долго ворочался съ боку на бокъ.

«Гдѣ же любовь? О, любви, любви жажду!» говорилъ онъ:—«и скоро ли придетъ она? когда настанутъ эти дивныя минуты, эти сладостныя страданія, трепетъ блаженства, слезы...» и проч.

На другой день онъ являлся къ дядѣ.

— Какой, дядюшка, вчера былъ вечеръ у Зарайскихъ!— говорилъ онъ, погружаясь въ воспоминанія о балѣ.

— Хорошъ!

— О, дивный!

— Порядочный ужинъ былъ?

— Я не ужиналъ.

— Какъ такъ? Въ твои лѣта не ужинать, когда можно! Да ты, я вижу, не шутя привыкаешь къ здѣшнему порядку,

даже ужъ слишкомъ. Что жъ тамъ все прилично было? туалетъ, освѣщеніе...

— Да-съ.

— И народъ порядочный?

— О, да! очень порядочный. Какіе глаза, плечи!

— Плечи? у кого?

— Вѣдь про нихъ спрашиваете?

— Про кого?

— Да про дѣвицъ.

— Нѣтъ, я не спрашивалъ про нихъ; но все равно — много было хорошенькихъ?

— О, очень... но жаль, что всѣ онѣ очень однообразны. Что одна скажетъ и сдѣлаетъ въ такомъ-то случаѣ, смотришь—то же повторитъ и другая, какъ будто затверженный урокъ... Была одна... не совсѣмъ похожа на другихъ... а то не видно ни самостоятельности, ни характера. И движенія, и взгляды—все одинаково: не услышишь самородной мысли, ни проблеска чувства... все покрылъ и закрасилъ одинакій лоскъ. Ничто, кажется, не вызоветъ ихъ наружу. И неужели это вѣкъ будетъ заперто и не обнаружится ни передъ кѣмъ? Ужели корсетъ вѣчно будетъ подавлять и вздохъ любви, и вопль растерзаннаго сердца? неужели не дастъ простора чувству?..

— Передъ мужемъ все обнаружится, а то, если разсуждать, по-твоему, вслухъ, такъ, пожалуй, многія и вѣкъ въ дѣвкахъ просидятъ. Есть дуры, что прежде времени обнаруживаютъ то, что слѣдовало бы прятать да подавлять, ну, зато послѣ слезы да слезы: не расчетъ!

— И тутъ расчетъ, дядюшка?..

— Какъ и вездѣ, мой милый; а кто не разсчитываетъ, того называютъ по-русски безрасчетнымъ дуракомъ. Коротко и ясно.

— Удерживать въ груди своей благородный порывъ чувства!..

— О, я знаю, ты не станешь удерживать; ты готовъ на улицѣ, въ театрѣ, броситься на шею пріятелю и зарыдать.

— Такъ что же, дядюшка? Сказали бы только, что это человѣкъ съ сильными чувствами, что кто чувствуетъ такъ, тотъ способенъ ко всему прекрасному и благородному и неспособенъ...

— Неспособенъ разсчитывать, т.-е. разумышлять. Велика фигура — человѣкъ съ сильными чувствами, съ огромными страстями! Мало ли какіе есть темпераменты? Восторги, экзальтація: тутъ человѣкъ всего менѣе похожъ на человѣка и хвастаться нечѣмъ. Надо спросить, умѣетъ ли онъ управлять чувствами; если умѣетъ, то и человѣкъ...

— По-вашему, и чувствомъ надо управлять, какъ паромъ, — замѣтилъ Александръ: — то выпустить немного, то вдругъ остановить, открыть клапанъ, или закрыть...

— Да, этотъ клапанъ не даромъ природа дала человѣку— это разсудокъ, а ты вотъ не всегда имъ пользуешься — жаль! а малый порядочный!

— Нѣтъ, дядюшка, грустно слушать васъ! лучше познакомьте меня съ этой пріѣзжей барыней...

— Съ которой? съ Любецкой? Она была вчера?

— Была, долго говорила со мной о васъ, спрашивала о своемъ дѣлѣ.

— Ахъ, да! кстати...

Дядя вынулъ изъ ящика бумагу.

— Отвези ей эту бумагу, скажи, что вчера только, и то насилу, выдали изъ палаты; объясни ей хорошенько дѣло: вѣдь ты слышалъ, какъ мы съ чиновникомъ говорили?

— Да, знаю, знаю; я ужъ объясню.

Александръ обѣими руками схватилъ бумагу и спряталъ въ карманъ. Петръ Иванычъ посмотрѣлъ на него.

— Да что жъ тебѣ вздумалось познакомиться съ нею? Она, кажется, не интересна: съ бородавкой у носа.

— Съ бородавкой? Не помню. Какъ это вы замѣтили дядюшка?

— У носа, да не замѣтить! Что жъ тебѣ хочется къ ней?

— Она такая добрая и почтенная...

— Какъ же это ты бородавки у носа не замѣтилъ, а ужъ узналъ, что она добрая и почтенная? это странно. Да, позволь... у ней вѣдь есть дочь — эта маленькая брюнетка. А! теперь не удивляюсь. Такъ вотъ отчего ты не замѣтилъ бородавки на носу!

Оба засмѣялись.

— А я такъ удивляюсь, дядюшка,—сказалъ Александръ:— что вы прежде замѣтили бородавку на носу, чѣмъ дочь.

— Подай-ка назадъ бумагу. Ты тамъ, пожалуй, выпустишь все чувство и совсѣмъ забудешь закрыть клапанъ, надѣлаешь вздору, и чортъ знаетъ что объяснишь...

— Нѣтъ, дядюшка, не надѣлаю. И бумаги, какъ хотите, не подамъ, я сейчасъ же...

И онъ скрылся изъ комнаты.

А дѣло до сихъ поръ шло да шло своимъ чередомъ. Въ службѣ замѣтили способности Александра и дали ему порядочное мѣсто. Иванъ Иванычъ и ему съ почтеніемъ началъ подносить свою табакерку, предчувствуя, что онъ, подобно множеству другихъ, послуживъ, какъ онъ говаривалъ, безъ году недѣлю, обгонитъ его, сядетъ ему на шею и махнетъ въ начальники отдѣленія, а тамъ, чего добраго, и въ вице-директоры, какъ вонъ тотъ, или въ директоры, какъ этотъ, а начинали свою служебную школу и тотъ и этотъ подъ его руководствомъ. «А я работай за нихъ!» прибавилъ онъ.—Въ редакціи журнала Александръ тоже сдѣлался важнымъ лицомъ. Онъ занимался и выборомъ, и переводомъ, и поправкою чужихъ статей, писалъ и самъ разные теоретическіе взгляды о сельскомъ хозяйствѣ. Денегъ у него, по его мнѣнію, было больше, нежели сколько нужно, а по мнѣнію дяди—еще недовольно. Но не всегда онъ работалъ

для денегъ. Онъ не отказывался отъ отрадной мысли о другомъ высшемъ призваніи. Юношескихъ его силъ ставало на все. Онъ крадъ время у сна, у службы, и писалъ и стихи, и повѣсти, и историческіе очерки, и біографіи. Дядя ужъ не обклеивалъ перегородокъ его сочиненіями, а читалъ ихъ молча, потомъ посвистывалъ или говорилъ: «да! это лучше прежняго». Нѣсколько статей явилось подъ чужимъ именемъ. Александръ съ радостнымъ трепетомъ прислушивался къ одобрительному суду друзей, которыхъ у него было множество и на службѣ, и по кондитерскимъ, и въ частныхъ домахъ. Исполнялась его лучшая, послѣ любви, мечта. Будущность обѣщала ему много блеску, торжества; его, казалось, ожидалъ не совсѣмъ обыкновенный жребій, какъ вдругъ...

Мелькнуло нѣсколько мѣсяцевъ. Александра стало почти нигдѣ не видно, какъ будто онъ пропалъ. Дядю онъ посѣщалъ рѣже. Тотъ приписывалъ это его занятіямъ и не мѣшалъ ему. Но редакторъ журнала, однажды при встрѣчѣ съ Петромъ Иванычемъ, жаловался, что Александръ задерживаетъ статьи. Дядя обѣщалъ, при первомъ случаѣ, объясниться съ племянникомъ. Случай представился дня черезъ три. Александръ вбѣжалъ утромъ къ дядѣ, какъ сумасшедшій. Въ его походкѣ и движеніяхъ видна была радостная суетливость.

— Здравствуйте, дядюшка; ахъ, какъ я радъ, что васъ вижу!—сказалъ онъ и хотѣлъ обнять его, но тотъ успѣлъ уйти за столъ.

— Здравствуй, Александръ! Что это тебя давно не видно?

— Я... я занятъ былъ, дядюшка: дѣлалъ извлеченія изъ нѣмецкихъ экономистовъ...

— А! что жъ редакторъ лжетъ? Онъ третьяго дня сказалъ мнѣ, что ты ничего не дѣлаешь—прямой журналистъ! Я жъ его, при встрѣчѣ, отдѣлаю...

— Нѣтъ, вы ему ничего не говорите, — перебилъ Але-

ксандръ:—я ему еще не посылалъ своей работы, оттого онъ такъ и сказалъ...

— Да что съ тобой? у тебя такое праздничное лицо! Асессора, что ли, тебѣ дали, или крестъ?

Александръ моталъ головой.

— Ну, деньги?

— Нѣтъ.

— Такъ что жъ ты такимъ полководцемъ смотришь? Если нѣтъ, такъ не мѣшай мнѣ, а вотъ лучше сядь да напиши въ Москву, къ купцу Дубасову, о скорѣйшей высылкѣ остальныхъ денегъ. Прочти его письмо: гдѣ оно? вотъ.

Оба замолчали и начали писать.

— Кончилъ!—сказалъ Александръ черезъ нѣсколько минутъ.

— Проворно: молодецъ! Покажи-ка. Что это? Ты ко мнѣ пишешь. «М. Г. Петръ Иванычъ!» Его зовутъ Тимоѳей Никонычъ. Какъ 520 рублей! 5200! Что съ тобой, Александръ?

Петръ Иванычъ положилъ перо и поглядѣлъ на племянника. Тотъ покраснѣлъ.

— Вы ничего не замѣчаете въ моемъ лицѣ?—спросилъ онъ.

— Что-то глуповато... Постой-ка... Ты влюбленъ? — сказалъ Петръ Иванычъ.

Александръ молчалъ.

— Такъ, что ли? угадалъ?

Александръ, съ торжественной улыбкой, съ сіяющимъ взоромъ, кивнулъ утвердительно головой.

— Такъ и есть! Какъ это я сразу не догадался? Такъ вотъ отчего ты сталъ лѣниться, отъ этого и не видать тебя нигдѣ. А Зарайскіе и Скачины пристаютъ ко мнѣ: гдѣ да гдѣ Александръ Ѳедорычъ? онъ вонъ гдѣ — на седьмомъ небѣ!

Петръ Иванычъ сталъ опять писать.

— Въ Наденьку Любецкую!—сказалъ Александръ.

— Я не спрашивалъ,—отвѣчалъ дядя:—въ кого бы ни было—все одна дурь. Въ какую Любецкую? это что съ бородавкой?

— Э! дядюшка!—съ досадой перебилъ Александръ:—какая бородавка?

— У самаго носа. Ты все еще не разглядѣлъ?

— Вы все смѣшиваете. Это, кажется, у матери есть бородавка около носа?

— Ну, все равно.

— Все равно! Наденька! этотъ ангелъ! неужели вы не замѣтили ее? Видѣть однажды—и не замѣтить!

— Да что жъ въ ней особеннаго? Чего жъ тутъ замѣчать? вѣдь бородавки, ты говоришь, у ней нѣтъ?..

— Далась вамъ эта бородавка? Не грѣшите, дядюшка: можно ли сказать, что она похожа на этихъ свѣтскихъ, чопорныхъ маріонетокъ? Вы разсмотрите ея лицо: какая тихая, глубокая дума покоится на немъ! Это—не только чувствующая, это мыслящая дѣвушка... глубокая натура...

Дядя принялся скрипѣть перомъ по бумагѣ, а Александръ продолжалъ:

— Въ разговорѣ у ней вы не услышите пошлыхъ, общихъ мѣстъ. Какимъ свѣтлымъ умомъ блестятъ ея сужденія! что за огонь въ чувствахъ! какъ глубоко понимаетъ она жизнь! Вы своимъ взглядомъ отравляете ее, а Наденька миритъ меня съ нею.

Александръ замолчалъ на минуту и погрузился совсѣмъ въ мечту о Наденькѣ. Потомъ началъ опять.

— А когда она подниметъ глаза, вы сейчасъ увидите, какому пылкому и нѣжному сердцу служатъ они проводникомъ! а голосъ, голосъ! что за мелодія, что за нѣга въ немъ! Но когда этотъ голосъ прозвучитъ признаніемъ... нѣтъ выше блаженства на землѣ! Дядюшка! какъ прекрасна жизнь! какъ я счастливъ!

У него выступили слезы; онъ бросился и съ розмаху обнялъ дядю.

— Александръ! — вскричалъ, вскочивъ съ мѣста, Петръ Иванычъ: — закрой скорѣй свой клапанъ, — весь паръ выпустилъ! Ты сумасшедшій! смотри, что ты надѣлалъ! въ одну секунду ровно двѣ глупости: перемялъ прическу и заканалъ письмо. Я думалъ, ты совсѣмъ отсталъ отъ своихъ привычекъ. Давно ты не былъ такимъ. Посмотри, посмотри, ради Бога, на себя въ зеркало: ну, можетъ ли быть глупѣе физіономія? а неглупъ!

— Ха-ха-ха! я счастливъ, дядюшка!

— Это замѣтно!

— Не правда ли? въ моемъ взорѣ, я знаю, блещетъ гордость. Я гляжу на толпу, какъ могутъ глядѣть только герой, поэтъ и влюбленный, счастливый взаимною любовью...

— И какъ сумасшедшіе смотрятъ, или еще хуже... Ну, что я теперь стану дѣлать съ письмомъ?

— Позвольте, я соскоблю—и незамѣтно будетъ,—сказалъ Александръ.

Онъ бросился къ столу съ тѣмъ же судорожнымъ трепетомъ, началъ скоблить, чистить, тереть, и протеръ на письмѣ скважину. Столъ отъ тренія зашатался и толкнулъ этажерку. На этажеркѣ стоялъ бюстикъ, изъ итальянскаго алебастра, Софокла или Эсхила. Почтенный трагикъ отъ сотрясенія сначала раза три качнулся на зыбкомъ пьедесталѣ взадъ и впередъ, потомъ свергнулся съ этажерки и разбился вдребезги.

— Третья глупость, Александръ! — сказалъ Петръ Иванычъ, поднимая черепки:—а это пятьдесятъ рублей стоитъ.

— Я заплачу, дядюшка, о! я заплачу, но не проклинайте моего порыва: онъ чистъ и благороденъ: я счастливъ, счастливъ! Боже! какъ хороша жизнь!

Дядя сморщился и покачалъ головой.

— Когда ты умнѣе будешь, Александръ? Богъ знаетъ, что говоритъ!

Онъ, между тѣмъ, съ сокрушеніемъ смотрѣлъ на разбитый бюстъ.

— Заплачу!—сказалъ онъ:—заплачу. Это будетъ четвертая глупость. Тебѣ, я вижу, хочется разсказать о своемъ счастіи. Ну, нѣчего дѣлать. Если ужъ дяди обречены принимать участіе во всякомъ вздорѣ своихъ племянниковъ, такъ и быть, я даю тебѣ четверть часа: сиди смирно, не сдѣлай какой-нибудь пятой глупости и разсказывай, а потомъ, послѣ этой новой глупости, уходи: мнѣ нѣкогда. Ну... ты счастливъ... такъ что же? разсказывай же поскорѣе.

— Если и такъ, дядюшка, то эти вещи не разсказываются,—съ скромной улыбкой замѣтилъ Александръ.

— Я-было приготовилъ тебя, а ты, я вижу, все-таки хочешь начать съ обыкновенныхъ прелюдій. Это значитъ, что разсказъ продолжится цѣлый часъ; мнѣ нѣкогда: почта не будетъ ждать. Постой, ужъ я лучше самъ разскажу.

— Вы? вотъ забавно!

— Ну, слушай же, очень забавно! Ты вчера видѣлся съ своей красавицей наединѣ...

— А вы почемъ знаете?—съ жаромъ началъ Александръ:—вы подсылаете смотрѣть за мной?

— Какъ же, я содержу для тебя шпіоновъ на жалованьи. Съ чего ты взялъ, что я такъ забочусь о тебѣ? мнѣ что за дѣло?

Эти слова сопровождались ледянымъ взглядомъ.

— Такъ почему же вы знаете? — спросилъ Александръ, подходя къ дядѣ.

— Сиди, сиди, ради Бога, и не подходи къ столу, что-нибудь разобьешь. У тебя на лицѣ все написано, я отсюда буду читать. Ну, у васъ было объясненіе,—сказалъ онъ.

Александръ покраснѣлъ и молчалъ. Видно, что дядя опять попалъ.

— Вы оба, какъ водится, были очень глупы, — говорилъ Петръ Иванычъ.

Племянникъ сдѣлалъ нетерпѣливое движеніе.

— Дѣло началось съ пустяковъ, когда вы остались одни; съ какого-нибудь узора, — продолжалъ дядя: — ты спросилъ, кому она вышиваетъ? она отвѣчала «маменькѣ или тетенькѣ», или что-нибудь подобное, а сами вы дрожали, какъ въ лихорадкѣ...

— А вотъ нѣтъ, дядюшка, не угадали: не съ узора; мы были въ саду...—проговорился Александръ и замолчалъ.

— Ну, съ цвѣтка, что ли, — сказалъ Петръ Иванычъ: — можетъ-быть, еще съ желтаго, все равно; тутъ что̀ попадется въ глаза, лишь бы начать разговоръ; такъ-то слова съ языка нейдутъ. Ты спросилъ, нравится ли ей цвѣтокъ; она отвѣчала *да* — почему, дескать? «Такъ», сказала она, и замолчали оба, потому что хотѣли сказать совсѣмъ другое, и разговоръ не вязался. Потомъ взглянули другъ на друга, улыбнулись и покраснѣли.

— Ахъ, дядюшка, дядюшка, что вы!.. — говорилъ Александръ въ сильномъ смущеніи.

— Потомъ, — продолжалъ неумолимый дядя: — ты началъ стороной говорить о томъ, что вотъ-де передъ тобой открылся новый міръ: Она вдругъ взглянула на тебя, какъ будто слушаетъ неожиданную новость; ты, я думаю, сталъ втупикъ, растерялся, потомъ опять чуть внятно сказалъ, что только теперь ты узналъ цѣну жизни, что и прежде ты видалъ ее... какъ ее? Марья, что ли?

— Наденька.

— Но видалъ какъ будто во снѣ, предчувствовалъ встрѣчу съ ней, что васъ свела симпатія, и что, дескать, теперь, ты посвятишь ей одной всѣ стихи и прозу... А руками-то, я думаю, какъ работалъ! вѣрно опрокинулъ или разбилъ что-нибудь.

— Дядюшка! вы подслушали насъ!—вскричалъ внѣ себя Александръ.

— Да, я тамъ за кустомъ сидѣлъ. Мнѣ вѣдь только и дѣла, что бѣгать за тобой, да подслушивать всякій вздоръ.

— Почему же вы все это знаете?—спросилъ съ недоумѣніемъ Александръ.

— Мудрено! съ Адама и Евы одна и та же исторія у всѣхъ, съ маленькими варіантами. Узнай характеръ дѣйствующихъ лицъ, узнаешь и варіанты. Это удивляетъ тебя, а еще писатель! Вотъ теперь и будешь прыгать и скакать дня три, какъ помѣшанный, вѣшаться всѣмъ на шею — только, ради Бога, не мнѣ. Я тебѣ совѣтовалъ бы запереться на это время въ своей комнатѣ, выпустить тамъ весь этотъ паръ и продѣлать всѣ продѣлки съ Евсеемъ, чтобы никто не видалъ. Потомъ немного одумаешься, будешь добиваться ужъ другого, поцѣлуя, напримѣръ...

— Поцѣлуй Наденьки! о, какая высокая, небесная награда!—почти заревѣлъ Александръ.

— Небесная!

— Что же—матеріальная, земная, по-вашему?

— Безъ сомнѣнія, дѣйствіе электричества; влюбленные—все равно, что двѣ лейденскія банки: оба сильно заряжены;—поцѣлуями электричество разрѣшается, и когда разрѣшится совсѣмъ—прости любовь, слѣдуетъ охлажденіе...

— Дядюшка...

— Да! а ты думалъ какъ?

— Какой взглядъ! какія понятія!

— Да, я забылъ: у тебя еще будутъ фигурировать «вещественные знаки». Опять нанесешь всякой дряни и будешь задумываться да разглядывать, а дѣло въ сторону.

Александръ вдругъ схватился за карманъ.

— Что, ужъ есть? будешь дѣлать все то же, что люди дѣлаютъ съ сотворенія міра.

— Стало-быть, то же, что и вы дѣлали, дядюшка?

— Да, только поглупѣе.

— Поглупѣе! Не называете ли вы глупостью то, что я буду любить глубже, сильнѣе васъ, не издѣваться надъ чувствомъ, не шутить и не играть имъ холодно, какъ вы... и не сдергивать покрывала съ священныхъ тайнъ...

— Ты будешь любить, какъ и другіе, ни глубже, ни сильнѣе; будешь также сдергивать и покрывало съ тайнъ... но только ты будешь вѣрить въ вѣчность и неизмѣнность любви, да объ одномъ этомъ и думать, а вотъ это-то и глупо: самъ себѣ готовишь горя болѣе, нежели сколько бы его должно быть.

— О, это ужасно, ужасно, что вы говорите, дядюшка, Сколько разъ я давалъ себѣ слово таить передъ вами то! что происходитъ въ сердцѣ.

— Зачѣмъ же не сдержалъ? Вотъ пришелъ — помѣшалъ мнѣ...

— Но вѣдь вы одни у меня, дядюшка, близкіе: съ кѣмъ же мнѣ раздѣлить этотъ избытокъ чувствъ? а вы безъ милосердія вонзаете свой анатомическій ножъ въ самые тайные изгибы моего сердца.

— Я это не для своего удовольствія дѣлаю: ты самъ просилъ моихъ совѣтовъ. Отъ сколькихъ глупостей я остерегъ тебя...

— Нѣтъ, дядюшка, пусть же я буду вѣчно глупъ въ вашихъ глазахъ, но я не могу существовать съ такими понятіями о жизни, о людяхъ. Это больно, грустно! тогда мнѣ не надо жизни, я не хочу ея при такихъ условіяхъ—слышите ли? я не хочу.

— Слышу; да что жъ мнѣ дѣлать? вѣдь не могу же я тебя лишить ея.

— Да!—говорилъ Александръ:—вопреки вашимъ предсказаніямъ, я буду счастливъ, буду любить вѣчно и однажды.

— Охъ, нѣтъ! Я предчувствую, что ты еще много коечего перебьешь у меня. Но это бы все ничего: любовь лю-

бовью; никто не мѣшаетъ тебѣ; не нами заведено заниматься особенно прилежно любовью въ твои лѣта, но однакожъ, не до такой степени, чтобы бросать дѣло; любовь любовью, а дѣло дѣломъ...

— Да я дѣлаю извлеченія изъ нѣмецкихъ...

— Полно, никакихъ ты извлеченій не дѣлаешь, предаешься только *сладостной негѣ*, а редакторъ откажетъ тебѣ...

— Пусть его! я не нуждаюсь. Могу ли я думать теперь о презрѣнной пользѣ, когда...

— О *презрѣнной пользѣ!* презрѣнная! Ты ужъ лучше построй въ горахъ хижину, ѣшь хлѣбъ съ водой и пой:

Мнѣ хижина убога
Съ тобою будетъ рай...

но только какъ не станетъ у тебя «презрѣннаго металла», у меня не проси—не дамъ...

— Я, кажется, не часто безпокоилъ васъ.

— До сихъ поръ, слава Богу, нѣтъ, а можетъ случиться, если бросишь дѣло; любовь тоже требуетъ денегъ: тутъ и лишнее щегольство, и разныя другія траты... Охъ, эта мнѣ любовь въ двадцать лѣтъ! вотъ ужъ презрѣнная, такъ презрѣнная, никуда не годится!

— Какая же, дядюшка, годится? въ сорокъ?

— Я не знаю, какова любовь въ сорокъ лѣтъ, а въ тридцать девять...

— Какъ ваша?

— Пожалуй, какъ моя.

— То-есть, никакая.

— Ты почему знаешь?

— Будто вы можете любить?

— Почему же нѣтъ? развѣ я не человѣкъ или развѣ мнѣ восемьдесять лѣтъ? Только если я люблю, то люблю разумно, помню себя, не бью и не опрокидываю ничего.

— Разумная любовь! хороша любовь, которая помнитъ

себя!—насмѣшливо замѣтилъ Александръ:—которая ни на минуту не забудется...

— Дикая, животная, — перебилъ Петръ Иванычъ: — не помнитъ, а разумная должна помнить; въ противномъ случаѣ это не любовь...

— А что же?..

— Такъ, гнусность, какъ ты говоришь.

— Вы... любите! — говорилъ Александръ, глядя недовѣрчиво на дядю:—ха-ха-ха!

Петръ Иванычъ молча писалъ.

— Кого же, дядюшка?—спросилъ Александръ.

— Тебѣ хочется знать?

— Хотѣлось бы.

— Свою невѣсту.

— Не... невѣсту! — едва выговорилъ Александръ, вскочивъ съ мѣста и подходя къ дядѣ.

— Не близко, не близко, Александръ, закрой клапанъ!— заговорилъ Петръ Иванычъ, увидя, какіе большіе глаза сдѣлалъ племянникъ, и проворно придвинулъ къ себѣ разныя мелкія вещицы, бюстики, фигурки, часы и чернилицу.

— Стало-быть, вы женитесь? — спросилъ Александръ съ тѣмъ же изумленіемъ.

— Стало-быть.

— И вы такъ покойны! пишете въ Москву письма, разговариваете о постороннихъ предметахъ, ѣздите на заводъ и еще такъ адски холодно разсуждаете о любви!

— Адски холодно — это ново! въ аду, говорятъ жарко. Да что ты на меня смотришь такъ дико?

— Вы—женитесь!

— Что жъ тутъ удивительнаго? — спросилъ Петръ Иванычъ, положивъ перо.

— Какъ что? женитесь и ни слова мнѣ!

— Извини, я забылъ попросить у тебя позволенія.

— Не просить позволенія дядюшка, а надо же мнѣ

знать. Родной дядя женится, а я ничего не знаю, мнѣ и не сказали!..

— Вотъ вѣдь сказалъ.

— Сказали, потому что кстати пришлось.

— Я стараюсь, по возможности, все дѣлать кстати.

— Нѣтъ, чтобъ первому мнѣ сообщить вашу радость: вы знаете, какъ я люблю васъ и какъ раздѣлю...

— Я вообще избѣгаю дѣлежа, а въ женитьбѣ и подавно.

— Знаете что, дядюшка? — сказалъ Александръ съ живостью: — можетъ-быть... нѣтъ, не могу таиться передъ вами... Я не таковъ, все выскажу...

— Охъ, Александръ, некогда мнѣ; если новая исторія, такъ нельзя ли завтра?

— Я хочу только сказать, что, можетъ-быть... и я близокъ къ тому же счастью...

— Что, — спросилъ Петръ Иванычъ, слегка навостривъ уши:—это что-то любопытно...

— А! любопытно? такъ и я помучаю васъ: не скажу.

Петръ Иванычъ равнодушно взялъ пакетъ, вложилъ туда письмо и началъ запечатывать.

— И я, можетъ-быть, женюсь! — сказалъ Александръ на ухо дядѣ.

Петръ Иванычъ не допечаталъ письма и поглядѣлъ на него очень серьёзно.

— Закрой клапанъ, Александръ!—сказалъ онъ.

— Шутите, шутите, дядюшка, а я говорю не шутя. Попрошу у маменьки позволенія.

— Тебѣ жениться!

— А что же?

— Въ твои лѣта!

— Мнѣ двадцать три года.

— Пора! Въ эти лѣта женятся только мужики, когда имъ нужна работница въ домѣ.

— Но если я влюбленъ въ дѣвушку и есть возможность жениться, такъ, по-вашему, не нужно...

— Я тебѣ никакъ не совѣтую жениться на женщинѣ, въ которую ты влюбленъ.

— Какъ, дядюшка? это новое; я никогда не слыхалъ.

— Мало ли ты чего не слыхалъ!

— Я думалъ все, что супружества безъ любви не должно быть.

— Супружество супружествомъ, а любовь любовью,—сказалъ Петръ Иванычъ.

— Какъ же жениться... по расчету?

— Съ расчетомъ, а не по расчету. Только расчетъ этотъ долженъ состоять не въ однѣхъ деньгахъ. Мужчина такъ созданъ, чтобъ жить въ обществѣ женщины; ты и станешь разсчитывать, какъ бы жениться, станешь искать, выбирать между женщинами...

— Искать, выбирать! — съ изумленіемъ сказалъ Александръ.

— Да, выбирать. Поэтому-то и не совѣтую жениться, когда влюбишься. Вѣдь любовь пройдетъ—это ужъ пошлая истина.

— Это самая грубая ложь и клевета.

— Ну, теперь тебя не убѣдишь; увидишь самъ современемъ, а теперь запомни мои слова только: любовь пройдетъ, повторяю я, и тогда женщина, которая казалась тебѣ идеаломъ совершенства, можетъ-быть, покажется очень несовершенною, а дѣлать будетъ нечего. Любовь заслонитъ отъ тебя недостатокъ качествъ, нужныхъ для жены. Тогда какъ выбирая, ты хладнокровно разсудишь, имѣетъ ли такая-то или такая женщина качества, какія хочешь видѣть въ женѣ! вотъ въ чемъ главный расчетъ. И если отыщешь такую женщину, она непремѣнно должна нравиться тебѣ постоянно, потому что отвѣчаетъ твоимъ желаніямъ. Изъ этого воз-

никнутъ между ею и тобою близкія отношенія, которыя потомъ образуютъ...

— Любовь?—спросилъ Александръ.

— Да... привычку.

— Жениться безъ увлеченія, безъ поэзіи любви, безъ страсти, разсуждать, какъ и зачѣмъ!!

— А ты женился бы, не разсуждая и не спрашивая себя: зачѣмъ? такъ точно, какъ, пріѣхавши сюда, тоже не спросилъ себя: зачѣмъ?

— Такъ вы женитесь по расчету?—спросилъ Александръ.

— Съ расчетомъ,—замѣтилъ Петръ Иванычъ.

— Это все равно.

— Нѣтъ, по расчету значитъ жениться для денегъ—это низко; но жениться безъ расчета—это глупо!.. а тебѣ теперь вовсе не слѣдуетъ жениться.

— Когда же жениться? Когда состарѣюсь? Зачѣмъ я буду слѣдовать нелѣпымъ примѣрамъ.

— Въ томъ числѣ и моему? спасибо!

— Я не про васъ говорю, дядюшка, а про всѣхъ вообще. Услышишь о свадьбѣ, пойдешь посмотрѣть—и что же? видишь прекрасное, нѣжное существо, почти ребенка, которое ожидало только волшебнаго прикосновенія любви, чтобы развернуться въ пышный цвѣтокъ, и вдругъ ее отрываютъ отъ куколъ, отъ няни, отъ дѣтскихъ игръ, отъ танцевъ, и слава Богу, если только отъ этого; а часто не заглянутъ въ ея сердце, которое, можетъ-быть, не принадлежитъ уже ей. Ее одѣваютъ въ газъ, въ блонды, убираютъ цвѣтами и, несмотря на слезы, на блѣдность, влекутъ, какъ жертву, и ставятъ — подлѣ кого же? подлѣ пожилого человѣка, по большей части некрасиваго, который ужъ утратилъ блескъ молодости. Онъ, или бросаетъ на нее взоры оскорбительныхъ желаній, или холодно осматриваетъ ее съ головы до ногъ, а самъ думаетъ, кажется: «хороша ты, да, чай, съ блажью въ головѣ: любовь да розы,—я уйму эту дурь, это—

глупости! у меня полно вздыхать да мечтать, а веди себя пристойно», или еще хуже—мечтаетъ объ ея имѣніи. Самому молодому мало-мало тридцать лѣтъ. Онъ часто съ лысиною, правда, съ крестомъ, или иногда со звѣздой. И говорятъ ей: «вотъ кому обречены всѣ сокровища твоей юности, ему и первое біеніе сердца, и признаніе, и взгляды, и рѣчи, и дѣвственныя ласки, и вся жизнь». А кругомъ толпой тѣснятся тѣ, кто, по молодости и красотѣ, подъ пару ей, и кому бы надо было стать рядомъ съ невѣстой. Они пожираютъ взглядами бѣдную жертву и какъ-будто говорятъ: «вотъ, когда мы истощимъ свѣжесть, здоровье, оплѣшивѣемъ, и мы женимся, и намъ достанется такой же пышный цвѣтокъ...» Ужасно!..

— Дико, не хорошо, Александръ! пишешь ты ужъ два года, — сказалъ Петръ Иванычъ: — и о наземѣ, и о картофелѣ, и о другихъ серьезныхъ предметахъ, гдѣ стиль строгій, сжатый, а все еще дико говоришь. Ради Бога, не предавайся экстазу, или, по крайней мѣрѣ, какъ эта дурь найдетъ на тебя, такъ ужъ молчи, дай ей пройти, путнаго ничего не скажешь и не сдѣлаешь: выйдетъ непремѣнно нелѣпость.

— Какъ, дядюшка, а развѣ не въ экстазѣ родится мысль поэта?

— Я не знаю, какъ она родится, а знаю, что выходитъ совсѣмъ готовая изъ головы, то-есть когда обработается размышленіемъ: тогда только она и хороша. Ну, а по твоему,—началъ, помолчавъ, Петръ Иванычъ:—за кого же бы выдавать эти прекрасныя существа?

— За тѣхъ, кого они любятъ, кто еще не утратилъ блеска юношеской красоты, въ комъ и въ головѣ и въ сердцѣ— всюду замѣтно присутствіе жизни, въ глазахъ не угасъ еще блескъ, на щекахъ не остылъ румянецъ, не пропала свѣжесть — признаки здоровья; кто бы не истощенной рукой повелъ по пути жизни прекрасную подругу, а принесъ бы

ей въ даръ сердце, полное любви къ ней, способное понять и раздѣлить ея чувства, когда права природы...

— Довольно! то-есть, за такихъ молодцовъ, какъ ты. Если бъ мы жили *среди полей и лѣсовъ дремучихъ* — такъ, а то жени вотъ этакого молодца, какъ ты—много будетъ проку! въ первый годъ съ ума сойдетъ, а тамъ и пойдетъ заглядывать за кулисы, или дастъ въ соперницы женѣ ся же горничную, потому что права-то природы, о которыхъ ты толкуешь, требуютъ перемѣны, новостей — славный порядокъ! а тамъ и жена, замѣтивъ мужнины проказы, полюбитъ вдругъ каски, наряды, да маскарады, и сдѣлаетъ тебѣ того... а безъ состоянія такъ еще хуже! ѣсть, говоритъ, нечего!

Петръ Иванычъ сдѣлалъ кислую мину.

— «Я, говоритъ, женатъ,—продолжалъ онъ:—у меня, говоритъ, ужъ трое дѣтей, помогите, не могу прокормиться, я бѣденъ...» бѣденъ! какая мерзость! нѣтъ, я надѣюсь, что ты не попадешь ни въ ту, ни въ другую категорію.

— Я попаду въ категорію счастливыхъ мужей, дядюшка, а Наденька—счастливыхъ женъ. Не хочу жениться, какъ женится бо́льшая часть: наладили одну пѣсню: «молодость прошла, одиночество наскучило, такъ надо жениться!» Я не таковъ!

— Бредишь, милый.

— Да почему вы знаете?

— Потому что ты такой же человѣкъ, какъ другіе, а другихъ я давно знаю. Ну, скажи-ка ты, зачѣмъ женишься?

— Какъ зачѣмъ? Наденька—жена моя! — воскликнулъ Александръ, закрывъ лицо руками.

— Ну, что? видишь—и самъ не знаешь.

— У! духъ замираетъ отъ одной мысли. Вы не знаете, какъ я люблю ее, дядюшка! я люблю, какъ никогда никто не любилъ: всѣми силами души—ей все...

— Лучше бы ты, Александръ, выбранилъ или, ужъ, такъ

и быть, обнялъ меня, чѣмъ повторять эту глупѣйшую фразу! Какъ это у тебя языкъ поворотился? «какъ никогда никто не любилъ!»

Петръ Иванычъ пожалъ плечами.

— Что жъ, развѣ это не можетъ быть?

— Впрочемъ, точно, глядя на твою любовь, я думаю, что это даже возможно: глупѣе любить нельзя!

— Но она говоритъ, что надо ждать годъ, что мы молоды, должны испытать себя... цѣлый годъ... и тогда...

— Годъ! а! давно бы ты сказалъ! — перебилъ Петръ Иванычъ: — это она предложила? Какая же она умница! Сколько ей лѣтъ?

— Восьмнадцать.

— А тебѣ—двадцать три: ну, братъ, она въ двадцать три раза умнѣе тебя. Она, какъ я вижу, понимаетъ дѣло: съ тобою она пошалитъ, пококетничаетъ, время проведетъ весело, а тамъ... есть между этими дѣвчонками преумныя! Ну, такъ ты не женишься. Я думалъ, ты хочешь это какъ-нибудь поскорѣе повернуть, да тайкомъ. Въ твои лѣта эти глупости такъ проворно дѣлаются, что не успѣешь и помѣшать; а то черезъ годъ! до тѣхъ поръ она еще надуетъ тебя...

— Она—надуетъ, кокетничаетъ! дѣвчонка! она, Наденька! фи, дядюшка! Съ кѣмъ вы жили всю жизнь, съ кѣмъ имѣли дѣла, кого любили, если у васъ такія черныя подозрѣнія?..

— Жилъ съ людьми, любилъ женщину.

— Она обманетъ! Этотъ ангелъ, эта олицетворенная искренность, женщина, какую, кажется, Богъ впервые создалъ во всей чистотѣ и блескѣ...

— А все-таки женщина, и вѣроятно обманетъ.

— Вы послѣ этого скажете, что и я надую?

— Современемъ—да, и ты.

— Я! про тѣхъ, кого вы не знаете, вы можете заключать,

что угодно; но меня—не грѣхъ ли вамъ подозрѣвать въ такой гнусности? Кто же я въ вашихъ глазахъ?

— Человѣкъ.

— Не всѣ одинаковы. Знайте же, что я, не шутя, искренно далъ ей обѣщаніе любить всю жизнь; я готовъ подтвердить это клятвой...

— Знаю, знаю! Порядочный человѣкъ не сомнѣвается въ искренности клятвы, когда даетъ ее женщинѣ, а потомъ измѣнитъ или охладѣетъ, и самъ не знаетъ какъ. Это дѣлается не съ намѣреніемъ, и тутъ никакой гнусности нѣтъ, некого винить: природа вѣчно любить не позволила. И вѣрующіе въ вѣчную и неизмѣнную любовь дѣлаютъ то же самое, что и невѣрующіе, только не замѣчаютъ или не хотятъ сознаться; мы, дескать, выше этого, не люди, а ангелы—глупость!

— Какъ же есть любовники, супруги, которые вѣчно любятъ другъ друга и всю жизнь живутъ?..

— Вѣчно! кто двѣ недѣли любитъ, того называютъ вѣтреникомъ, а два, три года—такъ ужъ и вѣчно! Разбери-ка, какъ любовь создана, и самъ увидишь, что она не вѣчна! Живость, пылкость и лихорадочность этого чувства не даютъ ему быть продолжительнымъ. Любовники, супруги живутъ всю жизнь вмѣстѣ—правда! да развѣ любятъ всю жизнь другъ друга! будто ихъ всегда связываетъ первоначальная любовь? будто они ежеминутно ищутъ другъ друга, глядятъ и не наглядятся? Куда подъ конецъ дѣнутся мелочныя угожденія, безпрестанная внимательность, жажда быть вмѣстѣ, слезы, восторги—всѣ эти вздоры? Холодность и неповоротливость мужей вошла въ пословицу. «Ихъ любовь обращается въ дружбу!» говорятъ всѣ важно: такъ вотъ ужъ и не любовь! Дружбу! А что это за дружба? Мужа съ женой связываютъ общіе интересы, обстоятельства, одна судьба,—вотъ и живутъ вмѣстѣ; а нѣтъ этого, такъ и расходятся, любятъ другихъ,—иной прежде, другой

послѣ: это называется измѣной!.. А живучи вмѣстѣ, живутъ потомъ привычкой, которая, скажу тебѣ на ухо, сильнѣе всякой любви: недаромъ называютъ ее второй натурой; иначе бы люди не перестали терзаться всю жизнь въ разлукѣ или по смерти любимаго предмета, а вѣдь утѣшаются. А то наладили: вѣчно, вѣчно!.. не разберутъ, да и кричатъ.

— Какъ же вы, дядюшка, не опасаетесь за себя? Стало быть, и ваша невѣста... извините... надуетъ васъ?..

— Не думаю.

— Какое самолюбіе!

— Это не самолюбіе, а расчетъ.

— Опять расчетъ?

— Ну, размышленіе, если хочешь.

— А если она влюблена въ кого-нибудь?

— До этого не надо допускать; а если бъ и случился такой грѣхъ, такъ можно поискуснѣе расхолодить.

— Будто это можно? развѣ въ вашей власти...

— Весьма.

— Этакъ бы дѣлали всѣ обманутые мужья, — сказалъ Александръ:—если бъ былъ способъ...

— Не всѣ мужья одинаковы, мой милый: одни очень равнодушны къ своимъ женамъ, не обращаютъ вниманія на то, что дѣлается вокругъ нихъ, и не хотятъ замѣтить; другіе изъ самолюбія и хотѣли бы, да плохи: не умѣютъ взяться за дѣло.

— Какъ же вы сдѣлаете?

— Это мой секретъ; тебѣ не втолкуешь: ты въ горячкѣ.

— Я счастливъ теперь и благодарю Бога; а о томъ, что̀ будетъ впереди, и знать не хочу.

— Первая половина твоей фразы такъ умна, что хоть бы не влюбленному ее сказать: она показываетъ умѣнье пользоваться настоящимъ; а вторая, извини, никуда не годится. «Не хочу знать, что̀ будетъ впереди», т.-е. не хочу думать

о томъ, что было вчера и что есть сегодня; не стану ни соображать, ни размышлять, не приготовлюсь къ тому, не остерегусь этого, такъ, куда вѣтеръ подуетъ! Помилуй, на что это похоже?

— А по-вашему, какъ же, дядюшка? Настанетъ мигъ блаженства, надо взять увеличительное стекло да и разсматривать...

— Нѣтъ, уменьшительное, чтобъ съ радости не одурѣть вдругъ, не вѣшаться всѣмъ на шею.

— Или придетъ минута грусти,—продолжалъ Александръ:— такъ ее разсматривать въ ваше уменьшительное стекло?

— Нѣтъ, грусть въ увеличительное: легче перенесть, когда вообразишь непріятность вдвое больше, нежели она есть.

— Зачѣмъ же, — продолжалъ Александръ съ досадой: — я буду убивать вначалѣ всякую радость холоднымъ размышленіемъ, не упившись ею, думать: вотъ она измѣнитъ, пройдетъ? зачѣмъ буду терзаться заранѣе горемъ, когда оно не настало?

— А за то, когда настанетъ, — перебилъ дядя: — такъ подумаешь—и горе пройдетъ, какъ проходило тогда-то и тогда-то, и со мной, и съ тѣмъ, и съ другимъ. Надѣюсь, это не дурно и стоитъ обратить на это вниманіе; тогда и терзаться не станешь, когда разглядишь перемѣнчивость всѣхъ шансовъ въ жизни; будешь хладнокровенъ и покоенъ, сколько можетъ быть покоенъ человѣкъ.

— Такъ вотъ гдѣ тайна вашего спокойствія!—задумчиво сказалъ Александръ.

Петръ Иванычъ молчалъ и писалъ.

— Но что жъ за жизнь? — началъ Александръ: — не забыться, а все думать, думать... нѣтъ, я чувствую, что это не такъ. Я хочу жить безъ вашего холоднаго анализа, не думая о томъ, ожидаетъ ли меня впереди бѣда, опасность, или нѣтъ—все равно!.. Зачѣмъ я буду думать заранѣе и отравлять...

— Вѣдь я говорю зачѣмъ, а онъ все свое! Не заставь меня сдѣлать на твой счетъ какого-нибудь обиднаго сравненія. Затѣмъ, что когда предвидишь опасность, препятствіе, бѣду, такъ легче бороться съ ней или перенести ее: ни съ ума не сойдешь, ни умрешь; а когда придетъ радость, такъ не будешь скакать и опрокидывать бюстовъ—ясно ли? Ему говорятъ: вотъ начало, смотри же, соображай по этому конецъ, а онъ закрываетъ глаза, мотаетъ головой, какъ при видѣ пугала какого-нибудь, и живетъ по-дѣтски. Потвоему, живи день за днемъ, какъ живется, сиди у порога своей хижины, измѣряй жизнь обѣдами, танцами, любовью да неизмѣнной дружбой. Все хотятъ золотого вѣка! Ужъ я сказалъ тебѣ, что съ твоими идеями хорошо сидѣть въ деревнѣ, съ бабой да полдюжиной ребятъ, а здѣсь надо дѣло дѣлать; для этого безпрестанно надо думать и помнить, что̀ дѣлалъ вчера, что̀ дѣлаешь сегодня, чтобы знать, что̀ нужно дѣлать завтра, т.-е. жить съ безпрерывной повѣркой себя и своихъ занятій. Съ этимъ дойдемъ до чего-нибудь дѣльнаго; а такъ... Да что съ тобою толковать: ты теперь въ бреду. Ай! скоро часъ. Ни слова больше, Александръ; уходи... и слушать не стану; завтра обѣдай у меня, кое-кто будетъ.

— Не друзья ли ваши?

— Да... Коневъ, Смирновъ, Ѳедоровъ,—ты ихъ знаешь, и еще кое-кто...

— Коневъ, Смирновъ, Ѳедоровъ! да это тѣ самые люди, съ которыми вы имѣете дѣла.

— Ну, да; все нужные люди.

— Такъ это у васъ друзья? Въ самомъ дѣлѣ, не видывалъ, чтобъ вы кого-нибудь принимали съ особенною горячностью.

— Я ужъ тебѣ сказывалъ, что друзьями я называю тѣхъ, съ кѣмъ чаще вижусь, которые доставляютъ мнѣ или пользу, или удовольствіе. Помилуй! что жъ даромъ-то кормить?

— А я думалъ, вы прощаетесь передъ свадьбой съ истинными друзьями, которыхъ душевно любите, съ которыми за чашей помянете въ послѣдній разъ веселую юность и, можетъ-быть, при разлукѣ крѣпко прижмете ихъ къ сердцу.

— Ну, въ твоихъ пяти словахъ все есть, чего въ жизни не бываетъ или не должно быть. Съ какимъ восторгомъ твоя тетка бросилась бы тебѣ на шею! Въ самомъ дѣлѣ, тутъ и *истинные друзья*, тогда какъ есть просто друзья, и *чаша*, тогда какъ пьютъ изъ бокаловъ или стакановъ, и объятія *при разлукѣ*, когда нѣтъ разлуки. Охъ, Александръ!

— И вамъ не жаль разставаться, или, по крайней мѣрѣ, рѣже видѣться съ этими друзьями? — сказалъ Александръ.

— Нѣтъ! я никогда не сближался ни съ кѣмъ до такой степени, чтобъ жалѣть, и тебѣ то же совѣтую.

— Но, можетъ-быть, они не таковы: имъ, можетъ-быть, жаль потерять въ васъ добраго товарища, собесѣдника?

— Это ужъ не мое, а ихъ дѣло. Я тоже не разъ терялъ такихъ товарищей, да вотъ не умеръ отъ того. Такъ ты будешь завтра?

— Завтра, дядюшка, я...

— Что?

— Отозванъ на дачу.

— Вѣрно, къ Любецкимъ?

— Да.

— Такъ! Ну, какъ хочешь. Помни о дѣлѣ, Александръ: я скажу редактору, чѣмъ ты занимаешься...

— Ахъ, дядюшка, какъ можно! Я непремѣнно докончу извлеченія изъ нѣмецкихъ экономистовъ...

— Да ты прежде начни ихъ. Смотри же, помни, *презрѣннаго металла* не проси, какъ скоро совсѣмъ предашься *сладостной лѣни*.

IV.

Жизнь Александра раздѣлялась на двѣ половины. Утро поглощала служба. Онъ рылся въ запыленныхъ дѣлахъ, со-

ображалъ вовсе не касавшіяся до него обстоятельства, считалъ на бумагѣ милліонами непринадлежавшія ему деньги. Но порой голова отказывалась думать за другихъ, перо выпадало изъ рукъ и имъ овладѣвала та *сладостная нѣга*, на которую сердился Петръ Иванычъ.

Тогда Александръ опрокидывался на спинку стула и уносился мысленно въ мѣсто злачно, въ мѣсто покойно, гдѣ нѣтъ ни бумагъ, ни чернилъ, ни странныхъ лицъ, ни вицмундировъ, гдѣ царствуютъ спокойствіе, нѣга и прохлада, гдѣ въ изящно убранной залѣ благоухаютъ цвѣты, раздаются звуки фортепіано, въ клѣткѣ прыгаетъ попугай, а въ саду качаютъ вѣтвями березы и кусты сирени. И царицей всего этого—она...

Александръ, утромъ, сидя въ департаментѣ, невидимо присутствовалъ на одномъ изъ острововъ, на дачѣ Любецкихъ, а вечеромъ присутствовалъ тамъ видимо, всей своей особой. Бросимъ нескромный взглядъ на его блаженство.

Былъ жаркій день, одинъ изъ рѣдкихъ дней въ Петербургѣ: солнце животворило поля, но морило петербургскія улицы, накаливая лучами гранитъ, а лучи, отскакивая отъ камней, пропекали людей. Люди ходили медленно, повѣсивъ головы, собаки—высунувъ языки. Городъ походилъ на одинъ изъ тѣхъ сказочныхъ городовъ, гдѣ все, по мановенію волшебника, вдругъ окаменѣло. Экипажи не гремѣли по камнямъ: маркизы, какъ опущенныя вѣки у глазъ, прикрывали окна; торцовая мостовая лоснилась, какъ паркетъ; по тротуарамъ горячо было ступать. Вездѣ было скучно, сонно.

Пѣшеходъ, отирая потъ съ лица, искалъ тѣни. Ямская карета, съ шестью пассажирами, медленно тащилась за городъ, едва подымая пыль за собою. Въ четыре часа чиновники вышли изъ должности и тихо побрели по домамъ.

Александръ выбѣжалъ, какъ-будто въ домѣ обрушился потолокъ, посмотрѣлъ на часы—поздно: къ обѣду не поспѣетъ. Онъ бросился къ ресторатору.

— Что у васъ есть? скорѣй!

— Супъ julienne и à la reine; соусъ à la provençale, à la maitre d'hôtel; жаркое индѣйка, дичь, пирожное суфле.

— Ну, супъ à la provençale, соусъ julienne и жаркое суфле, только поскорѣе!

Слуга посмотрѣлъ на него.

— Ну, что же?—сказалъ Александръ съ нетерпѣніемъ.

Тотъ бросился вонъ и подалъ, что ему вздумалось. Адуевъ остался очень доволенъ. Онъ не дожидался четвертаго блюда и побѣжалъ на набережную Невы. Тамъ ожидала его лодка и два гребца.

Черезъ часъ завидѣлъ онъ обѣтованный уголокъ, всталъ въ лодкѣ, и устремилъ взоры вдаль. Сначала глаза его отуманились страхомъ и безпокойствомъ, которое перешло въ сомнѣніе. Потомъ вдругъ лицо озарилось свѣтомъ радости, какъ солнечнымъ блескомъ. Онъ отличилъ у рѣшётки сада знакомое платье; вотъ тамъ его узнали, махнули платкомъ. Его ждутъ, можетъ-быть, давно. У него подошвы какъ-будто загорѣлись отъ нетерпѣнія.

«Ахъ, если бъ можно было ходить пѣшкомъ по водѣ!» думалъ Александръ: «изобрѣтаютъ всякій вздоръ, а вотъ этого не изобрѣтутъ!»

Гребцы машутъ веслами медленно, мѣрно, какъ машина. Потъ градомъ льетъ по загорѣлымъ лицамъ; имъ и нужды нѣтъ, что у Александра сердце заметалось въ груди, что, не спуская глазъ съ одной точки, онъ ужъ два раза, въ забытьи, заносилъ черезъ край лодки то одну, то другую ногу, а они ничего: гребутъ себѣ съ тою же флегмой, да повременамъ отираютъ рукавомъ лицо.

— Живѣе!—сказалъ онъ:—полтинникъ на водку.

Какъ они принялись работать, какъ стали привскакивать на своихъ мѣстахъ! куда дѣвалась усталость? откуда взялась сила? Весла такъ и затрепетали по водѣ. Лодка—что скользнетъ, то саженей трехъ какъ не бывало. Махнули разъ де-

сятокъ—и корма уже описала дугу, лодка граціозно подъѣхала и наклонилась у самаго берега. Александръ и Наденька издали улыбались и не сводили другъ съ друга глазъ. Адуевъ ступилъ одной ногой въ воду вмѣсто берега, Наденька засмѣялась.

— Полегче, баринъ, погодите-ка, вотъ я руку подамъ,— промолвилъ одинъ гребецъ, когда Александръ былъ уже на берегу.

— Ждите меня здѣсь,—сказалъ имъ Адуевъ и побѣжалъ къ Наденькѣ.

Она нѣжно улыбалась издали Александру. Съ каждымъ движеніемъ лодки къ берегу, грудь ея поднималась и опускалась сильнѣе.

— Надежда Александровна!..—сказалъ Адуевъ, едва переводя духъ отъ радости.

— Александръ Ѳедорычъ!..—отвѣчала она.

Они бросились невольно другъ къ другу, но остановились и глядѣли другъ на друга съ улыбкой, влажными глазами и не могли ничего сказать. Такъ прошло нѣсколько минутъ.

Нельзя винить Петра Иваныча, что онъ не замѣтилъ Наденьки съ перваго раза. Она была не красавица и не приковывала къ себѣ мгновенно вниманія.

Но если кто пристально вглядывался въ ея черты, тотъ долго не сводилъ съ нея глазъ. Ея физіономія рѣдко оставалась двѣ минуты покойною. Мысли и разнородныя ощущенія до крайности впечатлительной и раздражительной души ея безпрестанно смѣнялись однѣ другими, и оттѣнки этихъ ощущеній сливались въ удивительной игрѣ, придавая лицу ея ежеминутно новое и неожиданное выраженіе. Глаза, напримѣръ, вдругъ бросятъ будто молнію, обожгутъ и мгновенно спрячутся подъ длинными рѣсницами; лицо сдѣлается безжизненно и неподвижно — и передъ вами точно мраморная статуя. Ожидаешь вслѣдъ затѣмъ опять такого же пром-

зительнаго луча—отнюдь нѣтъ! вѣки подымаются тихо, медленно — васъ озаритъ кроткое сіяніе взоровъ, какъ-будто медленно выплывшей изъ-за облаковъ луны. Сердце непремѣнно отзовется легкимъ біеніемъ на такой взглядъ. Въ движеніяхъ то же самое. Въ нихъ много было граціи, но это не грація Сильфиды. Въ этой граціи много было дикаго, порывистаго, что дастъ природа всѣмъ, но что потомъ искусство отнимаетъ до послѣдняго слѣда, вмѣсто того, чтобъ только смягчить. Эти-то слѣды часто проявлялись въ движеніяхъ Наденьки. Она иногда сидитъ въ живописной позѣ, но вдругъ, Богъ знаетъ вслѣдствіе какого внутренняго движенія, эта картинная поза нарушится вовсе неожиданнымъ и опять обворожительнымъ жестомъ. Въ разговорахъ тѣ же неожиданные обороты: то вѣрное сужденіе, то мечтательность, рѣзкій приговоръ, потомъ ребяческая выходка, или тонкое притворство. Все показывало въ ней умъ пылкій, сердце своенравное и непостоянное. И не Александръ сошелъ бы съ ума отъ нея; одинъ только Петръ Иванычъ уцѣлѣетъ: да много ли такихъ?

— Вы меня ждали! Боже мой, какъ я счастливъ!—сказалъ Александръ.

— Я ждала? и не думала! — отвѣчала Наденька, качая головой:—вы знаете, я всегда въ саду.

— Вы сердитесь?—робко спросилъ онъ.

— За что? вотъ идея!

— Ну, дайте ручку!

Она подала ему руку, но только онъ коснулся до нея, она сейчасъ же вырвала—и вдругъ измѣнилась. Улыбка исчезла, на лицѣ обнаружилось что-то похожее на досаду.

— Что это, вы молоко кушаете?—спросилъ онъ.

У Наденьки была чашка въ рукахъ и сухарь.

— Я обѣдаю,—отвѣчала она.

— Обѣдаете, въ шесть часовъ, и молокомъ!

— Вамъ, конечно, странно смотрѣть на молоко послѣ

роскошнаго обѣда у дядюшки? а мы здѣсь въ деревнѣ: живемъ скромно.

Она передними зубами отломила нѣсколько крошекъ сухаря и запила молокомъ, сдѣлавъ губами премиленькую гримасу.

— Я не обѣдалъ у дядюшки, я еще вчера отказался,— отвѣчалъ Адуевъ.

— Какіе вы безсовѣстные! Можно ли такъ лгать? Гдѣ жъ вы были до сихъ поръ?

— Сегодня на службѣ до четырехъ часовъ просидѣлъ...

— А теперь шесть. Не лгите, признайтесь, ужъ соблазнились обѣдомъ, пріятнымъ обществомъ? тамъ вамъ очень, очень весело было.

— Честное слово, я и не заходилъ къ дядюшкѣ... — началъ съ жаромъ оправдываться Александръ.—Развѣ я тогда могъ бы поспѣть къ вамъ объ эту пору!

— А! вамъ это рано кажется? вы бы еще часа черезъ два пріѣхали! — сказала Наденька и быстрымъ пируэтомъ вдругъ отвернулась отъ него и пошла по дорожкѣ къ дому. Александръ за нею.

— Не подходите, не подходите ко мнѣ,—заговорила она, махая рукой:—я васъ видѣть не могу.

— Полноте шалить, Надежда Александровна!

— Я совсѣмъ не шалю. Скажите, гдѣ жъ вы до сихъ поръ были?

— Въ четыре часа вышелъ изъ департамента, — началъ Адуевъ:—часъ ѣхалъ сюда...

— Такъ тогда было бы пять, а теперь шесть. Гдѣ жъ вы провели еще часъ? видите, вѣдь какъ лжете!

— Отобѣдалъ у ресторатора на скорую руку...

— На скорую руку! одинъ только часъ!—сказала она:— бѣдненькіе! вы должны быть голодны. Не хотите ли молока?

— О, дайте, дайте мнѣ эту чашку... — заговорилъ Александръ и протянулъ руку.

Но она вдругъ остановилась, опрокинула чашку вверхъ дномъ и, не обращая вниманія на Александра, съ любопытствомъ смотрѣла, какъ послѣднія капли сбѣгали съ чашки на песокъ.

— Вы безжалостны!—сказалъ онъ:—можно ли такъ мучить меня?

— Посмотрите, посмотрите, Александръ Ѳедорычъ, — вдругъ перебила Наденька, погруженная въ свое занятіе:— попаду ли я каплей на букашку, вотъ что̀ ползетъ по дорогѣ?.. Ахъ, попала! бѣдненькая! она умретъ!—сказала она; потомъ заботливо подняла букашку, положила себѣ на ладонь и начала дышать на нее.

— Какъ васъ занимаетъ букашка! — сказалъ онъ съ досадой.

— Бѣдненькая! посмотрите: она умретъ, — говорила Наденька съ грустью:—Что я сдѣлала?

Она несла нѣсколько времени букашку на ладони, и когда та зашевелилась и начала ползать взадъ и впередъ по рукѣ, Наденька вздрогнула, быстро сбросила ее на землю и раздавила ногой, примолвивъ: «мерзкая букашка!»

— Гдѣ же вы были?—спросила она потомъ.

— Вѣдь я сказалъ...

— Ахъ, да! у дядюшки. Много было гостей? Пили шампанское? Я даже отсюда слышу, какъ пахнетъ шампанскимъ.

— Да нѣтъ, не у дядюшки!—въ отчаяніи перебилъ Александръ.—Кто вамъ сказалъ?

— Вы же сказали.

— Да у него, я думаю, теперь за столъ садятся. Вы не знаете этихъ обѣдовъ: развѣ такой обѣдъ кончается въ одинъ часъ?

— Вы обѣдали два—пятый и шестой.

— А когда же я ѣхалъ сюда?

Она ничего не отвѣчала, прыгнула и достала вѣтку акаціи, потомъ побѣжала по дорожкѣ.

Адуевъ за ней.

— Куда же вы?— спросилъ онъ.

— Куда? какъ куда? вотъ прекрасно! къ маменькѣ.

— Зачѣмъ? Можетъ-быть, мы ее обезпокоимъ.

— Нѣтъ, ничего.

Марья Михайловна, маменька Надежды Александровны, была одна изъ тѣхъ добрыхъ и нехитрыхъ матерей, которыя находятъ прекраснымъ все, что ни дѣлаютъ дѣтки. Марья Михайловна велитъ, напримѣръ, заложить коляску.

— Куда это, маменька?—спроситъ Наденька.

— Поѣдемъ прогуляться: погода такая славная, — говорила мать.

— Какъ можно: Александръ Ѳедорычъ хотѣлъ быть.

И коляска откладывалась.

Въ другой разъ Марья Михайловна усядется за свой нескончаемый шарфъ и начнетъ вздыхать, нюхать табакъ и перебирать костяными спицами или углубится въ чтеніе французскаго романа.

— Maman, что жъ вы не одѣваетесь? — спроситъ Наденька строго.

— А куда?

— Да вѣдь мы пойдемъ гулять.

— Гулять?

— Да. Александръ Ѳедорычъ придетъ за нами. Ужъ вы и забыли!

— Да я и не знала.

— Какъ этого не знать! — скажетъ Наденька съ неудовольствіемъ.

Мать покидала и шарфъ, и книгу, и шла одѣваться. Такъ Наденька пользовалась полною свободою, распоряжалась и собою, и маменькою, и своимъ временемъ, и занятіями, какъ хотѣла. Впрочемъ, она была добрая и нѣжная дочь, нельзя сказать—послушная, потому только, что не она, а мать слушалась ея; зато можно сказать, что она имѣла послушную мать.

— Подите къ маменькѣ,— сказала Наденька, когда они подошли къ дверямъ залы.

— А вы?

— Я послѣ приду.

— Ну, такъ и я послѣ.

— Нѣтъ, идите впередъ.

Александръ вошелъ и тотчасъ же, на цыпочкахъ, воротился назадъ.

— Она дремлетъ въ креслахъ, — сказалъ онъ шопотомъ.

— Ничего, пойдемте. Maman, a maman!

— А!

— Александръ Ѳедорычъ пришелъ.

— А!

— Мг. Адуевъ хочетъ васъ видѣть.

— А!

— Видите, какъ крѣпко уснула. Не будите ее!—удерживалъ Александръ.

— Нѣтъ, разбужу. Maman!

— А!

— Да проснитесь; Александръ Ѳедорычъ здѣсь.

— Гдѣ Александръ Ѳедорычъ?—говорила Марья Михайловна, глядя прямо на него и поправляя сдвинувшійся на сторону чепецъ.—Ахъ! это вы, Александръ Ѳедорычъ? Милости просимъ! А я вотъ сѣла тутъ да и вздремнула, сама не знаю отчего, видно къ погодѣ. У меня что-то и мозоль начинаетъ побаливать—быть дождю. Дремлю, да и вижу во снѣ, что будто Игнатій докладываетъ о гостяхъ, только не поняла о комъ. Слышу, говоритъ, пріѣхали, а кто—не пойму. Тутъ Наденька кличетъ, я сейчасъ же и проснулась. У меня легкій сонъ: чуть кто скрипнетъ, я ужъ и смотрю. Садитесь-ка, Александръ Ѳедорычъ, здоровы ли вы?

— Покорно благодарю.

— Петръ Иванычъ здоровъ ли?

— Слава Богу, покорно благодарю.

— Что онъ не навѣститъ насъ никогда? Я вотъ еще вчера думала: хоть бы, думаю, разъ заѣхалъ когда-нибудь, а то нѣтъ—видно занятъ?

— Очень занятъ,—сказалъ Александръ.

— И васъ другой день не видать! — продолжала Марья Михайловна.—Давеча проснулась, спрашиваю, что Наденька? Спитъ еще, говорятъ. — Ну, пускай ее спитъ, говорю, цѣлый день на воздухѣ — въ саду, погода стоитъ хорошая, устанетъ. Въ ея лѣта спится крѣпко, не то, что въ мои: такая безсонница бываетъ, повѣрите ли? даже тоска сдѣлается; отъ нервъ, что ли — не знаю. Вотъ подаютъ мнѣ кофе: я вѣдь всегда въ постели его пью — пью да думаю: «что это значитъ, Александра Ѳедорыча не видать? ужъ здоровъ ли?» Потомъ встала, смотрю 11-й часъ — прошу покорнѣйше! людишки и не скажутъ! Прихожу къ Наденькѣ—она еще и не просыпалась. Я разбудила ее. «Пора, молъ, мать моя: скоро 12 часовъ, что это съ тобой?» Я вѣдь цѣлый день за ней, какъ нянька. Я и гувернантку отпустила нарочно, чтобъ не было чужихъ. Ввѣрь, пожалуй, чужимъ, такъ Богъ знаетъ что сдѣлаютъ. Нѣтъ! я сама занимаюсь ея воспитаніемъ, строго смотрю, отъ себя ни на шагъ, и могу сказать, что Наденька чувствуетъ это: отъ меня тайкомъ и мысли никакой не допуститъ. Я ее какъ будто насквозь вижу... Тутъ поваръ пришелъ: съ нимъ съ часъ толковала; тамъ почитала «Mémoires du diable»... ахъ, какой пріятный авторъ Сулье! какъ мило описываетъ! Тамъ сосѣдка Марья Ивановна зашла съ мужемъ: такъ я и не видала, какъ прошло утро, гляжу, ужъ и четвертый часъ и обѣдать пора!.. Ахъ, да: что жъ вы къ обѣду не пришли? мы васъ ждали до 5 часовъ.

— До 5 часовъ? — сказалъ Александръ: — я никакъ не могъ, Марья Михайловна: служба задержала. Я васъ прошу никогда не ждать меня долѣе четырехъ часовъ.

— И я то же говорила, да вотъ Наденька: «подождемъ да подождемъ».

— Я! ахъ, ахъ, maman, что вы! Не я ли говорю: «пора, maman, обѣдать», а вы сказали: «нѣтъ, надо подождать; Александръ Ѳедорычъ давно не былъ: вѣрно придетъ къ обѣду».

— Смотрите, смотрите! — заговорила Марья Михайловна, качая головой:—ахъ, какая безсовѣстная! свои слова да на меня же!

Наденька отвернулась, ушла въ цвѣты и начала дразнить попугая.

— Я говорю: «ну, гдѣ теперь Александру Ѳедорычу быть?» — продолжала Марья Михайловна: — «ужъ половина пятаго». «Нѣтъ, говоритъ, maman, надо подождать — онъ будетъ». — Смотрю, три четверти: «Воля твоя, говорю я, Наденька: Александръ Ѳедорычъ вѣрно въ гостяхъ, не будетъ; я проголодалась». — «Нѣтъ, говоритъ, еще подождать надо, до пяти часовъ». Такъ и проморила меня. Что, не правда, сударыня?

«Пошка, пошка!» слышалось изъ-за цвѣтовъ: «гдѣ ты обѣдалъ сегодня, у дядюшки?»

— Что? спряталась!—промолвила мать:— видно совѣстно на свѣтъ Божій смотрѣть!

— Вовсе нѣтъ,—отвѣчала Наденька, выходя изъ боскета и сѣла у окна.

— И таки не сѣла за столъ! — говорила Марья Михайловна:—спросила чашку молока и пошла въ садъ; такъ и не обѣдала. Что? посмотри-ка мнѣ прямо въ глаза, сударыня.

Александръ обомлѣлъ при этомъ разсказѣ. Онъ взглянулъ на Наденьку, но она обернулась къ нему спиной и щипала листокъ плюща.

— Надежда Александровна!—сказалъ онъ:—ужели я такъ счастливъ, что вы думали обо мнѣ?

— Не подходите ко мнѣ!—закричала она съ досады, что ея плутни открылись.—Маменька шутитъ, а вы готовы вѣрить!

— А гдѣ жъ ягоды, что ты приготовила для Александра Ѳедорыча?—спросила мать.

— Ягоды?

— Да, ягоды.

— Вѣдь вы ихъ скушали за обѣдомъ... — отвѣчала Наденька.

— Я! опомнись, мать моя: ты спрятала и мнѣ не дала. «Вотъ, говоритъ, Александръ Ѳедорычъ пріѣдетъ, тогда и вамъ дамъ». Какова?

Александръ нѣжно и лукаво взглянулъ на Наденьку. Она покраснѣла.

— Сама чистила, Александръ Ѳедорычъ,—прибавила мать.

— Что это вы все сочиняете, maman? Я очистила двѣ или три ягодки и тѣ сама съѣла, а то Василиса...

— Не вѣрьте, не вѣрьте, Александръ Ѳедорычъ: Василиса съ утра въ городъ послана. Зачѣмъ же скрывать? Александру Ѳедорычу вѣрно пріятнѣе, что ты чистила, а не Василиса.

Наденька улыбнулась, потомъ скрылась опять въ цвѣты и явилась съ полной тарелкой ягодъ. Она протянула Адуеву руку съ тарелкой. Онъ поцѣловалъ руку и принялъ ягоды, какъ маршальскій жезлъ.

— Не стоите вы! заставить такъ долго ждать себя!—говорила Наденька: — я два часа у рѣшётки стояла: вообразите! ѣдетъ кто-то: я думала — вы и махнула платкомъ, вдругъ незнакомые, какой-то военный. И онъ махнулъ, такой дерзкій!..

Вечеромъ приходили и уходили гости. Начало смеркаться. Любецкія и Адуевъ остались опять втроемъ. Мало-по-малу разстроилось и это тріо. Наденька ушла въ садъ. Составился нескладный дуэтъ у Марьи Михайловны съ Адуе-

вымъ: долго пѣла она ему о томъ, что дѣлала вчера, сегодня, что будетъ дѣлать завтра. Имъ овладѣла томительная скука и безпокойство. Вечеръ наступаетъ быстро, а онъ еще не успѣлъ ни слова сказать Наденькѣ наединѣ. Выручилъ поваръ; благодѣтель пришелъ спросить, что готовить къ ужину, а у Адуева занимался духъ отъ нетерпѣнія, сильнѣе еще, чѣмъ давеча въ лодкѣ. Едва заговорили о котлетахъ, о простоквашѣ, Александръ началъ искусно ретироваться. Сколько маневровъ употребилъ онъ, чтобъ только отойти отъ креселъ Марьи Михайловны! Подошелъ сначала къ окну и взглянулъ на дворъ, а ноги такъ и тянули его въ открытую дверь. Потомъ медленными шагами, едва удерживаясь, чтобы не ринуться опрометью вонъ, онъ перешелъ къ фортепіано, постучалъ въ разнымъ мѣстахъ по клавишамъ, взялъ съ лихорадочнымъ трепетомъ ноты съ пюпитра, взглянулъ въ нихъ и положилъ назадъ; имѣлъ даже твердость понюхать два цвѣтка и разбудить попугая. Тутъ онъ достигъ высшей степени нетерпѣнія; двери были подлѣ, но уйти какъ-то все неловко—надо было простоять минуты двѣ и выйти какъ будто нечаянно. А поваръ уже сдѣлалъ два шага назадъ, еще слово — и онъ уйдетъ, тогда Любецкая непремѣнно обратится опять къ нему. Александръ не вытерпѣлъ и, какъ змѣй, выскользнулъ въ двери и, соскочивъ съ крыльца, не считая ступеней, въ нѣсколько шаговъ очутился въ концѣ аллеи—на берегу, подлѣ Наденьки.

— Насилу вспомнили обо мнѣ! — сказала она на этотъ разъ съ кроткимъ упрекомъ.

— Ахъ, что за муку я вытерпѣлъ, — отвѣчалъ Александръ:—а вы не помогли!

Наденька показала ему книгу.

— Вотъ чѣмъ бы я вызвала васъ, если бъ вы не пришли еще минуту,—сказала она.—Садитесь, теперь maman ужъ не придетъ: она боится сырости. Мнѣ такъ много, такъ много надо сказать вамъ... ахъ!

— И мнѣ тоже... ахъ!

И ничего не сказали или почти ничего, такъ кое-что, о чемъ ужъ говорили десять разъ прежде. Обыкновенно что: мечты, небо, звѣзды, симпатія, счастіе. Разговоръ больше происходилъ на языкѣ взглядовъ, улыбокъ и междометій. Книга валялась на травѣ.

Наступала ночь. нѣтъ, какая ночь! развѣ лѣтомъ въ Петербургѣ бываютъ ночи? это не ночь, а... тутъ надо бы выдумать другое названіе—такъ, полусвѣтъ... Все тихо кругомъ. Нева точно спала; изрѣдка, будто въ просонкахъ, она плеснетъ легонько волной въ берегъ и замолчитъ. А тамъ откуда ни возьмется поздній вѣтерокъ, пронесется надъ сонными водами, но не сможетъ разбудить ихъ, а только зарябитъ поверхность и повѣетъ прохладой на Наденьку и Александра, или принесетъ имъ звукъ дальней пѣсни—и снова все смолкнетъ, и опять Нева неподвижна, какъ спящій человѣкъ, который при легкомъ шумѣ откроетъ на минуту глаза и тотчасъ снова закроетъ; и сонъ пуще сомкнетъ его отяжелѣвшія вѣки. Потомъ со стороны моста послышится какъ-будто отдаленный громъ, а вслѣдъ затѣмъ лай сторожевой собаки съ ближайшей тони, и опять все тихо. Деревья образовали темный сводъ и чуть-чуть, безъ шума, качали вѣтвями. На дачахъ по берегамъ мелькали огоньки.

Что особеннаго тогда носится въ этомъ тепломъ воздухѣ? Какая тайна пробѣгаетъ по цвѣтамъ, деревьямъ, по травѣ, и вѣетъ неизъяснимой нѣгой на душу? Зачѣмъ въ ней тогда рождаются иныя мысли, иныя чувства, нежели въ шумѣ, среди людей? А какая обстановка для любви въ этомъ снѣ природы, въ этомъ сумракѣ, въ безмолвныхъ деревьяхъ, благоухающихъ цвѣтахъ и уединеніи? Какъ могущественно все настроивало умъ къ мечтамъ, сердце къ тѣмъ рѣдкимъ ощущеніямъ, которыя во всегдашней, правильной и строгой жизни кажутся такими безполезными, неумѣстными и смѣш-

ными отступленіями... да! безполезными, а между тѣмъ, въ тѣ минуты душа только и постигаетъ смутно возможность счастья, котораго такъ усердно ищутъ въ другое время и не находятъ.

Александръ и Наденька подошли къ рѣкѣ и оперлись на рѣшётку. Наденька долго, въ раздумьи, смотрѣла на Неву, на даль, Александръ на Наденьку. Души ихъ были переполнены счастьемъ, сердца сладко и вмѣстѣ какъ-то болѣзненно ныли, но языкъ безмолвствовалъ.

Вотъ Александръ тихо коснулся ея таліи. Она тихо отвела локтемъ его руку. Онъ дотронулся опять, она отвела слабѣе, не спуская глазъ съ Невы. Въ третій разъ не отвела.

Онъ взялъ ее за руку — она не отняла и руки; онъ пожалъ руку: рука отвѣчала на пожатіе. Такъ стояли они молча, а что чувствовали!

— Наденька!—сказалъ онъ тихо.

Она молчала.

Александръ съ замирающимъ сердцемъ наклонился къ ней. Она почувствовала горячее дыханіе на щекѣ, вздрогнула, обернулась и — не отступила въ благородномъ негодованіи, не вскрикнула! — она не въ силахъ была притвориться и отступить: обаяніе любви заставило молчать разсудокъ, и когда Александръ прильнулъ губами къ ея губамъ, она отвѣчала на поцѣлуй, хотя слабо, чуть внятно.

«Неприлично!» скажутъ строгія маменьки: «одна въ саду, безъ матери, цѣлуется съ молодымъ человѣкомъ!» Что дѣлать! неприлично, но она отвѣчала на поцѣлуй.

«О, какъ человѣкъ можетъ быть счастливъ!» сказалъ про себя Александръ и опять наклонился къ ея губамъ и пробылъ такъ нѣсколько секундъ.

Она стояла блѣдная, неподвижная, на рѣсницахъ блистали слезы, грудь дышала сильно и прерывисто.

— Какъ сонъ! — шепталъ Александръ.

Вдругъ Наденька встрепенулась, минута забвенія прошла.

— Что это такое? вы забылись! — вдругъ сказала она и бросилась отъ него на нѣсколько шаговъ. — Я маменькѣ скажу!

Александръ упалъ съ облаковъ.

— Надежда Александровна! не разрушайте моего блаженства,—упрекомъ началъ онъ:—не будьте похожи на...

Она посмотрѣла на него, и вдругъ громко, весело засмѣялась, опять подошла къ нему, опять стала у рѣшётки и довѣрчиво оперлась рукой и головой ему на плечо.

— Такъ вы меня очень любите? — спросила она, отирая слезу, выкатившуюся на щеку.

Александръ сдѣлалъ невыразимое движеніе плечами. На лицѣ его было «преглупое выраженіе», сказалъ бы Петръ Иванычъ, что, можетъ-быть, и правда, но зато сколько счастья въ этомъ глупомъ выраженіи!

Они попрежнему молча смотрѣли и на воду, и на небо, и на даль, будто между ними ничего не было. Только боялись взглянуть другъ на друга; наконецъ взглянули, улыбнулись и тотчасъ отвернулись опять.

— Ужели есть горе на свѣтѣ? — сказала Наденька помолчавъ.

— Говорятъ, есть...—задумчиво отвѣчалъ Адуевъ:—да я не вѣрю...

— Какое же горе можетъ быть?

— Дядюшка говоритъ—бѣдность.

— Бѣдность! да развѣ бѣдные не чувствуютъ того же, что мы теперь? вотъ ужъ они и не бѣдны.

— Дядюшка говоритъ, что имъ не до того — что надо ѣсть, пить...

— Фи! ѣсть! Дядюшка вашъ неправду говоритъ: можно и безъ этого быть счастливыми: я не обѣдала сегодня, а какъ я счастлива!

Онъ засмѣялся.

— Да, за эту минуту я отдала бы бѣднымъ все, все!— продолжала Наденька: — пусть придутъ бѣдные. Ахъ, зачѣмъ я не могу утѣшить и обрадовать всѣхъ какой-нибудь радостью?

— Ангелъ! ангелъ!—восторженно произнесъ Александръ, сжавъ ея руку.

— Охъ, какъ вы больно жмете! — вдругъ перебила Наденька, сморщивъ брови и отнявъ руку.

Но онъ схватилъ руку опять и началъ цѣловать съ жаромъ.

— Какъ я буду молиться, — продолжала она: — сегодня, завтра, всегда за этотъ вечеръ! какъ я счастлива! А вы?..

Вдругъ она задумалась; въ глазахъ мелькнула тревога.

— Знаете ли,—сказала она:—говорятъ, будто что было однажды, то ужъ никогда больше не повторится! Стало-быть и эта минута не повторится?

— О, нѣтъ! — отвѣчалъ Александръ: — это неправда: повторится! будутъ лучшія минуты; да, я чувствую!..

Она недовѣрчиво покачала головой. И ему пришли въ голову уроки дяди, и онъ вдругъ остановился.

«Нѣтъ», говорилъ онъ самъ съ собой: «нѣтъ, этого быть не можетъ! дядя не зналъ такого счастья, оттого онъ такъ строгъ и недовѣрчивъ къ людямъ. Бѣдный! мнѣ жаль его холоднаго, черствaго сердца: оно не знало упоенія любви, вотъ отчего это жёлчное гоненіе на жизнь. Богъ его проститъ! Если бъ онъ видѣлъ мое блаженство, и онъ не наложилъ бы на него руки, не оскорбилъ бы нечистымъ сомнѣніемъ. Мнѣ жаль его...»

— Нѣтъ, Наденька, нѣтъ, мы будемъ счастливы! — продолжалъ онъ вслухъ. — Посмотри вокругъ: не радуется ли все здѣсь, глядя на нашу любовь? Самъ Богъ благословитъ ее. Какъ весело пройдемъ мы жизнь рука объ руку! какъ будемъ *горды, велики взаимной любовью!*

— Ахъ, перестаньте, перестаньте загадывать!—перебила

она: — не пророчьте: мнѣ что-то страшно дѣлается, когда вы говорите такъ. Мнѣ и теперь грустно...

— Чего же бояться? Неужели нельзя вѣрить самимъ себѣ?

— Нельзя, нельзя!—говорила она, качая головой.

Онъ посмотрѣлъ на нее и задумался.

— Отчего? Что же,—началъ онъ потомъ: — можетъ разрушить этотъ міръ нашего счастья? кому нужда до насъ? Мы всегда будемъ одни, станемъ удаляться отъ другихъ; что̀ намъ до нихъ за дѣло? и что̀ за дѣло имъ до насъ? насъ не вспомнятъ, забудутъ, и тогда насъ не потревожатъ и слухи о горѣ и бѣдахъ, точно такъ, какъ и теперь, здѣсь, въ саду, никакой звукъ не тревожитъ этой торжественной тишины...

— Наденька! Александръ Ѳедорычъ! — раздалось вдругъ съ крыльца:—гдѣ вы?

— Слышите!—сказала Наденька пророческимъ тономъ:— вотъ намекъ судьбы: эта минута не повторится больше — я чувствую...

Она схватила его за руку, сжала ее, поглядѣла на него какъ-то странно, печально, и вдругъ бросилась въ темную аллею.

Онъ остался одинъ въ раздумьи.

— Александръ Ѳедорычъ!—раздалось опять съ крыльца:— простокваша давно на столѣ.

Онъ пожалъ плечами и пошелъ въ комнату.

— За мигомъ невыразимаго блаженства — вдругъ простокваша!! — сказалъ онъ Наденькѣ. — Ужели все такъ въ жизни.

— Лишь бы не было хуже, — весело отвѣчала она: — а простокваша очень хороша, особенно для того, кто не обѣдалъ.

Счастье одушевило ее. Щеки ея пылали, глаза горѣли необыкновеннымъ блескомъ. Какъ заботливо хозяйничала она, какъ весело болтала! не было и тѣни мелькнувшей мгновенно печали: радость поглотила ее.

Заря охватила уже полнеба, когда Адуевъ сѣлъ въ лодку. Гребцы, въ ожиданіи обѣщанной награды, поплевали на руки и начали-было по-давешнему привскакивать на мѣстахъ, изо всей мочи работая веслами.

— Тише ѣхать!—сказалъ Александръ:—еще полтинникъ на водку!

Они поглядѣли на него, потомъ другъ на друга. Одинъ почесалъ грудь, другой спину, и стали чуть шевелить веслами, едва дотрогиваясь до воды. Лодка поплыла, какъ лебедь.

«И дядюшка хочетъ увѣрить меня, что счастье химера, что нельзя безусловно вѣрить ничему, что жизнь... безсовѣстный! зачѣмъ онъ хотѣлъ такъ жестоко обмануть меня? Нѣтъ, вотъ жизнь! такъ я воображалъ ее себѣ, такова она должна-быть, такова есть и такова будетъ! Иначе нѣтъ жизни!»

Свѣжій, утренній вѣтерокъ чуть-чуть подулъ съ сѣвера. Александръ слегка вздрогнулъ, и отъ вѣтерка и отъ воспоминанія, потомъ зѣвнулъ и, закутавшись въ плащъ, погрузился въ мечты.

V.

Адуевъ достигъ апогея своего счастія. Ему нечего было болѣе желать. Служба, журнальные труды—все забыто, заброшено. Его ужъ обошли мѣстомъ: онъ едва примѣтилъ это, и то потому, что напомнилъ дядя. Петръ Иванычъ совѣтовалъ бросить пустяки, но Александръ, при словѣ «пустяки», пожималъ плечами, съ сожалѣніемъ улыбался и молчалъ. Дядя, увидя безполезность своихъ представленій, тоже пожалъ плечами, улыбнулся съ сожалѣніемъ и замолчалъ, промолвивъ только:

— Какъ хочешь, это твое дѣло, только, смотри, презрѣннаго металла не проси.

— Не бойтесь, дядюшка,—говорилъ на это Александръ:—худо, когда мало денегъ, много мнѣ не нужно, а довольно—у меня есть.

— Ну, и поздравляю тебя,—прибавилъ Петръ Иванычъ. Александръ видимо избѣгалъ его. Онъ потерялъ всякую довѣренность къ его печальнымъ предсказаніямъ и боялся холоднаго взгляда на любовь вообще и оскорбительныхъ намековъ на отношенія его къ Наденькѣ въ особенности.

Ему противно было слушать, какъ дядя, разбирая любовь его, просто, по общимъ и одинакимъ будто бы для всѣхъ законамъ, профанировалъ это высокое, святое, по его мнѣнію, дѣло. Онъ таилъ свои радости, всю эту перспективу розоваго счастья, предчувствуя, что чуть коснется его анализъ дяди, то, того и гляди, розы разсыплются въ прахъ или превратятся въ назёмъ. А дядя сначала избѣгалъ его оттого, что вотъ, думалъ, малый залѣнится, замотается, придетъ къ нему за деньгами, сядетъ на шею.

Въ походкѣ, взглядѣ, во всемъ обращеніи Александра было что-то торжественное, таинственное. Онъ велъ себя съ другими, какъ богатый капиталистъ на биржѣ съ мелкими купцами, скромно и съ достоинствомъ, думая про себя: «жалкіе! кто изъ васъ обладаетъ такимъ сокровищемъ, какъ я? кто такъ умѣетъ чувствовать? чья могучая душа...» и проч.

Онъ былъ увѣренъ, что онъ одинъ на свѣтѣ такъ любитъ и любимъ.

Впрочемъ, онъ избѣгалъ не только дяди, но и *толпы*, какъ онъ говорилъ. Онъ, или поклонялся своему божеству, или сидѣлъ дома, въ кабинетѣ, одинъ, упиваясь блаженствомъ, анализируя, разлагая его на безконечно-малые атомы. Онъ называлъ это *творить особый міръ*, и, сидя въ своемъ уединеніи, точно сотворилъ себѣ изъ ничего какой-то міръ и обрѣтался больше въ немъ, а на службу ходилъ рѣдко и неохотно, называя ее *горькою необходимостью, необходимымъ зломъ* или *печальной прозой*. Вообще у него много было варіантовъ на этотъ предметъ. Къ редактору и къ знакомымъ вовсе не ходилъ.

Бесѣдовать съ своимъ *я* было для него высшею отрадою. «Наединѣ съ собою только — писалъ онъ въ какой-то повѣсти—человѣкъ видитъ себя, какъ въ зеркалѣ; тогда только научается онъ вѣрить въ человѣческое величіе и достоинство. Какъ прекрасенъ онъ въ этой бесѣдѣ съ своими душевными силами! какъ вождь, онъ дѣлаетъ имъ строгій обзоръ, строитъ ихъ по мудро-обдуманному плану и стремится во главѣ ихъ, и дѣйствуетъ, и зиждетъ! Какъ жалокъ, напротивъ, кто не умѣетъ и боится быть съ собою, кто бѣжитъ отъ самого себя и всюду ищетъ общества, чуждаго ума и духа...» Подумаешь, мыслитель какой-нибудь открываетъ новые законы строенія міра или бытія человѣческаго, а то просто влюбленный!

Вотъ онъ сидитъ въ волтеровскихъ креслахъ. Передъ нимъ листъ бумаги, на которомъ набросано нѣсколько стиховъ. Онъ, то наклонится надъ листомъ и сдѣлаетъ какую-нибудь поправку, или прибавитъ два-три стиха, то опрокинется на спинку креселъ и задумается. На губахъ блуждаетъ улыбка; видно, что онъ только лишь отвелъ ихъ отъ полной *чаши* счастія. Глаза у него закроются томно, какъ у дремлющаго кота, или вдругъ сверкнутъ огнемъ внутренняго волненія.

Кругомъ тихо. Только издали, съ большой улицы, слышится гулъ отъ экипажей, да повременамъ Евсей, уставъ чистить сапогъ, заговоритъ вслухъ:

— Какъ бы не забыть: давеча въ лавочкѣ на грошъ уксусу взялъ, да на гривну капусты, завтра надо отдать, а то лавочникъ, пожалуй, въ другой разъ и не повѣритъ— такая собака! Фунтами хлѣбъ вѣшаютъ, словно въ голодный годъ — срамъ! Ухъ, Господи, умаялся. Вотъ только дочищу этотъ сапогъ—и спать. Въ Грачахъ, чай, давно спятъ: не по-здѣшнему! Когда-то Господь Богъ приведетъ увидѣть...

Тутъ онъ громко вздохнулъ, подышалъ на сапогъ и опять началъ шмыгать щеткой. Онъ считалъ это занятіе

главною и чуть ли не единственною своею обязанностью, и вообще способностью чистить сапоги измѣрялъ достоинство слуги и даже человѣка; самъ онъ чистилъ съ какою-то страстью.

— Перестань, Евсей! ты мнѣ мѣшаешь дѣло дѣлать своими пустяками!—кричалъ Адуевъ.

«Пустяки,— ворчалъ про себя Евсей:—какъ не пустяки: у тебя такъ вотъ пустяки, а я дѣло дѣлаю. Вишь вѣдь какъ загрязнилъ сапоги, насилу отчистишь».

Онъ поставилъ сапогъ на столъ и глядѣлся съ любовью въ зеркальный лоскъ кожи.

«Поди-ка, вычисти кто этакъ, — примолвилъ онъ: — пустяки!»

Александръ все глубже и глубже погружался въ свои мечты о Наденькѣ, потомъ въ творческія мечты.

На столѣ было пусто. Все, что напоминало о прежнихъ его занятіяхъ, о службѣ, о журнальной работѣ, лежало подъ столомъ, или на шкапѣ, или подъ кроватью.

«Одинъ видъ *этой грязи,*—говорилъ онъ:—пугаетъ творческую думу и она улетаетъ, какъ соловей изъ рощи, при внезапномъ скрипѣ не мазанныхъ колесъ, раздавшемся съ дороги.»

Часто заря заставала его надъ какой-нибудь элегіей. Всѣ часы, проводимые не у Любецкихъ, посвящались творчеству. Онъ напишетъ стихотвореніе и прочтетъ его Наденькѣ; та перепишетъ на хорошенькой бумажкѣ и выучитъ, и онъ «познаетъ *высшее блаженство поэта—слышать свое произведеніе изъ милыхъ устъ*».—

«Ты моя муза, — говорилъ онъ ей: — будь Вестою этого священнаго огня, который горитъ въ моей груди; ты оставишь его—и онъ заглохнетъ навсегда».

Потомъ онъ посылалъ стихи подъ чужимъ именемъ въ журналъ. Ихъ печатали, потому что они были недурны,

мѣстами не безъ энергіи и всѣ проникнуты пылкимъ чувствомъ; написаны гладко.

Наденька гордилась его любовью и звала его «мой поэтъ».— «Да, твой, вѣчно твой»,—прибавлялъ онъ. Впереди улыбалась слава, и вѣнокъ, думалъ онъ, сплететъ ему Наденька и перевьетъ лавръ миртами, а тамъ... «Жизнь, жизнь, какъ ты прекрасна!» восклицалъ онъ. «А дядя? Зачѣмъ смущаетъ онъ миръ души моей? Не демонъ ли это, посланный мнѣ судьбою? Зачѣмъ отравляетъ онъ желчью все мое благо? не изъ зависти ли, что сердце его чуждо этимъ чистымъ радостямъ, или, можетъ-быть, изъ мрачнаго желанія вредить... о, дальше, дальше отъ него!.. Онъ убьетъ, заразитъ своею ненавистью мою любящую душу, развратитъ ее...»

И онъ бѣжалъ отъ дяди, не видался съ нимъ по цѣлымъ недѣлямъ, по мѣсяцамъ. А если, при встрѣчѣ, разговоръ заходилъ о чувствѣ, онъ насмѣшливо молчалъ, или слушалъ, какъ человѣкъ, котораго убѣжденія нельзя поколебать никакими доводами. Онъ свои сужденія считалъ непогрѣшительными, мнѣнія и чувства непреложными, и рѣшился впередъ руководствоваться только ими, говоря, что онъ уже не мальчикъ, и что *зачѣмъ же мнѣнія чужія только святы?* и проч.

А дядя былъ все тотъ же: онъ ни о чемъ не разспрашивалъ племянника, не замѣчалъ, или не хотѣлъ замѣтить его продѣлокъ. Видя, что положеніе Александра не измѣняется, что онъ ведетъ прежній образъ жизни, не проситъ у него денегъ, онъ сталъ съ нимъ ласковъ попрежнему и слегка упрекалъ, что рѣдко бываетъ у него.

— Жена сердится на тебя, — говорилъ онъ: — она привыкла считать тебя роднымъ; мы обѣдаемъ каждый день дома; заходи.

И только. Но Александръ рѣдко заходилъ, да и некогда было: утро на службѣ, послѣ обѣда до ночи у Любецкихъ;

оставалась ночь, а ночью онъ уходилъ въ свой особенный, сотворенный имъ *міръ* и продолжалъ творить. Да притомъ, не мѣшаетъ же вѣдь соснуть немножко.

Въ изящной прозѣ онъ былъ менѣе счастливъ. Онъ написалъ комедію, двѣ повѣсти, какой-то очеркъ и путешествіе куда-то. Дѣятельность его была изумительна, бумага такъ и горѣла подъ перомъ. Комедію и одну повѣсть сначала показалъ дядѣ и просилъ сказать, годится ли? Дядя прочиталъ на выдержку нѣсколько страницъ и отослалъ назадъ, написавъ сверху: «годится для... перегородки!»

Александръ взбѣсился и отослалъ въ журналъ, но ему возвратили и то, и другое. Въ двухъ мѣстахъ на поляхъ комедіи отмѣчено было карандашомъ: «не дурно»—и только. Въ повѣсти часто встрѣчались слѣдующія отмѣтки: «слабо, невѣрно, незрѣло, вяло, неразвито» и проч., а въ концѣ сказано было: «вообще замѣтно незнаніе сердца, излишняя пылкость, неестественность, все на ходуляхъ, нигдѣ не видно человѣка... герой уродливъ... такихъ людей не бываетъ... къ напечатанію неудобно! Впрочемъ, авторъ, кажется, не безъ дарованія, надо трудиться!..»

«Такихъ людей не бываетъ!» подумалъ огорченный и изумленный Александръ: «какъ не бываетъ? да вѣдь герой-то я самъ. Неужели мнѣ изображать этихъ пошлыхъ героевъ, которые встрѣчаются на каждомъ шагу, мыслятъ и чувствуютъ, какъ толпа, дѣлаютъ, что всѣ дѣлаютъ,—эти жалкія лица вседневныхъ мелкихъ трагедій и комедій, не отмѣченныя особой печатью... унизится ли искусство до того?..»

Онъ, въ подтвержденіе чистоты исповѣдуемаго имъ ученія объ изящномъ, призывалъ тѣнь Байрона, ссылался на Гёте и на Шиллера. Героемъ, возможнымъ въ драмѣ или въ повѣсти, онъ воображалъ не иначе, какъ какого-нибудь корсара, или великаго поэта, артиста, и заставлялъ ихъ дѣйствовать и чувствовать по-своему.

Въ одной повѣсти мѣстомъ дѣйствія избралъ онъ Америку; обстановка была роскошная; американская природа, горы, и среди всего этого изгнанникъ, похитившій свою возлюбленную. Цѣлый міръ забылъ ихъ; они любовались собой да природой, и когда пришла вѣсть о прощеніи и возможность возвратиться на родину, они отказались. Потомъ, лѣтъ черезъ двадцать, какой-то европеецъ пріѣхалъ туда, пошелъ въ сопровожденіи индѣйцевъ на охоту и нашелъ на одной горѣ хижину и въ ней скелетъ. — Европеецъ былъ соперникъ героя. Какъ казалась ему хороша эта повѣсть! съ какимъ восторгомъ читалъ онъ ее въ зимніе вечера Наденькѣ! какъ жадно она внимала ему! — и не принять этой повѣсти!

Объ этой неудачѣ онъ ни полслова Наденькѣ; проглотилъ обиду молча—и концы въ воду. — Что же повѣсть, — спрашивала она: — напечатали? — Нѣтъ! — говорилъ онъ: — нельзя; тамъ много такого, что у насъ покажется дико и странно...

Если бъ онъ зналъ, какую правду сказалъ онъ, думая сказать ее совсѣмъ въ другомъ смыслѣ!

Трудиться казалось ему тоже страннымъ. «Зачѣмъ же талантъ?—говорилъ онъ. — Трудится бездарный труженикъ; талантъ творитъ легко и свободно...» Но, вспомнивъ, что статьи его о сельскомъ хозяйствѣ, да и стихи тоже, были сначала такъ, ни то, ни сё, а потомъ постепенно совершенствовались и обратили на себя особенное вниманіе публики, онъ задумался, понялъ нелѣпость своего заключенія и со вздохомъ отложилъ изящную прозу до другого времени: когда сердце будетъ биться ровнѣе, мысли придутъ въ порядокъ, тогда онъ далъ себѣ слово заняться, какъ слѣдуетъ.

Дни шли за днями, дни безпрерывныхъ наслажденій для Александра. Онъ счастливъ былъ, когда поцѣлуетъ кончикъ пальца Наденьки, просидитъ противъ нея въ картинной позѣ

часа два, не спуская съ нея глазъ, млѣя и вздыхая, или декламируя приличные случаю стихи.

Справедливость требуетъ сказать, что она иногда на вздохи и стихи отвѣчала зѣвотой. И не мудрено: сердце ея было занято, но умъ оставался празденъ. Александръ не позаботился дать ему пищи. Годъ, назначенный Наденькою для испытанія, проходилъ. Она жила съ матерью опять на той же дачѣ. Александръ заговаривалъ объ ея обѣщаніи, просилъ позволенія поговорить съ матерью. Наденька отложила-было до переѣзда въ городъ, но Александръ настаивалъ.

Наконецъ, однажды вечеромъ, при прощаньи, она позволила Александру переговорить на другой день съ матерью.

Александръ не уснулъ цѣлую ночь, не ходилъ въ должность. Въ головѣ у него вертѣлся завтрашній день; онъ все придумывалъ, какъ говорить съ Марьей Михайловной, сочинилъ-было рѣчь, приготовился, но едва вспомнилъ, что дѣло идетъ о Наденькиной рукѣ, растерялся въ мечтахъ и опять все забылъ. Такъ онъ пріѣхалъ вечеромъ на дачу, не приготовившись ни въ чемъ; да и не нужно было: Наденька встрѣтила его, по обыкновенію, въ саду, но съ оттѣнкомъ легкой задумчивости въ глазахъ и безъ улыбки, а какъ-то разсѣянно.

— Нынче нельзя говорить съ маменькой,—сказала она:— у насъ этотъ гадкій графъ сидитъ!

— Графъ! какой графъ?

— Вотъ не знаете, какой графъ! графъ Новинскій, извѣстно, нашъ сосѣдъ; вотъ его дача; сколько разъ сами хвалили садъ!

— Графъ Новинскій! у васъ!—сказалъ изумленный Александръ:—по какому случаю?

— Я еще и сама не знаю хорошенько, — отвѣчала Наденька: — я сидѣла здѣсь и читала вашу книжку, а маменьки дома не было; она пошла къ Марьѣ Ивановнѣ.

Только сталъ накрапывать дождь, я иду въ комнату, вдругъ къ крыльцу подъѣзжаетъ коляска, голубая съ бѣлой обивкой, та самая, что все мимо насъ ѣздила: — еще вы хвалили. Смотрю, выходитъ маменька съ какимъ-то мужчиной. Вошли; маменька и говоритъ: «Вотъ, графъ, это моя дочь; прошу любить да жаловать». Онъ поклонился и я тоже. Мнѣ стыдно стало, я покраснѣла и убѣжала въ свою комнату. А маменька — такая несносная — слышу, говоритъ: «Извините, графъ, она у меня такая дикарка»... Тутъ я и догадалась, что это долженъ быть нашъ сосѣдъ, графъ Новинскій. Вѣрно онъ завезъ маменьку въ экипажѣ отъ Марьи Ивановны, отъ дождя.

— Онъ... старикъ?—спросилъ Александръ.

— Какой старикъ, фи! что вы: молодой, хорошенькій!..

— Ужъ вы успѣли разсмотрѣть, что хорошенькій! — съ досадой сказалъ Александръ.

— Вотъ прекрасно! долго ли разсмотрѣть? Я съ нимъ ужъ говорила. Ахъ! онъ прелюбезный: разспрашивалъ что я дѣлаю; о музыкѣ говорилъ; просилъ спѣть что-нибудь, да я не стала, я почти не умѣю. Нынѣшней зимой непремѣнно попрошу maman взять мнѣ хорошаго учителя пѣнія. Графъ говоритъ, что это нынче очень въ модѣ—пѣть.

Все это было сказано съ необыкновенной живостью.

— Я думалъ, Надежда Александровна, — замѣтилъ Адуевъ: — что нынѣшней зимой у васъ, кромѣ пѣнія, будетъ занятіе...

— Какое же?

— Какое!—съ упрекомъ сказалъ Александръ.

— Ахъ! да... что вы на лодкѣ сюда пріѣхали?

Онъ молча смотрѣлъ на нее. Она повернулась и пошла къ дому.

Адуевъ не совсѣмъ покойно вошелъ въ залу. Что за графъ! Какъ съ нимъ вести себя? каковъ онъ въ обращеніи? гордъ? небреженъ? Вошелъ. Графъ первый всталъ и

вѣжливо поклонился. Александръ отвѣчалъ принужденнымъ и неловкимъ поклономъ. Хозяйка представила ихъ другъ другу. Графъ почему-то не нравился ему; а онъ былъ прекрасный мужчина: высокій, стройный блондинъ, съ большими выразительными глазами, съ пріятной улыбкой. Въ манерахъ простота, изящество, какая-то мягкость. Онъ, кажется, расположилъ бы къ себѣ всякаго, но Адуева не расположилъ.

Александръ, несмотря на приглашеніе Марьи Михайловны—сѣсть поближе, сѣлъ въ уголъ и сталъ смотрѣть въ книгу, что было очень не свѣтски, неловко, неумѣстно. Наденька стала за кресломъ матери, съ любопытствомъ смотрѣла на графа и слушала, что и какъ онъ говоритъ: онъ былъ для нея новостью.

Адуевъ не умѣлъ скрыть, что графъ не нравился ему. Графъ, казалось, не замѣчалъ его грубости: онъ былъ внимателенъ и обращался къ Адуеву, стараясь сдѣлать разговоръ общимъ. Все напрасно: тотъ молчалъ, или отвѣчалъ: да и нѣтъ.

Когда Любецкая случайно повторила его фамилію, графъ спросилъ, не родня ли ему Петръ Иванычъ.

— Дядя!—отвѣчалъ отрывисто Александръ.

— Я съ нимъ часто встрѣчаюсь въ свѣтѣ, — сказалъ графъ.

— Можетъ-быть. Что жъ тутъ мудренаго? — отвѣчалъ Адуевъ и пожалъ плечами.

Графъ скрылъ улыбку, закусивъ немного нижнюю губу. Наденька переглянулась съ матерью, покраснѣла и потупила глаза.

— Вашъ дядюшка умный и пріятный человѣкъ! — замѣтилъ графъ тономъ легкой ироніи.

Адуевъ молчалъ.

Наденька не вытерпѣла, подошла къ Александру, и пока

графъ говорилъ съ ея матерью, шепнула ему: — какъ вамъ не стыдно! графъ такъ ласковъ съ вами, а вы?...

— Ласковъ! — съ досадой, почти вслухъ отвѣчалъ Александръ: — я не нуждаюсь въ его ласкахъ, не повторяйте этого слова...

Наденька отскочила отъ него прочь и издали долго глядѣла на него неподвижно, сдѣлавъ большіе глаза, потомъ стала опять за стуломъ матери и не обращала уже вниманія на Александра.

А Адуевъ все ждалъ, вотъ графъ уйдетъ, и онъ, наконецъ, успѣетъ переговорить съ матерью. Но пробило десять, одиннадцать часовъ, графъ не уходитъ и все говоритъ.

Всѣ предметы, около которыхъ обыкновенно вертится разговоръ въ началѣ знакомства, истощились. Графъ началъ шутить. Онъ шутилъ умно: въ его шуткахъ — ни малѣйшей принужденности, ни претензіи на остроуміе, а такъ что-то занимательное, какая-то особенная способность забавно разсказать, даже не анекдотъ, а просто новость, случай, или однимъ неожиданнымъ словомъ серьезную вещь превратить въ смѣшную.

И мать, и дочь совершенно поддались вліянію его шутокъ, и самъ Александръ не разъ прикрывалъ книгой невольную улыбку. Но онъ бѣсился въ душѣ.

Графъ говорилъ обо всемъ одинаково хорошо, съ тактомъ, и о музыкѣ, и о людяхъ, и о чужихъ краяхъ. Зашелъ разговоръ о мужчинахъ, о женщинахъ: онъ побранилъ мужчинъ, въ томъ числѣ и себя, ловко похвалилъ женщинъ вообще, и сдѣлалъ нѣсколько комплиментовъ хозяйкамъ въ особенности.

Адуевъ подумалъ о своихъ литературныхъ занятіяхъ, о стихахъ. «Вотъ тутъ бы я его срѣзалъ», подумалъ онъ. Заговорили и о литературѣ; мать и дочь рекомендовали Александра, какъ писателя.

«Вотъ сконфузится-то!» подумалъ Адуевъ.

Вовсе нѣтъ. Графъ говорилъ о литературѣ, какъ будто никогда ничѣмъ другимъ не занимался; сдѣлалъ нѣсколько бѣглыхъ и вѣрныхъ замѣчаній о современныхъ русскихъ и французскихъ знаменитостяхъ. Вдобавокъ ко всему оказалось, что онъ находился въ дружескихъ отношеніяхъ съ первоклассными русскими литераторами, а въ Парижѣ познакомился съ нѣкоторыми и изъ французскихъ. О немногихъ отозвался онъ съ уваженіемъ, другихъ слегка очертилъ въ карикатурѣ.

О стихахъ Александра онъ сказалъ, что не знаетъ ихъ и не слыхалъ...

Наденька какъ-то странно посмотрѣла на Адуева, какъ будто спрашивая: «что жъ, братъ, ты? не далеко уѣхалъ...»

Александръ оробѣлъ. Дерзкая и грубая мина уступила мѣсто унынію. Онъ походилъ на пѣтуха съ мокрымъ хвостомъ, прячущагося отъ непогоды подъ навѣсъ.

Вотъ въ буфетѣ зазвенѣли стаканами, ложками, накрываютъ столъ, а графъ не уходитъ. Исчезла всякая надежда. Онъ даже согласился на приглашеніе Любецкой остаться и поужинать простокваши.

«Графъ, а ѣстъ простоквашу!» шепталъ Адуевъ, съ ненавистью глядя на графа.

Графъ ужиналъ съ аппетитомъ, продолжая шутить, какъ будто онъ былъ у себя.

— Въ первый разъ въ домѣ, безсовѣстный, а ѣсть за троихъ!—шепнулъ Александръ Наденькѣ.

— Что жъ! онъ *кушать* хочетъ! — отвѣчала она простодушно.

Графъ, наконецъ, ушелъ, но говорить о дѣлѣ было поздно. Адуевъ взялъ шляпу и побѣжалъ вонъ. Наденька нагнала его и успѣла успокоить.

— Такъ завтра? — спросилъ Александръ.

— Завтра насъ дома не будетъ.

— Ну, послѣзавтра.

Они разстались.

Послѣзавтра Александръ пріѣхалъ пораньше. Еще въ саду до него изъ комнаты доносились незнакомые звуки... віолончель не віолончель... Онъ ближе... поетъ мужской голосъ, и какой голосъ! звучный, свѣжій, который такъ, кажется, и просится въ сердце женщины. Онъ дошелъ до сердца и Адуева, но иначе: оно замерло, заныло отъ тоски, зависти, ненависти, отъ неяснаго и тяжелаго предчувствія. Александръ вошелъ въ переднюю со двора.

— Кто у васъ?—спросилъ онъ у человѣка.

— Графъ Новинскій.

— Давно?

— Съ шести часовъ.

— Скажи тихонько барышнѣ, что я былъ и зайду опять.

— Слушаю-съ.

Александръ вышелъ вонъ и пошелъ бродить по дачамъ, едва замѣчая куда идетъ. Часа черезъ два онъ воротился.

— Что, все еще у васъ?—спросилъ онъ.

— У насъ; да, кажется, кушать останутся. Барыня приказала жарить рябчиковъ къ ужину.

— А ты говорилъ барышнѣ обо мнѣ?

— Говорилъ-съ.

— Ну, что жъ она?

— Ничего не изволила приказывать.

Александръ уѣхалъ домой и не являлся два дня. Богъ знаетъ, что онъ передумалъ и перечувствовалъ; наконецъ, поѣхалъ.

Вотъ онъ завидѣлъ дачу, всталъ въ лодкѣ и, прикрывъ глаза рукой отъ солнца, смотрѣлъ впередъ. Вонъ между деревьями мелькаетъ синее платье, которое такъ ловко сидитъ на Наденькѣ; синій цвѣтъ такъ къ лицу ей. Она всегда надѣвала это платье, когда хотѣла особенно нравиться Александру. У него отлегло отъ сердца.

«А! она хочетъ вознаградить меня за временную, неволь-

ную небрежность», думалъ онъ: «не она, а я виноватъ: какъ можно было такъ непростительно вести себя? этимъ только вооружишь противъ себя; чужой человѣкъ, новое знакомство... очень натурально, что она, какъ хозяйка.... А! вонъ выходитъ изъ-за куста съ узенькой тропинки, идетъ къ рѣшёткѣ, тутъ остановится и будетъ ждать...»

Она, точно, вышла на большую аллею... но кто жъ еще съ ней поворачиваетъ съ дорожки?...

— Графъ!—горестно, вслухъ воскликнулъ Александръ и не вѣрилъ своимъ глазамъ.

— Ась?—откликнулся одинъ гребецъ.

— Одна съ нимъ въ саду...—шепнулъ Александръ:—какъ со мной.

Графъ съ Наденькой подошли къ рѣшёткѣ и, не взглянувъ на рѣку, повернулись и медленно пошли по аллеѣ назадъ. Онъ наклонился къ ней и говорилъ что-то тихо. Она шла, потупя голову.

Адуевъ все стоялъ въ лодкѣ, съ раскрытымъ ртомъ, не шевелясь, протянувъ руки къ берегу, потомъ опустилъ ихъ и сѣлъ. Гребцы продолжали грести.

— Куда вы?—бѣшено закричалъ на нихъ Александръ, опомнившись.—Назадъ!

— Назадъ ѣхать?—повторилъ одинъ, глядя на него, разинувъ ротъ.

— Назадъ! глухъ, что ли, ты?

— А туда не понадобится?

Другой гребецъ, молча, проворно сталъ забирать весломъ слѣва, потомъ ударили въ два весла, и лодка быстро помчалась обратно. Александръ нахлобучилъ шляпу чуть не до плечъ и погрузился въ мучительную думу.

Послѣ того онъ не ѣздилъ къ Любецкимъ двѣ недѣли.

Двѣ недѣли: какой срокъ для влюбленнаго! Но онъ все ждалъ: вотъ пришлютъ человѣка узнать, что съ нимъ? не боленъ ли? какъ это всегда дѣлалось, когда онъ захвораетъ,

или такъ, закапризничаетъ. Наденька сначала, бывало, отъ имени матери сдѣлаетъ вопросъ по формѣ и потомъ чего не напишетъ отъ себя? Какіе милые упреки, какое нѣжное безпокойство! что за нетерпѣніе!

«Нѣтъ, теперь я не сдамся скоро», думалъ Александръ: «я ее помучаю. Я научу ее, какъ должно обходиться съ постороннимъ мужчиной; примиреніе будетъ не легко!»

И онъ задумалъ жестокій планъ мщенія, мечталъ о раскаяніи, о томъ, какъ онъ великодушно проститъ и дастъ наставленіе. Но къ нему не шлютъ человѣка и не несутъ повинной; онъ какъ будто не существовалъ для нихъ.

Онъ похудѣлъ, сдѣлался блѣденъ. Ревность мучительнѣе всякой болѣзни, особенно ревность по подозрѣніямъ, безъ доказательствъ. Когда является доказательство, тогда конецъ и ревности, большею частію и самой любви, тогда знаютъ, по крайней мѣрѣ, что дѣлать, а до тѣхъ поръ— мука! и Александръ испытывалъ ее вполнѣ.

Наконецъ, онъ рѣшился поѣхать утромъ, думая застать Наденьку одну и объясниться съ ней.

Пріѣхалъ. Въ саду никого не было, въ залѣ и гостиной тоже. Онъ вышелъ въ переднюю, отворилъ дверь на дворъ...

Какая сцена представилась ему! Два жокея, въ графской ливреѣ, держали верховыхъ лошадей. На одну изъ нихъ графъ и человѣкъ сажали Наденьку; другая приготовлена была для самого графа. На крыльцѣ стояла Марья Михайловна. Она, наморщившись, съ безпокойствомъ смотрѣла на эту сцену.

— Крѣпче сиди, Наденька,—говорила она.—Посмотрите, графъ, за ней, ради Христа! Ахъ! я боюсь, ей-Богу, боюсь. Придерживайся за ухо лошади, Наденька: видишь, она точно бѣсъ—такъ и юлитъ.

— Ничего, maman,—весело сказала Наденька:—я вѣдь ужъ умѣю ѣздить: посмотрите.

Она хлеснула лошадь, та бросилась впередъ и начала прыгать и рзаться на мѣстѣ.

— Ахъ, ахъ! держите! — закричала Марья Михайловна, махая рукой:—перестань, убьетъ!

Но Наденька потянула поводья, и лошадь стала.

— Видите, какъ она меня слушается!—сказала Наденька и погладила лошадь по шеѣ.

Адуева никто и не замѣтилъ. Онъ, блѣдный, молча смотрѣлъ на Наденьку, а она, какъ на смѣхъ, никогда не казалась такъ хороша, какъ теперь. Какъ шла къ ней амазонка и эта шляпка съ зеленой вуалью! какъ обрисовывалась ея талія! Лицо одушевлено было стыдливою гордостью и роскошью новаго ощущенія. Румянецъ то пропадалъ, то выступалъ, отъ удовольствія, на щекахъ. Лошадь слегка прыгала и заставляла стройную наѣздницу граціозно наклонятся и откидываться назадъ. Станъ ея покачивался на сѣдлѣ, какъ стебель цвѣтка, колеблемый вѣтеркомъ. Погомъ жокей подвелъ лошадь графу.

— Графъ! мы опять черезъ рощу поѣдемъ? — спросила Наденька.

«Опять!» подумалъ Адуевъ.

— Очень хорошо,—отвѣчалъ графъ.

Лошади тронулись съ мѣста.

— Надежда Александровна! — вдругъ закричалъ Адуевъ какимъ-то дикимъ голосомъ.

Всѣ остановились, какъ вкопанные, какъ будто окаменѣли, и смотрѣли въ недоумѣніи на Александра. Это продолжалось съ минуту.

— Ахъ, это Александръ Ѳедорычъ!—первая сказала мать, опомнившись. Графъ привѣтливо поклонился. Наденька проворно откинула вуаль отъ лица, обернулась и посмотрѣла на него съ испугомъ, открывъ немного ротикъ, потомъ быстро отвернулась, стегнула лошадь, та рванулась впередъ и въ два прыжка исчезла за воротами; за нею пустился графъ.

— Тише, тише, ради Бога, тише!—кричала мать вслѣдъ:— за ухо держи. А! Господи, Боже мой, того и гляди упадетъ: что̀ это за страсти такія!

И все пропало; слышенъ былъ только лошадиный топотъ, да пыль облакомъ поднялась съ дороги. Александръ остался съ Любецкой. Онъ молча смотрѣлъ на нее, какъ-будто спрашивалъ глазами: «что̀ это значитъ?» Та не заставила долго ждать отвѣта.

— Уѣхали,—сказала она:—и слѣдъ простылъ! Ну, пусть молодежь порѣзвится, а мы съ вами побесѣдуемъ, Александръ Ѳедорычъ. Да что̀ это двѣ недѣли о васъ ни слуху, ни духу: разлюбили что ли насъ?

— Я былъ боленъ, Марья Михайловна, — угрюмо отвѣчалъ онъ.

— Да, это видно: вы похудѣли и блѣдные такіе! Сядьте-ка поскорѣй, отдохните; да не хотите ли, я прикажу сварить яичекъ въ смятку? до обѣда еще долго.

— Благодарю васъ; я не хочу.

— Отчего? вѣдь сейчасъ будутъ готовы, а яйца славныя: чухонецъ только сегодня принесъ.

— Нѣтъ-съ, нѣтъ.

— Что жъ это съ вами? А я все жду да жду, думаю: что жъ это значитъ, и самъ не ѣдетъ и книжекъ французскихъ не везетъ? Помните, вы обѣщали что-то: «Peau de chagrin», что ли? Жду, жду—нѣтъ! разлюбилъ, думаю, Александръ Ѳедорычъ, насъ, право, разлюбилъ.

— Я боюсь, Марья Михайловна, не разлюбили ли вы меня?

— Грѣхъ вамъ бояться этого, Александръ Ѳедорычъ! Я люблю васъ, какъ родного; вотъ не знаю, какъ Наденька; да она еще ребенокъ: что̀ смыслитъ? гдѣ ей цѣнить людей! Я каждый день твержу ей: что это, молъ, Александра Ѳедорыча не видать, что не ѣдетъ? и все поджидаю. Повѣрите ли, каждый день до пяти часовъ обѣдать не садилась, все думала: вотъ подъѣдетъ. Ужъ и Наденька говоритъ

иногда: «что это, maman, кого вы ждете? мнѣ кушать хочется, и графу, я думаю, тоже...»

— А графъ... часто бываетъ?..—спросилъ Александръ.

— Да почти каждый день, а иногда по два раза въ одинъ день; такой добрый, такъ полюбилъ насъ... Ну, вотъ, говоритъ Наденька: «ѣсть хочу, да и только! пора за столъ».— «А какъ Александръ Ѳедорычъ, говорю я, будетъ?..»—«Не будетъ, говоритъ она, хотите пари, что не будетъ? нечего ждать...» — Любецкая рѣзала Александра этими словами, какъ ножомъ.

— Она... такъ и говорила? — спросилъ онъ, стараясь улыбнуться.

— Да, такъ-таки и говоритъ и торопитъ. Я вѣдь строга, даромъ что смотрю такой доброй. Я ужъ бранила ее: «то ждешь, молъ, его до пяти часовъ, не обѣдаешь, то вовсе не хочешь подождать—безтолковая! нехорошо! Александръ Ѳедорычъ старый нашъ знакомый, любитъ насъ, и дяденька его, Петръ Иванычъ, много намъ расположенія своего показалъ... нехорошо такъ небрежничать! онъ, пожалуй, разсердится да не станетъ ходить...»

— Что жъ она?—спросилъ Александръ.

— А ничего. Вѣдь вы знаете, она у меня такая живая— вскочитъ, запоетъ, да побѣжитъ, или скажетъ: «пріѣдетъ, если захочетъ!» такая рѣзвушка! и я думаю — пріѣдетъ! Смотришь еще день пройдетъ — нѣтъ! Я опять: «что-это, Наденька, здоровъ ли Александръ Ѳедорычъ!»—«Не знаю, говоритъ, maman, мнѣ почемъ знать?»—«Пошлемъ-ка узнать, что съ нимъ?» Пошлемъ да пошлемъ, да такъ вотъ и послали: я-то забыла, понадѣялась на нее, а она у меня вѣтеръ. — Вотъ теперь далась ей эта ѣзда! увидала разъ графа верхомъ изъ окна и пристала ко мнѣ: «хочу ѣздить» да и только! Я туда, сюда, нѣтъ—«хочу!» Сумасшедшая! Нѣтъ, въ мое время какая верховая ѣзда! насъ совсѣмъ не такъ воспитывали. А нынче, ужасъ сказать, дамы стали

ужъ покуривать: вонъ, напротивъ насъ молодая вдова живетъ: сидитъ на балконѣ да соломинку цѣлый день и куритъ; мимо ходятъ, ѣздятъ—ей и нужды нѣтъ! Бывало, у насъ, если и отъ мужчины въ гостиной пахнетъ табакомъ...

— Давно это началось?—спросилъ Александръ.

— Да не знаю, говорятъ, лѣтъ съ пять въ моду вошло: вѣдь все отъ французовъ...

— Нѣтъ-съ, я спрашиваю: давно ли Надежда Александровна ѣздитъ верхомъ?

— Недѣли съ полторы. Графъ такой добрый, такой обходительный: чего, чего не дѣлаетъ для насъ; какъ ее балуетъ! Смотрите, сколько цвѣтовъ! все изъ его саду. Иной разъ совѣстно станетъ. «Что это, говорю, графъ, вы ее балуете? она совсѣмъ ни на что не похожа будетъ!..» и ее побраню. Мы съ Марьей Ивановной да съ Наденькой были у него въ манежѣ: я вѣдь, вы знаете, сама за ней наблюдаю: ужъ кто лучше матери усмотритъ за дочерью? я сама занималась воспитаніемъ и не хвастаясь скажу: дай Богъ всякому такую дочь! Тамъ при насъ Наденька и училась. Потомъ завтракали у него въ саду, да вотъ теперь каждый день и ѣздятъ. Что это, какой богатый у него домъ! мы смотрѣли: все такъ со вкусомъ, роскошно!

— Каждый день!—сказалъ Александръ, почти про себя.

— Да что жъ не потѣшить! сама тоже молода была... бывало...

— И долго они ѣздятъ?

— Часа по три. Ну, а вы чѣмъ это заболѣли?

— Я не знаю... у меня что-то грудь болитъ... — сказалъ онъ, прижавъ руку къ сердцу.

— Вы ничего не принимаете?

— Нѣтъ.

— Вотъ то-то молодые люди! все ничего, все до поры до времени, а тамъ и спохватятся, какъ время уйдетъ! Что жъ вамъ, ломитъ что ли, ноетъ, или рѣжетъ?

— И ломитъ, и ноетъ, и рѣжетъ! — разсѣянно сказалъ Александръ.

— Это простуда; сохрани Боже! не надо запускать, вы такъ уходите себя... можетъ воспаленіе сдѣлаться; и никакихъ лѣкарствъ! Знаете что? возьмите-ка оподельдоку да и трите на ночь грудь крѣпче, втирайте до-красна, а вмѣсто чаю пейте траву, я вамъ рецептъ дамъ.

Наденька воротилась блѣдная отъ усталости. Она бросилась на диванъ, едва переводя духъ.

— Смотри-ка!— говорила, приложивъ ей руку къ головѣ, Марья Михайловна:—какъ уходилась, насилу дышишь. Выпей воды, да поди переодѣнься, распусти шнуровку. Ужъ не доведетъ тебя эта ѣзда до добра!

Александръ и графъ пробыли цѣлый день. Графъ былъ неизмѣнно вѣжливъ и внимателенъ къ Александру, звалъ его къ себѣ взглянуть на садъ, приглашалъ раздѣлить прогулку верхомъ, предлагалъ ему лошадь.

— Я не умѣю ѣздить,—холодно сказалъ Адуевъ.

— Вы не умѣете?—спросила Наденька:—а какъ это весело! Мы опять завтра поѣдемъ, графъ?

Графъ поклонился.

— Полно тебѣ, Наденька, — замѣтила мать: — ты безпокоишь графа.

Ничто, однакожъ, не показывало, чтобы между графомъ и Наденькою существовали особенныя отношенія. Онъ былъ одинаково любезенъ и съ матерью, и съ дочерью, не искалъ случая говорить съ одной Наденькой, не бѣжалъ за нее въ садъ, глядѣлъ на нее точно такъ же, какъ и на мать. Ея свободное обращеніе съ нимъ и прогулки верхомъ объяснялись, съ ея стороны дикостью и неровностью характера, наивностью, можетъ-быть, еще недостаткомъ воспитанія, незнаніемъ условій свѣта, со стороны матери — слабостью и недальновидностью. Внимательность и услужливость графа и его ежедневныя посѣщенія можно было приписать сосѣд-

ству дать и радушному пріему, который онъ всегда находилъ у Любецкихъ.

Дѣло, кажется, естественное, если глядѣть на него простымъ глазомъ; но Александръ смотрѣлъ въ увеличительное стекло и видѣлъ многое... многое... что простымъ глазомъ не усмотришь.

«Отчего», спрашивалъ онъ себя: «перемѣнилась къ нему Наденька?»

Она ужъ не ждетъ его въ саду, встрѣчаетъ не съ улыбкой, а съ испугомъ, одѣвается съ нѣкоторыхъ поръ гораздо тщательнѣе. Нѣтъ небрежности въ обращеніи. Она осмотрительнѣе въ поступкахъ, какъ будто стала разсудительнѣе. Иногда у ней кроется въ глазахъ и въ словахъ что-то такое, что̀ похоже на секретъ... Гдѣ милые капризы, дикость, шалости, рѣзвость? Все пропало. Она стала серьезна, задумчива, молчалива. Ее какъ будто что-то мучитъ. Она теперь похожа на всѣхъ дѣвицъ: такая же притворщица, такъ же лжетъ, такъ заботливо разспрашиваетъ о здоровьѣ... такъ постоянно внимательна, любезна по формѣ... къ нему... къ Александру! съ кѣмъ... о Боже! И сердце его замирало.

«Это не даромъ, не даромъ», твердилъ онъ самъ съ собою: «тутъ что-то кроется! Но я узнаю, во что бы то ни стало, и тогда горе...

Не попущу, чтобъ развратитель,
Огнемъ и вздоховъ и похвалъ,
Младое сердце искушалъ...
Чтобъ червь презрѣнный, ядовитый
Точилъ лилеи стебелекъ,
Чтобы двухъ-утренній цвѣтокъ
Увялъ, едва полураскрытый...»

И въ этотъ день, когда графъ уже ушелъ, Александръ старался улучить минуту, чтобы поговорить съ Наденькой наединѣ. Чего онъ ни дѣлалъ? Взялъ книгу, которою она,

бывало, вызывала его въ садъ отъ матери, показалъ ей и пошелъ къ берегу, думая, вотъ сейчасъ прибѣжитъ. Ждалъ, ждалъ—нейдетъ. Онъ воротился въ комнату. Она сама читала книгу и не взглянула на него. Онъ сѣлъ подлѣ нея. Она не поднимала глазъ, потомъ спросила бѣгло, мимоходомъ, занимается ли онъ литературой, не вышло ли чего-нибудь новаго? О прошломъ ни слова.

Онъ заговорилъ съ матерью. Наденька ушла въ садъ. Мать вышла изъ комнаты и Адуевъ бросился также въ садъ. Наденька, завидѣвъ его, встала со скамьи и пошла не навстрѣчу ему, а по круговой аллеѣ, тихонько къ дому, какъ будто отъ него. Онъ ускорилъ шаги, и она тоже.

— Надежда Александровна! — закричалъ онъ издали: — мнѣ хотѣлось бы сказать вамъ два слова.

— Пойдемте въ комнату: здѣсь сыро,—отвѣчала она.

Воротясь, она опять сѣла подлѣ матери. Александру чуть не сдѣлалось дурно.

— И вы нынче боитесь сырости? — сказалъ онъ съ колкостью.

— Да, теперь такіе темные вечера, и холодные, — отвѣчала она, зѣвая.

— Скоро и переѣдемъ, — замѣтила мать. — Потрудитесь, Александръ Ѳедорычъ, зайти на квартиру и напомнить хозяину, чтобъ онъ передѣлалъ два замка́ у дверей, да ставню въ Наденькиной спальнѣ. Онъ обѣщалъ — забудетъ, того гляди. Они всѣ таковы: имъ лишь бы денежки взять.

Адуевъ сталъ прощаться.

— Смотрите же, не надолго! — сказала Марья Михайловна.

Наденька молчала.

Онъ ужъ подошелъ къ дверямъ и обернулся къ ней. Она сдѣлала три шага къ нему. Сердце у него встрепенулось.

«Наконецъ!» подумалъ онъ.

— Вы будете къ намъ завтра? — спросила она холодно,

но глаза ея устремились на него съ жаднымъ любопытствомъ.

— Не знаю; а что?

— Такъ, спрашиваю; будете ли?

— А вамъ бы хотѣлось?

— Будете вы завтра къ намъ?—повторила она тѣмъ же холоднымъ тономъ, но съ бо́льшимъ нетерпѣніемъ.

— Нѣтъ!—отвѣчалъ онъ съ досадой.

— А послѣзавтра?

— Нѣтъ; я не буду цѣлую недѣлю, можетъ-быть, двѣ... долго!..—И онъ устремилъ на нее испытующій взглядъ, стараясь прочесть въ ея глазахъ, какое впечатлѣніе произведетъ этотъ отвѣтъ.

Она молчала, но глаза ея въ одно мгновеніе съ его отвѣтомъ опустились внизъ, и что́ было въ нихъ? отуманила ли ихъ грусть, или блеснула въ нихъ молнія радости—ничего нельзя было прочесть на этомъ мраморномъ, прекрасномъ лицѣ.

Александръ стиснулъ шляпу въ рукѣ и пошелъ вонъ.

— Не забудьте потереть грудь оподельдокомъ! — кричала вслѣдъ Марья Михайловна.

И вотъ Александру опять задача — разбирать, къ чему былъ сдѣланъ Наденькою вопросъ? что въ немъ заключалось: желаніе или боязнь видѣть его?

— О, какая му́ка! какая му́ка! — говорилъ онъ въ отчаяніи.

Не выдержалъ бѣдный Александръ: пріѣхалъ на третій день. Наденька была у рѣшётки сада, когда онъ подъѣзжалъ. Онъ уже было обрадовался, но только-что онъ сталъ приближаться къ берегу, она, какъ будто не видя его, повернулась и, сдѣлавъ нѣсколько косвенныхъ шаговъ по дорожкѣ, точно гуляетъ безъ цѣли, пошла домой.

Онъ засталъ ее съ матерью. Тамъ было человѣка два изъ города, сосѣдка Марья Ивановна и неизбѣжный графъ.

Мученія Александра были невыносимы. Опять прошелъ цѣлый день въ пустыхъ ничтожныхъ разговорахъ. Какъ надоѣли ему гости! Они говорили покойно о всякомъ вздорѣ, разсуждали, шутили, смѣялись.

«Смѣются!» говорилъ Александръ: «они могутъ смѣяться, когда... Наденька... перемѣнилась ко мнѣ! Имъ это ничего! Жалкіе, пустые люди: всему радуются!»

Наденька ушла въ садъ; графъ не пошелъ съ ней. Съ нѣкотораго времени и онъ, и Наденька какъ будто избѣгали другъ друга при Александрѣ. Онъ иногда застанетъ ихъ въ саду или въ комнатѣ однихъ, но потомъ они разойдутся и при немъ уже не сходятся болѣе. Новое, страшное открытіе для Александра: знакъ, что они въ заговорѣ.

Гости разошлись. Ушелъ и графъ. Наденька этого не знала и не спѣшила домой. Адуевъ безъ церемоніи ушелъ отъ Марьи Михайловны въ садъ. Наденька стояла спиной къ Александру, держась рукой за рѣшётку и опершись головой на руку, какъ въ тотъ незабвенный вечеръ... Она не видала и не слыхала его прихода.

Какъ билось у него сердце, когда онъ крался къ ней на цыпочкахъ. Дыханіе у него замерло.

— Надежда Александровна! — едва слышно проговорилъ онъ въ волненіи.

Она вздрогнула, какъ будто подлѣ нея выстрѣлили, обернулась и отступила отъ него на шагъ.

— Скажите, пожалуйста, что̀ это тамъ за дымъ? — заговорила она въ смущеніи, съ живостью указывая на противоположную сторону рѣки: — пожаръ что ли, или печка такая... на заводѣ?..

Онъ молча глядѣлъ на нее.

— Право, я думала пожаръ... Что вы такъ смотрите на меня, не вѣрите?..

Она замолчала.

— И вы, — началъ онъ, качая головой: — и вы, какъ

другія, какъ всѣ!.. Кто бы ожидалъ этого... мѣсяца два назадъ?..

— Что вы? я васъ не понимаю, — сказала она и хотѣла идти.

— Постойте, Надежда Александровна, я не въ силахъ долѣе сносить этой пытки.

— Какой пытки? я, право, не знаю...

— Не притворяйтесь, скажите, вы ли это? тѣ же ли вы, какія были?

— Я все та же!—сказала она рѣшительно.

— Какъ? вы не перемѣнились ко мнѣ?

— Нѣтъ: я, кажется, такъ же ласкова съ вами, такъ же весело встрѣчаю васъ...

— Такъ же весело! а зачѣмъ бѣжите отъ рѣшётки?..

— Я бѣгу? смотрите что выдумали: я стою у рѣшётки, а вы говорите—бѣгу.

Она принужденно засмѣялась.

— Надежда Александровна, оставьте лукавство!—продолжалъ Адуевъ.

— Какое лукавство? что вы пристали ко мнѣ?

— Вы ли это? Боже мой! полтора мѣсяца тому назадъ, еще здѣсь...

— Что это за дымъ такой на той сторонѣ, хотѣла бы я знать?..

— Ужасно! ужасно!—говорилъ Александръ.

— Да что я вамъ сдѣлала? Вы перестали къ намъ ѣздить—какъ хотите... удерживать противъ воли...— начала Наденька.

— Притворяетесь! будто вы не знаете, зачѣмъ я пересталъ ѣздить?

Она, глядя въ сторону, покачала головой.

— А графъ?—сказалъ онъ почти грозно.

— Какой графъ?

Она сдѣлала мину, какъ будто въ первый разъ слышитъ о графѣ.

— Какой? скажите еще,—говорилъ онъ, глядя ей прямо въ глаза:—что вы равнодушны къ нему?

— Вы съ ума сошли!—отвѣчала она, отступая отъ него.

— Да, вы не ошиблись! — продолжалъ онъ: — разсудокъ мой угасаетъ съ каждымъ днемъ... Можно ли такъ коварно, неблагодарно поступить съ человѣкомъ, который любилъ васъ больше всего на свѣтѣ, который все забылъ для васъ, все.... думалъ скоро быть счастливымъ навсегда, а вы...

— Что я?—говорила она, отступивъ еще.

— Что вы? — отвѣчалъ онъ, взбѣшенный этимъ хладнокровіемъ. — Вы забыли! я напомню вамъ, что здѣсь, на этомъ самомъ мѣстѣ, вы сто разъ клялись принадлежать мнѣ: «эти клятвы слышитъ Богъ!» говорили вы. Да, Онъ слышалъ ихъ! вы должны краснѣть и передъ небомъ, и передъ этими деревьями, передъ каждой травкой... все свидѣтель нашего счастія: каждая песчинка говоритъ здѣсь о нашей любви: смотрите, оглянитесь около себя!.. вы клятвопреступница!!!

Она съ ужасомъ смотрѣла на него. Глаза его сверкали, губы побѣлѣли.

— У! какіе злые!—сказала она робко:—за что вы сердитесь? я вамъ не отказывала, вы еще не говорили съ maman... почему же вы знаете...

— Говорить послѣ этихъ поступковъ?..

— Какихъ поступковъ? я не знаю...

— Какихъ? сейчасъ скажу: что значатъ эти свиданія съ графомъ, эти прогулки верхомъ?

— Не бѣжать же мнѣ отъ него, когда maman выйдетъ изъ комнаты! а ѣзда верхомъ значитъ... что я люблю ѣздить... такъ пріятно: скачешь... ахъ, какая миленькая эта лошадка Люси! вы видѣли?.. она ужъ знаетъ меня...

— А перемѣна въ обращеніи со мной?... — продолжалъ онъ: — зачѣмъ графъ у васъ каждый день, съ утра до вечера?

— Ахъ, Боже мой! я почемъ знаю! какіе вы смѣшные! maman такъ хочетъ.

— Неправда! maman хочетъ то, что вы хотите. Кому эти всѣ подарки, ноты, альбомы, цвѣты? все maman?

— Да, maman очень любитъ цвѣты. Вчера еще она купила у садовника...

— А о чемъ вы съ нимъ говорите вполголоса?—продолжалъ Александръ, не обращая вниманія на ея слова: — посмотрите, вы блѣднѣете, вы сами чувствуете свою вину. Разрушить счастье человѣка, забыть, уничтожить все такъ скоро, легко: лицемѣріе, неблагодарность, ложь, измѣна!.. да, измѣна!.. какъ могли вы допустить себя до этого? Богатый графъ, левъ, удостоилъ кинуть на васъ благосклонный взглядъ—и вы растаяли, пали ницъ передъ этимъ мишурнымъ солнцемъ; гдѣ стыдъ!!! Чтобъ графа не было здѣсь!— говорилъ онъ задыхающимся голосомъ:—слышите ли? оставьте, прекратите съ нимъ всѣ сношенія, чтобъ онъ забылъ дорогу въ вашъ домъ!.. я не хочу...

Онъ съ бѣшенствомъ схватилъ ее за руку.

— Maman, maman! сюда!—пронзительнымъ голосомъ закричала Наденька, вырывалсь отъ Александра и, вырвавшись, опрометью бросилась бѣжать домой.

Онъ сѣлъ на скамью и схватился руками за голову.

Она прибѣжала въ комнату блѣдная, испуганная и упала на стулъ.

— Что ты? что съ тобой? что ты кричишь? — спросила встревоженная мать, идя ей навстрѣчу.

— Александръ Ѳедорычъ... нездоровъ! — едва могла проговорить она.

— Такъ что жъ такъ пугаться?

— Онъ такой страшный... maman, не пускайте его, ради Бога, ко мнѣ.

— Какъ ты меня перепугала, сумасшедшая! Ну что жъ, что нездоровъ? я знаю, у него грудь болитъ. Что тутъ страшнаго? не чахотка! потретъ оподельдокомъ—все пройдетъ: видно не послушался, не потеръ.

Александръ опомнился. Горячка прошла, но мука его удвоилась. Сомнѣній онъ не прояснилъ, а перепугалъ Наденьку и теперь, конечно, не добьется отъ нея отвѣта: не такъ взялся за дѣло. Ему, какъ всякому влюбленному, вдругъ пришло въ голову и то: «ну, если она не виновата? можетъ-быть, въ самомъ дѣлѣ она равнодушна къ графу. Безтолковая мать приглашаетъ его каждый день: что же ей дѣлать? Онъ, какъ свѣтскій человѣкъ, любезенъ; Наденька—хорошенькая дѣвушка: можетъ-быть, онъ и хочетъ нравиться ей, да вѣдь это еще не значитъ, что ужъ и понравился. Ей: можетъ-быть, нравятся цвѣты, верховая ѣзда, невинныя развлеченія, а не самъ графъ? Да положимъ даже, что тутъ есть немного и кокетства: развѣ это не простительно? другія и старше, да Богъ знаетъ, что дѣлаютъ».

Онъ отдохнулъ, лучъ радости блеснулъ въ душѣ. Влюбленные всѣ таковы: то очень слѣпы, то слишкомъ прозорливы. Притомъ же такъ пріятно оправдать любимый предметъ!

«А отчего же перемѣна въ обращеніи со мной?» вдругъ спрашивалъ онъ себя и снова блѣднѣлъ. «Зачѣмъ она убѣгаетъ меня, молчитъ, будто стыдится? зачѣмъ вчера, въ простой день, одѣлась такъ нарядно? гостей, кромѣ его, не было. Зачѣмъ спросила, скоро ли начнутся балеты?» Вопросъ простой; но онъ вспомнилъ, что графъ вскользь обѣщалъ доставать всегда ложу, несмотря ни на какія трудности, слѣдовательно онъ будетъ съ ними. «Зачѣмъ вчера ушла изъ саду? зачѣмъ не пришла въ садъ? зачѣмъ спрашивала то, зачѣмъ не спрашивала...»

И снова впалъ онъ въ тяжкія сомнѣнія и снова жестоко мучился и дошелъ до заключенія, что Наденька даже никогда его и не любила.

«Боже, Боже!» говорилъ онъ въ отчаяньи: «какъ тяжело, какъ горько жить! Дай мнѣ это мертвое спокойствіе, этотъ сонъ души...»

Черезъ четверть часа онъ пришелъ въ комнату, унылый, боязливый.

— Прощайте, Надежда Александровна, — сказалъ онъ робко.

— Прощайте,—отвѣчала она отрывисто, не поднимая глазъ.

— Когда позволите мнѣ придти?

— Когда вамъ угодно. Впрочемъ... мы на той недѣлѣ переѣзжаемъ въ городъ: мы вамъ дадимъ знать тогда...

Онъ уѣхалъ. Прошло болѣе двухъ недѣль. Всѣ уже переѣхали съ дачъ. Аристократическіе салоны засіяли снова. И чиновникъ засвѣтилъ двѣ стѣнныя лампы въ гостиной, купилъ полпуда стеариновыхъ свѣчъ, разставилъ два карточные стола, въ ожиданіи Степана Иваныча и Ивана Степаныча, и объявилъ женѣ, что у нихъ будутъ вторники.

А Адуевъ все не получалъ отъ Любецкихъ приглашенія. Онъ встрѣтилъ и повара ихъ, и горничную. Горничная, завидя его, бросилась бѣжать прочь: видно было, что она дѣйствовала въ духѣ барышни. Поваръ остановился.

— Что это вы, сударь, забыли насъ?—сказалъ онъ:—а мы ужъ недѣли полторы, какъ переѣхали.

— Да можетъ быть, вы... не разобрались, не принимаете?

— Какое, сударь, не принимаемъ: ужъ всѣ перебывали, только васъ нѣтъ; барыня не надивится. Вотъ его сіятельство такъ каждый день изволитъ жаловать... такой добрый баринъ. Я намедни ходилъ къ нему съ какой-то тетрадкой отъ барышни—красненькую пожаловалъ.

— Какой же ты дуракъ! — сказалъ Адуевъ и бросился бѣжать отъ болтуна.

Онъ прошелъ вечеромъ мимо квартиры Любецкихъ. Свѣтло. У подъѣзда карета.

— Чья карета?—спросилъ онъ.

— Графа Новинскаго.

На другой, на третій день то же. Наконецъ, однажды онъ вошелъ. Мать приняла его радушно, съ упреками за отсутствіе, побранила, что не третъ грудь оподельдокомъ; Наденька—покойно, графъ—вѣжливо. Разговоръ не вязался.

Такъ былъ онъ раза два. Напрасно онъ выразительно глядѣлъ на Наденьку: она какъ будто не замѣчала его взглядовъ, а прежде какъ замѣчала! бывало, онъ говоритъ съ матерью, а она станетъ напротивъ него, сзади Марьи Михайловны, дѣлаетъ ему гримасы, шалитъ и смѣшитъ его.

Имъ овладѣла невыносимая тоска. Онъ думалъ о томъ только, какъ бы свергнуть съ себя этотъ добровольно взятый крестъ. Ему хотѣлось добиться объясненія.

«Какой бы ни былъ отвѣтъ», думалъ онъ: «все равно, лишь бы превратить сомнѣніе въ извѣстность».

Долго обдумывалъ онъ, какъ приняться за дѣло, наконецъ выдумалъ что-то и пошелъ къ Любецкимъ.

Все благопріятствовало ему. Кареты у подъѣзда не было. Тихо прошелъ онъ залу и на минуту остановился передъ дверями гостиной, чтобы перевести духъ. Тамъ Наденька играла на фортепіано. Дальше черезъ комнату сама Любецкая сидѣла на диванѣ и вязала шарфъ. Наденька, услыхавши шаги въ залѣ, продолжала играть тише и вытянула головку впередъ. Она съ улыбкой ожидала появленія гостя. Гость появился и улыбка мгновенно исчезла; мѣсто ея замѣнилъ испугъ. Она немного измѣнилась въ лицѣ и встала со стула. Не этого гостя ожидала она.

Александръ молча поклонился и, какъ тѣнь, прошелъ дальше, къ матери. Онъ шелъ тихо, безъ прежней увѣренности, съ поникшей головой. Наденька сѣла и продолжала играть, озираясь, по временамъ, безпокойно назадъ.

Черезъ полчаса мать зачѣмъ-то вызвали изъ комнаты. Александръ пришелъ къ Наденькѣ. Она встала и хотѣла идти.

— Надежда Александровна! — сказалъ онъ уныло: — подождите, удѣлите мнѣ пять минутъ, не болѣе.

— Я не могу слушать васъ!—сказала она, и пошла-было прочь:—въ послѣдній разъ вы были...

— Я былъ виноватъ тогда. Теперь буду говорить иначе, даю вамъ слово: вы не услышите ни одного упрека. Не отказывайте мнѣ, можетъ-быть, въ послѣдній разъ. Объясненіе необходимо: вѣдь вы мнѣ позволили просить у маменьки вашей руки. Послѣ того случилось много такого... что... словомъ—мнѣ надо повторить вопросъ. Сядьте и продолжайте играть: маменька лучше не услышитъ; вѣдь это не въ первый разъ...

Она машинально повиновалась: слегка краснѣя, начала брать аккорды и въ тревожномъ ожиданіи устремила на него взглядъ.

— Куда же вы ушли, Александръ Ѳедорычъ?—спросила мать, воротясь на свое мѣсто.

— Я хотѣлъ поговорить съ Надеждой Александровной о... литературѣ,—отвѣчалъ онъ.

— Ну, поговорите, поговорите: въ самомъ дѣлѣ, давно вы не говорили.

— Отвѣчайте мнѣ коротко и искренно на одинъ только вопросъ,—началъ онъ вполголоса:—и наше объясненіе сейчасъ кончится... Вы меня не любите болѣе?

— Quelle idée!—отвѣчала она, смутившись:—вы знаете, какъ maman и я цѣнили всегда вашу дружбу... какъ были всегда рады вамъ...

Адуевъ посмотрѣлъ на нее и подумалъ:—«ты ли это, капризное, но искреннее дитя? эта шалунья, рѣзвушка? Какъ скоро выучилась она притворяться? какъ быстро развились въ ней женскіе инстинкты! Ужели милые капризы были

зародышами лицемѣрія, хитрости?.. вотъ, и безъ дядиной методы, а какъ проворно эта дѣвушка образовалась въ женщину! и все въ школѣ графа, и въ какіе-нибудь два, три мѣсяца! О, дядя, дядя! и въ этомъ ты безпощадно правъ!»

— Послушайте,—сказалъ онъ такимъ голосомъ, что маска вдругъ слетѣла съ притворщицы: — оставимъ маменьку въ сторонѣ: сдѣлайтесь на минуту прежней Наденькой, когда вы немножко любили меня... и отвѣчайте прямо: мнѣ это нужно знать, ей-Богу, нужно.

Она молчала, только перемѣнила ноты и стала пристально разсматривать и разыгрывать какой-то трудный пассажъ.

— Ну, хорошо, я измѣню вопросъ,—продолжалъ Адуевъ:— скажите, не замѣнилъ ли—не назову даже кто—просто, не замѣнилъ ли кто-нибудь меня въ вашемъ сердцѣ?..

Она сняла со свѣчки и долго поправляла свѣтильню, но молчала.

— Отвѣчайте же, Надежда Александровна: одно слово избавитъ меня отъ муки, васъ—отъ непріятнаго объясненія.

— Ахъ, Боже мой, перестаньте! что я вамъ скажу? мнѣ нечего сказать!—отвѣчала она, отворачиваясь отъ него.

Другой удовольствовался бы такимъ отвѣтомъ и увидѣлъ бы, что ему не о чемъ больше хлопотать. Онъ понялъ бы все изъ этой безмолвной, мучительной тоски, написанной и на лицѣ ея, проглядывавшей и въ движеніяхъ. Но Адуеву было недовольно. Онъ, какъ палачъ, пыталъ свою жертву и самъ былъ одушевленъ какимъ-то дикимъ, отчаяннымъ желаніемъ выпить чашу разомъ и до конца.

— Нѣтъ! — говорилъ онъ: — кончите эту пытку сегодня; сомнѣнія, одного другого чернѣе, волнуютъ мой умъ, рвутъ на части сердце. Я измучился; я думаю, у меня лопнетъ грудь отъ напряженія... мнѣ нечѣмъ увѣриться въ своихъ подозрѣніяхъ; вы должны рѣшить все сами; иначе я никогда не успокоюсь.

Онъ смотрѣлъ на нее и ждалъ отвѣта. Она молчала.

— Сжальтесь надо мной!—началъ онъ опять:—посмотрите на меня: похожъ ли я на себя? всѣ пугаются меня, не узнаютъ... всѣ жалѣютъ, вы однѣ только...

Точно: глаза его горѣли дикимъ блескомъ. Онъ былъ худъ, блѣденъ, на лбу выступилъ крупный потъ.

Она украдкой бросила на него взглядъ и во взглядѣ мелькнуло что-то похожее на сожалѣніе. Она взяла его даже за руку, но тотчасъ же оставила ее со вздохомъ и все молчала.

— Что же?—спросилъ онъ.

— Ахъ, оставьте меня въ покоѣ! — сказала она съ тоской: — вы мучите меня вопросами...

— Умоляю васъ, ради Бога! — говорилъ онъ: — кончите все однимъ словомъ... Къ чему послужитъ вамъ скрытность? У меня останется глупая надежда, я не отстану, я буду ежедневно являться къ вамъ блѣдный, разстроенный... Я наведу на васъ тоску. Откажете отъ дому — стану бродить подъ окнами, встрѣчаться съ вами въ театрѣ, на улицѣ, всюду, какъ привидѣніе, какъ memento mori. Все это глупо, можетъ-быть, смѣшно, кому до смѣху,—но мнѣ больно! Вы не знаете, что̀ такое страсть, до чего она доводитъ! дай Богъ вамъ и не узнать никогда!.. Что жъ пользы? не лучше ли сказать вдругъ?

— Да о чемъ вы меня спрашиваете?—сказала Наденька, откинувшись на спинку кресла. — Я совсѣмъ растерялась... у меня голова точно въ туманѣ...

Она судорожно прижала руку ко лбу и тотчасъ же отняла.

— Я спрашиваю: замѣнилъ ли меня кто-нибудь въ вашемъ сердцѣ? одно слово — *да* или *нѣтъ* — рѣшитъ все; долго ли сказать!

Она хотѣла что-то сказать, но не могла и, потупивъ глаза, начала ударять пальцемъ по одному клавишу. Видно было, что она сильно боролась сама съ собой. «Ахъ!»

произнесла она наконецъ съ тоской. Адуевъ отеръ платкомъ лобъ.

— Да или нѣтъ?—повторилъ онъ, притаивъ дыханіе.

Прошло нѣсколько секундъ.

— Да или нѣтъ?

— Да!—прошептала Наденька чуть слышно, потомъ совсѣмъ наклонилась къ фортепіано и, какъ-будто въ забытьи, начала брать сильные аккорды.

Это *да* раздалось едва внятно, какъ вздохъ, но оно оглушило Адуева; сердце у него будто оторвалось, ноги подкосились подъ нимъ. Онъ опустился на стулъ подлѣ фортепіано и молчалъ.

Наденька боязливо взглянула на него. Онъ смотрѣлъ на нее безсмысленно.

— Александръ Ѳедорычъ! — закричала вдругъ мать изъ своей комнаты:—въ которомъ ухѣ звенитъ?

Онъ молчалъ.

— Маман васъ спрашиваетъ,—сказала Наденька.

— А?

— Въ которомъ ухѣ звенитъ? — кричала мать: — да поскорѣе!

— Въ обоихъ!—мрачно произнесъ Адуевъ.

— Экіе какіе, въ лѣвомъ! А я загадала, будетъ ли графъ сегодня.

— Графъ!—произнесъ Адуевъ.

— Простите меня! — сказала Наденька умоляющимъ голосомъ, бросившись къ нему: — я сама себя не понимаю... Это все сдѣлалось нечаянно, противъ моей воли... не знаю какъ... я не могла васъ обманывать...

— Я сдержу свое слово, Надежда Александровна,—отвѣчалъ онъ: — не сдѣлаю вамъ ни одного упрека. Благодарю васъ за искренность... вы много, много сдѣлали... сегодня... мнѣ трудно было слышать это *да*... но вамъ еще труднѣе

было сказать его... Прощайте; вы болѣе не увидите меня: одна награда за вашу искренность... но графъ, графъ!

Онъ стиснулъ зубы и пошелъ къ дверямъ.

— Да,—сказалъ онъ, воротясь:—къ чему это васъ поведетъ? Графъ на васъ не женится: какія у него намѣренія?..

— Не знаю! — отвѣчала Наденька, печально качая головой.

— Боже! какъ вы ослѣплены!—съ ужасомъ воскликнулъ Александръ.

— У него не можетъ быть дурныхъ намѣреній...—отвѣчала она слабымъ голосомъ.

— Берегитесь, Надежда Александровна!

Онъ взялъ ея руку, поцѣловалъ ее и неровными шагами вышелъ изъ комнаты. На него страшно было смотрѣть. Наденька осталась неподвижна на своемъ мѣстѣ.

— Что жъ ты не играешь, Наденька? — спросила мать черезъ нѣсколько минутъ.

Наденька очнулась какъ будто отъ тяжелаго сна и вздохнула.

— Сейчасъ, maman! — отвѣчала она и, задумчиво склонивъ голову немного на сторону, робко начала перебирать клавиши. Пальцы у ней дрожали. Она видимо страдала отъ угрызеній совѣсти и отъ сомнѣнія, брошеннаго въ нее словомъ: «берегитесь!» Когда пріѣхалъ графъ, она была молчалива, скучна; въ манерахъ ея было что-то принужденное. Она, подъ предлогомъ головной боли, рано ушла въ свою комнату. И ей въ этотъ вечеръ казалось горько жить на свѣтѣ.

Адуевъ только-что спустился съ лѣстницы, какъ силы измѣнили ему, онъ сѣлъ на послѣдней ступени, закрылъ глаза платкомъ и вдругъ началъ рыдать громко, но безъ слезъ. Въ это время мимо сѣней проходилъ дворникъ. Онъ остановился и послушалъ.

— Марѳа, а Марѳа!—закричалъ онъ, подошедши къ своей

засаленной двери: — подь-ка сюда, послушай, какъ тутъ кто-то реветъ, словно звѣрь. Я думалъ, не арапка ли наша сорвалась съ цѣпи, да нѣтъ, это не арапка.

— Нѣтъ, это не арапка!—повторила, вслушиваясь, Марѳа.—Что за диковина?

— Поди-ка, принеси фонарикъ: тамъ, за печкой виситъ.

Марѳа принесла фонарикъ.

— Все реветъ?—спросила она.

— Реветъ! Ужъ не мошенникъ ли какой забрался?

— Кто тутъ?—спросилъ дворникъ.

Нѣтъ отвѣта.

— Кто тутъ?—повторила Марѳа.

Все тотъ же ревъ. Они вошли оба вдругъ. Адуевъ бросился вонъ.

— Ахъ, да это баринъ какой-то,—сказала Марѳа, глядя ему вслѣдъ: — а ты выдумалъ: мошенникъ. Вишь вѣдь хватило ума сказать! Станетъ мошенникъ ревѣть въ чужихъ сѣняхъ!

— Ну, такъ видно хмеленъ!

— Еще лучше!— отвѣчала Марѳа: — ты думаешь всѣ въ гебя? не всѣ же пьяные ревутъ, какъ ты.

— Такъ что жъ онъ, съ голоду что ли?—съ досадой замѣтилъ дворникъ.

— Что!—говорила Марѳа, глядя на него и не зная, что сказать: — почемъ знать, можетъ, обронилъ что-нибудь — деньги...

Они оба вдругъ присѣли и начали съ фонарикомъ шарить по полу во всѣхъ углахъ.

— Обронилъ! — ворчалъ дворникъ, освѣщая полъ: — гдѣ тутъ обронить? лѣстница чистая, каменная, тутъ и иголку увидишь... обронилъ! Оно бы слышно было, кабы обронилъ: звякнетъ объ камень; чай, поднялъ бы! гдѣ тутъ обронить? негдѣ! обронилъ! какъ не обронилъ: таковскій, чтобъ обронилъ! того и гляди — обронитъ! нѣтъ: этакой, небось, самъ

норовитъ какъ бы въ карманъ положить! а то обронитъ! знаемъ мы ихъ, мазуриковъ! вотъ и обронилъ! гдѣ онъ обронилъ?

И долго еще ползали они по полу, ища потерянныхъ денегъ.

— Нѣтъ, нѣту! — сказалъ, наконецъ, дворникъ со вздохомъ, потомъ задулъ свѣчку и, сжавъ двумя пальцами свѣтильню, отеръ ихъ о тулупъ.

VI.

Въ этотъ же вечеръ, часовъ въ двѣнадцать, когда Петръ Иванычъ, со свѣчой и книгой въ одной рукѣ, а другой придерживая полу халата, шелъ изъ кабинета въ спальню ложиться спать, камердинеръ доложилъ ему, что Александръ Ѳедорычъ желаетъ съ нимъ видѣться.

Петръ Иванычъ сдвинулъ брови, подумалъ немного, потомъ покойно сказалъ:

— Проси въ кабинетъ, я сейчасъ приду.

— Здравствуй, Александръ, — привѣтствовалъ онъ, воротясь туда, племянника: — давно мы съ тобой не видались. То днемъ тебя не дождешься, а тутъ вдругъ—бацъ ночью! Что такъ поздно? Да что съ тобой? на тебѣ лица нѣтъ.

Александръ, не отвѣчая ни слова, сѣлъ въ кресла въ крайнемъ изнеможеніи. Петръ Иванычъ смотрѣлъ на него съ любопытствомъ.

Александръ вздохнулъ.

— Здоровъ ли ты?—спросилъ Петръ Иванычъ заботливо.

— Да,—отвѣчалъ Александръ слабымъ голосомъ: — двигаюсь, ѣмъ, пью, слѣдовательно здоровъ.

— Ты не шути, однако: посовѣтуйся съ докторомъ.

— Мнѣ ужъ совѣтовали и другіе, но никакіе доктора и оподельдоки не помогутъ: мой недугъ не физическій...

— Что же съ тобой? Не проигрался ли ты, или не потерялъ ли деньги?—съ живостью спросилъ Петръ Иванычъ.

— Вы никакъ не можете представить себѣ безденежнаго горя!—отвѣчалъ Александръ, стараясь улыбнуться.

— Что жъ за горе, если оно мѣднаго гроша не стоитъ, какъ иногда твое?..

— Да, вотъ какъ, напримѣръ, теперь. Вы знаете ли мое настоящее горе?

— Какое горе? Дома у тебя все обстоитъ благополучно: это я знаю изъ писемъ, которыми матушка твоя угощаетъ меня ежемѣсячно: въ службѣ ужъ ничего не можетъ быть хуже того, что было; подчиненнаго на шею посадили: это послѣднее дѣло. Ты говоришь, что ты здоровъ, денегъ не потерялъ, не проигралъ... вотъ что важно, а съ прочимъ со всѣмъ легко справиться; тамъ слѣдуетъ вздоръ, любовь, я думаю...

— Да, любовь; но знаете ли, что случилось? когда узнаете, такъ, можетъ-быть, перестанете такъ легко разсуждать, а ужаснетесь...

— Разскажи-ка; давно я не ужасался, — сказалъ дядя, садясь:—а впрочемъ, не мудрено и угадать: вѣроятно, надули...

Александръ вскочилъ, хотѣлъ что-то сказать, но ничего не сказалъ и сѣлъ на свое мѣсто.

— Что, правда? Видишь: вѣдь я говорилъ, а ты: «нѣтъ, какъ можно!»

— Можно ли было предчувствовать?.. — сказалъ Александръ:—послѣ всего...

— Надо было не предчувствовать, а предвидѣть, то-есть знать—это вѣрнѣе—да и дѣйствовать такъ.

— Вы такъ покойно можете разсуждать, дядюшка, когда я...—сказалъ Александръ.

— Да мнѣ-то что?

— Я и забылъ: вамъ хоть весь городъ сгори или провались—все равно!

— Слуга покорный! а заводъ?

— Вы шутите, а я страдаю, не шутя; мнѣ тяжело, я точно боленъ.

— Да неужли ты отъ любви такъ похудѣлъ? Какой срамъ! Нѣтъ: ты былъ боленъ, а теперь начинаешь выздоравливать, да и пора! шутка ли, года полтора тянется глупость. Еще немного, такъ, пожалуй, и я бы повѣрилъ неизмѣнной и вѣчной любви.

— Дядюшка!—сказалъ Александръ:—пощадите меня: теперь адъ въ моей душѣ...

— Да! такъ что же?

Александръ подвинулъ свои кресла къ столу, а дядя началъ отодвигать отъ племянника чернильницу, presse-papier и прочее.

«Пришелъ ночью,» подумалъ онъ: «въ душѣ адъ... непремѣнно опять разобьетъ что-нибудь».

— Утѣшенія я у васъ не найду, да и не требую,—началъ Александръ: — я прошу вашей помощи, какъ у дяди, какъ у родственника... Я кажусь вамъ глупъ—не правда ли?

— Да, если бъ ты не былъ жалокъ.

— Такъ вамъ жаль меня?

— Очень. Развѣ я дерево? Малый добрый, умный, порядочно воспитанный, а пропадаетъ ни за копейку—и отчего? отъ пустяковъ!

— Докажите же, что вамъ жаль меня.

— Чѣмъ же? Денегъ, ты говоришь, не нужно...

— Денегъ, денегъ! о, если бъ мое несчастіе было только въ безденежьи, я бы благословилъ свою судьбу!

— Не говори этого, — серьезно замѣтилъ Петръ Иванычъ:—ты молодъ—проклянешь, а не благословишь судьбу! Я, бывало, не разъ проклиналъ—я!

— Выслушайте же меня терпѣливо...

— Ты долго пробудешь, Александръ?—спросилъ дядя.

— Да, мнѣ нужно все ваше вниманіе; а что?

— Такъ вотъ видишь ли: мнѣ хочется поужинать. Я-было

собрался спать безъ ужина, а теперь, если просидимъ долго, такъ поужинаемъ, да выпьемъ бутылку вина, а между тѣмъ ты мнѣ все разскажешь.

— Вы можете ужинать? — спросилъ Александръ съ удивленіемъ.

— Да, и очень могу; а ты развѣ не станешь?

— Я — ужинать! да и вы не проглотите куска, когда узнаете, что дѣло идетъ о жизни и смерти.

— О жизни и смерти?.. — повторилъ дядя:— да, это, конечно, очень важно, а впрочемъ попробуемъ, авось проглотимъ.

Онъ позвонилъ.

— Спроси,—сказалъ онъ вошедшему камердинеру:—что тамъ есть поужинать, да вели достать бутылку лафиту, за зеленой печатью.

Камердинеръ ушелъ.

— Дядюшка! вы не въ такомъ расположеніи духа, чтобъ слушать печальную повѣсть моего горя, — сказалъ Александръ, взявши шляпу:—я лучше приду завтра...

— Нѣтъ, нѣтъ, ничего, — живо заговорилъ Петръ Иванычъ, удерживая племянника за руку:—я всегда въ одномъ расположеніи духа. Завтра, того гляди, тоже застанешь за завтракомъ, или еще хуже—за дѣломъ. Лучше ужъ кончимъ разомъ. Ужинъ не портитъ дѣла. Я еще лучше выслушаю и пойму. На голодный желудокъ, знаешь, оно неловко...

Принесли ужинъ.

— Что же, Александръ, давай...—сказалъ Петръ Иванычъ.

— Да я не хочу, дядюшка, ѣсть!—сказалъ съ нетерпѣніемъ Александръ и пожалъ плечами, глядя, какъ дядя хлопоталъ надъ ужиномъ.

— По крайней мѣрѣ хоть выпей рюмку вина: вино недурно!

Александръ потрясъ отрицательно головой.

— Ну, такъ возьми сигару да разсказывай, а я буду

слушать обоими ушами, — сказалъ Петръ Иванычъ и живо принялся ѣсть.

— Вы знаете графа Новинскаго?—спросилъ Александръ, помолчавъ.

— Графа Платона?

— Да.

— Пріятели; а что?

— Поздравляю васъ съ такимъ пріятелемъ—подлецъ!

Петръ Иванычъ вдругъ пересталъ жевать и съ удивленіемъ посмотрѣлъ на племянника.

— Вотъ тебѣ на!—сказалъ онъ:—а ты развѣ знаешь его?

— Очень хорошо.

— Давно ли?

— Мѣсяца три.

— Какъ же такъ? Я лѣтъ пять его знаю и все считалъ порядочнымъ человѣкомъ, да и отъ кого ни послышишь—всѣ хвалятъ, а ты вдругъ такъ уничтожилъ его.

— Давно ли вы стали защищать людей, дядюшка? а прежде бывало...

— Я и прежде защищалъ порядочныхъ людей. А ты давно ли сталъ бранить ихъ, пересталъ называть ангелами?

— Пока не зналъ, а теперь... о, люди, люди, *жалкій родъ, достойный слезъ и смѣха!* Сознаюсь, кругомъ виноватъ, что не слушалъ васъ, когда вы совѣтовали остерегаться всякаго...

— И теперь посовѣтую; остерегаться не мѣшаетъ: если окажется негодяй — не обманешься, а порядочный человѣкъ—пріятно ошибешься.

— Укажите, гдѣ порядочные люди?—говорилъ Александръ съ презрѣніемъ.

— Вотъ хоть мы съ тобой—чѣмъ не порядочные? Графъ, если ужъ о немъ зашла рѣчь, тоже порядочный человѣкъ; да мало ли? у всѣхъ есть что-нибудь дурное... а не все дурно и не всѣ дурны.

— Всѣ, всѣ!—рѣшительно сказалъ Александръ.

— А ты?

— Я? я, по крайней мѣрѣ, унесу изъ толпы разбитое, но чистое отъ низостей сердце, душу растерзанную, но безъ упрека во лжи, въ притворствѣ, въ измѣнѣ, не заражусь...

— Ну, хорошо, посмотримъ. Что же сдѣлалъ тебѣ графъ?

— Что сдѣлалъ? похитилъ все у меня.

— Говори опредѣлительнѣе. Подъ словомъ *все* можно разумѣть Богъ знаетъ что, пожалуй деньги: онъ этого не сдѣлаетъ...

— То, что для меня дороже всѣхъ сокровищъ въ мірѣ,— сказалъ Александръ.

— Что жъ бы это такое было?

— Все—счастье, жизнь.

— Вѣдь ты живъ!

— Къ сожалѣнію—да! Но эта жизнь хуже ста смертей.

— Скажи же прямо, что̀ случилось?

— Ужасно!—воскликнулъ Александръ.—Боже! Боже!

— Э! да не отбилъ ли онъ у тебя твою красавицу, эту... какъ ее? да! онъ мастеръ на это: тебѣ трудно тягаться съ нимъ. Повѣса! повѣса!—сказалъ Петръ Иванычъ, положивъ въ ротъ кусокъ индѣйки.

— Онъ дорого заплатитъ за свое мастерство! — сказалъ Александръ, вспыхнувъ:—я не уступлю безъ спора... Смерть рѣшитъ, кому изъ насъ владѣть Наденькой. Я истреблю этого пошлаго волокиту! не жить ему, не наслаждаться похищеннымъ сокровищемъ... Я сотру его съ лица земли!..

Петръ Иванычъ засмѣялся.

— Провинція! — сказалъ онъ: — à propos о графѣ, Александръ: — онъ не говорилъ, привезли ли ему изъ-за границы фарфоръ! Онъ весной выписывалъ партію: хотѣлось бы взглянуть...

— Не о фарфорѣ рѣчь, дядюшка; вы слышали, что я сказалъ?—грозно перебилъ Александръ.

— Мм-мъ!—промычалъ утвердительно дядя, обгладывая косточку.

— Что же вы скажете?

— Да ничего. Я слушаю, что ты говоришь.

— Выслушайте хоть разъ въ жизни внимательно: я прищелъ за дѣломъ, я хочу успокоиться, разрѣшить милліонъ мучительныхъ вопросовъ, которые волнуютъ меня... я растерялся... не помню самъ себя, помогите мнѣ...

— Изволь, я къ твоимъ услугамъ; скажи только, что нужно... я даже готовъ деньгами... если только не на пустяки...

— Пустяки! нѣтъ, не пустяки, когда, можетъ-быть, черезъ нѣсколько часовъ меня не станетъ на свѣтѣ, или я сдѣлаюсь убійцей... а вы смѣетесь, хладнокровно ужинаете.

— Прошу покорно! самъ, я думаю, наужинался, а другой не ужинай!

— Я двое сутокъ не знаю, что такое ѣсть.

— О, это въ самомъ дѣлѣ что-нибудь важное?

— Скажите одно слово: окажете ли вы мнѣ величайшую услугу?

— Какую?

— Согласитесь ли вы быть моимъ свидѣтелемъ?..

— Котлеты совсѣмъ холодныя! — замѣтилъ Петръ Иванычъ съ неудовольствіемъ, отодвигая отъ себя блюдо.

— Вы смѣетесь, дядюшка?

— Самъ посуди, какъ слушать серьезно такой вздоръ: зоветъ въ секунданты!

— Что же вы?

— Разумѣется что: не пойду.

— Хорошо; найдется другой, посторонній, кто приметъ участіе въ моей горькой обидѣ. Вы только возьмите на себя трудъ поговорить съ графомъ, узнать условія...

— Не могу: у меня языкъ не поворотится предложить ему такую глупость.

— Такъ прощайте!—сказалъ Александръ, взявъ шляпу.

— Что! ужъ ты идешь? вина не хочешь выпить?..

Александръ пошелъ-было къ дверямъ, но у дверей сѣлъ на стулъ въ величайшемъ унынiи.

— Къ кому пойти, въ комъ искать участiя?.. — сказалъ онъ тихо.

— Послушай, Александръ! — началъ Петръ Иванычъ, отирая салфеткой ротъ и подвигая къ племяннику кресло:— я вижу, что съ тобой точно надо поговорить, не шутя. Поговоримъ же. Ты пришелъ ко мнѣ за помощью: я помогу тебѣ, только иначе, нежели какъ ты думаешь, и съ уговоромъ — слушаться. Не зови никого въ свидѣтели: проку не будетъ. Изъ пустяковъ сдѣлаешь исторiю, она разнесется вездѣ, тебя осмѣютъ или, еще хуже, сдѣлаютъ непрiятность. Никто не пойдетъ, а если, наконецъ, найдется какой-нибудь сумасшедшiй, такъ все напрасно: графъ не станетъ драться; я его знаю.

— Не станетъ! такъ въ немъ нѣтъ ни капли благородства!—со злостью замѣтилъ Александръ:—я не полагалъ, чтобъ онъ былъ низокъ до такой степени!

— Онъ не низокъ, только уменъ.

— Такъ, по вашему мнѣнiю, я глупъ?

— Н...нѣтъ, влюбленъ,—сказалъ Петръ Иванычъ съ разстановкой.

— Если вы, дядюшка, намѣрены объяснять мнѣ безсмысленность дуэли, какъ предразсудка, то я предупреждаю васъ—это напрасный трудъ: я останусь твердъ.

— Нѣтъ: это ужъ давно доказано, что драться — глупость вообще; да все дерутся; мало лиословъ? ихъ не вразумишь. Я хочу только доказать, что тебѣ именно драться не слѣдуетъ.

— Любопытно, какъ вы убѣдите меня.

— Вотъ послушай. Скажи-ка, ты на кого особенно сердитъ, на графа или на нее... какъ ее... Анюта, что ли?

— Я его ненавижу, ее презираю,—сказалъ Александръ.

— Начнемъ съ графа: положимъ, онъ приметъ твой вызовъ, положимъ даже, что ты найдешь дурака-свидѣтеля—что жъ изъ этого? Графъ убьетъ тебя, какъ муху, а послѣ надъ тобой же всѣ будутъ смѣяться; хорошо мщеніе! А ты вѣдь не этого хочешь: тебѣ бы вонъ хотѣлось истребить графа.

— Неизвѣстно, кто кого убьетъ,—сказалъ Александръ.

— Навѣрное онъ тебя. Ты вѣдь, кажется, вовсе стрѣлять не умѣешь, а по правиламъ, первый выстрѣлъ—его.

— Тутъ рѣшитъ Божій судъ.

— Ну, такъ воля твоя — онъ рѣшитъ въ его пользу. Графъ, говорятъ, въ пятнадцати шагахъ пулю въ пулю такъ и сажаетъ, а для тебя, какъ нарочно, и промахнется! Положимъ даже, что судъ Божій и попустилъ бы такую неловкость и несправедливость: ты бы какъ-нибудь ненарочно и убилъ его — что жъ толку? развѣ ты этимъ воротилъ бы любовь красавицы? Нѣтъ, она бы тебя возненавидѣла, да притомъ тебя бы отдали въ солдаты... А главное, ты бы на другой же день сталъ рвать на себѣ волосы съ отчаянія и тотчасъ охладѣлъ бы къ своей возлюбленной...

Александръ презрительно пожалъ плечами.

— Вы такъ ловко разсуждаете объ этомъ, дядюшка,—сказалъ онъ: — разсудите же, что мнѣ дѣлать въ моемъ положеніи?

— Ничего! оставить дѣло такъ: оно ужъ испорчено.

— Оставить счастье въ его рукахъ, оставить его гордымъ обладателемъ... о! можетъ ли остановить меня какая-нибудь угроза? Вы не знаете моихъ мученій! вы не любили никогда, если думали помѣшать мнѣ этой холодной моралью... въ вашихъ жилахъ течетъ молоко, а не кровь...

— Полно дичь пороть, Александръ! мало ли на свѣтѣ такихъ, какъ твоя—Марья или Софья, что ли, какъ ее?

— Ее зовутъ Надеждой.

— Надежда? а какая же Софья?

— Софья... это въ деревнѣ,—сказалъ Александръ нехотя.

— Видишь ли? — продолжалъ дядя: — тамъ Софья, тутъ Надежда, въ другомъ мѣстѣ Марья. Сердце — преглубокій колодезь: долго не дощупаешься дна. Оно любитъ до старости...

— Нѣтъ, сердце любитъ однажды...

— И ты повторяешь слышанное отъ другихъ! Сердце любитъ до тѣхъ поръ, пока не истратитъ своихъ силъ. Оно живетъ своею жизнію и такъ же, какъ и все въ человѣкѣ, имѣетъ свою молодость и старость. Не удалась одна любовь, оно только замираетъ, молчитъ до другой; въ другой помѣшали, разлучили — способность любить опять останется неупотребленной до третьяго, до четвертаго раза, до тѣхъ поръ, пока, наконецъ, сердце не положитъ всѣхъ силъ своихъ въ одной какой-нибудь счастливой встрѣчѣ, гдѣ ничто не мѣшаетъ, а потомъ медленно и постепенно охладѣетъ. Инымъ любовь удалась съ перваго раза, вотъ они и кричатъ, что можно любить только однажды. Пока человѣкъ не старъ, здоровъ...

— Вы все, дядюшка, говорите о молодости, слѣдовательно о матеріальной любви...

— О молодости говорю, потому что старческая любовь есть ошибка, уродливость. И что̀ за матеріальная любовь? Такой любви нѣтъ, или это не любовь, такъ точно, какъ нѣтъ одной идеальной. Въ любви равно участвуютъ и душа, и тѣло; въ противномъ случаѣ любовь неполна: мы не духи и не звѣри. Самъ же говоришь «течетъ въ жилахъ молоко, а не кровь».—Ну, такъ вотъ видишь ли: съ одной стороны возьми кровь въ жилахъ—это матеріальное, съ другой—самолюбіе, привычку — это духовное; вотъ тебѣ и любовь! На чемъ я остановился... да! въ солдаты: кромѣ того, послѣ этой исторіи, красавица тебя на глаза къ себѣ не пуститъ.

Ты попустому повредилъ бы и ей, и себѣ, — видишь ли? Надѣюсь, этотъ вопросъ мы съ одной стороны обработали окончательно. Теперь...

Петръ Иванычъ налилъ себѣ вина и выпилъ.

— Экой болванъ!—сказалъ онъ:—подалъ холодный лафитъ.

Александръ смолчалъ, поникнувъ головой.

— Теперь скажи, — продолжалъ дядя, грѣя стаканъ съ виномъ въ обѣихъ рукахъ:—за что ты хотѣлъ стереть графа съ лица земли.

— Я ужъ сказалъ вамъ за что! не онъ ли уничтожилъ мое блаженство? Онъ, какъ дикій звѣрь, ворвался...

— Въ овчарню!—перебилъ дядя.

— Похитилъ все,—продолжалъ Александръ.

— Онъ не похитилъ, а пришелъ да и взялъ. Развѣ онъ обязанъ былъ справляться, занята ли твоя красавица, или нѣтъ? Я не понимаю этой глупости, которую, правду сказать, бо́льшая часть любовниковъ дѣлаютъ отъ сотворенія міра до нашихъ временъ: сердиться на соперника! можетъ ли быть что-нибудь безсмысленнѣй — *стереть его съ лица земли!* за что? за то, что онъ понравился! какъ будто онъ виноватъ и какъ будто отъ этого дѣла пойдутъ лучше, если мы его накажемъ! А твоя... какъ ее! Катенька, что ли, развѣ противилась ему? сдѣлала какое-нибудь усиліе, чтобъ избѣжать опасности? Она сама отдалась, перестала любить тебя, нечего и спорить—не воротишь! — А настаивать—это эгоизмъ! Требовать вѣрности отъ жены — тутъ есть еще смыслъ: тамъ заключено обязательство; отъ этого зависитъ часто существенное благосостояніе семейства; да и то нельзя требовать, чтобъ она никого не любила... а можно только требовать, чтобъ она... того... Да и ты самъ не отдалъ ли ее графу обѣими руками? оспаривалъ ли ты ее?

— Вотъ я и хочу оспаривать, — сказалъ Александръ, вскочивъ съ мѣста:—а вы останавливаете мой благородный порывъ...

— Оспаривать съ дубиной въ рукахъ!—перебилъ дядя:— мы не въ киргизской степи. Въ образованномъ мірѣ есть другое орудіе. За это надо было взяться во-время и иначе, вести съ графомъ дуэль другого рода, въ глазахъ твоей красавицы.

Александръ смотрѣлъ въ недоумѣніи на дядю.

— Какую же дуэль?—спросилъ онъ.

— А вотъ сейчасъ скажу. Ты какъ дѣйствовалъ до сихъ поръ?

Александръ, со множествомъ околичностей, смягченій, изворотовъ, кое-какъ, съ ужимками, разсказалъ весь ходъ дѣла.

— Видишь ли? самъ во всемъ кругомъ виноватъ,— примолвилъ Петръ Иванычъ, выслушавъ и сморщившись: — сколько глупостей надѣлано! Эхъ, Александръ, принесла тебя сюда нелегкая! стоило за этимъ ѣздить? Ты бы могъ все это продѣлать тамъ, у себя, на озерѣ, съ теткой. Ну, какъ можно такъ ребячиться, дѣлать сцены... бѣситься? фи! Кто нынче это дѣлаетъ? Что если твоя... какъ ее? Юлія... разскажетъ все графу? Да нѣтъ, этого опасаться нечего, слава Богу! Она вѣрно такъ умна, что на вопросъ его о вашихъ отношеніяхъ сказала...

— Что сказала?—поспѣшно спросилъ Александръ.

— Что дурачила тебя, что ты былъ влюбленъ, что ты противный, надоѣлъ ей... какъ это онѣ всегда дѣлаютъ...

— Вы думаете, что она... такъ и... сказала? — спросилъ Александръ, блѣднѣя.

— Безъ всякаго сомнѣнія. Неужели ты воображаешь, что она разскажетъ, какъ вы тамъ въ саду сбирали желтые цвѣты? Какая простота!

— Какая же дуэль съ графомъ?—съ нетерпѣніемъ спросилъ Александръ.

— А вотъ какая: не надо было грубіянить, избѣгать его и дѣлать ему гримасы, а, напротивъ, отвѣчать на его лю-

безность вдвое, втрое, вдесятеро, а... эту, какъ ее? Наденьку? кажется, попалъ? не раздражать упреками, снисходить къ ея капризамъ, показывать видъ, что не замѣчаешь ничего, что даже у тебя и предположенія объ измѣнѣ нѣтъ, какъ о дѣлѣ невозможномъ. Не надо было допускать ихъ сближаться до короткости, а разстраивать искусно, какъ будто ненарочно, ихъ свиданія съ-глазу-на-глазъ, быть всюду вмѣстѣ, ѣздить съ ними даже верхомъ, и между тѣмъ, тихомолкомъ вызывать, въ глазахъ ея, соперника на бой, и тутъ-то снарядить и двинуть впередъ всѣ силы своего ума, устроить главную батарею изъ остроумія, хитрости да и того... открывать и поражать слабыя стороны соперника такъ какъ-будто нечаянно, безъ умысла, съ добродушіемъ, даже нехотя, съ сожалѣніемъ, и мало-по-малу снять съ него эту драпировку, въ которой молодой человѣкъ рисуется передъ красавицей. Надо было замѣтить, что ее поражаетъ и ослѣпляетъ болѣе всего въ немъ, и тогда искусно нападать на эти стороны, объяснить ихъ просто, представлять въ обыкновенномъ видѣ, показать, что новый герой... такъ себѣ... и только для нея надѣлъ праздничный нарядъ... Но все это дѣлать съ хладнокровіемъ, съ терпѣньемъ, съ умѣньемъ—вотъ настоящая дуэль въ нашемъ вѣкѣ! Да гдѣ тебѣ!

Петръ Иванычъ выпилъ при этомъ стаканъ и тотчасъ опять налилъ вина.

— Презрѣнныя хитрости! прибѣгать къ лукавству, чтобъ овладѣть сердцемъ женщины!..—съ негодованіемъ замѣтилъ Александръ.

— А къ дубинѣ прибѣгаешь: развѣ это лучше? Хитростью можно удержать за собой чью-нибудь привязанность: а силой—не думаю. Желаніе удалить соперника мнѣ понятно: тутъ хлопочешь изъ того, чтобъ сберечь себѣ любимую женщину, предупреждаешь или отклоняешь опасность—очень натурально! но бить его за то, что онъ внушилъ любовь

къ себѣ—это все равно, что ушибиться и потомъ ударить то мѣсто, о которое ушибся, какъ дѣлаютъ дѣти. Воля твоя. а графъ не виноватъ! Ты, какъ я вижу, ничего не смыслишь въ сердечныхъ тайнахъ, оттого твои любовныя дѣла и повѣсти такъ плохи.

— Любовныя дѣла!—сказалъ Александръ, качая съ презрѣніемъ головой:—но развѣ лестна и прочна любовь, внушенная хитростью?

— Не знаю, лестна ли, это какъ кто хочетъ, по мнѣ все равно: я вообще о любви невысокаго мнѣнія—ты это знаешь; мнѣ хоть ея и не будь совсѣмъ... но что прочнѣе—такъ это правда. Съ сердцемъ напрямикъ дѣйствовать нельзя. Это мудреный инструментъ: не знай, которую пружину тронуть, такъ она заиграетъ Богъ знаетъ что. Внуши чѣмъ хочешь любовь, а поддерживай умомъ. Хитрость—это одна сторона ума; презрѣннаго тутъ ничего нѣтъ. Не нужно унижать соперника и прибѣгать къ клеветѣ: этимъ вооружишь красавицу противъ себя... надо только стряхнуть съ него тѣ блёстки, которыми онъ ослѣпляетъ глаза твоей возлюбленной, сдѣлать его передъ ней простымъ, обыкновеннымъ человѣкомъ, а не героемъ... Я думаю, простительно защищать свое добро благородной хитростью; ею и въ военномъ дѣлѣ не пренебрегаютъ. Вотъ ты жениться хотѣлъ: хорошъ былъ бы мужъ, если бъ сталъ дѣлать сцены женѣ, а соперникамъ показывать дубину—и былъ бы того...

Петръ Ивановичъ показалъ рукою на лобъ.

— Твоя Варенька была на двадцать процентовъ умнѣе тебя, когда предложила подождать годъ.

— Да могъ ли бы я хитрить, если бъ и умѣлъ? Для этого надо не такъ любить, какъ я. Иные притворяются подчасъ холодными, не являются по расчету нѣсколько дней—и это дѣйствуетъ... А я! притворяться, разсчитывать! когда, при взглядѣ на нее, у меня занимался духъ и колѣни дро-

жали и гнулись подо мной, когда я готовъ былъ на всѣ муки, лишь бы видѣть ее... Нѣтъ! что ни говорите, а для меня больше упоенія—любить всѣми силами души, хоть и страдать, нежели быть любимымъ, не любя, или любя какъ-то вполовину, для забавы, по отвратительной системѣ, и играть съ женщиной, какъ съ комнатной собачонкой, а потомъ оттолкнуть...

Петръ Иванычъ пожалъ плечами.

— Ну, такъ вотъ и страдай, если тебѣ сладко,—сказалъ онъ. — О, провинція! о, Азія! На Востокѣ бы тебѣ жить: тамъ еще приказываютъ женщинамъ, кого любить; а не слушаютъ, такъ ихъ топятъ. Нѣтъ, здѣсь,—продолжалъ онъ, какъ будто самъ съ собой: — чтобъ быть счастливымъ съ женщиной, то-есть не по-твоему, какъ сумасшедшіе, а разумно,—надо много условій... надо умѣть образовать изъ дѣвушки женщину по обдуманному плану, по методѣ, если хочешь, чтобъ она поняла и исполнила свое назначеніе. Надо очертить ее магическимъ кругомъ, не очень тѣсно, чтобъ она не замѣтила границъ и не переступила ихъ, хитро овладѣть не только ея сердцемъ—это что! это скользкое и непрочное обладаніе, а умомъ, волей, подчинить ея вкусъ и нравъ своему, чтобъ она смотрѣла на вещи черезъ тебя, думала твоимъ умомъ...

— То-есть, сдѣлать ее куклой, или безмолвной рабой мужа!—перебилъ Александръ.

— Зачѣмъ? Устрой такъ, чтобъ она не измѣнила ни въ чемъ женскаго характера и достоинства. Предоставь ей свободу дѣйствій въ ея сферѣ, но пусть за каждымъ ея движеніемъ, вздохомъ, поступкомъ наблюдаетъ твой проницательный умъ, чтобъ каждое мгновенное волненіе, вспышка, зародышъ чувства, всегда и всюду встрѣчали, снаружи равнодушный, но не дремлющій глазъ мужа. Учреди постоянный контроль безъ всякой тиранніи... да искусно, незамѣтно отъ нея, и веди ее желаемымъ путемъ... О, нужна

мудреная и тяжелая школа, и эта школа—умный и опытный мужчина—вотъ въ чемъ штука!

Онъ значительно кашлянулъ и залпомъ выпилъ стаканъ.

— Тогда, — продолжалъ онъ: — мужъ можетъ спать покойно, когда жена и не подлѣ него, или сидѣть беззаботно въ кабинетѣ, когда она спитъ...

— А! вотъ онъ, знаменитый секретъ супружескаго счастья!—замѣтилъ Александръ:—обманомъ приковать къ себѣ умъ, сердце, волю женщины—и утѣшаться, гордиться этимъ... это счастье! А какъ она замѣтитъ?

— Зачѣмъ гордиться?—промолвилъ дядя:—это не нужно!

— Смотря по тому, дядюшка,—продолжалъ Александръ:—какъ вы беззаботно сидите въ кабинетѣ, когда тетушка почиваетъ, я догадываюсь, что этотъ мужчина...

— Тс! тс!.. молчи, — заговорилъ дядя, махая рукой: — хорошо, что жена спитъ, а то... того...

Въ это время дверь въ кабинетъ начала потихоньку отворяться, но никто не показывался.

— А жена должна,—заговорилъ женскій голосъ изъ коридора:—не показывать вида, что понимаетъ великую школу мужа и завести маленькую свою, но не болтать о ней за бутылкой вина...

Оба Адуевы бросились къ дверямъ, но въ коридорѣ раздались быстрые шаги, шорохъ платья—и все утихло.

Дядя и племянникъ посмотрѣли другъ на друга.

— Что, дядюшка?—спросилъ племянникъ, помолчавъ.

— Что! ничего! — сказалъ Петръ Иванычъ, нахмуривъ брови:—некстати похвастался. Учись, Александръ, а лучше не женись, или возьми дуру: тебѣ не сладить съ умной женщиной: мудрена школа!

Онъ задумался, потомъ ударилъ себя по лбу рукой.

— Какъ не сообразить, что она знала о твоемъ позднемъ приходѣ?—сказалъ онъ съ досадой:—что женщина не уснетъ, когда черезъ комнату есть секретъ между двумя мужчинами,

что она непремѣнно, или горничную подошлетъ, или сама... и не предвидѣть! глупо! а все ты да вотъ этотъ проклятый стаканъ лафиту! разболтался! Такой урокъ отъ двадцатилѣтней женщины...

— Вы боитесь, дядюшка!

— Чего бояться? нисколько! сдѣлалъ ошибку—не надо терять хладнокровія, надо умѣть выпутаться.

Онъ опять задумался.

— Она похвасталась,—началъ онъ потомъ:—какая у ней школа! у ней школы быть не могло: молода! это она такъ только... отъ досады! но теперь она замѣтила этотъ магическій кругъ, станетъ тоже хитрить... о, я знаю женскую натуру! Но посмотримъ...

Онъ гордо и весело улыбнулся; морщины разгладились на лбу.

— Только надо иначе повести дѣло,—прибавилъ онъ:—прежняя метода ни къ чорту не годится. Теперь надо...

Онъ вдругъ спохватился и замолчалъ, боязливо поглядывая на дверь.

— Но это все впереди,—продолжалъ онъ:—теперь займемся твоимъ дѣломъ, Александръ. О чемъ мы говорили? да! ты, кажется, хотѣлъ убить что ли свою, эту... какъ ее?

— Я ее слишкомъ глубоко презираю,—сказалъ Александръ, тяжело вздохнувъ.

— Вотъ видишь ли? ты ужъ вполовину и вылѣченъ. Только правда ли это? ты, кажется, еще сердишься. Впрочемъ, презирай, презирай: это самое лучшее въ твоемъ положеніи. Я хотѣлъ-было сказать кое-что... да нѣтъ...

— Ахъ, говорите, ради Бога, говорите!—сказалъ Александръ:—у меня нѣтъ теперь ни искры разсудка. Я страдаю, гибну... дайте мнѣ своего холоднаго разума. Скажите все, что можетъ облегчить и успокоить больное сердце...

— Да, скажи тебѣ—ты, пожалуй, и опять воротишься туда...

— Какая мысль! послѣ того...

— Ворочаются послѣ и не этого! честное слово — не пойдешь?

— Клятву, если угодно.

— Нѣтъ, честное слово: это вѣрнѣе.

— Честное слово.

— Ну, вотъ видишь ли: мы рѣшили, что графъ не виноватъ...

— Положимъ такъ; что же?

— Ну, а чѣмъ виновата твоя эта... какъ ее?

— Чѣмъ виновата Наденька!—съ изумленіемъ возразилъ Александръ:—она не виновата!

— Нѣтъ! ну, чѣмъ, скажи? ее не за что презирать.

— Не за что! нѣтъ, дядюшка, это ужъ изъ рукъ вонъ! Положимъ, графъ... еще такъ... онъ не зналъ... да и то нѣтъ! а она? кто же послѣ этого виноватъ? я?

— Да почти такъ, а въ самомъ-то дѣлѣ никто. Скажи, за что ты ее презираешь?

— За низкій поступокъ.

— Въ чемъ же онъ состоитъ?

— Заплатить неблагодарностью за высокую, безграничную страсть...

— За что тутъ благодарить? развѣ ты для нея, изъ угожденія къ ней любилъ? хотѣлъ услужить ей, что ли? такъ для этого ты бы лучше мать полюбилъ.

Александръ глядѣлъ на него и не зналъ, что сказать.

— Ты бы не долженъ былъ обнаруживать передъ ней чувства во всей силѣ: женщина охлаждается, когда мужчина выскажется весь... Ты бы долженъ былъ узнать ея характеръ, да и дѣйствовать сообразно этому, а не лежать, какъ собачонка у ногъ. Какъ это не узнать компаніона, съ которымъ имѣешь какое бы то ни было дѣло? Ты бы разглядѣлъ тогда, что отъ нея больше и ожидать нельзя. Она разыграла свой романъ съ тобой до конца, точно такъ

же разыграетъ его и съ графомъ и, можетъ-быть, еще съ кѣмъ-нибудь... больше отъ нея требовать нельзя: выше и дальше ей нейти! это не такая натура; а ты вообразилъ себѣ Богъ знаетъ что...

— Но зачѣмъ же она полюбила другого? — съ горестью перебилъ Александръ.

— Вотъ вина-то гдѣ: умный вопросъ! Ахъ, ты дикарь! А зачѣмъ ты ее полюбилъ? Ну, разлюби поскорѣе!

— Развѣ это отъ меня зависитъ?

— А развѣ отъ нея зависѣло полюбить графа? Самъ же твердилъ, что не надо стѣснять порывовъ чувства, а какъ дѣло дошло до самого, такъ зачѣмъ полюбила! Зачѣмъ такой-то умеръ, такая-то съ ума сошла? — какъ отвѣчать на такіе вопросы? Любовь должна же кончиться когда-нибудь: она не можетъ продолжаться вѣкъ.

— Нѣтъ, можетъ. Я чувствую въ себѣ эту силу сердца: я бы любилъ вѣчною любовью...

— Да! а полюби тебя покрѣпче, такъ и того... на попятный дворъ! всѣ такъ, знаю я!

— Пусть бы кончилась ея любовь,—сказалъ Александръ:— но зачѣмъ она кончилась такъ?..

— Не все ли равно? вѣдь тебя любили, ты наслаждался — и довольно!

— Отдалась другому!—говорилъ Александръ, блѣднѣя.

— А ты бы хотѣлъ, чтобъ она любила тихонько другого, а тебя продолжала увѣрять въ любви? Ну, ты самъ рѣши, что̀ ей дѣлать, виновата ли она?

— О, я отмщу ей!—сказалъ Александръ.

— Ты неблагодаренъ, — продолжалъ Петръ Иванычъ: — это дурно! Что бы женщина ни сдѣлала съ тобой, измѣнила, охладѣла, поступила, какъ говорятъ въ стихахъ, *коварно*, — вини природу, предавайся, пожалуй, по этому случаю, философскимъ размышленіямъ, брани міръ, жизнь, что хочешь, но никогда не посягай на личность женщины ни

словомъ, ни дѣломъ. Оружіе противъ женщины — снисхожденіе, наконецъ, самое жестокое — забвеніе! только это и позволяется порядочному человѣку. Вспомни, что полтора года ты вѣшался всѣмъ на шею отъ радости, не зналъ куда дѣваться отъ счастья! полтора года безпрерывныхъ удовольствій! воля твоя—ты неблагодаренъ!

— Ахъ, дядюшка, для меня не было ничего на землѣ святѣе любви:—безъ нея жизнь не жизнь...

— А! — съ досадой перебилъ Петръ Иванычъ: — тошно слушать такой вздоръ!

— Я боготворилъ бы Наденьку, — продолжалъ Александръ: — и не позавидовалъ бы никакому счастью въ мірѣ: съ Наденькой мечталъ я провести всю жизнь—и что же? гдѣ эта благородная, колоссальная страсть, о которой я мечталъ? она разыгралась въ какую-то глупую, пигмеевскую комедію вздоховъ, сценъ, ревности, лжи, притворства— Боже! Боже!

— Зачѣмъ же ты воображалъ, чего не бываетъ? Не я ли твердилъ тебѣ, что ты до сихъ поръ хотѣлъ жить такою жизнію, какой нѣтъ? У человѣка, по-твоему, только и дѣла, чтобъ быть любовникомъ, мужемъ, отцомъ... а о другомъ ни о чемъ и знать не хочешь. Человѣкъ, сверхъ того, еще и гражданинъ, имѣетъ какое-нибудь званіе, занятіе—писатель что ли, помѣщикъ, солдатъ, чиновникъ, заводчикъ... А у тебя все это заслоняетъ любовь да дружба... что за Аркадія! Начитался романовъ, наслушался своей тетушки тамъ, въ глуши, и пріѣхалъ съ этими понятіями сюда. Выдумалъ еще—*благородную страсть!*

— Да, благородную!

— Полно, пожалуйста! развѣ есть благородныя страсти?

— Какъ?

— Да такъ. Вѣдь страсть, значитъ, когда чувство, влеченіе, привязанность или что-нибудь такое — достигло до той степени, гдѣ ужъ перестаетъ дѣйствовать разсудокъ?

Ну, что жъ тутъ благороднаго? я не понимаю; одно сумасшествіе — это не по-человѣчески. Да и зачѣмъ ты берешь одну только сторону медали? я говорю про любовь — ты возьми и другую и увидишь, что любовь не дурная вещь. Вспомни-ка счастливыя минуты: ты мнѣ уши прожужжалъ...

— О, не напоминайте, не напоминайте! — говорилъ Александръ, махая рукой: — вамъ хорошо такъ разсуждать, потому что вы увѣрены въ любимой вами женщинѣ; я бы желалъ посмотрѣть, что бы вы сдѣлали на моемъ мѣстѣ?..

— Что бы сдѣлалъ?.. поѣхалъ бы разсѣяться... на заводъ. Не хочешь ли завтра?

— Нѣтъ, мы съ вами никогда не сойдемся, — печально произнесъ Александръ: — вашъ взглядъ на жизнь не успокаиваетъ, а отталкиваетъ меня отъ нея. Мнѣ грустно, на душу вѣетъ холодъ. До сихъ поръ любовь спасала меня отъ этого холода; ея нѣтъ—и въ сердцѣ теперь тоска; мнѣ страшно, скучно...

— Займись дѣломъ.

— Все это правда, дядюшка: вы и подобные вамъ могутъ разсуждать такъ. Вы отъ природы человѣкъ холодный... съ душой, неспособной къ волненіямъ...

— А ты воображаешь, что ты съ могучей душой? Вчера отъ радости былъ на седьмомъ небѣ, а чуть немного того... такъ и не умѣешь перенести горя.

— Паръ, паръ!—слабо, едва защищаясь, говорилъ Александръ: — вы мыслите, чувствуете и говорите точно, какъ паровозъ катится по рельсамъ: ровно, гладко, покойно.

— Надѣюсь, это не дурно: лучше чѣмъ выскочить изъ колеи, бухнуть въ ровъ, какъ ты теперь, и не умѣть встать на ноги. Паръ! паръ! да паръ-то, вотъ видишь, дѣлаетъ человѣку честь. Въ этой выдумкѣ присутствуетъ начало, которое насъ съ тобой дѣлаетъ людьми, а умереть съ горя можетъ и животное. Были примѣры, что собаки умирали на могилѣ господъ своихъ, или задыхались отъ радости

послѣ долгой разлуки. Что жъ это за заслуга? А ты думалъ, ты особое существо, высшаго разряда, необыкновенный человѣкъ...

Петръ Иванычъ взглянулъ на племянника и вдругъ остановился.

— Что это? ты никакъ плачешь?—спросилъ онъ, и лицо его потемнѣло, то-есть онъ покраснѣлъ.

Александръ молчалъ. Послѣднія доказательства совсѣмъ сбили его съ ногъ. Возражать было нечего, но онъ находился подъ вліяніемъ господствовавшаго въ немъ чувства. Онъ вспомнилъ объ утраченномъ счастьѣ, о томъ, что теперь другой... И слезы градомъ потекли по щекамъ его.

— Ай, ай, ай! стыдись!— сказалъ Петръ Иванычъ: — и ты мужчина! плачь, ради Бога, не при мнѣ!

— Дядюшка! вспомните о лѣтахъ вашей молодости, — всхлипывая говорилъ Александръ: — ужель вы покойно и равнодушно могли бы перенести самое горькое оскорбленіе, какое только судьба посылаетъ человѣку? Жить полтора года такою полной жизнію и вдругъ — нѣтъ ничего! пустота... Послѣ этой искренности хитрость, скрытность, холодность—ко мнѣ! Боже! есть ли еще мука сильнѣе? Легко сказать про другого «измѣнили», а испытать?.. Какъ она перемѣнилась! какъ стала наряжаться для графа! Бывало, пріѣду, она блѣднѣетъ, едва можетъ говорить... лжетъ... о, нѣтъ...

Тутъ слезы хлынули сильнѣе.

— Если бъ мнѣ осталось утѣшеніе,—продолжалъ онъ:— что я потерялъ ее по обстоятельствамъ, если бъ неволя принудила ее... пусть бы даже умерла—и тогда легче было бы перенести... а то нѣтъ, нѣтъ... другой! это ужасно, невыносимо? И нѣтъ средствъ вырвать ее у похитителя: вы обезоружили меня... что мнѣ дѣлать? научите же! Мнѣ душно, больно... тоска, мука! я умру... застрѣлюсь...

Онъ облокотился на столъ, закрылъ голову руками и громко зарыдалъ...

Петръ Иванычъ растерялся. Онъ прошелся раза два по комнатѣ, потомъ остановился противъ Александра и почесалъ голову, не зная, что начать.

— Выпей вина, Александръ,— сказалъ Петръ Иванычъ, сколько могъ понѣжнѣе:—можетъ-быть—того...

Александръ — ничего, только плечи и голова его судорожно подергивались; онъ все рыдалъ. Петръ Иванычъ нахмурился, махнулъ рукой и вышелъ изъ комнаты.

— Что мнѣ дѣлать съ Александромъ?— сказалъ онъ женѣ.— Онъ тамъ у меня разревѣлся и меня выгналъ; я совсѣмъ измучился съ нимъ.

— А ты его такъ и оставилъ?—спросила она:—бѣдный! Пусти меня, я пойду къ нему.

— Да ничего не сдѣлаешь: это ужъ такая натура. Весь въ тетку: та такая же плакса. Я ужъ не мало убѣждалъ его.

— Только убѣждалъ?

— И убѣдилъ: онъ согласился со мной.

— О, я не сомнѣваюсь: ты очень уменъ и... хитеръ! — прибавила она.

— Слава Богу, если такъ: тутъ, кажется, все, что нужно.

— Кажется, все, а онъ плачетъ.

— Я не виноватъ, я сдѣлалъ все, чтобъ утѣшить его.

— Что жъ ты сдѣлалъ?

— Мало ли? И говорилъ битый часъ... даже въ горлѣ пересохло... всю теорію любви, точно на ладони такъ и выложилъ, и денегъ предлагалъ и ужиномъ — и виномъ старался...

— А онъ все плачетъ?

— Такъ и реветъ! подъ конецъ еще пуще.

— Удивительно! Пусти меня: я попробую, а ты пока обдумай свою новую методу...

— Что, что?

Но она, какъ тѣнь скользнула изъ комнаты.

Александръ все еще сидѣлъ, опершись головой на руки. Кто-то дотронулся до его плеча. Онъ поднялъ голову: передъ нимъ молодая, прекрасная женщина, въ пеньюарѣ, въ чепчикѣ à la Finoise...

— Ma tante!—сказалъ онъ.

Она сѣла подлѣ него, поглядѣла на него пристально, какъ только умѣютъ глядѣть иногда женщины, потомъ тихо отерла ему платкомъ глаза и поцѣловала въ лобъ, а онъ прильнулъ губами къ ея рукѣ. Долго говорили они.

Черезъ часъ онъ вышелъ задумчивъ, но съ улыбкой, и уснулъ въ первый разъ покойно, послѣ многихъ безсонныхъ ночей. Она воротилась въ спальню съ заплаканными глазами. Петръ Иванычъ давнымъ-давно храпѣлъ.

ОГЛАВЛЕНІЕ

ПЕРВАГО ТОМА:

стр.

Иванъ Александровичъ Гончаровъ. Біографическій очеркъ *С. Венгерова*. 3

Лучше поздно, чѣмъ никогда. Критическія замѣтки. 29

Обыкновенная исторія. Романъ въ двухъ частяхъ.

Часть первая:

Глава I. 93

» II. 120

» III. 165

» IV. 191

» V. 209

» VI. 245

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ
СОЧИНЕНІЙ
И. А. ГОНЧАРОВА

въ 12 томахъ.

ТОМЪ ВТОРОЙ.

Приложеніе къ журналу „Нива“ на 1899 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1899.

Типографія А. Ф. Маркса. Ср. Подьяч., № 1.

ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРІЯ.

РОМАНЪ

въ двухъ частяхъ.

Часть вторая.

I.

Прошло съ годъ послѣ описанныхъ въ послѣдней главѣ первой части сценъ и происшествій.

Александръ, мало-по-малу, перешелъ отъ мрачнаго отчаянья къ холодному унынію. Онъ уже не гремѣлъ проклятіями, съ присовокупленіемъ скрежета зубовъ, противъ графа и Наденьки, а клеймилъ ихъ глубокимъ презрѣніемъ.

Лизавета Александровна утѣшала его со всею нѣжностью друга и сестры. Онъ поддавался охотно этой милой опекѣ. Всѣ такія натуры, какова была его, любятъ отдавать свою волю въ распоряженіе другого. Для нихъ нянька — необходимость.

Наконецъ, страсть выдохлась въ немъ, истинная печаль прошла, но ему жаль было разстаться съ нею; онъ насильственно продолжилъ ее, или, лучше сказать, создалъ себѣ искусственную грусть, игралъ, красовался ею и утопалъ въ ней.

Ему какъ-то нравилось играть роль страдальца. Онъ былъ тихъ, важенъ, туманенъ, какъ человѣкъ, выдержавшій, по его словамъ, *ударъ судьбы*, — говорилъ о высокихъ страданіяхъ, о святыхъ, возвышенныхъ чувствахъ, смятыхъ и втоптанныхъ въ грязь—«и кѣмъ?» прибавлялъ онъ: «дѣвчонкой, кокеткой и презрѣннымъ развратникомъ, мишур-

нымъ львомъ. Неужели судьба послала меня въ міръ для того, чтобъ все, что было во мнѣ высокаго, принести въ жертву ничтожеству?»

Ни мужчина мужчинѣ, ни женщина женщинѣ не простили бы этого притворства и сейчасъ свели бы другъ друга съ ходулей. Но чего не прощаютъ молодые люди разныхъ половъ другъ другу?

Лизавета Александровна слушала снисходительно его іереміады и утѣшала какъ могла. Ей это было вовсе не противно, можетъ-быть, и потому, что въ племянникѣ она все-таки находила сочувствіе собственному сердцу, слышала, въ его жалобахъ на любовь, голосъ нечуждыхъ и ей страданій.

Она жадно прислушивалась къ стонамъ его сердца и отвѣчала на нихъ непримѣтными вздохами и никѣмъ невидимыми слезами. Она, даже и на притворныя и приторныя изліянія тоски племянника, находила утѣшительныя слова въ такомъ же тонѣ и духѣ; но Александръ и слушать не хотѣлъ.

— О, не говорите мнѣ, ma tante, — возражалъ онъ: — я не хочу позорить святого имени любви, называя такъ наши отношенія съ этой...

Тутъ онъ дѣлалъ презрительную гримасу и готовъ былъ, какъ Петръ Иванычъ, спросить: какъ ее?

— Впрочемъ,—прибавлялъ онъ еще съ бо̀льшимъ презрѣніемъ:—ей простительно: я слишкомъ былъ выше и ея, и графа, и всей этой жалкой и мелкой сферы; не мудрено, что я остался неразгаданнымъ ей.

И послѣ этихъ словъ онъ еще долго сохранялъ презрительную мину.

— Дядюшка твердитъ, что я долженъ быть благодаренъ Наденькѣ, — продолжалъ онъ: — за что? чѣмъ ознаменована эта любовь? все пошлости, все общія мѣста. Было ли какое-нибудь явленіе, которое бы выходило изъ обыкновен-

наго круга ежедневныхъ дрязговъ? Видно ли было въ этой любви сколько-нибудь героизма и самоотверженія? Нѣтъ, она все почти дѣлала съ вѣдома матери! отступила ли для меня хоть разъ отъ условій свѣта, отъ долга?—никогда! И это любовь!!! Дѣвушка — и не умѣла влить поэзіи въ это чувство!

— Какой же любви потребовали бы вы отъ женщины?— спросила Лизавета Александровна.

— Какой? — отвѣчалъ Александръ: — я бы потребовалъ отъ нея первенства въ ея сердцѣ. Любимая женщина не должна замѣчать, видѣть другихъ мужчинъ, кромѣ меня; всѣ они должны казаться ей невыносимы. Я одинъ выше, прекраснѣе,—тутъ онъ выпрямился,—лучше, благороднѣе всѣхъ. Каждый мигъ, прожитый не со мной, для нея потерянный мигъ. Въ моихъ глазахъ, въ моихъ разговорахъ должна она почерпать блаженство и не знать другого...

Лизавета Александровна старалась скрыть улыбку. Александръ не замѣчалъ.

— Для меня, — продолжалъ онъ съ блистающими глазами: — она должна жертвовать всѣмъ: презрѣнными выгодами, расчетами, свергнуть съ себя деспотическое иго матери, мужа, бѣжать, если нужно, на край свѣта, сносить энергически всѣ лишенія, наконецъ, презрѣть самую смерть— вотъ любовь! а эта...

— А вы чѣмъ бы вознаградили за эту любовь?—спросила тетка.

— Я? О!—началъ Александръ, возведя взоры къ небу:— я бы посвятилъ всю жизнь ей, я бы лежалъ у ногъ ея. Смотрѣть ей въ глаза было бы высшимъ счастьемъ. Каждое слово ея было бы мнѣ закономъ. Я бы пѣлъ ея красоту, нашу любовь, природу:

Съ ней обрѣли бъ уста мои
Языкъ Петрарки и любви...

Но развѣ я не доказалъ Наденькѣ, какъ я могу любить?

— Такъ вы совсѣмъ не вѣрите въ чувство, когда оно не выказывается такъ, какъ вы хотите? Сильное чувство прячется...

— Не хотите ли вы увѣрить меня, ma tante, что такое чувство, какъ дядюшкино, напримѣръ, прячется?

Лизавета Александровна вдругъ покраснѣла. Она не могла внутренно не согласиться съ племянникомъ, что чувство безъ всякаго проявленія какъ-то подозрительно, что, можетъ-быть, его и нѣтъ, что если бъ было, оно бы прорвалось наружу, что, кромѣ самой любви, обстановка ея заключаетъ въ себѣ неизъяснимую прелесть.

Тутъ она мысленно пробѣжала весь періодъ своей замужней жизни и глубоко задумалась. Нескромный намекъ племянника пошевелилъ въ ея сердцѣ тайну, которую она прятала такъ глубоко, и навелъ ее на вопросъ: счастлива ли она?

Жаловаться она не имѣла права: всѣ наружныя условія счастья, за которымъ гоняется толпа, исполнялись надъ нею, какъ по заданной программѣ. Довольство, даже роскошь въ настоящемъ, обезпеченность въ будущемъ—все избавляло ее отъ мелкихъ, горькихъ заботъ, которыя сосутъ сердце и сушатъ грудь множества бѣдняковъ.

Мужъ ея неутомимо трудился и все еще трудится. Но что было главною цѣлью его трудовъ? Трудился ли онъ для общей человѣческой цѣли, исполняя заданный ему судьбою урокъ, или только для мелочныхъ причинъ, чтобы пріобрѣсть между людьми чиновное и денежное значеніе, для того ли, наконецъ, чтобы его не гнули въ дугу нужда, обстоятельства? Богъ его знаетъ. О высокихъ цѣляхъ онъ разговаривать не любилъ, называя это бредомъ, а говорилъ сухо и просто, что надо *дѣло дѣлать*.

Лизавета Александровна вынесла только то грустное заключеніе, что не она и не любовь къ ней были единственною цѣлью его рвенія и усилій. Онъ трудился и до же-

нитьбы, еще не зная своей жены. О любви онъ ей никогда не говорилъ и у ней не спрашивалъ; на ея вопросы объ этомъ отдѣлывался шуткой, остротой или дремотой. Вскорѣ послѣ знакомства съ ней, онъ заговорилъ о свадьбѣ, какъ будто давая знать, что любовь тутъ сама собою разумѣется и что о ней толковать много нечего...

Онъ былъ врагъ всякихъ эффектовъ—это бы хорошо; но онъ не любилъ и искреннихъ проявленій сердца, не вѣрилъ этой потребности и въ другихъ. Между тѣмъ, онъ однимъ взглядомъ, однимъ словомъ могъ бы создать въ ней глубокую страсть къ себѣ: но онъ молчитъ, онъ не хочетъ. Это даже не льститъ его самолюбію.

Она пробовала возбудить въ немъ ревность, думая, что тогда любовь непремѣнно выскажется... Ничего не бывало. Чуть онъ замѣтитъ, что она отличаетъ въ обществѣ какого-нибудь молодого человѣка, онъ спѣшитъ пригласить его къ себѣ, обласкаетъ, самъ не нахвалится его достоинствами и не боится оставлять его наединѣ съ женой.

Лизавета Александровна иногда обманывала себя, мечтая, что, можетъ-быть, Петръ Иванычъ дѣйствуетъ стратегически, что не въ томъ ли состоитъ его таинственная метода, чтобъ, поддерживая въ ней всегда сомнѣніе, тѣмъ поддерживать и самую любовь. Но при первомъ отзывѣ мужа о любви, она тотчасъ же разочаровывалась.

Если бъ онъ еще былъ грубъ, неотесанъ, бездушенъ, тяжелоуменъ, одинъ изъ тѣхъ мужей, которымъ имя легіонъ, которыхъ такъ безгрѣшно, такъ нужно, такъ отрадно обманывать, для ихъ и своего счастья, которые, кажется, для того и созданы, чтобъ женщина искала вокругъ себя и любила діаметрально противоположное имъ — тогда другое дѣло: она, можетъ-быть, поступила бы, какъ поступаетъ бо́льшая часть женъ въ такомъ случаѣ. Но Петръ Иванычъ былъ человѣкъ съ умомъ и тактомъ, не часто встрѣчающимся. Онъ былъ тонокъ, проницателенъ, ловокъ. Онъ по-

нималъ всѣ тревоги сердца, всѣ душевныя бури, но понималъ — и только. Весь кодексъ сердечныхъ дѣлъ былъ у него въ головѣ, но не въ сердцѣ. Въ его сужденіяхъ объ этомъ видно было, что онъ говоритъ какъ бы слышанное и затверженное, но отнюдь не прочувствованное. Онъ разсуждалъ о страстяхъ вѣрно, но не признавалъ надъ собой ихъ власти, даже смѣялся надъ ними, считая ихъ ошибками, уродливыми отступленіями отъ дѣйствительности, чѣмъ-то въ родѣ болѣзней, для которыхъ, со временемъ, явится своя медицина.

Лизавета Александровна чувствовала его умственное превосходство надъ всѣмъ окружающимъ и терзалась этимъ.— «Если бъ онъ не былъ такъ уменъ», думала она: «я была бы спасена...» Онъ поклоняется положительнымъ цѣлямъ— это ясно, и требуетъ, чтобъ и жена жила не мечтательною жизнью.

«Но, Боже мой!» думала Лизавета Александровна: «ужели онъ женился только для того, чтобъ имѣть хозяйку, чтобъ придать своей холостой квартирѣ полноту и достоинство семейнаго дома, чтобъ имѣть больше вѣса въ обществѣ? Хозяйка, жена — въ самомъ прозаическомъ смыслѣ этихъ словъ! Да развѣ онъ не постигаетъ, со всѣмъ своимъ умомъ, что и въ положительныхъ цѣляхъ женщины присутствуетъ непремѣнно любовь?.. Семейныя обязанности— вотъ ея заботы: но развѣ можно исполнять ихъ безъ любви? Няньки, кормилицы, и тѣ творятъ себѣ кумира изъ ребенка, за которымъ ходятъ; а жена, а мать! О, пусть я купила бы себѣ чувство муками, пусть бы перенесла всѣ страданія, какія неразлучны со страстью, но лишь бы жить полною жизнью, лишь бы чувствовать свое существованіе, а не прозябать!..»

Она взглянула на роскошную мебель и на всѣ игрушки и дорогія бездѣлки своего будуара—и весь этотъ комфортъ, которымъ у другихъ заботливая рука любящаго человѣка

окружаетъ любимую женщину, показался ей холодною насмѣшкой надъ истиннымъ счастьемъ. Она была свидѣтельницею двухъ страшныхъ крайностей — въ племянникѣ и мужѣ. Одинъ восторженъ до сумасбродства, другой — ледянъ до ожесточенія.

«Какъ мало понимаютъ оба они, да и бо́льшая часть мужчинъ, истинное чувство! и какъ я понимаю его!» думала она: «а что̀ пользы? зачѣмъ? О, если бъ...»

Она закрыла глаза и пробыла такъ нѣсколько минутъ, потомъ открыла ихъ, оглянулась вокругъ, тяжело вздохнула и тотчасъ приняла обыкновенный, покойный видъ. Бѣдняжка! Никто не зналъ объ этомъ, никто не видѣлъ этого. Ей бы вмѣнили въ преступленіе эти невидимыя, неосязаемыя, безыменныя страданія, безъ ранъ, безъ крови, прикрытыя не лохмотьями, а бархатомъ. Но она съ героическимъ самоотверженіемъ таила свою грусть, да еще находила довольно силъ, чтобъ утѣшать другихъ.

Скоро Александръ пересталъ говорить и о высокихъ страданіяхъ, и о непонятой и неоцѣненной любви. Онъ перешелъ къ болѣе общей темѣ. Онъ жаловался на скуку жизни, пустоту души, на томительную тоску.

Я пережилъ свои страданья,
Я разлюбилъ свои мечты...

твердилъ онъ безпрестанно.

— И теперь меня преслѣдуетъ черный демонъ. Онъ, ma tante, всюду со мной: и ночью, и за дружеской бесѣдой, за чашей пиршества, и въ минуту глубокой думы!

Такъ прошло нѣсколько недѣль. Кажется, вотъ еще бы недѣли двѣ, такъ чудакъ и успокоился бы совсѣмъ и, можетъ-быть, сдѣлался бы совсѣмъ порядочнымъ, то-есть простымъ и обыкновеннымъ человѣкомъ, какъ всѣ. Такъ нѣтъ! Особенность его странной натуры находила вездѣ случай проявиться.

Однажды онъ пришелъ къ теткѣ въ припадкѣ какого-то

злобнаго расположенія духа на весь родъ людской. Что слово, то колкость, что сужденіе, то эпиграмма, направленная и на тѣхъ, кого бы нужно уважать. Пощады не было никому. Досталось и ей, и Петру Иванычу. Лизавета Александровна стала допытываться причины.

— Вы хотите знать,—началъ онъ тихо, торжественно:— что̀ меня теперь *волнуетъ*, *бѣситъ*? Слушайте же: вы знаете, я имѣлъ друга, котораго не видалъ нѣсколько лѣтъ, но для котораго у меня всегда оставался уголокъ въ сердцѣ. Дядюшка, въ началѣ моего пріѣзда сюда, принудилъ меня написать къ нему странное письмо, въ которомъ заключались его любимыя правила и образъ мыслей; но я то изорвалъ и послалъ другое, стало-быть, мѣняться моему пріятелю было не отъ чего. Послѣ этого письма наша переписка прекратилась, и я потерялъ своего пріятеля изъ виду. Что же случилось? Дня три назадъ, иду по Невскому проспекту и вдругъ вижу его. Я остолбенѣлъ, по мнѣ побѣжали искры, въ глазахъ явились слезы. Я протянулъ ему руки и не могъ отъ радости сказать ни слова: духъ захватило. Онъ взялъ одну руку и пожалъ. «Здравствуй, Адуевъ!» сказалъ онъ такимъ голосомъ, какъ будто мы вчера только съ нимъ разстались. «Давно ли ты здѣсь?» удивился, что мы до сихъ поръ не встрѣтились, слегка спросилъ, что я дѣлаю, гдѣ служу, долгомъ счелъ увѣдомить, что онъ имѣетъ прекрасное мѣсто, доволенъ и службой, и начальниками, и товарищами, и... всѣми людьми, и своей судьбой... потомъ сказалъ, что ему некогда, что онъ торопится на званый обѣдъ — слышите, ma tante? при свиданіи, послѣ долгой разлуки, съ другомъ; онъ не могъ отложить обѣда...

— Но, можетъ-быть, его стали бы ждать, — замѣтила тетка:—приличія не позволили...

— Приличія и дружба? и вы, ma tante! да это еще что: я вамъ скажу лучше. Онъ сунулъ мнѣ въ руку адресъ, сказалъ, что вечеромъ на другой день ожидаетъ меня къ

себѣ — и исчезъ. Долго я смотрѣлъ ему вслѣдъ и все не могъ придти въ себя. Это товарищъ дѣтства, это другъ юности! хорошъ! Но потомъ подумалъ, что, можетъ-быть, онъ все отложилъ до вечера и тогда посвятитъ время искренней, задушевной бесѣдѣ. «Такъ и быть, думаю, пойду». Являюсь. У него было человѣкъ десять пріятелей. Онъ протянулъ мнѣ руку ласковѣе, нежели наканунѣ — это правда, но за то, не говоря ни слова, тотчасъ же предложилъ сѣсть за карты. Я сказалъ, что не играю, и усѣлся одинъ на диванѣ, полагая, что онъ броситъ карты и придетъ ко мнѣ. «Не играешь? — сказалъ онъ съ удивленіемъ: — что же ты дѣлаешь?» Хорошъ вопросъ! Вотъ я жду часъ, два, онъ не подходитъ ко мнѣ; я выхожу изъ терпѣнія. Онъ предлагалъ мнѣ то сигару, то трубку, жалѣлъ, что я не играю, что мнѣ скучно, старался занять меня — чѣмъ, какъ вы думаете? безпрестанно обращался ко мнѣ и разсказывалъ всякій свой удачный и неудачный выходъ. Я, наконецъ, не вытерпѣлъ, подошелъ къ нему и спросилъ, намѣренъ ли онъ удѣлить мнѣ сколько-нибудь времени въ этотъ вечеръ? А сердце у меня такъ и кипѣло, голосъ дрожалъ. Это его, кажется, удивило. Онъ посмотрѣлъ на меня странно. «Хорошо, говоритъ, вотъ дай докончить пульку». Какъ только онъ сказалъ мнѣ это, я схватилъ шляпу и хотѣлъ уйти, но онъ замѣтилъ и остановилъ меня. «Пулька кончается,—сказалъ онъ: — сейчасъ будемъ ужинать». Наконецъ кончили. Онъ сѣлъ подлѣ меня и зѣвнулъ: тѣмъ и началась наша дружеская бесѣда. «Ты мнѣ что-то хотѣлъ сказать?» спросилъ онъ. Это было сказано такимъ монотоннымъ и безчувственнымъ голосомъ, что я, ничего не говоря, только посмотрѣлъ на него съ грустной улыбкой. Тутъ онъ вдругъ будто ожилъ и засыпалъ меня вопросами: «что съ тобой? да не нуждаешься ли въ чемъ? да не могу ли я быть тебѣ полезнымъ по службѣ?..» и т. п. Я покачалъ головой и сказалъ ему, что я хотѣлъ говорить съ нимъ не о службѣ,

не о матеріальныхъ выгодахъ, а о томъ, что ближе къ сердцу: о золотыхъ дняхъ дѣтства, объ играхъ, о проказахъ... Онъ, представьте! даже не далъ мнѣ договорить. «Ты еще все, говоритъ, такой же мечтатель!» потомъ вдругъ перемѣнилъ разговоръ, какъ-будто считая его пустяками, и началъ серьезно разспрашивать меня о моихъ дѣлахъ, о надеждахъ на будущее, о карьерѣ, какъ дядюшка. Я удивился, не вѣрилъ, чтобъ въ человѣкѣ могло до такой степени огрубѣть сердце. Я хотѣлъ испытать въ послѣдній разъ, привязался къ вопросу его о моихъ дѣлахъ и началъ разсказывать о томъ, какъ поступили со мной. «Ты выслушай, что сдѣлали со мной *люди*...» началъ-было я. «А что?—вдругъ перебилъ онъ съ испугомъ:—вѣрно обокрали?» Онъ думалъ, что я говорю про лакеевъ; другого горя онъ не знаетъ, какъ дядюшка: до чего можетъ окаменѣть человѣкъ! «Да,—сказалъ я:—люди обокрали мою душу...» Тутъ я заговорилъ о моей любви, о мученіяхъ, о душевной пустотѣ... я началъ-было увлекаться и думалъ, что повѣсть моихъ страданій растопитъ ледяную кору, что еще въ глазахъ его не высохли слезы... Какъ вдругъ онъ — разразился хохотомъ! смотрю, въ рукахъ у него платокъ: онъ во время моего разсказа все крѣпился, наконецъ не выдержалъ... Я въ ужасѣ остановился.

— Полно, полно,—сказалъ онъ:—лучше выпей-ка водки, да станемъ ужинать. Человѣкъ! водки. Пойдемъ, пойдемъ, ха-ха-ха!.. есть славный... рост... ха-ха-ха!... ростбифъ...

— Онъ взялъ-было меня подъ руку, но я вырвался и бѣжалъ отъ этого чудовища... Вотъ каковы люди, ma tante!—заключилъ Александръ, потомъ махнулъ рукой и ушелъ.

Лизаветѣ Александровнѣ стало жаль Александра; жаль его пылкаго, но ложно направленнаго сердца. Она увидѣла, что при другомъ воспитаніи и правильномъ взглядѣ на жизнь, онъ былъ бы счастливъ самъ и могъ бы осчастливить кого-нибудь еще; а теперь онъ жертва собственной

слѣпоты и самыхъ мучительныхъ заблужденій сердца. Онъ самъ дѣлаетъ изъ жизни пытку. Какъ указать настоящій путь его сердцу? Гдѣ этотъ спасительный компасъ? Она чувствовала, что только нѣжная, дружеская рука могла ухаживать за этимъ цвѣткомъ.

Ей удалось уже разъ укротить безпокойные порывы въ сердцѣ племянника, но то было въ дѣлѣ любви. Тамъ она знала, какъ обойтись съ оскорбленнымъ сердцемъ. Она, какъ искусная дипломатка, первая осыпала укоризнами Наденьку, выставила ея поступокъ въ самомъ черномъ видѣ, опошлила ее въ глазахъ Александра и успѣла доказать ему, что она недостойна его любви. Этимъ она вырвала изъ сердца Александра мучительную боль, замѣнивъ ее покойнымъ, хотя несовсѣмъ справедливымъ чувствомъ — презрѣніемъ. Петръ Иванычъ, напротивъ, старался оправдать Наденьку и этимъ не только не успокоилъ, но еще растравилъ его муку, заставилъ думать, что ему предпочтенъ достойнѣйшій.

Но въ дружбѣ другое дѣло. Лизавета Александровна видѣла, что другъ Александра былъ виноватъ въ его глазахъ и правъ въ глазахъ толпы. Прошу растолковать это Александру! Она не рѣшилась на этотъ подвигъ сама и прибѣгла къ мужу, полагая, не безъ основанія, что у него за доводами противъ дружбы дѣло не станетъ.

— Петръ Иванычъ!—сказала она однажды ему ласково:— я къ тебѣ съ просьбой?

— Что такое?

— Угадай.

— Говори: ты знаешь, на твои просьбы отказа нѣтъ. Вѣрно о петергофской дачѣ: вѣдь теперь еще рано...

— Нѣтъ!—сказала Лизавета Александровна.

— Что же? ты говорила, что боишься нашихъ лошадей, хотѣла посмирнѣе...

— Нѣтъ!

— Ну, о новой мебели?..

Она покачала головой.

— Воля твоя, не знаю,—сказалъ Петръ Иванычъ:—вотъ возьми лучше ломбардный билетъ и распорядись, какъ тебѣ нужно; это вчерашній выигрышъ...

Онъ досталъ было бумажникъ.

— Нѣтъ, не безпокойся, спрячь деньги назадъ,—сказала Лизавета Александровна: — это дѣло не будетъ стоить тебѣ ни копейки.

— Не брать денегъ, когда даютъ!—сказалъ Петръ Иванычъ, пряча бумажникъ: — это непостижимо! Что же нужно?

— Нужно только немного доброй воли...

— Сколько хочешь.

— Вотъ видишь: третьяго дня былъ у меня Александръ...

— Охъ, чувствую недоброе! — перебилъ Петръ Иванычъ:—ну?

— Онъ такой мрачный,—продолжала Лизавета Александровна:—я боюсь, чтобъ все это не довело его до чего-нибудь...

— Да что съ нимъ еще? Опять измѣнили въ любви, что ли?

— Нѣтъ, въ дружбѣ.

— Въ дружбѣ! часъ отъ часу не легче! Какъ же въ дружбѣ? это любопытно: разскажи пожалуйста.

— А вотъ какъ.

Тутъ Лизавета Александровна разсказала ему все, что слышала отъ племянника. Петръ Иванычъ сильно пожалъ плечами.

— Что жъ ты хочешь, чтобъ я тутъ сдѣлалъ? видишь, какой онъ!

— А ты обнаружь ему участіе, спроси, въ какомъ положеніи его сердце...

— Нѣтъ, это ужъ ты спроси.

— Поговори съ нимъ... какъ это?.. понѣжнѣе, а не такъ, какъ ты всегда говоришь... не смѣйся надъ чувствомъ...

— Не прикажешь ли заплакать?

— Не мѣшало бы.

— А что пользы ему отъ этого?

— Много... и не одному ему...—замѣтила вполголоса Лизавета Александровна.

— Что?—спросилъ Петръ Иванычъ.

Она молчала.

— Охъ ужъ мнѣ этотъ Александръ: онъ у меня вотъ гдѣ сидитъ!—сказалъ Петръ Иванычъ, показывая на шею.

— Чѣмъ это онъ такъ обременилъ тебя?

— Какъ чѣмъ? Шесть лѣтъ вожусь съ нимъ: то онъ расплачется — надо утѣшать, то поди переписывайся съ матерью.

— Въ самомъ дѣлѣ, бѣдный! Какъ это достаетъ тебя? Какой страшный трудъ: получить разъ въ мѣсяцъ письмо отъ старушки и, не читая, бросить подъ столъ, или поговорить съ племянникомъ! Какъ же, вѣдь это отвлекаетъ отъ виста! Мужчины, мужчины! Если есть хорошій обѣдъ, лафитъ за золотой печатью да карты—и все тутъ; ни до кого и дѣла нѣтъ! А если къ этому еще случай поважничать и поумничать—такъ и счастливы.

— Какъ для васъ пококетничать,—замѣтилъ Петръ Иванычъ.—Всякому свое, моя милая! Чего же еще?

— Чего! а сердце! объ этомъ никогда и рѣчи нѣтъ.

— Вотъ еще!

— Мы очень умны: какъ намъ заниматься такими мелочами? Мы ворочаемъ судьбами людей. Смотрятъ, что у человѣка въ карманѣ да въ петлицѣ фрака, а до остального и дѣла нѣтъ. Хотятъ, чтобъ и всѣ были такіе! Нашелся между ними одинъ чувствительный, способный любить и заставить любить себя...

— Славно онъ заставилъ любить себя эту... какъ ее? Вѣрочку, что ли?—замѣтилъ Петръ Иванычъ.

— Нашелъ кого поставить съ нимъ наравнѣ! это насмѣшка судьбы. Она всегда, будто нарочно, сведетъ нѣжнаго, чувствительнаго человѣка съ холоднымъ созданіемъ! Бѣдный Александръ! У него умъ не идетъ наравнѣ съ сердцемъ, вотъ онъ и виноватъ въ глазахъ тѣхъ, у кого умъ забѣжалъ слишкомъ впередъ, кто хочетъ взять вездѣ только разсудкомъ...

— Согласись, однако, что это главное; иначе...

— Не соглашусь, ни за что не соглашусь: это главное тамъ на заводѣ, можетъ быть, а вы забываете, что у человѣка есть еще чувство...

— Пять! — сказалъ Адуевъ: — я еще это въ азбукѣ затвердилъ.

— И досадно, и грустно! — прошептала Лизавета Александровна.

— Ну, ну, не сердись: я сдѣлаю все, что прикажешь, только научи—какъ?—сказалъ Петръ Иванычъ.

— А ты дай ему легкій урокъ...

— Нагоняй? изволь, это мое дѣло.

— Вотъ ужъ и нагоняй! Ты объясни ему поласковѣе, чего можно требовать и ожидать отъ нынѣшнихъ друзей; скажи, что другъ такъ не виноватъ, какъ онъ думаетъ... Да мнѣ ли учить тебя? ты такой умный... такъ хорошо хитришь...—прибавила Лизавета Александровна.

Петръ Иванычъ при послѣднемъ словѣ немного нахмурился.

— Мало ли тамъ у васъ было искреннихъ изліяній? — сказалъ онъ сердито: — шептались, шептались и все еще не перешептали всего о дружбѣ да о любви; теперь меня путаютъ...

— За то это въ послѣдній разъ,—сказала Лизавета Александровна:—я надѣюсь, что послѣ этого онъ утѣшится.

Петръ Иванычъ недовѣрчиво покачалъ головой.

— Есть ли у него деньги?—спросилъ онъ:—можетъ-быть нѣтъ, онъ и того...

— Только деньги на умѣ! Онъ готовъ былъ бы отдать всѣ деньги за одно привѣтливое слово друга.

— Чего добраго: отъ него станется! Разъ онъ и такъ далъ тамъ, у себя въ департаментѣ, чиновнику денегъ за искреннія изліянія... Вотъ кто-то позвонилъ: не онъ ли? Что надо сдѣлать? повтори: дать ему нагоняй... еще что? денегъ?

— Какой нагоняй? ты, пожалуй, хуже надѣлаешь. О дружбѣ я просила тебя поговорить, о сердцѣ, да поласковѣе, повнимательнѣе...

Александръ молча поклонился, молча и много ѣлъ за обѣдомъ, а въ антрактахъ каталъ шарики изъ хлѣба и смотрѣлъ на бутылки и графины исподлобья. Послѣ обѣда онъ взялся-было за шляпу.

— Куда же ты? — спросилъ Петръ Иванычъ: — посиди съ нами.

Александръ молча повиновался. Петръ Иванычъ думалъ, какъ бы приступить къ дѣлу понѣжнѣе и половчѣе, и вдругъ спросилъ скороговоркою:

— Я слышалъ, Александръ, что другъ твой поступилъ съ тобой какъ-то коварно?

При этихъ неожиданныхъ словахъ Александръ встряхнулъ головой, какъ будто его ранили, и устремилъ полный упрека взглядъ на тетку. Она тоже не ожидала такого крутого приступа къ дѣлу и сначала опустила голову на работу, потомъ также съ упрекомъ поглядѣла на мужа; но онъ былъ подъ двойной эгидою пищеваренія и дремоты, и оттого не почувствовалъ рикошета этихъ взглядовъ.

Александръ отвѣчалъ на его вопросъ чуть слышнымъ вздохомъ.

— Въ самомъ дѣлѣ, — продолжалъ Петръ Иванычъ: —

какое коварство! что за другъ! не видался лѣтъ пять и охладѣлъ до того, что, при встрѣчѣ, не задушилъ друга въ объятіяхъ, а позвалъ его къ себѣ вечеромъ, хотѣлъ усадить въ карты... и накормить... А потомъ—коварный человѣкъ! замѣтилъ на лицѣ друга кислую мину и давай разспрашивать о его дѣлахъ, объ обстоятельствахъ, о нуждахъ— какое гнусное любопытство! да еще—о, верхъ коварства! осмѣлился предлагать свои услуги... помощь... можетъ быть, деньги! и никакихъ искреннихъ изліяній! ужасно, ужасно! Покажи, пожалуйста, мнѣ это чудовище, приведи въ пятницу обѣдать!.. А почемъ онъ играетъ?

— Не знаю, — сказалъ Александръ сердито. — Смѣйтесь, дядюшка: вы правы; я виноватъ одинъ. Повѣрить людямъ, искать симпатіи — въ комъ? разсыпать бисеръ — передъ кѣмъ? Кругомъ низость, слабодушіе, мелочность, а я еще сохранилъ юношескую вѣру въ добро, въ доблесть, въ постоянство...

Петръ Иванычъ началъ что-то часто и мѣрно кивать головой.

— Петръ Иванычъ! — сказала Лизавета Александровна шопотомъ, дернувъ его за рукавъ:—ты спишь?

— Вотъ спи!—сказалъ, проснувшись, Петръ Иванычъ:— я все слышу: «доблесть, постоянство», гдѣ же спи?

— Не мѣшайте дядюшкѣ, ma tante! — замѣтилъ Александръ: — онъ не уснетъ, у него разстроится пищевареніе, и, Богъ знаетъ, что изъ этого будетъ. Человѣкъ, конечно, властелинъ земли, но онъ также и рабъ своего желудка.

При этомъ онъ хотѣлъ, кажется, горько улыбнуться, но улыбнулся какъ-то кисло.

— Скажи же мнѣ, чего ты хотѣлъ отъ своего друга? жертвы, что ли, какой-нибудь: чтобъ онъ на стѣну полѣзъ, или кинулся изъ окошка? Какъ ты понимаешь дружбу, что она такое?—спросилъ Петръ Иванычъ.

— Теперь ужъ жертвы не потребую—не безпокойтесь. Я, благодаря людямъ, низошелъ до жалкаго понятія и о дружбѣ, какъ о любви... Вотъ я всегда носилъ съ собой эти строки, которыя казались мнѣ вѣрнѣйшимъ опредѣленіемъ этихъ двухъ чувствъ, какъ я ихъ понималъ и какъ они должны быть, а теперь вижу, что это ложь, клевета на людей, или жалкое незнаніе ихъ сердца... Люди не способны къ такимъ чувствамъ. Прочь—это коварныя слова!..

Онъ досталъ изъ кармана бумажникъ, а изъ бумажника двѣ осьмушки исписанной бумаги.

— Что это такое?—спросилъ дядя:—покажи.

— Не стоитъ! — сказалъ Александръ и хотѣлъ рвать бумаги.

— Прочтите, прочтите! — стала просить Лизавета Александровна.

— Вотъ какъ два новѣйшіе французскіе романиста опредѣляютъ истинную дружбу и любовь, и я согласился съ ними, думалъ, что встрѣчу въ жизни такія существа и найду въ нихъ... да что!

Онъ презрительно махнулъ рукой и началъ читать:

«Любить не тою фальшивою, робкою дружбою, которая живетъ въ нашихъ раззолоченныхъ палатахъ, которая не устоитъ передъ горстью золота, которая боится двусмысленнаго слова, но тою могучею дружбою, которая отдаетъ кровь за кровь, которая докажетъ себя въ битвѣ и кровопролитіи, при громѣ пушекъ, подъ ревомъ бурь, когда друзья лобзаются прокопченными порохомъ устами, обнимаются окровавленными объятіями... И если Пиладъ раненъ на смерть, Орестъ, энергически прощаясь съ нимъ, вѣрнымъ ударомъ кинжала прекращаетъ его мученія, страшно клянется отмстить, и сдерживаетъ клятву, потомъ отираетъ слезу и успокаивается...»

Петръ Иванычъ засмѣялся своимъ мѣрнымъ, тихимъ смѣхомъ.

— Надъ кѣмъ вы, дядюшка, смѣетесь? — спросилъ Александръ.

— Надъ авторомъ, если онъ говоритъ это не шутя и отъ себя, а потомъ надъ тобой, если ты дѣйствительно такъ понималъ дружбу.

— Ужели это только смѣшно?—спросила Лизавета Александровна.

— Только. Виноватъ: смѣшно и жалко. Впрочемъ, и Александръ согласенъ съ этимъ и позволилъ смѣяться. Онъ самъ сейчасъ сознался, что такая дружба—ложь и клевета на людей. Это ужъ важный шагъ впередъ.

— Ложь потому, что люди неспособны возвышаться до того понятія о дружбѣ, какая должна быть...

— Если люди неспособны, такъ и не должна быть... — сказалъ Петръ Иванычъ.

— Но бывали же примѣры...

— Это исключенія, а исключенія почти всегда не хороши. «Окровавленныя объятія, страшная клятва, ударъ кинжала!..»

И онъ опять засмѣялся.

— Ну-ка, прочти о любви,—продолжалъ онъ:—у меня и сонъ прошелъ.

— Если это можетъ доставить вамъ случай посмѣяться еще—извольте!—сказалъ Александръ и началъ читать слѣдующее:

«Любить значитъ—не принадлежать себѣ, перестать жить для себя, перейти въ существованіе другого, сосредоточить на одномъ предметѣ всѣ человѣческія чувства — надежду, страхъ, горесть, наслажденіе; любить значитъ жить въ безконечномъ»...

— Чортъ знаетъ, что такое! — перебилъ Петръ Иванычъ:—какой наборъ словъ!

— Нѣтъ, это очень хорошо! мнѣ нравится, — замѣтила Лизавета Александровна.—Продолжайте, Александръ.

«Не знать предѣла чувству, посвятить себя одному существу», продолжалъ Александръ читать: «и жить, мыслить только для его счастія, находить величіе въ униженіи, наслажденіе въ грусти и грусть въ наслажденіи, предаваться всевозможнымъ противоположностямъ, кромѣ любви и ненависти. Любить значитъ жить въ идеальномъ мірѣ»...

Петръ Иванычъ покачалъ при этомъ головой.

«Въ идеальномъ мірѣ (продолжалъ Александръ), превосходящемъ блескомъ и великолѣпіемъ всякій блескъ и великолѣпіе. Въ этомъ мірѣ небо кажется чище, природа роскошнѣе; раздѣлять жизнь и время на два раздѣленія—присутствіе и отсутствіе, на два времени года—весну и зиму; первому соотвѣтствуетъ весна, второму—зима, потому что, какъ бы ни были прекрасны цвѣты и чиста лазурь неба, но въ отсутствіи вся прелесть того и другого помрачается; въ цѣломъ мірѣ видѣть только одно существо и въ этомъ существѣ заключать вселенную... Наконецъ, любить значитъ подстерегать каждый взглядъ любимаго существа, какъ бедуинъ подстерегаетъ каждую каплю росы, для освѣженія запекшихся отъ зноя устъ; волноваться въ отсутствіи его роемъ мыслей, а при немъ не умѣть высказать ни одной, стараться превзойти другъ друга въ пожертвованіяхъ.»

— Довольно, ради Бога, довольно!—перебилъ Петръ Иванычъ:—терпѣнья нѣтъ! ты рвать хотѣлъ: рви же, рви скорѣй! вотъ такъ!

Петръ Ивановичъ даже всталъ съ кресель и началъ ходить взадъ и впередъ по комнатѣ.

— Неужели былъ вѣкъ, когда, не шутя, думали такъ и продѣлывали все это?—сказалъ онъ.—Неужели все, что пишутъ о рыцаряхъ и пастушкахъ не обидная выдумка на нихъ? И какъ достаетъ охоты расшевеливать и анализировать такъ подробно эти жалкія струны души человѣческой... любовь! придавать всему этому такое значеніе...

Онъ пожалъ плечами.

— Зачѣмъ, дядюшка, уноситься такъ далеко? — сказалъ Александръ: — я самъ чувствую въ себѣ эту силу любви и горжусь ею. Мое несчастіе состоитъ въ томъ только, что я не встрѣтилъ существа, достойнаго этой любви и одареннаго такою же силой...

— Сила любви!—повторилъ Петръ Иванычъ:—все равно, если бъ ты сказалъ—сила слабости.

— Это не по тебѣ, Петръ Иванычъ, — замѣтила Лизавета Александровна:—ты не хочешь вѣрить существованію такой любви и въ другихъ...

— А ты? неужели ты вѣришь? — спросилъ Петръ Иванычъ, подходя къ ней: — да нѣтъ, ты шутишь! Онъ еще ребенокъ и не знаетъ ни себя, ни другихъ, а тебѣ было бы стыдно! Неужели ты могла бы уважать мужчину, если бъ онъ полюбилъ такъ?.. Такъ ли любятъ?

Лизавета Александровна оставила свою работу.

— Какъ же?—спросила она тихо, взявъ его за руки и притягивая къ себѣ.

Петръ Иванычъ тихо высвободилъ свои руки изъ ея рукъ и украдкой показалъ на Александра, который стоялъ у окна, спиной къ нимъ, и опять началъ совершать свое хожденіе по комнатѣ.

— Какъ! — говорилъ онъ: — будто ты не слыхала, какъ любятъ!..

— Любятъ!—повторила она задумчиво, и медленно принялась опять за работу.

Съ четверть часа длилось молчаніе. Петръ Иванычъ первый прервалъ его.

— Что ты теперь дѣлаешь?— спросилъ онъ племянника.

— Да... ничего.

— Мало. Ну, читаешь, по крайней мѣрѣ?

— Да...

— Что же?

— Басни Крылова.

— Хорошая книга; да не одну же ее?

— Теперь одну. Боже мой! какіе портреты людей, какая вѣрность!

— Ты что-то сердитъ на людей. Ужели любовь къ этой... какъ ее? сдѣлала тебя такимъ?..

— О! я и забылъ объ этой глупости. Недавно я проѣхалъ по тѣмъ мѣстамъ, гдѣ былъ такъ счастливъ и такъ страдалъ, думалъ, что воспоминаніями разорву сердце на части.

— Что же, разорвалъ?

— Видѣлъ и дачу, и садъ, и рѣшётку, а сердце и не стукнуло.

— Ну, вотъ: я вѣдь говорилъ. Что же тебѣ такъ противны люди?

— Чѣмъ! своею низостью, мелкостью души... Боже мой! когда подумаешь, сколько подлостей вращается тамъ, гдѣ природа бросила такія чудныя сѣмена...

— Да тебѣ что за дѣло? Исправить, что ли, хочешь людей?

— Что за дѣло? Развѣ до меня не долетаютъ брызги этой грязи, въ которой купаются люди? Вы знаете, что случилось со мною—и послѣ всего этого не ненавидѣть, не презирать людей!

— Что же случилось съ тобой?

— Измѣна въ любви, какое-то грубое, холодное забвеніе въ дружбѣ... Да и вообще противно, гадко смотрѣть на людей, жить съ ними! Всѣ ихъ мысли, слова, дѣла — все зиждется на пескѣ. Сегодня бѣгутъ къ одной цѣли, спѣшатъ, сбиваютъ другъ друга съ ногъ, дѣлаютъ подлости, льстятъ, унижаются, строятъ козни, а завтра—и забыли о вчерашнемъ и бѣгутъ за другимъ. Сегодня восхищаются однимъ, завтра ругаютъ: сегодня горячи, нѣжны, завтра холодны... нѣтъ! какъ посмотришь—страшна, противна жизнь! А люди!..

Петръ Иванычъ, сидя въ креслахъ, задремалъ-было опять.

— Петръ Иванычъ! — сказала Лизавета Александровна, толкнувъ его тихонько.

— Хандришь, хандришь! Надо дѣломъ заниматься,—сказалъ Петръ Иванычъ, протирая глаза:—тогда и людей бранить не станешь, не за что. Чѣмъ не хороши твои знакомые? все люди порядочные.

— Да! за кого не хватишься, такъ какой-нибудь звѣрь изъ басенъ Крылова и есть,—сказалъ Александръ.

— Хозаровы, напримѣръ?

— Цѣлая семья животныхъ! — перебилъ Александръ. — Одинъ расточаетъ вамъ въ глаза лесть, ласкаетъ васъ, а за глаза... я слышалъ, что онъ говоритъ обо мнѣ. Другой сегодня съ вами рыдаетъ о вашей обидѣ, а завтра зарыдаетъ съ вашимъ обидчикомъ; сегодня смѣется съ вами надъ другимъ, а завтра съ другимъ надъ вами... гадко!

— Ну, Лунины?

— Хороши и эти. Самъ онъ точно тотъ оселъ, отъ котораго соловей улетѣлъ за тридевять земель. А она такъ доброй лисицей смотритъ...

— Что скажешь о Сониныхъ?

— Да хорошаго ничего не скажешь. Сонинъ всегда дастъ хорошій совѣтъ, когда пройдетъ бѣда, а попробуйте обратиться въ нуждѣ... такъ онъ и отпуститъ безъ ужина домой, какъ лисица волка. Помните, какъ онъ юлилъ передъ вами, когда искалъ мѣста чрезъ ваше посредство? А теперь, послушайте, что говоритъ про васъ...

— И Волочковъ не нравится тебѣ?

— Ничтожное и еще вдобавокъ злое животное...

Александръ даже плюнулъ.

— Ну, отдѣлалъ же!—промолвилъ Петръ Иванычъ.

— Чего же мнѣ ждать отъ людей? — продолжалъ Александръ.

— Всего: и дружбы, и любви, и штабъ-офицерскаго чина,

и денегъ... Ну, теперь заключи эту галлерею портретовъ нашими: скажи, какіе мы съ женой звѣри?

Александръ ничего не отвѣчалъ, но на лицѣ у него мелькнуло выраженіе тонкой, едва замѣтной ироніи. Онъ улыбнулся. Ни это выраженіе, ни улыбка не ускользнули отъ Петра Иваныча. Онъ переглянулся съ женой, та потупила глаза.

— Ну, а ты самъ что за звѣрь?—спросилъ Петръ Иванычъ.

— Я не сдѣлалъ людямъ зла!—съ достоинствомъ произнесъ Александръ:—я исполнилъ въ отношеніи къ нимъ все... У меня сердце любящее; я распахнулъ широкія объятія для людей, а они что сдѣлали?

— Что это, какъ онъ смѣшно говоритъ!—замѣтилъ Петръ Иванычъ, обратясь къ женѣ.

— Тебѣ все смѣшно!—отвѣчала она.

— И самъ я отъ людей не требовалъ,—продолжалъ Александръ:—ни подвиговъ добра, ни великодушія, ни самоотверженія... требовалъ только должнаго, слѣдующаго мнѣ по всѣмъ правамъ...

— Такъ ты правъ? Вышелъ совсѣмъ сухъ изъ воды. Постой же, я выведу тебя на свѣжую воду...

Лизавета Александровна замѣтила, что супругъ ея заговорилъ строгимъ тономъ и встревожилась.

— Петръ Иванычъ!—шептала она:—перестань...

— Нѣтъ, пусть выслушаетъ правду. Я мигомъ кончу. Скажи, пожалуйста, Александръ, когда ты клеймилъ сейчасъ своихъ знакомыхъ, то негодяями, то дураками, у тебя въ сердцѣ не зашевелилось что-нибудь похожее на угрызеніе совѣсти?

— Отчего же, дядюшка?

— А оттого, что у этихъ звѣрей ты нѣсколько лѣтъ сряду находилъ всегда радушный пріемъ: положимъ, передъ тѣми, отъ кого эти люди добивались чего-нибудь, они

хитрили, строили имъ козни, какъ ты говоришь; а въ тебѣ имъ нечего было искать: что же заставило ихъ зазывать тебя къ себѣ, ласкать?.. Не хорошо, Александръ!..—прибавилъ серьезно Петръ Иванычъ. — Другой за одно это, если бъ и зналъ за ними какіе-нибудь грѣшки, такъ промолчалъ бы.

Александръ весь вспыхнулъ.

— Я приписывалъ ихъ внимательность къ себѣ вашей рекомендаціи, — отвѣчалъ онъ, но уже безъ достоинства, а довольно смиренно.—Притомъ это свѣтскія отношенія...

— Ну, хорошо; возьмемъ несвѣтскія. Я ужъ доказывалъ тебѣ, не знаю только доказалъ ли, что къ своей этой... какъ ее? Сашенькѣ, что ли? ты былъ несправедливъ. Ты полтора года былъ у нихъ въ домѣ какъ свой: жилъ тамъ съ утра до вечера, да еще былъ любимъ этой *презрѣнной дѣвчонкой*, какъ ты ее называешь. Кажется, это не презрѣнія заслуживаетъ...

— А зачѣмъ она измѣнила?

— То-есть полюбила другого? И это мы рѣшили удовлетворительно. Да неужели ты думаешь, что если бъ она продолжала любить тебя, ты бы не разлюбилъ ее?

— Я? никогда.

— Ну, такъ ты ничего не смыслишь. Пойдемъ дальше. Ты говоришь, что у тебя нѣтъ друзей, а я все думалъ, что у тебя ихъ трое.

— Трое? — воскликнулъ Александръ: — былъ когда-то одинъ, да и тотъ...

— Трое,—настойчиво повторилъ Петръ Иванычъ,—Первый, начнемъ по старшинству, этотъ *одинъ*. Не видавшись нѣсколько лѣтъ, другой бы, при встрѣчѣ, отвернулся отъ тебя, а онъ пригласилъ тебя къ себѣ, и когда ты пришелъ съ кислой миной, онъ съ участіемъ разспрашивалъ, не нужно ли тебѣ чего, сталъ предлагать тебѣ услуги, помощь, и я увѣренъ, что далъ бы и денегъ—да! а въ нашъ

вѣкъ объ этотъ пробный камень споткнется не одно чувство... нѣтъ ты познакомь меня съ нимъ: онъ, я вижу, человѣкъ порядочный... а по-твоему коварный.

Александръ стоялъ, потупя голову.

— Ну, какъ ты думаешь, кто твой второй другъ?—спросилъ Петръ Иванычъ.

— Кто? — сказалъ съ недоумѣніемъ Александръ: — да никто...

— Безсовѣстный!—перебилъ Петръ Иванычъ:—а? Лиза! и не краснѣетъ! а я какъ довожусь тебѣ, позволь спросить?

— Вы... родственникъ.

— Важный титулъ! Нѣтъ, я думалъ больше. Не хорошо, Александръ: это такая черта, которая даже на школьныхъ прописяхъ названа *гнусною*, и которой, кажется, у Крылова нѣтъ.

— Но вы всегда отталкивали меня... — робко говорилъ Александръ, не поднимая глазъ.

— Да, когда ты хотѣлъ обниматься.

— Вы смѣялись надо мной, надъ чувствомъ...

— А для чего, а зачѣмъ?—спросилъ Петръ Иванычъ.

— Вы слѣдили за мной шагъ за шагомъ.

— А! договорился! слѣдилъ! Найми-ка себѣ такого гувернера! Изъ чего я хлопоталъ? Я могъ бы еще прибавить кое-что, но это походило бы на пошлый упрекъ...

— Дядюшка!..—сказалъ Александръ, подходя къ нему и протягивая обѣ руки.

— На свое мѣсто: я еще не кончилъ!—холодно сказалъ Петръ Иванычъ.—Третьяго и лучшаго друга, надѣюсь, назовешь самъ...

Александръ опять смотрѣлъ на него и, кажется, спрашивалъ: «да гдѣ же онъ?» Петръ Иванычъ указалъ на жену.

— Вотъ она.

— Петръ Иванычъ,—перебила Лизавета Александровна:— не умничай, ради Бога, оставь...

— Нѣтъ, не мѣшай.

— Я умѣю цѣнить дружбу тетушки... — бормоталъ Александръ невнятно.

— Нѣтъ, не умѣешь: если бъ умѣлъ, ты бы не искалъ глазами друга на потолкѣ, а указалъ бы на нее. Если бъ чувствовалъ ея дружбу, ты, изъ уваженія къ ея достоинствамъ, не презиралъ бы людей. Она одна выкупила бы, въ глазахъ твоихъ, недостатки другихъ. Кто осушалъ твои слезы да хныкалъ съ тобой вмѣстѣ? Кто во всякомъ твоемъ вздорѣ принималъ участіе, и какое участіе! Развѣ только мать могла бы такъ горячо принимать къ сердцу все, что до тебя касается, и та не сумѣла бы. Если бъ ты чувствовалъ это, ты не улыбнулся бы давеча иронически, ты бы видѣлъ, что тутъ нѣтъ ни лисы, ни волка, а есть женщина, которая любитъ тебя, какъ родная сестра...

— Ахъ! ma tante! — сказалъ Александръ, растерянный и совсѣмъ уничтоженный этимъ упрекомъ: — неужели вы думаете, что я не цѣню этого и не считаю васъ блистательнымъ исключеніемъ изъ толпы? Боже, Боже! клянусь...

— Вѣрю, вѣрю, Александръ! — отвѣчала она: — вы не слушайте Петра Иваныча: онъ изъ мухи дѣлаетъ слона: радъ случаю поумничать. Перестань, ради Бога, Петръ Иванычъ.

— Сейчасъ, сейчасъ, кончу — *еще одно послѣднее сказанье!* Ты сказалъ, что исполняешь все, чего требуютъ отъ тебя твои обязанности къ другимъ?

Александръ уже ни слова не отвѣчалъ и не поднималъ глазъ.

— Ну, скажи, любишь ли ты свою мать?

Александръ вдругъ ожилъ.

— Какой вопросъ?—сказалъ онъ:—кого послѣ этого любить мнѣ? Я ее обожаю, я отдалъ бы за нее жизнь...

— Хорошо. Стало-быть, тебѣ извѣстно, что она живетъ, дышитъ только тобою, что всякая твоя радость и горе—

радость и горе для нея. Она теперь время считаетъ не мѣсяцами, не недѣлями, а вѣстями о тебѣ и отъ тебя... Скажи-ка, давно ли ты писалъ къ ней?

Александръ встрепенулся.

— Недѣли... три,—пробормоталъ онъ.

— Нѣтъ: четыре мѣсяца! Какъ прикажешь назвать такой поступокъ? Ну-ка, какой ты звѣрь? Можетъ-быть, оттого и не называешь, что у Крылова такого нѣтъ.

— А что?—вдругъ съ испугомъ спросилъ Александръ.

— А то, что старуха больна съ горя.

— Ужели? Боже! Боже!

— Неправда! неправда! — сказала Лизавета Александровна и тотчасъ же побѣжала къ бюро и достала оттуда письмо, которое подала Александру. — Она не больна, но очень тоскуетъ.

— Ты балуешь его, Лиза,—сказалъ Петръ Иванычъ.

— А ты ужъ не въ мѣру строгъ. У Александра были такія обстоятельства, которыя отвлекали его на время...

— Для дѣвчонки, забыть мать—славныя обстоятельства!

— Да полно, ради Бога! — сказала она убѣдительно и указала на племянника.

Александръ, прочитавъ письмо матери, закрылъ имъ себѣ лицо.

— Не мѣшайте дядюшкѣ, ma tante: пусть онъ гремитъ упреками; я заслужилъ хуже: я чудовище! — говорилъ онъ, дѣлая отчаянныя гримасы.

— Ну, успокойся, Александръ! — сказалъ Петръ Иванычъ: — такихъ чудовищъ много. Увлекся глупостью и на время забылъ о матери — это естественно; любовь къ матери—чувство покойное. У ней на свѣтѣ одно—ты: оттого ей естественно огорчаться. Казнить тебя тутъ еще не за что; скажу только словами любимаго твоего автора:

«Чѣмъ кумушекъ считать трудиться,
Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?»

и быть снисходительнымъ къ слабостямъ другихъ. Это такое правило, безъ котораго ни себѣ, ни другимъ житья не будетъ. Вотъ и все. Ну, я пойду уснуть.

— Дядюшка! вы сердитесь? — сказалъ Александръ голосомъ глубокаго раскаянія.

— Съ чего ты это взялъ? Изъ чего я стану себѣ портить кровь? и не думалъ сердиться. Я только хотѣлъ разъиграть роль медвѣдя въ баснѣ: *Мартышка и зеркало.* Что, вѣдь искусно разыгралъ? Лиза, а?

Онъ мимоходомъ хотѣлъ ее поцѣловать, но она увернулась.

— Кажется, я въ точности исполнилъ твои приказанія,— прибавилъ Петръ Иванычъ: — что же ты?.. да: забылъ одно... въ какомъ положеніи твое сердце, Александръ?— спросилъ онъ.

Александръ молчалъ.

— А денегъ не нужно? —спросилъ опять Петръ Иванычъ.

— Нѣтъ, дядюшка...

— Никогда не попроситъ! — сказалъ Петръ Иванычъ, затворяя за собою дверь.

— Что будетъ думать обо мнѣ дядюшка?—спросилъ Александръ, помолчавъ.

— То же, что и прежде, — отвѣчала Лизавета Александровна. — Вы думаете, что онъ говорилъ вамъ все это съ сердцемъ, отъ души?

— А какъ же?

— И! нѣтъ. Повѣрьте, что онъ поважничать хотѣлъ. Видите, какъ онъ все это методически сдѣлалъ? расположилъ доказательства противъ васъ по порядку: прежде слабыя, а потомъ посильнѣе; сначала вывѣдалъ причину вашихъ дурныхъ отзывовъ о людяхъ... а потомъ ужъ... вездѣ метода! Теперь и забылъ, я думаю.

— Сколько ума! какое знаніе жизни, людей, умѣнье владѣть собой!

— Да, много ума и слишкомъ много умѣнья владѣть собой,—задумчиво говорила Лизавета Александровна:—но...

— А вы, ma tante, вы перестанете уважать меня? Но повѣрьте, только такія потрясенія, какія были со мной, могли отвлечь меня... Боже! бѣдная маменька!

Лизавета Александровна подала ему руку.

— Я, Александръ, не перестану уважать въ васъ сердце,— сказала она.—Чувство вовлекаетъ васъ и въ ошибки, оттого я всегда извиню ихъ.

— Ахъ, ma tante! вы идеалъ женщины!

— Просто женщина.

На Александра довольно сильно подѣйствовалъ нагоняй дяди. Онъ тутъ же, сидя съ теткой, погрузился въ мучительныя думы. Казалось, спокойствіе, которое она съ такимъ трудомъ, такъ искусно водворила въ его сердцѣ, вдругъ оставило его. Напрасно ждала она какой-нибудь злой выходки, сама называлась на колкость и преусердно подводила подъ эпиграмму Петра Иваныча: Александръ былъ глухъ и нѣмъ. На него какъ-будто вылили ушатъ холодной воды.

— Что съ вами? отчего вы такіе?—спрашивала тетка.

— Да такъ, ma tante: что-то не весело на сердцѣ. Дядюшка далъ мнѣ понять меня самого: славно растолковалъ!

— Вы не слушайте его: онъ иногда и неправду говоритъ.

— Нѣтъ, не утѣшайте меня. Я теперь гадокъ самому себѣ. Презиралъ, ненавидѣлъ людей, а теперь и себя. Отъ людей можно скрыться, а отъ себя куда уйдешь? Такъ все ничтожно: всѣ эти блага, вся пустошь жизни, и люди, и самъ...

— Ахъ, этотъ Петръ Иванычъ! — промолвила съ глубокимъ вздохомъ Лизавета Александровна:—онъ хоть на кого нагонитъ тоску!

— Одно только отрицательное утѣшеніе и осталось мнѣ,

что я не обманулъ никого, не измѣнилъ ни въ любви, ни въ дружбѣ...

— Васъ не умѣли цѣнить, — промолвила тетка: — но повѣрьте, найдется сердце, которое васъ оцѣнитъ; я вамъ порука въ томъ. Вы еще такъ молоды, забудьте это все, займитесь: у васъ есть талантъ: пишите... Пишете ли вы что-нибудь теперь?

— Нѣтъ.

— Напишите.

— Боюсь, ma tante...

— Не слушайте Петра Иваныча: разсуждайте съ нимъ о политикѣ, объ агрономіи, о чемъ хотите, только не о поэзіи. Онъ вамъ никогда объ этомъ правды не скажетъ. Васъ оцѣнитъ публика—вы увидите... Такъ будете писать?

— Хорошо.

— Скоро начнете?

— Какъ только могу. Теперь на одно это и осталась надежда.

Петръ Иванычъ, выспавшись, пришелъ къ нимъ, одѣтый совсѣмъ и со шляпой въ рукахъ. Онъ тоже посовѣтовалъ Александру заняться дѣломъ по службѣ и по отдѣлу сельскаго хозяйства для журнала.

— Постараюсь, дядюшка, — отвѣчалъ Александръ: — но вотъ я обѣщалъ тетушкѣ...

Лизавета Александровна сдѣлала ему знакъ, чтобы онъ молчалъ, но Петръ Иванычъ замѣтилъ.

— Что, что обѣщалъ?—спросилъ онъ.

— Привезти новыя ноты,—отвѣчала она.

— Нѣтъ, неправда; что такое, Александръ?

— Написать повѣсть, или что-нибудь...

— Ты еще не отказался отъ изящной литературы?—говорилъ Петръ Иванычъ, обирая пылинки съ платья.—А ты, Лиза, сбиваешь его съ толку—напрасно!

— Я не въ правѣ отказаться отъ этого,—замѣтилъ Александръ.

— Кто жъ тебя неволитъ?

— Зачѣмъ я самовольно и неблагодарно отвергну почетное назначеніе, къ которому призванъ? Одна свѣтлая надежда въ жизни и осталась, а я уничтожу и ее? Если я погублю что свыше вложено въ меня, то погублю и себя...

— Да что вложено въ тебя такое, растолкуй мнѣ, пожалуйста?

— Этого я, дядюшка, не могу растолковать вамъ. Надо понимать самому. Воздымались ли у васъ на головѣ волосы отъ чего-нибудь, кромѣ гребенки?

— Нѣтъ!—сказалъ Петръ Иванычъ.

— Ну, вотъ видите. Бушевали ли въ васъ страсти, кипѣло ли воображеніе и создавало ли вамъ изящные призраки которые просились воплотиться! билось ли сердце особеннымъ біеніемъ?

— Дико, дико! Ну, такъ что жъ?—спросилъ Петръ Иванычъ.

— А то, что съ кѣмъ этого не бывало, такъ тому и растолковать нельзя, почему хочется писать, когда какой-то безпокойный духъ твердитъ, и днемъ, и ночью, и во снѣ, и на-яву: пиши, пиши...

— Да вѣдь ты не умѣешь писать?

— Полно, Петръ Иванычъ: самъ не умѣешь, такъ зачѣмъ же мѣшать другимъ?—сказала Лизавета Александровна.

— Извините, дядюшка, если замѣчу, что вы не судья въ этомъ дѣлѣ.

— Кто жъ судья? она?

Петръ Иванычъ указалъ на жену.

— Она—нарочно, а ты вѣришь,—прибавилъ онъ.

— Да и сами вы въ началѣ моего пріѣзда сюда совѣтовали писать, испытывать себя...

— Ну, такъ что жъ? попробовалъ—не выходитъ ничего: и бросить бы.

— Неужели вы никогда не нашли у меня ни дѣльной мысли, ни удачнаго стиха?

— Какъ не найти? есть. Ты не глупъ: какъ же у неглупаго человѣка въ нѣсколькихъ пудахъ сочиненій не найти удачной мысли? Такъ вѣдь это не талантъ, а умъ.

— Ахъ! — сказала Лизавета Александровна, съ досадой повернувшись на стулѣ.

— А біеніе сердца, трепетъ, сладостная нѣга и прочее такое—съ кѣмъ не бываетъ?

— Да съ тобой, я думаю, первымъ!—замѣтила жена.

— Ну, вотъ! А помнишь, я, бывало, восхищался...

— Чѣмъ это? не помню.

— Всѣ испытываютъ эти вещи,—продолжалъ Петръ Иванычъ, обращаясь къ племяннику: — кого не трогаютъ тишина или тамъ темнота ночи, что ли, шумъ дубравы, садъ, пруды, море? Если бъ это чувствовали одни художники, такъ некому было бы понимать ихъ. А отражать всѣ эти ощущенія въ своихъ произведеніяхъ — это другое дѣло: для этого нуженъ талантъ, а его у тебя, кажется, нѣтъ. Его не скроешь: онъ блеститъ въ каждой строкѣ, въ каждомъ ударѣ кисти...

— Петръ Иванычъ! тебѣ пора ѣхать,—сказала Лизавета Александровна.

— Сейчасъ.

— Отличиться хочется, — продолжалъ онъ: — тебѣ есть чѣмъ отличиться. Редакторъ хвалитъ тебя, говоритъ, что статьи твои о сельскомъ хозяйствѣ обработаны прекрасно, въ нихъ есть мысль — все показываетъ, говоритъ, ученаго производителя, а не ремесленника. Я порадовался. «Ба! думаю, Адуевы всѣ не безъ головы!» видишь: и у меня есть самолюбіе! Ты можешь отличиться и въ службѣ, и пріобрѣсть извѣстность писателя.

— Хороша извѣстность: писатель о наземѣ.

— Всякому свое: одному суждено витать въ небесныхъ пространствахъ, а другому рыться въ наземѣ и оттуда добывать сокровища. Я не понимаю, отчего пренебрегать скромнымъ назначеніемъ? и оно имѣетъ свою поэзію. Вотъ ты бы выслужился, нажилъ бы трудами денегъ, выгодно женился бы, какъ бо́льшая часть... Не понимаю, чего еще? Долгъ исполненъ, жизнь пройдена съ честью, трудолюбиво—вотъ въ чемъ счастье! по-моему, такъ. Вотъ я статскій совѣтникъ по чину, заводчикъ по ремеслу; а предложи-ка мнѣ взамѣнъ званіе перваго поэта, ей-Богу не возьму!

— Послушай, Петръ Иванычъ: ты, право, опоздаешь!—перебила Лизавета Александровна:—скоро десять часовъ!

— Въ самомъ дѣлѣ, пора. Ну, до свиданія. А то вообразятъ себя, Богъ знаетъ съ чего, необыкновенными людьми,—ворчалъ Петръ Иванычъ, уходя вонъ:—да и того...

II.

Александръ, возвратясь домой отъ дяди, сѣлъ въ кресло и задумался. Онъ припомнилъ весь разговоръ съ дядей и теткой и потребовалъ строгаго отчета отъ самого себя.

Какъ, въ свои лѣта, позволивъ себѣ ненавидѣть и презирать людей, разсмотрѣвъ и обсудивъ ихъ ничтожность, мелочности, слабости, перебравъ всѣхъ и каждаго изъ своихъ знакомыхъ, онъ забылъ разобрать себя! Какая слѣпота! И дядя далъ ему урокъ, какъ школьнику, разобралъ его по ниточкѣ, да еще при женщинѣ; что́ бы ему самому оглянуться на себя! Какъ дядя долженъ выиграть въ этотъ вечеръ въ глазахъ жены! Это бы, пожалуй, ничего, оно такъ и должно быть; но вѣдь онъ выигралъ на его счетъ. Дядя имѣетъ надъ нимъ неоспоримый верхъ, всюду и во всемъ.

«Гдѣ же», думалъ онъ: «послѣ этого преимущество молодости, свѣжести, пылкости ума и чувствъ, когда человѣкъ, съ нѣкоторою только опытностью, но съ черствымъ серд-

цемъ, безъ энергіи, уничтожаетъ его на каждомъ шагу, такъ, мимоходомъ, небрежно? Когда же споръ будетъ равенъ и когда, наконецъ, перевѣсъ будетъ на его сторонѣ? А на его сторонѣ, кажется, и талантъ, и избытокъ душевныхъ силъ... а дядя является исполиномъ въ сравненіи съ нимъ. Съ какою увѣренностью онъ споритъ, какъ легко устраняетъ всякое противорѣчіе и достигаетъ цѣли, шутя, съ зѣвотой, насмѣхаясь надъ чувствомъ, надъ сердечными изліяніями дружбы и любви, словомъ, надъ всѣмъ, въ чемъ пожилые люди привыкли завидовать молодымъ».

Перебирая все это въ умѣ, Александръ покраснѣлъ отъ стыда. Онъ далъ себѣ слово строго смотрѣть за собой и, при первомъ случаѣ, уничтожить дядю: доказать ему, что никакая опытность не замѣнитъ того, что *вложено свыше*; что, какъ онъ, Петръ Иванычъ, тамъ себѣ ни проповѣдуй, а съ этой минуты не сбудется ни одно изъ его холодныхъ, методическихъ предсказаній. Александръ самъ найдетъ свой путь и пойдетъ по немъ не робкими, а твердыми и ровными шагами. Онъ теперь не то, что былъ три года назадъ. Онъ проникъ взглядомъ въ тайники сердца, разсмотрѣлъ игру страстей, добылъ себѣ тайну жизни, конечно, не безъ мученій, но зато закалилъ себя противъ нихъ навсегда. Будущее ему ясно, онъ возсталъ, окрылился, — онъ не ребенокъ, а мужъ,—смѣло впередъ! Дядя увидитъ и, въ свою очередь, разыграетъ впослѣдствіи передъ нимъ, опытнымъ мастеромъ, роль жалкаго ученика; онъ узнаетъ, къ удивленію своему, что есть иная жизнь, иныя отличія, иное счастье, кромѣ жалкой карьеры, которую онъ себѣ избралъ и которую навязываетъ и ему, можетъ-быть, изъ зависти. Еще, еще одно благородное усиліе—и борьба кончена!

Александръ ожилъ. Онъ опять сталъ творить особый міръ, нѣсколько помудрѣе перваго. Тетка поддерживала въ немъ это расположеніе, но тайкомъ, когда Петръ Иванычъ спалъ или уѣзжалъ на заводъ и въ англійскій клубъ.

Она разспрашивала Александра о занятіяхъ. А ужъ какъ это нравилось ему. Онъ разсказывалъ ей планъ своихъ сочиненій и иногда, въ видѣ совѣта, требовалъ одобренія.

Она часто спорила съ нимъ, но еще чаще соглашалась.

Александръ привязался къ труду, какъ привязываются къ послѣдней надеждѣ.—За этимъ,—говорилъ онъ теткѣ:— вѣдь ужъ ничего нѣтъ: тамъ голая степь, безъ воды, безъ зелени, мракъ, пустыня; — что тогда будетъ жизнь? хоть въ гробъ ложись!—И онъ работалъ неутомимо.

Иногда угасшая любовь придетъ на память, онъ взволнуется — и за перо: и напишетъ трогательную элегію. Въ другой разъ желчь хлынетъ къ сердцу и подниметъ со дна недавно бушевавшую тамъ ненависть и презрѣніе къ людямъ—смотришь—и родится нѣсколько энергическихъ стиховъ. Въ то же время онъ обдумывалъ и писалъ повѣсть. Онъ потратилъ на нее много размышленія, чувства, матеріальнаго труда и около полугода времени. Вотъ, наконецъ, повѣсть готова, пересмотрѣна и переписана набѣло. Тетка была въ восхищеніи.

Въ этой повѣсти дѣйствіе происходило уже не въ Америкѣ, а гдѣ-то въ тамбовской деревнѣ. Дѣйствующія лица были обыкновенные люди: клеветники, лжецы и всякаго рода изверги—во фракахъ, измѣнницы въ корсетахъ и въ шляпкахъ. Все было прилично, на своихъ мѣстахъ.

— Я думаю, ma tante, это можно показать дядюшкѣ?

— Да, да, конечно, — отвѣчала она: — а впрочемъ... не лучше ли отдать напечатать такъ, безъ него? Онъ всегда противъ этого: скажетъ что-нибудь... Вы знаете, это кажется ему ребячествомъ.

— Нѣтъ, лучше показать! — отвѣчалъ Александръ. — Я послѣ вашего суда и собственнаго сознанія, не боюсь никого, а между тѣмъ, пусть онъ увидитъ...

Показали. Петръ Иванычъ, увидя тетрадь, немного нахмурился и покачалъ головой.

— Что это, вы вдвоемъ сочинили?—спросилъ онъ:—что-то много. Да какъ мелко писано: охота же писать!

— Ты погоди качать головой,—отвѣчала жена: — а прежде выслушай. — Прочтите намъ, Александръ. — Только ты выслушай внимательно, не дремли и скажи потомъ свой приговоръ. Недостатки вездѣ можно найти, если захочешь искать ихъ. А ты будь снисходителенъ.

— Нѣтъ, зачѣмъ? будьте только справедливы, — прибавилъ Александръ.

— Нечего дѣлать; я выслушаю, — сказалъ Петръ Иванычъ со вздохомъ: — только съ условіемъ, во-первыхъ, не послѣ обѣда вскорѣ читать, а то я за себя не ручаюсь, что не засну. Этого, Александръ, на свой счетъ не принимай; что бы ни читали послѣ обѣда, а меня всегда клонитъ сонъ; а во-вторыхъ, если это что-нибудь дѣльное, то я скажу свое мнѣніе, а нѣтъ — я буду только молчать, а вы тамъ какъ себѣ хотите.

Стали читать. Петръ Иванычъ ни разу не вздремнулъ, слушалъ, не сводя глазъ съ Александра, даже рѣдко мигалъ, а два раза такъ одобрительно кивнулъ головой.

— Видишь!—сказала жена вполголоса.—Я тебѣ говорила.

Онъ ей кивнулъ.

Читали два вечера сряду. Въ первый вечеръ, послѣ чтенія, Петръ Иванычъ разсказалъ, къ удивленію жены, все, что будетъ дальше.

— Ты почему знаешь?—спросила она.

— Мудрено! Идея ужъ не новая, — тысячу разъ писали объ этомъ. Дальше и читать бы не нужно, да посмотримъ, какъ она развилась у него.

Когда, на другой вечеръ, Александръ дочитывалъ послѣднюю страницу, Петръ Иванычъ позвонилъ. Вошелъ человѣкъ.

— Приготовь одѣться, — сказалъ онъ. — Извини, Але-

ксандръ, что перервалъ: тороплюсь, — опоздаю въ клубъ къ висту.

Александръ кончилъ. Петръ Иванычъ проворно пошелъ вонъ.

— Ну, до свиданья!—сказалъ онъ женѣ и Александру.— Я ужъ не зайду сюда.

— Постой! постой!—закричала жена:—что жъ ты ничего не скажешь о повѣсти?

— По уговору не слѣдуетъ!—отвѣчалъ онъ и хотѣлъ идти.

— Это упрямство!—сказала она.—О, онъ упрямъ—я его знаю! Вы не смотрите на это, Александръ.

«Это недоброжелательство!» подумалъ Александръ. «Онъ меня хочетъ втоптать въ грязь, стащить въ свою сферу. Все-таки онъ умный чиновникъ, заводчикъ—и больше ничего, а я поэтъ...»

— Это изъ рукъ вонъ, Петръ Иванычъ! — начала жена чуть не со слезами.—Ты хоть что-нибудь скажи. Я видала, что ты, въ знакъ одобренія, качалъ головой, стало-быть, тебѣ понравилось. Только по упрямству не хочешь сознаться. Какъ сознаться, что намъ нравится повѣсть! Мы слишкомъ умны для этого. Признайся, что хорошо.

— Я качалъ головой потому, что и изъ этой повѣсти видно, что Александръ уменъ, но онъ неумно сдѣлалъ, что написалъ ее.

— Однакожъ, дядюшка, судъ такого рода...

— Послушай: вѣдь ты мнѣ не вѣришь, нечего и спорить; изберемъ лучше посредника. Я даже вотъ что сдѣлаю, чтобъ кончить это между нами однажды навсегда: я назовусь авторомъ этой повѣсти и отошлю ее къ моему пріятелю, сотруднику журнала: посмотримъ, что онъ скажетъ. Ты его знаешь и, вѣроятно, положишься на его судъ. Онъ человѣкъ опытный.

— Хорошо, посмотримъ.

Петръ Иванычъ сѣлъ къ столу и наскоро написалъ нѣсколько строкъ, потомъ передалъ письмо Александру.

«Я, на старости лѣтъ, пустился въ авторство», писалъ онъ: «что дѣлать: хочется прославиться, взять и тутъ, — съ ума сошелъ! Вотъ я и произвелъ прилагаемую при семъ повѣсть. Просмотрите ее, и если годится, то напечатайте въ вашемъ журналѣ, разумѣется, за деньги: вы знаете, я даромъ работать не люблю. Вы удивитесь и не повѣрите, но я позволяю вамъ даже подписать мою фамилію, сталобыть, не лгу».

Увѣренный въ благопріятномъ отзывѣ о повѣсти, Александръ покойно ожидалъ отвѣта. Онъ даже радовался, что дядя упомянулъ въ запискѣ о деньгахъ.

«Очень, очень умно», думалъ онъ. «Маменька жалуется, что хлѣбъ дешевъ: пожалуй, не скоро пришлетъ денегъ; а тутъ оно и кстати получить тысячи полторы».

Прошло, однакоже, недѣли три, отвѣта все не было. Вотъ наконецъ, однажды утромъ, къ Петру Иванычу принесли большой пакетъ и письмо.

— А! назадъ прислали!—сказалъ онъ, лукаво взглянувъ на жену.

Онъ не распечаталъ записки и не показалъ женѣ, какъ она ни просила. Въ тотъ же день вечеромъ, передъ тѣмъ, какъ ѣхать въ клубъ, онъ самъ отправился къ племяннику.

Дверь была не заперта. Онъ вошелъ. Евсей храпѣлъ, растянувшись въ передней діагонально на полу. Свѣтильня страшно нагорѣла и свѣсилась съ подсвѣчника. Онъ заглянулъ въ другую комнату: темно.

«О, провинція!» проворчалъ Петръ Иванычъ.

Онъ растолкалъ Евсея, показалъ ему на дверь, на свѣчку и погрозилъ тростью. Въ третьей комнатѣ за столомъ сидѣлъ Александръ, положивъ руки на столъ, а на руки голову, и тоже спалъ. Передъ нимъ лежала бумага. Петръ Иванычъ взглянулъ—стихи.

Онъ взялъ бумагу и прочиталъ слѣдующее:

Весны пора прекрасная минула,
Исчезъ на вѣкъ волшебный мигъ любви,
Она въ груди могильнымъ сномъ уснула
И пламенемъ не пробѣжитъ въ крови!
На алтарѣ ея осиротѣломъ
Давно другой кумиръ воздвигнулъ я,
Молюсь ему... но...

— И самъ уснулъ! Молись, милый, не лѣнись!—сказалъ вслухъ Петръ Иванычъ.—Свои же стихи, да какъ уходили тебя! Зачѣмъ другого приговора? самъ изрекъ себѣ.

— А!—сказалъ Александръ, потягиваясь: — вы все еще противъ моихъ сочиненій! Скажите, дядюшка, откровенно, что̀ заставляетъ васъ такъ настойчиво преслѣдовать талантъ, когда нельзя не признать.

— Да зависть, Александръ. Посуди самъ: ты пріобрѣтешь славу, почетъ, можетъ-быть, еще безсмертіе, а я останусь темнымъ человѣкомъ и принужденъ буду довольствоваться названіемъ полезнаго труженика. А вѣдь я тоже Адуевъ! воля твоя, обидно! Что я такое? прожилъ вѣкъ свой тихо, безвѣстно, исполнилъ только свое дѣло и былъ еще гордъ и счастливъ этимъ. Не жалкій ли удѣлъ? Когда умру, то-есть ничего не буду чувствовать и знать, *струны вѣщія баяновъ* не станутъ говорить обо мнѣ, *отдаленные внуки, потомство, міръ* не наполнятся моимъ именемъ, не узнаютъ, что жилъ на свѣтѣ статскій совѣтникъ Петръ Иванычъ Адуевъ, и я не буду уѣшаться этимъ въ гробѣ, если я и гробъ уцѣлѣемъ какъ-нибудь до потомства. Какая разница ты: когда, *расширяся шумящими крылами,* будешь летать *подъ облаками,* мнѣ придется утѣшаться только тѣмъ, что въ массѣ человѣческихъ трудовъ есть *капля и моего меда,* какъ говоритъ твой любимый авторъ.

— Оставьте его, ради Бога, въ сторонѣ; что онъ за любимый авторъ! Издѣвается только надъ ближнимъ.

— А! издѣвается! Не съ тѣхъ ли поръ ты разлюбилъ Крылова, какъ увидѣлъ у него свой портретъ? А propos! знаешь ли, что твоя будущая слава, твое безсмертіе у меня въ карманѣ? но я желалъ бы лучше, чтобъ тамъ были твои деньги: это вѣрнѣе.

— Какая слава?

— А отвѣтъ на мою записку.

— Ахъ! дайте, ради Бога, скорѣе. Что онъ пишетъ?

— Я не читалъ; прочитай самъ, да вслухъ.

— И вы могли утерпѣть?

— Да мнѣ-то что?

— Какъ что! Вѣдь я вашъ родной племянникъ: какъ не полюбопытствовать? Какая холодность! это эгоизмъ, дядюшка?

— Можетъ-быть: я не запираюсь. Впрочемъ, я знаю, что тутъ написано. На, читай!

Александръ началъ читать громко, а Петръ Иванычъ постукивалъ палкой по сапогамъ. Въ запискѣ было вотъ что:

«Что это за мистификація, мой любезнѣйшій Петръ Иванычъ? Вы пишете повѣсти! Да кто жъ вамъ повѣритъ? И вы думали обморочить меня, стараго воробья! А если бъ, чего Боже сохрани, это была правда, если бъ вы оторвали на время ваше перо отъ дорогихъ, въ буквальномъ смыслѣ, строкъ, изъ которыхъ каждая, конечно, не одинъ червонецъ стоитъ, и переставъ выводить почтенные итоги, произвели бы лежащую передо мною повѣсть, то я и тогда сказалъ бы вамъ, что хрупкія произведенія вашего завода гораздо прочнѣе этого творенія...»

У Александра голосъ вдругъ упалъ.

«Но я отвергаю такое обидное подозрѣніе на вашъ счетъ», продолжалъ онъ робко и тихо.

— Не слышу, Александръ, погромче! — сказалъ Петръ Иванычъ.

Александръ продолжалъ тихимъ голосомъ.

«Принимая участіе въ авторѣ повѣсти, вы вѣроятно хотите знать мое мнѣніе. Вотъ оно. Авторъ долженъ быть молодой человѣкъ. Онъ не глупъ, но что-то не путемъ сердитъ на весь міръ. Въ какомъ озлобленномъ, ожесточенномъ духѣ пишетъ онъ! Вѣрно разочарованный. О, Боже! когда переведется этотъ народъ? Какъ жаль, что отъ фальшиваго взгляда на жизнь гибнетъ у насъ много дарованій въ пустыхъ, безплодныхъ мечтахъ, въ напрасныхъ стремленіяхъ къ тому, къ чему они не призваны».

Александръ остановился и перевелъ духъ. Петръ Иванычъ закурилъ сигару и пустилъ кольцо дыму. Лицо его, по обыкновенію, выражало совершенное спокойствіе. Александръ продолжалъ читать глухимъ, едва слышнымъ голосомъ:

«Самолюбіе, мечтательность, преждевременное развитіе сердечныхъ склонностей и неподвижность ума, съ неизбѣжнымъ послѣдствіемъ—лѣнью—вотъ причины этого зла. Наука, трудъ, практическое дѣло—вотъ что можетъ отрезвить нашу праздную и больную молодежь».

— Все дѣло можно бы въ трехъ строкахъ объяснить,— сказалъ Петръ Иванычъ, поглядѣвъ на часы: — а онъ въ пріятельскомъ письмѣ написалъ цѣлую диссертацію! ну, не педантъ ли? Читать ли дальше, Александръ? брось: скучно. Мнѣ бы надо тебѣ кое-что сказать...

— Нѣтъ, дядюшка, позвольте, ужъ я выпью чашу до дна: дочитаю.

— Ну, читай на здоровье.

«Это печальное направленіе душевныхъ способностей», читалъ Александръ: «обнаруживается въ каждой строкѣ присланной вами повѣсти. Скажите же вашему protégé, что писатель тогда только, во-первыхъ, напишетъ дѣльно, когда не будетъ находиться подъ вліяніемъ личнаго увлеченія и пристрастія. Онъ долженъ обозрѣвать покойнымъ и свѣтлымъ взглядомъ жизнь и людей вообще, — иначе выразитъ

только свое *я*, до котораго никому нѣтъ дѣла. Этотъ недостатокъ сильно преобладаетъ въ повѣсти. Второе и главное условіе—этого, пожалуй, автору не говорите, изъ сожалѣнія къ молодости и авторскому самолюбію, самому безпокойному изъ всѣхъ самолюбій—нуженъ талантъ, а его тутъ и слѣда нѣтъ. Языкъ, впрочемъ, вездѣ правиленъ и чистъ; авторъ даже обладаетъ слогомъ»... Насилу дочиталъ Александръ.

— Вотъ давно бы такъ!—сказалъ Петръ Иванычъ: — а то, Богъ знаетъ, что наговорилъ! О прочемъ мы съ тобой и безъ него разсудимъ.

У Александра опустились руки. Онъ молча, какъ человѣкъ, оглушенный неожиданнымъ ударомъ, глядѣлъ мутными глазами прямо въ стѣну. Петръ Иванычъ взялъ у него письмо и прочиталъ въ P. S. слѣдующее: «Если вамъ непремѣнно хочется помѣстить эту повѣсть въ нашъ журналъ — пожалуй, для васъ, въ лѣтніе мѣсяцы, когда мало читаютъ, я помѣщу, но о вознагражденіи и думать нельзя».

— Ну, что, Александръ, какъ ты себя чувствуешь?— спросилъ Петръ Иванычъ.

— Покойнѣе, нежели можно ожидать,—отвѣчалъ съ усиліемъ Александръ.—Чувствую какъ человѣкъ обманутый во всемъ.

— Нѣтъ, какъ человѣкъ, который обманывалъ самъ себя, да хотѣлъ обмануть и другихъ...

Александръ не слыхалъ этого возраженія.

— Ужели и это мечта?.. и это измѣнило?.. — шепталъ онъ.—Горькая утрата! Что жъ, не привыкать стать обманываться! Но зачѣмъ же, я не понимаю, вложены были въ меня всѣ эти неодолимыя побужденія къ творчеству?..

— Вотъ то-то! въ тебя вложили побужденія, а самое творчество видно и забыли вложить,—сказалъ Петръ Иванычъ:—я говорилъ!

Александръ отвѣчалъ вздохомъ и задумался. Потомъ вдругъ съ живостью бросился отворять всѣ ящики, досталъ

нѣсколько тетрадей, листковъ, клочковъ и началъ съ ожесточеніемъ бросать въ каминъ.

— Вотъ это не забудь!—сказалъ Петръ Иванычъ, подвигая къ нему листокъ съ начатыми стихами, лежавшій на столѣ.

— И это туда же!—говорилъ Александръ съ отчаяніемъ, бросая стихи въ каминъ.

— Нѣтъ ли еще чего? Поищи-ка хорошенько,—спросилъ Петръ Иванычъ, осматриваясь кругомъ:—ужъ за одинъ бы разъ дѣлать умное дѣло. Вонъ, что тамъ это на шкафѣ за связка?

— Туда же! — говорилъ Александръ, доставая ее: — это статьи о сельскомъ хозяйствѣ.

— Не жги, не жги этого! Отдай мнѣ! — сказалъ Петръ Иванычъ, протягивая руку:—это не пустяки.

Но Александръ не слушалъ.

— Нѣтъ!— сказалъ онъ со злостью: — если погибло для меня благородное творчество въ сферѣ изящнаго, такъ я не хочу и труженичества: въ этомъ судьба меня не переломитъ!

И связка полетѣла въ каминъ.

— Напрасно!—замѣтилъ Петръ Иванычъ и между тѣмъ самъ палкой шарилъ въ корзинѣ подъ столомъ, нѣтъ ли еще чего-нибудь бросить въ огонь.

— А что же мы съ повѣстью сдѣлаемъ, Александръ? Она у меня.

— Не нужно ли вамъ оклеить перегородки?

— Нѣтъ, теперь нѣтъ. Не послать ли за ней? Евсей! Опять заснулъ: смотри, тамъ мою шинель у тебя подъ носомъ украдутъ! Сходи скорѣе ко мнѣ, спроси тамъ у Василья толстую тетрадь, что лежитъ въ кабинетѣ на бюро, и принеси сюда.

Александръ сидѣлъ, опершись на руку, и смотрѣлъ въ каминъ. Принесли тетрадь. Александръ посмотрѣлъ на плодъ

полугодовыхъ трудовъ и задумался. Петръ Иванычъ замѣтилъ это.

Оба стали смотрѣть, какъ она загорится: Петръ Иванычъ, повидимому, съ удовольствіемъ, Александръ съ грустью, почти со слезами. Вотъ верхній листъ зашевелился и поднялся, какъ будто невидимая рука перевертывала его; края его загнулись, онъ почернѣлъ, потомъ скоробился и вдругъ вспыхнулъ; за нимъ быстро вспыхнулъ другой, третій, а тамъ вдругъ нѣсколько поднялись и загорѣлись кучей, но слѣдующая подъ ними страница еще бѣлѣлась и черезъ двѣ секунды тоже начала чернѣть по краямъ.

Александръ, однакожъ, успѣлъ прочесть на ней: глава III-я. Онъ вспомнилъ, что было въ этой главѣ, и ему стало жаль ее. Онъ всталъ съ креселъ и схватилъ щипцы, чтобы спасти остатки своего творенія. «Можетъ-быть, еще»... шептала ему надежда.

— Постой, вотъ я лучше тростью,—сказалъ Петръ Иванычъ:—а то обожжешься щипцами.

Онъ подвинулъ тетрадь въ глубину камина, прямо на уголья. Александръ остановился въ нерѣшимости. Тетрадь была толста и не вдругъ поддалась дѣйствію огня. Изъподъ нея сначала повалилъ густой дымъ; пламя изрѣдка вырвется снизу, лизнетъ ее по боку, оставитъ черное пятно и опять спрячется. Еще можно было спасти. Александръ ужъ протянулъ руку, но въ ту жъ секунду пламя озарило и кресла, и лицо Петра Иваныча, и столъ; вся тетрадь вспыхнула и черезъ минуту потухла, оставивъ по себѣ кучу чернаго пепла, по которому мѣстами пробѣгали огненныя змѣйки. Александръ бросилъ щипцы.

— Все кончено!—сказалъ онъ.

— Кончено!—повторилъ Петръ Иванычъ.

— Ухъ!—промолвилъ Александръ:—я свободенъ!

— Ужъ это въ другой разъ я помогаю тебѣ очищать

квартиру,—сказалъ Петръ Иванычъ:—надѣюсь, что на этотъ разъ...

— Невозвратно, дядюшка.

— Аминь! — примолвилъ дядя, положивъ ему руки на плеча.—Ну, Александръ, совѣтую тебѣ не медлить: сейчасъ же напиши къ Ивану Иванычу, чтобы прислалъ тебѣ работу въ отдѣленіе сельскаго хозяйства. Ты, по горячимъ слѣдамъ, послѣ всѣхъ глупостей, теперь напишешь преумную вещь. А онъ все заговариваетъ: «что жъ, говоритъ, вашъ племянникъ»...

Александръ съ грустью покачалъ головой.

— Не могу,—сказалъ онъ:—нѣтъ, не могу: все кончено.

— Что жъ ты станешь теперь дѣлать?

— Что?—спросилъ онъ и задумался:—теперь пока ничего.

— Это только въ провинціи какъ-то умѣютъ ничего не дѣлать; а здѣсь... зачѣмъ же ты пріѣзжалъ сюда? Это непонятно!.. Ну, пока довольно объ этомъ. У меня до тебя есть просьба.

Александръ медленно приподнялъ голову и взглянулъ на дядю вопросительно.

— Вѣдь ты знаешь,—началъ Петръ Иванычъ, подвигая къ Александру свои кресла:—моего компаніона Суркова?

Александръ кивнулъ головой.

— Да, ты иногда обѣдывалъ у меня съ нимъ, только успѣлъ ли ты разглядѣть хорошенько, что это за птица? Онъ добрый малый, но препустой. Господствующая его слабость—женщины. Онъ же, къ несчастію, какъ ты видишь, недуренъ собой, то-есть румянъ, гладокъ, высокъ, ну, всегда завитъ, раздушенъ, одѣтъ по картинкѣ: вотъ и воображаетъ, что всѣ женщины отъ него безъ ума—такъ, фатъ! Да чортъ съ нимъ совсѣмъ, я бы не замѣтилъ этого; но вотъ бѣда: чуть заведется страстишка, онъ и пошелъ мотать. Тутъ у него пойдутъ и сюрпризы, и подарки, и угожденія; самъ пустится въ щегольство, начнетъ мѣнять экипажи, лоша-

дей... просто разоренье! И за моей женой волочился. Бывало, ужъ я и не забочусь посылать человѣка за билетомъ въ театръ: Сурковъ непремѣнно привезетъ. Лошадей ли надо промѣнять, достать ли что-нибудь рѣдкое, толпу ли растолкать, съѣздить ли осмотрѣть дачу, куда ни пошлешь— золото! Ужъ какъ былъ полезенъ: этакаго за деньги не наймешь. Жаль! Я нарочно не мѣшалъ ему, да женѣ очень надоѣлъ: я и прогналъ. Вотъ, когда онъ этакъ пустится мотать, ему ужъ недостаетъ процентовъ, онъ начинаетъ просить денегъ у меня — откажешь, заговариваетъ о капиталѣ. «Что, говоритъ, мнѣ вашъ заводъ? никогда нѣтъ свободныхъ денегъ въ рукахъ!» Добро бы взялъ какую-нибудь... такъ нѣтъ: все ищетъ связей въ свѣтѣ: «мнѣ, говоритъ, надобно *благородную интригу:* я безъ любви жить не могу!» не оселъ ли? Малому чуть не сорокъ лѣтъ и не можетъ жить безъ любви!

Александръ вспомнилъ о себѣ и печально улыбнулся.

— Онъ все вретъ, — продолжалъ Петръ Иванычъ. — Я послѣ разсмотрѣлъ, о чемъ онъ хлопочетъ. Ему только бы похвастаться, — чтобъ о немъ говорили, что онъ въ связи съ такой-то, что видятъ въ ложѣ у такой-то, или что онъ на дачѣ сидѣлъ вдвоемъ на балконѣ поздно вечеромъ, катался, что ли, тамъ съ ней гдѣ-нибудь въ уединенномъ мѣстѣ, въ коляскѣ или верхомъ. А между тѣмъ выходитъ, что эти такъ-называемыя *благородныя интриги* — чтобъ чортъ ихъ взялъ! гораздо дороже обходятся, чѣмъ неблагородныя. Вотъ изъ чего бьется дурачина!

— Къ чему же это все ведетъ, дядюшка?—спросилъ Александръ:—я не вижу, что я могу тутъ сдѣлать.

— А вотъ увидишь. Недавно воротилась сюда изъ-за границы молодая вдова, Юлія Павловна Тафаева. Она очень недурна собой. Съ мужемъ я и Сурковъ были пріятели. Тафаевъ умеръ въ чужихъ краяхъ. Ну, догадываешься?

— Догадываюсь: Сурковъ влюбился во вдову.

— Такъ: совсѣмъ одурѣлъ! а еще?

— Еще... не знаю...

— Экой какой! Ну, слушай: Сурковъ мнѣ раза два проговорился, что ему скоро понадобятся деньги. Я сейчасъ догадался, что̀ это значитъ, только съ какой стороны вѣтеръ дуетъ—не могъ угадать. Я допытываться, зачѣмъ деньги? Онъ мялся, мялся, наконецъ сказалъ, что хочетъ отдѣлать себѣ квартиру на Литейной. Я припоминать, что̀ бы такое было на Литейной—и вспомнилъ, что Тафаева живетъ тамъ же и прямёхонько противъ того мѣста, которое онъ выбралъ. Ужъ и задатокъ далъ. Бѣда грозитъ неминучая, если... не поможешь ты. Теперь догадался?

Александръ поднялъ носъ немного кверху, провелъ взглядомъ по стѣнѣ, по потолку, потомъ мигнулъ раза два и сталъ глядѣть на дядю, но молчалъ.

Петръ Иванычъ смотрѣлъ на него съ улыбкой. Онъ страхъ любилъ замѣтить въ комъ-нибудь промахъ со стороны ума, догадливости и дать почувствовать это.

— Что это, Александръ, съ тобой? А еще повѣсти пишешь!—сказалъ онъ.

— Ахъ, догадался, дядюшка!

— Ну, слава Богу!

— Сурковъ проситъ денегъ; у васъ ихъ нѣтъ, вы хотите, чтобъ я...

И не договорилъ.

Петръ Иванычъ засмѣялся. Александръ не кончилъ фразы и смотрѣлъ на дядю въ недоумѣніи.

— Нѣтъ, не то! — сказалъ Петръ Иванычъ. — Развѣ у меня когда-нибудь не бываетъ денегъ? Попробуй обратиться, когда хочешь, увидишь! А вотъ что: Тафаева черезъ него напомнила мнѣ о знакомствѣ съ ея мужемъ. Я заѣхалъ. Она просила посѣщать ее; я обѣщалъ и сказалъ, что привезу тебя: ну, теперь, надѣюсь, понялъ?

— Меня? — повторилъ Александръ, глядя во всѣ глаза на дядю.—Да, конечно... теперь понялъ...—торопливо прибавилъ онъ, но на послѣднемъ словѣ запнулся.

— А что ты понялъ?—спросилъ Петръ Иванычъ.

— Хоть убейте, ничего, дядюшка, не понимаю! Позвольте... можетъ быть у ней пріятный домъ... вы хотите, чтобъ я разсѣялся... такъ какъ мнѣ скучно...

— Вотъ, прекрасно! стану я возить тебя для этого по домамъ! Послѣ этого недостаетъ только, чтобъ я тебѣ закрывалъ на ночь ротъ платкомъ отъ мухъ! Нѣтъ, все не то. А вотъ въ чемъ дѣло: влюби-ка въ себя Тафаеву.

Александръ вдругъ поднялъ брови и посмотрѣлъ на дядю.

— Вы шутите, дядюшка? это нелѣпо!—сказалъ онъ.

— Тамъ, гдѣ точно есть нелѣпости, ты ихъ дѣлаешь очень важно, а гдѣ дѣло просто и естественно—это у тебя нелѣпости. Что жъ тутъ нелѣпаго? Разбери, какъ нелѣпа сама любовь: игра крови, самолюбіе... Да что толковать съ тобой: вѣдь ты все еще вѣришь въ неизбѣжное назначеніе кого любить, въ симпатію душъ!

— Извините: теперь ни во что не вѣрю. Но развѣ можно влюбить и влюбиться по произволу?

— Можно, но не для тебя. Не бойся: я такого мудренаго порученія тебѣ не дамъ. Ты вотъ только что сдѣлай. Ухаживай за Тафаевой, будь внимателенъ, не давай Суркову оставаться съ ней наединѣ... ну, просто, взбѣси его. Мѣшай ему: онъ слово, ты два, онъ мнѣніе, ты опроверженіе. Сбивай его безпрестанно съ толку, уничтожай на каждомъ шагу...

— Зачѣмъ?

— Все еще не понимаешь? А затѣмъ, мой милый, что онъ сначала будетъ съ ума сходить отъ ревности и досады, потомъ охладѣетъ. Это у него скоро слѣдуетъ одно за другимъ. Онъ самолюбивъ до глупости. Квартира тогда не понадобится, капиталъ останется цѣлъ, заводскія дѣла пой-

дутъ своимъ чередомъ... ну, понимаешь? Ужъ это въ пятый разъ я съ нимъ играю шутку: прежде, бывало, когда былъ холостой и помоложе, самъ, а не то, кого-нибудь изъ пріятелей подошлю.

— Но я съ нею незнакомъ,—сказалъ Александръ.

— А для этого-то я и повезу тебя къ ней въ среду. По средамъ у ней собираются кое-кто изъ старыхъ знакомыхъ.

— А если она отвѣчаетъ любви Суркова, тогда, согласитесь, что мои угожденія и внимательность взбѣсятъ не одного его.

— Э, полно! Порядочная женщина, разглядѣвъ дурака, перестанетъ имъ заниматься, особенно при свидѣтеляхъ: самолюбіе не позволитъ. Тутъ же около будетъ другой, поумнѣе и покрасивѣе: она посовѣстится, скорѣй броситъ. Вотъ для этого я и выбралъ тебя.

Александръ поклонился.

— Сурковъ не опасенъ,—продолжалъ дядя:—но Тафаева принимаетъ очень немногихъ, такъ что онъ можетъ, пожалуй, въ ея маленькомъ кругу прослыть и львомъ, и умникомъ. На женщинъ много дѣйствуетъ внѣшность. Онъ же мастеръ угодить, ну, его и терпятъ. Она, можетъ-быть, кокетничаетъ съ нимъ, а онъ и того... И умныя женщины любятъ, когда для нихъ дѣлаютъ глупости, особенно дорогія. Только онѣ любятъ бо̀льшею частью при этомъ не того, кто ихъ дѣлаетъ, а другого... Многіе этого не хотятъ понять, въ томъ числѣ и Сурковъ,—вотъ ты и вразуми его.

— Но Сурковъ, вѣроятно, тамъ и не по средамъ бываетъ: въ среду я ему помѣшаю, а въ другіе дни какъ?

— Все учи тебя! Ты польсти ей, прикинься немножко влюбленнымъ — со второго раза она пригласитъ тебя ужъ не въ среду, а въ четвергъ или въ пятницу; ты удвой внимательность, а я потомъ немножко ее настрою, намекну, будто ты и въ самомъ дѣлѣ—того... Она, кажется... сколько

я могъ замѣтить... такая чувствительная... должно-быть, слабонервная... она, я думаю, тоже не прочь отъ симпатіи... отъ изліяній...

— Какъ это можно?—говорилъ въ раздумьи Александръ.— Если бъ я могъ еще влюбиться—такъ? а то не могу... и успѣха не будетъ.

— Напротивъ, тутъ-то и будетъ. Если бъ ты влюбился, ты не могъ бы притворяться, она сейчасъ бы замѣтила и пошла бы играть съ вами съ обоими въ дураки. А теперь... да ты мнѣ взбѣси только Суркова: ужъ я знаю его, какъ свои пять пальцевъ. Онъ, какъ увидитъ, что ему не везетъ, не станетъ тратить деньги даромъ, а мнѣ это только и нужно... Слушай, Александръ, это очень важно для меня: если ты это сдѣлаешь—помнишь двѣ вазы, что понравились тебѣ на заводѣ? онѣ—твои: только пьедесталъ ты самъ купи.

— Помилуйте, дядюшка, неужели вы думаете, что я...

— Да за что жъ ты станешь даромъ хлопотать, терять время? Вотъ прекрасно! Ничего! вазы очень красивы. Въ нашъ вѣкъ безъ ничего, ничего и не дѣлаютъ. Когда я что-нибудь для тебя сдѣлаю, предложи мнѣ подарокъ: я возьму.

— Странное порученіе! — сказалъ Александръ нерѣшительно.

— Надѣюсь, ты не откажешься исполнить его для меня. Я для тебя тоже готовъ сдѣлать, что могу: когда понадобятся деньги—обратись... Такъ въ среду! Эта исторія продолжится мѣсяцъ, много два. Я тебѣ тамъ скажу, какъ не нужно будетъ, тогда и брось.

— Извольте, дядюшка, я готовъ; только странно... За успѣхъ не ручаюсь... если бъ я могъ еще самъ влюбиться, тогда... а то нѣтъ...

— И очень хорошо, что не можешь, а то бы все дѣло испортилъ. Я самъ ручаюсь за успѣхъ. Прощай!

Онъ ушелъ, а Александръ долго еще сидѣлъ у камина, надъ милымъ пепломъ.

Когда Петръ Иванычъ воротился домой, жена спросила:

— Что̀ Александръ, что̀ его повѣсть, будетъ ли онъ писать?

— Нѣтъ, я его вылѣчилъ навсегда.

Адуевъ разсказалъ ей содержаніе письма, полученнаго имъ съ повѣстью, и о томъ, какъ они сожгли все.

— Ты безъ жалости, Петръ Иванычъ!—сказала Лизавета Александровна:—или не умѣешь ничего порядочно сдѣлать, за что ни примешься.

— Ты хорошо дѣлала, что принуждала его бумагу марать! развѣ у него есть талантъ?

— Нѣтъ.

Петръ Иванычъ посмотрѣлъ на нее съ удивленіемъ.

— Такъ зачѣмъ же ты?..

— А ты все еще не понялъ, не догадался?

Онъ молчалъ и невольно вспомнилъ сцену свою съ Александромъ.

— Чего жъ тутъ не понять? это очень ясно!—говорилъ онъ, глядя на нее во всѣ глаза.

— А что̀, скажи?

— Что̀... что̀... ты хотѣла дать ему урокъ... только иначе, мягче, по-своему...

— Не понимаетъ, а еще умный человѣкъ! Отчего онъ былъ все это время веселъ, здоровъ, почти счастливъ? Оттого, что надѣялся. Вотъ я поддерживала эту надежду: ну, теперь ясно?

— Такъ это ты все хитрила съ нимъ?

— Я думаю, это позволительно. А ты что̀ надѣлалъ? Тебѣ его вовсе не жаль: отнялъ послѣднюю надежду.

— Полно! какую послѣднюю надежду: еще много глупостей впереди.

— Что онъ теперь будетъ дѣлать? Опять станетъ ходить повѣся носъ?

— Нѣтъ! не станетъ: не до того будетъ: я задалъ ему работу.

— Что? опять переводъ какой-нибудь о картофелѣ? Развѣ это можетъ занять молодого человѣка, и особенно пылкаго и восторженнаго? У тебя бы только была занята голова.

— Нѣтъ, моя милая, не о картофелѣ, а по заводу кое-что.

III.

Настала и среда. Въ гостиной Юліи Павловны собралось человѣкъ двѣнадцать или пятнадцать гостей. Четыре молодыя дамы, два иностранца съ бородами, заграничные знакомые хозяйки, да офицеръ составляли одинъ кружокъ.

Отдѣльно отъ нихъ, на бержеркѣ, сидѣлъ старикъ, повидимому отставной военный, съ двумя клочками сѣдыхъ волосъ подъ носомъ и со множествомъ ленточекъ въ петлицѣ. Онъ толковалъ съ какимъ-то пожилымъ человѣкомъ о предстоящихъ откупахъ.

Въ другой комнатѣ старушка и двое мужчинъ играли въ карты. За фортепіано сидѣла очень молоденькая дѣвица, другая тутъ же разговаривала со студентомъ.

Явились Адуевы. Рѣдко кто умѣлъ войти съ такой непринужденностью и достоинствомъ въ гостиную, какъ Петръ Иванычъ. За нимъ, съ какой-то нерѣшимостью, слѣдовалъ Александръ.

Какая разница между ними: одинъ цѣлой головой выше, стройный, полный, человѣкъ крѣпкой и здоровой натуры, съ самоувѣренностью въ глазахъ и манерахъ. Но ни въ одномъ взглядѣ, ни въ движеніи, ни въ словѣ нельзя было угадать мысли или характера Петра Иваныча—такъ все прикрыто было въ немъ свѣтскостью и искусствомъ владѣть собой. Кажется, у него разсчитаны были и жесты, и взгляды.

Блѣдное, безстрастное лицо показывало, что въ этомъ человѣкѣ немного разгула страстямъ подъ деспотическимъ правленіемъ ума, что сердце у него бьется или не бьется по приговору головы.

Въ Александрѣ, напротивъ, все показывало слабое и нѣжное сложеніе, и измѣнчивое выраженіе лица, и какая-то лѣнь или медленность и неровность движеній, и матовый взглядъ, который сейчасъ высказывалъ, какое ощущеніе тревожило сердце его, или какая мысль шевелилась въ головѣ. Онъ былъ средняго роста, но худъ и блѣденъ, — не отъ природы, какъ Петръ Иванычъ, а отъ безпрерывныхъ душевныхъ волненій; волосы не росли, какъ у того, густымъ лѣсомъ по головѣ и по щекамъ, но спускались по вискамъ и по затылку длинными, слабыми, но чрезвычайно мягкими, шелковистыми прядями свѣтлаго цвѣта, съ прекраснымъ отливомъ.

Дядя представилъ племянника.

— А моего пріятеля Суркова нѣтъ? — спросилъ Петръ Иванычъ, оглядываясь съ удивленіемъ.—Онъ забылъ васъ.

— О, нѣтъ! я очень благодарна ему,— отвѣчала хозяйка.— Онъ посѣщаетъ меня. Вы знаете, я, кромѣ знакомыхъ моего покойнаго мужа, почти никого не принимаю.

— Да гдѣ же онъ?

— Онъ сейчасъ будетъ. Вообразите, онъ далъ слово мнѣ и кузинѣ достать непремѣнно ложу на завтрашній спектакль, когда, говорятъ, нѣтъ никакой возможности... и теперь поѣхалъ.

— И достанетъ; я ручаюсь за него: онъ геній на это. Онъ всегда достаетъ мнѣ, когда ни знакомство, ни протекція не помогаютъ. Гдѣ онъ беретъ и за какія деньги— это его тайна.

Пріѣхалъ и Сурковъ. Туалетъ его былъ свѣжъ, но въ каждой складкѣ платья, въ каждой бездѣлицѣ рѣзко проглядывала претензія быть львомъ, превзойти всѣхъ модниковъ

и самую моду. Если, напримѣръ, мода требовала распашныхъ фраковъ, такъ его фракъ распахивался до того, что походилъ на распростертыя птичьи крылья; если носили откидные воротники, такъ онъ заказывалъ себѣ такой воротникъ, что въ своемъ фракѣ онъ похожъ былъ на пойманнаго сзади мошенника, который рвется вонъ изъ рукъ. Онъ самъ давалъ наставленія своему портному, какъ шить. Когда онъ явился къ Тафаевой, шарфъ его на этотъ разъ былъ приколотъ къ рубашкѣ булавкой такой неумѣренной величины, что она походила на дубинку.

— Ну что, достали?—раздалось со всѣхъ сторонъ.

Сурковъ только-что хотѣлъ отвѣчать, но, увидѣвъ Адуева съ племянникомъ, вдругъ остановился и поглядѣлъ на нихъ съ удивленіемъ.

— Предчувствуетъ!—сказалъ Петръ Иванычъ тихо племяннику.—Ба! да онъ съ тростью: что это значитъ?

— Это что? — спросилъ онъ Суркова, показывая на трость.

— Давеча выходилъ изъ коляски... оступился и немного хромаю,—отвѣчалъ тотъ, покашливая.

— Вздоръ! — шепнулъ Петръ Иванычъ Александру. — Замѣть набалдашникъ: видишь золотую львиную голову? Третьяго дня онъ хвастался мнѣ, что заплатилъ за нее Барбье шестьсотъ рублей, и теперь показываетъ; вотъ тебѣ образчикъ средствъ, какими онъ дѣйствуетъ. Сражайся и сбей его вонъ съ этой позиціи.

Петръ Иванычъ указалъ въ окно на домъ, бывшій напротивъ.

— Помни, что вазы твои, и одушевись,—прибавилъ онъ.

— На завтрашній спектакль имѣете билетъ? — спросилъ Сурковъ Тафаеву, подходя къ ней торжественно.

— Нѣтъ.

— *Позвольте вамъ вручить!* — продолжалъ онъ и досказалъ весь отвѣтъ Загорѣцкаго изъ *Горе отъ ума*.

Усы офицера слегка зашевелились отъ улыбки. Петръ Иванычъ искоса поглядѣлъ на племянника, а Юлія Павловна покраснѣла. Она стала приглашать Петра Иваныча въ ложу.

— Очень вамъ благодаренъ,—отвѣчалъ онъ:—но я завтра дежурный въ театрѣ при женѣ; а вотъ позвольте представить вамъ взамѣнъ молодого человѣка...

Онъ показалъ на Александра.

— Я хотѣла просить и его; насъ только трое: я съ кузиной, да...

— Онъ вамъ замѣнитъ и меня,—сказалъ Петръ Иванычъ:—а въ случаѣ нужды и этого повѣсу.

Онъ указалъ на Суркова и началъ что-то тихо говорить ей. Она при этомъ два раза украдкою взглянула на Александра и улыбнулась.

— Благодарю,—отвѣчалъ Сурковъ:—только не худо было бы предложить этотъ замѣнъ пораньше, когда не было билета: я бы посмотрѣлъ тогда, какъ бы замѣнили меня.

— Ахъ! я вамъ очень благодарна за вашу любезность,—съ живостью сказала хозяйка Суркову:—но не пригласила васъ въ ложу потому, что у васъ есть кресло. Вы вѣрно предпочтете быть прямо противъ сцены... особенно въ балетѣ...

— Нѣтъ, нѣтъ, лукавите, вы не думаете этого: промѣнять мѣсто подлѣ васъ—ни за что!

— Но оно ужъ обѣщано...

— Какъ? Кому?

— М. Рене.

Она показала на одного изъ бородатыхъ иностранцевъ.

— Oui, madame m'a fait cet honneur...—живо забормоталъ тотъ.

Сурковъ, разиня ротъ, поглядѣлъ на него, потомъ на Тафаеву.

— Я перемѣнюсь съ нимъ: я предложу ему кресло, — сказалъ онъ.

— Попробуйте.

Бородачъ и руками, и ногами.

— Покорно васъ благодарю! — сказалъ Сурковъ Петру Иванычу, косясь на Александра:—этимъ я вамъ обязанъ.

— Не стоитъ благодарности. Да не хочешь ли въ мою ложу? насъ только двое съ женой: ты же давно съ ней не видался: поволочился бы.

Сурковъ съ досадой отвернулся отъ него. Петръ Иванычъ тихонько уѣхалъ. Юлія посадила Александра подлѣ себя и говорила съ нимъ цѣлый часъ. Сурковъ вмѣшивался нѣсколько разъ въ разговоръ, но какъ-то некстати. Заговорилъ что-то о балетѣ и получилъ въ отвѣтъ *да*, когда надо было сказать *нѣтъ*, и наоборотъ: ясно, что его не слушали. Потомъ вдругъ перескочилъ къ устрицамъ, увѣряя, что онъ съѣлъ ихъ утромъ сто восемьдесятъ штукъ—и не получилъ даже взгляда. Онъ сказалъ еще нѣсколько общихъ мѣстъ, и не видя никакого толку, схватилъ шляпу и вертѣлся около Юліи, давая ей замѣтить, что онъ недоволенъ и собирается уѣхать. Но она не замѣтила.

— Я уѣзжаю!—сказалъ онъ, наконецъ, выразительно. — Прощайте!

Въ этихъ словахъ слышалась худо скрытая досада.

— Уже?—отвѣчала она спокойно.—Завтра дадите взглянуть на себя въ ложѣ хоть на одну минуту?

— Какое коварство! Одну минуту, когда знаете, что за мѣсто подлѣ васъ я не взялъ бы мѣста въ раю.

— Если въ театральномъ, вѣрю!

Ему ужъ не хотѣлось уѣзжать. Досада его прошла отъ брошеннаго Юліей ласковаго слова на прощаньи. Но всѣ видѣли, что онъ раскланивался: надо было поневолѣ уходить, и онъ ушелъ, оглядываясь какъ собачонка, которая

пошла-было вслѣдъ за своимъ господиномъ, но которую гонятъ назадъ.

Юліи Павловнѣ было двадцать три, двадцать четыре года. Петръ Иванычъ угадалъ: она въ самомъ дѣлѣ была слабонервна, но это не мѣшало ей быть вмѣстѣ очень хорошенькой, умной и граціозной женщиной. Только она была робка, мечтательна, чувствительна, какъ большая часть нервныхъ женщинъ. Черты лица нѣжныя, тонкія, взглядъ кроткій и всегда задумчивый, частію грустный—безъ причины, или, если хотите, по причинѣ нервъ.

На міръ и жизнь она глядѣла не совсѣмъ благосклонно, задумывалась надъ вопросомъ о своемъ существованіи и находила, что она лишняя здѣсь. Но, Боже сохрани, если кто, даже случайно, проговаривался при ней о могилѣ, о смерти—она блѣднѣла. Отъ ея взгляда ускользала свѣтлая сторона жизни. Въ саду, въ рощѣ, она выбирала для прогулки темную, густую аллею и равнодушно глядѣла на смѣющійся пейзажъ. Въ театрѣ смотрѣла всегда драму, комедію рѣдко, водевиль никогда; зажимала уши отъ доходившихъ до нея случайно звуковъ веселой пѣсни, никогда не улыбалась шуткѣ.

Въ другое время черты ея лица выражали томленіе, но не страдальческое, не болѣзненное, а томленіе будто нѣги. Видно было, что она внутренно боролась съ какою-нибудь обольстительною мечтою—и изнемогала. Послѣ такой борьбы долго она была молчалива, грустна, потомъ вдругъ впадала въ безотчетное веселое расположеніе духа, не измѣняя, однакоже, своему характеру: что̀ веселило ее—не развеселило бы другого. Все нервы! А послушать этихъ дамъ, такъ чего онѣ не скажутъ! слова: *судьба, симпатія, безотчетное влеченіе, невѣдомая грусть, смутныя желанія*—такъ и толкаютъ одно другое, а кончится все-таки вздохомъ, словомъ нервы и флакончикомъ со спиртомъ.

— Какъ вы угадали меня!—сказала Тафаева Александру

при прощаніи.—Изъ мужчинъ никто, даже мужъ, не могли понять хорошенько моего характера.

А дѣло въ томъ, что чуть ли Александръ и самъ не былъ таковъ. То-то было раздолье ему!

— До свиданія.

Она подала ему руку.

— Надѣюсь, что теперь вы безъ дядюшки найдете ко мнѣ дорогу?—прибавила она.

Настала зима. Александръ обыкновенно обѣдалъ по пятницамъ у дяди. Но вотъ ужъ прошло четыре пятницы, онъ не являлся, не заходилъ и въ другіе дни. Лизавета Александровна сердилась; Петръ Иванычъ ворчалъ, что онъ заставлялъ понапрасну ждать себя лишніе полчаса.

А между тѣмъ Александръ былъ не безъ дѣла; онъ исполнялъ порученіе дяди. Сурковъ ужъ давно пересталъ ѣздить къ Тафаевой и вездѣ объявилъ, что у нихъ все кончено, что онъ *разорвалъ съ ней связь*. Однажды вечеромъ—это было въ четвергъ—Александръ, воротясь домой, нашелъ у себя на столѣ двѣ вазы и записку отъ дяди. Петръ Иванычъ благодарилъ его за дружеское усердіе и звалъ на другой день, по обыкновенію, обѣдать. Александръ задумался, какъ будто это приглашеніе разстраивало его планы. На другой день, однакоже, онъ пошелъ къ Петру Иванычу за часъ до обѣда.

— Что съ тобой? совсѣмъ тебя не видать? забыли насъ?—закидали его вопросами и дядя, и тетка.

— Ну! удружилъ,—продолжалъ Петръ Иванычъ:—сверхъ ожиданія! а скромничалъ: «не могу, говоритъ, не умѣю!» не умѣетъ! Я хотѣлъ давно повидаться съ тобой, да тебя нельзя поймать. Ну, очень благодаренъ! Получилъ вазы въ цѣлости?

— Получилъ. Но я ихъ назадъ пришлю.

— Зачѣмъ? ни, ни: онѣ, по всѣмъ правамъ, твои.

— Нѣтъ!—сказалъ Александръ рѣшительно:—я не возьму этого подарка.

— Ну, какъ хочешь! онѣ нравятся женѣ: она возьметъ.

— Я не знала, Александръ,—сказала Лизавета Александровна съ лукавой улыбкой:—что вы такъ искусны на эти дѣла... мнѣ ни слова...

— Это дядюшка придумалъ,— отвѣчалъ сконфуженный Александръ:—я тутъ ровно ничего, онъ и меня научилъ...

— Да, да, слушай его: онъ самъ не умѣетъ. А такъ обработалъ дѣльцо... Очень, очень благодаренъ! А дуралей-то мой, Сурковъ, чуть съ ума не сошелъ. Насмѣшилъ меня. Недѣли двѣ назадъ тому, вбѣгаетъ ко мнѣ самъ не свой: я сейчасъ понялъ, зачѣмъ, только не показываю виду, пишу, будто ничего не знаю. «А! это ты, говорю: что скажешь хорошаго?» Онъ улыбнулся, хотѣлъ притвориться покойнымъ... а у самого чуть не слезы на глазахъ. «Ничего, говоритъ, хорошаго: я пріѣхалъ къ вамъ съ дурными вѣстями». Я поглядѣлъ на него будто съ удивленіемъ. «Что такое?» спрашиваю. «Да о вашемъ, говоритъ, племянникѣ!»—«А что? ты пугаешь меня? скажи скорѣй!» спрашиваю я. Тутъ спокойствіе его лопнуло: онъ началъ кричать, бѣситься. Я откатился отъ него съ креслами—нельзя говорить: такъ и брызжетъ. «Сами, говоритъ, жаловались, что онъ мало занимается, а вы же его и пріучаете къ бездѣлью».—«Я?»—«Да, вы: кто его познакомилъ съ Julie?» Надо тебѣ сказать, что онъ со второго дня знакомства съ женщиной ужъ начинаетъ звать ее полуименемъ. «Что жъ за бѣда?» говорю я. «А та бѣда, говоритъ, что онъ у ней теперь съ утра до вечера сидитъ...»

Александръ вдругъ покраснѣлъ.

— Видишь вѣдь какъ лжетъ отъ злости, думалъ я,—продолжалъ Петръ Иванычъ, поглядывая на племянника:—станетъ Александръ сидѣть тамъ съ утра до вечера! объ этомъ я его не просилъ; такъ ли?

Петръ Иванычъ остановилъ на племянникѣ свой холодный и покойный взоръ, который показался Александру просто огненнымъ.

— Да... я иногда... захожу...—бормоталъ Александръ.

— Иногда—это разница, — продолжалъ дядя: — я такъ и просилъ; не каждый же день. Я зналъ, что онъ лжетъ. Что тамъ дѣлать каждый день? соскучишься!

— Нѣтъ! она очень умная женщина... прекрасно воспитана... любитъ музыку... — говорилъ Александръ невнятно, съ разстановкою, и почесалъ глазъ, хотя онъ не чесался, погладилъ лѣвый високъ, потомъ досталъ платокъ и отеръ губы.

Лизавета Александровна пристально, украдкою, взглянула на него, отвернулась къ окну и улыбнулась.

— А! ну, тѣмъ лучше,—сказалъ Петръ Иванычъ:—если тебѣ не было скучно; а я все боялся, не надѣлалъ ли я тебѣ непріятныхъ хлопотъ. Вотъ я говорю Суркову: «спасибо, милый, что ты принимаешь участіе въ моемъ племянникѣ; очень, очень благодаренъ тебѣ... только не преувеличиваешь ли ты дѣла? Бѣда не такъ еще велика...» — «Какъ не бѣда! — закричалъ онъ: — онъ, говоритъ, дѣломъ не занимается; молодой человѣкъ долженъ трудиться...»—«И это не бѣда, говорю я, тебѣ что за нужда?»—«Какъ, говоритъ, что за нужда: онъ вздумалъ дѣйствовать противъ меня хитростями...»—«А, вотъ гдѣ бѣда!» сталъ я дразнить. «Внушаетъ, говоритъ, Юліи чортъ знаетъ что про меня... Она совсѣмъ теперь перемѣнилась ко мнѣ. Я проучу его, молокососа—извини, повторяю его слова,—гдѣ, говоритъ, ему со мной бороться? онъ только клеветой взялъ; надѣюсь, что вы вразумите его...»—«Пожурю, говорю я, непремѣнно пожурю; только, полно, правда ли это? чѣмъ онъ тебѣ надосадилъ?» Ты ей тамъ цвѣты, что ли, дарилъ?..

Петръ Иванычъ опять остановился, какъ будто ожидая отвѣта. Александръ молчалъ. Петръ Иванычъ продолжалъ:

— «Какъ, говоритъ, неправда? зачѣмъ онъ ей каждый день букетъ цвѣтовъ носитъ? теперь, говоритъ, зима... чего это стоитъ?.. я знаю, говоритъ, что значатъ эти букеты». Вотъ что, подумалъ я самъ про себя, свой-то человѣкъ: нѣтъ, я вижу родство не пустая вещь: — сталъ ли бы ты такъ хлопотать для другого? «Только точно ли каждый день? говорю я. Постой, я спрошу его: ты, пожалуй, солжешь». И вѣрно совралъ! да? Не можетъ быть, чтобъ ты...

Александру хоть сквозь землю провалиться. А Петръ Иванычъ безпощадно смотрѣлъ прямо ему въ глаза и ждалъ отвѣта.

— Иногда... я точно... носилъ... — сказалъ Александръ, потупивъ глаза.

— Ну, опять-таки иногда. Не каждый день: это, въ самомъ дѣлѣ, убыточно. Ты, впрочемъ, скажи мнѣ, что все это стоитъ тебѣ: я не хочу, чтобъ ты тратился для меня; довольно и того, что ты хлопочешь. Ты дай мнѣ счетъ. Ну, и долго тутъ Сурковъ поролъ горячку. «Они всегда, говоритъ, прогуливаются вдвоемъ пѣшкомъ или въ экипажѣ тамъ, гдѣ меньше народу».

Александра при этихъ словахъ немного покоробило: онъ вытянулъ ноги изъ-подъ стула и вдругъ опять поджалъ ихъ.

— Я покачалъ сомнительно головой,—продолжалъ дядя:— «станетъ онъ гулять каждый день!» говорю. «Спросите, говоритъ, у людей...» «Я лучше у самого спрошу», сказалъ я... Вѣдь неправда?

— Я нѣсколько разъ... точно... гулялъ съ ней...

— Такъ не каждый же день; объ этомъ я не просилъ; я зналъ, что онъ вретъ. «Ну, что жъ, я говорю ему, за важность? Она вдова, близкихъ мужчинъ нѣтъ у ней; Александръ скроменъ,—не то, что ты, повѣса. Вотъ она и беретъ его: нельзя же ей одной». Онъ слушать ничего не хочетъ. «Нѣтъ, говоритъ, меня не проведете! я знаю. Все-

гда съ ней въ театрѣ; я же, говоритъ, и ложу достану, иногда Богъ знаетъ съ какими хлопотами, а онъ въ ней и засѣдаетъ». Я ужъ тутъ не выдержалъ и расхохотался. «Такъ тебѣ и надо, думаю, болванъ!» Ай да Александръ! вотъ племянникъ! Только совѣстно мнѣ, что ты такъ хлопочешь для меня.

Александръ былъ какъ въ пыткѣ. Со лба капали крупныя капли пота. Онъ едва слышалъ, что говорилъ дядя, и не смѣлъ взглянуть ни на него, ни на тетку.

Лизавета Александровна сжалилась надъ нимъ. Она покачала мужу головой, упрекая, что онъ мучитъ племянника. Но Петръ Иванычъ не унялся.

— Сурковъ, отъ ревности, вздумалъ увѣрять меня,—продолжалъ онъ: — что ты ужъ будто и влюбленъ по уши въ Тафаеву. «Нѣтъ, ужъ извини, говорю я ему, вотъ это неправда: послѣ всего, что съ нимъ случилось, онъ не влюбится. Онъ слишкомъ хорошо знаетъ женщинъ и презираетъ ихъ...» Не правда ли?

Александръ, не поднимая глазъ, кивнулъ головой.

Лизавета Александровна страдала за него.

— Петръ Иванычъ! — сказала она, чтобы какъ-нибудь замять рѣчь.

— А? что?

— Давеча приходилъ человѣкъ отъ Лукьяновыхъ съ письмомъ.

— Знаю; хорошо. На чемъ я остановился?

— Опять, Петръ Иванычъ, ты сталъ сбрасывать пепелъ въ мои цвѣты. Смотри, что это такое?

— Ничего, милая: говорятъ, пепелъ способствуетъ растительности... Такъ я хотѣлъ сказать...

— Да не пора ли, Петръ Иванычъ, обѣдать?

— Хорошо, вели давать! Вотъ ты кстати напомнила объ обѣдѣ. Сурковъ говоритъ, что ты, Александръ, тамъ почти каждый день обѣдаешь, что, говоритъ, оттого нынче у

васъ и по пятницамъ не бываетъ, что будто вы цѣлые дни вдвоемъ проводите... чортъ знаетъ что вралъ тутъ, надоѣлъ: наконецъ я его выгналъ. Такъ и вышло, что совралъ. Нынче пятница, а вотъ ты налицо!

Александръ переложилъ одну ногу на другую и склонилъ голову къ лѣвому плечу.

— Я весьма, весьма благодаренъ тебѣ. Это—и дружеская, и родственная услуга!—заключилъ Петръ Иванычъ.— Сурковъ убѣдился, что ему нечего взять, и ретировался: «она, говоритъ, воображаетъ, что я стану вздыхать по ней— ошибается! А я еще хотѣлъ, говоритъ, отдѣлать этажъ изъ оконъ въ окна и Богъ знаетъ, какія намѣренія имѣлъ: она, говоритъ, можетъ-быть, и не мечтала о такомъ счастьѣ, какое ей готовилось. Я бы, говоритъ, не прочь жениться, если бъ она умѣла привязать меня къ себѣ. Теперь все кончено. Вы правду, говоритъ, совѣтовали, Петръ Иванычъ. Я сохраню и деньги, и время!» И теперь малый байронствуетъ, ходитъ такой угрюмый и денегъ не проситъ. И я съ нимъ скажу: все кончено! Твое дѣло сдѣлано, Александръ, и мастерски! я теперь покоенъ надолго. Больше не хлопочи. Можешь къ ней теперь и не заглядывать: я воображаю, какая тамъ скука!.. извини меня, пожалуйста... я заслужу это какъ-нибудь. Когда понадобятся деньги, обратись. Лиза! вели намъ подать хорошаго вина къ обѣду: мы выпьемъ за успѣхъ дѣла.

Петръ Иванычъ вышелъ изъ комнаты. Лизавета Александровна посмотрѣла украдкой раза два на Александра и, видя, что онъ не говоритъ ни слова, тоже вышла что-то приказать людямъ.

Александръ сидѣлъ какъ будто въ забытьи, и все смотрѣлъ себѣ на колѣни. Наконецъ поднялъ голову, осмотрѣлся—никого нѣтъ. Онъ перевелъ духъ, посмотрѣлъ на часы—четыре. Онъ поспѣшно взялъ шляпу, махнулъ рукой въ ту сторону, куда ушелъ дядя, и тихонько, на цыпочкахъ,

оглядываясь во всѣ стороны, добрался до передней, тамъ взялъ шинель въ руки, опрометью бросился бѣжать съ лѣстницы и уѣхалъ къ Тафаевой.

Сурковъ не солгалъ: Александръ любилъ Юлію. Онъ почти съ ужасомъ почувствовалъ первые припадки этой любви, какъ будто какой-нибудь заразы. Его мучили и страхъ, и стыдъ: страхъ — подвергнуться опять всѣмъ прихотямъ и своего, и чужого сердца, стыдъ—передъ другими, болѣе всего передъ дядей. Дорого онъ далъ бы, чтобъ скрыть отъ него. Давно ли, три мѣсяца назадъ тому, онъ такъ гордо, рѣшительно отрекся отъ любви, написалъ даже эпитафію въ стихахъ этому безпокойному чувству, читанную дядей, наконецъ явно презиралъ женщинъ—и вдругъ опять у ногъ женщины! Опять доказательство ребяческой опрометчивости. Боже! когда же онъ освободится отъ несокрушимаго вліянія дяди? Неужели жизнь его никогда не приметъ особеннаго, неожиданнаго оборота, а будетъ вѣчно идти по предсказаніямъ Петра Иваныча?

Эта мысль приводила его въ отчаяніе. Онъ радъ бы бѣжать отъ новой любви. Но какъ бѣжать? Какая разница между любовью къ Наденькѣ и любовью къ Юліи! Первая любовь—не что иное, какъ несчастная ошибка сердца, которое требовало пищи, а сердце въ тѣ лѣта такъ неразборчиво: принимаетъ первое, что попадается. А Юлія! это уже не капризная дѣвочка, не понимающая ни его, ни самой себя, ни любви. Это, женщина въ полномъ развитіи, слабая тѣломъ, но съ энергіей духа — для любви: она — вся любовь! Другихъ условій для счастья и жизни она не признаетъ. Любить — будто бездѣлица? это также даръ; а Юлія—геній въ этомъ. Вотъ о какой любви мечталъ онъ: о сознательной, разумной, но вмѣстѣ сильной, не знающей ничего внѣ своей сферы.

«Я не задыхаюсь отъ радости, какъ животное,—говорилъ онъ самъ себѣ: — духъ не замираетъ, но во мнѣ совер-

шается процессъ важнѣе, выше: я сознаю свое счастье, размышляю о немъ, и оно полнѣе, хотя, можетъ-быть, тише... Какъ благородно, непритворно, совсѣмъ безъ жеманства, отдалась Юлія своему чувству! Она какъ-будто ждала человѣка, понимающаго глубоко любовь—и человѣкъ явился. Онъ, какъ законный властелинъ, вступилъ гордо во владѣніе наслѣдственнаго богатства и признанъ съ покорностью. Какая отрада, какое блаженство,—думалъ Александръ, ѣдучи къ ней отъ дяди: — знать, что есть въ мірѣ существо, которое, гдѣ бы ни было, что бы ни дѣлало, помнитъ о насъ, сближаетъ всѣ мысли, занятія, поступки — все къ одной точкѣ и одному понятію—о любимомъ существѣ! Это какъ будто нашъ двойникъ. Что онъ ни слышитъ, что ни видитъ, мимо чего ни пройдетъ, или что ни пройдетъ мимо него, все повѣряется впечатлѣніемъ другого, своего двойника; это впечатлѣніе извѣстно обоимъ, оба изучили другъ друга—и потомъ повѣренное такимъ образомъ впечатлѣніе принимается и утверждается въ душѣ неизгладимыми чертами. Двойникъ отказывается отъ собственныхъ ощущеній, если они не могутъ быть раздѣлены или приняты другимъ. Онъ любитъ то, что любитъ другой, и ненавидитъ, что тотъ ненавидитъ. Они живутъ нераздѣльно въ одной мысли, въ одномъ чувствѣ: у нихъ одно духовное око, одинъ слухъ, одинъ умъ, одна душа...»

— Баринъ! кое мѣсто на Литейной?—спросилъ извозчикъ.

Юлія любила Александра еще сильнѣе, нежели онъ ее. Она даже не сознавала всей силы своей любви и не размышляла о ней. Она любила въ первый разъ—это бы еще ничего—нельзя же полюбить прямо во второй разъ; но бѣда была въ томъ, что сердце у ней было развито до-нельзя, обработано романами и приготовлено, не то что для первой, но для той романической любви, которая существуетъ въ нѣкоторыхъ романахъ, а не въ природѣ, и которая оттого всегда бываетъ несчастлива, что невозможна на дѣлѣ.

Между тѣмъ умъ Юліи не находилъ въ чтеніи однихъ романовъ здоровой пищи и отставалъ отъ сердца. Она не могла никакъ представить себѣ тихой, простой любви безъ бурныхъ проявленій, безъ неумѣренной нѣжности. Она бы тотчасъ разлюбила человѣка, если бъ онъ *не палъ къ ея ногамъ*, при удобномъ случаѣ, если бъ не клялся ей *всѣми силами души*, если бъ осмѣлился *не сжечь и испепелить ее въ своихъ объятіяхъ*, или дерзнулъ бы, кромѣ любви, заняться другимъ дѣломъ, а не пилъ бы только *чашу жизни* по каплѣ въ ея слезахъ и поцѣлуяхъ.

Отсюда родилась мечтательность, которая создала ей особый міръ. Чуть что-нибудь въ простомъ мірѣ совершалось не по законамъ особаго, сердце ея возмущалось, она страдала. Слабый и безъ того организмъ женщины подвергался потрясенію, иногда весьма сильному. Частыя волненія раздражали нервы и наконецъ довели ихъ до совершеннаго разстройства. Вотъ отчего эта задумчивость и грусть безъ причины, этотъ сумрачный взглядъ на жизнь у многихъ женщинъ; вотъ отчего стройный, мудро-созданный и совершающійся по непреложнымъ законамъ порядокъ людского существованія кажется имъ тяжкою цѣпью; вотъ, однимъ словомъ, отчего пугаетъ ихъ дѣйствительность, заставляя строить міръ, подобный міру фатаморганы.

Кто же постарался обработать преждевременно и такъ неправильно сердце Юліи и оставить въ покоѣ умъ?.. Кто? А тотъ классическій тріумвиратъ педагоговъ, которые, по призыву родителей, являются воспринять на свое попеченіе юный умъ, открыть ему *всѣхъ вещей дѣйства и причины*, расторгнуть завѣсу прошедшаго и показать, что̀ подъ нами, надъ нами, что̀ въ самихъ насъ — трудная обязанность! Зато и призваны были три нація на этотъ важный подвигъ. Родители сами отступились отъ воспитанія, полагая, что всѣ ихъ заботы кончаются тѣмъ, чтобы, положась на рекомендацію добрыхъ пріятелей, нанять француза Пуле,

для обученія французской литературѣ и другимъ наукамъ; далѣе нѣмца Шмита, потому что это принято учиться, но отнюдь не выучиваться по-нѣмецки; наконецъ, русскаго учителя Ивана Иваныча.

— Да они всѣ такіе нечёсаные,—говоритъ мать:—одѣть: такъ всегда дурно, хуже лакея на видъ; иногда еще отъ нихъ виномъ пахнетъ...

— Какъ же безъ русскаго учителя? нельзя! — рѣшилъ отецъ:—не безпокойся: я самъ выберу почище.

Вотъ французъ принялся за дѣло. Около него ухаживали и отецъ, и мать. Его приглашали въ домъ, какъ гостя, обходились съ нимъ очень почтительно: это былъ дорогой французъ.

Ему было легко учить Юлію: она, благодаря гувернанткѣ, болтала по-французски, читала и писала почти безъ ошибокъ. М. Пуле оставалось только занять ее сочиненіями. Онъ задавалъ ей разныя темы: то описать восходящее солнце, то опредѣлить любовь и дружбу, то написать поздравительное письмо родителямъ, или излить грусть при разлукѣ съ подругой.

А Юліи изъ своего окна видно было только, какъ солнце заходитъ за домъ купца Гирина; съ подругами она никогда не разлучалась, а дружба и любовь... но тутъ впервые мелькнула у ней идея объ этихъ чувствахъ. Надо же когда-нибудь узнать о нихъ.

Истощивъ весь запасъ этихъ темъ, Пуле рѣшился, наконецъ, приступить къ той завѣтной, тоненькой тетрадкѣ, на заглавномъ листѣ которой крупными буквами написано: Cours de littérature française. Кто изъ насъ не помнитъ этой тетради? Черезъ два мѣсяца Юлія знала наизусть французскую литературу, то-есть тоненькую тетрадку, а черезъ три забыла ее; но гибельные слѣды остались. Она знала, что былъ Вольтеръ, и иногда навязывала ему *Мучениковъ*, а Шатобріану приписывала *Dictionnaire philosophique*. Мон-

таня называла M-r de Montaigne и упоминала о немъ иногда рядомъ съ Гюго. Про Мольера говорила, что онъ *пишетъ* для театра; изъ Расина выучила знаменитую тираду: A peine nous sortions des portes de Trezènes.

Въ миѳологіи ей очень понравилась комедія, разыгранная между Вулканомъ, Марсомъ и Венерой. Она-было заступилась за Вулкана, но узнавъ, что онъ былъ хромой и неуклюжій, и притомъ кузнецъ, сейчасъ перешла на сторону Марса. Она полюбила и басню о Семелѣ и Юпитерѣ, и объ изгнаніи Аполлона и его проказахъ на землѣ, принимая все это такъ, какъ оно написано, и не подозрѣвая никакого другого значенія въ этихъ сказкахъ. Подозрѣвалъ ли самъ французъ—Богъ знаетъ! На вопросы ея объ этой религіи древнихъ, онъ, наморщивъ лобъ, съ важностью отвѣчалъ ей: «Des bétises? Mais cette bête de Vulcain devait avoir une drôle de mine... écoutez», прибавилъ онъ потомъ, прищуривъ немного глаза и потрепавъ ее по рукѣ:— «que feriez-vous à la place de Venus?» Она ничего не отвѣчала, но въ первый разъ въ жизни покраснѣла по неизвѣстной ей причинѣ.

Французъ усовершенствовалъ наконецъ воспитаніе Юліи тѣмъ, что познакомилъ ее уже не теоретически, а практически съ новой школой французской литературы. Онъ давалъ ей надѣлавшіе въ свое время большого шуму: Le manuscrit vert, Les sept péchés capitaux, L'âne mort и цѣлую фалангу книгъ, наводнявшихъ тогда Францію и Европу.

Бѣдная дѣвушка съ жадностью бросилась въ этотъ безбрежный океанъ. Какими героями казались ей Жанены, Бальзаки, Друино — и цѣлая вереница великихъ мужей! Что передъ ихъ дивными изображеніями жалкая сказка о Вулканѣ? Венера, передъ этими новыми героями, просто невинность! И она жадно читала новую школу, вѣроятно читаетъ и теперь.

Между тѣмъ, какъ французъ зашелъ такъ далеко, солид-

ный нѣмецъ не успѣлъ пройти и грамматики: онъ очень важно составлялъ таблички склоненій, спряженій, придумывалъ разные затѣйливые способы, какъ запомнить окончанія падежей; толковалъ, что иногда частица zu ставится на концу и т. п.

А когда отъ него потребовали литературы, бѣднякъ перепугался. Ему показали тетрадь француза, онъ покачалъ головой и сказалъ, что по-нѣмецки этому нельзя учить, а что есть хрестоматія Аллера, въ которой всѣ писатели, съ своими сочиненіями, состоятъ налицо. Но онъ этимъ не отдѣлался: къ нему пристали, чтобъ онъ познакомилъ Юлію, какъ m-r Пуле, съ разными сочинителями.

Нѣмецъ наконецъ обѣщалъ и пришелъ домой въ сильномъ раздумьи. Онъ отворилъ, или, правильнѣе, вскрылъ шкапъ, вынулъ одну дверцу совсѣмъ и приставилъ ее къ стѣнкѣ, потому что шкапъ съ давнихъ поръ не имѣлъ ни петель, ни замка,—досталъ оттуда старые сапоги, полголовы сахару, бутылку съ нюхательнымъ табакомъ, графинъ съ водкой и корку чернаго хлѣба, потомъ изломанную кофейную мельницу, далѣе бритвенницу, съ кускомъ мыла и съ щеточкой въ помадной банкѣ, старыя подтяжки, осколокъ для перочиннаго ножа и еще нѣсколько подобной дряни. Наконецъ, за этимъ показалась книга, другая, третья, четвертая — такъ, пять счетомъ — всѣ тутъ. Онъ похлопалъ ихъ одну о другую: пыль поднялась облакомъ, какъ дымъ, и торжественно осѣнила голову педагога.

Первая книга была: Идилліи Геснера — gut! сказалъ нѣмецъ, и съ наслажденіемъ прочелъ идиллію о разбитомъ кувшинѣ. Развернулъ вторую книгу: Готскій Календарь 1804 года. Онъ перелистовалъ ее: тамъ династіи европейскихъ государей, картинки разныхъ замковъ, водопадовъ:— sehr gut! сказалъ нѣмецъ. Третья — библія: онъ отложилъ ее въ сторону, пробормотавъ набожно: Nein! Четвертая — *Юнговы ночи:* онъ покачалъ головой и пробормоталъ: Nein!

Послѣдняя — Вейссе! и нѣмецъ торжественно улыбнулся: da habe ich's, сказалъ онъ. Когда ему сказали, что есть еще Шиллеръ, Гёте и другіе, онъ покачалъ головой и упрямо затвердилъ: Nein!

Юлія зѣвнула, только что нѣмецъ перевелъ ей первую страницу изъ Вейссе, и потомъ вовсе не слушала. Такъ отъ нѣмца у ней въ памяти и осталось только, что частица zu ставится иногда на *концу*.

А русскій? этотъ еще добросовѣстнѣе нѣмца дѣлалъ свое дѣло. Онъ почти со слезами увѣрялъ Юлію, что *существительное имя* или *глаголъ* есть такая часть рѣчи, а *предлогъ* вотъ такая-то, и наконецъ, достигъ, что она повѣрила ему и выучила наизусть опредѣленія всѣхъ частей рѣчи. Она могла даже разомъ исчислить всѣ предлоги, союзы, нарѣчія, и когда учитель важно вопрошалъ: «А какія суть междометія страха или удовольствія», она вдругъ, не переводя духу, проговаривала: ахъ, охъ, эхъ, увы, о, а, ну, эге! И наставникъ былъ въ восторгѣ.

Она узнала нѣсколько истинъ и изъ синтаксиса, но не могла никогда приложить ихъ къ дѣлу и осталась при грамматическихъ ошибкахъ на всю жизнь.

Изъ исторіи она узнала, что былъ Александръ Македонскій, что онъ много воевалъ, былъ прехрабрый... и, конечно, прехорошенькій... а что еще онъ значилъ и что значилъ его вѣкъ, объ этомъ ни ей, ни учителю и въ голову не приходило, да и Кайдановъ не распространяется очень объ этомъ.

Когда отъ учителя потребовали литературы, онъ притащилъ кучу старыхъ подержанныхъ книгъ. Тутъ были и Кантемиръ, и Сумароковъ, потомъ Ломоносовъ, Державинъ, Озеровъ. Всѣ удивились; осторожно развернули одну книгу, понюхали, потомъ бросили и потребовали чего-нибудь поновѣе. Учитель принесъ Карамзина. Но послѣ новой французской школы читать Карамзина! Юлія прочла «Бѣдную

Лизу», нѣсколько страницъ изъ «Путешествій», и отдала назадъ.

Антрактовъ у бѣдной ученицы, между этими занятіями, оставалось пропасть, и никакой благородной, здоровой пищи для мысли! Умъ начиналъ засыпать, а сердце бить тревогу. Вотъ тутъ-то подвернулся услужливый кузенъ и кстати привезъ ей нѣсколько главъ Онѣгина, Кавказскаго Плѣнника и проч. И дѣва познала сладость русскаго стиха. Онѣгинъ былъ выученъ наизусть и не покидалъ изголовья Юліи. И кузенъ, какъ прочіе наставники, не умѣлъ растолковать ей значенія и достоинства этого произведенія. Она взяла себѣ за образецъ Татьяну и мысленно повторяла своему идеалу пламенныя строки Татьянина письма къ Онѣгину, и сердце ея ныло, билось. Воображеніе искало то Онѣгина, то какого-нибудь героя мастеровъ новой школы— блѣднаго, грустнаго, разочарованнаго...

Итальянецъ и другой французъ довершили ея воспитаніе, давъ ея голосу и движеніямъ стройные размѣры, то-есть выучили танцовать, пѣть, играть или, лучше, поиграть до замужества на фортепіано, но музыки не выучили. И вотъ она осьмнадцати лѣтъ, но уже съ постоянно задумчивымъ взоромъ, съ интересной блѣдностью, съ воздушной таліей, съ маленькой ножкой, явилась въ салонахъ напоказъ свѣту.

Ее замѣтилъ Тафаевъ, человѣкъ со всѣми атрибутами жениха, то-есть съ почтеннымъ чиномъ, съ хорошимъ состояніемъ, съ крестомъ на шеѣ, словомъ, съ карьерой и фортуной. Нельзя сказать про него, чтобъ онъ былъ только простой и добрый человѣкъ. О, нѣтъ! онъ въ обиду себя не давалъ и судилъ весьма здраво о нынѣшнемъ состояніи Россіи, о томъ, чего ей недостаетъ въ хозяйственномъ и промышленномъ состояніи, и въ своей сферѣ считался дѣловымъ человѣкомъ.

Блѣдная, задумчивая дѣвушка, по какому-то странному противорѣчію съ его плотной натурой, сдѣлала на него

сильное впечатлѣніе. Онъ на вечерахъ уходилъ изъ-за картъ и погружался въ непривычную думу, глядя на этотъ полувоздушный призракъ, летавшій передъ нимъ. Когда на него падалъ ея томный взоръ, разумѣется случайно, онъ, бойкій гладіаторъ въ салонныхъ разговорахъ, смущался передъ робкой дѣвочкой, хотѣлъ ей иногда сказать что-нибудь, но не могъ. Это надоѣло ему, и онъ рѣшился дѣйствовать положительнѣе, чрезъ разныхъ тетокъ.

Справки о приданомъ оказались удовлетворительны. «Что же: насъ пара!» разсуждалъ онъ самъ съ собой. «Мнѣ только сорокъ пять лѣтъ, ей осьмнадцать: съ нашимъ состояніемъ и не двое прожили бы хорошо. Наружность? она еще заурядъ хорошенькая, а я, что-называется, мужчина... видный. Образована она, говорятъ: что же? И я когда-то учился, помню, учили и по-латыни, и римскую исторію. Еще и теперь помню: тамъ консулъ этотъ—какъ его... ну, чортъ съ нимъ! Помню и о реформаціи читали... и эти стихи: Beatus ille... какъ дальше? puer, pueri, puero... нѣтъ не то, чортъ знаетъ — все перезабылъ. Да вѣдь, ей-Богу, затѣмъ и учатъ, чтобы забыть. Ну, вотъ хоть зарѣжь меня, а я говорю, что вонъ и этотъ, и тотъ, всѣ эти чиновные и умные люди, ни одинъ не скажетъ, какой это консулъ тамъ... или въ которомъ году были олимпійскія игры, стало-быть, учатъ такъ... потому что порядокъ такой! чтобъ по глазамъ только было видно, что учился. Да и какъ не забыть: вѣдь въ свѣтѣ объ этомъ ужъ потомъ ничего никогда не говорятъ, а заговори-ка кто, такъ, я думаю, просто выведутъ! Нѣтъ, насъ пара».

И вотъ, когда Юлія вышла изъ дѣтства, ее на первомъ шагу встрѣтила самая печальная дѣйствительность—обыкновенный мужъ. Какъ онъ далекъ былъ отъ тѣхъ героевъ, которыхъ создало ей воображеніе и поэты!

Пять лѣтъ провела она въ этомъ скучномъ снѣ, какъ она называла замужество безъ любви, и вдругъ явилась

свобода и любовь. Она улыбнулась, простерла къ нимъ горячія объятія, предалась своей страсти, какъ человѣкъ предается быстрому бѣгу на конѣ. Онъ несется съ могучимъ животнымъ, забывая пространство. Духъ замираетъ, предметы бѣгутъ назадъ; въ лицо вѣетъ свѣжесть; грудь едва выноситъ ощущеніе нѣги... или, какъ человѣкъ, предающійся безпечно въ челнокѣ теченію волнъ: солнце грѣетъ его, зеленые берега мелькаютъ въ глазахъ, игривая волна ласкаетъ корму и такъ сладко шепчетъ, забѣгаетъ впередъ и манитъ все дальше, дальше, показывая путь безконечной струей... И онъ влечется. Некогда смотрѣть и думать тогда, чѣмъ кончится путь: мчитъ ли конь въ пропасть, влечетъ ли волна на скалу?.. Мысли уноситъ вѣтеръ, глаза закрываются, обаяніе непреодолимо... такъ и она не преодолѣвала его, а все влеклась, влеклась... Для нея, наконецъ, настали поэтическія мгновенія жизни: она полюбила эту, то сладостную, то мучительную тревожность души, искала сама волненій, выдумывала себѣ муку, и счастье. Она пристрастилась къ своей любви, какъ пристращаются къ опіуму, и жадно пила сердечную отраву.

Юлія была ужъ взволнована ожиданіемъ. Она стояла у окна и нетерпѣніе ея возрастало съ каждой минутой. Она ощипывала китайскую розу и съ досадой бросала листья на полъ, а сердце такъ и замирало: это былъ моментъ муки. Она мысленно играла въ вопросъ и отвѣтъ: придетъ или не придетъ? вся сила ея соображенія была устремлена на то, чтобъ рѣшить эту мудреную задачу. Если соображенія говорили утвердительно, она улыбалась, если нѣтъ— блѣднѣла.

Когда Александръ подъѣхалъ, она, блѣдная, опустилась въ кресла отъ изнеможенія—такъ сильно работали въ ней нервы. Когда онъ вошелъ... невозможно описать этого взгляда, которымъ она встрѣтила его, этой радости, которая мгновенно разлилась по всѣмъ ея чертамъ, какъ будто

они годъ не видались, а они видѣлись наканунѣ. Она молча указала на стѣнные часы; но едва онъ заикнулся, чтобъ оправдаться, она, не выслушавъ, повѣрила, простила, забыла всю боль нетерпѣнія, подала ему руку, и оба сѣли на диванъ и долго говорили, долго молчали, долго смотрѣли другъ на друга. Не напомни человѣкъ, они непремѣнно забыли бы обѣдать.

Сколько наслажденій! Никогда Александру и не мечталось о такой полнотѣ *искреннихъ, сердечныхъ изліяній*. Лѣтомъ прогулки вдвоемъ за городомъ: если толпу привлекали куда-нибудь музыка, фейерверкъ, вдали между деревьями мелькали они, гуляя подъ руку. Зимой Александръ пріѣзжалъ къ обѣду, и послѣ они сидѣли рядомъ у камина до ночи. Иногда велѣли закладывать санки, и, промчавшись по темнымъ улицамъ, спѣшили продолжать нескончаемую бесѣду за самоваромъ. Каждое явленіе кругомъ, каждое мимолетное движеніе мысли и чувства, — все замѣчалось и дѣлилось вдвоемъ.

Александръ боялся встрѣчи съ дядей, какъ огня. Онъ иногда приходилъ къ Лизаветѣ Александровнѣ, но она никогда не успѣвала расшевелить въ немъ откровенности. Онъ всегда былъ въ безпокойствѣ, чтобъ не засталъ дядя и не разыгралъ съ нимъ опять какой-нибудь сцены, и оттого всегда сокращалъ свои визиты.

Былъ ли онъ счастливъ? Про другихъ можно сказать въ такомъ случаѣ и *да* и *нѣтъ*, а про него *нѣтъ;* у него любовь начиналась страданіемъ. Минутами, когда онъ успѣвалъ забыть прошлое, онъ вѣрилъ въ возможность счастья, въ Юлію и въ ея любовь. Въ другое время онъ вдругъ смущался въ пылу самыхъ *искреннихъ изліяній*, съ боязнію слушалъ ея страстный, восторженный бредъ. Ему казалось, что вотъ, того и гляди, она измѣнитъ, или какой-нибудь другой неожиданный *ударъ судьбы* мигомъ разрушитъ великолѣпный міръ блаженства. Вкушая минуту радости, онъ

зналъ, что ее надо выкупить страданіемъ, и хандра опять находила на него.

Однакожъ, прошла зима, настало лѣто, а любовь не кончалась. Юлія привязывалась къ нему все сильнѣе. Ни измѣны, ни *удара судьбы* не было: случилось совсѣмъ другое. Взоръ его просвѣтлѣлъ. Онъ свыкся съ мыслію о возможности постоянной привязанности. «Только эта любовь ужъ не такъ пылка...» думалъ онъ однажды, глядя на Юлію: «но зато прочна, можетъ-быть, вѣчна! Да, нѣтъ сомнѣнія. А! наконецъ, я понимаю тебя, судьба! Ты хочешь вознаградить меня за прошлыя мученія и ввести, послѣ долгаго странствованія, въ мирную пристань».

— Такъ вотъ гдѣ пріютъ счастья... Юлія!—воскликнулъ онъ вслухъ.

Она вздрогнула.

— Что вы?—спросила она.

— Нѣтъ! такъ...

— Нѣтъ! скажите: у васъ была какая-то мысль.

Александръ упрямился. Она настаивала.

— Я думалъ, что для полноты нашего счастья недостаетъ...

— Чего?—съ безпокойствомъ спросила она.

— Такъ, ничего! мнѣ пришла странная идея.

Юлія смутилась.

— Ахъ! не мучьте меня, говорите скорѣй!—сказала она.

Александръ задумался и говорилъ вполголоса, какъ будто съ собой.

— Пріобрѣсти право не покидать ее ни на минуту, не уходить домой... быть всюду и всегда съ ней. Быть въ глазахъ свѣта законнымъ ея обладателемъ... Она назоветъ меня громко, не краснѣя и не блѣднѣя, своимъ... и такъ всю жизнь! и гордиться этимъ вѣчно...

Говоря этимъ высокимъ слогомъ, слово за слово, онъ добрался до слова: *супружество*. Юлія вздрогнула, потомъ

заплакала. Она подала ему руку съ чувствомъ невыразимой нѣжности и признательности, и они оба оживились, оба вдругъ заговорили. Положено было Александру поговорить съ теткой и просить ея содѣйствія въ этомъ мудреномъ дѣлѣ.

Въ радости они не знали, что дѣлать. Вечеръ былъ прекрасный. Они отправились куда-то за городъ, въ глушь, и нарочно отыскавъ съ большимъ трудомъ гдѣ-то холмъ, просидѣли цѣлый вечеръ на немъ, смотрѣли на заходящее солнце, мечтали о будущемъ образѣ жизни, предполагали ограничиться тѣснымъ кругомъ знакомыхъ, не принимать и не дѣлать пустыхъ визитовъ.

Потомъ воротились домой и начали толковать о будущемъ порядкѣ въ домѣ, о распредѣленіи комнатъ и прочее. Пришли къ тому, какъ убрать комнаты. Александръ предложилъ обратить ея уборную въ свой кабинетъ, такъ, чтобъ это было подлѣ спальни.

— Какую же мебель хотите вы въ кабинетъ? — спросила она.

— Я бы желалъ орѣховаго дерева съ синей бархатной покрышкой.

— Это очень мило и не марко: для мужского кабинета надобно выбирать непремѣнно темные цвѣта: свѣтлые скоро портятся отъ дыму. А вотъ здѣсь, въ маленькомъ пассажѣ, который ведетъ изъ будущаго вашего кабинета въ спальню, я устрою боскетъ — не правда ли, это будетъ прекрасно? Тамъ поставлю одно кресло, такъ, чтобы я могла, сидя на немъ, читать или работать и видѣть васъ въ кабинетѣ.

— Недолго мнѣ такъ прощаться съ вами, — говорилъ, прощаясь, Александръ.

Она зажала ему ротъ рукой.

На другой день Александръ отправился къ Лизаветѣ Александровнѣ открывать то, что ей давно было извѣстно, и требовать ея совѣта и помощи. Петра Иваныча не было дома.

— Что жъ, хорошо!—сказала она, выслушавъ его исповѣдь:—вы теперь не мальчикъ: можете судить о своихъ чувствахъ и располагать собой. Только не торопитесь: узнайте ее хорошенько.

— Ахъ, ma tante, если бъ вы ее знали! Сколько достоинствъ!

— Напримѣръ?

— Она такъ любитъ меня...

— Это, конечно, важное достоинство, да не одно это нужно въ супружествѣ.

Тутъ она сказала нѣсколько общихъ истинъ насчетъ супружескаго состоянія, о томъ, какова должна быть жена, каковъ мужъ.

— Только погодите. Теперь осень наступаетъ, — прибавила она:—съѣдутся всѣ въ городъ. Тогда я сдѣлаю визитъ вашей невѣстѣ; мы познакомимся, и я примусь за дѣло горячо. Вы не оставляйте ее: я увѣрена, что вы будете счастливѣйшій мужъ.

Она обрадовалась.

Женщины страхъ какъ любятъ женить мужчинъ; иногда онѣ и видятъ, что бракъ какъ-то не клеится и не долженъ бы клеиться, но всячески помогаютъ дѣлу. Имъ лишь бы устроить свадьбу, а тамъ новобрачные какъ себѣ хотятъ. Богъ знаетъ, изъ чего онѣ хлопочутъ.

Александръ просилъ тетку, до окончанія дѣла, ничего не говорить Петру Иванычу.

Промелькнуло лѣто, протащилась и скучная осень. Наступила другая зима. Свиданія Адуева съ Юліей были такъ же часты.

У ней какъ будто сдѣланъ былъ строгій расчетъ днямъ, часамъ и минутамъ, которые можно было провести вмѣстѣ. Она выискивала всѣ случаи къ тому.

— Рано ли вы завтра отправитесь на службу? — спрашивала она иногда.

— Часовъ въ одиннадцать.

— А въ десять пріѣзжайте ко мнѣ, будемъ завтракать вмѣстѣ. Да нельзя ли не ходить совсѣмъ? будто ужъ тамъ безъ васъ...

— Какъ же? отечество... долгъ...—говорилъ Александръ.

— Вотъ прекрасно! А вы скажите, что вы любите и любимы. Неужели начальникъ вашъ никогда не любилъ? Если у него есть сердце, онъ пойметъ. Или принесите сюда свою работу: кто вамъ мѣшаетъ заниматься здѣсь?

Въ другой разъ не пускала его въ театръ, а къ знакомымъ рѣшительно почти никогда. Когда Лизавета Александровна пріѣхала къ ней съ визитомъ, Юлія долго не могла придти въ себя, увидѣвъ, какъ молода и хороша тетка Александра. Она воображала ее такъ-себѣ теткой: пожилой, нехорошей, какъ бо́льшая часть тетокъ, а тутъ, прошу покорнѣйше, женщина лѣтъ двадцати шести, семи, и красавица! Она сдѣлала Александру сцену и стала рѣже пускать его къ дядѣ.

Но что значили ея ревность и деспотизмъ въ сравненіи съ деспотизмомъ Александра? Онъ ужъ убѣдился въ ея привязанности, видѣлъ, что измѣна и охлажденіе не въ ея натурѣ и—ревновалъ: но какъ ревновалъ! Это не была ревность отъ избытка любви: плачущая, стонущая, вопіющая отъ мучительной боли въ сердцѣ, трепещущая отъ страха потерять счастье, — но равнодушная, холодная, злая. Онъ тиранилъ бѣдную женщину изъ любви, какъ другіе не тиранятъ изъ ненависти. Ему покажется, напримѣръ, что вечеромъ, при гостяхъ, она не довольно долго и нѣжно или часто глядитъ на него, и онъ осматривается, какъ звѣрь, кругомъ,—и горе, если въ это время около Юліи есть молодой человѣкъ, и даже не молодой, а просто человѣкъ, часто женщина, иногда—вещь. Оскорбленія, колкости, черныя подозрѣнія и упреки сыпались градомъ. Она тутъ же должна была оправдываться и откупаться разными пожертвова-

ніями, безусловною покорностью: не говорить съ тѣмъ, не сидѣть тамъ, не подходить туда, переносить лукавыя улыбки и шопотъ хитрыхъ наблюдателей, краснѣть, блѣднѣть, компрометировать себя.

Если она получала приглашеніе куда-нибудь, она, не отвѣчая, прежде всего обращала на него вопросительный взглядъ,—и чуть онъ наморщитъ брови, она, блѣдная и трепещущая, въ ту же минуту отказывалась. Иногда онъ дастъ позволеніе — она соберется, одѣнется, готовится сѣсть въ карету,—какъ вдругъ онъ, по минутному капризу, произноситъ грозное veto! и она раздѣвалась, карета откладывалась. Послѣ онъ, пожалуй, начнетъ просить прощенья, предлагаетъ ѣхать, но когда же опять дѣлать туалетъ, закладывать карету? Такъ и остается. Онъ ревновалъ не къ красавцамъ, не къ достоинству ума или таланта, а даже къ уродамъ, наконецъ къ тѣмъ, чья физіономія просто не нравилась ему.

Однажды пріѣхалъ какой-то гость изъ ея стороны, гдѣ жили ея родные. Гость былъ пожилой, некрасивый человѣкъ, говорилъ все объ урожаѣ да о своемъ сенатскомъ дѣлѣ, такъ что Александръ, соскучившись слушать его, ушелъ въ сосѣднюю комнату. Ревновать было не къ чему. Наконецъ гость сталъ прощаться.

— Я слышалъ,—сказалъ онъ:—что вы по средамъ дома; не позволите ли мнѣ присоединиться къ обществу вашихъ знакомыхъ?

Юлія улыбнулась и готовилась сказать: «прошу!» какъ вдругъ изъ другой комнаты раздался шопотъ громче всякаго крика: «не хочу!»

— Не хочу!—торопливо, вслухъ повторила Юлія гостю, вздрогнувъ.

Но Юлія сносила все. Она запиралась отъ гостей, никуда не выѣзжала и сидѣла съ-глазу-на-глазъ съ Александромъ.

Они продолжали систематически упиваться блаженствомъ. Истративъ весь запасъ извѣстныхъ и готовыхъ наслажденій, она начала придумывать новыя, разнообразить этотъ, и безъ того богатый удовольствіями, міръ. Какой даръ изобрѣтательности обнаружила Юлія! Но и этотъ даръ истощился. Начались повторенія. Желать и испытывать было нечего.

Не было ни одного загороднаго мѣста, котораго бы они не посѣтили, ни одной пьесы, которой бы они не видали вмѣстѣ, ни одной книги, которую бы не прочитали и не обсудили. Они изучили чувства, образъ мыслей, достоинства и недостатки другъ друга, и ничто уже не мѣшало имъ привести въ исполненіе задуманный планъ!

Искреннія изліянія стали рѣдки. Они иногда по цѣлымъ часамъ сидѣли, не говоря ни слова. Но Юлія была счастлива и молча.

Она изрѣдка перекинется съ Александромъ вопросомъ и получитъ да или нѣтъ — и довольна; а не получитъ этого, такъ посмотритъ на него пристально; онъ улыбнется ей, и она опять счастлива. Не улыбнись онъ и не отвѣть ничего, она начнетъ стеречь каждое движеніе, каждый взглядъ и толковать по-своему, и тогда не оберешься упрековъ.

О будущемъ они перестали говорить, потому что Александръ при этомъ чувствовалъ какое-то смущеніе, неловкость, которой не могъ объяснить себѣ, и старался замять разговоръ. Онъ сталъ размышлять, задумываться. Магическій кругъ, въ который заключена была его жизнь любовью, мѣстами разорвался, и ему вдали показались то лица пріятелей и рядъ разгульныхъ удовольствій, то блистательные балы съ толпой красавицъ, то вѣчно занятой и дѣловой дядя, то покинутыя занятія...

Въ такомъ расположеніи духа сидѣлъ онъ однажды вечеромъ у Юліи. На дворѣ была мятель. Снѣгъ билъ въ окна и клочьями прилипалъ къ стекламъ. Въ комнатѣ слы-

шалось однообразное качанье маятника столовыхъ часовъ, да изрѣдка вздохи Юліи.

Александръ окинулъ взглядомъ, отъ нечего дѣлать, комнату, потомъ посмотрѣлъ на часы — десять, а надо просидѣть еще часа два: онъ зѣвнулъ. Взглядъ его остановился на Юліи.

Она, прислонясь спиной къ камину, стояла, склонивъ блѣдное лицо къ плечу, и слѣдила глазами за Александромъ, но не съ выраженіемъ недовѣрчивости и допроса, а нѣги, любви и счастья. Она, повидимому, боролась съ тайнымъ ощущеніемъ, съ сладкой мечтой, и казалась утомленной.

Нервы такъ сильно дѣйствовали, что и самый трепетъ нѣги повергалъ ее въ болѣзненное томленіе: мука и блаженство были у ней неразлучны.

Александръ отвѣчалъ ей сухимъ, безпокойнымъ взоромъ. Онъ подошелъ къ окну и началъ слегка барабанить пальцами по стеклу, глядя на улицу.

Съ улицы доносился до нихъ смѣшанный шумъ голосовъ, ѣзды экипажей. Въ окнахъ вездѣ свѣтились огни, мелькали тѣни. Ему казалось, что тамъ, гдѣ больше освѣщено, собралась веселая толпа; тамъ, можетъ-быть, происходилъ живой размѣнъ мыслей, огненныхъ, летучихъ ощущеній: тамъ живутъ шумно и радостно. А вонъ, въ томъ слабо-освѣщенномъ окнѣ, вѣроятно, сидитъ надъ дѣльнымъ трудомъ благородный труженикъ. И Александръ подумалъ, что почти два года уже онъ влачитъ праздную, глупую жизнь,—и вотъ два года вонъ изъ итога годовъ жизни, — а все любовь! Тутъ онъ напалъ на любовь.

«И что это за любовь!» думалъ онъ: «какая-то сонная, безъ энергіи. Эта женщина поддалась чувству безъ борьбы, безъ усилій, безъ препятствій, какъ жертва: слабая, безхарактерная женщина! осчастливила своей любовью перваго, кто попался; не будь меня, она полюбила бы точно такъ же Суркова, и уже начала любить: да! какъ она ни за-

щищайся—я видѣлъ! приди кто-нибудь побойчѣе и поискуснѣе меня, она отдалась бы тому... это просто безнравственно! Это ли любовь! гдѣ же тутъ симпатія душъ, о которой проповѣдуютъ чувствительныя души? А ужъ тутъ ли не тянуло душъ другъ къ другу: казалось, слиться бы имъ навѣкъ, а вотъ поди жъ ты! Чортъ знаетъ, что̀ это такое, не разберешь!»—шепнулъ онъ съ досадой.

— Что̀ вы тамъ дѣлаете? О чемъ думаете? — спросила Юлія.

— Такъ... — сказалъ онъ, зѣвая, и сѣлъ на диванъ, подальше отъ нея, обхвативъ одной рукой уголъ шитой подушки.

— Сядьте здѣсь, поближе.

Онъ не сѣлъ и ничего не отвѣчалъ.

— Что съ вами? — продолжала она, подходя къ нему:— вы несносны сегодня.

— Я не знаю...—сказалъ онъ вяло:—мнѣ что-то... какъ будто я...

Онъ не зналъ, что̀ отвѣчать ей и самому себѣ. Онъ еще все хорошенько не объяснилъ себѣ, что̀ съ нимъ дѣлается.

Онъ сѣла подлѣ него, начала говорить о будущемъ и мало-по-малу оживилась. Она представляла счастливую картину семейной жизни, порой шутила и заключила очень нѣжно:

— Вы — мой мужъ! смотрите, — сказала она, показывая вокругъ: — скоро все это будетъ ваше. Вы здѣсь будете владычествовать въ домѣ, какъ у меня въ сердцѣ. Я теперь независима, могу дѣлать что̀ хочу, поѣхать, куда глаза глядятъ, а тогда ничто здѣсь не тронется съ мѣста безъ вашего приказанія; я сама буду связана вашей волей; но какая прекрасная цѣпь! Заковывайте же поскорѣй; когда же?.. Всю жизнь мечтала я о такомъ человѣкѣ, о такой любви... и вотъ мечта исполняется... и счастье близко... я

едва вѣрю... Знаете ли: это мнѣ кажется сномъ. Не награда ли это за всѣ мои прошедшія страданія?..

Александру мучительно было слышать эти слова.

— А если бъ я васъ разлюбилъ?—вдругъ спросилъ онъ, стараясь придать голосу шутливый тонъ.

— Я бы вамъ уши выдрала! — отвѣчала она, взявъ его за ухо, потомъ вздохнула и задумалась отъ одного шутливаго намека.

Онъ молчалъ.

— Да что съ вами?—вдругъ спросила она съ живостію:— вы молчите, едва слушаете меня, смотрите въ сторону...

Тутъ она подвинулась къ нему и, положивъ ему на плечо руку, стала говорить тихо, почти шопотомъ, на ту же тему, но не такъ положительно. Она напомнила начало ихъ сближенія, начало любви, первые ея признаки и первыя радости. Она почти задыхалась отъ нѣги ощущеній; на блѣдныхъ ея щекахъ зардѣлись два розовыя пятнышка. Они постепенно разгорались, глаза блистали, потомъ сдѣлались томны и полузакрылись; грудь дышала сильно. Она говорила едва внятно и одной рукой играла мягкими волосами Александра, потомъ заглянула ему въ глаза. Онъ тихо освободилъ голову отъ ея руки, вынулъ изъ кармана гребенку и тщательно причесалъ приведенные ею въ безпорядокъ волосы. Она встала и посмотрѣла на него пристально.

— Что съ вами, Александръ? — спросила она съ безпокойствомъ.

«Вотъ пристала! почемъ я знаю?» думалъ онъ, но молчалъ.

— Вамъ скучно? — вдругъ сказала она, и въ голосѣ ея слышались и вопросъ, и сомнѣніе.

«Скучно!» подумалъ онъ: «слово найдено! Да! это мучительная, убійственная скука! вотъ ужъ съ мѣсяцъ этотъ червь вползъ ко мнѣ въ сердце и точитъ его... О, Боже

мой, что мнѣ дѣлать? а она толкуетъ о любви, о супружествѣ. Какъ ее образумить?»

Она сѣла за фортепіано и сыграла нѣсколько любимыхъ его пьесъ. Онъ не слушалъ и все думалъ свою думу.

У Юліи опустились руки. Она вздохнула, завернулась въ шаль и бросилась въ другой уголъ дивана, откуда взорами съ тоской наблюдала за Александромъ.

Онъ взялъ шляпу.

— Куда вы?—спросила она съ удивленіемъ.

— Домой.

— Еще нѣтъ одиннадцати часовъ.

— Мнѣ надо писать къ маменькѣ: я давно не писалъ къ ней.

— Какъ давно: вы третьягодня писали.

Онъ молчалъ: сказать было нѣчего. Онъ точно писалъ и какъ-то вскользь сказалъ ей тогда объ этомъ, но забылъ; а любовь не забываетъ ни одной мелочи. Въ глазахъ ея все, что ни касается до любимаго предмета, все важный фактъ. Въ умѣ любящаго человѣка плетется многосложная ткань изъ наблюденій, тонкихъ соображеній, воспоминаній, догадокъ обо всемъ, что окружаетъ любимаго человѣка, что творится въ его сферѣ, что имѣетъ на него вліяніе. Въ любви довольно одного слова, намека... чего намека! взгляда, едва примѣтнаго движенія губъ, чтобы составить догадку, потомъ перейти отъ нея къ соображенію, отъ соображенія къ рѣшительному заключенію и потомъ мучиться или блаженствовать отъ собственной мысли. Логика влюбленныхъ, иногда фальшивая, иногда изумительно-вѣрная, быстро возводитъ зданіе догадокъ, подозрѣній, но сила любви еще быстрѣе разрушаетъ его до основанія: часто довольно для этого одной улыбки, слезы, много-много двухъ, трехъ словъ — и прощай подозрѣнія. Этого рода контроля ни усыпить, ни обмануть невозможно ничѣмъ. Влюбленный, то вдругъ заберетъ въ голову то, чего другому бы и во

снѣ не приснилось, то не видитъ того, что дѣлается у него подъ носомъ, то проницателенъ до ясновидѣнія, то недальновиденъ до слѣпоты.

Юлія вскочила съ дивана, какъ кошка, и схватила его за руку.

— Что это значитъ? куда вы?—спросила она.

— Да ничего, право ничего; ну, мнѣ просто спать хочется: я нынче мало спалъ—вотъ и все.

— Мало спали! какъ же сами сказали давеча утромъ, что спали девять часовъ, и что у васъ даже отъ того голова заболѣла?..

Опять не хорошо.

— Ну, голова болитъ... — сказалъ онъ, смутившись немного:—оттого и ѣду.

— А послѣ обѣда сказали, что голова прошла.

— Боже мой, какая у васъ память! Это несносно! Ну, мнѣ просто хочется домой.

— Развѣ вамъ здѣсь не хорошо? Что у васъ тамъ, дома?

Она, глядя ему въ глаза, недовѣрчиво покачала головой. Онъ кое-какъ успокоилъ ее и уѣхалъ.

«Что ежели я не поѣду сегодня къ Юліи?» задалъ себѣ вопросъ Александръ, проснувшись на другой день поутру.

Онъ прошелся раза три по комнатѣ.

«Право не поѣду!» прибавилъ онъ рѣшительно.

— Евсей! одѣваться.

И пошелъ бродить по городу.

«Какъ весело, какъ пріятно гулять одному!» думалъ онъ: «пойти — куда хочется, остановиться, прочитать вывѣску, заглянуть въ окно магазина, зайти туда, сюда... очень, очень хорошо! Свобода — великое благо! Да! именно: свобода въ обширномъ, высокомъ смыслѣ, значитъ—гулять одному!»

Онъ постукивалъ тростью по тротуару, весело кланялся съ знакомыми. Проходя по Морской, онъ увидѣлъ въ окнѣ

одного дома знакомое лицо. Знакомый приглашалъ его рукой войти. Онъ поглядѣлъ. Ба! да это Дюмэ! и вошелъ, отобѣдалъ, просидѣлъ до вечера, вечеромъ отправился въ театръ, изъ театра ужинать. О домѣ онъ старался не вспоминать: онъ зналъ, что̀ тамъ ждетъ его.

Въ самомъ дѣлѣ, по возвращеніи, онъ нашелъ до полдюжины записокъ на столѣ и соннаго лакея въ передней. Слугѣ не велѣно было уходить, не дождавшись его. Въ запискахъ—упреки, допросы и слѣды слезъ. На другой день надо было оправдываться. Онъ отговорился дѣломъ по службѣ. Кое-какъ помирились.

Дня черезъ три, и съ той и съ другой стороны, повторилось то же самое. Потомъ опять и опять. Юлія похудѣла, никуда не выѣзжала и никого не принимала, но молчала, потому что Александръ сердился за упреки.

Недѣли черезъ двѣ послѣ того, Александръ условился съ пріятелями выбрать день и повеселиться напропалую; но въ то же утро онъ получилъ записку отъ Юліи, съ просьбой пробыть съ ней цѣлый день и пріѣхать пораньше. Она писала, что она больна, грустна, что нервы ея страдаютъ и т. п. Онъ разсердился, однакожъ поѣхалъ предупредить ее, что онъ не можетъ остаться съ ней, что у него много дѣла.

— Да, конечно: обѣдъ у Дюмэ, театръ, катанье на горахъ—очень важныя дѣла...—сказала она томно.

— Это что̀ значитъ? — спросилъ онъ съ досадой: — вы, кажется, присматриваете за мной? я этого не потерплю.

Онъ всталъ и хотѣлъ идти.

— Постойте, послушайте!—сказала она:—поговоримте.

— Мнѣ нѣкогда.

— Одну минуту: сядьте.

Онъ сѣлъ нехотя на край стула.

Она, сложивъ руки, безпокойно вглядывалась въ него,

какъ-будто старалась прочесть на лицѣ его заранѣе отвѣтъ на то, что ей хотѣлось сказать.

Онъ отъ нетерпѣнія вертѣлся на мѣстѣ.

— Поскорѣй! мнѣ нѣкогда!—сказалъ онъ сухо.

Она вздохнула.

— Вы меня ужъ не любите? — спросила она, слегка качая головой.

— Старая пѣсня! — сказалъ онъ, поглаживая шляпу рукавомъ.

— Какъ она вамъ надоѣла!—отвѣчала она.

Онъ всталъ и началъ скорыми шагами ходить по комнатѣ. Черезъ минуту послышалось всхлипыванье.

— Этого только недоставало! — сказалъ онъ почти съ яростью, остановясь передъ ней:—мало вы мучили меня!..

— Я мучила!—воскликнула она и зарыдала сильнѣе.

— Это нестерпимо!—сказалъ Александръ, готовясь уйти.

— Ну, не стану, не стану! — торопливо заговорила она, отирая слезы: — видите, я не плачу, только не уходите, сядьте.

Она старалась улыбнуться, а слезы такъ и капали на щеки. Александръ почувствовалъ жалость. Онъ сѣлъ и началъ качать ногой. Онъ сталъ задавать себѣ мысленно вопросъ за вопросомъ и дошелъ до заключенія, что онъ охладѣлъ, не любитъ Юлію. А за что? Богъ знаетъ! Она любитъ его съ каждымъ днемъ сильнѣе и сильнѣе; не оттого ли? Боже мой? какое противорѣчіе! Всѣ условія счастья тутъ. Ничто не препятствуетъ имъ, даже и другое чувство не отвлекаетъ, а онъ охладѣлъ! О, жизнь! Но какъ успокоить Юлію? Пожертвовать собой? влачить съ нею скучные, долгіе дни; притворяться—онъ не умѣетъ, а не притворяться—значитъ видѣть ежеминутно слезы, слышать упреки, мучить ее и себя... Заговорить ей вдругъ о дядиной теоріи измѣнъ и охлажденій — прошу покорнѣйше: она, ничего не видя, плачетъ, а тогда! что дѣлать?

Юлія, видя, что онъ молчитъ, взяла его за руку и поглядѣла ему въ глаза. Онъ медленно отвернулся и тихо высвободилъ свою руку. Онъ не только не чувствовалъ влеченія къ ней, но отъ прикосновенія ея по тѣлу его пробѣжала холодная и непріятная дрожь. Она удвоила ласки. Онъ не отвѣчалъ на нихъ и сдѣлался еще холоднѣе, угрюмѣе. Она вдругъ оторвала отъ него свою руку и вспыхнула. Въ ней проснулась женская гордость, оскорбленное самолюбіе, стыдъ. Она выпрямила голову, станъ, покраснѣла отъ досады.

— Оставьте меня!—сказала она отрывисто.

Онъ проворно пошелъ вонъ, безъ всякаго возраженія. Но когда шумъ шаговъ его сталъ затихать, она бросилась вслѣдъ за нимъ.

— Александръ Ѳедорычъ! Александръ Ѳедорычъ!—закричала она.

Онъ воротился.

— Куда же вы?

— Да вѣдь вы велѣли уйти.

— А вы и рады бѣжать. Останьтесь!

— Мнѣ некогда!

Она взяла его за руку — и опять полилась нѣжная, пламенная рѣчь, мольбы, слезы. Онъ ни взглядомъ, ни словомъ, ни движеніемъ не обнаружилъ сочувствія, — стоялъ точно деревянный, переминаясь съ ноги на ногу. Его хладнокровіе вывело ее изъ себя. Посыпались угрозы и упреки. Кто бы узналъ въ ней кроткую, слабонервную женщину? Локоны у ней распустились, глаза горѣли лихорадочнымъ блескомъ, щеки пылали, черты лица странно разложились.— «Какъ она не хороша!» думалъ Александръ, глядя на нее съ гримасой.

— Я отомщу вамъ, — говорила она: — вы думаете, что такъ легко можно шутить судьбой женщины? Вкрались въ сердце лестью, притворствомъ, овладѣли мной совершенно, а потомъ кинули, когда я ужъ не въ силахъ выбросить

васъ изъ памяти... нѣтъ! я васъ не оставлю: я буду всюду васъ преслѣдовать. Вы никуда не уйдете отъ меня: поѣдете въ деревню — и я за вами, за границу — и я туда же, всегда и вездѣ. Я не легко разстанусь съ своимъ счастьемъ. Мнѣ все равно: какова ни будетъ жизнь моя... мнѣ больше нечего терять; но я отравлю и вашу: я отомщу, отомщу; у меня должна быть соперница! Не можетъ быть, чтобъ вы такъ оставили меня... я найду ее—и посмотрите, что я сдѣлаю: вы не будете рады и жизни! Съ какимъ бы наслажденіемъ я услыхала теперь о вашей гибели... я бы сама убила васъ!—крикнула она дико, бѣшено.

«Какъ это глупо! нелѣпо!» думалъ Александръ, пожимая плечами.

Видя, что Александръ равнодушенъ и къ угрозамъ, она вдругъ перешла въ тихій, грустный тонъ, потомъ молча глядѣла на него.

— Сжальтесь надо мной!—заговорила она:—не покидайте меня; что я теперь безъ васъ буду дѣлать? я не вынесу разлуки. Я умру! Подумайте: женщины любятъ иначе, нежели мужчины: нѣжнѣе, сильнѣе. Для нихъ любовь — все, особенно для меня: другія кокетничаютъ, любятъ свѣтъ, шумъ, суету, я не привыкла къ этому, у меня другой характеръ. Я люблю тишину, уединеніе, книги, музыку, но васъ болѣе всего на свѣтѣ...

Александръ обнаружилъ нетерпѣніе.

— Ну, хорошо! не любите меня,—съ живостью продолжала она:—но исполните ваше обѣщаніе: женитесь на мнѣ, будьте только со мной... вы будете свободны: дѣлайте, что хотите, даже любите, кого хотите, лишь бы я иногда, изрѣдка видѣла васъ... О, ради Бога, сжальтесь, сжальтесь!..

Она заплакала и не могла продолжать. Волненіе истощило ее, она упала на диванъ, закрыла глаза, зубы ея стиснулись, ротъ судорожно искривился. Съ ней сдѣлался истерическій припадокъ. Черезъ часъ она опомнилась, при-

шла въ себя. Около нея суетилась горничная. Она оглядѣлась кругомъ.

— А гдѣ же?...—спросила она.

— Они уѣхали!

— Уѣхалъ!—уныло повторила она и долго сидѣла молча и неподвижно.

На другой день записка за запиской къ Александру. Онъ не являлся и не давалъ отвѣта. На третій и на четвертый день то же. Юлія написала къ Петру Иванычу, приглашая его къ себѣ по важному дѣлу. Жену его она не любила, потому что она была молода, хороша и приходилась Александру теткой.

Петръ Иванычъ засталъ ее не шутя больной, чуть не умирающей. Онъ пробылъ у ней часа два, потомъ отправился къ Александру.

— Каковъ притворщикъ, а!—сказалъ онъ.

— Что такое?—спросилъ Александръ.

— Смотрите, какъ-будто не его дѣло! Не умѣетъ влюбить въ себя женщину, а самъ съ ума сводитъ.

— Я не понимаю, дядюшка...

— Чего тутъ не понимать? понимаешь! я былъ у Тафаевой: она мнѣ все сказала.

— Какъ!—пробормоталъ Александръ въ сильномъ смущеніи.—Все сказала!

— Все. Какъ она любитъ тебя! Счастливецъ! Ну, вотъ, ты все плакалъ, что не находишь страсти: вотъ тебѣ и страсть: утѣшься! Она съ ума сходитъ, ревнуетъ, плачетъ, бѣсится... Только зачѣмъ вы меня путаете въ свои дѣла? Вотъ ты женщинъ сталъ навязывать мнѣ на руки. Этого только недоставало: потерялъ цѣлое утро съ ней. Я думалъ, за какимъ тамъ дѣломъ: не имѣніе ли хочетъ заложить въ Опекунскій Совѣтъ... она какъ-то говорила... а вотъ за какимъ: ну, дѣло.

— Зачѣмъ же вы у ней были?

— Она звала, жаловалась на тебя. Въ самомъ дѣлѣ, какъ тебѣ не стыдно такъ неглижировать? четыре дня глазъ не казалъ—шутка ли? Она, бѣдная, умираетъ! Ступай, поѣзжай скорѣе...

— Что жъ вы ей сказали?

— Обыкновенно что: что ты также ее любишь безъ ума: что ты давно искалъ нѣжнаго сердца; что тебѣ страхъ какъ нравятся *искреннія изліянія* и безъ любви ты тоже не можешь жить; сказалъ, что напрасно она безпокоится: ты воротишься; совѣтовалъ не очень стѣснять тебя, позволить иногда и пошалить... а то, говорю, вы наскучите другъ другу... ну, обыкновенно, что говорится въ такихъ случаяхъ. Она стала такая веселая, проговорилась, что у васъ положено быть свадьбѣ, что и жена моя тутъ вмѣшалась. А мнѣ ни слова—каковы! Ну что жъ: дай Богъ! у этой хоть что-нибудь есть; проживете вдвоемъ. Я сказалъ ей, что ты непремѣнно исполнишь свое обѣщаніе... Я ужъ нынче постарался для тебя, Александръ, въ благодарность за услугу, которую ты мнѣ оказалъ... увѣрилъ ее, что ты любишь *такъ пламенно, такъ нѣжно...*

— Что вы надѣлали, дядюшка!—заговорилъ Александръ, мѣняясь въ лицѣ:—я... я не люблю ее больше!.. я не хочу жениться!.. Я холоденъ къ ней, какъ ледъ!.. скорѣй въ воду... чѣмъ...

— Ба, ба, ба!—сказалъ Петръ Иванычъ съ притворнымъ изумленіемъ:—тебя ли я слышу? Да не ты ли говорилъ—помнишь? что презираешь человѣческую натуру и особенно женскую; что нѣтъ сердца въ мірѣ достойнаго тебя?.. Что еще ты говорилъ? дай Богъ память...

— Ради Бога, ни слова, дядюшка: довольно и этого упрека; зачѣмъ еще нравоученіе? Вы думаете, что я такъ не понимаю... О, люди! люди!

Онъ вдругъ началъ хохотать, а съ нимъ и дядя.

— Вотъ такъ-то лучше! — сказалъ Петръ Иванычъ: — я

говорилъ, что ты самъ будешь смѣяться надъ собою— вотъ оно...

И опять оба захохотали.

— Ну-ка, скажи,—продолжалъ Петръ Иванычъ:—какого ты мнѣнія теперь объ этой... какъ ее?.. Пашенька, что ли, съ бородавкой-то?

— Дядюшка, это не великодушно!

— Нѣтъ, я только говорю, чтобъ узнать, все ли ты еще презираешь ее?

— Оставьте это, ради Бога, а лучше помогите мнѣ теперь выйти изъ ужаснаго положенія. Вы такъ умны, такъ разсудительны...

— А! теперь комплименты, лесть! Нѣтъ, ты женись-ка поди.

— Ни за что, дядюшка! Умоляю, помогите!

— То-то и есть, Александръ: хорошо, что я давно догадался о твоихъ продѣлкахъ...

— Какъ, давно!

— Да такъ: я знаю о твоей связи съ самаго начала.

— Вамъ, вѣрно, сказала ma tante.

— Какъ не такъ! я ей сказалъ. Что̀ тутъ мудренаго? у тебя все на лицѣ было написано. Ну, не тужи: я ужъ помогъ тебѣ.

— Какъ? когда?

— Сегодня же утромъ. Не безпокойся: Тафаева больше не станетъ тревожить тебя...

— Какъ же вы сдѣлали? Что̀ вы ей сказали?

— Долго повторять, Александръ! скучно.

— Но, можетъ-быть, вы Богъ знаетъ что̀ наговорили ей. Она ненавидитъ, презираетъ меня...

— Не все ли равно? я успокоилъ ее—этого и довольно; сказалъ, что ты любить не можешь, что не стоитъ о тебѣ и хлопотать...

— Что жъ она?

— Она теперь даже рада, что ты оставилъ ее.

— Какъ, рада!—сказалъ Александръ задумчиво.

— Такъ, рада.

— Вы не замѣтили въ ней ни сожалѣнія, ни тоски? ей все равно? Это ни на что не похоже!

Онъ началъ въ безпокойствѣ ходить по комнатѣ.

— Рада, покойна!—твердилъ онъ: — прошу покорнѣйше! сейчасъ же ѣду къ ней.

— Вотъ люди!—замѣтилъ Петръ Иванычъ:—вотъ сердце: живи имъ—хорошо будетъ! Да не ты ли боялся, чтобъ она не прислала за тобой? не ты ли просилъ помочь? а теперь встревожился, что она, разставаясь съ тобой, не умираетъ съ тоски.

— Рада, довольна! — говорилъ, ходя взадъ и впередъ, Александръ, и не слушая дяди. — А! такъ она не любила меня! ни тоски, ни слезъ. Нѣтъ, я увижу ее.

Петръ Иванычъ пожалъ плечами.

— Воля ваша: я не могу оставить такъ, дядюшка! — прибавилъ Александръ, хватаясь за шляпу.

— Ну, такъ поди къ ней опять: тогда и не отвяжешься, а ужъ ко мнѣ потомъ не приставай: я не стану вмѣшиваться; и теперь вмѣшался только потому, что самъ же ввелъ тебя въ это положеніе. Ну, полно, что еще повѣсилъ носъ?

— Стыдно жить на свѣтѣ!.. — сказалъ со вздохомъ Александръ.

— И не заниматься дѣломъ,—примолвилъ дядя.—Полно! приходи сегодня къ намъ: за обѣдомъ посмѣемся надъ твоей исторіей, а потомъ прокатаемся на заводъ.

— Какъ я мелокъ, ничтоженъ! — говорилъ въ раздумьи Александръ:—нѣтъ у меня сердца! я жалокъ, нищъ духомъ!

— А все отъ любви! — прервалъ Петръ Иванычъ. — Какое глупое занятіе: предоставь его какому-нибудь Суркову.

А ты дѣльный малый: можешь заняться чѣмъ-нибудь поважнѣе. Полно тебѣ гоняться за женщинами.

— Но вѣдь вы любите же вашу жену?..

— Да, конечно. Я очень къ ней привыкъ, но это не мѣшаетъ мнѣ дѣлать свое дѣло. Ну, прощай же, приходи.

Александръ сидѣлъ смущенный, угрюмый. Къ нему подкрался Евсей съ сапогомъ, въ который опустилъ руку.

— Извольте-ка посмотрѣть, сударь,—сказалъ онъ умильно: — какая вакса-то: вычистишь, словно зеркало, а всего четвертакъ стоитъ...

Александръ очнулся, посмотрѣлъ машинально на сапогъ, потомъ на Евсея.

— Пошелъ вонъ!—сказалъ онъ:—ты дуракъ!

— Въ деревню бы послать...—началъ опять Евсей.

— Пошелъ, говорю тебѣ, пошелъ!—закричалъ Александръ, почти плача:—ты измучилъ меня, ты своими сапогами сведешь меня въ могилу... ты... варваръ!

Евсей проворно убрался въ переднюю.

IV.

— Отчего это Александръ не ходитъ къ намъ? я его мѣсяца три не видалъ,—спросилъ однажды Петръ Иванычъ у жены, воротясь откуда-то домой.

— Я ужъ потеряла надежду когда-нибудь увидѣться съ нимъ,—отвѣчала она.

— Да что съ нимъ. Опять влюбленъ, что ли?

— Не знаю.

— Онъ здоровъ?

— Здоровъ.

— Напиши, пожалуйста, къ нему, мнѣ нужно поговорить съ нимъ. У нихъ опять перемѣны въ службѣ, а онъ, я думаю, и не знаетъ. Не понимаю, что за безпечность.

— Я ужъ десять разъ писала, звала. Онъ говоритъ, что некогда, а самъ играетъ съ какими-то чудаками въ шашки

или удить рыбу. Поди ты лучше самъ: ты бы узналъ, что съ нимъ.

— Нѣтъ, не хочется. Послать человѣка.

— Александръ не пойдетъ.

— Попробуемъ.

Послали. Человѣкъ вскорѣ воротился.

— Ну что, онъ дома?—спросилъ Петръ Иванычъ.

— Дома-съ. Кланяться приказали.

— Что онъ дѣлаетъ?

— Лежатъ на диванѣ.

— Какъ, объ эту пору?

— Они, слышь, всегда лежатъ.

— Да что жъ онъ, спитъ?

— Никакъ нѣтъ-съ. Я самъ сначала думалъ, что почиваютъ, да глазки-то у нихъ открыты: на потолокъ изволятъ смотрѣть.

Петръ Иванычъ пожалъ плечами.

— Онъ придетъ сюда?—спросилъ онъ.

— Никакъ нѣтъ-съ. «Кланяйся, говоритъ, доложи дяденькѣ, чтобъ извинили: не такъ, дескать, здоровъ»; и вамъ, сударыня, кланяться приказали.

— Что еще тамъ съ нимъ? Это удивительно, право! Вѣдь уродится же этакой! Не вели откладывать кареты. Нечего дѣлать, съѣзжу. Но ужъ право въ послѣдній разъ.

И Петръ Иванычъ засталъ Александра на диванѣ. Онъ, при входѣ дяди, привсталъ и сѣлъ.

— Ты нездоровъ?—спросилъ Петръ Иванычъ.

— Такъ...—отвѣчалъ Александръ, зѣвая.

— Что же ты дѣлаешь?

— Ничего.

— И ты можешь пробыть безъ дѣла?

— Могу.

— Я слышалъ, Александръ, сегодня, что будто у васъ Ивановъ выходитъ.

— Да, выходитъ.

— Кто жъ на его мѣсто?

— Говорятъ, Иченко.

— А ты что?

— Я? ничего.

— Какъ ничего? Отчего же не ты?

— Не удостоиваютъ. Что жъ дѣлать: вѣрно не гожусь.

— Помилуй, Александръ, надо хлопотать. Ты бы съѣздилъ къ директору.

— Нѣтъ,—сказалъ Александръ, тряся головой.

— Тебѣ, повидимому, все равно?

— Все равно.

— Да вѣдь ужъ тебя въ третій разъ обходятъ.

— Все равно: пусть!

— Вотъ посмотримъ, что-то скажешь, когда твой бывшій подчиненный станетъ приказывать тебѣ, или когда войдетъ, а тебѣ надо встать и поклониться.

— Что жъ: встану и поклонюсь.

— А самолюбіе?

— У меня его нѣтъ.

— Однакожъ, у тебя есть же какіе-нибудь интересы въ жизни?

— Никакихъ. Были да прошли.

— Не можетъ быть: одни интересы смѣняются другими. Отчего жъ у тебя прошли, а у другихъ не проходятъ? Рано бы, кажется: тебѣ еще и тридцати лѣтъ нѣтъ...

Александръ пожалъ плечами.

Петру Иванычу ужъ и не хотѣлось продолжать этого разговора. Онъ называлъ все это капризами; но онъ зналъ, что, по возвращеніи домой, ему не избѣжать вопросовъ жены, и оттого нехотя продолжалъ:

— Ты бы развлекся чѣмъ-нибудь, посѣщалъ бы общество,—сказалъ онъ:—читалъ бы.

— Не хочется, дядюшка.

— Про тебя ужъ начинаютъ поговаривать, что ты того... этакъ... тронулся отъ любви, дѣлаешь Богъ знаетъ что, водишься съ какими-то чудаками... Я бы для одного этого пошелъ.

— Пусть ихъ говорятъ, что хотятъ.

— Послушай, Александръ, шутки въ сторону. Это все мелочи; можешь кланяться или не кланяться, посѣщать общество, или нѣтъ—дѣло не въ томъ. Но вспомни, что тебѣ, какъ и всякому, надо сдѣлать какую-нибудь карьеру. Думаешь ли ты иногда объ этомъ?

— Какъ же не думаю: я ужъ сдѣлалъ.

— Какъ такъ?

— Я очертилъ себѣ кругъ дѣйствія и не хочу выходить изъ этой черты. Тутъ я хозяинъ: вотъ моя карьера.

— Это лѣнь.

— Можетъ-быть.

— Ты не въ правѣ лежать на боку, когда можешь дѣлать что-нибудь, пока есть силы. Сдѣлано ли твое дѣло?

— Я дѣлаю дѣло. Никто не упрекнетъ меня въ праздности. Утро я занятъ въ службѣ, а трудиться сверхъ того— это роскошь, произвольная обязанность. Зачѣмъ я буду хлопотать?

— Всѣ хлопочутъ изъ чего-нибудь: иной потому, что считаетъ своимъ долгомъ дѣлать сколько есть силъ, другой изъ денегъ, третій изъ почета... Ты что за исключеніе?

— Почетъ, деньги! особенно деньги! Зачѣмъ онѣ? Вѣдь я сытъ, одѣтъ: на это станетъ.

— И одѣтъ-то теперь плохо,—замѣтилъ дядя.—Да будто тебѣ только и надобно?

— Только.

— А роскошь умственныхъ и душевныхъ наслажденій, а искусство... — началъ-было Петръ Иванычъ, поддѣлываясь подъ тонъ Александра.—Ты можешь идти впередъ: твое на-

значеніе выше; долгъ твой призываетъ тебя къ благородному труду... А стремленія къ высокому—забылъ?

— Богъ съ ними! Богъ съ ними!—сказалъ съ безпокойствомъ Александръ.—И вы, дядюшка, начали дико говорить! Этого прежде не водилось за вами. Не для меня ли? Напрасный трудъ! Я стремился выше — вы помните? Что жъ вышло!

— Помню, какъ ты вдругъ сразу въ министры захотѣлъ, а потомъ въ писатели. А какъ увидалъ, что къ высокому званію ведетъ длинная и трудная дорога, а для писателя нуженъ талантъ, такъ и назадъ. Много вашей братьи пріѣзжаетъ сюда съ высшими взглядами, а дѣла своего подъ носомъ не видитъ. Какъ понадобится бумагу написать — смотришь, и того... Я не про тебя говорю: ты доказалъ, что можешь заниматься, а современемъ и быть чѣмъ-нибудь. Да скучно, долго ждать. Мы вдругъ хотимъ; не удалось—и носъ повѣсили.

— Да я стремиться выше не хочу. Я хочу такъ остаться, какъ есть: развѣ я не въ правѣ избрать себѣ занятіе, ниже ли оно моихъ способностей, или нѣтъ — что нужды? если я дѣлаю дѣло добросовѣстно—я исполняю свой долгъ. Пусть упрекаютъ меня въ неспособности къ высшему: меня нисколько не огорчило бы, если бъ это была и правда. Сами же вы говорили, что есть поэзія въ скромномъ удѣлѣ, а теперь упрекаете, что я избралъ скромнѣйшій. Кто мнѣ запретитъ сойти нѣсколькими ступенями ниже и стать на той, которая мнѣ нравится. Я не хочу высшаго назначенія — слышите ли, не хочу?..

— Слышу! я не глухъ, только все это жалкіе софизмы.

— Нужды нѣтъ. Вотъ я нашелъ себѣ мѣсто и буду сидѣть на немъ вѣкъ. Нашелъ простыхъ, незатѣйливыхъ людей, нужды нѣтъ, что ограниченныхъ умомъ, играю съ ними въ шашки и ужу рыбу — и прекрасно! Пусть я по-вашему буду наказанъ за это, пусть лишусь наградъ, денегъ, по-

чета, значенія—всего, что̀ такъ льститъ вамъ. Я навсегда отказываюсь...

— Ты, Александръ, хочешь притвориться покойнымъ и равнодушнымъ ко всему, а въ твоихъ словахъ такъ и кипитъ досада: ты и говоришь, какъ будто не словами, слезами. Много жёлчи въ тебѣ: ты не знаешь на кого излить ее, потому что виноватъ только самъ.

— Пусть!—сказалъ Александръ.

— Что жъ ты хочешь? Человѣкъ долженъ же хотѣть чего-нибудь?

— Хочу, чтобъ мнѣ не мѣшали быть въ моей темной сферѣ, не хлопотать ни о чемъ и быть покойнымъ.

— Да развѣ это жизнь?

— А по-моему та жизнь, которою вы живете, не жизнь: стало-быть, и я правъ.

— Тебѣ бы хотѣлось передѣлать жизнь по-своему: я воображаю, хороша была бы. У тебя, я думаю, среди розовыхъ кустовъ, гуляли бы все попарно любовники да друзья...

Александръ ничего не сказалъ.

Петръ Иванычъ молча глядѣлъ на него. Онъ опять похудѣлъ. Глаза впали. На щекахъ и лбу появились преждевременныя складки.

Дядя испугался. Душевнымъ страданіямъ онъ мало вѣрилъ, но боялся, не кроется ли подъ этимъ унынiемъ начало какого-нибудь физическаго недуга. «Пожалуй, думалъ онъ, малый рехнется, а тамъ поди раздѣлывайся съ матерью: то-то заведется переписка! того гляди, еще прикатитъ сюда».

— Да ты, Александръ, разочарованный, я вижу, — сказалъ онъ.

«Какъ бы», думалъ онъ: «повернуть его назадъ, къ его любимымъ идеямъ. Постой-ка, я прикинусь...»

— Послушай, Александръ, — сказалъ онъ: — ты очень

опустился. Стряхни съ себя эту апатію. Не хорошо! И отчего? Ты, можетъ-быть, принялъ слишкомъ горячо къ сердцу, что я иногда небрежно отзывался о любви, о дружбѣ. Вѣдь это я дѣлалъ шутя, больше для того, чтобъ умѣрить въ тебѣ восторженность, которая въ нашъ положительный вѣкъ какъ-то неумѣстна, особенно здѣсь, въ Петербургѣ, гдѣ все уравнено, какъ моды, такъ и страсти, и дѣла, и удовольствія, все взвѣшено, узнано, оцѣнено... всему назначены границы. Зачѣмъ одному отступать наружно отъ этого общаго порядка? Неужели же ты въ самомъ дѣлѣ думаешь, что я безчувственный, что я не признаю любви? Любовь — чувство прекрасное: нѣтъ ничего святѣе союза двухъ сердецъ, или дружба, напримѣръ... Я внутренно убѣжденъ, что чувство должно быть постоянно, вѣчно...

Александръ засмѣялся.

— Что ты?—спросилъ Петръ Иванычъ.

— Дико, дико говорите, дядюшка. Не прикажете ли сигару? закуримъ: вы будете продолжать говорить, а я послушаю.

— Да что съ тобой?

— Такъ, ничего. Вздумали поддѣть меня! А называли когда-то неглупымъ человѣкомъ! хотите играть мной, какъ мячикомъ—это обидно! Не вѣкъ же быть юношей. Къ чему-нибудь да пригодилась школа, которую я прошелъ. Какъ вы пустились ораторствовать! будто у меня нѣтъ глазъ? Вы только устроили фокусъ, а я смотрѣлъ.

«Не за свое дѣло взялся», подумалъ Петръ Иванычъ: «къ женѣ послать».

— Приходи къ намъ,—сказалъ онъ:—жена очень хочетъ видѣть тебя.

— Не могу, дядюшка.

— Хорошо ли ты дѣлаешь, что забываешь ее?

— Можетъ-быть, очень дурно, но ради Бога извините

меня и теперь не ждите. Погодите еще нѣсколько времени, приду.

— Ну, какъ хочешь, — сказалъ Петръ Иванычъ. Онъ махнулъ рукой и поѣхалъ домой.

Онъ сказалъ женѣ, что отступается отъ Александра, что какъ онъ хочетъ, такъ пусть и дѣлаетъ, а онъ, Петръ Иванычъ, сдѣлалъ все, что могъ, и теперь умываетъ руки.

Александръ, бѣжавъ Юліи, бросился въ вихрь шумныхъ радостей. Онъ твердилъ стихи извѣстнаго нашего поэта:

Пойдемъ туда, гдѣ дышитъ радость,
Гдѣ шумный вихрь забавъ шумитъ,
Гдѣ не живутъ, но тратятъ жизнь и младость,
Среди веселыхъ игръ за радостнымъ столомъ.
На часъ упившись счастьемъ ложнымъ,
Я пріучусь къ мечтамъ ничтожнымъ
Съ судьбою примирюсь виномъ
Я сердца усмирю заботы,
Я думамъ не велю летать;
Небесъ на тихое сіянье
Я не велю глазамъ своимъ взирать и проч.

Явилась семья друзей и съ ними неизбѣжная *чаша*. Друзья созерцали лики свои въ пѣнистой влагѣ, потомъ въ лакированныхъ сапогахъ. «Прочь горе, — восклицали они, ликуя:—прочь заботы! Истратимъ, уничтожимъ, испепелимъ, выпьемъ жизнь и молодость! Ура!» Стаканы и бутылки съ трескомъ летѣли на полъ.

На нѣкоторое время свобода, шумныя сборища, безпечная жизнь заставили его забыть Юлію и тоску. Но все одно да одно, обѣды у ресторатороvъ, тѣ же лица съ мутными глазами; ежедневно все тотъ же глупый и пьяный бредъ собесѣдниковъ и, вдобавокъ къ этому, еще постоянно разстроенный желудокъ: нѣтъ, это не по немъ. Слабый организмъ тѣла и душа Александра, настроенная на грустный, элегическій тонъ, не вынесли этихъ забавъ.

Онъ бѣжалъ *веселыхъ игръ за радостнымъ столомъ* и

очутился одинъ въ своей комнатѣ, наединѣ съ собой, съ забытыми книгами. Но книга вываливалась изъ рукъ, перо не слушалось вдохновенія. Шиллеръ, Гёте, Байронъ являли ему мрачную сторону человѣчества — свѣтлой онъ не замѣчалъ: ему было не до нея.

А какъ счастливъ бывалъ онъ въ этой комнатѣ нѣкогда! онъ былъ не одинъ: около него присутствовалъ тогда прекрасный призракъ и осѣнялъ его днемъ за заботливымъ трудомъ, ночью бодрствовалъ надъ его изголовьемъ. Тамъ жили съ нимъ тогда мечты, будущее было одѣто туманомъ, но не тяжелымъ, предвѣщающимъ ненастье, а утреннимъ, скрывающимъ свѣтлую зарю. За тѣмъ туманомъ таилось что-то, вѣроятно—счастье... А теперь? не только его комната, для него опустѣлъ цѣлый міръ, и, въ немъ самомъ холодъ, тоска...

Вглядываясь въ жизнь, вопрошая сердце, голову, онъ съ ужасомъ видѣлъ, что ни тамъ, ни сямъ не осталось ни одной мечты, ни одной розовой надежды: все уже было назади; туманъ разсѣялся; передъ нимъ разостлалась, какъ степь, голая дѣйствительность. Боже! какое необозримое пространство! какой скучный, безотрадный видъ! Прошлое погибло, будущее уничтожено, счастья нѣтъ: все химера—а живи!

Чего онъ хотѣлъ, и самъ не зналъ; а какъ многаго не хотѣлъ!

Голова его была какъ будто въ туманѣ. Онъ не спалъ, но былъ, казалось, въ забытьи. Тяжелыя мысли безконечной вереницей тянулись въ головѣ. Онъ думалъ:

«Что могло увлечь его? Плѣнительныхъ надеждъ, безпечности—нѣтъ! онъ зналъ все, что впереди. Почетъ, стремленіе по пути честей? Да что́ ему въ нихъ. Стоитъ ли для какихъ-нибудь двадцати, тридцати лѣтъ, биться какъ рыба объ ледъ? И грѣетъ ли это сердце? Отрадно ли душѣ, когда тебѣ нѣсколько человѣкъ поклонятся низко, а сами подумаютъ, можетъ-быть: «чортъ бы тебя взялъ!»

Любовь? Да, вотъ еще! Онъ знаетъ ее наизусть, да и потерялъ уже способность любить. А услужливая память, какъ на смѣхъ, напоминала ему Наденьку, но не невинную, простодушную Наденьку—этого она никогда не напоминала—а непремѣнно Наденьку—измѣнницу, со всею обстановкой, съ деревьями, съ дорожкой, съ цвѣтами, и среди всего этотъ змѣенокъ, съ знакомой ему улыбкой, съ краской нѣги и стыда... и все для другого, не для него!.. Онъ со стономъ хватался за сердце.

«Дружба», подумалъ онъ: «другая глупость! Все извѣдано, новаго ничего нѣтъ, старое не повторится, а живи!»

Онъ никому и ничему не вѣрилъ, не забывался въ наслажденіи; вкушалъ его, какъ человѣкъ безъ аппетита вкушаетъ лакомое блюдо, холодно, зная, что за этимъ наступитъ скука, что наполнить душевной пустоты ничѣмъ нельзя. Ввѣриться чувству — оно обманетъ и только взволнуетъ душу и прибавитъ еще нѣсколько ранъ къ прежнимъ. Глядя на людей, связанныхъ любовью, не помнящихъ себя отъ восторга, онъ улыбался иронически и думалъ: «погодите, опомнитесь; послѣ первыхъ радостей начнется ревность, сцены примиренія, слезы. Живучи вмѣстѣ, надоѣдите другъ другу смертельно, а разстанетесь — вдвое заплачете. Сойдетесь опять — еще хуже. Сумасшедшіе! безпрерывно ссорятся, дуются другъ на друга, ревнуютъ, потомъ мирятся на минуту, чтобъ сильнѣе поссориться: это у нихъ любовь, преданность! а все вмѣстѣ, съ пѣной на устахъ, иногда со слезами отчаянія на глазахъ, упрямо называютъ *счастьемъ!* А дружба ваша... *брось-ка кость,* такъ *что твои собаки!*»

Желать онъ боялся, зная, что часто, въ моментъ достиженія желаемаго, судьба вырветъ изъ рукъ счастье и предложитъ совсѣмъ другое, чего вовсе не хочешь — такъ, дрянь какую-нибудь; а если наконецъ и дастъ желаемое, то прежде измучитъ, истомитъ, унизитъ въ собственныхъ

глазахъ и потомъ броситъ, какъ бросаютъ подачку собакѣ, заставивши ее прежде проползти до лакомаго куска, смотрѣть на него, держать на носу, завалять въ пыли, стоять на заднихъ лапахъ, и тогда—пиль!

Его пугалъ и періодическій приливъ счастья и несчастья въ жизни. Радостей онъ не предвидѣлъ, а горе все непремѣнно впереди, его не избѣжишь: всѣ подвержены общему закону; всѣмъ, какъ казалось ему, отпущена ровная доля и счастья, и несчастья. Счастье для него кончилось, и какое счастье? фантасмагорія, обманъ. Только горе реально, а оно впереди. Тамъ и болѣзни, и старость, и разныя утраты, можетъ-быть, еще нужда... Всѣ эти *удары рока*, какъ говоритъ деревенская тетушка, стерегутъ его; а отрады какія? Высокое поэтическое назначеніе измѣнило; на него наваливаютъ тяжкую ношу и называютъ это долгомъ! Остаются жалкія блага — деньги, комфортъ, чины... Богъ съ ними! О, какъ грустно раздѣлять жизнь, понять, какова она, и не понять, зачѣмъ она!

Такъ хандрилъ онъ и не видѣлъ исхода изъ омута этихъ сомнѣній. Опыты только понапрасну измяли его, а здоровья не подбавили въ жизнь, не очистили воздуха въ ней и не дали свѣта. Онъ не зналъ, что̀ дѣлать: ворочался съ боку на бокъ на диванѣ, сталъ перебирать въ умѣ знакомыхъ— и пуще затосковалъ. Одинъ служитъ отлично, пользуется почетомъ, извѣстностью, какъ хорошій администраторъ; другой обзавелся семьей и предпочитаетъ тихую жизнь всѣмъ суетнымъ благамъ міра, никому не завидуя, ничего не желая; третій... да что̀? всѣ, всѣ какъ-то пристроились, основались и идутъ по своему ясному и угаданному пути. «Одинъ я только... да что̀ же я такое?»

Тутъ онъ сталъ допытываться у самого себя: могъ ли бы онъ быть администраторомъ, какимъ-нибудь командиромъ эскадрона? могъ ли бы довольствоваться семейною жизнью? и увидѣлъ, что ни то, ни другое, ни третье не удовлетво-

рило бы его. Какой-то бѣсенокъ все шевелился въ немъ, все шепталъ ему, что это мелко для него, что ему бы летать выше... а гдѣ и какъ—онъ не могъ рѣшить. Въ авторствѣ онъ ошибся. «Что же дѣлать, что начать?» спрашивалъ онъ себя, и не зналъ, что отвѣчать. А досада такъ и грызла его: ну, хоть, пожалуй, администраторомъ или эскадроннымъ командиромъ... да нѣтъ: время ушло, надо начинать съ азбуки.

Отчаяніе выдавило у него слезы изъ глазъ, — слезы досады, зависти, недоброжелательства ко всѣмъ, самыя мучительныя слезы. Онъ горько каялся, что не послушалъ матери и бѣжалъ изъ глуши.

«Маменька сердцемъ чуяла отдаленное горе», думалъ онъ: «тамъ эти безпокойные порывы спали бы непробуднымъ сномъ; тамъ не было бы бурнаго броженія этой сложной жизни. Между тѣмъ и тамъ посѣтили бы меня всѣ человѣческія чувства и страсти: и самолюбіе, и гордость, и честолюбіе,—все, въ маломъ размѣрѣ, коснулось бы сердца въ тѣсныхъ границахъ нашего уѣзда—и все бы удовлетворилось. Первый въ уѣздѣ! да! все условно. Божественная искра небеснаго огня, который, болѣе или менѣе, горитъ во всѣхъ насъ, сверкнула бы тамъ незамѣтно во мнѣ и скоро потухла бы въ праздной жизни, или зажглась бы въ привязанности къ женѣ и дѣтямъ. Существованіе не было бы отравлено. Я прошелъ бы гордо свое назначеніе: путь жизни былъ бы тихъ, казался бы и простъ, и понятенъ мнѣ, жизнь была бы по силамъ, я бы вынесъ борьбу съ ней... А любовь? Она цвѣла бы пышнымъ цвѣтомъ и наполнила бы всю жизнь мою. Софья полюбила бы меня въ тишинѣ. Я не терялъ бы вѣры ни во что, рвалъ бы однѣ розы, не зная шиповъ, не испытывая даже ревности, за недостаткомъ — соперничества! Зачѣмъ же такъ сильно и слѣпо влекло меня въ даль, въ туманъ, на неровную и неизвѣстную борьбу съ судьбой? А какъ прекрасно понималъ

я тогда и жизнь, и людей! такъ понималъ бы ихъ еще и теперь, ничего не понимая. Я ждалъ тогда отъ жизни такъ много и, не разсмотрѣвъ ее пристально, ждалъ бы тамъ отъ нея чего-нибудь еще и до сихъ поръ. Сколько сокровищъ открылъ я въ душѣ своей: куда они дѣлись? Я пустилъ ихъ въ размѣнъ по свѣту, я отдалъ искренность сердца, первую завѣтную страсть—и что получилъ? горькое разочарованіе, узналъ, что все обманъ, все непрочно, что нельзя надѣяться ни на себя, ни на другихъ—и сталъ бояться и другихъ, и себя... Я не могъ, среди этого анализа, признать мелочей жизни и быть ими доволенъ, какъ дядюшка и многіе другіе... И вотъ теперь!..»

Теперь онъ желалъ только одного: забвенія прошедшаго, спокойствія, сна души. Онъ охлаждался болѣе и болѣе къ жизни, на все смотрѣлъ сонными глазами. Въ толпѣ людской, въ шумѣ собраній онъ находилъ скуку, бѣжалъ отъ нихъ, а скука за нимъ.

Онъ удивлялся, какъ могутъ люди веселиться, безпрестанно заниматься чѣмъ-нибудь, увлекаться каждый день новыми интересами. Ему странно казалось, какъ это всѣ не ходятъ сонные, какъ онъ, не плачутъ, и вмѣсто того, чтобъ болтать о погодѣ, не говорятъ о тоскѣ и взаимныхъ страданіяхъ, а если и говорятъ, такъ о тоскѣ въ ногахъ или въ другомъ мѣстѣ, о ревматизмѣ или геморроѣ. Одно тѣло наводитъ на нихъ заботу, а души и въ поминѣ нѣтъ! «Пустые, ничтожные люди, животныя!» думалъ онъ. А иногда-таки впадалъ въ глубокое раздумье. «Ихъ такъ много, этихъ ничтожныхъ людей», говорилъ онъ себѣ съ нѣкоторымъ безпокойствомъ: «а я одинъ: неужели... всѣ они... пусты... неправы... а я?..»

Тутъ ему казалось, что чуть ли не онъ одинъ виноватъ, и онъ дѣлался отъ этого еще несчастнѣе.

Со старыми знакомыми онъ пересталъ видѣться; приближеніе новаго лица обдавало его холодомъ. Послѣ разговора

съ дядей, онъ еще глубже утонулъ въ апатическомъ снѣ: душа его погрузилась въ совершенную дремоту. Онъ предался какому-то истуканному равнодушію, жилъ праздно, упрямо удалялся отъ всего, что только напоминало образованный міръ.

«Какъ бы ни прожить, лишь бы прожить!» — говорилъ онъ: «всякій воленъ понимать жизнь, какъ хочетъ; а тамъ, какъ умрешь...»

Онъ искалъ бесѣды людей съ желчнымъ, озлобленнымъ умомъ, съ ожесточеннымъ сердцемъ, и отводилъ душу, слушая злыя насмѣшки надъ судьбой; или проводилъ время съ людьми, неравными ему ни по уму, ни по воспитанію, всего чаще со старикомъ Костяковымъ, съ которымъ Заѣзжаловъ хотѣлъ познакомить Петра Иваныча.

Костяковъ жилъ на Пескахъ и ходилъ по своей улицѣ въ лакированномъ картузѣ, въ халатѣ, подпоясавшись носовымъ платкомъ. У него жила кухарка, съ которой онъ игралъ по вечерамъ въ свои козыри. Если случался пожаръ, онъ являлся первый и уходилъ послѣдній. Проходя мимо церкви, въ которой отпѣвали покойника, онъ продирался сквозь толпу взглянуть мертвому въ лицо и потомъ шелъ провожать его на кладбище. Вообще онъ былъ страстный любитель всякихъ церемоній, и веселыхъ, и печальныхъ; любилъ также присутствовать при разныхъ экстраординарныхъ происшествіяхъ, какъ-то: дракахъ, несчастныхъ смертныхъ случаяхъ, провалахъ потолковъ и т. п., и читалъ съ особеннымъ наслажденіемъ исчисленіе подобныхъ случаевъ въ газетахъ. Читалъ онъ, кромѣ этого, еще медицинскія книги, «для того, — говорилъ онъ: — чтобъ знать, что въ человѣкѣ есть». Зимой Александръ игралъ съ нимъ въ шашки, а лѣтомъ за городомъ удилъ рыбу. Старикъ разговаривалъ о томъ, о сёмъ. Когда шли къ полю, онъ говорилъ о хлѣбѣ, о посѣвѣ; по берегу—о рыбѣ, о судоходствѣ; по улицѣ—дѣлалъ замѣчанія о домахъ, о постройкѣ, о ма-

теріалахъ и доходахъ... отвлеченностей никакихъ. На жизнь смотрѣлъ, какъ на хорошую вещь, когда есть деньги, и наоборотъ. Такой человѣкъ былъ неопасенъ Александру и душевныхъ волненій пробудить не могъ.

Александръ также усердно старался умертвить въ себѣ духовное начало, какъ отшельники стараются объ умерщвленіи плоти. На службѣ онъ былъ молчаливъ, при встрѣчѣ съ знакомыми отдѣлывался двумя-тремя словами и, отговариваясь недосугомъ, бѣжалъ прочь. Зато съ своимъ пріятелемъ Костяковымъ онъ видѣлся каждый день. То старикъ сидитъ у него цѣлый день, то зазоветъ къ себѣ Адуева на щи. Ужъ онъ выучилъ Александра дѣлать настойку, варить селянку и рубцы. Потомъ они отправляются вмѣстѣ куда-нибудь въ окрестную деревню—въ поле. У Костякова вездѣ было много знакомыхъ. Съ мужиками онъ разсуждалъ объ ихъ житьѣ-бытьѣ, съ бабами шутилъ — и точно былъ балагуръ, какъ рекомендовалъ его Заѣзжаловъ. Александръ предоставлялъ ему полную волю говорить, а самъ большею частью молчалъ.

Онъ уже чувствовалъ, что идеи покинутаго міра посѣщали его рѣже, вращаясь въ головѣ медленнѣе и, не находя въ окружающемъ ни отраженія, ни сопротивленія, не сходили на языкъ и умирали не плодясь. Въ душѣ было дико и пусто, какъ въ заглохшемъ саду. Ему оставалось ужъ немного до состоянія совершенной одеревянѣлости. Еще нѣсколько мѣсяцевъ—и прощай! Но вотъ что случилось.

Однажды Александръ съ Костяковымъ удили рыбу. Костяковъ, въ архалукѣ, въ кожаной фуражкѣ, водрузивъ на берегу нѣсколько удочекъ различной величины, и донныхъ, и съ поплавками, съ бубенчиками и съ колокольчиками, курилъ изъ коротенькой трубки, а самъ наблюдалъ, не смѣя мигнуть, за всей этой батареей удочекъ, въ томъ числѣ и за удочкой Адуева, потому что Александръ стоялъ, присло-

нясь къ дереву, и смотрѣлъ въ другую сторону. Долго такъ стояли они молча.

— У васъ клюётъ, смотрите, Александръ Ѳедорычъ!— вдругъ шопотомъ сказалъ Костяковъ.

Адуевъ посмотрѣлъ на воду и опять отвернулся.

— Нѣтъ, это такъ показалось вамъ отъ зыби,—сказалъ онъ.

— Смотрите, смотрите!—закричалъ Костяковъ:—клюётъ, ей-Богу, клюётъ! ай, ай! тащите! тащите! держите!

Въ самомъ дѣлѣ, поплавокъ нырнулъ въ воду, леса проворно побѣжала за нимъ же, за лесой поползла и палка съ куста. Александръ ухватился за палку, потомъ за лесу.

— Тише, полегоньку, не такъ... что вы это? — кричалъ Костяковъ, проворно перехватывая лесу. — Батюшки! тяжесть какая! не дергайте: водите, водите, а то оборветъ. Вотъ такъ, направо, налѣво, сюда, къ берегу! Отходите! дальше; теперь тащите, тащите, только не вдругъ; вотъ такъ, вотъ такъ.

На поверхности воды показалась огромная щука. Она быстро свилась кольцомъ, сверкнувъ серебристой чешуей, хлеснула хвостомъ направо, налѣво и обдала ихъ обоихъ брызгами. Костяковъ поблѣднѣлъ.

— Какая щука-то!—закричалъ онъ почти съ испугомъ и распростерся надъ водой, падалъ, спотыкался о свои удочки и ловилъ обѣими руками вертѣвшуюся надъ водой щуку.— Ну, на берегъ, на берегъ, туда, дальше! тамъ ужъ наша будетъ, какъ ни вертись. Вишь, какъ скользитъ: словно бѣсъ! Ахъ, какая!

«Ахъ!» кто-то повторилъ сзади.

Александръ обернулся. Въ двухъ шагахъ отъ нихъ стоялъ старикъ, подъ руку съ нимъ хорошенькая дѣвушка, высокаго роста, съ открытой головой и съ зонтикомъ въ рукахъ. Брови у ней слегка нахмурились. Она немного нагнулась впередъ и съ сильнымъ участіемъ слѣдила глазами

за каждымъ движеніемъ Костякова. Она даже не замѣтила Александра.

Адуева смутило это неожиданное явленіе. Онъ выпустилъ изъ рукъ палку, щука бухнулась въ воду, граціозно вильнула хвостомъ и умчалась въ глубь, увлекая за собой лесу. Все это сдѣлалось въ одно мгновеніе.

— Александръ Ѳедорычъ! что вы это?— какъ бѣшеный закричалъ Костяковъ и началъ хватать лесу. Онъ дернулъ ее и вытащилъ только конецъ, но безъ крючка и безъ щуки.

Онъ, весь блѣдный, оборотился къ Александру, показывая ему конецъ лесы, и съ яростью посмотрѣлъ на него съ минуту молча, потомъ плюнулъ.

— Никогда не пойду съ вами рыбу ловить, будь я анаѳема!—промолвилъ онъ и отошелъ къ своимъ удочкамъ.

Въ это время дѣвушка замѣтила, что Александръ смотритъ на нее, покраснѣла и отступила назадъ. Старикъ, повидимому ея отецъ, поклонился Адуеву. Адуевъ угрюмо отвѣчалъ на поклонъ, бросилъ удочку и сѣлъ шагахъ въ десяти оттуда на скамью подъ деревомъ.

«И тутъ покоя нѣтъ!» думалъ онъ. «Вотъ какой-то Эдипъ съ Антигоной. Опять женщина! Никуда не уйдешь. Боже мой! какая ихъ пропасть вездѣ!»

— Эхъ, вы, рыболовы! — говорилъ, между тѣмъ, Костяковъ, поправляя свои удочки и поглядывая по временамъ злобно на Александра:—куда вамъ рыбу ловить! ловили бы вы мышей, сидя тамъ у себя на диванѣ: а то рыбу ловить! Гдѣ ужъ ловить, коли изъ рукъ ушла? чуть во рту не была, только-что не жареная! Диво еще, какъ у васъ съ тарелки не уходитъ!

— А есть клёвъ?—спросилъ старикъ.

— Да, вотъ видите,—отвѣчалъ Костяковъ:—вонъ у меня на шести удочкахъ хоть бы поганый ершишка на смѣхъ клюнулъ: а тамъ объ эту пору, — диви бы на донную, — а то съ поплавкомъ; вонъ что привалило: щука фунтовъ въ

десять, да и тутъ-прозѣвали. Вотъ, говорятъ, на ловца звѣрь бѣжитъ! Какъ не такъ: сорвись-ка у меня, такъ я бы ее въ водѣ досталъ; а тутъ щука сама въ зубы лѣзетъ, а мы спимъ... а еще рыболовы называются! Какіе это рыболовы! этакіе ли рыболовы бываютъ? Нѣтъ, настоящій-то рыболовъ, хоть изъ пушки рядомъ пали, не смигнетъ. А то это рыболовы! Куда вамъ рыбу ловить!

Дѣвушка, между тѣмъ, успѣла разглядѣть, что Александръ былъ совсѣмъ другого рода человѣкъ, нежели Костяковъ. И костюмъ Александра былъ не такой, какъ Костякова, и талія, и лѣта, и манеры, да и все. Она быстро замѣтила въ немъ признаки воспитанія, на лицѣ прочла мысль; отъ нея не ускользнулъ даже и оттѣнокъ грусти.

«Но что жъ онъ убѣжалъ!» подумала она. «Странно, кажется, я не такая, чтобъ бѣгать отъ меня»...

Она гордо выпрямилась, опустила рѣсницы, потомъ подняла ихъ и неблагосклонно взглянула на Александра.

Ей ужъ было досадно. Она увлекла отца и величаво прошла мимо Адуева. Старикъ опять раскланялся съ Александромъ; но дочь не удостоила его даже взгляда.

«Пусть узнаетъ онъ, что имъ вовсе не занимаются!» думала она, поглядывая украдкой, смотритъ ли Адуевъ.

Александръ, хотя и не взглянулъ на нее, однако невольно принялъ позу поживописнѣе.

«Каково! онъ и не смотритъ!» думала дѣвушка. «Какая дерзость!»

Костяковъ на другой же день повлекъ Александра опять на рыбную ловлю и, такимъ образомъ, по собственному заклятію, сталъ анаѳемой.

Два дня ничто не нарушало ихъ уединенія. Александръ сначала оглядывался, будто съ боязнію: но, не видя никого, успокоился опять. Во второй день онъ вытащилъ огромнаго окуня. Костяковъ вполовину помирился съ нимъ.

— Но все это не щука! — говорилъ онъ со вздохомъ: —

было счастье въ рукахъ, да не умѣли пользоваться; дважды этого не случится. А у меня опять ничего! на шесть удочекъ—ничего.

— А вы позвоните въ колокольчики-то! — сказалъ какой-то крестьянинъ, остановившійся мимоходомъ посмотрѣть на успѣхъ ловли:—можетъ рыба на благовѣстъ-то и того... пойдетъ.

Костяковъ злобно посмотрѣлъ на него.

— Молчи ты, необразованный человѣкъ!—сказалъ онъ:—мужикъ!

Мужикъ пошелъ прочь.

— Дубина! — кричалъ вслѣдъ ему Костяковъ: — скотъ, такъ скотъ и есть. Шутилъ бы съ своимъ братомъ, анаѳема этакая! скотъ, говорю тебѣ, мужикъ!

Боже сохрани раздразнить охотника въ минуту неудачи!

На третій день, когда они молча удили, устремивъ неподвижный взоръ на воду, сзади послышался шорохъ. Александръ обернулся и вздрогнулъ, какъ будто его укусилъ комаръ, ни болѣе, ни менѣе. Старикъ и дѣвушка были тутъ.

Адуевъ, косясь на нихъ, едва отвѣчалъ на поклонъ старика, но, кажется, онъ ожидалъ этого посѣщенія. Обыкновенно онъ ходилъ на рыбную ловлю очень небрежно одѣтый; а тутъ надѣлъ новое пальто и кокетливо повязалъ на шею голубую косыночку, волосы расправилъ, даже, кажется, немного позавилъ и сталъ походить на идиллическаго рыбака. Выждавъ столько времени, сколько требовало приличіе, онъ ушелъ и сѣлъ подъ дерево!

«Cela passe toute permission!» подумала Антигона, вспыхнувъ отъ гнѣва.

— Извините!—сказалъ Эдипъ Адуеву:—мы, можетъ-быть, помѣшали вамъ?..

— Нѣтъ!—отвѣчалъ Адуевъ.—Я усталъ.

— Есть ли клёвъ?—спросилъ старикъ Костякова.

— Какой клёвъ, когда подъ руку говорятъ, — отвѣчалъ

тотъ сердито. — Вотъ тутъ прошелъ какой-то лѣшій, болтнулъ подъ руку—и хоть бы клюнуло съ тѣхъ поръ. А вы, видно, близко въ этихъ мѣстахъ изволите жить?—спросилъ онъ у Эдипа.

— Вонъ наша дача, съ балкономъ,—отвѣчалъ тотъ.

— Дорого изволите платить?

— Пятьсотъ рублей за лѣто.

— Дача, кажется, хорошая, хозяйственная, и на дворѣ строенія много. Тысячъ тридцать, чай, стала, хозяину.

— Да, около того.

— Такъ-съ.

— А это дочка ваша?

— Дочь.

— Такъ-съ. Славная барышня! Гулять изволите?

— Да, гуляемъ. На дачѣ жить, надо гулять.

— Точно, точно, какъ не гулять: время стоитъ хорошее; не то, что на той недѣлѣ: какая была погода, ай-ай-ай! не приведи Богъ! Чай, озими досталось.

— Богъ дастъ, поправится.

— Дай Богъ!

— Такъ у васъ нынче не ловится.

— У меня ничего, а у нихъ такъ вотъ, извольте посмотрѣть.

Онъ показалъ окуня.

— Доложу вамъ,—продолжалъ онъ:—это рѣдкость, какъ они счастливы! Жаль, что думаютъ не объ этомъ, а то бы съ ихъ счастьемъ мы никогда съ пустыми руками не уходили. Упустить этакую щуку!

Онъ вздохнулъ.

Антигона начала живѣе вслушиваться, но Костяковъ замолчалъ.

Появленіе старика съ дочерью стало повторяться чаще и чаще. И Адуевъ удостоилъ ихъ вниманія. Онъ иногда тоже перемолвитъ слова два со старикомъ, а съ дочерью

все ничего. Ей сначала было досадно, потомъ обидно, наконецъ стало грустно. А поговори съ ней Адуевъ, или даже обрати на нее обыкновенное вниманіе — она бы забыла о немъ; а теперь совсѣмъ другое. Сердце людское только, кажется, и живетъ противорѣчіями: не будь ихъ, и его какъ будто нѣтъ въ груди.

Антигона обдумала-было какой-то ужасный планъ мщенія, но потомъ мало-по-малу оставила его.

Однажды, когда старикъ съ дочерью подошелъ къ нашимъ пріятелямъ, Александръ, погодя немного, положилъ удочку на кустъ, а самъ, по обыкновенію, сѣлъ на свое мѣсто и машинально смотрѣлъ, то на отца, то на дочь.

Они стояли къ нему бокомъ. Въ отцѣ онъ не открылъ ничего особеннаго. Бѣлая блуза, нанковые панталоны и низенькая шляпа съ большими полями, подбитыми зеленымъ плюшемъ. Но зато дочь! какъ граціозно оперлась она на руку старика! Вѣтеръ по временамъ отвѣвалъ то локонъ отъ ея лица, какъ будто нарочно, чтобы показать Александру прекрасный профиль и бѣлую шею, то приподнималъ шелковую мантилью и выказывалъ стройную талію, то заигрывалъ съ платьемъ и открывалъ маленькую ножку. Она задумчиво смотрѣла на воду.

Александръ долго не могъ отвести глазъ отъ нея и почувствовалъ, что по тѣлу его пробѣжала лихорадочная дрожь. Онъ отвернулся отъ соблазна и сталъ прутомъ срывать головки съ цвѣтовъ.

«А! знаю я, что это такое!» думалъ онъ: «дай волю, оно бы и пошло! Вотъ и любовь готова: глупо! Дядюшка правъ. Но одно животное чувство меня не увлечетъ, — нѣтъ, я до этого не унижусь».

— Можно мнѣ поудить?—робко спросила дѣвушка у Костякова.

— Можно, сударыня, отчего неможно? — отвѣчалъ тотъ, подавая ей удочку Адуева.

— Ну, вотъ вамъ и товарищъ! — сказалъ отецъ Костякову и, оставя дочь, пошелъ бродить вдоль берега.

— Смотри же, Лиза, налови рыбы къ ужину, — прибавилъ онъ.

Нѣсколько минутъ длилось молчаніе.

— Отчего это вашъ товарищъ такой угрюмый? — спросила Лиза тихо у Костякова.

— Третій разъ мѣстомъ обошли, сударыня.

— Что?—спросила она, сдвинувъ слегка брови.

— Въ третій разъ, молъ, мѣста не даютъ.

Она покачала головой.

«Нѣтъ: не можетъ быть!» подумала она: «не то!»

— Вы мнѣ не вѣрите, сударыня? будь я анаѳема! И щуку-то, помните, упустилъ все отъ этого.

«Не то, не то», подумала она уже съ увѣренностью: «я знаю, отчего онъ упустилъ щуку».

— Ахъ, ахъ,—закричала она вдругъ: — посмотрите, шевелится, шевелится.

Она дернула и ничего не поймала.

— Сорвалась! — сказалъ Костяковъ, глядя на удочку: — вишь какъ червяка-то схватила: большой окунь долженъ быть. А вы не умѣете, сударыня: не дали ему клюнуть хорошенько.

— Да развѣ и тутъ надо умѣть?

— Какъ и во всемъ,—сказалъ Александръ машинально.

Она вспыхнула и съ живостью обернулась, уронивъ, въ свою очередь, удочку въ воду. Но Александръ смотрѣлъ уже въ другую сторону.

— Какъ же достичь этого, чтобы умѣть? — сказала она съ легкимъ трепетомъ въ голосѣ.

— Чаще упражняться,—отвѣчалъ Александръ.

«А, вотъ что!» думала она, замирая отъ удовольствія: «то-есть чаще приходить сюда—понимаю! Хорошо, я буду

приходить, но я помучаю васъ, г. дикарь, за всѣ ваши дерзости»...

Такъ кокетство перевело ей отвѣтъ Александра, а онъ въ тотъ день больше ничего и не сказалъ.

«Она подумаетъ, пожалуй, Богъ знаетъ что!» говорилъ онъ самъ себѣ: «станетъ жеманиться, кокетничать... это глупо!»

Съ того дня посѣщенія старика и дѣвушки повторялись ежедневно. Иногда Лиза приходила безъ старика, съ нянькой. Она приносила съ собою работу, книги, и садилась подъ дерево, показывая видъ совершеннаго равнодушія къ присутствію Александра.

Она думала тѣмъ затронуть его самолюбіе и, какъ она говорила, *помучить*. Она вслухъ разговаривала съ нянькой о домѣ, о хозяйствѣ, чтобы показать, что она даже и не видитъ Адуева. А онъ иногда и точно не видалъ ее, увидѣвъ же, сухо кланялся—и ни слова.

Видя, что этотъ обыкновенный маневръ ей не удался, она перемѣнила планъ атаки и раза два заговаривала съ нимъ сама; иногда брала у него удочку. Александръ, мало-помалу, сталъ съ ней разговорчивѣе, но былъ очень остороженъ и не допускалъ никакой искренности. Расчетъ ли то былъ съ его стороны, или еще *прежнихъ ранъ*, что ли, *ничто не излѣчило*, какъ онъ говорилъ, только онъ былъ довольно холоденъ съ ней и въ разговорѣ.

Однажды старикъ велѣлъ принести на берегъ самоваръ. Лиза разливала чай. Александръ упрямо отказался отъ чаю, сказавъ, что онъ не пьетъ его по вечерамъ.

«Всѣ эти чаи ведутъ за собой сближеніе... знакомства... не хочу!» подумалъ онъ.

— Что вы? да вчера четыре стакана выпили! — сказалъ Костяковъ.

— Я на воздухѣ не пью, — поспѣшно прибавилъ Александръ.

— Напрасно! — сказалъ Костяковъ: — чай славнѣйшій цвѣточный, поди, рублевъ пятнадцать. Пожалуйте-ка еще, сударыня, да хорошо бы ромку!

Принесли и ромъ.

Старилъ зазывалъ Александра къ себѣ, но онъ отказался наотрѣзъ. Лиза, услышавъ отказъ, надула губки. Она стала добиваться отъ него причины нелюдимости. Какъ ни хитро наводила она разговоръ на этотъ предметъ, Александръ еще хитрѣе отдѣлывался.

Эта таинственность только раздражала любопытство, а, можетъ-быть, и другое чувство Лизы. На лицѣ ея, до тѣхъ поръ ясномъ, какъ лѣтнее небо, появилось облачко безпокойства, задумчивости. Она часто устремляла на Александра грустный взглядъ, со вздохомъ отводила глаза и потупляла въ землю, а сама, кажется, думала: «вы несчастливы! можетъ-быть, обмануты... О, какъ бы я умѣла сдѣлать васъ счастливымъ! какъ бы берегла васъ, какъ бы любила... я бы защитила васъ отъ самой судьбы, я бы...» и прочее.

Такъ думаетъ бо́льшая часть женщинъ и бо́льшая часть обманываетъ тѣхъ, кто вѣритъ этому пѣнію сиренъ. Александръ будто ничего не замѣчалъ. Онъ говорилъ съ ней, какъ бы говорилъ съ пріятелемъ, съ дядей: никакого оттѣнка той нѣжности, которая невольно вкрадывается въ дружбу мужчины и женщины и дѣлаетъ эти отношенія непохожими на дружбу. Оттого и говорятъ, что между мужчиной и женщиной нѣтъ и не можетъ-быть дружбы, что называемое дружбой между ними — есть не что иное, какъ или начало, или остатки любви, или, наконецъ, самая любовь. Но, глядя на обращеніе Адуева съ Лизой, можно было повѣрить, что такая дружба существуетъ.

Однажды только онъ отчасти открылъ или хотѣлъ открыть ей образъ своихъ мыслей. Онъ взялъ со скамьи принесенную ею книгу и развернулъ. То былъ Чайльдъ-Га-

роньдъ во французскомъ переводѣ. Александръ покачалъ головой, вздохнулъ и молча положилъ книгу на мѣсто.

— Вамъ не нравится Байронъ? Вы противъ Байрона?— сказала она. — Байронъ такой великій поэтъ — и не нравится вамъ!

— Я ничего не говорю, а вы ужъ напали на меня, — отвѣчалъ онъ.

— Отчего же вы покачали головой?

— Такъ; мнѣ жаль, что эта книга попалась вамъ въ руки.

— Кого же жаль: книги или меня?

Александъ молчалъ.

— Отчего же мнѣ не читать Байрона?—спросила она.

— По двумъ причинамъ,—сказалъ Александръ, помолчавъ.

Онъ положилъ свою руку на ея руку, для бо́льшаго ли убѣжденія, или потому, что у ней была бѣленькая и мягкая ручка — и началъ говорить тихо, мѣрно, поводя глазами то по локонамъ Лизы, то по шеѣ, то по таліи. По мѣрѣ этихъ переходовъ, возвышался постепенно и голосъ его.

— Во-первыхъ, потому,—говорилъ онъ:—что вы читаете Байрона по-французски и, слѣдовательно, для васъ потеряны красота и могущество языка поэта. Посмотрите, какой здѣсь блѣдный, безцвѣтный, жалкій языкъ! Это прахъ великаго поэта: идеи его какъ будто расплылись въ водѣ. Во-вторыхъ, потому бы я не совѣтовалъ вамъ читать Байрона, что... онъ, можетъ-быть, пробудитъ въ душѣ вашей такія струны, которыя бы вѣкъ молчали безъ того...

Тутъ онъ крѣпко и выразительно сжалъ ея руку, какъ будто хотѣлъ придать тѣмъ вѣсъ своимъ словамъ.

— Зачѣмъ вамъ читать Байрона? — продолжалъ онъ: — можетъ-быть, жизнь ваша протечетъ тихо, какъ этотъ ручей: видите, какъ онъ малъ, мелокъ; онъ не отразитъ ни цѣлаго неба въ себѣ, ни тучъ; на берегахъ его нѣтъ ни скалъ, ни пропастей; онъ бѣжитъ игриво; чуть-чуть лишь легкая зыбь рябитъ его поверхность; отражаетъ онъ только

зелень береговъ, клочокъ неба, да маленькія облака... такъ, вѣроятно, протекла бы и жизнь ваша, а вы напрашиваетесь на напрасныя волненія, на бури; хотите взглянуть на жизнь и людей сквозь мрачное стекло... Оставьте, не читайте! глядите на все съ улыбкой, не смотрите въ даль, живите день за днемъ, не разбирайте темныхъ сторонъ въ жизни и людяхъ, а то...

— А то что?

— Ничего!—сказалъ Александръ, будто опомнившись.

— Нѣтъ, скажите мнѣ: вы вѣрно испытали что-нибудь?

— Гдѣ моя удочка? Позвольте, мнѣ пора.

Онъ казался встревоженнымъ, что высказался такъ неосторожно.

— Нѣтъ, еще слово,—заговорила Лиза:—вѣдь поэтъ долженъ пробуждать сочувствіе къ себѣ. Байронъ великій поэтъ, отчего же вы не хотите, чтобъ я сочувствовала ему? развѣ я такъ глупа, ничтожна, что не пойму?..

Она обидѣлась.

— Не то совсѣмъ: сочувствуйте тому, что̀ свойственно вашему женскому сердцу: ищите того, что̀ подъ ладъ ему, иначе можетъ случиться страшный разладъ... и въ головѣ, и въ сердцѣ.

Тутъ онъ покачалъ головой, намекая на то, что онъ самъ—жертва этого разлада.

— Одинъ покажетъ вамъ, — говорилъ онъ: — цвѣтокъ и заставитъ наслаждаться его запахомъ и красотой, а другой укажетъ только ядовитый сокъ въ его чашечкѣ... тогда для васъ пропадутъ и красота, и благоуханіе. Онъ заставитъ васъ сожалѣть о томъ, зачѣмъ тамъ этотъ сокъ — и вы забудете, что есть и благоуханіе... Есть разница между этими обоими людьми и между сочувствіемъ къ нимъ. Не ищите же яду, не добирайтесь до начала всего, что̀ дѣлается съ нами и около насъ; не ищите непужной опытности: не она ведетъ къ счастью.

Онъ замолчалъ. Она довѣрчиво и задумчиво слушала его.

— Говорите, говорите...—сказала она съ дѣтской покорностью: — я готова слушать васъ цѣлые дни, повиноваться вамъ во всемъ...

— Мнѣ?—сказалъ Александръ холодно: — помилуйте! какое я имѣю право располагать вашей волей?.. Извините, что я позволилъ себѣ сдѣлать замѣчаніе. Читайте, что угодно... Чайльдъ-Гарольдъ — очень хорошая книга, Байронъ—великій поэтъ!

— Нѣтъ, не притворяйтесь! не говорите такъ. Скажите, что мнѣ читать?

Онъ съ педантическою важностью предложилъ-было ей нѣсколько историческихъ книгъ, путешествій, но она сказала, что это ей и въ пансіонѣ надоѣло. Тогда онъ указалъ ей Вальтеръ-Скотта, Купера, нѣсколько французскихъ и англійскихъ писателей и писательницъ, изъ русскихъ двухъ или трехъ авторовъ, стараясь при этомъ, будто нечаянно, обнаружить свой литературный вкусъ и тактъ. Потомъ между ними уже не было подобнаго разговора.

Александръ все хотѣлъ бѣжать прочь.

— Что мнѣ женщины! — говорилъ онъ: — любить я не могу; я отжилъ для нихъ...

— Ладно, ладно! — возражалъ на это Костяковъ: — вотъ женитесь, такъ увидите. Я самъ, бывало, только бы играть съ молодыми дѣвками да бабами, а какъ пришла пора къ вѣнцу, словно колъ въ голову вбили: такъ кто-то и пихалъ жениться!

И Александръ не бѣжалъ. Въ немъ зашевелились всѣ прежнія мечты. Сердце стало биться усиленнымъ тактомъ. Въ глазахъ его мерещились то талія, то ножка, то локонъ Лизы, и жизнь опять немного просвѣтлѣла. Дня три ужъ не Костяковъ звалъ его, а онъ самъ тащилъ Костякова на рыбную ловлю.

— Опять! опять прежнее! — говорилъ Александръ:—но я твердъ!—и между тѣмъ торопливо шелъ на рѣчку.

Лиза всякій разъ съ нетерпѣніемъ поджидала прихода пріятелей. Костякову каждый вечеръ готовилась чашка душистаго чаю съ ромомъ — и, можетъ-быть, Лиза отчасти обязана была этой хитрости тѣмъ, что они не пропускали ни одного вечера. Если они опаздывали, Лиза съ отцомъ шла имъ навстрѣчу. Когда ненастная погода удерживала пріятелей дома, на другой день упрекамъ, и имъ, и погодѣ, не былъ конца.

Александръ думалъ, думалъ, и рѣшился на время прекратить свои прогулки, Богъ знаетъ съ какою цѣлью, онъ и самъ не зналъ этого, и не ходилъ ловить рыбу цѣлую недѣлю. И Костяковъ не ходилъ. Наконецъ пошли.

Еще за версту до того мѣста, гдѣ они ловили, встрѣтили они Лизу съ нянькой. Она вскрикнула, завидя ихъ, потомъ вдругъ смѣшалась, покраснѣла. Адуевъ холодно поклонился, Костяковъ пустился болтать.

— Вотъ и мы,— сказалъ онъ: — вы не ждали? хе-хе-хе! вижу, что не ждали: и самовара нѣтъ! Давненько, сударыня, давненько не видались! Есть ли клёвъ? Я все порывался, да вотъ Александра Ѳедорыча не могъ уговорить: сидитъ дома... или нѣтъ, бишь, все лежитъ.

Она съ упрекомъ взглянула на Адуева.

— Что это значитъ?—спросила она.

— Что?

— Вы не были цѣлую недѣлю?

— Да, кажется, съ недѣлю не былъ.

— Отчего же?

— Такъ, не хотѣлось...

— Не хотѣлось!—сказала она съ изумленіемъ.

— Да; а что?

Она молчала, но, кажется, думала: «да развѣ вамъ можетъ не хотѣться идти сюда?»

— Я хотѣла послать папеньку въ городъ къ вамъ, — сказала она:—да не знала, гдѣ вы живете.

— Въ городъ, ко мнѣ? зачѣмъ?

— Прекрасный вопросъ! — сказала она обиженнымъ тономъ:—зачѣмъ? Провѣдать, не случилось ли съ вами чего-нибудь, здоровы ли вы?..

— Да что же вамъ?..

— Что мнѣ? Боже!

— Что Боже?

— Какъ что!.. да вѣдь... у меня ваши книги есть... — Она смѣшалась.—Недѣлю не быть!—прибавила она.

— Развѣ я непремѣнно долженъ бывать здѣсь каждый день?

— Непремѣнно!

— Зачѣмъ?

— Зачѣмъ, зачѣмъ! — Она печально глядѣла на него и твердила:—зачѣмъ, зачѣмъ!

Онъ взглянулъ на нее. Что это? слезы, смятеніе, и радость, и упреки? Она блѣдна, немного похудѣла, глаза покраснѣли.

«Такъ вотъ что! уже!» подумалъ Александръ: «я не ожидалъ такъ скоро!» Потомъ онъ громко засмѣялся.

— Зачѣмъ? говорите вы. Послушайте...—продолжала она. У ней въ глазахъ блеснула какая-то рѣшимость. Она, повидимому, готовилась сказать что-то важное, но въ ту минуту подходилъ къ нимъ ея отецъ.

— До завтра,—сказала она:—завтра мнѣ надо съ вами поговорить; сегодня я не могу: сердце мое слишкомъ полно... Завтра вы придете? да, слышите? вы не забудете насъ? не покинете?

И побѣжала, не дождавшись отвѣта.

Отецъ поглядѣлъ пристально на нее, потомъ на Адуева, и покачалъ головой. Александръ молча смотрѣлъ ей вслѣдъ. Онъ будто и жалѣлъ, и досадовалъ на себя, что незамѣтно

довелъ ее до этого положенія; кровь бросилась ему не къ сердцу, а въ голову.

«Она любитъ меня», думалъ Александръ, ѣдучи домой. «Боже мой, какая скука! какъ это нелѣпо: теперь нельзя и пріѣхать сюда, а въ этомъ мѣстѣ рыба славно клюётъ... досадно!»

А между тѣмъ внутренно онъ, кажется, почему-то былъ не недоволенъ этимъ, сталъ веселъ и болталъ поминутно съ Костяковымъ.

Услужливое воображеніе, какъ нарочно, рисовало ему портретъ Лизы во весь ростъ, съ роскошными плечами, съ стройной таліей, не забыло и ножку. Въ немъ зашевелилось странное ощущеніе, опять по тѣлу пробѣжала дрожь, но не добралась до души—и замерла. Онъ разобралъ это ощущеніе отъ источника до самаго конца.

«Животное!» бормоталъ онъ про-себя: «такъ вотъ какая мысль бродитъ у тебя въ умѣ... а! обнаженныя плечи, бюстъ, ножка... воспользоваться довѣрчивостью, неопытностью... обмануть... ну, хорошо, обмануть, а тамъ что?—Та же скука, да еще, можетъ быть, угрызеніе совѣсти, а изъ чего? Нѣтъ! нѣтъ! не допущу себя, не доведу и ее... О, я твердъ! чувствую въ себѣ довольно чистоты души, благородства сердца... Я не паду во прахъ—и не увлеку ее».

Лиза ждала его цѣлый день съ трепетомъ удовольствія, а потомъ сердце у ней сжалось: она оробѣла, сама не зная отчего, стала грустна и почти не желала прихода Александра. Когда же урочный часъ насталъ, а Александра не было, нетерпѣніе ея превратилось въ томительную тоску. Съ послѣднимъ лучомъ солнца исчезла всякая надежда; она заплакала.

На другой день опять ожила, опять съ утра была весела, а къ вечеру сердце стало пуще ныть и замирать, и страхомъ, и надеждой. Онять не пришли.

На третій, на четвертый день то же. А надежда все

влекла ее на берегъ: чуть вдали покажется лодка, или мелькнутъ по берегу двѣ человѣческія тѣни, она затрепещетъ и изнеможетъ подъ бременемъ радостнаго ожиданія. Но когда увидитъ, что въ лодкѣ не они, что тѣни не ихъ, она опуститъ уныло голову на грудь, отчаяніе сильнѣе налижетъ на душу... Черезъ минуту опять коварная надежда шепчетъ ей утѣшительный предлогъ промедленія—и сердце опять забьется ожиданіемъ. А Александръ медлилъ, какъ будто нарочно.

Наконецъ, когда она, полубольная, съ безнадежностью въ душѣ, сидѣла однажды на своемъ мѣстѣ подъ деревомъ, вдругъ послышался ей шорохъ; она обернулась и задрожала отъ радостнаго испуга: передъ ней, сложа руки крестомъ, стоялъ Александръ.

Она съ радостными слезами протянула ему руки и долго не могла придти въ себя. Онъ взялъ ее за руку и жадно, также съ волненіемъ, вглядывался ей въ лицо.

— Вы похудѣли!—сказалъ онъ тихо:—вы страдаете?

Она вздрогнула.

— Какъ вы долго не были!—промолвила она.

— А вы ждали меня?

— Я?—съ живостью отвѣчала она.—О, если бъ вы знали!..

Она докончила отвѣтъ крѣпкимъ пожатіемъ его руки.

— А я пришелъ проститься съ вами! — сказалъ онъ и остановился, наблюдая, что будетъ съ ней.

Она съ испугомъ и недовѣрчивостью взглянула на него.

— Неправда,—сказала она.

— Правда!—отвѣчалъ онъ.

— Послушайте! — вдругъ заговорила она, робко оглядываясь во всѣ стороны:—не уѣзжайте, ради Бога, не уѣзжайте! я вамъ скажу тайну... Здѣсь насъ увидитъ папенька изъ окошекъ: пойдемте къ намъ въ садъ, въ бесѣдку... она выходитъ въ поле, я васъ проведу.

Они пошли. Александръ не сводилъ глазъ съ ея плечъ, стройной таліи, и чувствовалъ лихорадочную дрожь.

«Что жъ за важность», думалъ онъ, идучи за ней: «что я пойду? вѣдь я такъ только... взгляну, какъ у нихъ тамъ, въ бесѣдкѣ... отецъ звалъ же меня; вѣдь я могъ бы идти прямо и открыто... но я далекъ отъ соблазна, ей-Богу, далекъ, и докажу это: вотъ, нарочно пришелъ сказать, что ѣду... хотя и не ѣду никуда!—Нѣтъ, демонъ! меня не соблазнишь». Но тутъ, кажется, какъ будто Крылова бѣсенокъ, явившійся изъ-за печки затворнику, шепнулъ и ему: «А зачѣмъ ты пришелъ сказать это? въ этомъ не было надобности; ты бы не явился, и недѣли черезъ двѣ былъ бы забытъ...»

Но Александру казалось, что онъ поступаетъ благородно, являясь на подвигъ самоотверженія, бороться съ соблазномъ лицомъ къ лицу. Первымъ трофеемъ его побѣды надъ собой былъ поцѣлуй, похищенный имъ у Лизы, потомъ онъ обнялъ ее за талію, сказалъ, что никуда не ѣдетъ, что выдумалъ это, чтобъ испытать ее, узнать, есть ли въ ней чувство къ нему. Наконецъ, къ довершенію побѣды, онъ обѣщалъ на другой день явиться въ этотъ же часъ въ бесѣдку. Идучи домой, онъ разсуждалъ о своемъ поступкѣ, и его обдавало то холодомъ, то жаромъ. Онъ замиралъ отъ ужаса и не вѣрилъ самому себѣ; наконецъ рѣшился не быть завтра—и явился ранѣе назначеннаго часа.

Это было въ августѣ мѣсяцѣ. Ужъ смеркалось. Александръ обѣщалъ быть въ девять часовъ, а пришелъ въ восемь, одинъ, безъ удочки. Онъ, какъ воръ, пробирался къ бесѣдкѣ, то боязливо оглядывался, то бѣжалъ опрометью. Но кто-то опередилъ его. Тотъ тоже торопливо, запыхавшись, вбѣжалъ въ бесѣдку и сѣлъ на диванъ въ темномъ углу.

Александра какъ будто стерегли. Онъ тихо отворилъ дверь, въ сильномъ волненіи, на цыпочкахъ, подошелъ къ дивану и тихо взялъ за руку — отца Лизы. Александръ

вздрогнулъ, отскочилъ, хотѣлъ бѣжать, но старикъ поймалъ его за фалду и посадилъ насильно подлѣ себя на диванъ.

— Какъ это вы, батюшка, зашли сюда?—спросилъ онъ.

— Я... за рыбой...—бормоталъ Александръ, едва шевеля губами. Зубы у него стучали одинъ о другой. Старикъ былъ вовсе не страшенъ, но Александръ, какъ и всякій воръ, пойманный на дѣлѣ, дрожалъ, какъ въ лихорадкѣ.

— За рыбой!—повторилъ старикъ насмѣшливо.—Знаете ли, что это значитъ ловить рыбу въ мутной водѣ? Давно я замѣчаю за вами, и вотъ узналъ васъ наконецъ; а Лизу свою знаю съ пеленъ: она добра и довѣрчива, а вы, вы опасный плутъ...

Александръ хотѣлъ встать, но старикъ удержалъ его за руку.

— Да, батюшка, не погнѣвайтесь. Вы прикинулись несчастнымъ, притворно избѣгали Лизы, завлекли ее, увѣрились, да и хотѣли воспользоваться... Хорошее ли это дѣло? Какъ васъ назвать?

— Клянусь честью, я не предвидѣлъ послѣдствій...,— сказалъ Александръ голосомъ глубокаго убѣжденія:—я не хотѣлъ...

Старикъ молчалъ нѣсколько минутъ.

— А можетъ быть и то!—сказалъ онъ:—можетъ быть, вы не по любви, а такъ, отъ праздности, сбивали съ толку бѣдную дѣвочку, не зная сами, что изъ этого будетъ; удастся—хорошо, не удастся—нужды нѣтъ! Въ Петербургѣ много этакихъ молодцовъ... Знаете, какъ поступаютъ съ такими франтами?

Александръ сидѣлъ, потупя взоры. У него недоставало духу оправдываться.

— А сначала я думалъ лучше объ васъ, да ошибся, крѣпко ошибся! Видишь, вѣдь какимъ тихонькимъ прикинулся! слава Богу, что спохватился во-время... Слушайте:

терять времени некогда; глупая дѣвчонка, того и гляди, явится на свиданіе. Я вчера подкараулилъ васъ. Не нужно, чтобъ она видѣла насъ вмѣстѣ: вы уйдете и, разумѣется, не воротитесь никогда; она подумаетъ, что вы обманули ее, и это послужитъ ей урокомъ. Только смотрите, чтобъ васъ здѣсь никогда не было; найдите другое мѣсто для рыбной ловли, а не то... я провожу васъ неласково... Счастье ваше, что Лиза еще можетъ прямо глядѣть мнѣ въ глаза; я цѣлый день наблюдалъ за нею... иначе вы не этой дорогой вышли бы отсюда... Прощайте!

Александръ что-то хотѣлъ сказать, но старикъ отворилъ дверь и почти вытолкалъ его.

Александръ вышелъ, въ какомъ положеніи—пусть судитъ читатель, если только ему не совѣстно будетъ на минуту поставить себя на его мѣсто. У моего героя брызнули даже слезы изъ глазъ, слезы стыда, бѣшенства на самого себя, отчаянія...

«Зачѣмъ я живу?—громко сказалъ онъ:—отвратительная, убійственная жизнь! А я, я... нѣтъ! если у меня не достало твердости устоять противъ обольщенія... то достанетъ духу прекратить это безполезное, позорное существованіе...»

Онъ скорыми шагами подошелъ къ рѣчкѣ. Она была черна. По волнамъ перебѣгали какія-то длинныя, фантастическія, уродливыя тѣни. Берегъ, гдѣ стоялъ Александръ, былъ мелокъ.

— Тутъ и умереть нельзя!—сказалъ онъ презрительно и пошелъ на мостъ, бывшій оттуда во ста шагахъ.

Александръ облокотился на перила посрединѣ моста и сталъ вглядываться въ воду. Онъ мысленно прощался съ жизнію, посылалъ вздохи къ матери, благословлялъ тетку, даже простилъ Наденьку. Слезы умиленія текли у него по щекамъ... Онъ закрылъ лицо руками... Неизвѣстно, что бы онъ сдѣлалъ, какъ вдругъ мостъ заколебался у него подъ

ногами; онъ оглянулся: Боже мой! онъ на краю пропасти: передъ нимъ зіяетъ могила: половина моста отдѣлилась и отплываетъ прочь... проходятъ барки; еще минута—и прощай! Онъ собралъ всѣ силы и сдѣлалъ отчаянный прыжокъ... на ту сторону. Тамъ онъ остановился, перевелъ духъ и схватился за сердце.

— Что, баринъ, испужался?—спросилъ его сторожъ.

— Чего, братецъ, чуть-было въ середину не попалъ,— отвѣчалъ дрожащимъ голосомъ Александръ.

— Боже храни! долго ль до грѣха?—промолвилъ сторожъ, зѣвая:—въ запрошломъ лѣтѣ одинъ барочникъ и такъ упалъ.

Александръ пошелъ домой, придерживаясь рукой за сердце. Онъ по временамъ оглядывался на рѣку, на разведенный мостъ и, вздрагивая, тотчасъ же отворачивался и ускорялъ шаги.

Между тѣмъ Лиза кокетливо одѣвалась, не брала съ собой ни отца, ни няньки, и каждый вечеръ просиживала до поздней ночи подъ деревомъ.

Настали темные вечера: она все ждала; но о пріятеляхъ ни слуху, ни духу.

Пришла осень. Желтые листья падали съ деревьевъ и усѣяли берега; зелень полиняла; рѣка приняла свинцовый цвѣтъ; небо было постоянно сѣро; дулъ холодный вѣтеръ съ мелкимъ дождемъ. Берега и рѣки опустѣли: не слышно было ни веселыхъ пѣсенъ, ни смѣху, ни звонкихъ голосовъ по берегамъ; лодки и барки перестали сновать взадъ и впередъ. Ни одно насѣкомое не прожужжитъ въ травѣ, ни одна птичка не защебечетъ на деревѣ; только галки и вороны крикомъ наводили унынiе на душу; и рыба перестала клевать.

А Лиза все ждала: ей непремѣнно нужно было поговорить съ Александромъ: открыть ему тайну. Она все сидѣла на скамьѣ, подъ деревомъ, въ кацавейкѣ. Она похудѣла; глаза у ней немного впали; щеки были подвязаны платкомъ. Такъ засталъ ее однажды отецъ.

— Пойдемъ, полно тутъ сидѣть,—сказалъ онъ, морщась и дрожа отъ холода:—посмотри, у тебя руки посинѣли; ты озябла. Лиза! слышишь ли? пойдемъ.

— Куда?

— Домой: мы сегодня переѣзжаемъ въ городъ.

— Зачѣмъ?—спросила она съ удивленіемъ.

— Какъ зачѣмъ? осень на дворѣ; мы одни только остались на дачѣ.

— Ахъ, Боже мой!—сказала она:—здѣсь и зимой будетъ хорошо: останемтесь.

— Вотъ что еще вздумала! Полно, полно, пойдемъ!

— Погодите!—сказала она умоляющимъ голосомъ:—еще воротятся красные дни.

— Послушай! — отвѣчалъ отецъ, трепля ее по щекѣ и указывая на то мѣсто, гдѣ удили пріятели: — они не воротятся...

— Не воротятся! — повторила она вопросительно-печальнымъ голосомъ, потомъ подала отцу руку и тихо, склонивъ голову, пошла домой, оглядываясь по временамъ назадъ.

А Адуевъ съ Костяковымъ давно уже удили гдѣ-то въ противоположной сторонѣ отъ этого мѣста.

V.

Мало-по-малу Александръ успѣлъ забыть и Лизу, и непріятную сцену съ ея отцомъ. Онъ опять сталъ покоенъ, даже веселъ, часто хохоталъ плоскимъ шуткамъ Костякова. Его смѣшилъ взглядъ этого человѣка на жизнь. Они строили даже планы уѣхать куда-нибудь подальше, выстроить на берегу рѣки, гдѣ много рыбы, хижину, и прожить тамъ остатокъ дней. Душа Александра опять стала утопать въ тинѣ скудныхъ понятій и матеріальнаго быта. Но судьба не дремала, и ему не удавалось утонуть совсѣмъ въ этой тинѣ.

Осенью онъ получилъ отъ тетки записку съ убѣдительнѣйшею просьбою проводить ее въ концертъ, потому что

дядя былъ не совсѣмъ здоровъ. Пріѣхалъ какой-то артистъ, европейская знаменитость.

— Какъ, въ концертъ!— говорилъ Александръ въ сильной тревогѣ:—въ концертъ, опять въ эту толпу, въ самый блескъ мишуры, лжи, притворства... нѣтъ, не поѣду.

— Поди, чай, еще пять рублевъ стоитъ,—замѣтилъ бывшій тутъ Костяковъ.

— Билетъ стоитъ пятнадцать рублей, — сказалъ Александръ:—но я охотно бы далъ пятьдесятъ, чтобъ не ѣхать.

— Пятнадцать! — закричалъ Костяковъ, всплеснувъ руками: — вотъ мошенники! анаѳемы! ѣздятъ сюда надувать насъ, обирать деньги. Дармоѣды проклятые! Не ѣздите, Александръ Ѳедорычъ, плюньте! Добро бы вещь какая-нибудь: взялъ бы домой, на столъ поставилъ, или съѣлъ; а то послушалъ только, да и на: плати пятнадцать рублевъ! За пятнадцать рублевъ можно жеребенка купить.

— Иногда за то, чтобы провести съ удовольствіемъ вечеръ, платятъ и дороже,—замѣтилъ Александръ.

— Провести вечеръ съ удовольствіемъ! Да знаете что: пойдемте въ баню, славно проведемъ! Я всякій разъ, какъ соскучусь, иду туда—и любо; пойдешь часовъ въ шесть, а выйдешь въ двѣнадцать, и погрѣешься, и тѣло почешешь, а иногда и знакомство пріятное сведешь: придетъ духовное лицо, либо купецъ, либо офицеръ; заведутъ рѣчь о торговлѣ, что ли, или о преставленіи свѣта... и не вышелъ бы! а всего по шести гривенъ съ человѣка! Не знаютъ, гдѣ вечеръ провести!

Но Александръ поѣхалъ. Онъ со вздохомъ вытащилъ давно не надѣванный, прошлогодній фракъ, натянулъ бѣлыя перчатки.

— Перчатки пять рублевъ, и того двадцать?—считалъ Костяковъ, присутствовавшій при туалетѣ Адуева. — Двадцать рублевъ, такъ вотъ въ одинъ вечеръ кинули! Послушать: эко диво!

Александръ отвыкъ одѣваться порядочно. Утромъ онъ ходилъ на службу въ покойномъ вицмундирѣ, вечеромъ въ старомъ сюртукѣ или въ пальто. Ему было неловко во фракѣ. Тамъ тѣснило, тутъ чего-то недоставало; шеѣ, было слишкомъ жарко въ атласномъ платкѣ.

Тетка встрѣтила его привѣтливо, съ чувствомъ благодарности за то, что онъ рѣшился для нея покинуть свое затворничество, но ни слова объ его образѣ жизни и занятіяхъ.

Отыскавъ въ залѣ мѣсто для Лизаветы Александровны, Адуевъ прислонился къ колоннѣ, подъ сѣнью какого-то плечистаго меломана, и началъ скучать. Онъ тихонько зѣвнулъ въ руку, но не успѣлъ закрыть рта, какъ раздались оглушительныя рукоплесканія, привѣтствовавшія артиста. Александръ и не взглянулъ на него.

Заиграли интродукцію. Черезъ нѣсколько минутъ оркестръ сталъ стихать. Къ послѣднимъ его звукамъ прицѣпились чуть слышно другіе, сначала рѣзвые, игривые, какъ будто напоминавшіе игры дѣтства: слышались точно дѣтскіе голоса, шумные, веселые; потомъ звуки стали плавнѣе и мужественнѣе; они, казалось, выражали юношескую безпечность, отвагу, избытокъ жизни и силъ. Потомъ полились медленнѣе, тише, какъ будто передавали нѣжное изліяніе любви, задушевный разговоръ, и, ослабѣвая, мало-по-малу, слились въ странный шопотъ и незамѣтно смолкли...

Никто не смѣлъ пошевелиться. Масса людей замерла въ безмолвіи. Наконецъ вырвалось у всѣхъ единодушно *ахъ!* и шопотомъ пронеслось по залѣ. Толпа-было зашевелилась, но вдругъ звуки снова проснулись, полились crescendo, потокомъ, потомъ раздробились на тысячу каскадовъ и запрыгали, тѣсня и подавляя другъ друга. Они гремѣли, будто упреками ревности, кипѣли бѣшенствомъ страсти; ухо не успѣвало ловить ихъ,—и вдругъ прервались, какъ точно у инструмента не стало болѣе ни силъ, ни голоса. Изъ-подъ

смычка сталъ вырываться то глухой отрывистый стонъ, то слышались плачущіе, умоляющіе звуки, и все окончилось болѣзненнымъ, продолжительнымъ вздохомъ. Сердце надрывалось: звуки какъ будто пѣли объ обманутой любви и безнадежной тоскѣ. Всѣ страданія, вся скорбь души человѣческой слышались въ нихъ.

Александръ трепеталъ. Онъ поднялъ голову и поглядѣлъ сквозь слезы черезъ плечо сосѣда. Худощавый нѣмецъ, согнувшись надъ своимъ инструментомъ, стоялъ передъ толпой и могущественно повелѣвалъ ею. Онъ кончилъ и равнодушно отеръ платкомъ руки и лобъ. Въ залѣ раздался ревъ и страшныя рукоплесканія. И вдругъ этотъ артистъ согнулся въ свой чередъ передъ толпой и началъ униженно кланяться и благодарить.

«И онъ поклоняется ей,» думалъ Александръ, глядя съ робостью на эту тысячеглавую гидру: «онъ, стоящій такъ высоко передъ ней!..»

Артистъ поднялъ смычокъ и—все мгновенно смолкло. Заколебавшаяся толпа слилась опять въ одно неподвижное тѣло. Потекли другіе звуки, величавые, торжественные; отъ этихъ звуковъ спина слушателя выпрямлялась, голова поднималась, носъ вздергивался выше: они пробуждали въ сердцѣ гордость, рождали мечты о славѣ. Оркестръ началъ глухо вторить, какъ будто отдаленный гулъ толпы, какъ народная молва...

Александръ поблѣднѣлъ и поникъ головой. Эти звуки, какъ нарочно, внятно разсказывали ему прошедшее, всю жизнь его, горькую и обманутую.

— Посмотри, какая мина у этого!—сказалъ кто-то, указывая на Александра: — я не понимаю, какъ можно такъ обнаружиться: я Паганини слыхалъ, да у меня и бровь не шевельнулась.

Александръ проклиналъ и приглашеніе тетки, и артиста, и болѣе всего судьбу, что она не даетъ ему забыться.

«И къ чему? съ какой цѣлью?» думалъ онъ: «чего она добивается отъ меня? къ чему напоминать мнѣ мое безсиліе, безполезность прошедшаго, котораго не воротишь?»

Проводивъ тетку до дому, онъ хотѣлъ-было ѣхать къ себѣ, но она удержала его за руку.

— Неужели вы не зайдете?—спросила она съ упрекомъ.

— Нѣтъ.

— Отчего же?

— Теперь уже поздно; когда-нибудь въ другой разъ.

— И это вы мнѣ отказываете?

— Вамъ болѣе, нежели кому-нибудь.

— Почему же?

— Долго говорить. Прощайте.

— Полчаса, Александръ, слышите? не болѣе. Если откажете, значитъ вы никогда ни на волосъ не имѣли ко мнѣ дружбы.

Она просила съ такимъ чувствомъ, такъ убѣдительно, что у Александра не стало духу отказаться, и онъ пошелъ за ней, склонивъ голову. Петръ Иванычъ былъ у себя въ кабинетѣ.

— Неужели я заслужила отъ васъ одно пренебреженіе, Александръ? — спросила Лизавета Александровна, усадивъ его у камина.

— Вы ошибаетесь: это не пренебреженіе,—отвѣчалъ онъ.

— Что же это значитъ? какъ это назвать: сколько разъ я писала къ вамъ, звала къ себѣ, вы не шли, наконецъ перестали отвѣчать на записки.

— Это не пренебреженіе...

— Что же?

— Такъ!—сказалъ Александръ и вздохнулъ.—Прощайте, ma tante.

— Постойте! что я вамъ сдѣлала? что съ вами, Александръ? Отчего вы такіе? Отчего вы равнодушны ко всему, никуда не ходите, живете въ обществѣ не по васъ?

— Да такъ, ma tante; этотъ образъ жизни мнѣ нравится: такъ покойно жить, хорошо; это по мнѣ...

— По васъ? вы находите пищу для ума и сердца въ такой жизни, съ такими людьми?

Александръ кивнулъ головой.

— Вы притворяетесь, Александръ; вы чѣмъ-нибудь сильно огорчены и молчите. Прежде, бывало, вы находили кому повѣрить ваше горе; вы знали, что всегда найдете утѣшеніе или, по крайней мѣрѣ, сочувствіе; а теперь развѣ у васъ никого ужъ нѣтъ?

— Никого!..

— Вы никому не вѣрите?

— Никому.

— Развѣ вы не вспоминаете иногда о вашей матушкѣ... о ея любви къ вамъ... ласкахъ? Неужели вамъ не приходило въ голову, что, можетъ-быть, кто-нибудь и здѣсь любитъ васъ, если не такъ, какъ она, то, по крайней мѣрѣ, какъ сестра или, еще больше, какъ другъ?

— Прощайте, ma tante!—сказалъ онъ.

— Прощайте, Александръ: я васъ не удерживаю болѣе,— отвѣчала тетка. У ней навернулись слезы.

Александръ взялъ-было шляпу, но потомъ положилъ и поглядѣлъ на Лизавету Александровну.

— Нѣтъ, не могу бѣжать отъ васъ: недостаетъ силъ!— сказалъ онъ:—что вы дѣлаете со мной?

— Будьте опять прежнимъ Александромъ, хоть на одну минуту. Разскажите, повѣрьте мнѣ все...

— Да, я не могу молчать передъ вами: вамъ выскажу все, что у меня на душѣ,—сказалъ онъ.—Вы спрашиваете, отчего я прячусь отъ людей, отчего я ко всему равнодушенъ, отчего не вижусь даже съ вами?.. отчего? Знайте же, что жизнь давно опротивѣла мнѣ, и я избралъ себѣ такой бытъ, гдѣ она меньше замѣтна. Я ничего не хочу, не ищу, кромѣ покоя, сна души. Я извѣдалъ всю пустоту и всю

ничтожность жизни — и глубоко презираю ее. *Кто жилъ и мыслилъ, тотъ не можетъ въ душѣ не презирать людей.* Дѣятельность, хлопоты, заботы, развлеченіе — все надоѣло мнѣ. Я ничего не хочу добиваться и искать; у меня нѣтъ цѣли, потому что къ чему повлечешься, достигнешь—и увидишь, что все призракъ. Радости для меня миновали; я къ нимъ охладѣлъ. Въ образованномъ мірѣ, съ людьми, я сильнѣе чувствую невыгоды жизни, а у себя, одинъ, вдалекѣ отъ толпы, я одеревянѣлъ: случись, что хочетъ въ этомъ снѣ—я не замѣчаю ни людей, ни себя. Я ничего не дѣлаю и не вижу ни чужихъ, ни своихъ поступковъ—и покоенъ... мнѣ все равно: счастья не можетъ быть, а несчастье не прошметъ меня...

— Это ужасно! Александръ,—сказала тетка:—въ эти лѣта такое охлажденіе ко всему...

— Чему вы удивляетесь, ma tante? Отдѣлитесь на минуту отъ тѣснаго горизонта, въ которомъ вы заключены, посмотрите на жизнь, на міръ: что это такое?.. Что вчера велико, сегодня ничтожно; чего хотѣлъ вчера, не хочешь сегодня: вчерашній другъ — сегодня врагъ. Стоитъ ли хлопотать изъ чего-нибудь, любить, привязываться, ссориться, мириться—словомъ, жить? не лучше ли спать и умомъ, и сердцемъ? Я сплю, оттого и не хожу никуда, и къ вамъ особенно. Я уснулъ-было совсѣмъ, а вы будите и умъ, и сердце, и толкаете ихъ опять въ омутъ. Если хотите видѣть меня веселымъ, здоровымъ, можетъ-быть, живымъ, даже, пожалуй, по понятіямъ дядюшки, счастливымъ — оставьте меня тамъ, гдѣ я теперь! Дайте успокоиться этимъ волненіямъ; пусть мечты улягутся, пусть умъ оцѣпенѣетъ совсѣмъ, сердце окаменѣетъ, глаза отвыкнутъ отъ слезъ, губы отъ улыбки—и тогда, черезъ годъ, черезъ два, я приду къ вамъ совсѣмъ готовый на всякое испытаніе; тогда не пробудите, какъ ни старайтесь, а теперь...

Онъ сдѣлалъ отчаянный жестъ.

— Смотрите, Александръ,—живо перебила тетка:—вы въ одну минуту измѣнились: у васъ слезы на глазахъ; вы еще все тѣ же; не притворяйтесь же, не удерживайте чувства, дайте ему волю...

— Зачѣмъ? я не буду лучше отъ этого? я буду только сильнѣе мучиться. Нынѣшній вечеръ уничтожилъ меня въ собственныхъ глазахъ. Я ясно понялъ, что не имѣю права никого винить въ своей тоскѣ. Я самъ погубилъ свою жизнь. Я мечталъ о славѣ, Богъ знаетъ съ чего, и пренебрегъ своимъ дѣломъ; я испортилъ свое скромное назначеніе и теперь не поправлю прошлаго: поздно! Я бѣжалъ толпы, презиралъ ее,—а этотъ нѣмецъ, съ своей глубокой, сильной душой, съ поэтической натурой, не отрекается отъ міра и не бѣжитъ отъ толпы: онъ гордится ея рукоплесканіями. Онъ понимаетъ, что онъ едва замѣтное кольцо въ безконечной цѣпи человѣчества; онъ тоже все знаетъ, что я; ему знакомы страданія. Слышали, какъ онъ разсказалъ въ звукахъ всю жизнь: и радости, и горечь ея, и счастье, скорбь души? она понятна ему. Какъ сталъ я сегодня вдругъ мелокъ, ничтоженъ въ собственныхъ глазахъ, съ своей тоской, страданіями!.. Онъ пробудилъ во мнѣ горькое сознаніе, что я гордъ — и безсиленъ... Ахъ, зачѣмъ вы вызвали меня? Прощайте, пустите меня.

— Чѣмъ же я виновата, Александръ?—неужели я могла пробудить въ васъ горькое чувство—я?..

— Вотъ то-то и бѣда! ваше ангельское, доброе лицо, ma tante, кроткія рѣчи, дружеское пожатіе руки—все это смущаетъ и трогаетъ меня: мнѣ хочется плакать, хочется опять жить, томиться... а зачѣмъ?

— Какъ зачѣмъ? Останьтесь всегда съ нами; и если вы считаете меня хоть немного достойною вашей дружбы, стало-быть, вы найдете утѣшеніе и въ другой; не одна я такая... васъ оцѣнятъ.

— Да! вы думаете, это всегда будетъ утѣшать меня? вы

думаете, я повѣрю этому минутному умиленію? Вы, точно, женщина въ благороднѣйшемъ смыслѣ слова; вы созданы на радость, на счастье мужчины, да можно ли надѣяться на это счастье? можно ли поручиться, что оно прочно, что сегодня, завтра, судьба не обернетъ вверхъ дномъ этой счастливой жизни — вотъ вопросъ! Можно ли вѣрить чему-нибудь и кому-нибудь, даже себѣ? Не лучше ли жить безъ всякихъ надеждъ и волненій, не ожидая ничего, не искать радостей и, стало-быть, не оплакивать потерь?..

— Отъ судьбы вы нигдѣ не уйдете, Александръ: и тамъ, гдѣ вы теперь, она все будетъ преслѣдовать васъ...

— Да, правда; только тамъ судьбѣ не надъ чѣмъ забавляться, больше забавляюсь я надъ нею: смотришь, то рыба сорвется съ удочки, когда ужъ протянулъ къ ней руку, то дождь пойдетъ, когда собрался за городъ, или погода хороша, да самому не хочется... ну, и смѣшно...

У Лизаветы Александровны недоставало болѣе возраженій...

— Вы женитесь... будете любить... — сказала она нерѣшительно.

— Женюсь! вотъ еще! Неужели вы думаете, что я ввѣрю свое счастье женщинѣ, если бъ даже и полюбилъ ее, чего тоже быть не можетъ? или неужели вы думаете, что я взялся бы сдѣлать женщину счастливой? Нѣтъ, я знаю, что мы обманемъ другъ друга, и оба обманемся. Дядюшка Петръ Иванычъ и опытъ научили меня...

— Петръ Иванычъ! да, онъ много виноватъ! — сказала Лизавета Александровна со вздохомъ:—но вы имѣли право не слушать его... и были бы счастливы въ супружествѣ...

— Да, въ деревнѣ, конечно; а теперь... Нѣтъ, ma tante, супружество не для меня. Я теперь не могу притвориться, когда разлюблю, и перестану быть счастливъ; не могу также не увидѣть, когда жена притворится; будемъ оба хитрить, какъ хитрите... напримѣръ, вы и дядюшка...

— Мы?—съ изумленіемъ и съ испугомъ спросила Лизавета Александровна.

— Да, вы! Скажите-ка, такъ ли вы счастливы, какъ мечтали нѣкогда?

— Не такъ, какъ мечтала... но счастлива иначе, нежели мечтала, разумнѣе, можетъ-быть, больше — не все ли это равно?..—съ замѣшательствомъ отвѣчала Лизавета Александровна:—и вы тоже...

— Разумнѣе! Ахъ, ma tante, не вы бы говорили: такъ дядюшкой и отзывается! Знаю я, это счастье по его методѣ: разумнѣе — такъ, но больше ли? вѣдь у него все счастье, несчастья нѣтъ. Богъ съ нимъ! Нѣтъ! моя жизнь исчерпана; я усталъ, утомился жить...

Оба замолчали. Александръ поглядывалъ на шляпу; тетка придумывала, чѣмъ бы еще остановить его.

— А талантъ!—вдругъ сказала она съ живостью.

— Э, ma tante! охота вамъ смѣяться надо мной! Вы забыли русскую пословицу: *лежачаго не бьютъ*. У меня таланта нѣтъ, рѣшительно нѣтъ. У меня есть чувство, была горячая голова; мечты я принялъ за творчество и творилъ. Недавно еще я началъ кое-что изъ старыхъ грѣховъ, прочелъ — и самому смѣшно стало. Дядюшка правъ, что принудилъ меня сжечь все, что было. Ахъ, если бъ я могъ воротить прошедшее! Не такъ я распорядился имъ.

— Не разочаровывайтесь до конца!—сказала она:—всякому изъ насъ посланъ тяжкій крестъ...

— Кому это крестъ? — спросилъ Петръ Иванычъ, входя въ комнату.—Здравствуй, Александръ! тебѣ, что ли?

Петръ Иванычъ сгорбился и шелъ, едва передвигая ноги.

— Только не такой, какъ ты думаешь, — сказала Лизавета Александровна:—я говорю о тяжкомъ крестѣ, который несетъ Александръ...

— Что онъ тамъ еще несетъ?—спросилъ Петръ Иванычъ,

опускаясь съ величайшею осторожностью въ кресла.—Охъ! какая боль! что это за наказаніе!

Лизавета Александровна помогла ему сѣсть, подложила подъ спину подушку, подъ ноги подвинула скамеечку.

— Что съ вами, дядюшка?—спросилъ Александръ.

— Видишь, тяжкій крестъ несу! Охъ, поясница! Вотъ крестъ, такъ крестъ: дослужился-таки до него! Охъ, Боже мой!

— Вольно же тебѣ такъ много сидѣть: ты знаешь здѣшній климатъ,—сказала Лизавета Александровна:—докторъ велѣлъ больше ходить, такъ нѣтъ: утро пишетъ, а вечеромъ въ карты играетъ.

— Что жъ я стану, разиня ротъ, по улицамъ ходить, да время терять?

— Вотъ и наказанъ.

— Этого здѣсь не минуешь, если хочешь заниматься дѣломъ. У кого не болитъ поясница? Это почти въ родѣ знака отличія у всякаго дѣлового человѣка... охъ, не разогнешь спины. Ну, что ты, Александръ, дѣлаешь?

— Все то же, что прежде.

— А! ну такъ у тебя поясница не заболитъ. Это удивительно, право!

— Что жъ ты удивляешься: не ты ли самъ отчасти виноватъ, что онъ сталъ такой...—сказала Лизавета Александровна.

— Я? вотъ это мнѣ нравится! я пріучилъ его ничего не дѣлать!

— Точно, дядюшка, вамъ нечему удивляться,—сказалъ Александръ:—вы много помогли обстоятельствамъ сдѣлать изъ меня то, что я теперь; но я васъ не виню. Я самъ виноватъ, что не умѣлъ или, лучше сказать, не могъ воспользоваться вашими уроками, какъ слѣдуетъ, потому что не былъ приготовленъ къ нимъ. Вы, можетъ-быть, отчасти виноваты тѣмъ, что поняли мою натуру съ перваго раза и, несмотря на то, хотѣли переработать ее; вы, какъ человѣкъ

опытный, должны были видѣть, что это невозможно... возбудили во мнѣ борьбу двухъ различныхъ взглядовъ на жизнь и не могли примирить ихъ: что жъ вышло? Все превратилось во мнѣ въ сомнѣніе, въ какой-то хаосъ.

— Охъ, поясница!—стоналъ Петръ Иванычъ.—Хаосъ!—ну, вотъ изъ хаоса я и хотѣлъ сдѣлать что-нибудь.

— Да! а что сдѣлали? представили мнѣ жизнь въ самой безобразной наготѣ, и въ какія лѣта: когда я долженъ былъ понимать ее только съ свѣтлой стороны.

— То-есть, я старался представить тебѣ жизнь, какъ она есть, чтобъ ты не забиралъ себѣ въ голову чего нѣтъ. Я помню какимъ ты молодцомъ пріѣхалъ изъ деревни: надо жъ было предостеречь тебя, что здѣсь такимъ быть нельзя. Я предостерегъ тебя, можетъ-быть, отъ многихъ ошибокъ и глупостей! если не я, ты бы ихъ еще не столько надѣлалъ!

— Можетъ-быть. Но вы только выпустили одно изъ виду, дядюшка: счастье. Вы забыли, что человѣкъ счастливъ заблужденіями, мечтами и надеждами; дѣйствительность не счастливитъ...

— Какую ты дичь несешь! Это мнѣніе привезъ ты прямо съ азіатской границы: въ Европѣ давно перестали вѣрить этому. Мечты, игрушки, обманъ—все это годится для женщинъ и дѣтей, а мужчинѣ надо знать дѣло, какъ оно есть. По-твоему это хуже, нежели обманываться?

— Да, дядюшка, что ни говорите, а счастье соткано изъ иллюзій, надеждъ, довѣрчивости къ людямъ, увѣренности въ самомъ себѣ, потомъ изъ любви, дружбы... А вы твердили мнѣ, что любовь—вздоръ, пустое чувство, что легко, и даже лучше, прожить безъ него; что любить страстно—не великое достоинство, что этимъ не перещеголяешь животное...

— Да ты вспомни, какъ ты хотѣлъ любить: сочинялъ плохіе стихи, говорилъ дикимъ языкомъ, такъ что до смерти

...доѣлъ этой, твоей... Грунѣ, что ли! Этимъ ли привязываютъ женщину?

— Чѣмъ же? — сухо спросила Лизавета Александровна мужа.

— Охъ, какъ колетъ поясницу! — простоналъ Петръ Иванычъ.

— Потомъ вы твердили,—продолжалъ Александръ:—что привязанности глубокой, симпатической нѣтъ, а есть одна привычка...

Лизавета Александровна молча и глубоко посмотрѣла на мужа.

— То-есть я, вотъ видишь ли, я говорилъ тебѣ для того... чтобъ... ты... того... ой-ой, поясница!

— И вы говорили это,—продолжалъ Александръ:—двадцатилѣтнему мальчику, для котораго любовь — все, котораго дѣятельность, цѣль—все вертится около этого чувства: имъ онъ можетъ спастись, или погибнуть.

— Точно двѣсти лѣтъ назадъ родился!—бормоталъ Петръ Иванычъ:—жить бы тебѣ при царѣ Горохѣ.

— Вы растолковали мнѣ,—говорилъ Александръ:—теорію любви, обмановъ, измѣнъ, охлажденій... зачѣмъ? я зналъ все это прежде, нежели началъ любить, а любя, я ужъ анализировалъ любовь, какъ ученикъ анатомируетъ тѣло подъ руководствомъ профессора, и, вмѣсто красоты формъ, видитъ только мускулы, нервы...

— Однако, я помню, это не помѣшало тебѣ сходить съ ума по этой... какъ ее?.. Дашенькѣ, что ли?

— Да; но вы не дали мнѣ обмануться: я бы видѣлъ въ измѣнѣ Наденьки несчастную случайность и ожидалъ бы до тѣхъ поръ, когда ужъ не нужно было бы любви, а вы сейчасъ подоспѣли съ теоріей и показали мнѣ, что это общій порядокъ—и я, въ двадцать-пять лѣтъ, потерялъ довѣренность къ счастью и къ жизни и состарѣлся душой. Дружбу вы отвергали, называли и ее привычкой; называли себя, и

то вѣроятно шутя, лучшимъ моимъ другомъ, потому развѣ, что успѣли доказать, что дружбы нѣтъ.

Петръ Иванычъ слушалъ и поглаживалъ одной рукой спину. Онъ возражалъ небрежно, какъ человѣкъ, который, казалось, однимъ словомъ могъ уничтожить всѣ изводимыя на него обвиненія.

— И дружбу хорошо ты понималъ,—сказалъ онъ:—тебѣ хотѣлось отъ друга такой же комедіи, какую разыграли, говорятъ, въ древности вонъ эти два дурака... какъ ихъ? что одинъ еще остался въ залогѣ, пока другъ его съѣздилъ повидаться... Что если бъ всѣ-то такъ дѣлали, вѣдь просто весь міръ былъ бы домъ сумасшедшихъ!

— Я любилъ людей,—продолжалъ Александръ:—вѣрилъ въ ихъ достоинства, видѣлъ въ нихъ братьевъ, простеръ было къ нимъ горячія объятія...

— Да, очень нужно! Помню твои объятія, — перебилъ Петръ Иванычъ: — ты мнѣ ими тогда порядочно надоѣлъ.

— А вы показали мнѣ, чего они стоятъ. Вмѣсто того, чтобъ руководствовать мое сердце въ привязанностяхъ, вы научили меня не чувствовать, а разбирать, разсматривать и остерегаться людей: я разсмотрѣлъ ихъ—и разлюбилъ!

— Кто же тебя зналъ! Видишь вѣдь ты какой прыткій: я думалъ, что ты отъ этого будешь только снисходительнѣе къ нимъ. Я вотъ знаю ихъ, да не возненавидѣлъ...

— Что жъ, ты любишь людей?—спросила Лизавета Александровна.

— Привыкъ... къ нимъ.

— Привыкъ!—повторила она монотонно.

— И онъ бы привыкъ, — сказалъ Петръ Иванычъ: — да онъ ужъ прежде былъ сильно испорченъ въ деревнѣ теткой да желтыми цвѣтами, оттого такъ туго и развивается.

— Потомъ я вѣрилъ въ самого себя,—началъ опять Александръ:—вы показали мнѣ, что я хуже другихъ—я возненавидѣлъ и себя.

— Если бъ ты разсматривалъ дѣло похладнокровнѣе, такъ увидѣлъ бы, что ты не хуже другихъ и не лучше, чего я и хотѣлъ отъ тебя: тогда не возненавидѣлъ бы ни другихъ, ни себя, а только равнодушнѣе сносилъ бы людскія глупости и былъ бы повнимательнѣе къ своимъ. Я вотъ знаю цѣну себѣ, вижу, что не хорошъ, а признаюсь, очень люблю себя.

— А! тутъ *любишь*, а не *привыкъ*! — холодно замѣтила Лизавета Александровна.

— Охъ, поясница!—заохалъ Петръ Иванычъ.

— Наконецъ, вы однимъ ударомъ, безъ предостереженія, безъ жалости, разрушили лучшую мечту мою: я думалъ, что во мнѣ есть искра поэтическаго дарованія; вы жестоко доказали мнѣ, что я не созданъ жрецомъ изящнаго; вы съ болью вырвали у меня эту занозу изъ сердца и предложили мнѣ трудъ, который былъ мнѣ противенъ. Безъ васъ я писалъ бы...

— И былъ бы извѣстенъ публикѣ, какъ бездарный писатель,—перебилъ Петръ Иванычъ.

— Что мнѣ до публики? Я хлопоталъ о себѣ, я приписывалъ бы свои неудачи злости, зависти, недоброжелательству, и мало-по-малу свыкся бы съ мыслью, что писать не нужно, и самъ бы принялся за другое. Чему же вы удивляетесь, что я, узнавши все, упалъ духомъ?..

— Ну, что скажешь?—спросила Лизавета Александровна.

— Не хочется и говорить-то: какъ отвѣчать на такой вздоръ? Я виноватъ, что ты, ѣдучи сюда, воображалъ, что здѣсь все цвѣты желтые, любовь да дружба; что люди только и дѣлаютъ, что одни пишутъ стихи, другіе слушаютъ, да изрѣдка, такъ, для разнообразія, примутся за прозу?.. Я доказывалъ тебѣ, что человѣку, вообще вездѣ, а здѣсь въ особенности, надо работать, и много работать, даже до боли въ поясницѣ... цвѣтовъ желтыхъ нѣтъ, есть чины, деньги: это гораздо лучше! Вотъ что я хотѣлъ дока-

зать тебѣ! я не отчаивался, что ты поймешь, наконецъ, что такое жизнь, особенно, какъ ее теперь понимаютъ. Ты и понялъ, да какъ увидѣлъ, что въ ней мало цвѣтовъ и стиховъ, и вообразилъ, что жизнь—большая ошибка, что ты видишь это и оттого имѣешь право скучать; другіе не замѣчаютъ и оттого живутъ пришѣваючи. Ну, чѣмъ ты недоволенъ? чего тебѣ недостаетъ? Другой, на твоемъ мѣстѣ, благословилъ бы судьбу. Ни нужда, ни болѣзнь, никакое реальное горе не дотрогивалось до тебя. Чего у тебя нѣтъ? Любви, что ли? Мало еще тебѣ: любилъ ты два раза и былъ любимъ. Тебѣ измѣнили, ты поквитался. Мы рѣшили, что друзья у тебя есть, какіе у другого рѣдко бываютъ: не фальшивые; въ воду за тебя, правда, не бросятся и на костеръ не полѣзутъ, обниматься тоже не охотники; да вѣдь это до крайности глупо; пойми наконецъ! но зато совѣтъ, помощь, даже деньги—всегда найдешь... Это ли еще не друзья? Современемъ ты женишься; карьера передъ тобой: займись только; а вмѣстѣ съ ней и фортуна. Дѣлай все, какъ другіе — и судьба не обойдетъ тебя: найдешь свое. Смѣшно воображать себя особеннымъ, великимъ человѣкомъ, когда ты не созданъ такимъ! Ну, о чемъ же ты горюешь?

— Я васъ не виню, дядюшка; напротивъ, я умѣю цѣнить ваши намѣренія и отъ души благодарю за нихъ. Что дѣлать, что они не удались? Не вините же и меня. Мы не поняли другъ друга—вотъ въ чемъ наша бѣда! Что можетъ нравиться и годиться вамъ, другому, третьему — не нравится мнѣ...

— Нравится мнѣ, другому, третьему!.. не то говоришь, милый! развѣ я одинъ такъ думаю и дѣйствую, какъ училъ думать и дѣйствовать тебя?.. Посмотри кругомъ: разсмотри массу—*толпу*, какъ ты называешь ее—не ту, что въ деревнѣ живетъ: туда это долго не дойдетъ, а современную, образованную, мыслящую и дѣйствующую: чего она хочетъ

и къ чему стремится? какъ мыслитъ? и увидишь, что именно такъ, какъ я училъ тебя. Чего я требовалъ отъ тебя—не я все это выдумалъ.

— Кто же?—спросила Лизавета Александровна.

— Вѣкъ.

— Такъ непремѣнно и надо слѣдовать всему, что выдумаетъ твой вѣкъ?—спросила она:—такъ все и свято, все и правда?

— Все и свято!—сказалъ Петръ Иванычъ.

— Какъ! правда, что надо больше разсуждать, нежели чувствовать? Не давать воли сердцу, удерживаться отъ порывовъ чувства? не предаваться и не вѣрить искреннему изліянію?

— Да,—сказалъ Петръ Иванычъ.

— Дѣйствовать вездѣ по методѣ, меньше довѣрять людямъ, считать все ненадежнымъ и жить одному про себя?

— Да.

— И это свято, что любовь не главное въ жизни, что надо больше любить свое дѣло, нежели любимаго человѣка, не надѣяться ни на чью преданность, вѣрить, что любовь должна кончаться охлажденіемъ, измѣной или привычкой? что дружба привычка? Это все правда?

— Это была всегда правда,—отвѣчалъ Петръ Иванычъ:—только прежде не хотѣли вѣрить ей, а нынче это сдѣлалось общеизвѣстной истиной.

— Свято и это, что все надо разсматривать, все разсчитывать и обдумывать, не позволять себѣ забыться, помечтать, увлечься хоть и обманомъ, лишь бы быть отъ того счастливымъ?..

— Свято, потому что разумно,—сказалъ Петръ Иванычъ.

— Правда и это, что умомъ надобно дѣйствовать и съ близкими сердцу... напримѣръ, съ женой?

— У меня еще никогда не болѣла такъ поясница... охъ!—сказалъ Петръ Иванычъ, корчась на стулѣ.

— А! поясница! Хорошъ вѣкъ! нечего сказать.

— Очень хорошъ, милая; такъ, изъ капризовъ, ничего не дѣлается; вездѣ разумъ, причина, опытъ, постепенность и, слѣдовательно, успѣхъ; все стремится къ совершенствованію и добру.

— Въ вашихъ словахъ, дядюшка, можетъ-быть, есть и правда,—сказалъ Александръ:—но она не утѣшаетъ меня. Я по вашей теоріи знаю все, смотрю на вещи вашими глазами; я воспитанникъ вашей школы, а между тѣмъ, мнѣ скучно жить, тяжело, невыносимо... Отчего же это?

— А отъ непривычки къ новому порядку. Не одинъ ты такой: еще есть отсталые; это все *страдальцы*. Они точно жалки; но что жъ дѣлать? Нельзя же для горсти людей оставаться назади цѣлой массѣ. На все, въ чемъ ты меня сейчасъ обвинилъ, — сказалъ Петръ Иванычъ, подумавъ:— у меня есть одно и главное оправданіе: помнишь ли, когда ты явился сюда, я, послѣ пятиминутнаго разговора съ тобой, совѣтовалъ тебѣ ѣхать назадъ? Ты не послушалъ. За что жъ теперь нападаешь на меня? Я предсказалъ тебѣ, что ты не привыкнешь къ настоящему порядку вещей, а ты понадѣялся на мое руководство, просилъ совѣтовъ... говорилъ высокимъ слогомъ о современныхъ успѣхахъ ума, о стремленіяхъ человѣчества... о практическомъ направленіи вѣка— ну, вотъ тебѣ! Нельзя же мнѣ было нянчиться съ тобой съ утра до вечера: что мнѣ за надобность? Я не могъ, ни закрывать тебѣ рта платкомъ на ночь отъ мухъ, ни крестить тебя. Я говорилъ тебѣ дѣло, потому что ты просилъ меня объ этомъ; а что изъ этого вышло, то ужъ до меня не касается. Ты не ребенокъ и не глупъ: можешь разсудить и самъ... Тутъ чѣмъ бы свое дѣло дѣлать, ты—то стонешь отъ измѣны дѣвчонки, то плачешь въ разлукѣ съ другомъ, то страдаешь отъ душевной пустоты, то отъ полноты ощущеній; ну, что это за жизнь? Вѣдь это пытка! Посмотри-ка на нынѣшнюю молодежь: что за молодцы! Какъ все кипитъ

умственною дѣятельностью, энергіей, какъ ловко и легко управляются они со всѣмъ этимъ вздоромъ, что на вашемъ старомъ языкѣ называется *треволненіями, страданіями...* и чортъ знаетъ что еще!

— Какъ ты легко разсуждаешь!—сказала Лизавета Александровна:—и тебѣ не жаль Александра?

— Нѣтъ. Вотъ, если бъ у него болѣла поясница, такъ я бы пожалѣлъ: это не вымыселъ, не мечта, не поэзія, а реальное горе... Охъ!

— Научите же меня, дядюнька, по крайней мѣрѣ, что мнѣ дѣлать теперь? Какъ вы вашимъ умомъ разрѣшите эту задачу?

— Что дѣлать? Да... ѣхать въ деревню.

— Въ деревню! — повторила Лизавета Александровна:— въ умѣ ли ты, Петръ Иванычъ? Что онъ тамъ станетъ дѣлать?

— Въ деревню! — повторилъ Александръ, и оба глядѣли на Петра Иваныча.

— Да, въ деревню: тамъ ты увидишься съ матерью, утѣшишь ее. Ты же ищешь покойной жизни: здѣсь вонъ тебя все волнуетъ; а гдѣ покойнѣе, какъ не тамъ, на озерѣ, съ теткой... Право, поѣзжай! А кто знаетъ? можетъ-быть, ты и того... Охъ!

Онъ схватился за спину.

Недѣли черезъ двѣ Александръ вышелъ въ отставку и пришелъ проститься съ дядей и теткой. Тетка и Александръ были грустны и молчаливы. У Лизаветы Александровны висѣли слезы на глазахъ. Петръ Иванычъ говорилъ одинъ.

— Ни карьеры, ни фортуны! — говорилъ онъ, качая головою:—стоило пріѣзжать! осрамилъ родъ Адуевыхъ!

— Да полно, Петръ Иванычъ, — сказала Лизавета Александровна:—ты надоѣлъ съ своей карьерой.

— Какъ же, милая, въ восемь лѣтъ ничего не сдѣлать!

— Прощайте, дядюшка, — сказалъ Александръ. — Благодарю васъ за все, за все...

— Не за что! Прощай, Александръ! Не надо ли денегъ на дорогу?

— Нѣтъ, благодарю: мнѣ станетъ.

— Что это, никогда не возьметъ! это, наконецъ, бѣситъ меня. Ну, съ Богомъ, съ Богомъ.

— И тебѣ не жаль разстаться съ нимъ? — промолвила Лизавета Александровна.

— М-м! — промычалъ Петръ Иванычъ: — я... привыкъ къ нему. Помни же, Александръ, что у тебя есть дядя и другъ — слышишь? и если понадобятся служба, занятія и презрѣнный металлъ, смѣло обратись ко мнѣ: всегда найдешь и то, и другое, и третье.

— А если понадобится участіе,—сказала Лизавета Александровна:—утѣшеніе въ горѣ, теплая, надежная дружба...

— И искреннія изліянія,—прибавилъ Петръ Иванычъ.

— ...такъ вспомните, — продолжала Лизавета Александровна:—что у васъ есть тетка и другъ.

— Ну, этого, милая, и въ деревнѣ не занимать стать: все есть: и цвѣты, и любовь, и изліянія, и даже тетка.

Александръ былъ растроганъ; онъ не могъ сказать ни слова. Прощаясь съ дядей, онъ простеръ-было къ нему объятія, хоть и не такъ живо, какъ восемь лѣтъ назадъ. Петръ Иванычъ не обнялъ его, а взялъ только его за обѣ руки и пожалъ ихъ крѣпче, нежели восемь лѣтъ назадъ. Лизавета Александровна залилась слезами.

— Ухъ! гора съ плечъ, слава Богу! — сказалъ Петръ Иванычъ, когда Александръ уѣхалъ: — какъ будто и поясницѣ легче стало!

— Что онъ тебѣ сдѣлалъ?—промолвила сквозь слезы жена.

— Что? просто мученье: хуже, чѣмъ съ фабричными: тѣхъ, если задурятъ, такъ посѣчешь; а съ нимъ что станешь дѣлать?

Тетка проплакала цѣлый день, и когда Петръ Иванычъ спросилъ обѣдать, ему сказали, что стола не готовили, что барыня заперлась у себя въ кабинетѣ и не приняла позара-

— А все Александръ!—сказалъ Петръ Иванычъ.—Что это за мука съ нимъ!

Онъ поворчалъ, поворчалъ и поѣхалъ обѣдать въ англійскій клубъ.

Дилижансъ рано утромъ медленно тащился изъ города и увозилъ Александра Ѳедорыча и Евсея.

Александръ, высунувъ голову изъ окна кареты, всячески старался настроить себя на грустный тонъ, и, наконецъ, мысленно разрѣшился монологомъ.

Проѣзжали мимо куаферовъ, дантистовъ, модистокъ, барскихъ палатъ. «Прощай», говорилъ онъ, покачивая головой и хватаясь за свои жиденькіе волосы: «прощай, городъ поддѣльныхъ волосъ, вставныхъ зубовъ, ваточныхъ подражаній природѣ, круглыхъ шлянъ, городъ учтивой спеси, искусственныхъ чувствъ, безжизненной суматохи! Прощай, великолѣпная гробница глубокихъ, сильныхъ, нѣжныхъ и теплыхъ движеній души. Я здѣсь восемь лѣтъ стоялъ лицомъ къ лицу съ современною жизнью, но спиною къ природѣ, и она отвернулась отъ меня: я утратилъ жизненныя силы и состарѣлся въ двадцать девять лѣтъ; а было время...

«Прощай, прощай, городъ,

Гдѣ я страдалъ, гдѣ я любилъ,
Гдѣ сердце я похоронилъ.

«Къ вамъ простираю объятія, широкія поля, къ вамъ, благодатныя веси и пажити моей родины: примите меня въ свое лоно, да оживу и воскресну душой!»

Тутъ онъ прочелъ стихотвореніе Пушкина: *Художникъ варваръ кистью сонной* и т. д., отеръ влажные глаза и спрятался въ глубину кареты.

VI.

Утро было прекрасное. Знакомое читателю озеро въ селѣ Грачахъ чуть-чуть рябѣло отъ легкой зыби. Глаза невольно зажимались отъ ослѣпительнаго блеска солнечныхъ лучей, сверкавшихъ то алмазными, то изумрудными искрами въ водѣ. Плакучія березы купали въ озерѣ свои вѣтви и кое-гдѣ берега поросли осокой, въ которой прятались большіе, жёлтые цвѣты, покоившіеся на широкихъ плоучихъ листьяхъ. На солнце набѣгали иногда легкія облака; вдругъ оно какъ будто отвернется отъ Грачей; тогда и озеро, и роща, и село — все мгновенно потемнѣетъ; одна даль ярко сіяетъ. Облако пройдетъ — озеро опять заблеститъ, нивы обольются точно золотомъ.

Анна Павловна съ пяти часовъ сидитъ на балконѣ. Что ее вызвало: восходъ солнца, свѣжій воздухъ, или пѣніе жаворонка? Нѣтъ! она не сводитъ глазъ съ дороги, что идетъ черезъ рощу. Пришла Аграфена просить ключей. Анна Павловна не поглядѣла на нее и, не спуская глазъ съ дороги, отдала ключи и не спросила даже, зачѣмъ? Явился поваръ: она, тоже не глядя на него, отдала ему множество приказаній. Другой день столъ заказывался на десять человѣкъ.

Анна Павловна осталась опять одна. Вдругъ глаза ея заблистали; всѣ силы ея души и тѣла перешли въ зрѣніе: на дорогѣ что-то зачернѣло. Кто-то ѣдетъ, но тихо, медленно. Ахъ! это возъ спускается съ горы. Анна Павловна нахмурилась.

— Вотъ кого-то понесла нелёгкая! — проворчала она: — нѣтъ, чтобъ объѣхать кругомъ; всѣ лѣзутъ сюда.

Она съ неудовольствіемъ опустилась опять въ кресло и опять съ трепетнымъ ожиданіемъ устремила взглядъ на рощу, не замѣчая ничего вокругъ. А вокругъ было что́ замѣтить: декорація начала значительно измѣняться. Полуден-

ный воздухъ, накаленный знойными лучами солнца, становился душенъ и тяжелъ. Вотъ и солнце спряталось. Стало темно. И лѣсъ, и дальнія деревни, и трава—все облеклось въ безразличный какой-то зловѣщій цвѣтъ.

Анна Павловна очнулась и взглянула вверхъ. Боже мой! Съ запада тянулось, точно живое чудовище, черное, безобразное пятно съ мѣднымъ отливомъ по краямъ, и быстро надвигалось на село и на рощу, простирая будто огромныя крылья по сторонамъ. Все затосковало въ природѣ. Коровы понурили головы; лошади обмахивались хвостами, раздували ноздри и фыркали, встряхивая гривой. Пыль подъ ихъ копытами не поднималась вверхъ, но тяжело, какъ песокъ, разсыпалась подъ колесами. Туча надвигалась грозно. Вскорѣ медленно прокатился отдаленный гулъ.

Все притихло, какъ будто ожидало чего-то небывалаго. Куда дѣвались эти птицы, которыя такъ рѣзво порхали и пѣли при солнышкѣ? Гдѣ насѣкомыя, что такъ разнообразно жужжали въ травѣ? Все спряталось и безмолвствовало, и бездушные предметы, казалось, раздѣляли зловѣщее предчувствіе. Деревья перестали покачиваться и задѣвать другъ друга сучьями; они выпрямились; только изрѣдка наклонялись верхушками между собою, какъ будто взаимно предупреждая себя шопотомъ о близкой опасности. Туча уже обложила горизонтъ и образовала какой-то свинцовый, непроницаемый сводъ. Въ деревнѣ всѣ старались убраться во-время по домамъ. Наступила минута всеобщаго торжественнаго молчанія. Вотъ отъ лѣсу, какъ передовой вѣстникъ, пронесся свѣжій вѣтерокъ, повѣялъ прохладой въ лицо путнику, прошумѣлъ по листьямъ, захлопнулъ мимоходомъ ворота въ избѣ и, вскрутя пыль на улицѣ, затихъ въ кустахъ. Слѣдомъ за нимъ мчится бурный вихрь, медленно двигая по дорогѣ столбъ пыли; вотъ ворвался въ деревню, сбросилъ нѣсколько гнилыхъ досокъ съ забора, снесъ соломенную кровлю, взвилъ юбку у несущей воду крестьянки

и погналъ вдоль улицы пѣтуховъ и куръ, раздувая имъ хвосты.

Пронесся. Опять безмолвіе. Все суетится и прячется; только глупый баранъ не предчувствуетъ ничего: онъ равнодушно жуетъ свою жвачку, стоя посреди улицы, и глядитъ въ одну сторону, не понимая общей тревоги; да перышко съ соломинкой, кружась по дорогѣ, силятся поспѣть за вихремъ.

Упали двѣ-три крупныя капли дождя — и вдругъ блеснула молнія. Старикъ всталъ съ заваленки и поспѣшно повелъ маленькихъ внучатъ въ избу; старуха, крестясь, торопливо закрыла окно.

Грянулъ громъ и, заглушая людской шумъ, торжественно, царственно прокатился въ воздухѣ. Испуганный конь оторвался отъ коновязи и мчится съ веревкой въ полѣ; тщетно преслѣдуетъ его крестьянинъ. А дождь такъ и сыплетъ, такъ и сѣчетъ, все чаще и чаще, и дробитъ въ кровли и окна сильнѣе и сильнѣе. Бѣленькая ручка боязливо высовываетъ на балконъ предметъ нѣжныхъ заботъ—цвѣты.

При первомъ ударѣ грома, Анна Павловна перекрестилась и ушла съ балкона.

— Нѣтъ, ужъ сегодня нечего видно ждать,—сказала она со вздохомъ: — отъ грозы гдѣ-нибудь остановился, развѣ къ ночи.

Вдругъ послышался стукъ колесъ, только не отъ рощи, а съ другой стороны. Кто-то въѣхалъ на дворъ. У Адуевой замерло сердце.

«Какъ же оттуда?» думала она: «развѣ не хотѣлъ ли онъ тайкомъ пріѣхать? Да нѣтъ, тутъ не дорога».

Она не знала что подумать; но вскорѣ все объяснилось. Черезъ минуту вошелъ Антонъ Иванычъ. Волосы его серебрились просѣдью; самъ онъ растолстѣлъ; щеки отекли отъ бездѣйствія и объяденія. На немъ былъ тотъ же сюртукъ, тѣ же широкія панталоны.

— Ужъ я васъ ждала, ждала, Антонъ Иванычъ, — начала Анна Павловна: — думала, что не будете—отчаялась-было.

— Грѣхъ это думать! къ кому другому, матушка—такъ! меня не ко всякому залучишь... только не къ вамъ. Замѣшкался не по своей винѣ: вѣдь я нынче на одной лошадкѣ разъѣзжаю.

— Что такъ? — спросила разсѣянно Анна Павловна, подвигаясь къ окну.

— Чего, матушка, съ крестинъ у Павла Саввича пѣгашка захромала: угораздила нелёгкая кучера положить черезъ канавку старую дверь отъ амбара... бѣдные люди, видите! Не стало новой дощечки! А на двери-то былъ гвоздь или крючокъ, что ли — лукавый ихъ знаетъ! Лошадь какъ ступила, такъ въ сторону и шарахнулась, и мнѣ чуть-было шеи не сломала... пострѣлы этакіе! Вотъ съ тѣхъ поръ и хромаетъ... Вѣдь есть же скареды такіе! Вы не повѣрите, матушка, что это у нихъ въ домѣ: въ иной богадѣльнѣ лучше содержатъ народъ. А въ Москвѣ, на Кузнечномъ мосту, что годъ, то тысячъ десять и посадятъ.

Анна Павловна слушала его разсѣянно и слегка покачала головой, когда онъ кончилъ.

— А вѣдь я отъ Сашеньки письмо получила, Антонъ Иванычъ! — перебила она: — пишетъ, что около 20-го будетъ: такъ я и не вспомнилась отъ радости.

— Слышалъ, матушка: Прошка сказывалъ, да я сначала-то не разобралъ, что онъ говоритъ; подумалъ, что ужъ и пріѣхалъ; съ радости меня индо въ потъ бросило.

— Дай Богъ вамъ здоровья, Антонъ Иванычъ, что любите насъ.

— Еще бы не любить! Да вѣдь я Александра Ѳедорыча на рукахъ носилъ: все равно, что родной.

— Спасибо вамъ, Антонъ Иванычъ: Богъ васъ наградитъ! А я другую ночь почти не сплю и людямъ не даю

спать: неравно пріѣдетъ, а мы всѣ дрыхнемъ—хорошо будетъ! Вчера и третьягодня до рощи пѣшкомъ ходила, и нынче бы пошла, да старость проклятая одолѣваетъ. Ночью безсонница истомила. Садитесь-ка, Антонъ Иванычъ. Да вы всѣ перемокли: не хотите ли вышить и позавтракать? Обѣдать-то, можетъ-быть, поздно придется: станемъ поджидать дорогого гостя.

— Такъ развѣ, закусить. А то я ужъ, признаться, завтракать-то завтракалъ.

— Гдѣ это вы успѣли?

— А на перепутьи у Марьи Карповны остановился. Вѣдь мимо ихъ приходилось: больше для лошади, нежели для себя: ей далъ вздохнуть. Шутка ли по нынѣшней жарѣ двѣнадцать верстъ махнуть! Тамъ кстати и закусилъ. Хорошо, что не послушался: не остался, какъ ни удерживали, а то бы гроза захватила тамъ на цѣлый день.

— Что, каково поживаетъ Марья Карповна?

— Слава Богу! кланяется вамъ.

— Покорно благодарю; а дочка-то, Софья Михайловна, съ муженькомъ-то, что?

— Ничего, матушка; ужъ шестой ребеночекъ въ походѣ. Недѣли черезъ двѣ ожидаютъ. Просили меня побывать около того времени. А у самихъ въ домѣ бѣдность такая, что и не глядѣлъ бы. Кажись, до дѣтей ли бы? такъ нѣтъ: туда же!

— Что вы!

— Ей-Богу! въ покояхъ косяки всѣ покривились; полъ такъ и ходитъ подъ ногами; черезъ крышу течетъ. И поправить-то не на что, а на столъ подадутъ супу, ватрушекъ да баранины—вотъ вамъ и все! А вѣдь какъ усердно зовутъ!

— Туда же, за моего Сашеньку норовила, ворона этакая!

— Куда ей, матушка, за этакого сокола! Жду не дождусь, какъ бы взглянуть: чай, красавецъ какой! Я что-то

смекаю, Анна Павловна: не высваталъ ли онъ тамъ себѣ какую-нибудь княжну или графиню, да не ѣдетъ ли просить вашего благословенія, да звать на свадьбу?

— Что вы, Антонъ Иванычъ!—сказала Анна Павловна, млѣя отъ радости.

— Право!

— Ахъ! вы голубчикъ мой, дай Богъ вамъ здоровья!.. Да! вотъ-было изъ ума вонъ: хотѣла вамъ разсказать, да и забыла: думаю, думаю, что такое, такъ на языкѣ и вертится; вотъ вѣдь, чего добраго, такъ бы и прошло. Да не позавтракать ли вамъ прежде, или теперь разсказать?

— Все равно, матушка, хоть во время завтрака: я не пророню ни кусочка... ни словечка, бишь.

— Ну, вотъ, — начала Анна Павловна, когда принесли завтракъ и Антонъ Иванычъ усѣлся за столъ:—и вижу я...

— А что жъ вы сами-то развѣ не станете кушать? — спросилъ Антонъ Иванычъ.

— И! до ѣды ли мнѣ теперь? Мнѣ и кусокъ въ горло не пойдетъ; давеча и чашки чаю не допила.—Вотъ я вижу во снѣ, что я будто сижу этакъ-то, а такъ, напротивъ меня, Аграфена стоитъ съ подносомъ. Я и говорю будто ей:— «что же, молъ, говорю, у тебя, Аграфена, подносъ-то пустой?»—а она молчитъ, а сама смотритъ все на дверь. «Ахъ, матушки мои!» думаю во снѣ-то сама про себя: «что же это она уставила туда глаза?» Вотъ и я стала смотрѣть... смотрю: вдругъ Сашенька и входитъ, такой печальный, подошелъ ко мнѣ и говоритъ, да такъ словно на-яву говоритъ: «прощайте, говоритъ, маменька, я ѣду далеко, вонъ туда», — и указалъ на озеро, — «и больше, говоритъ, не пріѣду». — «Куда же это, мой дружочекъ?» спрашиваю я, а сердце такъ и ноетъ у меня. Онъ будто молчитъ, а самъ смотритъ на меня такъ странно да жалостно. «Да откуда ты взялся, голубчикъ?» будто спрашиваю я опять. А онъ, сердечный, вздохнулъ и опять указалъ на озеро. «Изъ

омута, — молвилъ чуть слышно: — отъ водяныхъ». Я такъ вся и затряслась, и проснулась. Подушка у меня вся въ слезахъ; и на-яву-то не могу опомниться; сижу на постели, а сама плачу, такъ и заливаюсь, плачу. Какъ встала, сейчасъ затеплила лампадку передъ Казанской Божіей Матерью: авось Она, милосердная заступница наша, сохранитъ его отъ всякихъ бѣдъ и напастей. Такое сомнѣніе навело, ей-Богу! не могу понять, что̀ бы это значило? Не случилось бы съ нимъ чего-нибудь? Гроза же этакая...

— Это хорошо, матушка, плакать во снѣ: къ добру! — сказалъ Антонъ Иванычъ, разбивая яйцо о тарелку:—завтра непремѣнно будетъ.

— А я-было думала, не пойти ли намъ послѣ завтрака до рощи, навстрѣчу ему; какъ-нибудь бы дотащились; да вонъ вѣдь грязь какая вдругъ сдѣлалась.

— Нѣтъ, сегодня не будетъ: у меня есть примѣта!

Въ эту минуту по вѣтру донеслись отдаленные звуки колокольчика и вдругъ смолкли. Анна Павловна притаила дыханіе.

— Ахъ! — сказала она, облегчая грудь вздохомъ: — а я было думала...

Вдругъ опять.

— Господи, Боже мой! никакъ колокольчикъ? — сказала она и бросилась къ балкону.

— Нѣтъ,—отвѣчалъ Антонъ Иванычъ:—это жеребенокъ тутъ близко пасется съ колокольчикомъ на шеѣ: я видѣлъ дорогой. Еще я пугнулъ его, а то въ рожь бы забрелъ. Что вы не велите стреножить?

Вдругъ колокольчикъ зазвенѣлъ какъ будто подъ самымъ балкономъ и заливался все громче и громче.

— Ахъ, батюшки! такъ и есть: сюда, сюда ѣдетъ! Это онъ, онъ! — кричала Анна Павловна. — Ахъ, ахъ! Бѣгите, Антонъ Иванычъ! Гдѣ люди? Гдѣ Аграфена? Никого нѣтъ!.. точно въ чужой домъ ѣдетъ, Боже мой!

Она совсѣмъ растерялась. А колокольчикъ звенѣлъ ужъ какъ будто въ комнатѣ.

Антонъ Иванычъ выскочилъ изъ-за стола.

— Онъ! онъ!—кричалъ Антонъ Иванычъ:—вонъ и Евсей на козлахъ! Гдѣ же у васъ образъ, хлѣбъ-соль? Дайте скорѣе! Что же я вынесу къ нему на крыльцо? Какъ можно безъ хлѣба и соли? примѣта есть... Что это у васъ за безпорядокъ! никто не подумалъ! Да что жъ вы сами-то, Анна Павловна, стоите, нейдете навстрѣчу! Бѣгите скорѣе!..

— Не могу! — проговорила она съ трудомъ: — ноги отнялись.

И съ этими словами опустилась въ кресла. Антонъ Иванычъ схватилъ со стола ломоть хлѣба, положилъ на тарелку, поставилъ солонку и бросился-было въ дверь.

— Ничего не приготовлено!—ворчалъ онъ.

Но въ тѣ же двери, навстрѣчу ему, ворвались три лакея и двѣ дѣвки.

— Ѣдетъ! ѣдетъ! пріѣхалъ! — кричали они, блѣдные, испуганные, какъ будто пріѣхали разбойники.

Вслѣдъ за ними явился и Александръ.

— Сашенька! другъ ты мой!.. — воскликнула Анна Павловна, и вдругъ остановилась и глядѣла въ недоумѣніи на Александра.

— Гдѣ же Сашенька?—спросила она.

— Да это я, маменька!—отвѣчалъ онъ, цѣлуя у ней руку.

— Ты?

Она поглядѣла на него пристально.

— Ты, точно ты, мой другъ?—сказала она и крѣпко обняла его.

Потомъ вдругъ опять посмотрѣла на него.

— Да что съ тобой? Ты нездоровъ? — спросила она съ безпокойствомъ, не выпуская его изъ объятій.

— Здоровъ, маменька.

— Здоровъ! Что жъ съ тобой сталось, голубчикъ ты мой? Такимъ ли я отпустила тебя?

Она прижала его къ сердцу и горько заплакала. Она цѣловала его въ голову, въ щеки, въ глаза.

— Гдѣ же твои волоски? какъ шёлкъ были!—приговаривала она сквозь слезы:—глаза свѣтились, словно двѣ звѣздочки; щеки — кровь съ молокомъ; весь ты былъ, какъ наливное яблочко! Знать, извели лихіе люди, позавидовали твоей красотѣ да моему счастью! А дядя-то чего смотрѣлъ? А еще отдала съ рукъ на руки, какъ путному человѣку! Не умѣлъ сберечь сокровища! Голубчикъ ты мой!..

Старушка плакала и осыпала ласками Александра.

«Видно слезы-то во снѣ не къ добру!» подумалъ Антонъ Иванычъ.

— Что это вы, матушка, надъ нимъ, словно надъ мертвымъ, вопите?—шепнулъ онъ:—не хорошо, примѣта есть.

— Здравствуйте, Александръ Ѳедорычъ!—сказалъ онъ:—привелъ Богъ еще и на этомъ свѣтѣ увидѣться.

Александръ молча подалъ ему руку. Антонъ Иванычъ пошелъ посмотрѣть, все ли вытащили изъ кибитки, потомъ сталъ сзывать дворню здороваться съ бариномъ. Но всѣ уже толпились въ передней и въ сѣняхъ. Онъ всѣхъ разставилъ въ порядкѣ и училъ, кому какъ здороваться: кому поцѣловать у барина руку, кому плечо, кому только полу платья, и что̀ говорить при этомъ. Одного парня совсѣмъ прогналъ, сказавъ ему:—ты поди прежде рожу вымой, да носъ утри.

Евсей, подпоясанный ремнемъ, весь въ пыли, здоровался съ дворней: она кругомъ обступила его. Онъ дарилъ петербургскіе гостинцы: кому серебряное кольцо, кому березовую табакерку. Увидя Аграфену, онъ остановился, какъ окаменѣлый, и смотрѣлъ на нее молча, съ глупымъ восторгомъ. Она поглядѣла на него сбоку, исподлобья, но тотчасъ же невольно измѣнила себѣ: засмѣялась отъ радо-

сти, потомъ заплакала-было, но вдругъ отвернулась въ сторону и нахмурилась.

— Что молчишь? — сказала она: — экой болванъ: и не здоровается!

Онъ не могъ ничего говорить. Онъ съ той же глупой улыбкой подошелъ къ ней. Она едва дала ему обнять себя.

— Принесла нелёгкая,—говорила она сердито, глядя на него по временамъ украдкой; но въ глазахъ и въ улыбкѣ ея выражалась величайшая радость. — Чай, петербургскія-то... свертѣли тамъ васъ съ бариномъ? Вишь, усищи какіе отрастилъ!

Онъ вынулъ изъ кармана маленькую бумажную коробочку и подалъ ей. Тамъ были бронзовыя серьги. Потомъ онъ досталъ изъ мѣшка пакетъ, въ которомъ завернутъ былъ большой платокъ.

Она схватила и проворно сунула, не поглядѣвъ, и то, и другое въ шкапъ.

— Покажите гостинцы, Аграфена Ивановна, — сказали нѣкоторые изъ дворни.

— Ну, что тутъ смотрѣть? Чего не видали? Подите отсюда! Что вы тутъ набились?—кричала она на нихъ.

— А вотъ еще! — выговорилъ Евсей, подавая ей другой пакетъ.

— Покажите, покажите!—пристали нѣкоторые.

Аграфена рванула бумажку и оттуда посыпалось нѣсколько колодъ игранныхъ, но еще почти новыхъ картъ.

— Вонъ нашелъ что привезти!—сказала Аграфена:—ты думаешь, мнѣ только и дѣла, что играть? какъ же! Выдумалъ что: стану я съ тобой играть!

Она спрятала и карты. Черезъ часъ Евсей опять сидѣлъ уже на старомъ мѣстѣ, между столомъ и печкой.

— Господи, какой покой! — говорилъ онъ, то поджимая, то протягивая ноги:—то ли дѣло здѣсь! А у насъ, въ Петербургѣ, просто каторжное житье! Нѣтъ ли чего переку-

сить, Аграфена Ивановна? Съ послѣдней станціи ничего не ѣли.

— Ты еще не отсталъ отъ своей привычки? На! Видишь, какъ принялся; видно васъ тамъ не кормили совсѣмъ.

Александръ прошелъ по всѣмъ комнатамъ, потомъ по саду, останавливаясь у каждаго куста, у каждой скамьи. Ему сопутствовала мать. Она, вглядываясь въ его блѣдное лицо, вздыхала, но плакать боялась; ее напугалъ Антонъ Иванычъ. Она разспрашивала сына о житьѣ-бытьѣ, но никакъ не могла добиться причины, отчего онъ сталъ худъ, блѣденъ и куда дѣвались волосы. Она предлагала ему и покушать, и выпить, но онъ, отказавшись отъ всего, сказалъ, что усталъ съ дороги и хочетъ уснуть.

Анна Павловна посмотрѣла, хорошо ли постлана постель, побранила дѣвку, что жестко, заставила перестлать при себѣ и до тѣхъ поръ не ушла, пока Александръ улегся. Она вышла на цыпочкахъ, погрозила людямъ, чтобъ не смѣли говорить и дышать вслухъ, и ходили бы безъ сапогъ. Потомъ велѣла послать къ себѣ Евсея. Съ нимъ пришла и Аграфена. Евсей поклонился барынѣ въ ноги и поцѣловалъ у ней руку.

— Что это съ Сашенькою сдѣлалось?—спросила она грозно:—На кого онъ сталъ похожъ, а?

Евсей молчалъ.

— Что жъ ты молчишь?—сказала Аграфена:—слышишь, барыня тебя спрашиваетъ?

— Отчего онъ такъ похудѣлъ?—сказала Анна Павловна:—куда волоски-то у него дѣвались?

— Не могу знать, сударыня!—сказалъ Евсей:—барское дѣло!

— Не можешь знать! А что жъ ты смотрѣлъ?

Евсей не зналъ что̀ сказать и все молчалъ.

— Нашли кому повѣрить, сударыня!—промолвила Аграфена, глядя съ любовью на Евсея:—добро бы человѣку!

Что ты тамъ дѣлалъ? Говори-ка барынѣ! Вотъ ужо будетъ тебѣ!

— Я ли, сударыня, не усердствовалъ!—боязливо сказалъ Евсей, глядя то на барыню, то на Аграфену: — служилъ вѣрой и правдой, хоть извольте у Архипыча спросить...

— У какого Архипыча?

— У тамошняго дворника.

— Вишь вѣдь что̀ городитъ!—замѣтила Аграфена.—Что вы его, сударыня, слушаете! Запереть бы его въ хлѣвъ—вотъ и сталъ бы знать!

— Готовъ, не токмо что своимъ господамъ исполнять ихъ барскую волю,—продолжалъ Евсей:—хоть умереть сейчасъ! Я образъ сниму со стѣны...

— Всѣ вы хороши на словахъ!—сказала Анна Павловна:—а какъ дѣло дѣлать, такъ васъ тутъ нѣтъ! Видно хорошо смотрѣлъ за бариномъ: допустилъ до того, что онъ, голубчикъ мой, здоровье потерялъ! Смотрѣлъ ты! Вотъ ты увидишь у меня...

Она погрозила ему.

— Я ли не смотрѣлъ, сударыня? Въ восемь-то лѣтъ изъ барскаго бѣлья только одна рубашка пропала, а то у меня и изношенныя-то цѣлы.

— А куда она пропала? — гнѣвно спросила Анна Павловна.

— У прачки пропала. Я тогда докладывалъ Александру Ѳедорычу, чтобъ вычесть у ней, да они ничего не сказали.

— Видишь, мерзавка, — замѣтила Анна Павловна: — польстилась на хорошее-то бѣлье!

— Какъ не смотрѣть! — продолжалъ Евсей. — Дай Богъ всякому такъ свою должность справить. Они, бывало, еще почивать изволятъ, а я и въ булочную сбѣгаю...

— Какія онъ булки кушалъ?

— Бѣлыя-съ, хорошія.

— Знаю, что бѣлыя; да сдобныя?

— Этакой вѣдь столбъ!—сказала Аграфена:—и слова-то путемъ не умѣетъ молвить, а еще петербургскій!

— Никакъ нѣтъ-съ!—отвѣчалъ Евсей:—постныя.

— Постныя! Ахъ ты, злодѣй этакой! душегубецъ! разбойникъ! — сказала Анна Павловна, покраснѣвъ отъ гнѣва. — Ты это не догадался сдобныхъ-то булокъ покупать ему? а смотрѣлъ!

— Да они, сударыня, не приказывали...

— Не приказывали! Ему, голубчику моему, все равно, что̀ ни подложи—все скушаетъ. А тебѣ и этого въ голову не пришло? Ты развѣ забылъ, что онъ здѣсь кушалъ все сдобныя булки? Покупать постныя булки! Вѣрно, ты деньги-то въ другое мѣсто относилъ? Вотъ я тебя! Ну, что еще? говори...

— Послѣ, какъ откушаютъ чай,—продолжалъ Евсей, оробѣвъ: — въ должность пойдутъ, а я за сапоги: цѣлое утро чищу, все перечищу, иные раза по три; вечеромъ снимутъ—опять вычищу. Какъ, сударыня, не смотрѣлъ: да я ни у одного изъ господъ такихъ сапогъ не видывалъ. У Петра Иваныча хуже вычищены, даромъ что трое лакеевъ.

— Отчего же онъ такой? — сказала, нѣсколько смягчившись, Анна Павловна.

— Должно-быть, отъ писанья, сударыня.

— Много писалъ?

— Много-съ; каждый день.

— Что жъ онъ писалъ? бумаги, что ли, какія?

— Должно-быть, бумаги-съ.

— А ты что̀ не унималъ?

— Я унималъ, сударыня: «не сидите, молъ, говорю, Александръ Ѳедорычъ, извольте идти гулять: погода хорошая, много господъ гуляетъ. Что за писанье? грудку надсадите: маменька, молъ, гнѣваться станутъ...»

— А онъ что?

— «Пошелъ, говорятъ, вонъ: ты дуракъ!»

— И подлинно, дуракъ!—промолвила Аграфена.

Евсей взглянулъ при этомъ на нее, потомъ опять продолжалъ глядѣть на барыню.

— Ну, а дядя-то развѣ не унималъ? — спросила Анна Павловна.

— Куда, сударыня! придутъ, да коли застанутъ безъ дѣла, такъ и накинутся. «Что, говорятъ, ничего не дѣлаешь? Здѣсь, говорятъ, не деревня, надо работать, говорятъ, а не на боку лежать! Все, говорятъ, мечтаешь!» А то еще и выбранятъ...

— Какъ выбранятъ?

— «Провинція...» говорятъ... и пойдутъ, и пойдутъ... такъ бранятся, что иной разъ не слушалъ бы.

— Чтобъ ему пусто было!—сказала, плюнувъ, Анна Павловна. — Своихъ бы пострѣлятъ народилъ, да и ругалъ бы! Чѣмъ бы унять, а онъ... Господи, Боже мой, Царь милосердый!—воскликнула она:—на кого нынче надѣяться, коли и родные свои хуже дикаго звѣря? Собака, и та бережетъ своихъ щенятъ, а тутъ дядя извелъ родного племянника! А ты, дурачина этакой, не могъ дядюшкѣ-то сказать, чтобъ онъ не изволилъ такъ лаяться на барина, а отваливалъ бы прочь. Кричалъ бы на жену свою, мерзавку этакую! Видишь нашелъ кого ругать: «работай, работай!» Самъ бы околѣвалъ надъ работой! Собака, право собака, прости Господи! Холопа нашелъ работать!

За этимъ послѣдовало молчаніе.

— Давно ли Сашенька сталъ такъ худъ?—спросила она потомъ.

— Вотъ ужъ года три, — отвѣчалъ Евсей: — Александръ Ѳедорычъ стали больно скучать, и пищи мало принимали, вдругъ стали худѣть, худѣть, таяли словно свѣчка.

— Отчего же скучалъ-то?

— Богъ ихъ вѣдаетъ, сударыня. Петръ Иванычъ изво-

лили говорить имъ что-то объ этомъ; я-было послушалъ, да мудрено: не разобралъ.

— А что онъ говорилъ?

Евсей подумалъ съ минуту, стараясь, повидимому, что-то припомнить, и шевелилъ губами.

— Называли какъ-то они ихъ, да забылъ...

Анна Павловна и Аграфена смотрѣли на него и дожидались съ нетерпѣніемъ отвѣта.

— Ну?...—сказала Анна Павловна.

Евсей молчалъ.

— Ну же, разиня, молви что-нибудь, — прибавила Аграфена:—барыня дожидается.

— Ра... кажись, разочаро...ванный...— выговорилъ, наконецъ, Евсей.

Анна Павловна посмотрѣла съ недоумѣніемъ на Аграфену, Аграфена на Евсея, Евсей на нихъ обѣихъ, и всѣ молчали.

— Какъ?—спросила Анна Павловна.

— Разо... разочарованный, точно такъ-съ, вспомнилъ!— рѣшительнымъ голосомъ отвѣчалъ Евсей.

— Что это еще за напасть такая? Господи! болѣзнь, что ли?—спросила Анна Павловна съ тоской.

— Ахъ, да не испорченъ ли, значитъ, сударыня?—торопливо промолвила Аграфена.

Анна Павловна поблѣднѣла и плюнула.

— Чтобъ тебѣ типунъ на языкъ!—сказала она.—Ходилъ ли онъ въ церковь?

Евсей нѣсколько замялся.

— Нельзя сказать, сударыня, чтобъ больно ходили...— нерѣшительно отвѣчалъ онъ: — почти можно сказать, что и не ходили... тамъ господа, почесть, мало ходятъ въ церковь...

— Вотъ оно отчего! — сказала Анна Павловна со вздохомъ и перекрестилась.—Видно Богу не угодны были однѣ

мои молитвы. Сонъ-то и не лживъ: точно изъ омута вырвался, голубчикъ мой!

Тутъ пришелъ Антонъ Иванычъ.

— Обѣдъ простынетъ, Анна Павловна,—сказалъ онъ:—не пора ли будить Александра Ѳедорыча?

— Нѣтъ, нѣтъ, Боже сохрани! — отвѣчала она:—онъ не велѣлъ себя будить. «Кушайте, говоритъ, одни: у меня аппетиту нѣтъ; я лучше усну, говоритъ: сонъ подкрѣпитъ меня; развѣ вечеромъ захочу». Такъ вы вотъ что сдѣлайте, Антонъ Иванычъ: ужъ не прогнѣвайтесь на меня, старуху: я пойду затеплю лампадку, да помолюсь, пока Сашенька почиваетъ; мнѣ не до ѣды; а вы откушайте одни.

— Хорошо, матушка, хорошо, исполню: положитесь на меня.

— Да ужъ окажите благодѣяніе, — продолжала она:—вы нашъ другъ, такъ любите насъ, позовите Евсея и разспросите путемъ, отчего это Сашенька сталъ задумчивый и худой, и куда дѣлись его волоски? Вы мужчина: вамъ оно ловчѣе... не огорчили ли его тамъ? вѣдь есть этакіе злодѣи на свѣтѣ... все узнайте.

— Хорошо, матушка, хорошо: я допытаюсь, всю подноготную вывѣдаю. Пошлите-ка ко мнѣ Евсея, пока я буду обѣдать—все исполню.

— Здорово, Евсей!—сказалъ онъ, садясь за столъ и затыкая салфетку за галстукъ:—какъ поживаешь?

— Здравствуйте, сударь. Что наше за житье? плохое-съ. Вотъ вы такъ подобрѣли здѣсь.

Антонъ Иванычъ плюнулъ.

— Не сглазь, братъ: долго ли до грѣха?—прибавилъ онъ и началъ ѣсть щи.

— Ну, что вы тамъ, какъ?—спросилъ онъ.

— Да такъ-съ: не больно хорошо.

— Чай, провизія-то хорошая? Ты что ѣлъ?

— Что-съ? возьмешь въ лавочкѣ студени да холоднаго пирога—вотъ и обѣдъ!

— Какъ въ лавочкѣ? а своя-то печь?

— Дома не готовили. Тамъ холостые господа стола не держатъ.

— Что ты!—сказалъ Антонъ Иванычъ, положивъ ложку.

— Право-съ: и барину-то изъ трактира носили.

— Экое цыганское житье! а! не похудѣть! На-ка, выпей!

— Покорнѣйше васъ благодарю, сударь! за ваше здоровье!

Затѣмъ послѣдовало молчаніе. Антонъ Иванычъ ѣлъ.

— Почемъ тамъ огурцы?—спросилъ онъ, положивъ себѣ на тарелку огурецъ.

— Сорокъ копеекъ десятокъ.

— Полно?

— Ей-Богу-съ; да чего, сударь, срамъ сказать: иной разъ изъ Москвы соленые-то огурцы возятъ.

— Ахъ, ты Господи! ну! не похудѣть!

— Гдѣ тамъ этакаго огурца увидишь!—продолжалъ Евсей, указывая на одинъ огурецъ:—и во снѣ не увидишь! мелочь, дрянь; здѣсь и глядѣть бы не стали, а тамъ господа кушаютъ! Въ рѣдкомъ домѣ, сударь, хлѣбъ пекутъ. А этого тамъ, чтобы капусту запасать, солонину солить, грибы мочить—ничего въ заводѣ нѣтъ.

Антонъ Иванычъ покачалъ головой, но ничего не сказалъ, потому что ротъ у него былъ биткомъ набитъ.

— Какъ же?—спросилъ онъ, прожевавъ.

— Все въ лавочкѣ есть; а чего нѣтъ въ лавочкѣ, такъ тутъ же гдѣ-нибудь въ колбасной есть; а тамъ нѣтъ, такъ въ кондитерской; а ужъ чего въ кондитерской нѣтъ, такъ иди въ аглицкій магазинъ: у французовъ все есть!

Молчаніе.

— Ну, а почемъ поросята?—спросилъ Антонъ Иванычъ, взявши на тарелку почти полпоросенка.

— Не знаю-съ; не покупывали; что-то дорого, рубля два, кажись...

— Ай-ай-ай! не похудѣть! этакая дороговизна!

— Ихъ хорошіе-то господа мало и кушаютъ: все больше чиновники.

Опять молчаніе.

— Ну, такъ какъ же вы тамъ: плохо?—спросилъ Антонъ Иванычъ.

— И не дай Богъ, какъ плохо! Вотъ здѣсь квасъ-то какой, тамъ и пиво-то жиже; а отъ квасу такъ цѣлый день въ животѣ словно что кипитъ! Только хороша одна вакса: ужъ вакса, такъ и не наглядишься! и запахъ какой: такъ бы и съѣлъ.

— Что ты!

— Ей-Богу-съ.

Молчаніе.

— Ну, такъ какъ же?—спросилъ Антонъ Иванычъ, прожевавъ.

— Да такъ-съ.

— Плохо ѣли?

— Плохо. Александръ Ѳедорычъ кушали такъ, самую малость: совсѣмъ отвыкли отъ ѣды; за обѣдомъ и фунта хлѣба не скушаютъ.

— Не похудѣть!—сказалъ Антонъ Иванычъ. — Все отъ того, что дорого, что ли?

— И дорого-съ, да и обычая нѣтъ наѣдаться каждый день до-сыта. Господа кушаютъ словно украдкой, по одному разу въ день, и то коли успѣютъ, часу въ пятомъ, иной разъ въ шестомъ; а то такъ чего-нибудь перехватятъ, да тѣмъ и кончатъ. Это у нихъ послѣднее дѣло: сначала всѣ дѣла передѣлаютъ, а потомъ и кушать.

— Вотъ житье-то!—говорилъ Антонъ Иванычъ.—Не похудѣть! диво, какъ вы тамъ не умерли! И весь вѣкъ такъ?

— Нѣтъ-съ: по праздникамъ господа, какъ соберутся

иногда, такъ, не дай Богъ какъ ѣдятъ! Поѣдутъ въ какой-нибудь нѣмецкій трактиръ, да рублей сто, слышь, и проѣдятъ. А пьютъ что — Боже упаси! хуже нашего брата! Вотъ, бывало, у Петра Иваныча соберутся гости: сядутъ за столъ часу въ шестомъ, а встанутъ утромъ въ четвертомъ часу.

Антонъ Иванычъ вытаращилъ глаза.

— Что ты!—сказалъ онъ:—и все ѣдятъ?

— Все ѣдятъ!

— Хоть бы посмотрѣть: не по-нашему! Что же они ѣдятъ?

— Да что, сударь, не на что смотрѣть! Не узнаешь, что и ѣшь: нѣмцы накладутъ въ кушанье, Богъ знаетъ, чего: и въ ротъ-то взять не хочется. И перецъ-то у нихъ не такой; подливаютъ въ соусъ чего-то изъ заморскихъ склянокъ... Разъ угостилъ меня поваръ Петра Иваныча барскимъ кушаньемъ, такъ три дня тошнило. Смотрю, оливка въ кушаньѣ: думалъ, какъ и здѣсь оливка; раскусилъ — глядь: а тамъ рыбка маленькая; противно стало, выплюнулъ; взялъ другую—и тамъ тоже; да во всѣхъ... ахъ, вы, чтобъ васъ, проклятые!..

— Какъ же это они, нарочно кладутъ туда?

— Богъ ихъ вѣдаетъ! Я спрашивалъ: ребята смѣются, говорятъ: такъ, слышь, родятся. И что за кушанья? Сначала горячее подадутъ, какъ слѣдуетъ, съ пирогами, да только ужъ пироги: съ наперстокъ; возьмешь въ ротъ вдругъ штукъ шесть, хочешь пожевать, смотришь — ужъ тамъ ихъ и нѣтъ, и растаяли... Послѣ горячаго вдругъ чего-то сладкаго дадутъ, тамъ говядины, а тамъ мороженаго, а тамъ травы какой-то, а тамъ жаркое... и не ѣлъ бы!

— Такъ печь-то у васъ и не топилась? Ну, какъ не похудѣть!—промолвилъ Антонъ Иванычъ, вставая изъ-за стола.

«Благодарю тебя, Боже мой,—началъ онъ вслухъ, съ глубокимъ вздохомъ:—яко насытилъ мя еси небесныхъ благъ...

что я! замололся языкъ-то: земныхъ благъ, — и не лиши меня небеснаго твоего царствія».

— Убирайте со стола: господа не будутъ кушать. Къ вечеру приготовьте другого поросенка... или нѣтъ ли индѣйки? Александръ Ѳедорычъ любитъ индѣйку; онъ, чай, проголодается. А теперь принесите-ка мнѣ посвѣжѣе сѣнца въ свѣтелку: я вздохну часокъ-другой; тамъ къ чаю разбудите. Коли чуть тамъ Александръ Ѳедоровичъ зашевелится, такъ того... растолкайте меня.

Возставъ отъ сна, онъ пришелъ къ Аннѣ Павловнѣ.

— Ну, что, Антонъ Иванычъ?—спросила она.

— Ничего, матушка, покорно благодарю за хлѣбъ за соль... и уснулъ такъ сладко; сѣно такое свѣжее, душистое...

— На здоровье, Антонъ Иванычъ. Ну, а что говоритъ Евсей? Вы спрашивали?

— Какъ не спрашивать! Все вывѣдалъ: пустое! все поправится. Дѣло-то все выходитъ отъ того, что пища тамъ была, слышь, плоха?

— Пища?

— Да; судите сами: огурцы сорокъ копеекъ десятокъ, поросенокъ два рубля, а кушанье все кондитерское — и не наѣшься до-сыта. Какъ не похудѣть! Не безпокойтесь, матушка, мы его поставимъ здѣсь на ноги, вылѣчимъ. Вы велите-ка заготовить побольше настойки березовой; я дамъ рецептъ; мнѣ отъ Прокофья Астафьича достался; да утромъ и вечеромъ и давайте по рюмкѣ или по двѣ, и передъ обѣдомъ хорошо; можно со святой водой... у васъ есть?

— Есть, есть: вы же привезли.

— Да, вѣдь въ самомъ дѣлѣ я. Кушанья выбирайте пожирнѣе. Я ужъ къ ужину велѣлъ поросенка или индѣйку зажарить.

— Благодарствуйте, Антонъ Иванычъ.

— Не на чемъ, матушка! Не велѣть ли еще цыплятъ съ бѣлымъ соусомъ?

— Я велю...

— Зачѣмъ вамъ самимъ? а я-то на что? похлопочу... дайте мнѣ.

— Похлопочите, помогите, отецъ родной.

Онъ ушелъ, а она задумалась.

Женскій инстинктъ и сердце матери говорили ей, что не пища главная причина задумчивости Александра. Она стала искусно вывѣдывать намеками, стороной, но Александръ не понималъ этихъ намековъ и молчалъ. Такъ прошли недѣли двѣ-три. Поросятъ, цыплятъ и индѣекъ пошло на Антона Иваныча множество, а Александръ все былъ задумчивъ, худъ, и волосы не росли.

Тогда Анна Павловна рѣшилась поговорить съ нимъ напрямки.

— Послушай, другъ мой, Сашенька,—сказала она однажды:—вотъ ужъ съ мѣсяцъ, какъ ты живешь здѣсь, а я еще не видала, чтобъ ты улыбнулся хоть разъ: ходишь, словно туча, смотришь въ землю. Или тебѣ ничто не мило на родной сторонѣ? Видно на чужой милѣе; тоскуешь по ней, что ли? Сердце мое надрывается, глядя на тебя. Что съ тобой сталось? Разскажи ты мнѣ: чего тебѣ недостаетъ? я ничего не пожалѣю. Обидѣлъ ли кто тебя: я доберусь и до того.

— Не безпокойтесь, маменька, — сказалъ Александръ: — это такъ, ничего! я вошелъ въ лѣта, сталъ разсудительнѣе, оттого и задумчивъ...

— А худъ-то отчего? а волосы-то гдѣ?

— Я не могу разсказать... отчего, всего не перескажешь, что было въ восемь лѣтъ... можетъ-быть, и здоровье немного разстроилось...

— Что жъ у тебя болитъ?

— Болитъ и тутъ, и здѣсь. — Онъ указалъ на голову и сердце.

Анна Павловна дотронулась рукой до его лба.

— Жару нѣтъ, — сказала она. — Что жъ бы это такое было? стрѣляетъ, что ли, въ голову?

— Нѣтъ... такъ...

— Сашенька! пошлемъ за Иваномъ Андреичемъ.

— Кто это Иванъ Андреичъ?

— Новый лѣкарь; года два какъ пріѣхалъ. Дока такой, что чудо! Лѣкарствъ почти никакихъ не прописываетъ; самъ дѣлаетъ какія-то крохотныя зернышки—и помогаютъ. Вонъ у насъ Ѳома животомъ страдалъ; трое сутки рёвма-ревѣлъ: онъ далъ ему три зернышка, какъ рукой сняло! Полѣчись, голубчикъ!

— Нѣтъ, маменька, онъ не поможетъ мнѣ: это такъ пройдетъ.

— Да отчего же ты скучаешь? Что это за напасть такая?

— Такъ...

— Чего тебѣ хочется?

— И самъ не знаю; такъ скучаю.

— Экое диво, Господи!—сказала Анна Павловна. — Пища, ты говоришь, тебѣ нравится, удобства всѣ есть, и чинъ хорошій... чего бы, кажется? а скучаешь! Сашенька,— сказала она, помолчавъ, тихо:—не пора ли тебѣ... жениться?

— Что вы! нѣтъ, я не женюсь.

— А у меня есть на примѣтѣ дѣвушка—точно куколка: розовенькая, нѣженькая; такъ, кажется, изъ косточки въ косточку мозжечекъ и переливается. Талія такая тоненькая, стройная; училась въ городѣ, въ пансіонѣ. За ней семьдесятъ пять душъ да двадцать пять тысячъ деньгами, и приданое славное: въ Москвѣ дѣлали; и родня хорошая... А? Сашенька? Я ужъ съ матерью разъ за кофеемъ разговорилась, да шутя и забросила словечко: у ней кажется и ушки на макушкѣ отъ радости...

— Я не женюсь,— повторилъ Александръ.

— Какъ, никогда?

— Никогда.

— Господи помилуй! что жъ изъ этого будетъ? Всѣ люди, какъ люди, только ты одинъ, Богъ знаетъ, на кого похожъ! А мнѣ-то бы радость какая! привелъ бы Богъ поняньчить внучатъ. Право, женись на ней; ты ее полюбишь...

— Я не полюблю, маменька: я ужъ отлюбилъ.

— Какъ отлюбилъ, не женясь? Кого жъ ты любилъ тамъ?

— Дѣвушку.

— Что жъ не женился?

— Она измѣнила мнѣ.

— Какъ измѣнила? Вѣдь ты еще не былъ женатъ на ней?

Александръ молчалъ.

— Хороши же тамъ у васъ дѣвушки: до свадьбы любятъ! Измѣнила! мерзавка этакая! Счастье-то само просилось къ ней въ руки, да не умѣла цѣнить, негодница! Увидѣла бы я ее, я бы ей въ рожу наплевала. Чего дядя-то смотрѣлъ? Кого это она нашла лучше, посмотрѣла бы я?.. Что жъ, развѣ одна она? полюбишь въ другой разъ.

— Я и въ другой разъ любилъ.

— Кого же?

— Вдову.

— Ну, что жъ не женился?

— Той я самъ измѣнилъ.

Анна Павловна глядѣла на Александра и не знала что сказать.

— Измѣнилъ!.. — повторила она. — Видно безпутная какая-нибудь! — прибавила потомъ.— Подлинно омутъ, прости Господи: любятъ до свадьбы, безъ обряда церковнаго; измѣняютъ... Что это дѣлается на бѣломъ свѣтѣ, какъ поглядишь! Знать скоро свѣта преставленіе!.. Ну, скажи, не хочется ли тебѣ чего-нибудь? Можетъ-быть, пища тебѣ не по вкусу? Я изъ города повара выпишу...

— Нѣтъ, благодарю: все хорошо.

— Можетъ-быть, тебѣ скучно одному: я за сосѣдями пошлю.

— Нѣтъ, нѣтъ. Не тревожьтесь, маменька! мнѣ здѣсь покойно, хорошо, все пройдетъ... я еще не осмотрѣлся.

Вотъ и все, чего могла добиться Анна Павловна.

«Нѣтъ», думала она: «безъ Бога видно ни на шагъ». Она предложила Александру поѣхать съ ней къ обѣднѣ въ ближайшее село, но онъ проспалъ два раза, а будить она его не рѣшалась. Наконецъ она позвала его вечеромъ ко всенощной. — «Пожалуй»,— сказалъ Александръ, и они поѣхали. Мать вошла въ церковь и стала у самаго клироса, Александръ остался у дверей.

Солнце ужъ садилось и бросало косвенные лучи, которые то играли по золотымъ окладамъ иконъ, то освѣщали темные и суровые лики святыхъ, и уничтожали своимъ блескомъ слабое и робкое мерцаніе свѣчъ. Церковь была почти пуста; крестьяне были на работѣ въ полѣ; только въ углу у выхода тѣснилось нѣсколько старухъ, повязанныхъ бѣлыми платками. Иныя, пригорюнившись и опершись щекой на руку, сидѣли на каменной ступенькѣ придѣла и по временамъ испускали громкіе и тяжкіе вздохи, Богъ знаетъ, о грѣхахъ ли своихъ, или о домашнихъ дѣлахъ. Другіе, припавъ къ землѣ, долго лежали ницъ, молясь.

Свѣжій вѣтерокъ врывался сквозь чугунную рѣшётку въ окно и то приподнималъ ткань на престолѣ, то игралъ сѣдинами священника, или перевертывалъ листъ книги и тушилъ свѣчу. Шаги священника и дьячка громко раздавались по каменному полу въ пустой церкви; голоса ихъ уныло разносились по сводамъ. Вверху, въ куполѣ, звучно кричали галки и чирикали воробьи, перелетавшіе отъ одного окна къ другому, и шумъ крыльевъ ихъ и звонъ колоколовъ заглушали иногда службу...

«Пока въ человѣкѣ кипятъ жизненныя силы», думалъ Александръ: «пока играютъ желанія и страсти, онъ занятъ чувственно, онъ бѣжитъ того успокоительнаго, важнаго и торжественнаго созерцанія, къ которому ведетъ религія...

онъ приходитъ искать утѣшенія въ ней съ угасшими, растраченными силами, съ сокрушенными надеждами, съ бременемъ лѣтъ...»

Мало-по-малу, при видѣ знакомыхъ предметовъ, въ душѣ Александра пробуждались воспоминанія. Онъ мысленно пробѣжалъ свое дѣтство и юношество до поѣздки въ Петербургъ; вспомнилъ, какъ, будучи ребенкомъ, онъ повторялъ за матерью молитвы, какъ она твердила ему объ ангелѣ-хранителѣ, который стоитъ на стражѣ души человѣческой и вѣчно враждуетъ съ нечистымъ; какъ она, указывая ему на звѣзды, говорила, что это очи Божіихъ ангеловъ, которые смотрятъ на міръ и считаютъ добрыя и злыя дѣла людей; какъ небожители плачутъ, когда въ итогѣ окажется больше злыхъ, нежели добрыхъ дѣлъ, и какъ радуются, когда добрыя дѣла превышаютъ злыя. Показывая на синеву дальняго горизонта, она говорила, что это Сіонъ... Александръ вздохнулъ, очнувшись отъ этихъ воспоминаній.

«Ахъ! если бъ я могъ еще вѣрить въ это!» думалъ онъ «Младенческія вѣрованія утрачены, а что я узналъ новаго. вѣрнаго?.. ничего: я нашелъ сомнѣнія, толки, теоріи... и отъ истины еще дальше прежняго... Къ чему этотъ расколъ, это умничанье?.. Боже!.. когда теплота вѣры не грѣетъ сердца, развѣ можно быть счастливымъ? Счастливѣе ли я?»

Всенощная кончилась. Александръ пріѣхалъ домой еще скучнѣе, нежели поѣхалъ. Анна Павловна не знала, что и дѣлать. Однажды онъ проснулся ранѣе обыкновеннаго и услыхалъ шорохъ за своимъ изголовьемъ. Онъ оглянулся: какая-то старуха стоитъ надъ нимъ и шепчетъ. Она тотчасъ исчезла, какъ скоро увидѣла, что ее замѣтили. Подъ подушкой у себя Александръ нашелъ какую-то траву; на шеѣ у него висѣла ладонка.

— Что это значитъ?—спросилъ Александръ у матери:— что за старуха была у меня въ комнатѣ?

Анна Павловна смутилась.

— Это... Никитишна,—сказала она.

— Какая Никитишна?

— Она, вотъ видишь, мой другъ... ты не разсердишься?

— Да что такое? скажите.

— Она... говорятъ, многимъ помогаетъ... Она только пошепчетъ на воду, да подышитъ на спящаго человѣка—все и пройдетъ.

— Въ третьемъ году, ко вдовѣ Сидорихѣ, — примолвила Аграфена: — леталъ по ночамъ огненный змѣй въ трубу...

Тутъ Анна Павловна плюнула.

— Никитишна,—продолжала Аграфена:—заговорила змѣя: пересталъ летать...

— Ну, а Сидориха что?—спросилъ Александръ.

— Родила: ребенокъ былъ такой худой да чёрный! на третій день умеръ.

Александръ засмѣялся, можетъ-быть, въ первый разъ послѣ пріѣзда въ деревню.

— Откуда вы ее взяли?—спросилъ онъ.

— Антонъ Иванычъ привезъ,—отвѣчала Анна Павловна.

— Охота вамъ слушать этого дурака!

— Дурака! Ахъ, Сашенька, что ты это? не грѣхъ ли? Антонъ Иванычъ дуракъ! Какъ это у тебя языкъ-то поворотился? Антонъ Иванычъ—благодѣтель, другъ нашъ!

— Вотъ возьмите, маменька, ладонку и отдайте ее нашему другу и благодѣтелю: пусть онъ повѣситъ ее себѣ на шею.

Съ тѣхъ поръ онъ сталъ запираться на ночь.

Прошло два-три мѣсяца. Мало-по-малу уединеніе, тишина, домашняя жизнь и всѣ сопряженныя съ нею матеріальныя блага помогли Александру войти въ тѣло. А лѣнь, беззаботность и отсутствіе всякаго нравственнаго потрясенія водворили въ душѣ его миръ, котораго Александръ

напрасно искалъ въ Петербургѣ. Тамъ, бѣжавши отъ міра идей, искусствъ, заключенный въ каменныхъ стѣнахъ, онъ хотѣлъ заснуть сномъ крота, но его безпрестанно пробуждали волненія зависти и безсильныя желанія. Всякое явленіе въ мірѣ науки и искусства, всякая новая знаменитость будили въ немъ вопросъ: «почему это не я, зачѣмъ не я?» Тамъ на каждомъ шагу онъ встрѣчалъ въ людяхъ невыгодныя для себя сравненія... тамъ онъ такъ часто падалъ, тамъ увидалъ, какъ въ зеркалѣ, свои слабости... тамъ былъ неумолимый дядя, преслѣдовавшій его образъ мыслей, лѣнь и ни на чемъ не основанное славолюбіе; тамъ изящный міръ и куча дарованій, между которыми онъ не игралъ никакой роли. Наконецъ, тамъ жизнь стараются подвести подъ извѣстныя условія, прояснить ея темныя и загадочныя мѣста, не давая разгула чувствамъ, страстямъ и мечтамъ, и тѣмъ лишая ее поэтической заманчивости, хотятъ издать для нея какую-то скучную, сухую, однообразную и тяжелую форму...

А здѣсь какое приволье! Онъ лучше, умнѣе всѣхъ! Здѣсь онъ всеобщій идолъ на нѣсколько верстъ кругомъ. Притомъ, здѣсь на каждомъ шагу, передъ лицомъ природы, душа его отверзалась мирнымъ, успокоительнымъ впечатлѣніямъ. Говоръ струй, шепотъ листьевъ, прохлада, и подчасъ самое молчаніе природы — все рождало думу, будило чувство. Въ саду, въ полѣ, дома, его посѣщали воспоминанія дѣтства и юности. Анна Павловна, сидя иногда подлѣ него, какъ будто угадывала его мысли. Она помогала ему возобновлять въ памяти дорогія сердцу мелочи изъ жизни, или разсказывала то, чего онъ вовсе не помнилъ.

— Вотъ эти липы,—говорила она, указывая на садъ: — сажалъ твой отецъ. Я была беременна тобой. Сижу, бывало, здѣсь на балконѣ, да смотрю на него. Онъ поработаетъ, поработаетъ да взглянетъ на меня, а потъ такъ градомъ и

льетъ съ него. «А! ты тутъ? молвитъ:—то-то мнѣ такъ весело работать!» и опять примется. А вонъ лужокъ, гдѣ ты игралъ, бывало, съ ребятишками; такой сердитый былъ: чуть что не по тебѣ—и закричишь благимъ матомъ. Однажды Агашка—вотъ что теперь за Кузьмой; его третья изба отъ околицы—толкнула какъ-то тебя, да носъ до крови и расшиби: отецъ поролъ, поролъ ее, я насилу умолила.

Александръ мысленно дополнялъ эти воспоминанія другими: «Вонъ на этой скамьѣ, подъ деревомъ», думалъ онъ: «я сиживалъ съ Софьей и былъ счастливъ тогда. А вонъ тамъ, между двухъ кустовъ сирени, получилъ отъ нея первый поцѣлуй...» И все это было передъ глазами. Онъ улыбался этимъ воспоминаніямъ и просиживалъ по цѣлымъ часамъ на балконѣ, встрѣчая или провожая солнце, прислушиваясь къ пѣнію птицъ, къ плеску озера и къ жужжанью невидимыхъ насѣкомыхъ.

«Боже мой! какъ здѣсь хорошо! — говорилъ онъ подъ вліяніемъ этихъ кроткихъ впечатлѣній: — вдали отъ суеты, отъ этой мелочной жизни, отъ того муравейника, гдѣ люди...

...въ кучахъ за оградой,
Не дышатъ утренней прохладой,
Ни вешнимъ запахомъ луговъ.

«Какъ устаешь тамъ жить и какъ отдыхаешь душой здѣсь, въ этой простой, не сложной, не мудреной жизни! Сердце обновляется, грудь дышитъ свободнѣе, а умъ не терзается мучительными думами и нескончаемымъ разборомъ тяжебныхъ дѣлъ съ сердцемъ: и то, и другое въ ладу. Не надъ чѣмъ задумываться. Беззаботно, безъ тягостной мысли, съ дремлющимъ сердцемъ и умомъ и съ легкимъ трепетомъ скользишь взглядомъ отъ рощи къ пашнѣ, отъ пашни къ холму, и потомъ погружаешь его въ бездонную синеву неба».

Иногда онъ переходилъ къ окну, выходившему на дворъ и на улицу въ село. Тамъ другая картина, картина тенье-

ровская, полная хлопотливой, семейной жизни. Барбосъ отъ зноя растянется у конуры, положивъ морду на лапы. Десятки куръ встрѣчаютъ утро, кудахтая взапуски; пѣтухи дерутся. По улицѣ гонятъ стадо въ поле. Иногда одна, отставшая отъ стада, корова тоскливо мычитъ, стоя среди улицы и оглядываясь во всѣ стороны. Мужики и бабы, съ граблями и косами на плечахъ, идутъ на работу. Вѣтеръ по временамъ выхватитъ изъ ихъ говора два-три слова и донесетъ до окна. Тамъ крестьянская телѣга съ громомъ проѣдетъ по мостику, за ней лѣниво проползетъ возъ съ сѣномъ. Бѣлокурые и жестковолосые ребятишки, поднявъ рубашонки, бродятъ по лужамъ. Глядя на эту картину, Александръ началъ постигать поэзію *сѣренькаго неба, сломаннаго забора, калитки, грязнаго пруда* и *трепака*. Узкій щегольской фракъ онъ замѣнилъ широкимъ халатомъ домашней работы. И въ каждомъ явленіи этой мирной жизни, въ каждомъ впечатлѣніи и утра, и вечера, и трапезы, и отдыха, присутствовало недремлющее око материнской любви.

Она не могла нарадоваться, глядя, какъ Александръ полнѣлъ, какъ на щеки его возвращался румянецъ, какъ глаза оживлялись мирнымъ блескомъ. «Только волоски не растутъ,— говорила она:—а были какъ шёлкъ».

Александръ часто гулялъ по окрестностямъ. Однажды онъ встрѣтилъ толпу бабъ и дѣвокъ, шедшихъ въ лѣсъ за грибами, присоединился къ нимъ и проходилъ цѣлый день. Воротясь домой, онъ похвалилъ дѣвушку Машу за проворство и ловкость, и Маша взята была во дворъ *ходить за барином*. Ѣздилъ онъ иногда смотрѣть полевыя работы и на опытѣ узнавалъ то, о чемъ часто писалъ и переводилъ для журнала. «Какъ мы часто врали тамъ...» думалъ онъ, качая головой, и сталъ вникать въ дѣло глубже и пристальнѣе...

Однажды, въ ненастную погоду, попробовалъ онъ за-

няться дѣломъ, сѣлъ писать и остался доволенъ началомъ труда. Понадобилась для справокъ какая-то книга: онъ написалъ въ Петербургъ, книгу выслали. Онъ занялся не шутя. Выписалъ еще книгъ. Напрасно Анна Павловна пустилась уговаривать его не писать, чтобы не *надсадилъ грудку*: онъ и слушать не хотѣлъ. Она подослала Антона Иваныча. Александръ не послушалъ и его и все писалъ. Когда прошло мѣсяца три-четыре, а онъ отъ писанья не только не похудѣлъ, а растолстѣлъ больше, Анна Павловна успокоилась.

Такъ прошло года полтора. Все бы хорошо, но Александръ, къ концу этого срока, сталъ опять задумываться. Желаній у него не было никакихъ, а какія и были, такъ ихъ не мудрено было удовлетворить: они не выходили изъ предѣловъ семейной жизни. Ничто его не тревожило: ни забота, ни сомнѣніе, а онъ скучалъ! Ему мало-по-малу надоѣлъ тѣсный домашній кругъ; угожденія матери стали докучны, а Антонъ Иванычъ опротивѣлъ; надоѣлъ и трудъ, и природа не плѣняла его.

Онъ сиживалъ молчаливо у окна и уже равнодушно глядѣлъ на отцовскія липы, съ досадой слушалъ плескъ озера. Онъ началъ размышлять о причинѣ этой новой тоски, и открылъ, что ему было скучно — по Петербургу!? Удалясь отъ минувшаго, онъ началъ жалѣть о немъ. Кровь еще кипѣла въ немъ, сердце билось, душа и тѣло просили дѣятельности... Опять задача. Боже мой! онъ чуть не заплакалъ отъ этого открытія. Онъ думалъ, что эта скука пройдетъ, что онъ приживется въ деревнѣ, привыкнетъ — нѣтъ: чѣмъ дольше онъ жилъ тамъ, тѣмъ сердце пуще ныло и опять просилось въ омутъ, теперь уже знакомый ему.

Онъ помирился съ прошедшимъ: оно стало ему мило. Ненависть, мрачный взглядъ, угрюмость, нелюдимость смягчились уединеніемъ, размышленіемъ. Минувшее предстало ему въ очищенномъ свѣтѣ, и сама измѣнница-Наденька—

чуть не въ лучахъ. «И что я здѣсь дѣлаю?—съ досадой говорилъ онъ: — за что вяну? Зачѣмъ гаснутъ мои дарованія? Почему мнѣ не блистать тамъ своимъ трудомъ?.. Теперь я сталъ разсудительнѣе. Чѣмъ дядюшка лучше меня? Развѣ я не могу отыскать себѣ дороги? Ну, не удалось до сихъ поръ, не за свое брался—что жъ? опомнился теперь: пора, пора! Но какъ огорчитъ мой отъѣздъ матушку! А между тѣмъ необходимо ѣхать: нельзя же погибнуть здѣсь! Тамъ тотъ и другой—всѣ вышли въ люди... А моя карьера, а фортуна?.. я только одинъ отсталъ... да за что же? да почему же?» Онъ метался отъ тоски и не зналъ, какъ сказать матери о намѣреніи ѣхать.

Но мать вскорѣ избавила его отъ этого труда: она умерла.

Вотъ, наконецъ, что̀ писалъ онъ къ дядѣ и теткѣ въ Петербургъ. Къ теткѣ:

«Передъ моимъ отъѣздомъ изъ Петербурга, вы, ma tante, со слезами на глазахъ напутствовали меня драгоцѣнными словами, которыя врѣзались въ моей памяти. Вы сказали: «если когда-нибудь мнѣ нужна будетъ теплая дружба, искреннее участіе, то въ вашемъ сердцѣ всегда останется уголокъ для меня». Настала минута, когда я понялъ всю цѣну этихъ словъ. Въ правахъ, которыя вы мнѣ такъ великодушно дали надъ вашимъ сердцемъ, заключается для меня залогъ мира, тишины, утѣшенія, спокойствія, можетъ-быть, счастья всей моей жизни. Мѣсяца три назадъ, скончалась матушка: больше не прибавлю ни слова. Вы по письмамъ ея знаете, что̀ она была для меня, и поймете, чего я лишился въ ней... Я теперь бѣгу отсюда навсегда. Но куда, одинокій странникъ, направилъ бы я путь свой, какъ не въ тѣ мѣста, гдѣ вы?.. Скажите одно слово: найду ли я въ васъ то, что̀ оставилъ года полтора назадъ? Не изгнали ли вы меня изъ памяти? Согласитесь ли вы на скучную обязанность исцѣлить вашею дружбою, которая уже не разъ спасала меня отъ горя, новую и глубокую рану? Всю на-

дежду возлагаю на васъ и другую, могучую союзницу— дѣятельность.

«Вы удивляетесь — неправда ли? Вамъ странно слышать отъ меня это? читать эти строки, писанныя въ покойномъ, несвойственномъ мнѣ тонѣ? Не удивляйтесь и не бойтесь моего возвращенія: къ вамъ пріѣдетъ не сумасбродъ, не мечтатель, не разочарованный, не провинціалъ, а просто человѣкъ, какихъ въ Петербургѣ много и какимъ бы давно мнѣ пора быть. Предупредите особенно дядюшку на этотъ счетъ. Когда посмотрю на прошлую жизнь, мнѣ становится неловко, стыдно и другихъ, и самого себя. Но иначе и быть не могло. Вотъ когда только очнулся — въ тридцать лѣтъ! Тяжкая школа, пройденная въ Петербургѣ, и размышленіе въ деревнѣ прояснили мнѣ вполнѣ судьбу мою. Удалясь на почтительное разстояніе отъ уроковъ дядюшки и собственнаго опыта, я уразумѣлъ ихъ здѣсь, въ тишинѣ, яснѣе, и вижу, къ чему бы они давно должны были повести меня, вижу какъ жалко и неразумно уклонялся я отъ прямой цѣли. Я теперь покоенъ: не терзаюсь, не мучусь, но не хвастаюсь этимъ; можетъ-быть, это спокойствіе проистекаетъ пока изъ эгоизма; чувствую, впрочемъ, что скоро взглядъ мой на жизнь уяснится до того, что я открою другой источникъ спокойствія — чище. Теперь я еще не могу не жалѣть, что я уже дошелъ до того рубежа, гдѣ— увы! кончается молодость и начинается пора размышленій, повѣрка и разборка всякаго волненія, пора сознанія.

«Хотя, можетъ-быть, мнѣніе мое о людяхъ и жизни измѣнилось и немного, но много надеждъ улетѣло, много миновалось желаній, словомъ, иллюзіи утрачены; слѣдовательно, не во многомъ и не во многихъ ужъ придется ошибиться и обмануться, а это очень утѣшительно съ одной стороны! И вотъ я смотрю яснѣе впередъ: самое тяжелое позади; волненія не страшны, потому что ихъ осталось немного; главнѣйшія пройдены, и я благословляю ихъ. Стыжусь

вспомнить, какъ я, воображая себя страдальцемъ, проклиналъ свой жребій, жизнь. Проклиналъ! какое жалкое ребячество и неблагодарность! Какъ я поздно увидѣлъ, что страданія очищаютъ душу, что они одни дѣлаютъ человѣка сноснымъ и себѣ, и другимъ, возвышаютъ его... Признаю теперь, что не быть причастнымъ страданіямъ, значитъ не быть причастнымъ всей полнотѣ жизни: въ нихъ много важныхъ условій, которыхъ разрѣшенія мы здѣсь, можетъ-быть, и не дождемся. Я вижу въ этихъ волненіяхъ руку Промысла, который, кажется, задаетъ человѣку нескончаемую задачу — стремиться впередъ, достигать свыше предназначенной цѣли, при ежеминутной борьбѣ съ обманчивыми надеждами, съ мучительными преградами. Да, вижу, какъ необходима эта борьба и волненія для жизни, какъ жизнь безъ нихъ была бы не жизнь, а застой, сонъ... Кончается борьба, смотришь — кончается и жизнь; человѣкъ былъ занятъ, любилъ, наслаждался, страдалъ, волновался, сдѣлалъ свое дѣло и, слѣдовательно, жилъ!

«Видите ли, какъ я разсуждаю: я вышелъ изъ тьмы— и вижу, что все, прожитое мною до сихъ поръ, было какимъ-то труднымъ приготовленіемъ къ настоящему пути, мудреною наукою для жизни. Что-то говоритъ мнѣ, что остальной путь будетъ легче, тише, понятнѣе... Темныя мѣста освѣтились, мудреные узлы развязались сами собою; жизнь начинаетъ казаться благомъ, а не зломъ. Скоро скажу опять: какъ хороша жизнь! но скажу, не какъ юноша, упоенный минутнымъ наслажденіемъ, а съ полнымъ сознаніемъ ея истинныхъ наслажденій и горечи. Затѣмъ и не страшна и смерть: она не представляется пугаломъ, а прекраснымъ опытомъ. И теперь уже въ душу вѣетъ невѣдомое спокойствіе: ребяческихъ досадъ, вспышекъ уколотаго самолюбія, дѣтской раздражительности и комическаго гнѣва на міръ и людей, похожаго на гнѣвъ моськи на слона—какъ не бывало.

«Я сдружился опять, съ чѣмъ давно раздружился—съ людьми, которые, мимоходомъ замѣчу, и здѣсь тѣ же, какъ въ Петербургѣ, только пожестче, погрубѣе, посмѣшнѣе. Но я не сержусь на нихъ и здѣсь, а тамъ и подавно не стану сердиться. Вотъ вамъ образчикъ моей кротости: къ намъ ѣздитъ чудакъ Антонъ Иванычъ гостить, дѣлить, будто бы, мое горе; завтра онъ поѣдетъ на свадьбу къ сосѣду—дѣлить радость, а тамъ къ кому-нибудь — исправлять должность повивальной бабки. Но ни горе, ни радость не мѣшаютъ ему у всѣхъ ѣсть раза по четыре въ день. Я вижу, что ему все равно: умеръ ли, или родился, или женился человѣкъ, и мнѣ не противно смотрѣть на него, не досадно... я терплю его, не выгоняю... Добрый признакъ—не правда ли, ma tante? Что вы скажете, прочтя это похвальное слово самому себѣ?»

Къ дядѣ:

«Любезнѣйшій, добрѣйшій дядюшка и, вмѣстѣ съ тѣмъ, ваше превосходительство!

«Съ какою радостью узналъ я, что и карьера ваша совершена достохвально; съ фортуною вы ужъ поладили давно! Вы дѣйствительный статскій совѣтникъ, вы — директоръ канцеляріи! Осмѣлюсь ли напомнить вашему превосходительству обѣщаніе, данное мнѣ при отъѣздѣ: «когда понадобятся служба, занятія, или деньги, обратись ко мнѣ!» говорили вы. И вотъ мнѣ понадобились, и служба, и занятія; понадобятся, конечно, и деньги. Бѣдный провинціалъ осмѣливается просить мѣста и работы. Какая участь ожидаетъ мою просьбу? Не такая ли, какая постигла нѣкогда письмо Заѣзжалова, который просилъ похлопотать о своемъ дѣлѣ?.. Что касается *творчества*, о которомъ вы имѣли жестокость упомянуть въ одномъ изъ вашихъ писемъ, то... не грѣхъ ли вамъ тревожить давно забытыя глупости, когда я самъ краснѣю за нихъ?.. Эхъ, дядюшка, эхъ, ваше превосходительство! Кто жъ не былъ молодъ и отчасти глупъ?

У кого не было какой-нибудь странной, такъ-называемой *завѣтной* мечты, которой никогда не суждено сбываться? Вотъ мой сосѣдъ, справа, воображалъ себя героемъ, исполиномъ — ловцомъ предъ Господомъ... онъ хотѣлъ изумить міръ своими подвигами... и кончилось тѣмъ, что онъ вышелъ прапорщикомъ въ отставку, не бывши на войнѣ, и мирно разводитъ картофель и сѣетъ рѣпу. Другой, слѣва, мечталъ по-своему передѣлать весь свѣтъ и Россію, а самъ, пописавъ нѣкоторое время бумаги въ палатѣ, удалился сюда и до сихъ поръ не можетъ передѣлать стараго забора. Я думалъ, что въ меня вложенъ свыше творческій даръ, и хотѣлъ повѣдать міру новыя, невѣдомыя тайны, не подозрѣвая, что это уже не тайны и что я не пророкъ. Всѣ мы смѣшны; но скажите, кто, не краснѣя за себя, рѣшится заклеймить позорною бранью эти юношескія, благородныя, пылкія, хоть и не совсѣмъ умѣренныя мечты? Кто не питалъ, въ свою очередь, безплоднаго желанія, не ставилъ себя героемъ доблестнаго подвига, торжественной пѣсни, громкаго повѣствованія? Чье воображеніе не уносилось къ баснословнымъ, героическимъ временамъ? Кто не плакалъ, сочувствуя высокому и прекрасному? Если найдется такой человѣкъ, пусть онъ броситъ камень въ меня — я ему не завидую. Я краснѣю за свои юношескія мечты, ну что ихъ: онѣ залогъ чистоты сердца, признакъ души благородной, расположенной къ добру.

«Васъ, я знаю, не убѣдятъ эти доводы: вамъ нуженъ доводъ положительный, практическій; извольте, вотъ онъ: скажите, какъ узнавались и обрабатывались бы дарованія, если бъ молодые люди подавляли въ себѣ эти раннія склонности, если бъ не давали воли и простора мечтамъ своимъ, а слѣдовали рабски указанному направленію, не пробуя силъ? Наконецъ, не есть ли это общій законъ природы, что молодость должна быть тревожна, кипуча, иногда сумасбродна, глупа, и что у всякаго мечты современемъ уля-

гутся, какъ улеглись теперь у меня? А ваша собственная молодость развѣ чужда этихъ грѣховъ? Вспомните, порой-тесь въ памяти. Вижу отсюда, какъ вы, съ вашимъ покойнымъ, никогда не смущающимся взоромъ, качаете головой и говорите: нѣтъ ничего! Позвольте же уличить васъ, напримѣръ, хоть въ любви... отрекаетесь? не отречетесь: улика у меня въ рукахъ... Вспомните, что я могъ изслѣдовать дѣло на мѣстѣ дѣйствія. Театръ вашихъ любовныхъ похожденій передъ моими глазами — это озеро. На немъ еще растутъ желтые цвѣты; одинъ, высушивъ надлежащимъ образомъ, честь имѣю препроводить при семъ къ вашему превосходительству, для сладкаго воспоминанія. Но есть страшнѣе оружіе противъ вашихъ гоненій на любовь вообще, и на мою въ особенности—это документъ... Вы хмуритесь? и какой документъ!!! поблѣднѣли? Я похитилъ эту драгоцѣнную ветхость у тетушки, съ не менѣе ветхой груди, и везу съ собой, какъ вѣчную улику противъ васъ и какъ защиту себѣ. Трепещите, дядюшка! Мало того, я въ подробности знаю всю исторію вашей любви: тетушка разсказываетъ мнѣ каждый день, за утреннимъ чаемъ, и за ужиномъ, на сонъ грядущій, по интересному факту, а я вношу всѣ эти драгоцѣнные матеріалы въ особый мемуаръ. Я не премину вручить его вамъ лично, вмѣстѣ съ моими трудами по части сельскаго хозяйства, которыми занимаюсь здѣсь уже съ годъ. Я, съ своей стороны, долгомъ считаю увѣрять тетушку въ неизмѣнности вашихъ къ ней *чувствованій*, какъ она говоритъ. Когда удостоюсь получить отъ вашего превосходительства благопріятный, по моей просьбѣ, отвѣтъ, то буду имѣть честь явиться къ вамъ, съ приношеніемъ сушеной малины и меду, и съ представленіемъ нѣсколькихъ писемъ, которыми обѣщаютъ меня снабдить сосѣди, по своимъ надобностямъ, кромѣ Заѣзжалова, умершаго до окончанія своего процесса».

ЭПИЛОГЪ.

Вотъ что, спустя года четыре, послѣ вторичнаго пріѣзда Александра въ Петербургъ, происходило съ главными дѣйствующими лицами этого романа.

Въ одно утро Петръ Иванычъ ходилъ взадъ и впередъ по своему кабинету. Это уже былъ не прежній бодрый, полный и стройный Петръ Иванычъ, всегда съ одинаково покойнымъ взоромъ, съ гордо поднятою головою и прямымъ станомъ. Отъ лѣтъ ли, отъ обстоятельствъ ли, но онъ какъ будто опустился. Движенія его были не такъ бодры, взглядъ не такъ твердъ и самоувѣренъ. Въ бакенбардахъ и вискахъ свѣтилось много сѣдыхъ волосъ. Видно было, что онъ отпраздновалъ пятидесятилѣтній юбилей своей жизни. Онъ ходилъ немного сгорбившись. Особенно странно было видѣть на лицѣ этого безстрастнаго и покойнаго человѣка — какимъ мы его до сихъ поръ знали—болѣе нежели заботливое, почти тоскливое выраженіе, хотя оно и имѣло свойственный Петру Иванычу характеръ.

Онъ какъ будто былъ въ недоумѣніи. Онъ дѣлалъ шага два и вдругъ останавливался посреди комнаты, или скорыми шагами отмѣривалъ два-три конца отъ одного конца до другого. Казалось, его посѣтила непривычная дума.

На креслѣ близъ стола сидѣлъ невысокаго роста, полный человѣкъ, съ крестомъ на шеѣ, въ застегнутомъ наглухо фракѣ, положивъ одну ногу на другую. Недоставало только

въ рукахъ трости съ большимъ золотымъ набалдашникомъ, той классической трости, по которой читатель, бывало, сейчасъ узнавалъ доктора въ романахъ и повѣстяхъ. Можетъ-быть, доктору и пристала эта булава, съ которою онъ, отъ нечего дѣлать, прогуливается пѣшкомъ и по цѣлымъ часамъ просиживаетъ у больныхъ, утѣшаетъ ихъ и часто въ лицѣ своемъ соединяетъ двѣ-три роли: медика, практическаго философа, друга дома и т. п. Но все это хорошо тамъ, гдѣ живутъ на раздольи, на просторѣ, болѣютъ рѣдко и гдѣ докторъ — больше роскошь, чѣмъ необходимость. А докторъ Петра Иваныча былъ петербургскій докторъ. Онъ не зналъ, что значитъ ходить пѣшкомъ, хотя и предписывалъ больнымъ моціонъ. Онъ членъ какого-то совѣта, секретарь какого-то общества, и профессоръ, и врачъ нѣсколькихъ казенныхъ заведеній, и врачъ для бѣдныхъ, и непремѣнный посѣтитель всѣхъ консультацій; у него и огромная практика. Онъ не снимаетъ даже перчатки съ лѣвой руки, не снималъ бы и съ правой, если бъ не надо было щупать пульса; не разстегиваетъ никогда фрака и почти не садится. Докторъ ужъ не разъ перекладывалъ, отъ нетерпѣнія, то лѣвую ногу на правую, то правую на лѣвую. Ему давно пора ѣхать, а Петръ Иванычъ все ничего не говоритъ. Наконецъ.

— Что дѣлать, докторъ? — спросилъ Петръ Иванычъ, вдругъ остановясь передъ нимъ.

— Ѣхать въ Киссингенъ, — отвѣчалъ докторъ: — одно средство. У васъ припадки стали повторяться слишкомъ часто...

— Э! вы все обо мнѣ! — перебилъ Петръ Иванычъ: — я вамъ говорю о женѣ. Мнѣ за пятьдесятъ лѣтъ, а она въ цвѣтущей порѣ, ей надо жить; и если здоровье ея начинаетъ угасать съ этихъ поръ...

— Вотъ ужъ и угасать! — замѣтилъ докторъ. — Я сообщилъ вамъ только свои опасенія на будущее время, а те-

перь еще нѣтъ ничего... Я только хотѣлъ сказать, что здоровье ея... или не здоровье, а такъ она... какъ будто не въ нормальномъ положеніи.

— Не все ли равно? Вы вскользь сдѣлали ваше замѣчаніе, да и забыли, а я съ тѣхъ поръ слѣжу за ней пристально и съ каждымъ днемъ открываю въ ней новыя, неутѣшительныя перемѣны — и вотъ три мѣсяца не знаю покоя. Какъ я прежде не видалъ—не понимаю! Должность и дѣла отнимаютъ у меня и время, и здоровье... а вотъ теперь, пожалуй, и жену.

Онъ опять пустился шагать по комнатѣ.

— Вы сегодня разспрашивали ее? — спросилъ онъ помолчавъ.

— Да; но она ничего въ себѣ не замѣчаетъ. Я сначала предполагалъ физіологическую причину: у нея не было дѣтей... но, кажется, нѣтъ! Можетъ-быть причина чисто-психологическая...

— Еще легче!—замѣтилъ Петръ Иванычъ.

— А можетъ-быть и ничего нѣтъ. Подозрительныхъ симптомовъ рѣшительно никакихъ! Это такъ... вы засидѣлись слишкомъ долго здѣсь, въ этомъ болотистомъ климатѣ. Ступайте на югъ: освѣжитесь, наберитесь новыхъ впечатлѣній и посмотрите, что будетъ. Лѣто проживите въ Киссингенѣ, возьмите курсъ водъ, а осень въ Италіи, зиму въ Парижѣ: увѣряю васъ, что накопленія слизей, раздражительности... какъ не бывало!

Петръ Иванычъ почти не слушалъ его.

— Психологическая причина! — сказалъ онъ вполголоса и покачалъ головой.

— То-есть, вотъ видите ли, почему я говорю: психологическая, — сказалъ докторъ: — иной, не зная васъ, могъ бы подозрѣвать тутъ какія-нибудь заботы... или не заботы... а подавленныя желанія... иногда бываетъ нужда, недостатокъ... я хотѣлъ навести васъ на мысль...

— Нужда, желанія! — перебилъ Петръ Иванычъ: — всѣ ея желанія предупреждаются; я знаю ея вкусъ, привычки. А нужда... гм! Вы видите нашъ домъ, знаете, какъ мы живемъ?..

— Хорошъ домъ, славный домъ,—сказалъ докторъ:—чудесный... поваръ и какія сигары! А что этотъ пріятель вашъ, что въ Лондонѣ живетъ... пересталъ присылать вамъ хересъ? Что-то нынѣшній годъ не видать у васъ...

— Какъ коварна судьба, докторъ! ужъ я ли не былъ остороженъ съ ней? — началъ Петръ Иванычъ съ несвойственнымъ ему жаромъ: — взвѣшивалъ, кажется, каждый свой шагъ... нѣтъ, гдѣ-нибудь да подкоситъ и когда же? при всѣхъ удачахъ, на такой карьерѣ... А?

Онъ махнулъ рукой и продолжалъ ходить.

— Что вы тревожитесь такъ?—сказалъ докторъ: — опаснаго рѣшительно ничего нѣтъ. Я повторяю вамъ, что сказалъ въ первый разъ, то-есть, что организмъ ея не тронутъ: разрушительныхъ симптомовъ нѣтъ. Малокровіе, нѣкоторый упадокъ силъ...—вотъ и все!

— Бездѣлица!—сказалъ Петръ Иванычъ.

— Нездоровье ея отрицательное, а не положительное, — продолжалъ докторъ. — Будто одна она? Посмотрите на всѣхъ нездѣшнихъ уроженцевъ: на что они похожи? Ступайте, ступайте отсюда. А если нельзя ѣхать, развлекайте ее, не давайте сидѣть, угождайте, вывозите; больше движенія и тѣлу, и духу: и то, и другое у ней въ неестественномъ усыпленіи. Конечно, современемъ оно можетъ пасть на лёгкія или...

— Прощайте, докторъ! я пойду къ ней,— сказалъ Петръ Иванычъ и скорыми шагами пошелъ въ кабинетъ жены.

Онъ остановился у дверей, тихо раздвинулъ портьеры и устремилъ на жену безпокойный взглядъ.

Она... что же особеннаго замѣтилъ въ ней докторъ? Всякій, увидѣвъ ее въ первый разъ, нашелъ бы въ ней жен-

щину, какихъ много въ Петербургѣ. Блѣдна, это правда: взглядъ у ней матовый, блуза свободно и ровно стелется по плоскимъ плечамъ и гладкой груди; движенія медленны, почти вялы... Но развѣ румянецъ, блескъ глазъ и огонь движеній—отличительные признаки нашихъ красавицъ? А прелесть формъ... Ни Фидій, ни Пракситель не нашли бы здѣсь Венеръ для своего рѣзца.

Нѣтъ, не пластической красоты надо искать въ сѣверныхъ красавицахъ: онѣ — не статуи; имъ не дались античныя позы, въ которыхъ увѣковѣчилась красота греческихъ женщинъ, да не изъ чего и строить этихъ позъ: нѣтъ тѣхъ безукоризненно-правильныхъ контуровъ тѣла... Чувственность не льется изъ глазъ ихъ жаркимъ потокомъ лучей; на полуоткрытыхъ губахъ не млѣетъ та наивно-сладострастная улыбка, какою горятъ уста южной женщины. Нашимъ женщинамъ дана въ удѣлъ другая, высшая красота. Для рѣзца неуловимъ этотъ блескъ мысли въ чертахъ лицъ ихъ, эта борьба воли съ страстью, игра невысказываемыхъ языкомъ движеній души съ безчисленными, тонкими оттѣнками лукавства, мнимаго простодушія, гнѣва и доброты, затаенныхъ радостей и страданій... всѣхъ этихъ мимолетныхъ молній, вырывающихся изъ концентрической души...

Какъ бы то ни было, но видѣвшій въ первый разъ Лизавету Александровну не замѣтилъ бы въ ней никакого разстройства. Тотъ только, кто зналъ ее прежде, кто помнилъ свѣжесть лица ея, блескъ взоровъ, подъ которымъ, бывало, трудно разсмотрѣть цвѣтъ глазъ ея — такъ тонули они въ роскошныхъ, трепещущихъ волнахъ свѣта, кто помнилъ ея пышныя плечи и стройный бюстъ, тотъ съ болѣзненнымъ изумленіемъ взглянулъ бы на нее теперь, сердце его сжалось бы отъ сожалѣнія, если онъ не чужой ей, какъ теперь оно сжалось, можетъ-быть, у Петра Иваныча, въ чемъ онъ боялся признаться самому себѣ.

Онъ тихо вошелъ въ кабинетъ и сѣлъ подлѣ нея.

— Что ты дѣлаешь?—спросилъ онъ.

— Вотъ просматриваю расходную книжку, — отвѣчала она. — Вообрази, Петръ Иванычъ: въ прошедшемъ мѣсяцѣ на одинъ столъ вышло около полуторы тысячи рублей: это ни на что не похоже!

Онъ, не говоря ни слова, взялъ у ней книжку и положилъ на столъ.

— Послушай,—началъ онъ:—докторъ говоритъ, что здѣсь моя болѣзнь можетъ усилиться: онъ совѣтуетъ ѣхать на воды за границу. Что ты скажешь?

— Что же мнѣ сказать? Тутъ, я думаю, голосъ доктора важнѣе моего. Надо ѣхать, если онъ совѣтуетъ.

— А ты? Желала бы ты сдѣлать этотъ вояжъ?

— Пожалуй.

— Но, можетъ-быть, ты лучше хотѣла бы остаться здѣсь?

— Хорошо, я останусь.

— Что же изъ двухъ? — спросилъ Петръ Иванычъ съ нѣкоторымъ нетерпѣніемъ.

— Распоряжайся и собой, и мной, какъ хочешь,—отвѣчала она съ унылымъ равнодушіемъ: — велишь — я поѣду, нѣтъ—останусь здѣсь...

— Оставаться здѣсь нельзя,—замѣтилъ Петръ Иванычъ: докторъ говоритъ, что и твое здоровье нѣсколько пострадало... отъ климата.

— Съ чего онъ взялъ?—сказала Лизавета Александровна:—я здорова, я ничего не чувствую.

— Продолжительное путешествіе,—говорилъ Петръ Иванычъ: — тоже можетъ быть для тебя утомительно; не хочешь ли ты пожить въ Москвѣ, у тетки, пока я буду за границей?

— Хорошо; я, пожалуй, поѣду въ Москву.

— Или не съѣздить ли намъ обоимъ на лѣто въ Крымъ?

— Хорошо и въ Крымъ.

Петръ Иванычъ не выдержалъ: онъ всталъ съ дивана и

началъ, какъ у себя въ кабинетѣ, ходить по комнатѣ, потомъ остановился передъ ней.

— Тебѣ все равно, гдѣ ни быть?—спросилъ онъ.

— Все равно,—отвѣчала она.

— Отчего же?

Она, ничего не отвѣчая на это, взяла опять расходную тетрадь со стола.

— Воля твоя, Петръ Иванычъ,—заговорила она:—намъ надо сократить расходы: какъ, тысяча пятьсотъ рублей на одинъ столъ...

Онъ взялъ у ней тетрадь и бросилъ подъ столъ.

— Что это такъ занимаетъ тебя?—спросилъ онъ:—или денегъ тебѣ жаль...

— Какъ же не занимать? Вѣдь я твоя жена! Ты же самъ училъ меня... а теперь упрекаешь, что я занимаюсь... *Я дѣлаю свое дѣло.*

— Послушай, Лиза!—сказалъ Петръ Иванычъ, послѣ кратkаго молчанія:—ты хочешь передѣлать свою натуру, осилить волю... Это не хорошо. Я никогда не принуждалъ тебя: ты не увѣришь меня, чтобъ эти дрязги (онъ указалъ на тетрадь) могли занимать тебя. Зачѣмъ ты хочешь стѣснять себя? Я предоставлю тебѣ полную свободу...

— Боже мой! зачѣмъ мнѣ свобода?—сказала Лизавета Александровна:—что я стану съ ней дѣлать? Ты до сихъ поръ такъ хорошо, такъ умно распоряжался и мной, и собой, что я отвыкла отъ своей воли; продолжай и впередъ; а мнѣ свобода не нужна.

Оба замолчали.

— Давно,—началъ опять Петръ Иванычъ:—я не слыхалъ отъ тебя, Лиза, никакой просьбы, никакого желанія каприза.

— Мнѣ ничего не нужно,—замѣтила она.

— У тебя нѣтъ никакихъ особенныхъ... скрытыхъ желаній?—спросилъ онъ съ участіемъ, пристально глядя на нее

Она колебалась, говорить или нѣтъ.

Петръ Иванычъ замѣтилъ это.

— Скажи, ради Бога, скажи! — продолжалъ онъ: — твои желанія будутъ моими желаніями, я исполню ихъ, какъ законъ.

— Ну, хорошо,—отвѣчала она:—если ты можешь это сдѣлать для меня... то... уничтожь наши пятницы... эти обѣды утомляютъ меня...

Петръ Иванычъ задумался.

— Ты и такъ живешь взаперти, — сказалъ онъ, помолчавъ: — а когда къ намъ перестанутъ собираться пріятели по пятницамъ, ты будешь совершенно въ пустынѣ. Впрочемъ, изволь, ты желаешь этого—будетъ исполнено. Что жъ ты станешь дѣлать?

— Ты передай мнѣ свои счеты, книги, дѣла... я займусь...—сказала она и потянулась подъ столъ поднять расходную тетрадь.

Петру Иванычу это показалось худо скрытымъ притворствомъ.

— Лиза!..—съ упрекомъ сказалъ онъ.

Книжка осталась подъ столомъ.

— А я думалъ, не возобновишь ли ты нѣкоторыхъ знакомствъ, которыя мы совсѣмъ оставили? Для этого я хотѣлъ дать балъ, чтобъ ты разсѣялась, выѣзжала бы сама...

— Ахъ, нѣтъ, нѣтъ! — съ испугомъ заговорила Лизавета Александровна:—ради Бога, не нужно! Какъ можно... балъ!

— Что жъ это такъ пугаетъ тебя? Въ твои лѣта балъ не теряетъ своей занимательности; ты еще можешь танцовать...

— Нѣтъ, Петръ Иванычъ, прошу тебя, не затѣвай!—заговорила она съ живостью:—заботиться о туалетѣ, одѣваться, принимать толпу, выѣзжать—Боже сохрани!

— Ты, кажется, весь вѣкъ хочешь проходить въ блузѣ?

— Ах, если ты позволишь, я бы не снята ее. Зачѣмъ напрягаться? и трата денегъ, и лишнія хлопоты безъ всякой пользы.

— Знаешь что? вдругъ сказалъ Петръ Иванычъ: — говорятъ, на нынѣшнюю зиму ангажированъ сюда Рубини: у насъ будетъ постоянная итальянская опера: я просилъ оставить для насъ ложу—какъ ты думаешь?

Она молчала.

— Лиза!

Напрасно...—сказала она робко:—я думаю, и это будетъ мнѣ утомительно... я устаю...

Петръ Иванычъ склонилъ голову, подошелъ къ камину и, обоборотясь на него, смотрѣлъ... какъ бы это сказать? съ тоской, не съ тоской, а съ тревогой, съ безпокойствомъ и съ боязнью, на нее.

— Отчего, Лиза, это... — началъ-было онъ и не договорилъ: слово «равнодушіе» не сошло у него съ языка.

Онъ долго, молча, глядѣлъ на нее. Въ ея безжизненно-чатовыхъ глазахъ, въ лицѣ, лишенномъ игры живой мысли и чувствъ, въ ея лѣнивой позѣ и медленныхъ движеніяхъ онъ прочиталъ причину того равнодушія, о которомъ боялся спросить; онъ угадалъ отвѣтъ тогда еще, когда докторъ только-что намекнулъ ему о своихъ опасеніяхъ. Онъ тогда опомнился и сталъ догадываться, что, ограждая жену методически отъ всѣхъ уклоненій, которыя могли бы повредить ихъ супружескимъ интересамъ, онъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, не представилъ ей въ себѣ вознаградительныхъ условій за тѣ, можетъ быть, непривилегированныя закономъ радости, которыя бы она встрѣтила внѣ супружества, что домашній ея міръ былъ не что иное, какъ крѣпость, благодаря методе его, неприступная для соблазна, но зато въ ней встрѣчались на каждомъ шагу рогатки и патрули и противъ всякаго законнаго проявленія чувства.

Методичность и сухость его отношеній къ ней простерлись, безъ его вѣдома и воли, до холодной и тонкой тираніи, и надъ чѣмъ? надъ сердцемъ женщины! За эту тиранію онъ платилъ ей богатствомъ, роскошью, всѣми наружными и сообразными съ его образомъ мыслей, условіями счастья—ошибка ужасная, тѣмъ болѣе ужасная, что она сдѣлана была не отъ незнанія, не отъ грубаго понятія его о сердцѣ—онъ зналъ его—а отъ небрежности, отъ эгоизма! Онъ забывалъ, что она не служила, не играла въ карты, что у ней не было завода, что отличный столъ и лучшее вино почти не имѣютъ цѣны въ глазахъ женщины, а между тѣмъ онъ заставлялъ ее жить этою жизнью.

Петръ Иванычъ былъ добръ; и если не по любви къ женѣ, то по чувству справедливости, онъ далъ бы Богъ знаетъ что, чтобъ поправить зло; но какъ поправить? Не одну ночь провелъ онъ безъ сна съ тѣхъ поръ, какъ докторъ сообщилъ ему свои опасенія насчетъ здоровья жены, стараясь отыскать средства, примирить ея сердце съ настоящимъ ея положеніемъ и возстановить угасающія силы. И теперь, стоя у камина, онъ размышлялъ о томъ же. Ему пришло въ голову, что, можетъ-быть, въ ней уже таится зародышъ опасной болѣзни, что она убита безцвѣтной и пустой жизнью...

Холодный потъ выступалъ у него на лбу. Онъ терялся въ средствахъ, чувствуя, что для изобрѣтенія ихъ нужно больше сердца, чѣмъ головы. А гдѣ ему взять его? Ему что-то говорило, что если бъ онъ могъ пасть къ ея ногамъ, съ любовью заключить ее въ объятія и голосомъ страсти сказать ей, что жилъ только для нея, что цѣль всѣхъ трудовъ, суеты, карьеры, стяжанія—была она, что его методическій образъ поведенія съ ней внушенъ былъ ему только пламеннымъ, настойчивымъ, ревнивымъ желаніемъ укрѣпить за собой ея сердце... Онъ понималъ, что такія слова были бы дѣйствіемъ гальванизма на трупъ, что она

вдругъ процвѣла бы здоровьемъ, счастьемъ, и на воды не понадобилось бы ѣхать.

Но сказать и доказать — двѣ вещи разныя. Чтобъ доказать это, надо точно имѣть страсть. А порывшись въ душѣ своей, Петръ Иванычъ не нашолъ тамъ и слѣда страсти. Онъ чувствовалъ только, что жена былъ необходима ему— это правда, но наравнѣ съ прочими необходимостями жизни, необходима по привычкѣ. Онъ, пожалуй, не прочь бы притвориться, сыграть роль любовника, какъ ни смѣшно въ пятьдесятъ лѣтъ вдругъ заговорить языкомъ страсти; но обманешь ли женщину страстью, когда ея нѣтъ? Достанетъ ли потомъ столько героизма и умѣнья, чтобъ дотянуть на плечахъ эту роль до той черты, за которой умолкаютъ требованія сердца? И не убьетъ ли ее окончательно оскорбленная гордость, когда она замѣтитъ, что то, что нѣсколько лѣтъ назадъ было бы волшебнымъ напиткомъ для нея, подносится ей теперь, какъ лѣкарство? Нѣтъ, онъ, по-своему, отчетливо взвѣсилъ и обсудилъ этотъ поздній шагъ и не рѣшился на него. Онъ думалъ сдѣлать, можетъ-быть, то же, но иначе, такъ, какъ это теперь было нужно и возможно. У него уже три мѣсяца шевелилась мысль, которая прежде показалась бы ему нелѣпостью, а теперь—другое дѣло! Онъ берегъ ее на случай крайности: крайность настала, и онъ рѣшился исполнить свой планъ.

«Если это не поможетъ», думалъ онъ: «тогда нѣтъ спасенья! будь, что будетъ!»

Петръ Иванычъ рѣшительными шагами подошелъ къ женѣ и взялъ ее за руку.

— Ты знаешь, Лиза, — сказалъ онъ: — какую роль я играю въ службѣ: я считаюсь самымъ дѣльнымъ чиновникомъ въ министерствѣ. Нынѣшній годъ буду представленъ въ тайные совѣтники и, конечно, получу. Не думай, чтобъ карьера моя кончилась этимъ: я могу еще идти впередъ... и пошелъ бы...

Она смотрѣла на него съ удивленіемъ, ожидая, къ чему это поведетъ.

— Я никогда не сомнѣвалась въ твоихъ способностяхъ,— сказала она.—Я вполнѣ увѣрена, что ты не остановишься на половинѣ дороги, а пойдешь до конца...

— Нѣтъ, не пойду: я на-дняхъ подалъ въ отставку.

— Въ отставку? — спросила она съ изумленіемъ, выпрямившись.

— Да.

— Зачѣмъ?

— Слушай еще. Тебѣ извѣстно, что я расчелся со своими компаньонами и заводъ принадлежитъ мнѣ одному. Онъ приноситъ мнѣ до сорока тысячъ чистаго барыша, безъ всякихъ хлопотъ. Онъ идетъ какъ заведенная машина.

— Знаю; такъ что жъ? — спросила Лизавета Александровна.

— Я его продамъ.

— Что ты, Петръ Иванычъ! Что съ тобой?— съ возрастающимъ изумленіемъ говорила Лизавета Александровна, глядя на него съ испугомъ:—для чего все это? Я не опомнюсь, понять не могу...

— Не-уже-ли не можешь понять?

— Нѣтъ!.. — въ недоумѣніи сказала Лизавета Александровна.

— Ты не можешь понять, что, глядя, какъ ты скучаешь, какъ твое здоровье терпитъ... отъ климата, я подорожу своей карьерой, заводомъ, не увезу тебя вонъ отсюда? не посвящу остатка жизни тебѣ?.. Лиза! неужели ты считала меня неспособнымъ къ жертвѣ?.. — прибавилъ онъ съ упрекомъ.

— Такъ это для меня!— сказала Лизавета Александровна, едва приходя въ себя: — нѣтъ, Петръ Иванычъ!—живо заговорила она, сильно встревоженная:—ради Бога, никакой жертвы для меня! Я не приму ее — слышишь ли? рѣши-

тельно не приму! Чтобъ ты перестала трудиться, отличаться, богатѣть — и для меня! Боже сохрани! Я не стою этой жертвы! Прости меня: я была мелка для тебя, ничтожна, слаба, чтобы понять и оцѣнить твои высокія цѣли, благородные труды... Тебѣ не такую женщину надо было...

Еще великодушіе! — сказалъ Петръ Иванычъ, пожимая плечами. — Мои намѣренія неизмѣнны, Лиза!

— Боже, Боже, что я надѣлала! Я была брошена, какъ камень на твоемъ пути; я мѣшаю тебѣ... Что за странная моя судьба! — прибавила она, почти съ отчаяніемъ. — Если человѣку не хочется, не нужно жить... неужели Богъ не сжалится, не возьметъ меня? Мѣшать тебѣ...

— Напрасно ты думаешь, что эта жертва тяжела для меня. Полно жить этой деревянной жизнью! Я хочу отдохнуть, успокоиться: а гдѣ я успокоюсь, какъ не наединѣ съ тобой?.. Мы поѣдемъ въ Италію.

— Петръ Иванычъ! — сказала она, почти плача: — ты добръ, благороденъ... я знаю, ты въ состояніи на великодушное притворство... но, можетъ-быть, жертва безполезна, можетъ-быть, ужъ... поздно, а ты бросишь свои дѣла...

— Пощади меня, Лиза, и не добирайся до этой мысли, — возразилъ Петръ Иванычъ: — иначе, ты увидишь, что я не изъ желѣза созданъ... Я повторяю тебѣ, что я хочу жить не одной головой: во мнѣ еще не все застыло.

Она глядѣла на него пристально, съ недовѣрчивостью.

— И это... искренно? — спросила она, помолчавъ: — ты точно хочешь покоя, уѣзжаешь не для меня одной?

— Нѣтъ: и для себя.

— А если для меня, я ни за что, ни за что...

— Нѣтъ, нѣтъ! я нездоровъ, усталъ... хочу отдохнуть.

Она подала ему руку. Онъ съ жаромъ поцѣловалъ ее.

Такъ ѣдемъ въ Италію? — спросилъ онъ.

— Хорошо, поѣдемъ, — отвѣчала она монотонно.

У Петра Иваныча — какъ гора съ плечъ. «Что-то будетъ!» подумалъ онъ.

Долго сидѣли они, не зная, что сказать другъ другу. Неизвѣстно, кто первый прервалъ бы молчаніе, если бъ они оставались еще вдвоемъ. Но вотъ въ сосѣдней комнатѣ послышались торопливые шаги. Явился Александръ.

Какъ онъ перемѣнился! Какъ пополнѣлъ, оплѣшивѣлъ, какъ сталъ румянъ! Съ какимъ достоинствомъ онъ носитъ свое выпуклое брюшко и орденъ на шеѣ! Глаза его сіяли радостью. Онъ съ особеннымъ чувствомъ поцѣловалъ руку у тетки и пожалъ дядину руку...

— Откуда?—спросилъ Петръ Иванычъ.

— Угадайте,—отвѣчалъ Александръ значительно.

— У тебя сегодня какая-то особенная прыть,— сказалъ Петръ Иванычъ, глядя на него вопросительно.

— Бьюсь объ закладъ, что не угадаете!— говорилъ Александръ.

— Лѣтъ десять или двѣнадцать назадъ, однажды ты, я помню, вотъ этакъ же вбѣжалъ ко мнѣ, — замѣтилъ Петръ Иванычъ:—еще разбилъ у меня что-то... тогда я сразу догадался, что ты влюбленъ, а теперь... ужели опять? Нѣтъ, не можетъ быть: ты слишкомъ уменъ, чтобъ...

Онъ взглянулъ на жену и вдругъ замолчалъ.

— Не угадываете?—спросилъ Александръ.

Дядя глядѣлъ на него и все думалъ.

— Ужъ не... женишься ли ты? — сказалъ онъ нерѣшительно.

— Угадали! — торжественно воскликнулъ Александръ. — Поздравьте меня.

— Въ самомъ дѣлѣ? На комъ?— спросили и дядя, и тетка.

— На дочери Александра Степаныча.

— Неужели? Да вѣдь она богатая невѣста, — сказалъ Петръ Иванычъ.—И отецъ... ничего?

— Я сейчасъ отъ нихъ. Отчего отцу не согласиться? Напротивъ, онъ со слезами на глазахъ выслушалъ мое предложеніе; обнялъ меня и сказалъ, что теперь онъ можетъ умереть спокойно: что онъ знаетъ, кому ввѣряетъ счастье дочери... «Идите, говоритъ, только по слѣдамъ вашего дядюшки!»

— Онъ сказалъ это? Видишь, и тутъ не безъ дядюшки!

— А что сказала дочь? — спросила Лизавета Александровна.

— Да... она... такъ какъ, знаете, всѣ дѣвицы, — отвѣчалъ Александръ: — ничего не сказала, только покраснѣла; а когда я взялъ ее за руку, такъ пальцы ея точно играли на фортепіано въ моей рукѣ... будто дрожали.

— Ничего не сказала! — замѣтила Лизавета Александровна. — Неужели вы не взяли на себя труда вывѣдать объ этомъ у ней до предложенія? Вамъ все равно? Зачѣмъ вы женитесь?

— Какъ зачѣмъ? Не все же такъ шататься! Одиночество наскучило; пришла пора, ma tante, усѣсться на мѣстѣ, основаться, обзавестись своимъ домкомъ, исполнить долгъ... Невѣста же хорошенькая, богатая... Да вотъ дядюшка скажетъ вамъ, зачѣмъ жениться: онъ такъ обстоятельно разсказываетъ...

Петръ Иванычъ, тихонько отъ жены, махнулъ ему рукой, чтобъ онъ не ссылался на него и молчалъ, но Александръ не замѣтилъ.

— А, можетъ-быть, вы не нравитесь ей? — говорила Лизавета Александровна: — можетъ-быть, она любить васъ не можетъ—что вы на это скажете?

— Дядюшка, что бы сказать? Вы лучше меня говорите... Да вотъ, я приведу ваши же слова, — продолжалъ онъ, не замѣчая, что дядя вертѣлся на своемъ мѣстѣ и значительно кашлялъ, чтобъ замять эту рѣчь: — женишься по любви, — говорилъ Александръ: — любовь пройдетъ и будешь жить

привычкой; женишься не по любви—и придешь къ тому же результату: привыкнешь къ женѣ. Любовь любовью, а женитьба женитьбой; эти двѣ вещи не всегда сходятся, а лучше когда не сходятся... Не правда ли, дядюшка? вѣдь вы такъ учили...

Онъ взглянулъ на Петра Иваныча и вдругъ остановился, видя, что дядя глядитъ на него свирѣпо. Онъ, съ разинутымъ ртомъ, въ недоумѣніи, поглядѣлъ на тетку, потомъ опять на дядю и замолчалъ. Лизавета Александровна задумчиво покачала головой.

— Ну, такъ ты женишься?—сказалъ Петръ Иванычъ.—Вотъ теперь пора, съ Богомъ! А то хотѣлъ-было въ двадцать три года.

— Молодость, дядюшка, молодость!

— То-то молодость.

Александръ задумался и потомъ улыбнулся.

— Что ты?—спросилъ Петръ Иванычъ.

— Такъ: мнѣ пришла въ голову одна несообразность...

— Какая?

— Когда я любилъ... — отвѣчалъ Александръ въ раздумьи:—тогда женитьба не давалась...

— А теперь женишься, да любовь не дается,—прибавилъ дядя, и оба они засмѣялись.

— Изъ этого слѣдуетъ, дядюшка, что вы правы, полагая привычку главнымъ...

Петръ Иванычъ опять сдѣлалъ ему звѣрское лицо. Александръ замолчалъ, не зная, что подумать.

— Женишься на тридцать-пятомъ году,—говорилъ Петръ Иванычъ: — это въ порядкѣ. А помнишь, какъ ты тутъ бѣсновался въ конвульсіяхъ, кричалъ, что тебя возмущаютъ неравные браки, что невѣсту влекутъ, какъ жертву, убранную цвѣтами и алмазами, и толкаютъ въ объятія пожилого человѣка, бо́льшею частью некрасиваго, съ лысиной. Покажи-ка голову.

— Молодость, молодость, дядюшка! Не понималъ сущности дѣла,—говорилъ Александръ, заглаживая рукой волосы.

— Сущность дѣла, — продолжалъ Петръ Иванычъ. — А бывало, помнишь, какъ ты былъ влюбленъ въ эту, какъ ее... Наташу, что ли? «Бѣшеная ревность, порывы, небесное блаженство»... куда все это дѣвалось?..

— Ну, ну, дядюшка, полноте! — говорилъ Александръ, краснѣя.

— Гдѣ «колоссальная страсть, слезы»?..

— Дядюшка!

— Что? Полно предаваться «искреннимъ изліяніямъ», полно рвать желтые цвѣты! «Одиночество наскучило»...

— О, если такъ, дядюшка, я докажу, что не я одинъ любилъ, бѣсновался, ревновалъ, плакалъ... позвольте, позвольте, у меня имѣется письменный документъ...

Онъ вынулъ изъ кармана бумажникъ и, порывшись довольно долго въ бумагахъ, вытащилъ какой-то ветхій, почти развалившійся и пожелтѣвшій листокъ бумаги.

— Вотъ, ma tante, — сказалъ онъ: — доказательство, что дядюшка не всегда былъ такой разсудительный, насмѣшливый и положительный человѣкъ. И онъ вѣдалъ искреннія изліянія и передавалъ ихъ не на гербовой бумагѣ, и притомъ особыми чернилами. Четыре года таскалъ я этотъ лоскутокъ съ собой и все ждалъ случая уличить дядюшку. Я-было и забылъ объ немъ, да вы же сами напомнили.

— Что за вздоръ? Я ничего не понимаю,— сказалъ Петръ Иванычъ, глядя на лоскутокъ.

— А вотъ вглядитесь.

Александръ поднесъ бумажку къ глазамъ дяди. Вдругъ лицо Петра Иваныча потемнѣло.

— Отдай! отдай, Александръ!—закричалъ онъ торопливо и хотѣлъ схватить лоскутокъ. Но Александръ проворно отдернулъ руку. Лизавета Александровна съ любопытствомъ смотрѣла на нихъ

— Нѣтъ, дядюшка, не отдамъ,—говорилъ Александръ:— пока не сознаетесь здѣсь, при тетушкѣ, что и вы когда-то любили, какъ я, какъ всѣ... Или иначе, этотъ документъ передается въ ея руки, въ вѣчный упрекъ вамъ.

— Варваръ! — закричалъ Петръ Иванычъ: — что ты дѣлаешь со мной?

— Вы не хотите?

— Ну, ну: любилъ. Подай.

— Нѣтъ, позвольте, что вы бѣсновались, ревновали?

— Ну, ревновалъ, бѣсновался... — говорилъ, морщась, Петръ Иванычъ.

— Плакали?

— Нѣтъ, не плакалъ.

— Неправда! я слышалъ отъ тетушки: признавайтесь.

— Языкъ не ворочается, Александръ: вотъ развѣ теперь заплачу.

— Ma tante! извольте документъ.

— Покажите, что̀ это такое? — спросила она, протягивая руку.

— Плакалъ, плакалъ! Подай! —отчаянно возопилъ Петръ Иванычъ.

— Надъ озеромъ?

— Надъ озеромъ.

— И рвали желтые цвѣты?

— Рвалъ. Ну тебя совсѣмъ! Подай.

— Нѣтъ не все: дайте честное слово, что вы предадите вѣчному забвенію мои глупости и перестанете колоть мнѣ ими глаза.

— Честное слово.

Александръ отдалъ лоскутокъ. Петръ Иванычъ схватилъ его, зажегъ спичку и тутъ же сжегъ бумажку.

— Скажите мнѣ, по крайней мѣрѣ, что это такое?—спросила Лизавета Александровна.

— Нѣтъ, милая, этого и на страшномъ судѣ не скажу, —

отвѣчалъ Петръ Иванычъ. — Да неужели я писалъ это? Быть не можетъ...

— Вы, дядюшка! — перебилъ Александръ: — Я, пожалуй, скажу, что тутъ написано: я наизусть знаю: «ангелъ», «обожаемая мною...»

— Александръ! Навѣкъ поссоримся! — закричалъ Петръ Иванычъ сердито.

— Краснѣютъ, какъ преступленія—и чего!—сказала Лизавета Александровна:—первой, нѣжной любви.

Она пожала плечами и отвернулась отъ нихъ.

— Въ этой любви такъ много... глупаго,—сказалъ Петръ Иванычъ мягко, вкрадчиво. — Вотъ у насъ съ тобой и помину не было объ искреннихъ изліяніяхъ, о цвѣтахъ, о прогулкахъ при лунѣ... а вѣдь ты любишь же меня...

— Да, я очень... привыкла къ тебѣ, — разсѣянно отвѣчала Лизавета Александровна.

Петръ Иванычъ началъ въ задумчивости гладить бакенбарды.

— Что, дядюшка,—спросилъ Александръ шопотомъ:—это такъ и надо?

Петръ Иванычъ мигнулъ ему, какъ-будто говоря: «молчи».

— Петру Иванычу простительно такъ думать и поступать,—сказала Лизавета Александровна:—онъ давно такой, и никто, я думаю, не зналъ его другимъ: а отъ васъ, Александръ, я не ожидала этой перемѣны...

Она вздохнула.

— О чемъ же вы вздохнули, ma tante? — спросилъ онъ.

— О прежнемъ Александрѣ,—отвѣчала она.

— Неужели вы желали бы, ma tante, чтобъ я остался такимъ, какимъ былъ лѣтъ десять назадъ?—возразилъ Александръ.—Дядюшка правду говоритъ, что эта глупая мечтательность...

Лицо Петра Иваныча начало свирѣпѣть. Александръ замолчалъ.

— Нѣтъ, не такимъ, — отвѣчала Лизавета Александровна: — какъ десять лѣтъ, а какъ четыре года назадъ: помните, какое письмо вы написали ко мнѣ изъ деревни? Какъ вы хороши были тамъ!

— Я, кажется, тоже мечталъ тамъ,—сказалъ Александръ.

— Нѣтъ, не мечтали, Тамъ вы поняли, растолковали себѣ жизнь; тамъ вы были прекрасны, благородны, умны... Зачѣмъ не остались такими? Зачѣмъ это было только на словахъ, на бумагѣ, а не на дѣлѣ? Это прекрасное мелькнуло, какъ солнце изъ-за тучъ—на одну минуту...

— Вы хотите сказать, ma tante, что теперь я... не уменъ и... не благороденъ...

— Боже сохрани! нѣтъ! Но теперь вы умны и благородны... по-другому, не по-моему...

— Что дѣлать, ma tante? — сказалъ съ громкимъ вздохомъ Александръ:—вѣкъ такой. Я иду наравнѣ съ вѣкомъ: нельзя же отставать! Вотъ я сошлюсь на дядюшку, приведу его слова...

— Александръ! — свирѣпо сказалъ Петръ Иванычъ: — пойдемъ на минуту ко мнѣ въ кабинетъ: мнѣ нужно сказать тебѣ одно слово.

Они пришли въ кабинетъ.

— Что это за страсть пришла тебѣ сегодня ссылаться на меня?—сказалъ Петръ Иванычъ.—Ты видишь, въ какомъ положеніи жена?

— Что такое?—съ испугомъ спросилъ Александръ.

— Ты ничего не замѣчаешь? А то, что я бросаю службу, дѣла—все, и ѣду съ ней въ Италію.

— Что вы, дядюшка! — въ изумленіи воскликнулъ Александръ: — вѣдь вамъ нынѣшній годъ слѣдуетъ въ тайные совѣтники...

— Да видишь: тайная совѣтница-то плоха...

Онъ раза три задумчиво прошелся взадъ и впередъ по комнатѣ.

— Нѣтъ, — сказалъ онъ: — моя карьера кончена! Дѣло сдѣлано: судьба не велитъ идти дальше... пусть!

Онъ махнулъ рукой.

— Поговоримъ лучше о тебѣ, — сказалъ онъ: — ты, кажется, идешь по моимъ слѣдамъ...

— Пріятно бы, дядюшка! — прибавилъ Александръ.

— Да! — продолжалъ Петръ Иванычъ: — въ тридцать съ небольшимъ лѣтъ — коллежскій совѣтникъ, хорошее казенное содержаніе, посторонними трудами зарабатываешь много денегъ, да еще во-время женишься на богатой... Да, Адуевы дѣлаютъ свое дѣло! Ты весь въ меня, только недостаетъ боли въ поясницѣ...

— Да ужъ иногда колетъ... — сказалъ Александръ, дотронувшись до спины.

— Все это прекрасно, разумѣется, кромѣ боли въ поясницѣ, — продолжалъ Петръ Иванычъ: — я, признаюсь, не думалъ, чтобы изъ тебя вышло что-нибудь путное, когда ты пріѣхалъ сюда. Ты все забиралъ себѣ въ голову замогильные вопросы, улеталъ въ небеса... но все прошло — и слава Богу! Я сказалъ бы тебѣ: продолжай идти во всемъ по моимъ слѣдамъ, только...

— Только что, дядюшка?

— Такъ... я хотѣлъ бы тебѣ дать нѣсколько совѣтовъ... насчетъ будущей твоей жены...

— Что такое? Это любопытно.

— Да нѣтъ! — продолжалъ Петръ Иванычъ, помолчавъ: — боюсь, какъ бы хуже не надѣлать. Дѣлай, какъ знаешь самъ: авось догадаешься... Поговоримъ лучше о твоей женитьбѣ. Говорятъ, у твоей невѣсты двѣсти тысячъ приданаго — правда ли!

— Да, двѣсти отецъ даетъ, да сто отъ матери осталось.

— Такъ это триста! — закричалъ Петръ Иванычъ почти съ испугомъ.

— Да еще онъ сегодня сказалъ, что всѣ свои пятьсотъ

душъ отдаетъ намъ теперь же въ полное распоряженіе, съ тѣмъ, чтобы выплачивать ему восемь тысячъ ежегодно. Жить будемъ вмѣстѣ.

Петръ Иванычъ вскочилъ съ кресель съ несвойственною ему живостью.

— Постой, постой! — сказалъ онъ: — ты оглушилъ меня: такъ ли я слышалъ? повтори, сколько?

— Пятьсотъ душъ и триста тысячъ денегъ...—повторилъ Александръ.

— Ты... не шутишь?

— Какія шутки, дядюшка!

— И имѣніе... не заложено? — спросилъ Петръ Иванычъ тихо, не двигаясь съ мѣста.

— Нѣтъ.

Дядя, скрестивъ руки на груди, смотрѣлъ нѣсколько минутъ съ уваженіемъ на племянника.

— И карьера, и фортуна!—говорилъ онъ почти про себя, любуясь имъ: — И какая фортуна! и вдругъ! все, все!., Александръ!—гордо, торжественно прибавилъ онъ:—ты моя кровь, ты—Адуевъ! Такъ и быть, обними меня!

И они обнялись.

— Это въ первый разъ, дядюшка!—сказалъ Александръ.

— И въ послѣдній!—отвѣчалъ Петръ Иванычъ:—это необыкновенный случай. Ну, неужели тебѣ и теперь не нужно презрѣннаго металла? Обратись же ко мнѣ хоть однажды.

— Ахъ! нужно, дядюшка: издержекъ множество. Если вы можете дать десять, пятнадцать тысячъ...

— Насилу, въ первый разъ! — провозгласилъ Петръ Иванычъ.

— И въ послѣдній, дядюшка: это необыкновенный случай!—сказалъ Александръ.

НАРУШЕНІЕ ВОЛИ.

ОЧЕРКЪ.

НАРУШЕНІЕ ВОЛИ.

(ОЧЕРКЪ.)

I.

Какое нарушеніе, чьей воли?—спроситъ читатель.

А можетъ-быть и не спроситъ, если дастъ себѣ трудъ прочитать собранія писемъ Пушкина, Тургенева, Кавелина и недавно изданныя Крамского и многія другія, то и дѣло появляющіяся въ печати.

Онъ увидитъ, что надъ умершими извѣстными, особенно знаменитыми писателями, учеными, художниками, вообще лицами съ болѣе или менѣе громкимъ именемъ, и просто съ именемъ, безцеремонно совершается явное нарушеніе ихъ воли.

Я бы не рѣшился, особенно печатно, высказывать только свое мнѣніе объ этомъ, которое не авторитетно и ни для кого не обязательно: но я на каждомъ шагу встрѣчаю въ обществѣ подтвержденіе моего взгляда на обычай передавать черезъ печать публичному оглашенію частныя, интимныя письма, писанныя однимъ лицомъ къ другому—*и только для одного этого лица.*

Это значитъ переводить на бумагу интимный разговоръ между собою двухъ близкихъ лицъ, который при свиданіи вели бы въ кабинетѣ, на прогулкѣ, съ глазу на глазъ, не

подозрѣвая, конечно, никакой измѣны довѣрія съ обѣихъ сторонъ.

Но если одно изъ этихъ лицъ или кто-нибудь, случайно подслушавшій разговоръ, станетъ передавать его встрѣчному и поперечному—породитъ толки, пересуды,—такого вѣстуна заклеймили бы нелестнымъ именемъ сплетника. Общество не терпитъ сплетниковъ: ихъ остерегаются, запираютъ отъ нихъ двери. Тѣмъ болѣе осмотрительно, казалось бы, слѣдовало поступать въ печати, не упрочивая сплетни на весь міръ.

Между тѣмъ, это творится сплошь и рядомъ. Разныхъ извѣстныхъ, — не говоря уже о знаменитыхъ, — дѣятелей, писателей, ученыхъ, художниковъ, *заставляютъ самихъ*, въ ихъ письмахъ, не назначавшихся ими для печати, разсказывать о себѣ и о другихъ то, чего они, очевидно, вслухъ вовсе не желали разсказывать.

Едва умершій закроетъ глаза, какъ его такъ-называемые «друзья» пускаются на поиски его писемъ, собираютъ ихъ, приводятъ въ порядокъ, издаютъ. Можно судить, какая молвь выступаетъ наружу изъ сопоставленныхъ на очную ставку между собою разнообразныхъ, нерѣдко разнорѣчивыхъ отзывовъ, мнѣній, противъ воли и желанія писавшаго.

Онъ говорилъ на-ухо, такъ сказать, шопотомъ одному, другому, третьему, нерѣдко про того, другого, про третьяго—подъ вліяніемъ минутнаго неудовольствія, мимолетнаго раздраженія или, пожалуй, веселаго настроенія—и вдругъ это находитъ эхо, передается, какъ по телефону, во всеуслышаніе, идетъ въ потомство.

Такое нарушеніе воли авторовъ писемъ совершается безцеремонно, bravement, и не только надъ умершими лицами, иногда даже и надъ живыми. До того дошло самовольное обращеніе съ чужимъ добромъ и съ чужой волей. А умершему какъ будто говорятъ эти нарушители воли: «ты умеръ, мы и пропечатаемъ тебя до самой утробы; ты намъ теперь

не помѣха; нраву нашему не препятствуй. Намъ это пріятно или полезно, т.-е. выгодно, и ты ничего не подѣлаешь».

Но по какому же праву совершается такое насиліе воли? Кто его далъ — и кому? Законъ, сколько мнѣ извѣстно, опредѣляетъ только право собственности: предоставляетъ владѣніе письмомъ, какъ вещественнымъ документомъ, тому лицу, къ которому оно писано. Это и справедливо. Оглашеніе же въ печати такихъ писемъ разрѣшается съ согласія наслѣдниковъ ихъ автора. Кажется, такъ сказано въ законѣ. Здѣсь опять очевидно принимается во вниманіе право матеріальной собственности; письма подведены подъ одно значеніе съ рукописями. А рукописи представляютъ извѣстную матеріальную цѣнность, денежный капиталъ, который могутъ представлять и письма. Стало-быть, законъ опредѣляетъ одну юридическую сторону вопроса: никакой другой онъ не касается. Онъ не обязанъ, да и не въ силахъ этого сдѣлать.

Я предоставляю рѣшать этотъ нерѣшенный и, можетъ-быть, неразрѣшимый вопросъ — даже съ юридической стороны — компетентнымъ людямъ, юристамъ, и обращаюсь къ другой сторонѣ, нравственной.

Если нѣтъ прямого закона въ общемъ сводѣ законовъ противъ нарушителей чужой воли и собственности, то не можетъ ли и не должно ли само общество дополнить пробѣлъ въ юридическомъ кодексѣ и преслѣдовать своимъ судомъ,—судомъ общественнаго мнѣнія,—за самовольное распоряженіе чужимъ именемъ и чужимъ добромъ.

Законы грубы: они, какъ полицейскіе солдаты, хватающіе за воротъ явныхъ и грубыхъ нарушителей порядка, карающіе за злоупотребленія по опредѣленной статьѣ уложенія; они безсильны тамъ, гдѣ нарушеніе ихъ принимаетъ тонченный, вообще неуловимый для нихъ, сложный характеръ.

Судъ общественнаго мнѣнія вообще безпощаднѣе зако-

новъ уложенія о наказаніяхъ. Онъ проникаетъ во всѣ изгибы злоупотребленія, рѣдко допускаетъ смягчающія и жадно хватается за отягчающія обстоятельства. Тысячеглазый его аргусъ производитъ слѣдствіе, и судъ этотъ произноситъ безапелляціонный приговоръ. Кто-то изъ англійскихъ парламентскихъ ораторовъ, — помнится, Биконсфильдъ, — сказалъ, что нравы общества спасаютъ англичанъ отъ ихъ законовъ, т.-е., что англичанинъ-джентльменъ боится не кары закона по уложенію, которая можетъ и миновать виновнаго: онъ боится самого общества, которое за неблаговидный поступокъ выкинетъ его изъ своей среды,—и оттого онъ рѣдко является на скамьѣ подсудимыхъ, не отъ добродѣтели, которой часто у него и нѣтъ, а отъ крайней осторожности сдерживаетъ или прячетъ свои страсти.

II.

Въ прессѣ у насъ иногда затрогивался вопросъ о маніи печатать письма, но говорилось объ этомъ мало, равнодушно. Не такъ давно, кажется, въ прошломъ году, въ газетахъ упоминалось о томъ, какъ мало интересны и какъ не нужны безсодержательныя письма, печатаемыя потому только, что они писаны болѣе или менѣе извѣстнымъ лицомъ. Вообще же, при оглашеніи такихъ писемъ пресса остается равнодушной, какъ будто такъ оно и должно быть, или входитъ въ критическій анализъ самыхъ писемъ, а о томъ, почему, по какому праву они напечатаны — не заботится. Да ей и трудно было бы протестовать, такъ какъ она сама орудіе, участница въ нарушеніи права, проводница контрабандныхъ писемъ въ свѣтъ—слѣдовательно, первая отвѣтчица за нихъ передъ судомъ общественнаго мнѣнія.

Между тѣмъ въ публикѣ всякій разъ поднимается говоръ, иногда ропотъ по поводу появленія нѣкоторыхъ писемъ. Напримѣръ, о письмахъ Пушкина, изданныхъ подъ редакціей Тургенева, поднялся въ свое время въ обществѣ дружъ-

ный ропотъ противъ появленія многихъ писемъ поэта, очевидно не предназначенныхъ въ печать.

Удивлялись, что такія письма, черезъ «умѣлыя руки» (какъ выражались тогда) Тургенева, могли явиться въ свѣтъ.

За кѣмъ же, спрашивается, слѣдуетъ признать право на изданіе посмертныхъ писемъ писателя, художника и вообще дѣятеля съ извѣстнымъ именемъ? По офиціальному закону отнюдь не за тѣмъ, какъ сказано выше, къ кому писано письмо, а за наслѣдниками умершаго лица.

Но по законамъ нравственнаго права, по чувству справедливости, принадлежитъ ли и должно ли принадлежать такое право и близкимъ лицамъ, законнымъ наслѣдникамъ умершаго извѣстнаго лица? Имъ принадлежитъ, я полагаю, право протеста противъ диффамаціи, грубаго оскорбленія родственнаго имъ лица—имъ же должна, конечно, принадлежать вещественная стоимость всякой, между прочимъ, и литературной собственности на литературномъ рынкѣ. Этимъ, я полагаю, только и обусловливается предоставленіе согласію наслѣдниковъ автора на изданіе его писемъ.

Право же изданія писемъ должно оставаться навсегда за самимъ авторомъ: надо знать его волю, назначалъ ли онъ самъ, желалъ ли предавать гласности свои письма, и какія именно?

— А какъ же, спросятъ, это узнать, когда автора нѣтъ въ живыхъ, и когда онъ не сдѣлалъ никакого распоряженія насчетъ своей переписки при жизни?

Такой вопросъ или дѣтски-наивенъ, или казуистически лукавъ.

Всякій разумный, добросовѣстный, не чуждый литературнаго развитія читатель, пробѣгая письма Пушкина, Тургенева, Кавелина и недавно изданныя письма Крамского и многихъ другихъ, почти съ математическою точностью можетъ опредѣлить, пожелалъ ли бы авторъ, чтобы то и другое письмо, писанное къ женѣ, къ сыну, брату, вообще къ

близкому лицу, было оглашено на весь свѣтъ, чтобы всякій соръ выносился изъ избы и раскидывался по вѣтру всюду, и доходилъ далеко, въ потомство.

Но вѣдь, напримѣръ, Тургенева, замѣтятъ на это, просматривавшаго письма Пушкина для печати, нельзя упрекнуть ни въ недостаткѣ такта и деликатности, еще больше— въ неуваженіи къ памяти Пушкина.

Конечно, нѣтъ, — особенно въ неуваженіи. Напротивъ: Тургеневъ именно и погрѣшилъ, благодаря страстному поклоненію Пушкину. Мы всѣ, сверстники Тургенева, питомцы школы великаго поэта, вскормленные его поэзіей, мы всѣ сохранили въ себѣ навсегда обаяніе его генія; для насъ дорогъ каждый штрихъ его пера. Тургеневъ религіозно собиралъ и подбиралъ, какъ перлы, всякія писанныя поэтомъ строки, не бракуя, повидимому, ни одной, боясь проронить всякую мелочь. И всѣ ближайшіе современники и поклонники Пушкина были бы также въ затрудненіи, какъ поступить,—въ томъ числѣ, признаюсь, и я.

Для просмотра и редакціи писемъ Пушкина нуженъ былъ другой или другіе, менѣе страстные и болѣе безпристрастные почитатели великаго поэта. Впрочемъ, я слышалъ, что многія неудобныя письма исключены Тургеневымъ: зачѣмъ же не всѣ, до публики не касающіяся?

Если признать,—а этого нельзя не признать,—что всякое неизданное литературное произведеніе умершаго писателя, въ томъ числѣ и письма, помимо указанныхъ закономъ правъ на матеріальное обладаніе послѣдними, принадлежитъ всему обществу, то надо допустить, что и заботы объ изданіи бумагъ покойнаго, и контроль надъ ними должны раздѣлить съ наслѣдниками писателя или съ корреспондентами его и другіе, свѣдущіе въ подобныхъ дѣлахъ люди, особенно когда сами наслѣдники не имѣютъ надлежащаго знанія и опытности въ литературныхъ и издательскихъ вопросахъ. Конечно, найдется не одинъ, не два, а многія лица, раз-

умныя, добросовѣстныя и литературно-развитыя, какъ Тургеневъ, напримѣръ, которыя могутъ въ интересахъ литературы, коллегіально сослужить такую почетную службу — и публикѣ, и умершему писателю, и наслѣдникамъ его, не увлекаясь личнымъ слѣпымъ поклоненіемъ, очистить бумаги и письма его отъ лишняго, ненужнаго или слишкомъ интимнаго, иногда даже бросающаго тѣнь и на характеръ самого автора, и также на затрогиваемыхъ имъ въ письмахъ постороннихъ лицъ.

Стоитъ только пробѣжать письма Пушкина къ женѣ, чтобы заключить, что нарушеніе воли совершилось и надъ его памятью.

Самъ Пушкинъ намекаетъ на то. Въ 45-мъ письмѣ къ женѣ есть слѣдующія строки: «Пожалуйста,—пишетъ онъ:— не требуй отъ меня нѣжныхъ, любовныхъ писемъ. Мысль, что письма мои распечатываются и прочитываются на почтѣ, въ полиціи и т. д., охлаждаетъ меня, и я, поневолѣ, сухъ и скученъ».

Это доказываетъ, какъ Пушкинъ смотрѣлъ даже на немногихъ, предполагаемыхъ имъ, случайныхъ постороннихъ читателей того, что онъ пишетъ къ женѣ, т.-е., что онъ говоритъ ей наединѣ. Что если бы онъ могъ предвидѣть, что нѣжныя, иногда ревнивыя изліянія его сердца будутъ вынесены на свѣтъ, перенесены изъ секретнаго письма на книжный прилавокъ и станутъ предметомъ любопытства всѣхъ и каждаго?

Едва ли, можно смѣло заключить, написалъ бы онъ эти письма, или, если бы написалъ, то сухо и сдержанно, какъ подъ глазами почтовыхъ и полицейскихъ чиновниковъ. Въ письмахъ къ князю Вяземскому, къ Соболевскому и къ другимъ у него нерѣдко играетъ необузданная веселость, сыплется то крупная, то мелкая соль остроумія, безпрестанныя эпиграммы въ прозѣ и стихахъ—желчные отзывы о противникахъ и также нескромные намеки и неупотребительныя

въ печати, кроющіяся подъ иниціалами слова. Словомъ, ведется вольный, живой, несдержанный разговоръ, свойственный веселой бесѣдѣ, иногда за трапезой и т. д.

Хотѣлъ ли бы авторъ предать всю эту шаловливую домашнюю бесѣду на услышаніе всему свѣту? Конечно, нѣтъ.

Отчего же, если такъ, спросятъ, онъ не уничтожилъ этой переписки? Оттого, можно съ достовѣрностью заключить, что ему, конечно, и въ голову не приходило, чтобы посторонніе глаза видѣли его нѣжныя, интимныя письма, чтобы чужія руки прикасались къ нимъ, копались въ нихъ, разбирали и распоряжались.

Можно жалѣть только,—и въ публикѣ, повторяю, при выходѣ писемъ въ свѣтъ, жалѣли и роптали, что интимныя письма поэта сдѣлались предметомъ любопытства всей читающей публики. Жалѣть и роптать имѣютъ право всѣ искренніе, глубокіе почитатели поэта на то, что не оказано должнаго вниманія къ его памяти.

Стало-быть,—спросятъ поклонники поэта и вообще почитатели умершаго дѣятеля, — все, что написано и не назначено самимъ писателемъ для печати, то и должно пропадать для свѣта? между тѣмъ въ перепискѣ блеститъ тотъ же талантъ. Посмотрите, какъ, напримѣръ, письма Пушкина игривы, какъ сверкаютъ искрами юмора, милыми капризами пера и т. д

Талантъ остается талантомъ во всемъ, до чего коснется его перо. Юморъ, игра фантазіи, искры поэзіи сверкаютъ вездѣ, и даже иногда придаютъ поэтическій колоритъ фактамъ, т.-е. украшаютъ ихъ и этимъ порой грѣшатъ противъ голой истины. Художникъ является художникомъ вездѣ, даже въ мелочахъ. Не мало потрачено поэтомъ таланта на его многія эпиграммы, совершенно недоступныя печати. Нельзя же оглашать ихъ, какъ нельзя выводить на показъ хотя бы и умершаго поэта во всей неприглядной домашней

обстановкѣ, подслушивать и передавать его семейный, домашній, несдержанный разговоръ.

— Пропадать ли?

Конечно, пропадать, если авторъ самъ обрекъ письма на забвеніе, ибо поступить вопреки—значитъ, совершить грубое насиліе его воли.

Если же онъ не выразилъ своей воли, то, кажется, есть средство, безъ насилія послѣдней, удовлетворить поклонниковъ таланта и пріобрѣсти вкладъ въ литературу изъ крупицъ, падающихъ отъ богатой трапезы такого таланта, какъ Пушкинъ. Это—печатать не все сплошь да рядомъ, цѣликомъ, а съ строгимъ, добросовѣстнымъ выборомъ того, что цѣнно, вѣско, что имѣетъ общій интересъ, значеніе, какъ мысль, какъ авторитетный взглядъ писателя на тѣ или другіе вопросы науки, искусства, общественной жизни и т. д. словомъ, что достойно дополняетъ его сочиненія. Не мало, конечно, найдется примѣровъ въ печати ссылокъ на письма извѣстныхъ дѣятелей, извлеченій, выписокъ для всѣхъ интересныхъ, безъ примѣси множества или ненужныхъ, или интимныхъ подробностей. Я не говорю уже о письмахъ, писанныхъ цѣликомъ на извѣстную тему, какъ, напримѣръ, недавно найденное въ бумагахъ Жуковскаго письмо Гоголя, выражающее полный взглядъ автора на искусство. Есть цѣлая литература въ формѣ писемъ двухъ лицъ между собою, посвященная тѣмъ или другимъ вопросамъ. Эти письма прямо назначались авторами ихъ для свѣта и составляютъ чистый вкладъ въ литературу.

Но то сочиненія, назначенныя для печати, а не частныя, писанныя къ одному лицу и для одного лица. Въ одномъ черновомъ письмѣ (къ *неизвѣстной дамѣ*), найденномъ въ бумагахъ Пушкина, онъ говоритъ: «не показывайте этого письма никому, кромѣ тѣхъ, кого я люблю, и кто принимаетъ во мнѣ участіе не изъ любопытства, а по дружбѣ». Онъ самъ предостерегаетъ отъ оглашенія его переписки

между равнодушными, постороннимі ему, для праздной забавы, для удовлетворенія ихъ любопытства.

Противъ гласности мудрено возставать, какъ противъ Архимедова рычага, по-своему двигающаго міромъ, но есть такіе уголки въ частной жизни, которыхъ не долженъ касаться этотъ рычагъ. Если въ самой природѣ есть тайны, то въ людской жизни есть свои наготы, гдѣ необходимо покрывало; этого требуетъ простая пристойность. Я разумѣю индивидуальную, частную жизнь, которая должна быть защищена, ограждена, respectée (говоря непереводимымъ въ этомъ смыслѣ французскимъ словомъ); это основной законъ общежитія. Типично общественная жизнь доступна всякому наблюдателю, мыслителю, ученому, писателю, художнику, которые изучаютъ, разрабатываютъ и изображаютъ со всѣхъ сторонъ и во всѣхъ деталяхъ, никого лично и индивидуально не оскорбляя, не задѣвая и не насилуя чужой воли и правъ.

Какъ же,—замѣтятъ на это,—за границей сплошь да рядомъ печатаются письма отъ живыхъ, писанныя къ одному лицу и для одного лица, и этотъ обычай не находятъ предосудительнымъ. Тамъ на частныя письма нерѣдко ссылаются какъ на улики въ пререканіяхъ, въ борьбѣ разныхъ политическихъ партій, которыхъ у насъ нѣтъ, или письма приводятся какъ свидѣтельства при судебныхъ процессахъ, что бываетъ и у насъ, и что иногда необходимо и неизбѣжно, напримѣръ, въ уголовномъ и другихъ процессахъ. Про такія письма и говорить нечего. Есть историческія письма, есть цѣлая ученая литература писемъ; они къ дѣлу не идутъ. Оглашеніе же интимной частной переписки просто для любопытства публики, нежелательное для автора, хотя бы и умершаго, такъ же неблаговидно за границей, какъ и у насъ.

Въ Англіи, если не ошибаюсь, есть законъ, запрещающій касаться въ печати подробностей домашней, семейной жизни

частнаго лица, разумѣется, безъ его согласія, хотя бы послѣднія и не заключали въ себѣ ничего предосудительнаго. Домъ англичанина, его home—это святыня, недоступная для любопытства публики. Не худо бы перенять это хорошее правило и намъ, такимъ охотникамъ перенимать все чужое!

Надъ самимъ Тургеневымъ, редакторомъ Пушкинскихъ писемъ, совершилось, по смерти его, хотя въ слабой степени, то же самое, что̀ допущено имъ въ письмахъ поэта. Несмотря на то, что письма Тургенева прошли черезъ руки нѣсколькихъ лицъ, подъ редакціей стараго и опытнаго литератора В. П. Гаевскаго—и тутъ проскользнуло нѣсколько писемъ (напримѣръ, на стр. 133, 259, 307, 400 — письма 105, 203, 244, 339), которыхъ Тургеневъ, конечно, не разрѣшилъ бы печатать, и много другихъ, гдѣ онъ дѣлаетъ рѣзкіе и иногда несправедливые отзывы о людяхъ или сочиненіяхъ. Въ письмѣ 339-мъ къ Я. П. Полонскому, Тургеневъ, по поводу выраженнаго имъ въ одномъ частномъ письмѣ мнѣнія о Сарѣ Бернаръ, проскользнувшаго въ печать, говоритъ: «изъ всего этого вышла грязная сплетня, перебранка... Я не привыкъ отказываться отъ своихъ мнѣній и могу только сожалѣть о томъ, что *высказанныя частнымъ образомъ*, они (мнѣнія) вдругъ *являются въ публикѣ*, благодаря нѣкоторому отсутствію деликатности».

Вотъ какъ самъ Тургеневъ выразилъ неудобство оглашенія нѣкоторыхъ частныхъ писемъ. Онъ объясняетъ это неделикатностью.

Когда онъ писалъ это, то, конечно, не предвидѣлъ, сколько высказаннаго имъ самимъ частнымъ образомъ, такъ-сказать, на-ухо, пріятелямъ, всплыветъ наружу передъ всѣми, не въ далекомъ будущемъ, а вслѣдъ за его гробомъ.

Группа издателей его писемъ, вѣроятно, тоже увлекалась, изъ участія къ автору и его перу, желаніемъ подѣлиться неизданными произведеніями этого пера съ многочисленными его почитателями, и исключивъ, по слухамъ, очень

многое, оставила, однако, кое-что немногое, несовсѣмъ удобноедля оглашенія. Кромѣ выше отмѣченныхъ писемъ, много есть такихъ, которыя лишены содержанія, не имѣютъ ничего общаго съ литературой; напримѣръ, ласковыя изліянія къ пріятелямъ, шутливыя краткія замѣтки, записки въ деревню изъ-за границы, или изъ деревни, мелкія замѣтки по хозяйству, съ разными мелкими порученіями о полученіи денегъ, о присылкѣ книгъ и т. п., ни для кого не интересныя.

И такихъ писемъ масса. Они загромоздили и засорили, такъ сказать, переписку, которая могла бы быть интереснѣе, если выкинуть лишнее. Вышла пухлая, объемистая книга, какъ биткомъ набитый омнибусъ, которую не только читать, но тяжело въ рукахъ держать.

Набросанныя, такимъ образомъ, въ кучу, эти письма, такъ же какъ и письма Пушкина, при чтеніи, à la longue, цѣликомъ, производятъ крайнее утомленіе, несмотря на мастерской языкъ, на искры остроумія, свойственныя такимъ талантамъ. Письма эти читаются вовсе не такъ, какъ художественныя произведенія тѣхъ же авторовъ, не потому только, что они небрежны, что авторъ является во многихъ на-распашку. Читая ихъ, какъ будто ѣдешь по нескончаемому парку, съ длинными однообразными аллеями, гдѣ нѣтъ остановки, центра, не на чемъ успокоиться глазу. Можно возвратиться назадъ и начать съ первыхъ страницъ, или броситься въ конецъ и читать обратно—все одно и одно. Точно льется непрерывный, однообразно журчащій каскадъ. Читатель пробѣгаетъ письма, какъ равнодушный прохожій зѣваетъ на улицѣ мимоходомъ въ нижніе этажи домовъ; тамъ сидятъ за обѣдомъ, тамъ играютъ въ карты, тутъ занимаются музыкой и т. д. Кажется, разнообразно. Онъ мелькомъ взглядываетъ въ одно окно, другое, третье и идетъ дальше, и, выбравшись на просторъ, онъ забываетъ все это разнообразіе, всю пестроту, не знаетъ, на чемъ остановиться,

все смѣшивается въ безцвѣтное пятно, и онъ чувствуетъ себя только крайне утомленнымъ, не вынося никакого цѣльнаго впечатлѣнія.

III.

Теперь слѣдуетъ упомянуть еще о письмахъ Кавелина и Крамского. Издатель первыхъ, помѣщая ихъ въ «Вѣстникѣ Европы» 1886—1887 г. подъ заглавіемъ «*Матеріалы для біографіи Кавелина*», оговорился, что печатаетъ письма, между прочимъ, и къ сестрѣ Кавелина, своей матери, за исключеніемъ того, что̀ имѣетъ чисто-семейный интересъ.

И это сдѣлано. Письма безупречны въ этомъ отношеніи. Внѣ обще-интересныхъ вопросовъ, отведено только незначительное мѣсто нѣжной любви Кавелина къ его дочери, въ свою очередь бывшей извѣстною въ петербургскомъ педагогическомъ мірѣ.

Остальное же все въ его письмахъ всецѣло просится въ свѣтъ; въ публику, въ литературу: все писано будто не къ одному кому-нибудь, а ко всѣмъ.

Это не письма, это бесѣды умнаго, даровитаго профессора, такъ сказать, лекціи, занимательныя, поучительныя для всѣхъ, хотя тутъ нѣтъ ни блеска, ни остротъ, ни юмора, неожиданной игры пера и искръ фантазіи, какъ у Пушкина, Тургенева. Но зато все вѣско, цѣнно, авторитетно, о чемъ бы онъ ни писалъ: о политикѣ, по соціальнымъ, экономическимъ, сельско-хозяйственнымъ вопросамъ. Сколько ума, глубокихъ философскихъ афоризмовъ, вѣрныхъ практическихъ замѣтокъ о разныхъ общественныхъ явленіяхъ, болѣе всего объ устройствѣ быта крестьянъ, да и обо всемъ!

И во всѣхъ этихъ вопросахъ свѣтится душевная теплота и къ людямъ вообще, и къ общему благу. Ею согрѣты всѣ идеи автора, всѣ стремленія, весь его анализъ ученой и общественной дѣятельности. Это будто не перомъ писано, сама кровь говоритъ; справедливо замѣчаетъ его издатель, что въ его натурѣ было даже больше любви къ идеямъ,

чѣмъ къ людямъ. Это ученый идеалистъ, и главный идеалъ его—наука, прогрессъ и общее благо. О личностяхъ, объ интимностяхъ у него почти и помину нѣтъ.

Письма Крамского также не излишни, какъ вкладъ въ литературу. Это—цѣлый сводъ мнѣній, взглядовъ, приговоровъ, анализа произведеній живописи и старыхъ, и новыхъ, и новѣйшихъ мастеровъ до его современниковъ, сверстниковъ, товарищей и учениковъ по кисти включительно. Самъ старый мастеръ, онъ съ любовью смотритъ на нарождающіеся юные таланты, хвалитъ, одобряетъ, иногда порицаетъ, словомъ—учитъ. Онъ столько же, если не больше, учитель искусства, сколько художникъ. Умъ, логика, изложеніе—все есть на его литературной палитрѣ. Онъ философъ, цѣнитель талантовъ и самой живописи.

Издатель этихъ писемъ, В. В. Стасовъ, оказалъ услугу собраніемъ ихъ, и въ предисловіи довольно вѣрно опредѣлилъ характеръ, значеніе и достоинства писемъ. Но... и тутъ есть *но*—и большое.

Меня упрекнутъ, пожалуй: «вы находите же, что частныя письма, писанныя къ одному лицу, имѣютъ свою цѣнность, и сами не нахвалитесь письмами хоть бы Крамского: какъ же не слѣдуетъ издавать такія письма?!»...

И теперь повторю, что не слѣдуетъ издавать—лишнее въ письмахъ, что̀ мало интересно для всѣхъ. Письма Крамского могли бы составлять практическое руководство для художника, цѣлый курсъ живописи—съ умозрительной, эстетической и критической сторонъ, который благотворно дѣйствовалъ бы на развитіе всякаго интеллигентнаго, сознательнаго художника, не слѣпо мажущаго кистью что̀ попадется на глаза. Но въ письмахъ Крамского много лишняго, имѣющаго мало прямого отношенія къ искусству. Все это, безъ вреда интересу книги, можно бы было исключить, отъ этого книга только бы выиграла. Писемъ масса—это цѣлый архивъ, гдѣ теряешься, утопаешь какъ въ волнахъ. И самъ авторъ

такъ разбросанъ въ этомъ безконечномъ анализѣ взглядовъ и мнѣній, въ мелкой критической оцѣнкѣ, что почти не приходитъ къ общимъ выводамъ. Не видишь точекъ опоры въ его взглядахъ на искусство: все тонетъ въ пучинѣ отдѣльныхъ афоризмовъ объ искусствѣ, въ опредѣленіи школъ, направленій, характера искусства за границей и у насъ... Это лабиринтъ безъ всякой руководящей нити. Не знаешь, гдѣ, на чемъ сосредоточиться въ хаотическомъ смѣшеніи, и получаешь вмѣсто чего-то цѣлаго, сжатаго, опредѣленнаго, теоретическаго и практическаго руководства для художника— нѣчто въ родѣ справочной книги, въ которой и не добудешь нужной справки, или если добудешь, то случайно, невзначай.

Нельзя не пожалѣть, что этотъ громадный архивъ писемъ не былъ подвергнутъ, въ интересахъ самого Крамского, художниковъ и читающей публики и искусства, болѣе тщательному разбору и классификаціи писемъ. Но нельзя не пожалѣть, конечно, и издателя, который, при собираніи и изданіи писемъ, по словамъ его, «съ большимъ спѣхомъ» совершилъ поистинѣ гигантскую работу.

Вотъ этотъ «спѣхъ» и былъ причиной повальнаго изданія писемъ. А тутъ мало опять-таки одного человѣка—нужна цѣлая группа горячихъ любителей и знатоковъ, и цѣнителей искусства.

Письма дышатъ такою наполняющею всю душу художника любовью къ искусству и притомъ сознательною, разумною и горячею любовью, какой, по словамъ В. В. Стасова (въ предисловіи), «не выказывалъ въ отношеніи къ искусству своей страны ни одинъ европейскій критикъ».

Такая любовь, и такъ умно и горячо высказанная, есть полное и всецѣлое выраженіе и воплощеніе творческаго призванія. Она способна заразить читателя-художника и довершить высшее и конечное развитіе таланта.

«Все это такъ: но покороче бы, покороче!» — скажетъ

читатель, утомленный чтеніемъ. Лишнія письма, чуждыя главнымъ мотивамъ книги, являются, какъ чужіе гости, въ дружескій тѣсный кружокъ и охлаждаютъ читателя, мѣшаютъ сосредоточиться на разбросанныхъ взглядахъ автора на искусство, свести его отдѣльныя, отрывочныя мнѣнія, критическія замѣтки къ какому-нибудь центру. Есть и такія письма, которыя Крамской, конечно, не разрѣшилъ бы печатать, напримѣръ нѣкоторыя, чисто семейнаго характера письма. Хотя издатель въ предисловіи и оговаривается, что такихъ немного, и что тѣ личности, которыхъ Крамской неосторожно касался перомъ, сами «великодушно» разрѣшили печатать, но тутъ дѣло не въ согласіи и въ великодушіи затронутыхъ лицъ, а въ томъ, не противорѣчитъ ли оглашеніе такихъ писемъ волѣ самого Крамского. Я стою на уваженіи къ памяти и желанію умершаго.

Мотивы собиранія такихъ писемъ послѣ умершаго лица понятны: это, прежде всего, я полагаю, боязнь, чтобы послѣднія не затерялись отъ времени и небреженія. «Спѣхъ» же изданія ихъ друзьями покойнаго менѣе извинителенъ. Онъ не даетъ осмотрѣться и разобраться въ архивѣ бумагъ и писемъ, изъ которыхъ, отчасти по этой причинѣ, много и попадаетъ не имѣющихъ никакого значенія—ни для біографіи писателя или художника, ни для исторіи литературы и искусства и наконецъ—слишкомъ откровенныя и неудобныя, какъ для памяти самого автора, такъ и для другихъ затронутыхъ лицъ. Подобныя письма или копіи съ нихъ могли бы до поры до времени храниться подъ спудомъ, напримѣръ, хоть въ Императорской публичной библіотекѣ или частныхъ книгохранилищахъ, которыя не отказали бы въ гостепріимствѣ всякимъ важнымъ или интереснымъ бумагамъ.

Пробѣгая нѣкоторыя письма умершихъ, съ ѣдкими, насмѣшливыми или презрительными отзывами о разныхъ лицахъ, читатель, чего добраго, заподозритъ въ авторѣ ихъ писемъ злое

сердце, человѣконенавидѣніе, дурной характеръ — или же двуличность, когда прочтетъ въ этой кучѣ противоположные мягкіе отзывы о тѣхъ же лицахъ, — и ничего не бывало. Всѣ эти отзывы суть минутныя вспышки, чисто нервныя движенія, не имѣющія ничего общаго съ основными чертами характера, но могутъ быть приняты за выраженіе послѣдняго и ввести въ заблужденіе. Мало ли что говорится въ минуту раздраженія, временной легкомысленной досады, наединѣ, вѣрному товарищу—о томъ, о другомъ, о третьемъ. И эти соломинки тщательно подбираются и заносятся въ формуляръ его нрава. По этому и судятъ иногда всего человѣка, забывая, что языкъ данъ, по извѣстному афоризму, между прочимъ, и для того, чтобы скрывать свои мысли. Поэтому всего легче заблуждаться, полагаясь на частную интимную переписку писателя или художника, или кого бы то ни было, съ разными лицами. Онъ часто говоритъ разное, выражая себя такъ или иначе, какъ бываетъ и въ изустномъ разговорѣ, смотря до собесѣднику. Дѣло не касается какихъ-нибудь капитальныхъ сторонъ характера, убѣжденій, нравовъ и проч.; просто, имъ нерѣдко руководитъ личный взглядъ на того, кому онъ говоритъ; кое-что онъ умалчиваетъ или измѣняетъ свою настоящую мысль такъ или иначе, примѣняясь къ характеру человѣка. Ужели слѣдуетъ все сказанное летучимъ перомъ, такъ-сказать, на вѣтеръ, принимать на вѣру, дѣлать серьезныя заключенія о писавшемъ?

А литературные слѣдователи дѣлаютъ это; они пойдутъ серьезно заключать: вотъ-де онъ въ томъ случаѣ объ этомъ сказалъ то, а въ другомъ — другое, противоположное, изъ этого-де слѣдуетъ... Ничего изъ этого не слѣдуетъ... Въ одномъ случаѣ онъ былъ подъ однимъ впечатлѣніемъ, а въ другомъ—подъ другимъ, и мало ли что онъ сказалъ!

И выходитъ, что частная переписка общественнаго дѣятеля съ разными лицами не всегда представляетъ «цѣнный

автобіографическій матеріалъ», какъ говоритъ предисловіе, напримѣръ, къ письмамъ Тургенева.

И говоря правду, въ обширномъ смыслѣ, я не понимаю, а если и понимаю, то не сочувствую стремленію рыться глубоко въ частной, интимной жизни писателя, художника, ученаго: еще пусть допытывались бы, и это не трудно, гдѣ онъ учился, что читалъ, какъ работалъ и т. п.; а то хотятъ знать всѣ мелочи: что онъ ѣлъ, пилъ, какія имѣлъ привычки и прочее, вовсе къ дѣлу не идущее. Къ чему тутъ частная жизнь? Зачѣмъ, напримѣръ, знать, что Байронъ былъ не строгой нравственности, что Жоржъ-Зандъ носила въ молодости мужской костюмъ и отличалась разными капризами... а Руссо былъ просто—что называется—рукой махнуть! Поэтъ, ученый, живописецъ, ваятель выражаютъ то или другое, что они хотѣли выразить такъ или иначе въ своихъ твореніяхъ, и надо бы, по здравому смыслу и чувству справедливости, довольствоваться тѣмъ, что выражено въ книгахъ, поэзіи, картинахъ и изваяніяхъ этихъ дѣятелей, и подвергать послѣднія суду критики за выраженное ими. Нѣтъ, начнутъ добираться, каковъ самъ былъ дѣятель, разбираютъ связь писателя или художника съ его произведеніями, согласенъ ли его характеръ, нравственныя свойства съ тѣмъ, что имъ выражено, и почему, и какъ? И пойдутъ, и пойдутъ — судить, трепать его, казнить или миловать. А потребно едино: *какъ* и *чѣмъ* онъ служилъ наукѣ, искусству, какими произведеніями или подвигами, — а все другое, закулисное въ частной жизни, нужно, кажется, больше всего самимъ изыскателямъ,—чтобы себя показать, свой умъ, стойкость и вѣрность суда и т. п.

Даже и въ литературныхъ критическихъ отзывахъ Пушкина, Тургенева, о тѣхъ или другихъ произведеніяхъ литературы, не всегда звучитъ вѣрность взгляда, прямота и искренность. Къ произведеніямъ своего корреспондента, такъ-сказать, въ лицо, авторы писемъ большею частью

относятся мягко, лестно, пріятно; какую-нибудь литературную мелочь разбираютъ серьезно, важно, возводятъ чуть не въ перлъ созданія. А «въ сторону», какъ на сценѣ, иногда срывается эпиграмма. Слѣдовательно, и критической оцѣнкѣ произведеній литературы и живописи, разсѣянной въ письмахъ, придавать особеннаго вѣса нельзя. Издатель писемъ Крамского дѣлаетъ въ предисловіи также замѣчаніе о «невѣрности въ иныхъ случаяхъ сужденій послѣднихъ о художникахъ и художественныхъ произведеніяхъ», и упоминаетъ, что Крамской иногда тоже бывалъ «несправедливъ къ людямъ». Очень мало,—говоритъ онъ,—но дѣйствительно бывалъ, какъ показываютъ письма.

IV.

Я сказалъ выше о мотивахъ, побуждающихъ издателей, друзей автора, собирать письма отъ его корреспондентовъ: это—сохранить для современныхъ читателей и для потомства полный образъ писателя или художника. Цѣль, конечно, хорошая, но она, какъ я сейчасъ сказалъ, рѣдко достигаетъ желаемаго, а скорѣе ведетъ къ противному результату. Писатель по натурѣ своей словоохотливъ, изліятеленъ; его тянетъ къ перу тамъ, гдѣ онъ (я говорю о письмахъ) не связанъ ни содержаніемъ, ни планомъ, ни техникой. Онъ не стѣсняется. Мысль и воображеніе играютъ что хотятъ, какъ въ разговорѣ наединѣ, онъ пишетъ вольно, съ плеча, сверкая нечаянно то умомъ, то фантазіей, то юморомъ. И этимъ удовлетворяетъ прежде всего самого себя, удовлетворяетъ потребности излиться, какъ музыкантъ, встрѣчая подъ рукой инструментъ, играетъ, живописецъ чертитъ на лежащей случайно на столѣ бумагѣ карандашомъ какой-нибудь эскизъ.

Гдѣ же тутъ искать реальной вѣрности съ фактической стороной жизни? Это только своего рода художественные штрихи, наброски, которые, конечно, можно, если они интересны для всѣхъ, собрать и огласить, подъ двумя непре-

мѣнными условіями: во-первыхъ, *могли ли бы желать авторы огласить ихъ въ печати;* и, во-вторыхъ, *не задѣты ли за живое другія личности.* Эти вопросы должны служить заповѣдью для умныхъ и добросовѣстныхъ издателей.

Прошу имѣть въ виду, что я отнюдь не ратую за умолчаніе писемъ quand même; я только противъ выворачиванія автора наизнанку, что̀ не можетъ не портить цѣльности его образа и характера, не разочаровывать его почитателей и притомъ несправедливо. Потомъ я — противъ обремененія прессы ненужнымъ лишнимъ балластомъ, только утомляющимъ читателя, и особенно, конечно, противъ всякихъ злоупотребленій, нескромностей и беззастѣнчивыхъ противъ автора писемъ поступковъ.

Въ одномъ моемъ письмѣ (появившемся въ печати, мимоходомъ скажу, неожиданно для меня самого, въ альбомѣ: «Мои знакомые», изданномъ при *Русской Старинѣ*), писанномъ, кажется, давно, я выразилъ сожалѣніе, что писатель по смерти является не въ томъ видѣ, въ какомъ онъ хотѣлъ являться въ свѣтъ, что разные литературные гробокопатели разбираютъ его по мелочамъ и нарушаютъ цѣльность его образа, какимъ онъ думалъ явить себя передъ публикой и потомствомъ. (Я не помню редакціи этого письма, а книги у меня подъ рукой нѣтъ; но смыслъ вѣренъ.) Les beaux esprits se rencontrent, и я очень радъ, что выраженное въ этомъ моемъ письмѣ мнѣніе недавно нашло подтвержденіе въ печати мнѣніемъ о томъ же одного извѣстнаго литератора; значитъ, въ этомъ мнѣніи есть правда. Я держусь этой мысли и теперь, и буду ея держаться. Въ самомъ дѣлѣ, пусть судитъ читатель: писатель проявляетъ себя во всеоружіи своего таланта, приноситъ зрѣлыя, глубоко-обдуманныя и тщательно обработанныя созданія, является цѣльнымъ, полнымъ, какъ монументальное изваяніе, образомъ и хочетъ этимъ произвести ожидаемое имъ впечатлѣніе. Въ этомъ цѣль его дѣятельности, его гордость,

его награда, его слава. А литературные археологи возьмутъ да и выкопаютъ какой-нибудь набросокъ, стихъ, фразу, страницу, словомъ, все отброшенное, непригодное художнику, что въ его черновой работѣ не вошло въ дѣло, что выметается обыкновенно изъ мастерской. Зачѣмъ? Говорятъ— интересно, даже поучительно, какъ онъ работалъ у себя въ мастерской, что предполагалъ первоначально и что отвергнулъ потомъ. Полезно-де изучать пріемы творчества и т. д.

И все неправда. Пользы никакой; пріемамъ творчества не научишься. У всякаго творца есть свои пріемы. Можно только подражать внѣшнимъ пріемамъ, но это ни къ чему не ведетъ, а въ работу творческаго духа проникнуть нельзя. Между тѣмъ этими отбросами художника нарушается цѣльность его художественнаго образа. Онъ хотѣлъ бы явиться въ торжественныхъ одеждахъ художественной зрѣлости, а тутъ рядомъ показываютъ его дѣтскія пеленки, курточку, каракули, которыя онъ чертилъ ребенкомъ, и говорятъ: «вотъ онъ какимъ былъ младенцемъ, юношей!»

Къ чему это? Сколько ненужнаго дѣлаютъ люди, взрослые, умные, иногда какъ будто съ виду и дѣловые, вымышляя это ненужное, выискивая его иногда въ потѣ лица! Для чего, спросите: любопытно, говорятъ: такой замѣчательный дѣятель, слѣдовательно — и все, что его касается, тоже замѣчательно... Нѣтъ, не слѣдовательно и не все. Пусть бы отыскивали неизданныя рукописи или цѣнные отрывки, свидѣтельствующіе о полномъ талантѣ писателя, наконецъ, замѣчательныя цѣлыя строфы, страницы, все-таки подъ условіемъ, что авторъ хотѣлъ, да не успѣлъ огласить ихъ— нѣтъ! иногда полустроки, выраженія, даже намѣренія его, какъ онъ сначала задумывалъ и какъ отдумалъ и т. д. И все потому, что «любопытно», т.-е. для удовлетворенія празднаго любопытства толпы дробятъ писателя на куски и портятъ величавую цѣлость его фигуры. «Вѣтреное племя!» невольно скажешь съ поэтомъ.

По какому праву это дѣлается, не нужно и спрашивать. Чѣмъ руководствуется изыскатель оставленнаго наслѣдства писателя или художника? Да тѣмъ же, чѣмъ и издатели посмертныхъ писемъ, напримѣръ, Пушкина, Тургенева и другихъ, не предназначенныхъ самими авторами для печати.

Какъ тѣло писателя дѣлается добычею анатомическаго ножа, для опредѣленія болѣзни или для судебной медицины, и оно потомъ предается землѣ и истлѣваетъ; такому же процессу хотятъ подвергнуть и духъ писателя, его безплотный нравственный организмъ, свершаютъ насиліе надъ его умомъ, волей и сердцемъ!

Какъ будто это одно и то же! Любившія нѣжно, близкія покойному лица препятствуютъ, сколько могутъ, даже и тѣло подвергать анатомическому ножу. А тутъ разсѣкаютъ его духъ! Ты умеръ, думаютъ его друзья, почитатели, поклонники его таланта, его издатели, слѣдовательно и твои мысли, твоя воля, твой духъ — наше достояніе. Мы заставимъ тебя *высказывать твоими же словами,* чего ты не сказалъ бы самъ; ты такъ же добыча могилы, какъ твое тѣло; ты болѣе не принадлежишь себѣ, мы взроемъ всю твою жизнь—и все предадимъ любовѣдѣнію и любопытству толпы. Это-де значитъ изучать жизнь.

Вѣроятно, такъ и думаютъ равнодушные къ умершему люди, поступая безцеремонно съ его волей и памятью послѣ смерти. Пусть бы изучали его со стороны, если ужъ это необходимо, собирали свѣдѣнія, факты, но зачѣмъ заставлять его самого обижать себя!

Какъ это противорѣчитъ всему тому, чѣмъ окружаютъ и провожаютъ гробъ усопшаго въ могилу! Какъ прикажете разумѣть послѣ того проливаемыя надъ могилой слезы, приносимые вѣнки, рѣчи, наконецъ воздвигаемые усопшимъ монументы? Вѣдь не тѣлу же его посвящается это поклоненіе, а душѣ его, уму, таланту, словомъ, духу?

Еще упрекнутъ меня, пожалуй, что я чопоренъ, педанти-

чески смотрю на такое простое житейское дѣло, какъ безцеремонное обращеніе съ человѣкомъ, переставшимъ жить, что это похоже на китайское преувеличеніе почестей усопшимъ... Пусть упрекаютъ, пусть назовутъ недотрогой, но я буду утѣшаться тѣмъ, что очень многіе въ обществѣ раздѣляютъ эту мою «скрупулезность» и, смѣю думать, большинство соглашается со мной. Но многіе, конечно, и не согласятся, между прочимъ, болѣе всего собиратели и издатели историческихъ матеріаловъ, журналовъ, посвященныхъ прошлому.

Они наговорятъ много громкихъ и чувствительныхъ словъ о наукѣ, объ исторіи, о необходимости реставрировать старую жизнь и вообще много приведутъ благовидныхъ причинъ и предлоговъ. А причины, большею частью, другія, проще. Издатели историческихъ сборниковъ и журналовъ не всегда обезпечены постояннымъ серьезнымъ историческимъ матеріаломъ, и оттого они добываютъ всякую старую ветошь, даже мало занимательные мемуары, дневники людей вовсе не историческихъ, и между прочимъ и частныя письма, чтобы пополнять появляющіяся въ опредѣленный срокъ изданія. Они ловятъ всякую мелочь, извѣстіе, анекдотъ — нерѣдко не важнаго, иногда и недавно умершаго лица, и все это сходитъ съ рукъ за quasi-историческій матеріалъ. И сколько накапливается такого матеріала! Невольно вспомнишь бывшаго когда-то министромъ просвѣщенія Уварова, который въ одной брошюрѣ своей поставилъ вопросъ: «достовѣрнѣе ли стала исторія съ тѣхъ поръ, какъ размножились ея источники?», т.-е. съ тѣхъ поръ, когда вмѣсто одного ключа на поясѣ исторіи явились сотни ключиковъ, которые почти невозможно подбирать, и сотни дверей въ темный лабиринтъ давно минувшаго, которыя не ведутъ къ свѣту.

Корреспонденты извѣстнаго лица, представляя охотно издателямъ имѣющіяся у нихъ его письма, руководствуются разными побужденіями: одни — участіемъ, дружбой къ умершему, желаніемъ подѣлиться разсыпанными въ пись-

махъ перлами таланта, якобы затѣмъ, чтобы увѣковѣчить его память, да кстати и свою. Есть такіе охотники до безсмертія. Другіе побуждаются просто мелкимъ самолюбіемъ: «пусть знаютъ, что вотъ, молъ, такое лицо было со мной въ перепискѣ, слѣдовательно я тоже особа!» Это жалко, мелко.

Отъ всего этого и забирается въ переписку писателя или художника много лишняго, что только вредитъ цѣлости впечатлѣнія и отъ чего «истиннымъ друзьямъ» и издателямъ переписки усопшаго дѣятеля слѣдуетъ всячески очищать письма, мемуары, дневники и т. п.

Но нарушеніе воли совершается, какъ я упомянулъ вначалѣ, не только надъ умершими, но и надъ живыми: печатаютъ ихъ письма безъ ихъ согласія, не какъ улики какія-нибудь въ препирательствахъ, въ судебныхъ процессахъ и т. п., а просто взятыя изъ житейскаго быта и напечатанныя для извѣстнаго имени, въ видѣ рекламъ, безъ согласія автора. Это уже ни на что не похоже. Я не придумаю, какъ назвать такіе поступки.

Ратуя за соблюденіе приличій въ отношеніи къ живымъ и къ волѣ усопшихъ, я не претендую на безусловное раздѣленіе моего взгляда, но искренно желаю (а со мной и очень многіе, смѣю увѣрить), чтобы вопросъ о печатаніи частной переписки былъ глубоко обдуманъ и рѣшенъ въ удовлетворительномъ для всѣхъ сторонъ смыслѣ. Онъ стоитъ того. Заявляя объ этомъ вопросѣ, я только привелъ немногія неудобства, происходящія отъ оглашенія писемъ отъ одного лица къ другому, писанныя только для одного лица. Я указываю выше и средство не становиться въ щекотливое положеніе нарушителей ихъ воли: это—не объявлять писемъ и бумагъ преждевременно, по крайней мѣрѣ, пока еще живы современники автора и корреспонденты, и потомъ не всегда цѣликомъ, а печатать въ извлеченіяхъ, выпискахъ, тѣ письма, которыя, кромѣ обще-интереснаго, изобилуютъ интимными и семейными подробностями. Можетъ-быть, другіе, болѣе

меня компетентные и авторитетные судьи въ дѣлахъ печати, раздѣляющіе мой взглядъ, придумаютъ лучшій рецептъ: я и отдаю дѣло на ихъ судъ—а самъ ставлю только вопросъ на очередь.

«Изучать жизнь», конечно, интересно, но всякая человѣческая жизнь всегда представляетъ своего рода интересъ: почему же это совершается надъ писателемъ, художникомъ, ученымъ? Потому, скажутъ, что онъ самъ говоритъ о себѣ письмами или какимъ-нибудь дневникомъ: что это-де надежное средство, т.-е. собственныя сообщенія о себѣ писателя или художника. Выше я старался доказать противное и позволю себѣ сослаться на великій авторитетъ Пушкина. Онъ въ 31-мъ письмѣ къ князю Вяземскому (стр. 46 дешев. изд. Суворина) вотъ что говоритъ по этому поводу: «Никого такъ не любишь, никого такъ не знаешь, какъ самого себя. Предметъ неистощимый. Но трудно писать о себѣ. Не лгать можно; *быть искреннимъ* — невозможность физическая. Перо иногда становится какъ съ разбѣга передъ пропастью, на томъ, что посторонній прочтетъ равнодушно».

Стало-быть, едва ли можно полагаться на вѣрность автобіографическихъ данныхъ въ письмахъ, въ мемуарахъ и т. п.

Прочтя все написанное въ защиту усопшихъ дѣятелей отъ оглашенія, противъ ихъ воли, оставшихся послѣ нихъ рукописей, писемъ, чего бы то ни было, для печати ими не назначеннаго, могутъ подумать, что и я, близкій кандидатъ въ покойники, защищаю вмѣстѣ и самого себя противъ посягательствъ на изданіе какихъ-нибудь моихъ посмертныхъ бумагъ. Полагаю, что знающіе меня сколько-нибудь близко этого не подумаютъ: но другіе, можетъ-быть, и заподозрятъ. Поэтому, кстати, на всякій случай, я считаю необходимымъ и важнымъ для себя выразить здѣсь мое желаніе и мою волю.

Завѣщаю и прошу и прямыхъ, и непрямыхъ моихъ наслѣдниковъ и всѣхъ корреспондентовъ и корреспондентокъ, также издателей журналовъ и сборниковъ всего стараго и прошлаго не печатать *ничего*, что я не напечаталъ, или на что не передалъ права изданія, и что не напечатаю при жизни самъ, конечно, между прочимъ и писемъ. Пусть письма мои остаются собственностью тѣхъ, кому они писаны, и не переходятъ въ другія руки, а потомъ предадутся уничтоженію.

Если бы я претендовалъ на оглашеніе ихъ и другихъ какихъ-нибудь своихъ бумагъ, я собралъ бы самъ, пересмотрѣлъ и напечаталъ бы тѣ изъ нихъ, которыя имѣютъ какой-нибудь общій интересъ.

Но въ письмахъ моихъ нѣтъ ничего дѣльнаго, серьезнаго, глубокаго, какъ, напримѣръ, въ письмахъ Кавелина, Крамского; не пѣнятся они и той игрой блеска, остроумія, таланта, какъ письма Пушкина, Тургенева, словомъ, нѣтъ ничего олимпійскаго, и нѣтъ даже почти ничего касающагося литературы. Это безцеремонная болтовня съ пріятелями, пріятельницами, рѣдко съ литераторами, иногда, можетъ-быть, живая, интересная для тѣхъ только, къ кому писалась, и въ то время, когда писалась. У меня есть своего рода «pudeur» являться на позоръ свѣту съ такимъ хламомъ. И я прошу пощады этому чувству, т.-е. pudeur.

Пусть же добрые, порядочные люди, джентльмены пера, исполнятъ послѣднюю волю писателя, служившаго перомъ честно, — и не печатаютъ, какъ я сказалъ выше, ничего, что я самъ не напечаталъ при жизни—и чего не назначалъ напечатать по смерти. У меня и нѣтъ въ запасѣ никакихъ бумагъ для печати.

Это исполненіе моей воли и будетъ моею наградою за труды и лучшимъ вѣнкомъ на мою могилу.

14 января 1889. **И. Гончаровъ.**

ОГЛАВЛЕНІЕ

ВТОРОГО ТОМА:

стр.

Обыкновенная исторія. Романъ въ двухъ частяхъ.

Часть вторая:

Глава I. 5
» II. 37
» III. 56
» IV. 98
» V. 133
» VI. 154
Эпилогъ 190

Нарушеніе воли. Очеркъ 213

U. C. BERKELEY LIBRARIES
C055721855